



АЛЬБЕР КАМЮ

мастера современной прозы

АЛЬБЕР КАМЮ





**МАСТЕРА
СОВРЕМЕННОЙ
ПРОЗЫ**



МОСКВА «РАДУГА»

1988

МАСТЕРА СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЫ • ФРАНЦИЯ

Редакционная коллегия:

**Анджапаридзе Г. А., Андреев Л. Г., Барабаш Ю. Я., Засурский Я. Н.,
Затонский Д. В., Мамонтов С. П., Марков Д. Ф., Палиевский П. В., Че-
лышев Е. П.**

АЛЬБЕР КАМЮ

ПОСТОРОННИЙ

ЧУМА

ПАДЕНИЕ

РАССКАЗЫ И ЭССЕ

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО

ББК 84.4Фр

К18

Составление и предисловие *С. Великовского*

Редактор *Е. Бабун*

Камю, Альбер

К18 Избранное: Сборник. Пер. с франц. / Составл. и Предисл. С. Великовского.— М.: Радуга, 1988.— 464 с.— (Мастера современной прозы)

В сборник входят лучшие произведения одного из крупнейших писателей современной Франции, такие, как «Чума», «Посторонний», «Падение», пьеса «Калигула», рассказы и эссеистика. Для творчества писателя характерны мучительные поиски нравственных истин, попытки понять и оценить смысл человеческого существования.

К $\frac{4703000000-438}{030(01)-88}$ 71—88

ББК 84.4 Фр
И (Франц)

Редактор Е. И. Бабун
Художник В. Г. Алексеев
Художественный редактор А. П. Купцов
Технический редактор Т. П. Сафонова
Корректоры Н. А. Лукахина, Е. В. Рудницкая

ИБ № 4430

Подписано в печать 13.07.88. Формат 60х90/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Условн. печ. л. 29,0. Усл. кр.-отт. 58,0. Уч.-изд. л. 33,28. Тираж 100000 экз. Заказ № 693. Цена 3 р. 40 к. Изд. № 4970.

Издательство "Радуга" В/О "Совэкспорткнига" Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
119859, Москва, ГСП-3, Zubовский бульвар, 17.

Отпечатано с готовых пленок ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО "Первая Образцовая типография" имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 113054, Москва, Валовая, 28, на Можайском полиграфкомбинате В/О "Совэкспорткнига" Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
143200, Можайск, ул. Мира, 93.

© Составление, предисловие и перевод на русский язык, кроме произведений, отмеченных в содержании знаком *, издательство «Радуга», 1988

ISBN 5-05-002281-9

«ПРОКЛЯТЫЕ ВОПРОСЫ» КАМЮ

С давних пор культура Франции была щедра на «моралистов» — сочинителей особого склада, успешно подвизавшихся в пограничье философии и словесности как таковой. Собственно, французское *moraliste*, судя по толковым словарям, лишь одним из своих значений, и отнюдь не первым, совпадает с русским «моралист» — назидательный нравоучитель, проповедник добродетели. Прежде всего это слово как раз и подразумевает соединение в одном лице мастера пера и мыслителя, обсуждающего в своих книгах загадки человеческой природы с остроумной прямоотой, подобно Монтеню в XVI, Паскалю и Ларошфуко в XVII, Вольтеру, Дидро, Руссо в XVIII веках.

Франция XX столетия выдвинула очередное созвездие таких моралистов: Сент-Экзюпери, Мальро, Сартр... Среди первых в ряду этих громких имен должен быть по праву назван и Альбер Камю. Когда зимой 1960 г. он погиб в дорожной катастрофе, Сартр, с которым они сперва были близки, потом круто разошлись, в прощальной заметке о Камю так очертил его облик и место в духовной жизни на Западе: «Камю представлял в нашем веке — и в споре против текущей истории — сегодняшнего наследника старинной породы тех моралистов, чье творчество являет собой, вероятно, наиболее самобытную линию во французской литературе. Его упорный гуманизм, узкий и чистый, суровый и чувственный, вел сомнительную в своем исходе битву против сокрушительных и уродливых веяний эпохи. И тем не менее упрямством своих «нет» он — наперекор макиавеллистам, наперекор золотому тельцу делячества — укреплял в ее сердце нравственные устои».

Точности ради стоит только оговорить, что сказанное тогда Сартром справедливо относительно Камю зрелых лет. Камю, каким он был не всегда, а каким стал в конце концов, придя очень и очень издалека — совсем от других отпавших рубежей.

Детство Камю прошло в бедняцких предместьях Алжира. Он родился 7 ноября 1913 г. в семье сельскохозяйственного рабочего-француза. Мальчику исполнился год, когда отец, получив тяжелое ранение в битве на Марне, умер в госпитале. Учиться пришлось на гроши, которые зарабатывала мать поденной уборкой в богатых домах.

Став студентом Алжирского университета, где он занялся древнегреческой философией, Камю одновременно включился в просветительскую работу. Он организует в 1935 г. передвижной Театр труда, где пробует себя и как драматург, и как актер, и как режиссер. Состоя в комитете содействия Международному движению в защиту культуры против фашизма, он возглавляет алжирский Народный дом культуры, сотрудничает в левых журналах и газетах. Выходят в свет и первые две книжки коротких лирических эссе Камю — «Изнанка и лицо» (1937) и «Бракосочетания» (1939), — навеянных спорами в кружке его тогдашних друзей о языческих, дохристианских заветах древних культур Средиземноморья.

«Я находился на полпути между нищетой и солнцем, — пробовал Камю много лет спустя нащупать истоки своей мысли. — Нищета помешала мне уверовать, будто все благополучно в истории и под солнцем, солнце научило меня, что история — это не все». Молодого интеллигента в первом поколении, каких в России когда-то звали «кухаркиными детьми», неблагоприятие текущей истории весьма тревожило, побуждало предьявлять суровый счет всем, кто нес за это ответственность. «Каждый раз, когда я слышу политическую речь или читаю заявления тех, кто нами управляет, — записывал он в дневнике, — я ужасаюсь, и уже не первый год, оттого что не улавливаю ни малейшего оттенка человечности. Вечно все те же слова, все та же ложь». Камю помышляет о том, чтобы корыстная возня проходивцев политика-нов была пресечена политиками другого толка, «носителями действия и вместе с тем идеалов». Сам он хотел бы выступить одним из поборников чести на поприще, где подвизается слишком много лгунов и оборотистых деляг. «Речь идет о том, чтобы жить своими мечтами и воплощать их в дела».

Однако порыв Камю к деятельности под стать мечте шел на убыль по мере того, как мир соскальзывал к очередной военной пропасти. Пожар рейхстага в Берлине, гибель Испанской республики, 1937 год, Мюнхенский сговор, развал Народного фронта во Франции, «странная война» — все это выветривало надежды на успех стараний овладеть ходом истории. Камю не прощается с мятежным настроем ума, однако уже тогда задает своему мятежу метафизическую устремленность: «Революционный дух полностью сводим к возмущению человека своим уделом. Революция всегда, со времен Прометея, поднимается против богов, тираны же и буржуазные куклы тут просто предлог». Но коль скоро за спиной у сменяющих друг друга правителей стоит извечный рок, судьба — «боги», а с ними не справиться во веки веков, то и в самом непокорстве Камю гнездится отчаяние. Убеденный, что

«башни из слоновой кости давно разрушены», что с несправедливостью «либо сотрудничают, либо сражаются», третьего не дано, он ратует за вмешательство в гражданские битвы своей эпохи, заранее, однако, проникнутое — и подорванное — знанием конечной обреченности на поражение.

Весной 1940 г. Камю перебрался в Париж и устроился там работать в одной из крупных газет. Свободные часы он посвящает своим рукописям, начатым еще в Алжире. Среди них — в основном сложившаяся уже к 1938 г. трагедия «Калигула»; текст так и не доведенного до печати романа «Счастливая смерть»; наброски философского эссе «Миф о Сизифе»; повесть «Посторонний», которой суждено было вскоре принести Камю широкое признание. Она была закончена к маю 1940 г. Однако, прежде чем попасть в типографию и выйти летом 1942 г., ей предстояли скитания в вещмешке Камю по дорогам поражения. В июне 1940 г. «странная война» завершилась разгромом Франции. Отступление забросило Камю в Клермон-Ферран, потом в Лион, откуда он вернулся в родные края и недолго учительствовал в городе Оране. Здесь дописывался «Миф о Сизифе» (напечатан в 1942 г.), тогда же в черновых тетрадях Камю появляются первые заготовки к хронике-притче «Чума».

Осенью 1941 г. Камю снова во Франции и вскоре примкнул к одной из организаций патриотического Сопротивления. «Просто я себя нигде больше не мыслил, вот и все, — вспоминал он позже. — Я думал, и я так думаю по сей день, что принимать сторону концлагерей нельзя». Камю вел сбор разведывательных данных для партизан и сотрудничал в нелегальной печати, где в 1943 — 1944 гг. появились, в частности, его «Письма к немецкому другу» — философски-публицистическая отповедь попыткам оправдать фашистское человеконенавистничество с помощью нищеских выкладок.

Августовское восстание 1944 г. в Париже, вышвырнувшее гитлеровский гарнизон из города, поставило Камю во главе газеты «Комба», возникшей еще в подполье. Окрыленному энтузиазмом победы и собственными писательскими и театральными успехами (в 1944 г. поставлена его пьеса «Недоразумение», в 1945 г. — «Калигула»), Камю как будто удается заглушить в себе неверие в созидательное историческое действие. На страницах «Комба» он призывает установить порядки, которые позволили бы «примирить свободу и справедливость», лишить денежных воротил их могущества и вернуть достоинство трудящимся, открыть доступ к власти только тем, кто честен и печется о благе всех. Уличные бои в столице Франции кажутся ему «родовыми схватками Революции», свое призвание он видит в том, чтобы пестовать новорожденное дитя. Газета выходит с подзаголовком «От Сопротивления к Революции».

Роды, однако, не состоялись. Недавнее сплочение вокруг патриотических лозунгов дало трещину, а потом и распалось. Камю с трудом выгребал в том взбаламученном водовороте с коварными омутами, каким оказался поток послевоенной истории во Франции. По самой природе своего ума он был меньше всего трезвым политиком: увещевания и заклинания зачастую принимал

за самую что ни на есть плодотворную деятельность, кропотливой черновой работе предпочитал душеспасительные афоризмы и красноречивые анафемы, год от года все ожесточеннее укреплялся в призвании проповедника, вознесенного над толпами слепцов, «завербованных» тем или иным лагерем. Добрая воля и честность Камю-публициста безупречны, но это не мешало ему заблудиться.

Когда во Франции и за ее пределами бескровные, но яростные сражения «холодной войны» в очередной раз потребовали от деятелей культуры твердо самоопределиться в том или другом стане, Камю попробовал уклониться от четкого выбора. Столь шаткая межеумочная позиция отчасти питалась его верой в могущество своего писательского слова: «Чума» (1947), театральная мистерия «Осадное положение» (1948) и пьеса «Праведные» (1949) принесли ему международную славу. Но еще больше его утверждала в своей правоте мысль о том, что он глашатай множества разрозненных одиночек, которые в мире, расколотом на лагеря, ведут судорожные поиски собственного срединного пути. Принадлежа к кругу Сартра—хотя и не придерживаясь строго умозаключений «философии существования», экзистенциализма, а лишь разделяя умунастроения, ее питавшие,—Камю рисовался себе оплотом вольности и правды, живым укором всему роду людскому, отравленному «цезаристски-полицейским угаром».

Жаркие споры по поводу выпущенного Камю в 1951 г. философского памфлета «Бунтующий человек» поссорили его с Сартром и левыми интеллигентами во Франции. В этом пространном эссе вина за казарменные извращения и злоупотребления властью в пореволюционных государствах возлагалась на сами революционные учения, а не на отход от их освободительных заветов, на коварство политической истории XIX—XX веков—неоднократно повторявшееся в ней «перерождение Прометея в Цезаря». Во избежание подобных сокрушительных срывов Камю предписывал строжайше ограничиваться осторожной починкой исподволь отдельных взрывоопасных узлов той самой цивилизации, которая, по его же приговору, после Хиросимы «спустилась на последнюю ступень варварства». Заключение Камю о серьезности ее застарелых недугов очевидно разошлось с его предписаниями, как их лечить. В конце концов он был уже не в силах скрыть от себя, что запутался, попросту сбился с дороги. Протесты, протесты, протесты против всех и вся, отлучения, перемежаемые благими пожеланиями,—так выглядит большая часть публицистики Камю, собранной им в трех книгах его «Злободневных заметок» (1950, 1953, 1958).

Однако Камю был слишком прочно прикован, как он заверял в речи по случаю вручения ему Нобелевской премии за 1957 год, к «галере своего времени», чтобы с легкой душой позволить себе не «грести вместе с другими, даже полагая, что галера провоняла селедкой, что на ней многовато надсмотрщиков и что, помимо всего, взят неверный курс». Очутившись в ловушке такого рода, он мучительно метался, тосковал в книге лирических эссе «Лето» (1954) по минувшим дням молодости в Алжире, впадал в надрывное покаяние потерявшего себя и потерянного для других изгнан-

ника. Повесть «Падение» (1956) и сборник рассказов «Изгнание и царство» (1957)—горькие, во многом исповедальные книги, внушенные подозрением в каком-то непоправимом просчете, заведшем его туда, где ему смолоду менее всего хотелось бы очутиться. Зато как раз тогда на Камю обрушился водопад похвал, почестей, восторгов. Их и прежде хватало, но теперь они шли с другой стороны и имели особый оттенок. В кругах официозных Камю нарекли «совестью Запада»—не очень-то лестный титул для «мятежника», гордившегося своей рабочей закваской. В свои последние годы он словно подтвердил признание, вырвавшееся у него еще в одной из первых проб пера: «В глубине моего бунта дремало смирение».

Охранительное бунтарство позднего Камю самого его повергало в смятение. И подрывало писательскую работоспособность. Он предпринимал шаги, чтобы вернуться к режиссуре, подумывал о собственном театре, пока суд да дело, пробовал кое-что ставить, но не свои пьесы, а сценические переработки «Реквиема по монахине» Фолкнера (1956) и «Бесов» Достоевского (1959). Когда Камю 4 января 1960 г. разбился в машине, возвращаясь в Париж после рождественских дней, в ящиках его письменного стола не нашлось почти ничего годного для печати, кроме набросков к едва продвинувшейся повести «Первый человек» и записных книжек.

2

Хронологически книги Камю выстраиваются в спиралевидной последовательности, исходящей из одной развертывающейся в них мыслительной посылки. Сам он как-то в дневниковых заметках даже прикинул обозначения двух первых витков этой спирали, словно пригласив уловить за летописью своих трудов и дней на протяжении четверти века становление ума, озабоченного сопряженностью собственных концов и начал.

Первый виток—круг «Абсурда»—включает все написанное им с кануна войны до ее окончания: «Посторонний», «Калигула», «Миф о Сизифе», «Недоразумение». Второй виток—«Бунт»—охватывает «Чуму», «Праведных», «Бунтующего человека». Для третьего, пришедшегося на 50-е гг., в черновиках Камю тогда еще не нашлось названия, и там помечены смутные замыслы. Но после его гибели можно с немалой долей приближенности определить этот виток как «Изгнание», отнеся сюда «Падение» и «Изгнание и царство».

«Изнанка и лицо» и «Бракосочетания»—пролог к воображаемому триптиху, прикидка особого угла зрения Камю на жизнь. В этих мозаичных эссе нередко меткие житейские зарисовки, и все же они менее всего очерки быта или репортажи. Если искать предтеч Камю в прошлом, то они—среди мечтательных сочинителей «прогулок» рубежа XVIII—XIX вв., прихотливо сплетавших путевые заметки, философические этюды, лирические медитации—словом, запись нестройно текущих дум по поводу всего, что внезапно поразило взор и заставило вспыхнуть свет духовного озарения, которое уже давно теснило грудь, ожидая своего часа.

Тело, дух, природные стихии — точно три собеседника, сведенные в «прогулках» Камю для разговора о самом важном: о радости жить и трагедии жизни. Тело жаждет насладиться яствами земными, ненасытно впитывает запахи, звуки, краски, полуденный жар или вечернюю прохладу. Наслаждаясь всем этим, оно совершает торжественный обряд причащения к природе. Пронзительная радость охватывает всякого, кому довелось сподобиться такой языческой благодати. Между ним и космосом возникает почти мистическое родство, полная слиянность тела и стихий, когда толчки крови совпадают с излучением средиземноморского солнца.

Чистота и младенческое целомудрие подобных празднеств-бракосочетаний с землей, водой и небесным огнем в том, что в разгар их человек перестает быть «мыслящим тростником». Он совмещается без остатка со своей физической сутью и принуждает умолкнуть дух, чтобы «родилась истина, которая есть его опровержение». Ведь это ум обращает кровное родство личности и мироздания в чужеродность, удостоверяет непохожесть человека на бездуховную материю. Разрыв усугубляется тем, что разум достоверно знает: тело, где он обитает, смертно. И вот уже пропасть разверзается между конечным и вечным, между одушевленной крупницей плоти и безбрежной вселенной. Дух вынуждает взглянуть на изнанку пьянящих бракосочетаний, возвещает ужас предстоящего рано или поздно истлевания кучкой праха. Он мрачный вестник нашего «изгнаничества» на земле. И ничего с этим поделать нельзя. Остается взглянуть в лицо своей неминуемой гибели, вменить себе в долг скромность и не сетовать на судьбу, а в спокойном просветлении постараться собрать отпущенные нам драгоценные крохи счастья. «Нет» от века предустановленному порядку мироздания надо обручить с «да», обращенным к дарам мимолетного сейчас и здесь,— в этом, согласно Камю, вся задача. «Без отчаяния в жизни нет и любви к жизни».

Афоризм не из веселых, хотя отсюда не следует, будто ранний Камю — певец уныния и тлена. Напротив, он жадно тянется к радости, пока не поздно. Однако само по себе выдвижение смертного удела личности в качестве истины всех истин делает кругозор одиночки исходной меркой, которую философия Камю прикладывает ко всему на свете. Она не ведает мудрости тех, кто спаян со своим родом, племенем, страной, делом, кто смотрит на жизнь сквозь призму бесконечной Жизни, в которой смерть, как гибель библейского зерна, — момент трагический, но включенный в вечный круговорот умирания и воскрешения. Отдельная думающая «тростинка» наедине с глухим к ней мирозданием — первичная и самая подлинная в глазах Камю ситуация человеческого бытия. Все остальные — от рутины будничного прозябания бок о бок с другими до общественного действия — промежуточные, обманчивы. В них не обнажена самая суть, прозрачное «быть» затенено мутным «казаться». Понять жизнь — значит, по Камю, различить за ее изменчивыми малодостоверными обликами лик самой Судьбы и истолковать в свете последней очевидности нашего земного удела.

Писательство, возникающее на почве мышления, которое подобным путем отыскивает корень всех корней, неизбежно тяготеет к притче, к некоей, по словам Камю, «воображаемой вселенной, где жизнь явлена в виде Судьбы». Все книги Камю претендуют на то, чтобы быть трагедиями метафизического прозрения: в них ум тщится пробиться сквозь толщу преходящего, сквозь житейско-исторический пласт к некоей краеугольной бытийной правде существования и предназначения личности на земле. К правде исконной и последней, на уровне повсюду и всегда приложимого мифа — правде заповеди, завета.

3

В «Постороннем» подступы к этой правде, возведенной под занавес, по-своему захватывающи. Записки злополучного убийцы, ждущего казни после суда, волей-неволей воспринимаются как приглашение задуматься о справедливости приговора, как прямо не высказанное, но настоятельное ходатайство о кассации, обращенное к верховному суду — суду человеческой совести. Случай же, представленный к пересмотру, зауряден, но далеко не прост. Очевидно кривосудие слуг закона — однако и преступление налицо. Рассказ, на первый взгляд бесхитростный, затягивает своими «за» и «против». И вдруг оказывается головоломкой, не дающей покоя, пока с ней не справишься. Заочно скрепляя или отменяя однажды вынесенный приговор, в рассказчике «Постороннего» распознавали злодея и великомученика, тупое животное и мудреца, ублюдка и сына народа, недочеловека и сверхчеловека. Камю сперва изумлялся, потом сердился. А под конец и сам усугубил путаницу, сообщив полувсерьез, что в его глазах это «единственный Христос, которого мы заслуживаем».

Какую бы из подстановок, впрочем, ни предпочесть, остается неизменным исходное: он «чужой», «посторонний». Но посторонний — чему? На сей счет Камю сомнений не оставил: невольный убийца «осужден за то, что не играет в игру окружающих. В этом смысле он чужд обществу, в котором живет. Он бродит в стороне от других по окраинам жизни частной, уединенной, чувственной. Он отказывается лгать... Он говорит то, что есть на самом деле, он избегает маскировки, и вот уже общество ощущает себя под угрозой».

Встреча с этим всеотравляющим охранительным лицемерием происходит на первой же странице книги. Служащий Мерсо, получив телеграмму о смерти матери в богадельне, отпрашивается с работы. Хозяин не спешит выразить ему соболезнование: в одежде подчиненного пока нет показных признаков траура, значит, смерти вроде бы еще и не было. Другое дело после похорон — утрата получит тогда официальное признание. Вежливость тут выпотрошена, она — бюрократизированная душевность и пускается в ход сугубо «для галочки».

Столь откровенное саморазоблачение дежурного церемониала допустимо, однако, лишь в мелочах. Он обречен на выброс, если проявится халатность в случаях поважнее. Поэтому его ревни-

тели денно и ночью пекутся о том, чтобы выхолощенную искусственность подать в ореоле священной естественности, а все прочее представить как еретически извращенное, противоестественное. «Посторонний» и вскрывает механику этого защитительного отсева.

Повесть разбита на две равные, перекликающиеся между собой части. Вторая — зеркало первой, но зеркало кривое. Однажды пережитое затем реконструируется в ходе судебного разбирательства, и «копия» до неузнаваемости искажает натуру. Из сырья фактов, расчлененных и заново подогнанных по шаблонам глухого к живой жизни рассудка, изготавливается подделка. Фарисейская «гражданственность» показана прямо за работой.

Привычно вяло тянутся в первой половине «Постороннего» дни холостяка из пыльного предместья Алжира — жизнь будничная, невзрачная, скучноватая, мало чем выделяющаяся из сотен ей подобных. И вот глупый выстрел, вызванный скорее мóроком полеполуденной жары и какой-то физической раздерганностью, чем злым умыслом, обрывает это растительно-полудремотное прозябание. Неприметный обыватель попадает на скамью подсудимых. Он и не собирается ничего скрывать, даже охотно помогает следствию. Но запущенной судебной машине простого признания мало. Ей подавай покаяние в закоренелой преступности, иначе убийство не укладывается в головах столпов правосудия. Когда же ни угрозы, ни посулы не помогают вырвать предполагаемые улики, их принимают искать в биографии Мерсо. И находят. Правда, скорее странности, чем пороки. Но от странностей до чуждости один шаг, а там уж рукой подать и до злонравия. Тем более что среди «причуд» Мерсо есть одна совершенно непростительная. Подследственный правдив до полного пренебрежения своей выгодой. Обезоруживающее нежелание лгать и притворяться кажется всем, для кого жить — значит ломать корыстную социальную комедию, крайне подозрительным — особо ловким притворством, а то и посягательством на устои. В обоих случаях это заслуживает суровой кары.

Во второй части повести и происходит, в соответствии с этим тщательно замалчиваемым заданием, перелицовка заурядной жизни в житие злодея. Сухие глаза перед гробом матери перетолковываются в черствость нравственного уродца, пренебрегшего сыновним долгом; вечер следующего дня, проведенный на пляже и в кино с женщиной, — в святотатство; шапочное знакомство с соседом-сутенером — в принадлежность к уголовному дну; поиски прохлады в тени у ручья — в обдуманную месть кровожадного изверга. В зале заседаний подсудимый не может отделаться от ощущения, что судят кого-то другого, кто отдаленно смахивает на знакомое ему лицо, но уж никак не его самого. Да и трудно узнать себя в том «выродке без стыда и совести», чей портрет возникает из некоторых свидетельских показаний и особенно из намеков обвинителя. Над всей этой зловещей перекройкой витает дух ханжества. В своей кликушеской речи прокурор выбалтывает тайну судилища: глухое к принятой вокруг обрядности сердце «постороннего» — страшная «бездна, куда может рухнуть общество». И Мерсо отправляют на эшафот, в сущности, не за

совершенное им убийство, а за то, что он пренебрег лицемерием, из которого соткан «долг». Всемогуший фарисейский уклад творит расправу над отпавшей от него жизнью.

Стражи этого уклада подвижны скорее страхом, чем сознанием правоты. И оттого устроенное ими жертвоприношение утрачивает подобающую серьезность, а взамен приобретает оттенок нелепого фарса. На одном из допросов между следователем и подсудимым происходит разговор, вскрывающий природу той вражды, которую питают к «постороннему» официальные лица. Достав из стола распятие, следователь размахивает им перед озадаченным Мерсо и дрожащим голосом закликает этого неверующего снова уверовать в бога. «Неужели вы хотите,—воскликнул он,—чтобы моя жизнь потеряла смысл?» Просьба на первый взгляд столь же странная, как и обращенные к Мерсо мольбы тюремного духовника принять перед смертью причастие: хозяева положения униженно увещивают жертву. И возможная лишь в устах тех, кого гложут сомнения, кто догадывается, что в охраняемых ими ценностях завелась порча, и вместе с тем испуганно отрешивается от этих подозрений. Избавиться от червоточины уже нельзя, но можно заглушить тоскливые страхи, постаравшись склонить на свою сторону всякого, кто о ней напоминает. Чем тревожнее догадки, тем мстительнее ненависть к инуюживущим. За вселилем власть имущих кроется растерянность, и это делает их жалкими—отталкивающими и смешными одновременно.

Слух и глаз прямодушного рассказчика, добросовестно передающего все, что ему запомнилось из судебных прений, чутко улавливает эту примесь фальши, которая как раз и выдает внутреннюю немощь всемогущих. Отсюда, в частности, истерическое озлобление прокурора. Будучи втайне напуган сам, он «пугает» присяжных и публику при помощи ходульного витийства. Но в обрамлении оборотов безыскусных, простоватых, присущих пересказу удивленного Мерсо, это канцелярское краснобайство получает сниженно-буквальное прочтение и звучит несуразно. А в поддержку пародии стилиевой возникает пародия зрелищная: судейское велеречие сопровождается напыщенными жестами, которые кажутся обвиняемому набором ужимок из какой-то затверженной и диковинной балаганной пантомимы.

Незадачливый подсудимый—«третий лишний» в игре защиты и обвинения, где ставкой служит его жизнь, но правила которой ему не уразуметь. Ходы игроков загадочны и внушают ему мысль о несправедливости, призрачности происходящего в зале заседаний. Он дивится, потому что искренне не понимает. Однако это непонимание особое—не слепота, а зоркость. Наблюдатель со стороны, он легко обнаруживает изъяны, скрытые от остальных их благоговением перед привычным и должным. Он платит судьям их же монетой: для них он враждебно-странен, они же в свою очередь «остраннены» его изумленным взглядом, обращены в устроителей «чудного» обряда. Сквозь оторопелое удивление «постороннего» проступает издевка самого Камю над мертвым языком и ритуалом мертвой охранительной официальнойщины, лишь прикидывающейся осмысленной жизнедеятельностью.

Понятно, что в этом царстве смехотворной эрзац-

гражданственности, где даже изъясняются на каком-то тарабарском наречии, в которое и вникать-то, пожалуй, не стоит, правды человеческой жизни нет и быть не может. Суд над «посторонним» выливается в саркастический суд Камю над поддельными ценностями общества, промотавшего душу живую.

Именем какой же правды вершится этот суд над судьями? Рассказчик молчит о ней вплоть до последних минут, когда, выведенный из себя приставаниями священника, в канун казни он вдруг взорвался и излил все то, что копилось годами. Исповедание его веры несложно: рано или поздно, старым или молодым, в собственной постели или на плахе, каждый умрет в одиночку, разделив участь всех прочих смертных. И перед этой беспощадной ясностью тают все миражи, за которыми гонятся люди, пока не пришел их последний час. Тщетны страусовы попытки укрыться от знания своего удела за уймой дел и делишек. Суетны все потуги заслониться от жестокой очевидности, посвящая себя карьере, помощи ближним, заботе о дальних, гражданскому служению или еще чему-нибудь в том же духе. Бог, якобы предписывающий то-то и то-то,—сплошная выдумка. Пустые небеса хранят гробовое молчание, свидетельствуя, что в мире нет разумного, рачительного хозяина и с точки зрения отдельной смертной песчинки все погружено в хаос. Невесть зачем явился на свет, невесть почему исчезнешь без следа—вот и весь сказ о смысле, точнее, бессмыслице жизни, который выслушивает от глухого к его запросам мироздания всякий взыскующий истины.

Однажды открывшееся «постороннему» вселенское неразумие лишает надежных сущностных корней, а стало быть, делает произвольными и сомнительными в его глазах все принятые вокруг нравственно-поведенческие правила совместного человеческого общежития. С ними он распростился раз и навсегда, как сбрасывают ненужные одежды, и живет себе потихоньку среди людей голым человеком на голой земле—так сказать, остатком от личности за вычетом из нее члена семьи, клана, общества, церкви. Недоумевающая «святая простота» его есть, следовательно, не столько по-детски безгрешная наивность, сколько старчески усталая умудренность души разочарованной, постигшей тщету цивилизации с ее мнимыми святынями. Он на них не посягает, не ополчается—он попросту уклоняется от них и хочет, чтобы его оставили в покое, позволив наслаждаться тем, к чему у него еще не пропал вкус.

А вкус у «постороннего» не пропал разве что к телесным радостям. Почти все, что выходит за пределы здоровой потребности в сне, еде, близости с женщиной, ему безразлично. Нравственное самосознание он попросту заменил влечением к приятному. Из пристрастий не то чтобы духовных, но созерцательных у него сохранилось лишь одно: когда он не испытывает ни жажды, ни голода, ни усталости и его не клонит ко сну, ему приносит неизъяснимую усладу приобщение к природе. Обычно погруженный в ленивую оторопь, мозг его работает нехотя и вяло, ощущения же всегда остры и свежи. Самый незначительный раздражитель повергает его в тягостную угнетенность или жгучее блаженство. И дома, и в тюрьме он часами, не ведая скуки,

упоенно следит за игрой солнечных лучей, переливами красок в небе, смутными шумами, запахами, колебаниями воздуха. Изысканно-точные слова, с помощью которых он передает увиденное, обнаруживают в этом тяжелодуме дар лирического живописца. К природе он, оказывается, открыт настолько же, насколько закрыт к обществу. Равнодушно отсутствуя среди близких, он каждой своей клеточкой присутствует в материальной вселенной.

И здесь он не сторонний зритель, а самозабвенный поклонник стихий — земли, моря, солнца. Солнце словно проникает в кровь Мерсо, завладевает всем его существом и превращает в загипнотизированного исполнителя неведомой космической воли. В тот роковой момент, когда он непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета и убил араба, он как раз и был во власти очередного солнечного наваждения. Судьям он этого втолковывать не может, сколько ни бьется, — человек, по их представлениям, давно вырван из природного ряда и включен в ряд моральный, где превыше всего зависимость личности от себе подобных, а не от бездуховной материи. Для «постороннего», напротив, и добро, и благодать — в полном слиянии его малого тела с огромным телом вселенной. И чужаком среди людей его, собственно, и сделала верность своей плотской природе и всему родственному ей природному царству.

Своего рода языческое раскольниковство, воспетое и здесь, и в ранних эссе Камю, само по себе не было его изобретением. С легкой руки Ницше «дионисийское» поветрие еще с рубежа XIX—XX вв. носилось в воздухе западной культуры, и во Франции ему отдали дань, каждый по-своему, заочные наставники Камю — Андре Жид, Жан Жионо, немало других. В «Постороннем» этот возврат к телесному первородству не просто провозглашен, высказан, но подсказан, внушается всей атмосферой, преломлен в языковой ткани, сделан поистине фактом словесности. Передоверив слово рассказчику немудрящему, Камю сумел запечатлеть владевшее им умонастроение непосредственно в складе и облике своего повествования.

Разговорную заурядность и оголенную прямоту этого вызывающе бедного по словарю, подчеркнута однообразного по строю, с виду бесхитростного нанизывания простейших фраз один из истолкователей «Постороннего» метко обозначил как «нулевой градус письма». Повествование тут дробится на бесчисленное множество предложений, синтаксически предельно упрощенных, едва соотнесенных друг с другом, замкнутых в себе и самодостаточных — своего рода языковых «островов» (Сартр). Они соседствуют, не более того. Здесь нет причинно-следственных зависимостей, вспомогательное приравнено к первостепенному, побочное — к основному. Предложения схожи с черточками пунктирной линии — между ними разрыв, бессюжный пробел или чисто хронологические отсылки вроде «потом», «в следующее мгновение», которые скорее разбивают ленту речи на изолированные отрезки, чем служат связкой. Всплыв из пустоты, подробности, попавшие в поле зрения рассказчика, снова бесследно пропадают в пустоте. А между двумя бесконечностями их небытия — краткий миг, когда о них можно сказать «наличествуют», «имеют место»,

«присутствуют», «есть». Есть именно здесь и сейчас, первозданные и доверяющие себе. Память не делает усилий организовать их, увязать разрозненные сиюминутные фрагменты во временную, психологическую, рациональную или любую иную протяженность, в картину. Желание пишущего овладеть сырым материалом воспоминаний, обработать и привести их в систему и в самом деле стоит на нуле.

В этой прерывистости речевого «пунктира» есть, впрочем, если не своя упорядоченность, то своя избирательность: «черточки» приходится на вспышки зрительных, слуховых, шире — естественно-органических раздражителей. Зато все, что находится в глубине явлений или между ними, что не дано непосредственно, а требует осмысляющих усилий, для Мерсо непроницаемо, да и не заслуживает того, чтобы в это вникать. Интеллект, улавливающий за фактами их значение и увязывающий их с соседними фактами, здесь погружен в спячку, вовсе выветрился, и образовавшиеся пустоты заполнены ощущениями. Ум отключен настолько, что и собственные поступки «посторонний» истолковывает с трудом: они возникают в его памяти как вереница инстинктивных откликов организма на позывные извне — как то, что не сам он делал, а с ним делалось. Поэтому-то он и не раскaiвается, а лишь выражает легкое сожаление, когда от него требуют признания вины. Ошеломляющая парадоксальность повести как раз и связана с тем, что ведущее рассказ «я», утратив аналитическое самосознание, раскрыть себя изнутри не способно. Оно отчуждено от самого себя, созерцает себя словно другого. Тем более для него непроницаемо окружающее «не-я» — последнее можно ощутить, можно телесно в нем раствориться, но нельзя постичь.

«Нулевой градус письма» Камю есть, таким образом, особая повествовательная структура мышления — почти замолкшего, бесструктурно-рыхлого, с нулевым накалом умственного напряжения. «Посторонний» живет бездумно, раз и навсегда погрузившись в рассудком в спячку, и это не только не мучит его, а приносит блаженство. Он стряхивает с себя дурман всего один раз, когда в приводившейся уже беседе со священником даже переходит на не свойственный ему прежде философический лад. Да и то лишь для того, чтобы предписать своему духу и разуму молчание, заставив их отречься от всяких прав в пользу тела. Слова «я был счастлив, я счастлив и сейчас» в устах ожидающего казни слишком весомы, чтобы не прозвучать почти как завет, как провозглашение своей правоты, а быть может, и праведности. Все выглядит так, будто, не случись нелепого выстрела на берегу моря, «посторонний» своей жизнью, смотришь, и отыскал бы квадратуру бытийного круга: как и для чего жить, если жизнь — приближение к смерти. Во всяком случае, Камю, видевший в своем Мерсо «человека, который, не претендуя на героизм, согласен умереть за правду», делает немало, чтобы внушить доверие к намеченному в «Постороннем» поиску решения.

И не достигает желаемого. Свобода и «правда» дионисийского раскрепощения, да и все пустынножителство «постороннего» в гуще многолюдья крайне сомнительны хотя бы по той простой причине, что они осуществляются за чей-то счет. И не признают

никаких границ произволу своевольного хотения, несущего смерть другим, тому же безымянному арабу, застреленному ни за что ни про что на пляже. Когда-то Достоевский, весьма почитавшийся Камю, вздернул на дыбу раскаяния своего Раскольникова и обрек на умопомешательство идеолога смердяковского преступления Ивана Карамазова. Мерсо же слегка досадует — и только. Для Камю жизнь «умирающего за правду» «постороннего» — козырь, дабы побить карты служителей кривосудия, убедивших себя в нерушимости принципов, которые им поручено охранять: И он словно бы не замечает или умалчивает, что у них на руках козырь ничуть не менее сильный — жизнь, оборванная «посторонним». А ведь это существенно меняет урок всей рассказанной истории. И если «посторонний» — Христос, распятый фетишистами фарисейской охранительности, то погибший от его пули араб — Христос, распятый фетишистом языческой раскованности. Ходатайство, поданное Камю в трибунал взыскательной совести для пересмотра дела об убийстве, даже при учете непреднамеренности преступления, поддержать так же трудно, как и скрепить приговор.

Замешательство, граничащее с прямым несогласием, которое испытывает в случае с «посторонним» живое и непосредственное чувство справедливости еще до всяких умозрительных доводов, рождено тем, что по видимости безупречное «или — или» у Камю казуистично, таит подвох. «Мышление наоборот», склонное попросту менять добропорядочный плюс на вызывающий минус (раз нет бога — нет никакого закона для личности), само по себе ничего не может поделывать с прорехами тех одежд, которые оно выворачивает наизнанку. Выхолощенный ритуал судилища только внешне противостоит натуральности «постороннего», исторически же и просто житейски они гораздо ближе друг другу, чем кажется. Их сопряжение как раз и есть парадокс цивилизации, внутренне истощенной, растратившей здоровую органичность сознания, исчерпавшей свои ценностные запасы. Свод официальных законоположений и запретов («дух») здесь — жесткая узда для кишачих в житейской толще своекорыстных анархических вождельний отдельных особей, распыленных и предоставленных самим себе («плоть»). Принудительная непреложность права дает чисто внешние скрепы этому скорее «со-вражеству», чем со-дружеству одиночек. Да и писанные законы, оторвавшиеся от неписаных обычаев и сделавшиеся мертвой буквой, — сугубо головной раскус, призванный предохранить от распада общественного тело, составленное из частиц, у каждой из которых своя особая корысть и своя забота: своя плотская нужда. Стычка охранительной условности и своевольного естества в «Постороннем» проистекает из этой давней распри сожителей поневоле. Тут сокровенное, нутряное рвет стеснительные пути, клеточка на свой страх и риск норвит ускользнуть от насильственной включающей ее в себя структуры, всеми болезнями которой она, однако, затронута. Языческая правда, которую Камю поручил высказать под занавес своему подопечному, на поверку предстает одной из кривд того самого жизнеустройства, о чьем благообразии пекутся следовательно, прокурор, священник. В конце концов, судьи «чужака», прихлопнувшего случайного встречного так, будто это назойливая

муха, и в самом деле преувеличивают, усмотрев в неосторожном нарушителе ритуала заклятого врага — вот уж, что называется, у страха глаза велики. Ведь он — ягода с возделанной ими грядки.

Без сомнения, у Камю предостаточно яростного остроумия в развенчании казенной мертвечины, с тупым упорством давящей живую жизнь. Ему не занимать ни искренности, ни исполненной серьезности тяги ко всему, что восстает против подделок. Все это побуждает прислушаться к прозвучавшему в «Постороннем» вовсе не праздному беспокойству по поводу оскудения гражданственности, промотавшей свою душу и полагающей, что она тем успешнее повергает в священный трепет и обеспечивает здоровую нравственность, чем сильнее сотрясает воздух, бряцая затверженными прописями.

Камю помышлял, однако, о гораздо большем, чем просто сигнал тревоги. Конечно, Мерсо для него еще не мудрец, постигший все секреты праведной жизни. Но все-таки уже послушник, находящийся в преддверии благодати — по словам самого Камю, обладатель «правды, правды быть и чувствовать, пусть пока что негативной, однако такой, без которой никакого овладения самим собой и миром вообще невозможно». Из повести исподволь вытекал ненавязчивый совет не пренебречь откровениями предсмертного часа.

Но, увы, заверения «постороннего», причастившегося сиюминутных яств земных, не очень-то убеждали: этому мешала гильотина впереди, да и труп жертвы позади. Камю слишком легко принимал и выдавал за правдоискательство мифы душеспасения через побег в окраинные скиты жизни сугубо телесной, довольствуясь тем, что мастерски перелагал бытующие вокруг толки о суете сует, об очистке от скверны ненатурального и омовении в прозрачных водах естества. И в своей поглощенности столь прельщавшими его языческими ценностями не замечал, что вся эта расхожая мыслительная монета подсунута ему тем самым строем жизни, против которого он ополчился. Презрительное «нет», брошенное Камю порядкам, которые прикрывают свою опустошенность ветхими лохмотьями словес, и сами-то в них как следует не веря, с лихвой заслужено. Однако правда разобщения и добровольного робинзонства, чьим подвижником сделан «посторонний», выглядит небезопасным томлением не просто блудных, но и во многом заплутавших детей самодовольной охранительной добропорядочности, опьяненных и сбитых с толку своим отпадением от отчей опеки.

4

Одновременно с невзрачным «посторонним» те же мучительные истины относительно смертного удела людского открывал для себя у Камю, только с куда более страшными последствиями, вознесенный к высотам власти римский самодержец Калигула из одноименной трагедии. И эта философская переключка двух столь разных лиц проливала дополнительный свет на опасности, которыми бывают чреваты такие прозрения.

Калигула, как он рисуется в этой пьесе, заставляющей своими острыми словесными схватками вспомнить перо Камю — мастера эссе, вовсе не злодей с колыбели. Кровавым безумцем благовоспитанного и незлобивого по природе юношу сделала жгучая боль от утраты возлюбленной, когда у ее бездыханного тела он вдруг в ужасе осознал: жизнь, рано или поздно обрываемая смертью, устроена вопиюще нелепо и нестерпимо. Между тем мало кто из его подданных хочет в это вникать, предпочитая изо дня в день глушить свой ум суетными хлопотами. Уязвленный осенившей его ясностью, Калигула желает просветить своих вельмож, да и весь народ. И ради этого учиняет чудовищное лицедейство: как бы соперничая в произволе с судьбой, он измывается над ними с сатанинской изощренностью, дабы вбить в их головы правду всех правд, гласящую, что ее нет на земле и в помине. Как нет в таком случае и поступков добродетельных или дурных по причине отсутствия для них ценностного мерила там, где хозяйничают прихоть и хаос. Каждый волен покорно идти на заклатие, а волен и поднять руку на палача. Волен вообще вести себя как вздумается. Калигула преподает уроки свободы, истолкованной как своеволие и вседозволенность.

Философствующий изверг-«просветитель» у Камю парадоксально прав против всех в мыслях, преступен перед всеми на деле. В споре с ним никто из его жертв не в силах опровергнуть доводы, которыми он подкрепляет свои надругательства. Рядом с логически безупречными умозаключениями Калигулы жалким лепетом кажется защита благоразумия и добропорядочности в устах придворных, перепуганных тем, что «наставлениями» сумасбродного владыки семейные нравы подорваны, устои государства шатаются, простонародье богохульствует. Но даже и те из бывших его советчиков, кто мыслит смело, бескорыстно, здраво, тоже не могут ничего толком противопоставить его сокрушительным выкладкам, попадают под их колдовские чары.

Где же в таком случае вина венценосного убийцы? И есть ли она вообще? Или это просто беда, горе от ума? Ведь выходит, что Калигула вроде бы мученик непререкаемой бытийной истины, жертва своей страсти быть верным ей до конца. И по крайней мере отчасти очищен тем, что готов искупить свою последовательность, заплатив собственной кровью за пролитую кровь и причиненные другим муки. Изнемогший под бременем неопровержимой смертельной логики, он сам подставляет грудь под кинжалы заговорщиков, когда они все-таки дерзнули взбунтоваться. Взыскав невозможного в своем вызове вселенскому неблагоустройству, он пускает в ход имеющуюся у него возможность — нагромождать трупы и под конец швырнуть в общую грудку свой собственный труп. Камю делает немало, чтобы заставить нас влезть в шкуру своего тирана от отчаяния, проникнуться пониманием этого «падшего ангела» изнутри — и вместе с тем он хотел бы предостеречь против бесовской одержимости Калигулы быть на свой лад цельным, породнить мысль и дело.

История сама позаботилась о том, чтобы высветить коварнейшую нравственную двусмыслицу бунтаря против судьбы, сеющего смерть, и при первой же постановке трагедии в 1945 г. заставила

перенести упор на его развенчание. В жути блуждающего взора Калигулы — Жерара Филипа зритель тогда без труда распознавал взгляд калигул со свастикой, совсем недавно бесчинствовавших во Франции. За этим постановочным сдвигом к однозначности, с тех пор обычным для попыток воссоздать «Калигулу» на театре, крылся серьезный пересмотр Камю своих отправных воззрений в промежутке между замыслом, восходящим к 1937—1938 гг., и появлением пьесы на подмостках. Судить напрямую об этой смене духовных вех под давлением обстоятельств военного лихолетья позволяет прежде всего эссеистика Камю.

5

Философский труд «Миф о Сизифе» убеждает, что в уста и «постороннего», и Калигулы Камю вложил многие из ключевых своих мыслей предвоенной поры. На страницах этого пространного «эссе об абсурде» они так или иначе повторены и обстоятельно растолкованы, а под самый конец еще и стянуты в тугую узел притчей — пересказом древнегреческих преданий о вечном труженике Сизифе.

По легенде, мстительные боги обрекли Сизифа на бессрочную казнь. Он должен был вкатывать на гору обломок скалы, но, едва достигнув вершины, глыба срывалась, и все приходилось начинать сызнова. Спускаясь к подножью горы, Сизиф, каким он рисуется Камю, сознавал всю несправедливость выпавшей ему доли, и сама эта ясность ума уже была его победой. «Пролетарий богов, бессильный и бунтующий», не предавался стенаниям, не молил о пощаде, а презирал своих палачей. Свой тяжкий труд он превратил в обвинение их несправедности и свидетельство мощи несмирного духа; в бессмыслицу внес смысл своим вызовом: «единственная правда — это непокорство».

Случилось так, что дни, когда Камю завершал свое эссе, располагали очень и очень многих во Франции внять стоической мудрости Сизифа. Разгром 1940 г. обрекал на рабство, ничто не предвещало счастливого исхода чреды худших превратностей. И впрямь было от чего дрогнуть, заклеить слепую жестокость истории, которая будто взялась доказать, что она кровава, равнодушна к мольбам и укорам, ей плевать на благороднейшие чаяния. Пройдет всего год-два, и вести о победе на Волге послужат внушительным опровержением этих апокалипсических «самоочевидностей». Пока же простому рассудку с ними не справиться. Он легко мог расчислить, что надеяться, тем более сопротивляться глупо и остается либо сотрудничать с захватчиками, либо пустить себе пулю в лоб. Во Франции была пора, когда плоское здравомыслие разоруживало. Зато произвольное, парадоксально-сумасбродное упрямство поступков, рационально не выводимых из обозреваемых жизненных данных, без надежды на успех, помогало устоять против искусов предательства или самоуничтожения. Продолжаю жить и делать свое дело, зная, что это несуразно с точки зрения куцега благоразумия, — вот весьма распространенный тогда настрой умов.

Но если трагический поворот истории выявил ту долю нравственной правоты, которую в обстановке катастроф сохраняет не внемлющее никаким пораженческим доводам упрямство Сизифа, то злободневные запросы истории обнаруживали и нравственную недостаточность, изъяны сизифовой мудрости. Ведь спустись, скажем, Сизиф однажды, вопреки приговору небожителей, с безлюдного горного склона в долину, где враждуют между собой племена ее обитателей, он очутился бы перед неразрешимой для него задачей. До сих пор все было тяжело, но по крайней мере ясно: камень, гора и нечеловеческий труд, от которого Сизифу не дано избавиться. Теперь же перед ним разные пути, среди них следует предпочесть какой-нибудь один, обдумав, почему, собственно, этот, а не другой. Сизиф начинает лихорадочно искать, однако на ум приходит вереница малоутешительных афоризмов: правды нет ни на земле, ни выше, все бессмысленно, значит, «ничто не запрещено» и «иерархия ценностей бесполезна», ей не на что опереться. Любой выбор, следовательно, оправдан, лишь бы он был внятно осознан. Позже Камю без обиняков укажет на самое слабое, ломкое звено разрыва в цепочке философствования, стержневой для «Мифа о Сизифе»: «Чувство абсурда, когда из него берутся извлечь правила действия, делает убийство по меньшей мере безразличным и, значит, допустимым. Если не во что верить, если ни в чем нет смысла и нельзя утверждать ценность чего бы то ни было, тогда все позволено и все неважно... Можно топить печи крематориев, а можно и заняться лечением прокаженных. Злодейство или добродетель — все чистая случайность и прихоть».

Еще до выхода «Мифа о Сизифе» в свет вытекавшее из книги вольное или невольное попустительство своеволию, по сути своей внеморальному и безнравственному, не могло не устареть в глазах Камю-подпольщика. Включившись в Сопротивление, он был вынужден подладить орудия своей мысли к собственному решению служить делу защиты родины и человечности. Какая польза была его сражающимся соотечественникам в откровениях по поводу вселенской нелепицы, сопровождаемых советами не делать различий между добром и злом? В четырех «Письмах к немецкому другу» Камю постарался наметить тот уступ, ухватившись за который он предотвратил бы соскальзывание своей мысли к карамазовски-нищеванскому «все дозволено». И построил для этого в свое бывшее философствование весьма существенно уточнявшую его гуманистическую посылку: «Я продолжаю думать, что в этом мире нет высшего смысла. Но я знаю, что кое-что в нем все-таки имеет смысл, и это — человек, поскольку он один смысла ищет. В этом мире есть по крайней мере одна правда — правда человека... его-то и надо спасти... это значит не калечить его... делать ставку на справедливость, которая внятна ему одному».

Моралистика Камю обретала тем самым столь недостававший ей прежде действительно нравственный заряд. По ходу этого мировоззренческого перелома и вырисовывался в рукописях будущей «Чумы» облик врачей, уже не посторонних всем и вся окрест них, а кровно причастных к совместной обороне против разгула смертоносной нечисти.

«Чума» возвращает нас в те самые алжирские края, где их уроженец Камю не так давно праздновал свои «бракосочетания» с благословенной средиземноморской природой. Но на сей раз это выжженный зноем, посеревший от пыли, грохочащийся посреди голого плато город Оран, уродливый и бездушный. Да и само повествование теперь куда суше, аскетичнее. Деловито и сдержанно ведет летопись одного чумного года вымотанный до предела доктор Риэ, организатор защиты от вспыхнувшей неожиданно-негаданно эпидемии. Впрочем, в своем авторстве он признается лишь на последних страницах, так что даже пережитое лично им подано как часть «коллективной истории» — беспристрастного, хотя и неравнодушного протокольного свидетельства о «наших согражданах» в бедственную годину. Летописец выводит нас за рамки трагедии кого-нибудь одного, приобщая к катастрофической участи всех и каждого. Исчезли вольные просторы приморья — жители Орана заперты от мала до велика в крепостной огаде лицом к лицу со смертельной опасностью. Здесь все жертвы: зараза настигает без разбора преступников и праведников, детей и стариков, малодушных и мужественных. Рамки повествования всеохватывающи, речь в нем не о столкновении личности со своей средой, не о противоборстве правых и неправых, а о жестокой встрече поголовно всех с безликим бичом человечества — чумой.

Гроза древних и средневековых городов, чума в XX столетии вроде бы изжита. Между тем хроника датирована довольно точно — 194... год. Дата сразу же настораживает: тогда слово «чума» было у всех на устах — «коричневая чума». Чуть дальше оброненное невзначай замечание, что чума, как и война, всегда заставляла людей врасплох, укрепляет мелькнувшую догадку. Чуть-чуть воображения, и она подтверждается от страницы к странице. Сквозь дотошные клинические записи о почти невероятном, маловероятном медицинском случае зловеще вырисовывается лик другой, исторической «чумы» — фашистского нашествия, превратившего Францию и всю Европу в застенки. По словам Камю, «явное содержание «Чумы» — это борьба европейского Сопротивления против нацизма». Чума — уже закрепленная повседневным словоупотреблением метафора. Вторжение дремучего варварства в цивилизацию: пепелище Орадура, печи Освенцима, штабеля Бабьего Яра... Отнюдь не анахронизм, не предание. Кровью вписанный в память коричневый апокалипсис.

Зачем, однако, понадобилось Камю прибегать вместо исторической были к намекам иносказательной притчи? Работая над «Чумой», он записал в дневнике: «С помощью чумы я хочу передать обстановку удушья, от которого мы страдали, атмосферу опасности и изгнания, в которой мы жили тогда. Одновременно я хочу распространить это толкование на существование в целом». Хроника чумной напасти позволяла придать рассказанному, помимо переклички с недавним прошлым, еще и вневременной, всевременной размах мифа. Катастрофа, потрясшая Францию, в глазах Камю была катализатором, заставившим бурлить и вы-

плеснуться наружу мировое зло, от века бродящее в истории, да и вообще в человеческой жизни.

Рассыпанные по книге «мысли по поводу», принадлежащие и самому составителю хроники, и его друзьям, постоянно напоминают об этом двойном виденье вещей. Слово «чума» обрастает бесчисленными значениями и оказывается чрезвычайно емким. Чума не только болезнь, злая стихия, бич, и не только война. Это также жестокость судебных приговоров, расстрел побежденных, фанатизм церкви и фанатизм политических сект, гибель невинного ребенка, общество, устроенное из рук вон плохо, равно как и попытки с оружием в руках перестроить его заново... Она привычна, естественна как дыхание — «ведь нынче все немножко зачумленные». Микробы чумы гнездятся повсюду, подстерегают каждый наш неосторожный шаг. Вообще, на свете есть лишь «бедствия и жертвы, и ничего больше». И когда на заключительных страницах один из постоянных пациентов врача Риэ, сварливый астматик, брюзжит: «А что такое, в сущности, чума? Тоже жизнь, и все тут», — то его желчный афоризм выглядит точкой над «i», ключом ко всей притче. Чума-беда до поры до времени дремлет в затишье, иногда дает вспышки, но никогда не исчезает совсем. И, «возможно, придет на горе и в поучение людям такой день, когда чума пробудит крыс и пошлет их околевать на улицы счастливого города».

В свете этого предсказания, завершающего летопись призывом к бдительности, который не утратил, увы, злободневного звучания и по сей день, подчеркнуто безликий, отгородившийся от всего суетой своих дел и привычек Оран до появления первых признаков чумы — это и есть для Камю сонные будни мира, царство рутины, где люди пребывают в неведении или намеренно делают вид, будто затаившаяся где-то зараза не грозит в любой момент обратить их бестревожное прозябание в земной ад. Они судорожно цепляются за успокоительную ложь: жить самообманом — их потребность, потому что правда слишком устрашающая. Но бичам карающим нет дела до людских страхов и заблуждений. Однажды они вдруг обрушиваются на тихие города, грубо опрокидывают все вверх дном и преподают беспощадный урок: жизнь — тюрьма, где смерть состоит надзирателем. Хроника нескольких месяцев оранской эпидемии, когда половина населения, «загнанная в жерло мусоросжигательной печи, вылетала в воздух жирным липким дымом, в то время как другая, закованная в цепи бессилия и страха, ждала своей очереди», подразумевает хозяйничание гитлеровцев во Франции. Но сама встреча соотечественников Камю с захватчиком, как и встреча оранцев с распыленным в микробах чумным чудищем, по логике книги, — это трудное свидание человечества со своей Судьбой. Той самой, столкновение с которой в «Мифе о Сизифе» обозначилось словом «абсурд». Чума у Камю — иероглиф вселенской нелепицы, очередным и особенно сокрушительным обнаружением которой была для него европейская военная трагедия 1939—1945 годов.

Довольствуйся Камю, однако, выведением тождества «судьба-абсурд-история-чума», его хроника была бы очередным плачем застигнутого и сломленного светопредставлением — из тех стена-

ний, каких в культуре Запада XX в. избыток. Но все дело в том, что «Чума» — прежде всего книга о сопротивляющихся, а не о сдавшихся, книга о смысле существования, отыскиваемом посреди бессмыслицы сущего.

Нахождение этого смысла особенно прямо раскрывается в истории одного из сподвижников доктора Риэ, заезжего журналиста Рамбера. В зачумленном городе парижский репортер застрял случайно. А где-то далеко за морем его ждет любимая женщина, покой, нежность. Выбраться, во что бы то ни стало выбраться из ловушки этих чужих стен — Рамбер одержим мыслью о побеге. Те, кто ввел карантинные запреты, прибегли, как ему поначалу кажется, к отчуждающему личность «языку разума» и отвлеченного долга — тому самому, на каком изъяснялись судьи «постороннего». И вот, когда почти все препятствия позади, все готово к столь желанному побегу, журналист вдруг предпочитает остаться. Что это, мимолетная прихоть? Порыв жертвенности? Нет, исподволь зревшая потребность, пренебрегши которой потеряешь уважение к себе. Совесть замучает. «Стыдно быть счастливым одному... Я раньше считал, что чужой в этом городе и что мне здесь у вас нечего делать. Но теперь... я чувствую, что я тоже здешний, хочу я того или нет. Эта история касается равно нас всех». Посторонний осознает свою полную причастность. Счастье невозможно, когда все вокруг несчастны. Человек не вправе уклониться от происходящего рядом. Сопротивление побудило Камю внести в свой нравственно-философский кодекс прежде исключавшееся оттуда братство с другими в беде и в защите от нее.

Прорыв к правде, до сих пор где-то похороненной, ждет в «Чуме» не одного Рамбера. Для всех других и всякий раз по-своему, но рано или поздно настает час прозрения, когда чума освобождает ум и душу очевидцев ее бесчинств от удобных заблуждений. Каждому из участников чумной трагедии как бы поручено донести до нас свою часть распределенного между ними груза, в целом образующего жизненную философию писателя Камю.

Возникающая заданность, суховатая жесткость в обрисовке лиц, да и в построении всей хроники, которая в западной прозе XX в. вообще выделяется редкой простотой, вызывала немало нареканий по адресу Камю-художника. Упреки в холодности и даже скучноватости были бы, однако, уместны, выступи бы он здесь как рассказчик занимательных историй, наблюдатель нравов или исследователь душевных бездн. Но он предельно скуп, когда речь заходит о поступках: его повествование не событийно, не о самих перипетиях борьбы в строгом смысле слова — ее трудностях, неудачах, победах. Еще сдержаннее Камю, когда ему случается ненароком коснуться сердечных тайн. «Чума» — прежде всего философская притча писателя-моралиста со своими источниками «занимательности», своей особой поэзией умственного поиска. Когда Риэ, или его друг Тарру, или кто-нибудь другой высказывает отточенную в своей простоте сентенцию, выношенное суждение о творящемся вокруг и своем призвании на земле, именно в минуты этих самоопределений в жизни они с лихвой

наверстывают то, что потеряно из-за эскизности их характерологической обрисовки. Чума—суровый экзамен, всех уравнивающий и отменяющий все оттенки, она предлагает каждому два вопроса, затрагивающих решительно всех: что есть жизнь? и что значит сохранить достоинство перед натиском неведомо откуда навалившегося и захлестнувшего все зла? От ответа не волен уклониться никто. Сопоставление точек зрения, высказанных в беседах, в записях, в раздумьях вслух или про себя, а затем проверенных поступками, и составляет увлекательность «Чумы». Напряженное обсуждение и афористически отчеканенные оценки участи и долга человеческого дают повествованию интеллектуальный нерв, служат пищей для ума, будоражат его и пробуждают. «Чума»—тот не частый, хотя не столь уж исключительный для Франции случай, когда умозрение не мешает словесности, а ее питает.

В этом пристрастии к ясной мысли, даже одержимости ею, есть как будто что-то несовместимое с исходным разочарованием самого Камю в разуме как орудии постижения жизни. С одной стороны, вместо попыток понять природу бедствия—мифотворческая его зашифровка, с другой—данная борцам против чумы жгучая потребность понять себя и поступать отнюдь не по наитию. Столкновение безнадежного неразумия вселенной и осмысленности наших поступков, когда это неразумие берется с парадоксальным спокойствием за отправную для них точку, как раз служит, согласно Камю, тем подвижным отношением, которое нужно непрерывно поддерживать как залог соблюдения духовной меры. Только это способно предохранить нас от саморазрушения или срывов в безнравственность. И достаточно, скажем, поддаться хаосу сущего, допустив сумятицу внутри души, или же, напротив, нескромно распространить свою жажду ясности вовне, занявшись изысканием разумных начал неразумного миропорядка, точнее, беспорядка, а уж отсюда в свою очередь выводить ту или иную линию действий, как нас ждет катастрофа.

Крах богослова Панлю в «Чуме»—именно такая трагедия мысли. Веру в промысел небес, если она не изменяет себе до конца, невозможно увязать с сопротивлением бедствию. Перед человеческим страданием верующий смиряется и возносит хвалы карающей длани. А ученый отец иезуит не просто христианин, не просто служитель церкви, он у Камю—воплощенное христианское миропонимание. Для него создатель поистине всеведущ и всеблаг, и раз он допустил чумные беды, значит, на то был высший разумный умысел. В своих проповедях Панлю в стиле ветхозаветных пророков закликает заблудших овец господних коленопреклоненно покаяться: чума ниспослана на нечестивый град, погрязший в грехе, это наказание очищающее, перст, указующий путь ко спасению. Божий бич отделит чистых от нечистых, праведных от виновных, он—зло, которое ведет в царство доброты. От него не оградит мирская медицина, оранцам надлежит довериться провидению.

Но чума будто издевается над всеми истолкованиями. Она милует порочных и поражает безгрешных. Кончина невинного

ребенка в особенности ставит под удар всю теологическую премудрость Панлю. У трупа младенца он должен либо усомниться в правоте всевышнего, либо зажмурить глаза и заткнуть уши, продолжая вопреки очевидности цепляться за обломки терпящих крушение верований. И тогда ему ничего не остается, кроме самоослепления, кроме растеряннo-смятенного «верую, ибо нелепо». Отец иезуит зашел слишком далеко в своем умопомрачении — отказе от собственного суждения в пользу веры, и притом достаточно целен, чтобы заплатить за нее жизнью. Когда у него самого обнаруживаются признаки заражения, он не хочет лечиться, всецело полагаясь на помощь господню и отталкивая помощь людскую. А следовательно, отрекается от вопиющей правды всего земного, состоявшей в том, что посюсторонняя жизнь лишена божественно-разумного покровительства и сколько-нибудь справедливого устройства. И болезнь уносит его, словно подтверждая бесплодие нравственности, черпающей свои доводы в мистике откровения.

Тупик, куда заводит священника его неукоснительный провиденциализм, позволяет уловить особый срез и подлинные масштабы раздумья о морали, предпринятого в «Чуме». Речь идет о конечных мировоззренческих опорах и «санкциях» нравственного поведения, о самой возможности или ненужности подыскивать ему освящение свыше, извлекать из велений божьих или, правомерно добавить, из любого иного понимания сущего как законосообразности — натурфилософского, космологического, естественнонаучного и всех прочих, усматривающих в бытии конечное благоустройство. Вопрос задан так: нуждается ли мораль в обоснованиях извне или обладает самодостаточностью, в самой себе черпает все необходимое?

Камю заставляет своего Ризэ на ощупь прокладывать дорогу прочь от слепой веры. Уже само ремесло врача, каждодневно имеющего дело с болезнями и смертями, этим кричащим во всеуслышанье «скандалом» человеческой доли, давно разрушило в нем прекраснoдушные надежды на «разумную» расположенность к нам мирового порядка вещей. Тщетно поэтому «обращать взоры к небесам, где царит молчание». Понять это — не значит принять: «надо быть сумасшедшим, слепцом или просто мерзавцем, чтобы примириться с чумой». В отличие от священника, пренебрегающего нуждами тела, лишь бы «спасти» души, медик каждым своим шагом выражает несогласие с участью, уготованной нам на земле. Заботы его гораздо скромнее, зато они насущнее и сосредоточены на невзгодах заболевших. «...Для меня такие слова, как спасение человека, — возражает он Панлю, — звучат слишком громко. Так далеко я не заглядываю. Меня интересует здоровье человека, в первую очередь здоровье». Без всякой жертвенности делает этот сын рабочего, с детства прошедший школу нищеты, свое привычное дело — дело врача, дело сопротивляющегося беде человека. Он как всегда обходит своих больных, разве что из-за чумы их неизмеримо больше. Но смысл деятельности остался прежним, выбор был естествен как дыхание. Ризэ занимается своим ремеслом, лечит, и «это не героизм, а обыкновенная честность».

Стыдливая сдержанность доктора, который предпочитает про-

заическое «ремесло» высокопарному «деянию», проистекает вовсе не из намерений Камю развенчать героическое в человеке. Убирая ходули, героя возвеличивают. За этой скромностью ощутимо суровое целомудрие солдата, не доверяющего фразерам, способным похоронить под шелухой пышных словес самые святые побуждения и поступки. А главное — за этим кроется несогласие с теми, кто, подобно богослову, так или иначе исходит из понятия «первородного греха», изначальной ущербности человеческой природы, и, принижая ее, рассматривает подвиг как из ряда вон выходящее подвижничество. Для Риэ и его помощников долг — не восхождение на Голгофу, а само собой разумеющееся побуждение: когда приходится изо дня в день выполнять изнурительную черную работу, добрая воля куда важнее, чем самозаклание на жертвенном алтаре.

Дух проникнутого заботой о других противоборства шквалу, сеющему смерть, — это и есть гуманистическое завоевание, которым Камю обязан патриотическому Сопротивлению. Укрепись в своем долге, не становись на колени перед судьбой, чего бы это ни стоило, лечи, даже если надежд на окончательное «спасение» нет и нельзя отменить трагизм человеческого удела, — таковы уроки «Чумы». И ее действующие лица наделены для этого достаточной жизненностью. «Есть больше оснований восхищаться людьми, чем презирать их», — подытоживает хронист свою летопись.

И все же есть у скромного героизма в «Чуме» своя уязвимая хрупкость, проистекающая из его философской подкладки. В самом деле, если принять за исходную очевидность, что вокруг царит и всегда будет царить таинственный произвол судьбы-чумы, то ведь предотвратить стихийный взрыв этого зла, а тем более справиться с ним никому не под силу. В «Чуме» ни врачи, ни городские власти не могут, как ни бьются, совладать с заразой — ее истоки, сама природа и протекание болезни остаются неизвестными. Бациллы чумы исследуют в лаборатории, на основе полученных данных изготавливается сыворотка, но никто не знает, удалось ли установить, что это за микроб, действительно ли лекарство. Чуму так и не сломили, похоже, что она просто-напросто истощила запас своей злобы и уползла обратно в свое логово, дав жертвам передышку до следующего раза. Все труды доктора Риэ и его соратников обречены на то, чтобы завершиться скорее поражением, чем победой. Остается полагаться на прихоть чумы.

«Нельзя одновременно лечить и знать», — убежден доктор. Справедливый афоризм, если знать — это иметь наготове отмычку, вроде божественного промысла, с помощью которого очень просто столь же стройно, сколь и произвольно истолковать-оправдать происходящее. Подобное «знание» (но что тогда заблуждение?) и впрямь лишь одна помеха. Но если называть вещи своими именами, то не оказывает ли скромность в понимании Камю дурную услугу «ясности», обрекая ее на незнание, больше того — на подозрительность ко всяким попыткам знать? Можно ли, однако, всерьез лечить, не зная? Не смахивает ли это на знахарство? Скромной ясности без знания — ясности, которой

заведомо ясно, что она погружена во тьму кромешную и о свете помышлять не приходится, да и вредно, пожалуй,—на каждом шагу грозит опасность обернуться смирением перед своей немощью, невысказанной покорностью. Граница между врачеванием и долготерпением выглядит в «Чуме» подчас слишком расплывчатой и зыбкой. Нравственность, чурающаяся знания, сохраняет подчиненность тому самому ходу дел, в котором нравственность благолепного самоотречения усматривает божественный промысел.

Существует, видимо, лишь один выход из этой западни: отнюдь не ожидая от знания, всегда незавершенного, божественных откровений—разгадку всех на свете жизненных загадок и расчисленные до конца всепокрывающие цели,—тем не менее воздать ему должное: пробовать черпать там известные возможности обеспечения и воплощения на деле нравственно-исторических устремлений. Выход, не лишенный своих подвохов, поскольку познающий, даже при самых благих намерениях, может и ошибиться, приняв желаемое им самим за сухую истину. И тогда нравственность, которую он станет подкреплять и подправлять, а то и властно направлять таким лжезнанием, обречена на сосальзывание к худшей безнравственности. Камю этот труднейший для всех почти этических исканий XX в. и не раз коварно о себе напоминавший подводный риф так сильно настораживает, что он, подобно ряду других мыслителей-моралистов, колеблется и отступает назад.

Биография Тарру, самого философического из врачей «Чумы», в котором дар самоотверженного деятеля уживается с тяготением к некоей, по его словам, святости без бога, многое здесь проясняет. Именно его исповедь доктору—интеллектуальное увенчание того нравственного кодекса, в который посильную лепту вносит каждый из поборников скромной ясности в хронике.

Судя по всему, Тарру—сын прокурора из «Постороннего», тот самый юноша, что сверлил глазами подсудимого, чьей головы требовал его папаша именем закона. Прокурор добился смертного приговора и потерял наследника. Сын покинул кров добропорядочного убийцы в мантии. Не желая оставаться «зачумленным», он предпочел безбедной жизни бродяжническое правдоискательство, вмешался в политику, не раз брался за оружие в защиту угнетенных. Однако в гражданской войне он встретился и с ее жестокой неумолимостью. Однажды ему довелось присутствовать при расстреле врага. И тогда его осенило: «я... как был, так и остался зачумленным, а сам всеми силами души верил, будто как раз борюсь с чумой». Напрасно товарищи приводили ему доводы в подтверждение права вчерашних обездоленных отвечать насилием на насилие. Он задавался вопросом: можно ли положить на макиавеллистски лукавый разум, способный оправдать что угодно, на людские попытки различить в жизни и в истории, где добро и где зло? А если да, то допустимо ли во имя каких бы то ни было благ, пусть самых бескорыстных, разумных и справедливых, преступить библейскую заповедь «не убий!»? Муки уязвленной совести в конце концов подвели Тарру к безоговорочному

«нет», он наотрез отказался вникать в разные цели истребляющих друг друга станом и в зависимости от этого принимать или отвергать крайние средства, служащие их достижению. Прекрасно понимая, что это обрекает его на отшельничество, он запретил себе, как коварнейший соблазн, попытки совместить исповедуемые им ценности и запреты с социально-историческим знанием, которое сами понятия долга, справедливости раскрывает как этико-общественные, а не самодовлеюще моралистические.

Перед нами последовательность столь же железная, так же не отступающая перед конечными исходами (даже если они — безвыходные тупики), как и в случае с богословом Панлю. Тарру недаром делает другу признание о своей тяге к «святости»: праведник, в отличие от своих рядовых единоверцев, старается быть олицетворением, по возможности чистым и законченным воплощением веры, пусть она на сей раз мирская. Даже доктор, который почтительно внимает исповеди своего друга, все-таки испытывает потребность осторожно откреститься: «я... лишен вкуса к героизму и святости. Единственное, что мне важно, — это быть человеком». Оговорка примечательная, приоткрывающая завесу над происхождением помыслов его собеседника о «святости». Риэ — врач, а болезнь не оставляет места для колебаний, это враг бесспорный, ради его уничтожения все средства допустимы, и здесь все ясно. Иное дело Тарру. За плечами у него скитания по городам и весям, он столкнулся со смертью, которую несет не микроб, а человек. Люди же, когда они ожесточенно враждуют друг с другом на попрание истории, исходят из тех или иных идей о благе и долге, из предпочтения того или иного лагеря, из полагаемого несомненным знания насчет правоты одних и неправоты других. Поступок исторический, да нередко и житейский, получает немалую долю своего значения, заряд добра и зла, от магнитного поля обстоятельств. В потоке действительной жизни приходится включать исповедание самых простейших заветов морали в далеко не однозначные ряды представлений о целях, смысле и цене предпринимаемого дела, каждый раз заново искать подобающую меру соотношения добра и пользы. И эта мера всегда есть величина заранее неизвестная, а малейшая неточность при очередной попытке ее нащупать жестоко мстит за себя в будущем. Крен в одну сторону — и благие намерения мостят дорогу в ад, крен в другую — и бесчинствует иезуитство «рубки леса», невзирая на «щепки».

Перед такого рода труднейшей задачей задач и очутился однажды «блудный сын» и политик Тарру. К ней его подвело милосердие, возмущенное тем, что попирается заповедь «не убий!». Однако он не просто частный врачеватель, имеющий дело с физическим недугом, исцелять от которого повелевает совесть, — он столкнулся с недугами историческими. Исторические же усилия избавиться от них задают милосердию свои пределы, берут его под свою опеку, а подчас и вынуждают к навязанной жестокости. И тогда, уязвленный этим противоречием, Тарру пробует безбрежно распространить на любой из возможных поступков строжайший ригоризм милосердия. Неукосни-

тельно следуя заповеди «не убий!», он вознамерился спасти хотя бы собственную душу и причаститься, быть может, к лику «праведных без бога» — этих «святых» моралистического гуманизма.

Следует отдать Камю должное: он не умалчивает о вытекающих отсюда последствиях. «Теперь я знаю, — угрюмо соглашается Тарру, — что с того времени, как я отказался убивать, я сам себя осудил на бесповоротное изгнание. Историю будут делать другие». Он же — пребывать в ней, претерпевать ее, сносить ее напасти, «становиться на сторону жертв». Попытки же «историю делать» рисуются непомерной гордыней, грозящей стократ худшими бедами, чем попустительство застарелым несправедливостям, на которые обрекает подобное претерпевание.

Мудрость жить и поступать, выношенная в таком виде «святым без бога», как и упование отца иезуита на бога, подкреплена личной бестрепетностью перед смертью и потому не отдает легковесным суетумудрием. Трудно, однако, удержаться от проверки ее применительно к тому самому отрезку истории, который имеется в виду в «Чуме». Будь вместо безликого микроба нелюди в человеческом облике — предположим, истребители деревушки Орадур во Франции или надзиратели-палачи из Освенцима, — подобное «не убий!» наверняка прозвучало бы совсем иначе, а его милосердие выглядело бы далеко не бесспорным. Ведь оно оказалось бы чем-то вроде охранной грамоты, не извиняющей, конечно, их преступлений, но ограждающей от справедливого возмездия и, что еще хуже, не закрывающей наглухо перед ними лазеек, чтобы вернуться к своим злодеяниям. И тогда было бы, пожалуй, гораздо менее различимо, где тут доброта действительная и где мнимая, довольствующаяся тем, чтобы ею слыть. Замена прямого повествования о пережитом Францией в годы «коричневой чумы» иносказательной притчей о нашествии просто чумы вела, помимо всего прочего, еще и к тому, что врачевателям у Камю был дан враг, немало облегчавший кое-кому из них душеспасительные чаяния и хлопоты.

7

Помыслы о «праведничестве без бога», высказанные впервые на страницах «Чумы» как жизненное верование одного из ее действующих лиц, вскоре, в пьесе «Праведные» и особенно в философском эссе «Бунтующий человек», послужат краеугольным камнем для собственного самоопределения Камю на духовных перекрестках середины XX в. В текущей политико-идеологической жизни он предназначал себе положение «вольного стрелка», который неизменно находится в гуще ее жарких схваток, ухитряясь, однако, быть вне строя воюющих регулярных армий и прислушиваться не к приказам командиров, а к «слабому шуму надежды, рожденной, одухотворенной и поддержанной миллионами одиночек». Но коль скоро в сражении за умы,

подразумеваемом здесь, ничейной земли обычно не сыскать, Камю волей-неволей склонялся попеременно то на одну, то на другую сторону, а следовательно, не миновал участи перебежчика, попадавшего под огонь с обеих сторон сразу.

Обида его на злокозненное коварство несправедливой истории от этого только росла. Он все громче на нее сетовал и все раздраженнее ее клеймил, все яростнее оспаривал ее чохом. И все сильнее становилась его жажда отстраниться от нее как от постылой суеты сует, снизу доверху отравленной и гадкой. Укоризненно увещающие советы, куда и как ей следовало бы двигаться—под страхом подвергнуться отлучению от имени нетленных нравственных святынь; оскорбленное ее непослушностью томление по тихому углу, где можно забыться, бесповоротно осудив своевольное упрямство хода вещей и предоставив расколотому на лагери человечеству следовать своими ложными дорогами навстречу пропасти; уязвленно-назидательное учительство, за которым скрывалась душевная растерянность,—таков умственный настрой, неуклонно усугублявшийся у Камю после его окончательного разрыва в 1951 г. с кругами левых интеллигентов во Франции.

Смятение перед коварством жизни, где все неладно и предательски зыбко, все имеет свою скверную подноготную, захлестнуло рассказы книги Камю «Изгнание и царство» и в повести «Падение» достигло своего судорожно-лихорадочного предела. Исповедь «судьи на покаянии», «лжепророка, вопиющего в пустыне и не желающего выйти из нее», как представляет себя рассказчик «Падения», с первого до последнего слова отмечена столь вызывающей двусмыслницей, что упомянутый мимоходом двуликий бог Янус и впрямь мог бы послужить вывеской, под которой совершается этот изощренно-сладострастный и вместе с тем, как выясняется к концу, небескорыстный душевный стриптиз.

Опустившийся завсегдатай матросских кабаков Амстердама, в прошлом преуспевающий парижский адвокат, а ныне юридический советчик воров и проституток, за пять вечеров выворачивает наизнанку свое нутро перед соотечественником, разговор с которым завязался у них за рюмкой джина. Полупьяный словоохотливый бродяга, назвавшийся Жан-Батистом Кламансом (не без намек на библейского Иоанна Крестителя, который был «гласом вопиющего в пустыне», проповедуя «покаяние для прощения грехов»), он поначалу выглядит совершенно откровенным, «как на духу». Когда-то он славился в своем кругу, да и сам себя мнил обаятельным, благородным, отзывчивым, щедрым. Теперь он истово клеймит позором свое бывшее себялюбие, черствость, лжедоброту, свое неистребимое двоедушие. Однако уже на третий вечер трущобный пророк дает повод для подозрений, сообщив без какой-то задней мысли, что обожает театр, да и в жизни всегда был актером, всегда ломал комедию.

Для чего же тогда покаянный фарс искренности? Для того, раскрывает он карты в последней беседе, чтобы нарисовать автопортрет, но особый, вобравший в себя, в частности, и черты очередного собеседника: тот ведь доверчиво внимает чужим

признаниям и тем более ошеломлен, когда вдруг обнаруживает, что очутился перед зеркалом и уже давно созерцает в нем самого себя. Но в таком случае чья история проходит перед нами — кающегося или его слушателя, тоже парижского адвоката, чью биографию в ходе окольных выпытываний частично угадал, а частично домыслил бывалый ловец душ и лицедей? Скорее всего, обоих: в автопортрете-зеркале приметы разных лиц совмещены в одну огрубленную и все же достоверную физиономию многих, если не всех. Самобичевание исподволь переходит в обвинение, грехи одного раскладываются, а то и вовсе перекладываются на других, отчасти отпускаются и теперь заслуживают снисходительности. А раз так, то после каждого подобного покаяния-обличения, обрушив «на все живое и на весь мир бремя... собственного моего уродства», можно снова пуститься во все тяжкие. Чем яростней клеймит себя грешник, тем надежнее захлопывается ловушка за его неосторожным слушателем, тем изворотливее сам он оттуда выскальзывает. В конце концов он как бы вскарабкивается на кресло председателя Страшного суда и в этой присвоенной должности вволю тешит свою гордыню. Удобный выход из всех неудобств, которые причиняет нечистая совесть.

Убийственно саркастический облик этой ловчащей и сохраняющей самодовольство даже в своем падении больной совести, пояснял Камю, ссылаясь на лермонтовское предуведомление к «Герою нашего времени», — это, точно, «портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии». Да и сам «судья на покаянии» прямо обозначает мишень, в которую метит. Своих жертв он выбирает прежде всего среди подобных ему интеллигентов. И когда он распространяется об обычаях этого круга, припоминает всякие случаи из жизни знакомых, когда незаметно заменяет «я» на «вы» или «мы все», он безошибочно рассчитывает попасть на нужную ему клавишу чужой души, потому что она принадлежит собрату, чьи привычки, склад, нудуги, уловки ума он знает как свои собственные.

Путешествие по глухим закоулкам эгоистического сознания, предпринятое Камю при посредничестве краснбая, находящего в самокопаниях усладу из услад, мало-помалу вскрывает крайнюю софистическую изощренность, которую обретает в среде просвещенного мещанства ревностное поклонение одному-единственному божеству — себе любимому. Старый откровенный лозунг «каждый за себя» слишком пятнает своих приверженцев, выдвигать его без околичностей неловко, да и невыгодно. И вот культ обожяемого «я, я, я» старается избежать грубой прямоты. Он или прикидывается заботой о «меньшем брате», о сирых и горемычных, или, когда этот самообман рушится, превращает самопоношение цинизма в оружие утверждения цинизма, введенного в квадрат. Битье себя в грудь, витийственные речи насчет собственной гадости и мерзости — здесь жульнический трюк, помогающий усыпить страх перед позором, но не мешающий снова барахтаться в вожденной гадости и мерзости. Падение, которому посвящена книга Камю, — это корчи самовлюбленного и самоутверждающегося ячества, не вчера родившегося, но пробу-

ющего сменить кожу, чтобы продлить себе жизнь в обличье ячества стыдливо-уничжительного, сокрушающегося.

Смена кожи осуществляется без особых перестроек внутри, при помощи испытанного хода: падение, за которое личность сама ответственна, подается как грехопадение всего рода людского, как врожденная и неисправимая ущербность. Недаром Жан-Батист Кламанс к концу ссылается на самого Христа: если, мол, и он, чистейший из всех, не без ушибинки, чего вздыхать с нас, грешных. А ведь и того грызла совесть, пусть он был без вины виноватым. Разве святой искупитель не ведал, что из-за него Ирод учинил избиение младенцев и Рахиль стенала по ночам над мертвыми детьми своими? И по какому праву после этого водрузили распятие в судах и выносят приговоры от имени того, кто кротко отказался бросить камень в блудницу? Невинных, выходит, не было и в помине, безгрешность — сказка для простаков, все виновны, признают они это или нет.

Доказательства своего права на мизантропию и поголовное вменение греха «кающийся судья» в изобилии черпает не только в частной жизни, своей и своих знакомых, но и в злободневной истории. Ячество совпадает с полнейшим пренебрежением к мнению других и, будучи пересажено на почву гражданско-идеологическую, дает крайнюю нетерпимость, тираннические замашки, желание во что бы то ни стало заставить всех и думать, и поступать по своей указке. Особенно усердствуют в таком палочном вдальблывании своих взглядов как раз те, кто кичится умственностью. Среди них, по наблюдениям Кламанса, знающего в этом толк, попытки искупить худосочие книжной премудрости выливаются в настоящий «гангстеризм», страсть «властвовать над обществом... путем насилия... подобные мечтатели бросаются в политику и лезут в самую свирепую партию. Что за важность духовное падение, если таким способом можно господствовать над миром?» Когда не могут убедить, прибегают к принуждению, благо XX век располагает для этого множеством орудий, от самых изощренно-духовных до самых грубых. В результате «старуха Европа», да и весь шар земной сделались поприщем непрестанных смертоубийственных схваток «воинства Христа и воинства Антихриста», равно одержимых злым бесом властолюбия, потребностью всегда и всюду верховодить, казня и милая по произволу, присвоенному себе именем «истины».

Из всех этих саркастических замечаний, там и сям разбросанных в «Падении», мало-помалу вырисовывается нечто вроде философии новейшей истории, так что балаган нечистой совести, кажущийся поначалу прихотью озлобленного чудака, к концу получает вполне серьезный, трагический оттенок, во всяком случае, уже не выглядит до смешного жалким. Первичная аксиома всех рассуждений здесь — «смерть бога», возвещенная Ницше в канун XX века. После краха тысячелетней духовной опоры обитатели «христианских стран» предали себя мукам личностной свободы. Справедливость надмирного закона рассыпалась в прах, отныне каждый сам себе выбирал или изобретал закон. Нравственные заветы, которые считались данными богом, наперебой замещались самоделками; предписанные свыше добро-

детели — добродетелями, предписываемыми от собственного лица: одна большая правда рассыпалась крохами правдочек. Повальная дидактика захлестнула землю, повсюду кишат «учителя жизни», присвоившие себе право судить ближних, тогда как эти последние в свою очередь из наставляемых и подсудимых силятся выбиться в обвинители своих самозванных судей и учинить над ними расправу.

И вот вскоре на этом повсеместном и ежечасном судилище стало очевидно, что «в конце всякой свободы нас ждет кара; вот почему свобода — тяжелая ноша», «повинность, изнурительный бег сколько хватит сил, и притом в одиночку». Из нее не вытекает уверенности, поскольку сама по себе она не учреждает никакой общепризнанной шкалы ценностей, по которой можно бы выверить, что добро и что зло. Растерянные жертвы своей опрометчивой гордыни, стесняясь вновь открыто восславить небесного судию и владыку, еще вчера изгнанного из сердец, возжаждали тогда, язвит философствующий парадоксалист из «Падения», завести себе земных хозяев, чтобы те избавили их от тяжкого бремени свободы, взяли на себя решение слишком запутанных задач совести, одних нарекли бы праведными, а других отлучили. А поскольку рвущихся в такие пастыри кругом было хоть отбавляй, они быстренько прибрали к рукам стадо неприкаянных богомольцев без бога. Подобно евангельскому Иоанну Крестителю, который был еще и предтечей Христа, циничный пророк из Амстердама корчит из себя провозвестника близящегося все-светного рабства под пятой земных кесарей. «Пока еще не пришли властители и не принесли с собой розги», он партизанит на свой страх и риск, заманивая в ловушки своих покаянных речей заблудшие души, внушая им чувство вины и тем вербуя очередных единоверцев, чьим поводырем, судьей и повелителем он оказывается хотя бы на час. Затея шута, но шута умного, не лишнего ни проницательности, ни чутья, ни выдумки.

Разглагольствования амстердамского мизантропа, разумеется, было бы недопустимой вольностью приписать самому Камю. Но вряд ли можно сказать, будто в них нет ничего вложенного от Камю. Ведь далеко не случайно, что ни в одной из поздних его книг нет никого, кто бы отважился всерьез возразить на подобные укоры всему человечеству. С другой стороны, лицедей из «Падения» на свой развязный лад повторяет многое из того, что без всякой для себя корысти высказал в «Чуме» перед другом «праведный» Тарру, когда сокрушался, что ныне все зачумлены, все — и жертвы и палачи одновременно, — и следует пуще всего остерегаться, как бы невзначай не дохнуть на соседа заразой. Нужно вернуться на пятнадцать лет назад, к «Постороннему», чтобы встретить у Камю заявление, что человек от рождения невинен, что зло не в нем, а вне его — в укладе жизни, в уделе земном, в немилосердной судьбе. Чем дальше, тем сильнее, видимо, замешательство Камю перед осаждающими его с разных сторон опровержениями вывода, доверенного им доктору Риз: «Есть больше оснований восхищаться людьми, чем презирать их». Десяток лет спустя у Камю не находится достаточно веских слов, чтобы не просто внушить неприязнь к подвизающимся вокруг

«лжепророкам», но и стряхнуть с себя коварные чары их откровений. При всех оговорках, хронике чумной напасти еще питал родник, откуда врачеватели-сопротивленцы черпали если не надежду излечить, то добрую волю пользоваться страждущих. В пору «Падения» этот родник заглох. А без него оставалось лишь желчно упрекать в зачумленности себя, других, весь белый свет.

В самой атмосфере и даже слогe «Падения» это непосредственно преломилось. Амстердам тут — еще одна противоположность Алжиру «Постороннего», как, впрочем, и Орану «Чумы». Голландия — последний круг «буржуазного ада... населенного дурными снами», задворки материка «блудников и глотателей газет». В краю промозглых туманов, напoлзающих с моря на сушу, точно пар из корыта, под сетью моросящих дождей, в блеклом свете, среди грязновато-белесой мути все очертания скрадываются, делаются расплывчатыми — не различить границ вод и тверди, яви и бреда, здоровья и болезни, подвига и преступления, лжи и правды. Точно так же, как в обвинительной самозащите, искусно проведенной подонком — поверенным в делах портового сброда, не уловить, где кончается исповедь и начинается комедиантство, когда у него душа нараспашку, а когда он ловко петляет, заматывая следы.

Не удивительно, что от жестковатой языковой ясности предыдущих книг Камю на сей раз остается немного — разве что по-прежнему отточенная афористическая простота фразы, взятой в отдельности. Однако соположение каждой из них с соседними дает причудливое взаимопреломление смысловых лучей, когда сказанное дробится, мерцает одновременно разными гранями и с равным правом может быть принято иронически и всерьез, буквально и иносказательно, как выдумка и сущий факт, хитроумная западня для слушателя или бесхитростная болтовня. Рассказ многолик, уклончив и лихорадочен, как сам рассказчик: за хаотичными скачками и зигзагами беседы таится безупречный расчет, самая суть приоткрывается в отклонениях в сторону от стержневого разговора, мысли вразброс о том о сем незримыми нитями стянуты в пучок и, как будто замедляя продвижение всего повествования вперед, на самом деле его ускоряют. Здесь в издевках слышится боль, а чистосердечие — саркастично; вкрадчивый шепот отдает развязным зубоскальством, и оскорбительный вызов запрятан в куртуазном дружелюбии; проникновенность разыграна, а к игре примешана изрядная доля неподдельного; благословение потемок и рабства выдает тоску по солнцу и свободе; сугубо личный житейский случай преподносится как высвечивание тайн века и невзначай упомянутая подробность отсылает к библейскому мифу.

Словом, сама речевая ткань соткана так, что в ней перепутаны разные логики и ни одной из них не отдано предпочтения, все зависит от того, с какого боку взглянуть. Повествовательное мастерство Камю в «Падении» виртуозно, как никогда прежде, в передаче софистической остроты и изворотливости лицедействующего здесь ума. Но это как раз не столь уж редкий случай, когда (как в «Записках из подполья» Достоевского или еще

раньше в «Племяннике Рамо» Дидро) виртуозно сотворенное в слове чужое и чуждое писателю сознание тяготеет кошмаром над мыслью собственного творца, заволаживает ее, душит в зародыше ее попытки избавиться от этого интеллектуального террора, внушающего, что устами циника глаголет истина.

Истина, вызывающая у самого Камю содрогание. И подавляющая, кажущаяся ему неопровержимой. Молчание его в последние годы жизни побуждает думать, что он не мог работать дальше, не славив с этим наваждением. Не обретя заново точки опоры посреди выжженной пустыни, оставшейся после обстрела былой веры Камю в человека мизантропическим скепсисом в «Падении».

8

При жизни Камю не испытывал недостатка ни в поклонниках, ни в столь же рьяных ниспровергателях. Вокруг каждой очередной его книги кипели страсти, да и сам он меньше всего походил на кабинетного затворника. Сейчас, почти три десятка лет спустя после смерти Камю, пора торопливо-запальчивых увенчаний и развенчаний, пора иконописцев, спешивших воздать ему почести пророка, и ревностных иконоборцев, раздраженных тем, что в его философских раздумьях слишком много пристрастно-личного, а в исповедях слишком много философствований, отодвинулась для него в прошлое. Спокойнее, скромнее, зато и веселее похвалы, хула если и слышна иной раз, то без сопутствующего ей оспаривания права Камю принадлежать к кругу самых признанных мастеров словесности XX в. во Франции. Сегодня мало кто заведомо настраивается встретить на страницах, вышедших из-под пера его, ошеломляющие откровения либо сплошь ересь — там обнаруживают терзания тревожной мысли, далеко не праздные по сей день.

Почти во всех сочинениях Камю, всякий раз на свой особый лад, личность попадает на очную ставку со своим земным уделом во времена, когда гражданственность определенного толка износилась, история чревата катастрофами, привычный уклад повседневности дал трещину. В старину сказали бы, что здесь мучаются «проклятыми вопросами», в которых напрасно бывают склонны не усматривать ничего, кроме бегства от задач жгучих, насущных, злободневных. Ведь сам по себе разговор с судьбой и всем бытием, потребность допытаться, зачем смерть и какой смысл в жизни, не возникают вдруг, по прихоти случая. «Проклятые вопросы» есть всегда, но они разбухают, захлестывая умы, тогда, когда выветривается непосредственное, совершенно непреложное, не требующее умозрительных подпорок ощущение нужности, оправданности своего привычного существования. До этого мысль не бездействует, однако озабочена преимущественно другим — возделыванием доставшегося от предков жизненного поля, которое рисуется ей, быть может, не очень-то тучной нивой, но и не истощенным вовсе, не бесплодным пустырем. Чтобы «проклятый

вопрос» забрезжил в головах, а затем был отчетливо задан, да еще и с выношенной страстью и томлением духа, должно быть утрачено бесечно-благодушное приятие трудов и дней. Нужна скептическая догадка—толчок для бесстрашного анализа, в свете которого худо-бедно, но все же налаженному житью-бытью предстоит обнажить свои неизлечимые язвы, свою ущербность, неспособность быть ничем иным, кроме суетной возни.

Толчков такого рода на долю поколения Камю выпало с избытком. Да еще и таких, что они походили, скорее, на вереницу землетрясений: сверстники Камю родились в канун 1914 г., достигли зрелости в канун 1940-го и перевалили на вторую половину жизни, когда над миром нависла угроза атомно-водородного истребления. В эпоху Верден и Герник, Освенцим и Хиросима упования на промысел всевышнего—залог неминуемого и все искупающего пришествия царства божьего на землю—выглядели непростительным простодушием. И уж совсем чуть ли не кощунством казалась завещанная просветителями XVIII в., а в XX в. растасканная на житейские прописи вера в некое разумное и доброжелательное к нам, заранее оправданное даже в своих жесточайших несутрастностях историческое предопределение, каковое якобы обеспечивает роду людскому восхождение из низин дикости к высотам цивилизованного благоденствия и тем щедро возмещает жертвы, принесенные на алтарь светлого будущего. В потрясениях невиданного раньше размаха, куда с изуверской бессмысленностью швыряло своих подданных позднебуржуазное жизнеустройство, один за другим рушились и без того расшатанные духовные устои. Пробыл час «проклятых вопросов». И они лавиной хлынули с книжных страниц, театральных подмостков, киноэкранов, университетских и церковных кафедр. Не обошлось, как водится, без подделок, они даже преобладали, но Камю в их изготовлении не заподозришь.

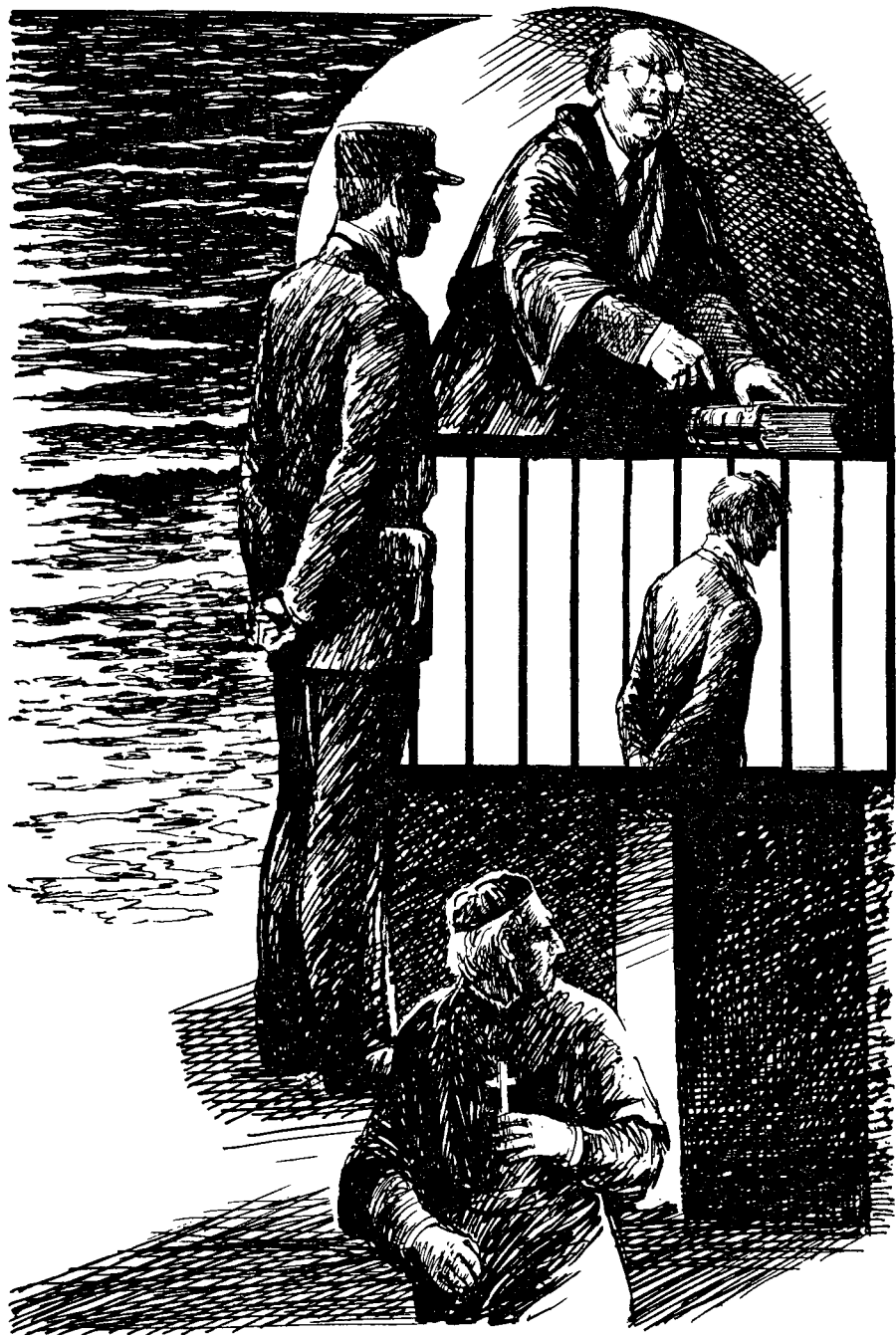
Зачем цепляетесь за служебные, семейные, религиозные, гражданские, другие еще менее надежные заменители утраченного смысла жизни, единственно способного освятить все прочие ценности?—недоумевал он в «Постороннем» и «Калигуле». Зачем тешитесь сказками о победно шествующем сквозь века мировом Разуме, тогда как на поверку находитесь в угрожающей близости к вулкану Истории, неоднократно уже на вашей памяти извергавшемуся и грозящему извергнуться опять, да так, что вся земля, пожалуй, обратится в выжженную пустыню?—бил тревогу в «Чуме». Зачем, добиваясь добра, идете недобрыми путями принуждения, убийств, обмана и тем обрекаете себя и себе подобных получить в конце концов казарму вместо желанной воли и прозябание вместо счастья?—предостерегал он в своих поздних эссе. Зачем живете так стыдно и гадко, принимая свое барахтанье во лжи за пребывание в истине?—укорял он в «Падении». И всякий раз беспокойство упрямо вопрошавшего Камю не было беспочвенным, а внушалось ему вопиющим неблагополучием цивилизации XX века на Западе, действительно плутавшей по духовному бездорожью.

Далеко не всегда Камю вслед за недоумевающими обвинительными «зачем?» умел посоветовать, как же тогда достойно быть и

поступать. Ни языческая вседозволенность раннего Камю, ни смущение ума Камю позднего не рожают доверия к его учительству. Было бы, однако, непростительным расточительством не воздать должного урокам древней и непреходяще свежей трагической мудрости, преподанным им в «Чуме»: доброй воли достаточно, чтобы и в самой безнадежной обстановке, рассудку вопреки, не сдаться и не сломиться под натиском беды. И не просто выстоять, а посильно поддержать своим лечением других ею застигнутых, близких и дальних.

Самарий Великовский

ПОСТОРОННИЙ



L'ETRANGER

Paris, 1942

Перевод Нормы Галь

ЧАСТЬ I

I

Сегодня умерла мама. Или, может, вчера, не знаю. Получил телеграмму из дома признания: «Мать скончалась. Похороны завтра. Искренне соболезнуем». Не поймешь. Возможно, вчера.

Дом признания находится в Маренго, за восемьдесят километров от Алжира. Выеду двухчасовым автобусом и еще засветло буду на месте. Так что успею побыть ночью у гроба и завтра вечером вернуться. Попросил у патрона отпуск на два дня, и он не мог мне отказать—причина уважительная. Но видно было, что недоволен. Я ему даже сказал: «Я ведь не виноват». Он не ответил. Тогда я подумал—не надо было так говорить. В общем-то, мне нечего извиняться. Скорей уж он должен выразить мне сочувствие. Но потом, наверно, еще выразит—послезавтра, когда увидит меня в трауре. А пока еще не похоже, что мама умерла. Вот после похорон все станет ясно и определенно, так сказать—получит официальное признание.

Выехал двухчасовым автобусом. Было очень жарко. Позавтракал, как всегда, в ресторане у Селеста. Там все огорчились за меня, а Селест сказал: «Мать-то у человека одна». Когда я уходил, меня проводили до дверей. Напоследок спохватился, что надо подняться к Эммануэлю—взять займы черный галстук и нарукавную повязку. Он месяца три назад схоронил дядю.

Чуть не упустил автобус, пришлось бежать бегом. Торопился, бежал, да потом еще в автобусе трясло и воняло бензином, дорога и небо слепили глаза, и от всего этого меня сморил сон. Проспал почти до Маренго. А когда проснулся, оказалось—привалился к какому-то солдату, он мне улыбнулся и спросил, издалека ли я. Я сказал «да», разговаривать не хотелось.

От деревни до дома признания два километра. Пошел пешком. Хотел сейчас же увидеть маму. Но привратник сказал—надо сперва зайти к директору. А он был занят, и я немного подождал.

Пока ждал, привратник так и сыпал словами, а потом я увидел директора, он принял меня в кабинете. Это старичок с орденом Почетного легиона. Он посмотрел на меня ясными глазами. Потом пожал мне руку и долго не выпускал, я уж и не знал, как ее отнять. Он заглянул в какую-то папку и сказал:

— Госпожа Мерсо пробыла у нас три года. Вы были ее единственной опорой.

Мне показалось, он меня в чем-то упрекает, и я начал было объясняться. Но он перебил:

— Не надо оправданий, дружок. Я перечитал бумаги вашей матушки. Вы были не в силах ее содержать. Она нуждалась в уходе, в сиделке. Зарботки у вас скромные. Если все принять во внимание, у нас ей было лучше.

Я сказал:

— Да, господин директор.

Он прибавил:

— Понимаете ли, здесь ее окружали друзья, люди ее лет. У нее нашлись с ними общие интересы, которых нынешнее поколение не разделяет. А вы молоды, с вами она бы скучала.

Это верно. Когда мама жила со мной, она все время молчала и только неотступно провожала меня глазами. В доме призрения она первые дни часто плакала. Но это просто с непривычки. Через несколько месяцев она стала бы плакать, если бы ее оттуда взяли. Все дело в привычке. Отчасти из-за этого в последний год я там почти не бывал. И еще потому, что надо было тратить воскресный день, уж не говорю — тащиться до остановки, брать билет да два часа трястись в автобусе.

Директор еще что-то говорил. Но я почти не слушал. Потом он сказал:

— Вы, наверно, хотите видеть вашу матушку.

Я ничего не ответил и встал, он повел меня к двери. На лестнице он стал объяснять:

— У нас тут своя небольшая мертвецкая, мы перенесли покойницу туда. Чтобы не тревожить остальных. Каждый раз, как в нашем доме кто-нибудь умирает, остальные на два-три дня теряют душевное равновесие. И тогда затруднительно за ними ухаживать.

Мы пересекли двор, там было много стариков, они собрались кучками и толковали о чем-то. Когда мы проходили мимо, они смолкали. А за спиной у нас опять начиналась болтовня. Будто приглушенно трещали попугаи. У низенькой постройки директор со мной простился:

— Я вас покидаю, господин Мерсо. Но я к вашим услугам, вы всегда найдете меня в кабинете. Погребение назначено на десять часов утра. Мы полагали, что вы захотите провести ночь подле усопшей. И еще одно: говорят, ваша матушка в беседах не раз высказывала желание, чтобы ее похоронили по церковному обряду. Я сам обо всем распорядился, но хочу вас предупредить.

Я поблагодарил. Мама хоть и не была неверующей, но при жизни религией вовсе не интересовалась.

Вхожу. Внутри очень светло, стены выбелены известкой, крыша стеклянная. Обстановка — стулья да деревянные козлы.

Посередине, на таких же козлах, закрытый гроб. Доски выкрашены коричневой краской, на крышке выделяются блестящие винты, они еще до конца не ввинчены. У гроба—чернокожая сиделка в белом фартуке, голова повязана ярким платком.

Тут у меня над ухом заговорил привратник. Наверно, он догонял меня бегом.

Он сказал, запыхавшись:

— Гроб закрыт, но мне велели отвинтить крышку, чтоб вам взглянуть на покойницу.

И шагнул к гробу, но я его остановил.

— Не хотите?—спросил он.

— Нет,—сказал я.

Он отступил, и я смутился, не надо было отказываться. Потом он посмотрел на меня и спросил:

— Что ж так?

Не с упреком спросил, а словно из любознательности. Я сказал:

— Не знаю.

Тогда он покрутил седой ус и, не глядя на меня, заявил:

— Понятно.

Глаза у него были красивые, голубые, и красноватый загар. Он подал мне стул, а сам уселся немного сзади. Сиделка поднялась и пошла к двери. Тут привратник сказал мне:

— У нее шанкр.

Я не понял и посмотрел на сиделку, лицо ее пересекала повязка. На том месте, где положено быть носу, повязка была плоская. На лице только и заметна белая повязка.

Когда она вышла, привратник сказал:

— Я вас оставлю одного.

Уж не знаю, верно, я сделал какое-то невольное движение, только он остался. Он стоял у меня за спиной, и мне это мешало. Комнату заливало яркое предвечернее солнце. В стекло с жужжаньем бились два шершня. Меня стало клонить в сон. Не оборачиваясь, я спросил привратника:

— Вы тут давно?

— Пять лет,—мигом ответил он, словно с самого начала ждал, что я про это спрошу.

И пошел трещать. Мол, вот уж никогда не думал, что будет доживать свой век в Маренго, привратником в богадельне. Ему уже шестьдесят четыре, он парижанин. Тут я его перебил:

— А, так вы не здешний?

Потом я вспомнил: прежде чем проводить меня к директору, он говорил про маму. Говорил, что надо хоронить поскорее, тут ведь Алжир, да еще равнина, вон жара какая. Тогда-то он мне и сказал, что прежде жил в Париже и никак не может его забыть. В Париже с покойником не расстаются три дня, а то и четыре. А здесь нет времени, не успеешь свыкнуться с мыслью, что человек умер, как уже надо поспешать за дрогами. Тут жена его перебила: «Замолчи ты, молодому человеку незачем про это слушать». Старик покраснел и извинился. Тогда я вмешался и сказал: «Нет-нет, ничего». По-моему, все, что он говорил, было верно и интересно.

Потом, в мертвецкой, он мне объяснил, что в дом призрения попал по бедности. Но он еще крепок, вот и вызвался служить привратником. Я заметил—значит, он тоже здешний пансионер. Он возразил—ничего подобного! Меня еще раньше удивило, как он говорил про здешних жителей: «они», «эти», иногда—«старики», а ведь некоторые из них были ничуть не старше него. Но, конечно, это совсем другое дело. Он ведь привратник и в какой-то мере над ними начальство.

Тут вошла сиделка. Неожиданно настал вечер. Над стеклянной крышей вдруг сгустилась тьма. Привратник повернул выключатель, и меня ослепил яркий свет. Потом он предложил мне пойти в столовую пообедать. Но есть не хотелось. Он сказал, что принесет мне чашку кофе с молоком. Я согласился, потому что очень люблю кофе с молоком, и через минуту он вернулся с подносом. Я выпил кофе. Захотелось курить. Сперва я сомневался, можно ли курить возле мамы. А потом подумал, что это не имеет значения. Предложил привратнику сигарету, и мы закурили.

Немного погодя он сказал:

— А знаете, друзья вашей матушки тоже придут посидеть около нее. Такой здесь обычай. Пойду принесу еще стульев и черного кофе.

Я спросил, нельзя ли погасить хоть одну лампу. Яркий свет отражался от побеленных стен, это было утомительно. Привратник сказал—ничего не поделаешь. Так уж тут устроено: либо горят все лампы сразу, либо ни одной. После этого я его почти не замечал. Он вышел, вернулся, расставил стулья. На один стул поставил кофейник и нагромодил чашки. Потом уселся напротив меня, по ту сторону гроба. Сиделка все время оставалась в глубине комнаты, спиной к нам. Мне не видно было, что она делает. Но по движениям локтей я догадался—наверно, вяжет. Было тихо, я выпил кофе и согрелся, из открытой двери тянуло запахом ночи и цветов. Кажется, я вздремнул.

Меня разбудил шорох. Я успел отвыкнуть от яркого света, и выбеленные стены совсем ослепили меня. Теней не было, каждый предмет, каждый угол и изгиб вырисовывались так четко, что резало глаза. В комнату входили мамины друзья. Их было человек двенадцать, они неслышно скользили в слепящем свете. Они уселись, и ни один стул не скрипнул. Никогда никого я не видел так ясно, до последней морщинки, до последней складки одежды. Однако их совсем не было слышно, просто не верилось, что это живые люди. Почти все женщины были в фартуках, перетянутых в талии шнурком, от этого еще заметней выдавались животы. Никогда прежде я не замечал, что у старух бывает такой большой живот. Мужчины были почти все тощие и опирались на палки. Больше всего меня поразило в их лицах, что я не мог разглядеть глаз, только что-то мерцало в сети морщин. Когда они уселись, многие посмотрели на меня и неловко наклонили головы; у всех были беззубые, запавшие рты; я не мог понять, то ли они со мной здороваются, то ли головы их трясутся от старости. Наверно, все-таки это они со мной здоровались. Тут я заметил, что все они, качая головами, сидят напротив меня, по обе стороны

от привратника. У меня мелькнула нелепая мысль, будто они собрались, чтобы меня судить.

Вскоре одна женщина заплакала. Она сидела во втором ряду, позади другой старухи, и я плохо ее видел. Она плакала на одной ноте, то и дело всхлипывая; казалось, она никогда не перестанет. Другие словно не слышали. Они все как-то обмякли, сидели хмурые, молчаливые. Каждый уставился в одну точку—кто на гроб, кто на собственную палку, на что попало—и уж больше нигде не смотрел. А та женщина все плакала. Очень странно, совсем незнакомая женщина. Мне хотелось, чтобы она замолчала. Но я не решался ей это сказать. Привратник наклонился к ней, заговорил, но она только мотнула головой, что-то пробормотала и продолжала все так же всхлипывать на одной ноте. Тогда привратник обошел гроб и сел рядом со мной. Долго молчал, потом сказал, не глядя на меня:

— Она была очень привязана к вашей матушке. Она говорит, ваша матушка одна здесь была ей другом, а теперь у нее никого не осталось.

Мы долго так сидели. Понемногу та женщина стала вздыхать и всхлипывать реже. Она еще какое-то время сопела и наконец утихла. Спать больше не хотелось, но я устал, ныла поясница. Теперь меня тяготило, что все они сидят так тихо. Только изредка слышался какой-то странный звук, я не мог разобрать, откуда он. Потом наконец понял: некоторые старики всасывали щеки внутрь, и тогда в беззубом рту странно щелкало. А они этого не замечали, слишком заняты были своими мыслями. Мне даже показалось, что они собрались вокруг покойницы вовсе не ради нее самой. Теперь-то я думаю—это мне просто показалось.

Привратник налил всем кофе, и мы выпили. Что было дальше, не знаю. Миновала ночь. Помню, в какую-то минуту я открыл глаза и вижу: все старики спят, обмякнув на стульях, только один не спит—стиснул обеими руками палку, оперся на них подбородком и уставился на меня, словно только того и ждал, чтоб я проснулся. Потом я опять задремал. Проснулся оттого, что у меня все сильнее ныла поясница. Над стеклянной крышей посветлело. Немного погодя проснулся один из стариков и надолго раскашлялся. Он все сплевывал в огромный клетчатый платок, и всякий раз у него словно что-то рвалось внутри. Кашель разбудил остальных, и привратник сказал, что им пора уходить. Они поднялись. После утомительного бдения лица у всех стали серые. Очень странно: уходя, каждый пожал мне руку, будто эта ночь, когда мы не обменялись ни словом, нас сблизила.

Я устал. Привратник проводил меня в сторожку, и я немного привел себя в порядок. Выпил еще чашку кофе с молоком, было очень вкусно. Когда я вышел из сторожки, уже совсем рассвело. Над холмами, которые отгораживают Маренго от моря, небо покраснело. И ветер доносил из-за холмов соленый запах. Отличный начинался денек. Давно уже я не бывал за городом, и так приятно было бы прогуляться, если бы не мама.

А теперь я ждал во дворе, под платаном. Вдыхал свежий запах земли, и спать больше не хотелось. Вспомнил о сослуживцах. В этот час они встают и собираются на работу—для меня это

всегда самое трудное время. Я еще немного подумал обо всем этом, а потом в доме зазвонил колокол и отвлек меня. За окнами началась суета, потом всё опять успокоилось. Солнце поднялось немного выше и пригревало мне ноги. Подошел привратник и сказал, что меня ждет директор. Я пошел в кабинет. Директор дал мне подписать какие-то бумаги. На нем был черный сюртук и брюки в полоску. Он взялся за телефон и сказал мне:

— Прибыли люди из похоронного бюро. Сейчас я велю окончательно закрыть гроб. Угодно вам до этого в последний раз посмотреть на вашу матушку?

Я сказал—нет. Понизив голос, он распорядился по телефону:

— Фижак, велите им, пусть приступают.

Потом сказал мне, что и сам будет на похоронах, и я поблагодарил. Он сел за письменный стол, скрестил свои коронные ножки. Мы с ним будем одни да еще дежурная сиделка, сказал он. Обитателям дома не полагается присутствовать при погребении. Он только разрешает им посидеть возле покойника ночь.

— Нельзя забывать о человеколюбии,— заметил он.

Но на сей раз он позволил одному пансионеру проводить покойницу.

— Тома Перез—старый друг вашей матушки.—Тут директор улыбнулся.—Понимаете, чувство это немного ребяческое. Но они с вашей матушкой были неразлучны. В доме над ними подшучивали, Переза называли женихом. Он смеялся. Им обоим это было приятно. И надо признать, что смерть госпожи Мерсо для него тяжелый удар. Я не счел нужным ему отказывать. А вот провести ночь у гроба я ему запретил—так посоветовал наш врач.

Потом мы довольно долго молчали. Директор поднялся и выглянул в окно. Чуть погодя он заметил:

— А вот и священник. Даже раньше времени.

И предупредил, что приходская церковь находится в самой деревне Маренго и до нее идти по меньшей мере три четверти часа. Мы вышли из кабинета. Перед домом стояли священник и два мальчика-служки; один служка держал кадильницу, а священник, наклонясь, подтягивал серебряную цепочку. Когда мы подошли, он выпрямился. Он назвал меня «сын мой» и сказал мне несколько слов. Потом вошел в мертвецкую; я последовал за ним.

Я тотчас заметил, что теперь винты глубоко ушли в дерево, и увидел четырех человек в черном. Директор сказал, что катафалк уже ждет, и тут же священник начал читать молитву. Все пошло очень быстро. Люди в черном с покровом в руках подступили к гробу. Священник, служки, директор и я вышли из мертвецкой. У двери ждала какая-то почтенная женщина, прежде я ее не видел.

— Господин Мерсо,—представил меня директор.

Имени этой женщины я не расслышал, понял только, что она здешняя сиделка. Она поклонилась без улыбки, лицо у нее было длинное и очень худое. Потом мы все посторонились, давая дорогу носильщикам. Они вынесли гроб, и мы вышли вслед за ними из ворот. За воротами ждал катафалк. Длинный, блестящий, лакированный, совсем как пенал. Рядом стояли распорядитель—низенький, нелепо одетый человечек—и старик, которому явно

было не по себе. Я понял, что это и есть Перез. На нем была мягкая фетровая шляпа с круглой тульей и широкими полями (когда выносили гроб, он ее снял), костюм не по росту, так что штанины гармошкой свисали на башмаки, на шее — черный бант, чересчур маленький для рубашки с таким широким белым воротничком. Нос угреватый, губы трясутся. Под редкими седыми волосами видны престранные уши — нелепой формы, торчащие и притом багрово-красные, это меня поразило, потому что сам он был мертвенно-бледен. Распорядитель объяснил нам, какой будет порядок. Впереди всех священник, за ним — катафалк. Вокруг катафалка — четверо в черном. Позади — мы с директором, а замыкают шествие сиделка и господин Перез.

Небо наполнилось солнцем. Уже начинало припекать, жара с каждой минутой усиливалась. Не знаю, почему мы так долго не двигались с места. В темном костюме я запарился. Старичок Перез надел было шляпу, но опять снял. Я слегка повернулся в его сторону и слушал, что говорит про него директор. Тот рассказывал, что по вечерам мама с Перезом часто ходили гулять, их сопровождала сиделка, и они доходили до самой деревни. Я поглядел вокруг. Вереницы кипарисов тянулись к холмам у горизонта, меж кипарисами сквозила земля — где зеленая, где рыжая, — отчетливо вырисовывались редкие домики, и я понимал маму. Должно быть, вечер в этом краю — как раздумчивое затишье. А вот сейчас под неукротимым солнцем все вокруг содрогается и в свой черед становится гнетущим и жестоким.

Мы двинулись в путь. И тут я заметил, что Перез прихрамывает. Дроги катили все быстрее, и старик понемногу отставал. Один из тех четверых тоже дал дрогам себя обогнать и пошел рядом со мной. Удивительно, как быстро солнце поднималось все выше. Оказалось, в полях давно уже гудят и жужжат насекомые, шелестит трава. У меня по щекам струился пот. Шляпу я не захватил и обмахивался носовым платком. Служащий похоронного бюро что-то мне сказал, но я не расслышал. Он вытирал лысину платком, платок держал в левой руке, правой приподнимал фуражку. Я переспросил:

— Что?

Он показал на небо и повторил:

— Ну и шпарит.

— Да, — сказал я.

Немного погодя он спросил:

— Вы покойнице кто — сын?

Я опять сказал — да.

— Старая она была?

— В общем, да, — сказал я, потому что не знал точно, сколько ей было лет.

Тогда он замолчал. Я обернулся и увидел, что старик Перез отстал уже метров на пятьдесят. Он торопился, как мог, размахивал руками, в одной руке он держал шляпу. Поглядел я и на директора. Он шагал с большим достоинством, не делая ни одного лишнего движения. На лбу его блестели капли пота, но он их не вытирал.

Казалось, процессия понемногу ускоряет шаг. Вокруг сверкала и захлебывалась солнцем все та же однообразная равнина. Небо слепило нестерпимо. Одно время мы шли по участку дороги, который недавно чинили. Солнце расплавало гудрон. Ноги вязли в нем и оставляли раны в его сверкающей плоти. Клеенчатый цилиндр возницы маячил над катафалком, словно тоже слепленный из этой черной смолы. Я почувствовал себя затерянным между белесой, выгоревшей синевой неба и навязчивой чернотой вокруг: липко чернел разверзшийся гудрон, тускло чернела наша одежда, черным лаком блестел катафалк. Солнце, запах кожи и конского навоза, исходивший от катафалка, запах лака и ладана, усталость после бессонной ночи... от всего этого у меня мутилось в глазах и путались мысли. Я опять обернулся—Перез маячил далеко позади, в знойной дымке, а потом и вовсе пропал из виду. Я стал озираться и увидел: он сошел с дороги и двинулся через поля. Оказалось, впереди дорога описывает дугу. Стало быть, Перез, которому эти места хорошо знакомы, решил срезать напрямик, чтобы нас нагнать. На повороте он к нам присоединился. Потом мы опять его потеряли. Он снова пошел наперерез, полями, и так повторялось несколько раз. Кровь стучала у меня в висках.

Дальше все разыгралось так быстро, слаженно, само собой, что я ничего не запомнил. Разве только одно: когда мы входили в деревню, сиделка со мной заговорила. У нее оказался необыкновенный голос, звучный, трепетный, очень неожиданный при таком лице. Она сказала:

— Медленно идти опасно, может случиться солнечный удар. А если заторопишься, бросает в пот, и тогда в церкви можно простыть.

Да, правда. Выхода не было. В памяти уцелели еще какие-то обрывки этого дня—например, лицо Переза, когда у самой деревни он нас перехватил в последний раз. От усталости и горя по щекам его текли крупные слезы. Но морщины не давали им скатиться. Слезы расплывались и опять стекались и затягивали иссохшее лицо влажной пленкой. Была еще церковь, и деревенские жители на тротуарах, и кладбище, на могилах краснела герань, и Перез упал в обморок (точь-в-точь марионетка, которую уже не дергают за нитки), и красная как кровь земля сыпалась на мамин гроб, мешаясь с белым мясом перерезанных корней, и еще люди, голоса, деревня, ожидание на остановке перед кафе, потом непрерывное урчанье мотора, и как я обрадовался, когда автобус покатиł среди огней по улицам Алжира, и я подумал: вот лягу в постель и просплю двенадцать часов кряду.

II

Проснувшись, я понял, отчего у патрона был недовольный вид, когда я просил отпуск на два дня: нынче суббота. Я про это почти забыл, а когда начал вставать—вспомнил. Конечно, патрон сразу подумал, что вместе с воскресеньем у меня выйдет четыре свободных дня, и, понятно, это ему не понравилось. Но, с одной стороны, я не виноват, что маму хоронили вчера, а не сегодня, а с

другой стороны, в субботу и воскресенье я бы все равно не работал. Впрочем, я прекрасно понимаю, что патрону это не нравится.

Поднялся я с трудом, потому что накануне устал. Пока брился, думал, как бы провести время, и решил искупаться. Сел в трамвай и поехал в купальни у порта. Кинулся в воду и поплыл. Тут было много молодежи. В воде встретился с Мари Кардона, когда-то она работала у нас в конторе машинисткой, в ту пору я ее хотел. И она, кажется, тоже. Но мы не успели, она очень быстро уволилась. Сейчас я помог ей взобраться на поплавок и при этом коснулся ее груди. Я еще не вылез из воды, а она уже растянулась на поплавке. И повернулась ко мне. Волосы падали ей на глаза, и она смеялась. Я подтянулся и пристроился с ней рядом. Было славно, я откинулся назад и, точно в шутку, положил голову ей на живот. Она ничего не сказала, и я так и остался лежать. Прямо в глаза мне смотрело просторное небо, синее и золотое. Затылком я чувствовал, как тихонько поднимается и опускается от дыхания живот Мари. Мы долго лежали, полусонные, на поплавке. Когда солнце стало слишком припекать, она нырнула, я за ней. Я догнал ее, обнял за талию, и мы поплыли вместе. Она все время смеялась. На пристани, когда мы сошли, она сказала:

— А я загорела сильнее, чем вы.

Я спросил, не пойдет ли она вечером в кино. Она опять засмеялась и сказала, что ей хочется посмотреть картину с Фернанделем. Когда мы оделись, она очень удивилась, что на мне черный галстук, и спросила — разве я в трауре? Я сказал — умерла мама. Она спросила — когда, и я сказал — вчера. Она отступила на шаг, но промолчала. Я хотел было сказать, что я ведь не виноват, да вспомнил, что уже говорил это патрону. Ну, неважно. Все равно, как ни крути, всегда окажешься в чем-нибудь да виноват.

Вечером Мари обо всем забыла. Картина была временами забавная, а в общем преглупая. Нога Мари прижималась к моей. Я гладил ее грудь. Под конец сеанса я ее поцеловал, но как-то неловко. После кино она пошла ко мне.

Когда я проснулся, Мари уже ушла. Она еще раньше объяснила, что ей надо навестить тетку. Я вспомнил, что нынче воскресенье, и мне стало скучно — не люблю воскресений. Повернулся на другой бок, вдохнул с подушки запах моря от волос Мари и проспал до десяти часов. Потом лежал в постели до двенадцати, курил сигареты. Завтракать, как обычно, у Селеста не хотелось: там, конечно, стали бы расспрашивать, а я этого не люблю. Поджарил себе яичницу и съел прямо со сковородки без хлеба — дома не было ни крошки, а идти покупать не хотелось.

После завтрака мне стало скучновато, и я начал бродить по квартире. При маме тут было удобно. А для одного квартира слишком велика, пришлось перетащить к себе стол из столовой. Так я теперь и живу в одной комнате, тут у меня стоят соломенные стулья, уже немного продавленные, зеркальный шкаф (зеркало пошло желтыми пятнами), туалетный столик и кровать с медными прутьями. Остальное все в забросе. Немного погоды от нечего делать я взял старую газету и стал читать.

Вырезал рекламу слабительной соли и наклеил в старую тетрадь, я туда вклеиваю все, что попадется в газетах забавного. Потом вымыл руки и наконец шагнул на балкон.

Моя комната выходит на главную улицу предместья. День стоял погожий. Но накатанная мостовая жирно блестела, прохожих было мало, и почему-то они торопились. Некоторые вышли на прогулку всей семьей. Сперва прошли два мальчугана, будто одереженевшие в парадных наглаженных матросках и в штанах ниже колен, и девочка с большим розовым бантом, в черных лакированных туфельках. За ними — огромная, толстая мамаша в коричневом шелку и маленький, щуплый папаша, я его знаю в лицо. На нем галстук бабочкой, жесткая соломенная шляпа, в руке трость. Увидав его рядом с женой, я понял, почему в нашем квартале он считается человеком весьма достойным. Немного спустя прошли молодые люди — волосы напомажены, красные галстуки, пиджаки в талию, из нагрудных карманов торчат вышитые платочки, у башмаков квадратные носы. Видно, собрались в город, в кино. Потому они и вышли спозаранку, и спешат к трамваю, и хохочут во все горло.

Потом улица понемногу опустела. Наверно, всюду начались сеансы. На улице остались только лавочники да кошки. Над фикусами, которые растут вдоль домов, небо чистое, но неяркое. Хозяин табачной лавки, что через дорогу, выставил стул на тротуар у входа и уселся верхом, опершись локтями на спинку. Еще недавно трамваи были набиты битком, а сейчас идут почти пустые. Рядом с табачной лавкой, в маленьком кафе «У Пьеро», безлюдно, официант посыпал пол опилками и подметает. Сразу видно — воскресенье.

Я повернул свой стул и тоже, как торговец табаком, оседлал его — оказывается, так удобнее. Выкурил две сигареты, вернулся в комнату, отломил кусок шоколада, подошел к окну и стал жевать. Вскоре небо нахмурилось, и я подумал, что налетит летняя гроза. Но понемногу опять прояснилось. Однако, после того как прошли облака, улица так и осталась хмурой, будто в предчувствии дождя. Я еще долго сидел и смотрел на небо.

В пять часов с грохотом прикатили трамваи. Они везли народ с дальнего стадиона, люди гроздьями висели по бокам и на подножках. Следующие вагоны привезли игроков, я их признал по чемоданчикам. Они орала и пели песни во славу своей непобедимой команды. Некоторые махали мне руками. Один даже крикнул:

— Наша взяла!

И я кивнул в ответ.

После этого потоком хлынули машины.

День еще немного померк. Небо над крышами стало краснеть, и с наступлением вечера улицы оживились. Люди возвращались с прогулки. Среди прочих я узнал достойного отца семейства. Детишки хныкали и едва плелись, их тащили за руку. И сейчас же кинотеатры всего квартала выплеснули на улицу волну зрителей. Молодые люди шагали решительней обычного и энергичней размахивали руками — наверно, фильм был приключенческий. Те, кто ездил в кино в центр города, вернулись позже. Эти держались

серьезнее. Иногда они смеялись, но чаще лица у них были усталые и задумчивые. Они не расходились по домам, а прогуливались взад и вперед по тротуару напротив. Девушки с непокрытыми головами гуляли, взявшись под руки. Молодые люди нарочно шли им навстречу и отпускали всякие шуточки, а они со смехом отворачивались. С некоторыми девушками я был знаком, они кивали мне и улыбались.

Внезапно зажглись уличные фонари, и первые проглянувшие в небе звезды побледили. Оттого, что я долго смотрел на улицу, полную огней и прохожих, у меня зарябило в глазах. Мостовая лоснилась под лучами фонарей, в свете проходящих трамваев порой вспыхивали чьи-то волосы, улыбка или серебряный браслет. Понемногу трамваи стали реже, небо над деревьями и фонарями совсем почернело, квартал незаметно опустел, и вот уже совсем безлюдную улицу лениво перебежала первая кошка. Тут я подумал, что надо бы пообедать. Я так долго сидел, опершись на спинку стула, что у меня затекла шея. Я вышел купить хлеба и макарон, сварил макароны и стоя поел. Хотел было выкурить у окна еще сигарету, но потянуло холодом, и мне стало зябко. Я закрыл окно и, отходя от него, увидел в зеркале угол стола и на нем спиртовку и куски хлеба. И подумал—вот и прошло воскресенье, маму похоронили, завтра я пойду на работу, и, в сущности, ничего не изменилось.

III

Сегодня в конторе у меня набралось много дела. Патрон был любезен. Спросил, сильно ли я устал, и тоже поинтересовался, сколько маме было лет. Чтобы не ошибиться, я сказал просто: «Седьмой десяток». И почему-то у него на лице выразилось облегчение, словно он решил, что говорить больше не о чем.

У меня на столе громоздилась куча накладных, надо было все их разобрать. Перед тем как пойти завтракать, я вымыл руки. Среди дня это очень приятно. Вечером мне это меньше нравится: полотенцем возле умывальника пользуется вся контора, и за день оно становится совсем мокрым. Однажды я сказал об этом патрону, он ответил—да, нехорошо, но, в сущности, это мелочь. Завтракать я пошел немного позже обычного, в половине первого, вместе с Эмманюелем—он служит в экспедиции. Наша контора выходит к морю, и мы минуту-другую помешкали—смотрели на торговые суда в залитой солнцем гавани. Тут, треща выхлопной трубой и гремя цепями, появился грузовик. Эмманюель сказал: «Поехали?»—и я кинулся бежать. Грузовик уже прокатил дальше, мы бросились вдогонку. Меня захлестнуло грохотом и пылью. Я уже ничего не видел и не чувствовал, мы мчались очертя голову между лебедек и машин, мимо посуды у причалов, мачты качались и чиркали по небу. Я первым ухватился за борт грузовика и забрался в кузов. Потом помог Эмманюелю. Мы еле переводили дух, грузовик подскакивал на неровной брусчатке набережной, среди солнца и пыли. Эмманюель закатывался хохотом.

Взмокшие, потные, мы ввалились к Селесту. Он был тут как тут, толстопузый, в белом переднике и с белыми усами. Он спросил меня: «Ну как, держишься?» Я сказал «да» и еще сказал, что хочу есть. Мигом все съел, выпил кофе. Пошел домой, немного поспал, потому что за завтраком выпил лишнее, а когда проснулся, захотелось курить. Побоялся опоздать и побежал к трамваю. Работал до вечера. В конторе стояла духота, и вечером я с наслаждением, не торопясь, возвращался по набережной пешком. Небо стало зеленое, мне было хорошо и спокойно. Все же я пошел прямо домой, потому что хотел сварить себе картошки.

Поднимаясь по неосвещенной лестнице, я столкнулся со стариком Саламано — мы живем на одной площадке. Он выводил свою собаку. Уже восемь лет они неразлучны. У этого спаниеля какая-то кожная болезнь, лишай наверно, — он весь облезлый, в болячках и в бурой коросте. Старик Саламано ютится со своим псом в тесной комнатенке и за долгие годы сам стал похож на него. Лицо в красноватых струпьях, редкие выцветшие волосы. А пес перенял у хозяина повадку — какой-то он сутулый, шею вытянул, голову повесил. Похоже, что оба одной породы — и, однако, они друг друга ненавидят. Дважды в день, в одиннадцать и в шесть, старик выводит пса на прогулку. За восемь лет маршрут ни разу не менялся. Они идут по Лионской улице, пес изо всех сил натягивает поводок, старик Саламано начинает спотыкаться. Тогда он колотит пса и ругательски его ругает. Струсив, пес приседает и упирается. Теперь уже старик тянет его за собой. Но стоит псу забыться, и он снова тащит хозяина вперед, а тот опять бьет его и ругает. Станут посреди тротуара и смотрят друг на друга — собака со страхом, человек с ненавистью. И так изо дня в день. Когда пес задирает ногу, старик не дает ему времени и тащит вперед, и за собакой остается след — цепочка мелких капель. И если собаке случится напакостить в комнате, на нее снова сыплются побои. Все это длится восемь лет. Селест говорит, что Саламано — негодяй, но ведь никто не знает, как оно на самом деле. Когда я встретил старика на лестнице, он осыпал пса бранью.

— Сволочь! — говорил он. — Подлюга!

Пес в ответ скулил. Я сказал:

— Добрый вечер!

Но старик все ругался. Тогда я спросил, что пес ему сделал. Саламано не ответил, только повторял:

— Сволочь! Подлюга!

В темноте я едва разглядел, что он наклонился над собакой и как будто поправляет ошейник. Я спросил еще раз, погромче. Тогда он ответил, не оборачиваясь, с еле сдерживаемой яростью:

— Опостылел он мне...

И ушел, волоча за собой пса, а тот скулил и упирался всеми четырьмя лапами.

Тут вошел другой мой сосед по лестничной площадке. В нашем квартале он слывет сутенером. Но когда его спрашивают, чем он занимается, он называет себя кладовщиком. Все его недолюбливают. Однако со мной он часто заговаривает, а иногда на минуту

заходит ко мне, потому что я готов его слушать. По-моему, он рассказывает интересно. И у меня нет причин с ним не разговаривать. Зовут его Раймон Синтес. Он небольшого роста, плечи широкие, нос как у боксера. Одет всегда с иголочки. Он тоже сказал мне про Саламано:

— Вот негодяй!

И спросил, не противно ли мне все это, а я сказал—нет.

Мы поднялись по лестнице, я хотел уйти к себе, но он сказал:

— У меня есть вино и кровяная колбаса. Может, присоединитесь?

Я подумал, не придется готовить себе ужин, и согласился. У Раймона, как и у Саламано, только одна комната да темная, без окна, кухня. Над кроватью—бело-розовый гипсовый ангел, фотографии чемпионов, две или три картинки, вырезанные из журнала,—голые женщины. В комнате грязно, постель не убрана. Раймон первым делом зажег керосиновую лампу, потом вытащил из кармана сомнительной чистоты бинт и стал перевязывать себе правую руку. Я спросил, что с рукой. Он объяснил: пристал к нему один фрукт, вот и пришлось подраться.

— Понимаете, господин Мерсо, я человек не злой, но нрав у меня горячий. Тот фрукт мне говорит: «Выходи из трамвая, если ты мужчина!» Я говорю: «Да ладно, отстань». А он мне: ты, мол, не мужчина. Ну, я вышел с ним из вагона и говорю: «Лучше отвяжись, не то получишь». А он отвечает: «Черта с два!» Ну, тут я ему врезал. Он свалился. Я хотел его поднять. А он лежит и отбивается ногами. Я ему наподдал коленом и еще по морде—раз, раз! В кровь разбил. Спрашиваю: ну как, мол, хватит с тебя? Он говорит: «Хватит».

Рассказывая, Синтес перевязывал руку. Я сидел на его постели. Он сказал еще:

— Понимаете, я к нему не пристава. Он первый меня оскорбил.

Я согласился, что так оно и выходит. Тогда он заявил, что как раз хотел со мной насчет этого посоветоваться, я-то мужчина, притом человек бывалый и могу ему помочь, и тогда он станет мне другом-приятелем. Я промолчал; тогда он спросил, хочу ли я стать ему другом. Я сказал, что мне все равно, и он, видно, был доволен. Он вытащил колбасу, поджарил ее на сковородке, расставил стаканы, тарелки, достал ножи, вилки и две бутылки вина. И все это молча. Потом мы сели за стол. За едой он начал рассказывать о своих делах. Сперва он немного мялся.

— Я водил знакомство с одной... собственно говоря, она моя любовница...

Человек, с которым он подрался,—брат этой женщины. Раймон сказал, что содержал ее. Я промолчал, и, однако, он сейчас же прибавил, что знает, какие про него ходят сплетни по всему кварталу, но совесть его чиста, он работает кладовщиком.

— Так вот,—продолжал он,—заметил я, что меня водят за нос.

Он давал любовнице ровно столько, чтоб хватало на жизнь. Сам снимал ей комнату и давал двадцать франков в день на еду.

— Триста франков за комнату, шестьсот на еду, время от времени пара чулок—вот вам тысяча франков. И дамочка не работала. Но вечно уверяла, что моих денег ей никак не хватает. Я ей говорю: «Пошла бы работать на полдня. Избавила бы меня от мелких расходов. Я тебе в этом месяце купил костюм, я тебе даю двадцать франков в день, я плачу за твою комнату, а ты еще среди дня распиваешь с приятельницами кофе. Угощаешь их кофе с сахаром. И все на мои деньги. Я с тобой по-хорошему, а ты как поступаешь?» Но она не работала, только знай твердила, что денег ей никак не хватает, ну, под конец я и понял, что меня водят за нос.

И Раймон рассказал мне, что нашел в сумочке у любовницы лотерейный билет, и она не могла объяснить, на какие деньги его купила. Немного позже он нашел у нее квитанцию—оказалось, она заложила в ломбарде два браслета. А он и не подозревал, что у нее есть браслеты.

— Тут-то я ее и раскусил. И тогда я с ней расстался. Но сперва отлупил ее. И выложил начистоту, что я про нее думаю. Ты, говорю, только и знаешь, что забавляешься в постели с кем попало. Понимаете, господин Мерсо, я ей так и сказал, я, говорю, тебя осчастливил, все тебе завидуют, а ты не ценишь. Еще пожалеешь, да поздно будет.

Он избил ее в кровь. Прежде он ее не бил.

— Поколачивал, но только так, любя. Она, бывало, всплакнет, я закрою ставни, и все кончается самым обыкновенным образом. А на этот раз дело серьезное. И, скажу вам, я еще не проучил ее как следует.

Он объяснил, что тут-то ему и нужен мой совет. Потом остановился и поправил фитиль, потому что лампа коптила. Я молчал и слушал. Я выпил чуть не литр вина, и у меня сильно шумело в голове. Я курил сигареты Раймона, своих у меня не осталось. Проходили последние трамваи, унося с собой затихающие отголоски дневного шума. Раймон продолжал рассказывать. Он еще не охладел к этой шлюхе, вот что досадно. Но он непременно ее проучит. Сперва он хотел привести ее куда-нибудь в гостиницу и вызвать полицию нравов: пускай разыграется скандал и она получит желтый билет. Потом обратился к друзьям—у него в этих кругах есть свои люди. Они ничего путного не присоветовали. Что толку после этого водить с ними дружбу, заметил Раймон. Он им так и сказал, и тогда они предложили поставить ей на роже метку. Но ему не это нужно. Он еще поразмыслит. Но сперва он хочет меня кое о чем попросить. Нет, еще прежде того вопрос: что я думаю обо всей этой истории? Я сказал—ничего не думаю, просто это любопытно. А как я думаю, обманывала она его? Да, пожалуй, обманывала. А как я думаю, надо ее проучить? И как бы я поступил на его месте? Я ответил—трудно сказать, но что он хочет ее проучить—это я понимаю. Потом я выпил еще вина. Раймон закурил сигарету и раскрыл мне свой план. Он напишет ей письмо, в котором «даст ей по морде» и в то же время заставит раскаяться. А потом, когда она вернется, он ляжет с ней в постель и «в самую последнюю минуту» плюнет ей в лицо и выгонит вон. Я

согласился—да, таким образом она и вправду будет наказана. Но Раймон сказал, что он, пожалуй, не сумеет составить такое письмо, вот он и подумал—может, я напишу за него. Я ничего не ответил, и он предложил, если я не против, заняться этим сейчас же. Я сказал, что не против.

Он выпил стакан вина и поднялся. Отодвинул тарелки и остатки застывшей в жиру колбасы. Старательно вытер клеенку на столе. Вынул из ящика ночного столика лист бумаги в клетку, желтый конверт, красную деревянную ручку и квадратную чернильницу с лиловыми чернилами. Когда он назвал имя женщины, стало ясно, что она мавританка. Я сочинил письмо. Писал отчасти наобум, но старался, чтобы Раймон был доволен,—в сущности, отчего бы и не постараться? Потом прочел ему письмо вслух. Он слушал, курил и качал головой, потом попросил простить еще раз. Остался вполне доволен. И сказал мне:

— Я же знал, что ты человек бывалый.

Не сразу я заметил, что он перешел на «ты». Только когда он заявил: «Вот теперь ты мне настоящий друг!»—меня это поразило. Он повторил то же самое еще раз, и я сказал: «Да». Мне все равно, друг так друг, а ему, видно, вправду этого хотелось. Он запечатал письмо, и мы допили вино. Потом посидели молча, покурили. На улице стало совсем тихо, прошуршала шинами одинокая машина. Я сказал:

— Уже поздно.

Раймон тоже так думал. Он сказал—время идет быстро,—и в некотором смысле это верно. Меня клонило ко сну, но я никак не мог подняться. Наверно, у меня был усталый вид, потому что Раймон сказал—не надо вешать нос. Я сперва не понял. Тогда он объяснил: он слышал, что я похоронил маму, но ведь рано или поздно все поправим. Я согласился.

Потом я встал. Раймон крепко пожал мне руку и сказал, что настоящие мужчины всегда поймут друг друга. Я вышел, затворил дверь и минуту постоял в темноте на площадке. Дом спал, снизу по лестнице тянуло чем-то сырым и смутным. Я стоял не шевелясь, но ничего не услышал, только в ушах шумело. Да в комнате старика Саламано глухо проскулил пес.

IV

Всю неделю я много работал. Как-то зашел Раймон и сказал, что отослал то письмо. Два раза я ходил с Эммануэлем в кино, он часто не понимает, что делается на экране. Надо ему объяснять. Вчера, в субботу, как мы уговорились, приходила Мари. На ней было красивое платье в белую и красную полоску и кожаные сандалии, и я очень ее захотел. Под платьем угадывались ее крепкие груди, смуглое от загара лицо было как цветок. Мы сели в автобус и поехали за несколько километров от Алжира на маленький пляж—он прячется между скал, а от суши его отгораживают тростники. В четыре часа солнце уже не такое жаркое, но вода теплая. Не спеша поплескивала пологая ленивая волна.

Мари обучила меня игре: когда плывешь, надо втянуть ртом пену с гребня волны, перевернуться на спину и дунуть в небо фонтаном. Брызги рассеиваются в воздухе, точно кружево, или падают на лицо теплым дождем. Но скоро от горько-соленой воды стало жечь во рту. Мари подплыла ближе и в воде прильнула ко мне. Прижалась губами к моим губам, провела по ним языком. Рот у меня перестал гореть, и мы немного покачались на волнах.

Потом мы вышли на десок и стали одеваться. Мари смотрела на меня блестящими глазами. Я обнял ее. После этого мы больше не разговаривали. Я прижал ее к себе, и мы заторопились к автобусу, сразу пошли ко мне и бросились на постель. Я оставил окно настежь. Летняя ночь омывала наши опаленные солнцем тела, и это было славно.

Утром Мари осталась у меня, и я сказал—давай позавтракаем вместе. И вышел купить чего-нибудь поесть. Когда возвращался, услышал в комнате Раймона женский голос. Немного погодя заворчал на своего пса старик Саламано. По деревянным ступеням зашаркали подошвы, заскребли когти, и послышалось знакомое:

— Сволочь! Подлюга!

Они вышли на улицу. Я рассказал Мари про старика, и она засмеялась. На ней была моя пижама, рукава она подвернула. Когда она засмеялась, я опять ее захотел. Немного погодя она спросила:

— Ты меня любишь?

Я ответил, что это пустые слова, они ничего не значат, но, пожалуй, не люблю. Лицо у нее стало грустное. Но, готовя завтрак, она ни с того ни с сего опять засмеялась так, что я ее обнял. И в эту минуту в комнате Раймона поднялся шум.

Сперва мы услышали пронзительный женский крик, потом голос Раймона:

— Ты меня обманула, да, обманула! Я тебе покажу, как меня обманывать!

Раздались глухие удары, и женщина завопила, да так отчаянно, что на лестницу тотчас выбежали жильцы. Мы с Мари тоже вышли. Женщина все кричала, а Раймон все осыпал ее ударами. Мари сказала—какой ужас. Я не ответил. Она попросила, чтобы я позвал полицию, но я сказал—не люблю полицейских. Однако полицейский пришел, его привел жилец со второго этажа, водопроводчик. Полицейский постучал в дверь, и там все стихло. Он постучал сильнее, и тут женщина заплакала, и Раймон отворил. Он приторно улыбался, в зубах торчала сигарета. Женщина кинулась к двери и крикнула полицейскому, что Раймон ее избил.

— Фамилия?—спросил полицейский.

Раймон ответил.

— Вынь сигарету изо рта, когда со мной разговариваешь,—сказал полицейский.

Раймон замаялся, поглядел на меня и сигарету не вынул. Полицейский размахнулся и влепил ему звонкую, увесистую оплеуху. Сигарета отлетела на несколько метров. Раймон переме-

нился в лице, но сразу ничего не сказал, а чуть погодя кротко спросил, можно ли подобрать окурок. Полицейский разрешил и прибавил:

— В другой раз будешь знать, как с полицией шутки шутить.

Все это время женщина плакала и повторяла:

— Он меня излупил. Он кот.

Раймон сказал:

— Господин полицейский, разве по закону позволяется обзывать человека котом?

Но тот велел ему заткнуть глотку. Тогда Раймон обернулся к женщине и сказал:

— Ну погоди, деточка, мы еще встретимся.

Полицейский велел ему заткнуться, и пускай женщина уходит, а он пускай сидит дома и ждет, покуда его вызовут в участок. И прибавил—хоть бы Раймон постыдился, вон до чего пьян, весь трясется! Тут Раймон объяснил:

— Я не пьян, господин полицейский. Просто перед вами я поневоле дрожу.

Он затворил дверь, и все разошлись. Мы с Мари опять принялись готовить завтрак. Но ей не хотелось есть, я почти все съел сам. Через час она ушла, а я опять немного поспал.

Часа в три ко мне постучали, и вошел Раймон. Я все еще лежал. Он присел на край кровати. Он сидел и молчал, и я спросил, как было дело. Он рассказал, что сделал все, как задумал, но она дала ему пощечину, и тогда он ее поколотил. Остальное я и сам видел. Я сказал—по-моему, теперь он ее проучил и может быть доволен. Он был того же мнения и сказал, мол, как бы полицейский ни старался, а тумачок он ей надавал, этого уж никто не изменит. И прибавил, что полицейских он изучил и знает, как с ними обращаться. Потом спросил—наверно, я ждал, что он тоже даст полицейскому по морде. Я сказал: ровным счетом ничего не ждал, а вообще не люблю я полицию. Раймон, видно, был очень доволен. Он спросил, не пойду ли я с ним пройтись. Я поднялся и пригладил волосы. Тут он сказал, что хочет взять меня в свидетели. Мне это было все равно, но я не знал, что надо говорить. Раймон объяснил: довольно будет подтвердить, что эта женщина его обманула. Я согласился выступить свидетелем.

Мы вышли из дому, и Раймон предложил выпить по рюмочке коньяку. После этого ему вздумалось сыграть партию в бильярд, и я немножко проиграл. Потом он звал меня в бордель, но я сказал—нет, потому что я этого не люблю. Тогда мы не спеша повернули обратно. И он все говорил, как он доволен, что проучил свою любовницу. Он был со мной очень мил, и я подумал: мы славно провели время.

Еще издали я увидел на пороге нашего дома старика Саламано, он был чем-то взволнован. Когда мы подошли поближе, оказалось—он без собаки. Он озирался по сторонам, вертелся волчком, вглядывался в темный коридор, бормотал что-то несвязное и вновь принимался воспаленными, красными глазками обшаривать улицу. Раймон спросил, что с ним, но он ответил не сразу.

Он все суетился, и я с трудом разобрал, что он ворчит сквозь зубы:

— Сволочь! Подлюга!

Я спросил, где пес.

— Удрал,—отрезал старик и вдруг разразился длинной речью:—Пошел я с ним, как всегда, на площадь. Там ярмарка, у балаганов полно народу. Я остановился поглядеть «Короля-бродягу». Потом собрался идти дальше, хватать, а его и след простыл. Правда, давно надо было купить ему ошейник поуже. Да только не думал я, что эта сволочь вот так возьмет и удерет.

Раймон стал ему толковать, что, может быть, пес просто заблудился и еще вернется. Он приводил разные случаи: сколько раз бывало, что собака пробежит десятки километров, а потом вернется к хозяину. Но старик все не мог успокоиться:

— Поймите, его прикончат. Еще если б кто-нибудь взял его себе. Да нет, кто его возьмет, шелудивого, им все брезгают. Его наверняка сцапают живодеры.

Тогда я посоветовал Саламано пойти на живодерню, пускай заплатит штраф—и собаку вернут. Он спросил, большой ли штраф. Я не знал. Тут он вспылил:

— Еще деньги платить за такую падаль! Да чтоб он сдох, подлый пес!

И разразился бранью. Раймон засмеялся и вошел в дом. Я пошел за ним, и на площадке мы расстались. Через минуту я услышал шаги старика, и он постучал ко мне. Я открыл, он потоптался на пороге и сказал:

— Извините... прошу прощенья...

Я пригласил его войти, но он не вошел. Он потупился, его покрытые коростой руки тряслись. Не поднимая глаз, он спросил:

— Скажите, господин Мерсо, у меня его не отнимут? Мне его отдадут? А то что же со мной будет!

Я сказал, на живодерне собаку держат три дня, чтобы хозяин, если пожелает, мог ее забрать, а уж потом распоряжаются ею по своему усмотрению. Он долго молча глядел на меня. Потом сказал:

— Спокойной ночи.

И ушел к себе, я слышал, как он ходил по комнате взад-вперед. Потом заскрипела кровать. Через перегородку донеслись странные глухие звуки, и я понял, что старик плачет. Сам не знаю почему, я подумал о маме. Но назавтра надо было рано вставать. Есть не хотелось, и я лег спать без ужина.

V

Раймон позвонил мне в контору. Он сказал, что один его приятель, которому он про меня рассказывал, приглашает меня на воскресенье за город, у него там домишко, вернее, лачуга. Я сказал, что охотно бы поехал, да обещал провести воскресенье с подружкой. Раймон тотчас объявил: пускай и подружка едет. Жена приятеля только обрадуется, что будет не одна в мужской компании.

Я хотел сразу повесить трубку, патрон не любит, когда нам звонят на службу. Но Раймон сказал—одну минуту, приглашение он мог бы передать и вечером, но хочет меня еще кое о чем попросить. За ним весь день ходят по пятам несколько арабов, в том числе брат его бывшей любовницы.

— Если увидишь его вечером возле дома, когда вернешься, предупреди меня.

Я сказал—непременно.

Немного погодя меня позвали к патрону, и мне стало досадно, я подумал: сейчас он скажет, что надо поменьше разговаривать по телефону и побольше работать. Но оказалось, ничего подобного. Он объявил, что у него есть один план, пока еще неопределенный. И ему любопытно услышать мое мнение. Он намерен открыть в Париже отделение конторы, которое занималось бы делами прямо на месте, вело бы там переговоры с крупными парижскими фирмами,—так вот, не хочу ли я за это взяться? Можно жить в Париже и при этом довольно много разъезжать.

— Вы молоды, и, мне кажется, такая работа должна прийтись вам по вкусу.

Я сказал—пожалуй, хотя, в сущности, мне все равно. Тогда он спросил, неужели мне не интересно переменить образ жизни. Я сказал, в жизни ничего не переменишь, все одно и то же, а мне и так хорошо. У него стало недовольное лицо, и он сказал, вечно я отвечаю не по существу, нет у меня никакого честолюбия, а это очень плохо для дела. Тогда я опять пошел работать. Неприятно, что он недоволен, но с какой стати я буду менять свою жизнь? Если вдуматься, разве я несчастен? В студенческие годы были у меня всякие честолюбивые мечты. Но когда пришлось бросить учение, я очень быстро понял, что все это, в сущности, неважно.

Вечером пришла Мари и спросила, хочу ли я, чтобы мы поженились. Я сказал, мне все равно, можно и пожениться, если ей хочется. Тогда она захотела знать, люблю ли я ее. Я ответил, как и в прошлый раз, что это не имеет значения, но, конечно, я ее не люблю.

— Зачем же тогда на мне жениться?—спросила она.

Я объяснил, что это совершенно неважно,—отчего бы и не пожениться, раз ей хочется. Ведь она сама об этом просит, а я только соглашаюсь. Тогда она сказала, что брак—дело серьезное. Я сказал:

— Нет.

Она осеклась и с минуту молча смотрела на меня. Потом опять заговорила. Интересно знать, согласился бы я, если бы мне то же самое предложила другая женщина, с которой я был бы связан такими же отношениями? Я сказал:

— Разумеется.

Мари сказала, что и сама не понимает, любит ли она меня, но этого я уж вовсе не знал. Она опять помолчала, потом пробормотала, что я какой-то чудной,—конечно, за это она меня и любит, но, может быть, когда-нибудь именно из-за этого я стану ей противен. Мне нечего было прибавить, и я молчал; тогда она с улыбкой взяла меня под руку и объявила, что хочет выйти за меня замуж. Я ответил, когда ей угодно, тогда и поженимся, я не

против. Потом рассказал ей о предложении патрона, и Мари сказала, что была бы очень рада повидать Париж. Я сказал, что когда-то жил там, и она спросила, какой он, Париж. Я сказал:

— Там грязно. Всюду голуби и закопченные дворы. А кожа у людей белая.

Потом мы вышли из дому и по широким улицам прошли через весь город. Нам встречались красивые женщины, и я спросил Мари, замечает ли она это. Она сказала, что да и что она меня понимает. Некоторое время мы больше не разговаривали. Но я хотел, чтобы она осталась со мной, и сказал: можно пообедать вдвоем у Селеста. Мари ответила, что и рада бы, но она сегодня занята. Мы были уже недалеко от моего дома, и я сказал—до свиданья. Она посмотрела на меня:

— Тебе не любопытно, чем я занята?

Да, было любопытно, но я не догадался сразу спросить, и она, видно, ставила мне это в укор. Наверно, лицо у меня стало смущенное, и она засмеялась, потянулась ко мне всем телом и подставила губы.

Я пообедал у Селеста. Уже принялся за еду, и вдруг вошла какая-то чудачка и спросила, можно ли сесть за мой столик. Можно, разумеется. Она была престранная: маленькая, движения порывистые, лицо как яблочко, глаза блестят. Она сбросила жакет, села и принялась лихорадочно просматривать меню. Подозвала Селеста и тотчас торопливо, но решительно заказала обед. Дожидаясь закуски, открыла сумку, достала листок бумаги и карандаш, заранее все подсчитала, вытащила из кошелька сколько надо, прибавила на чай и положила деньги у прибора. Тут ей подали закуску, и она мигом все уплела. Дожидаясь следующего блюда, опять открыла сумку, вынула синий карандаш и журнал, где печатают программу радиопередач на неделю. И принялась старательно отмечать птичками чуть не все передачи подряд. Программа была разбросана на десятке страниц, так что работы ей хватило на весь обед. Я уже поел, а она все еще усердно ставила птички. Потом поднялась, теми же отчетливыми движениями, как автомат, надела жакет и вышла. Я тоже вышел и от нечего делать двинулся следом. Она устремилась по самому краю тротуара, до неправдоподобия быстро и уверенно, строго по прямой, не отклоняясь и не оглядываясь. В конце концов я потерял ее из виду и повернул назад. Вот чудная, подумал я, но быстро о ней забыл.

Возле моей двери торчал Саламано. Я повел его к себе, и он пожаловался, что пес пропал—на живодерне его не оказалось. Тамошние служащие сказали: возможно, он попал под колеса. Саламано спросил, нельзя ли это узнать точно через полицию. Ему ответили, что таких случаев каждый день хоть пруд пруди и никто их не учитывает. Я сказал—можно завести новую собаку, но старик справедливо заметил, что к своему псу он привык.

Я сидел с ногами на кровати, а Саламано напротив меня, у стола. Руки он уронил на колени. Старой фетровой шляпы не снял. Он вяло жевал обрывки фраз, пожелтевшие усы шевелились. Он мне немного надоед, но делать все равно было нечего и спать не хотелось. Говорить тоже было не о чем, и я стал

спрашивать про пса. Старик рассказал, что завел собаку после смерти жены. Женился он поздно. В молодости хотел стать актером, еще в полку играл в солдатских самодельных пьесках. А кончилось тем, что пошел служить на железную дорогу, и не жалеет об этом—ведь теперь ему платят небольшую пенсию. С женой он счастлив не был, но, в общем-то, сильно к ней привык. Когда она умерла, ему стало очень одиноко. Тогда он выпросил у одного товарища по мастерской собаку. Это был совсем крохотный щенок, пришлось его выкармливать из рожка. Но собачий век короче человеческого, и они состарились вместе.

— У него был скверный характер,—сказал Саламано.— Бывали у нас и нелады. А все-таки он был хороший пес.

Я сказал—да, пес породистый, и старику, видно, это польстило.

— Вы его не знали в ту пору, когда он еще не захворал,—прибавил он.—Шерсть у него была уж так хороша, любо поглядеть.

С тех пор как на пса напала хворь, Саламано каждое утро и каждый вечер натирал его мазью. Но, в сущности, пес был не болен, а просто-напросто стар, так ведь от старости не вылечишь.

Тут я зевнул, и Саламано сказал, что ему пора. Я сказал—пускай еще посидит, досадно, что с его псом приключилась беда; старик поблагодарил. Он сказал, что его пса очень любила моя мама. «Ваша бедная матушка»,—сказал он. И затем изрек: уж наверно, смерть мамы для меня страшное несчастье, но я ничего не ответил. Тогда он как будто смутился и скороговоркой прибавил: мол, в нашем квартале меня осуждают за то, что я отдал маму в богадельню, но он-то меня знает и не сомневается, что я маму очень любил. Я ответил, сам не понимаю зачем, мол, первый раз слышу, что меня за это осуждают, мне казалось совершенно естественным устроить маму в дом призрения, ведь у меня не хватало денег на сиделку.

— И потом,—прибавил я,—ей уже давно не о чем было со мной говорить, а одна она скучала.

— Да,—согласился Саламано,—в богадельне можно по крайней мере завести друзей.

Потом он стал прощаться. Пора спать. Жизнь его переменилась, и он еще не понимает, как быть дальше. Впервые за все годы, что я его знал, он робко протянул мне руку, и я почувствовал, какая она у него шершавая. Уходя, он слабо улыбнулся и сказал:

— Хоть бы собаки ночью не лаяли. Мне все мерещится, что это лает мой пес.

VI

В воскресенье я насили проснулся. Мари пришлось звать меня и трясти. Завтракать мы не стали, потому что хотели искупаться пораньше. У меня сосало под ложечкой и немного болела голова. Сигарета показалась горькой. Мари посмеивалась и уверяла, что у меня похоронная физиономия. Она надела белое

полотняное платье, распустила волосы. Я сказал, что она красивая, и она засмеялась от удовольствия.

Выходя, мы постучали в дверь к Раймону. Он крикнул, что сейчас идет. Оттого, что я не выспался, да еще в комнате мы не поднимали шторы, яркий солнечный свет ошеломил меня, как пощечина. Мари прыгала от радости и все повторяла, какой чудесный день. Я немного оправился и вдруг сообразил, что голоден. Сказал об этом Мари, а она показала мне свою клеенчатую сумку — там лежали только наши купальные костюмы и полотенце. Оставалось одно — ждать; наконец мы услышали, что Раймон запирает свою комнату. Он вышел в синих штанах, в белой рубашке с короткими рукавами. А на голове у него была соломенная шляпа-канотье, и Мари даже засмеялась; руки у него до локтя оказались очень белые, густо заросшие черными волосами. Мне стало немного противно. Спускаясь по лестнице, Раймон насвистывал, вид у него был очень довольный. Он сказал мне:

— Привет, старина!

А Мари назвал «мадемуазель».

Накануне мы с ним ходили в полицию, и я засвидетельствовал, что та особа «обманула» Раймона. Ему сделали предупреждение и отпустили. Мои слова никто не проверял. Сейчас, выйдя на улицу, мы с Раймоном еще об этом поговорили, потом решили сесть в автобус. До пляжа не очень далеко, но так будет быстрее. Раймон сказал — его приятель будет доволен, если мы явимся пораньше. Мы уже хотели идти на остановку, как вдруг Раймон сделал мне знак, чтобы я поглядел через дорогу. Там, прислонясь к витрине табачной лавки, стояли несколько арабов. Они молча смотрели на нас, но так равнодушно, будто мы были камни или высохшие деревья. Раймон мне сказал, что второй слева и есть тот самый, и лицо у него стало озабоченное. Впрочем, прибавил он, это уже дело прошлое. Мари не поняла и спросила, о чем речь. Я объяснил, что эти арабы злы на Раймона. Она сказала — так пойдем скорей отсюда. Раймон гордо выпрямился, но тут же засмеялся и сказал, что нам и правда надо спешить.

Мы двинулись к остановке автобуса — это недалеко, и Раймон объявил мне, что арабы за нами не пошли. Я обернулся. Они даже не пошевелились и все так же равнодушно смотрели на то место, где мы только что стояли. Мы сели в автобус. У Раймона, видно, стало легче на душе, и он все время подшучивал над Мари. Я понял, что она ему нравится, но на шуточки она почти не отвечала. Только изредка поглядывала на него и смеялась.

Выехали за город. От остановки автобуса до пляжа совсем близко. Надо только пересечь ровное, открытое место на высоком берегу, а дальше отлогий спуск ведет к пляжу. Под ногами валялись желтоватые камни и ярко белели на фоне неба, уже налившегося густой синевой, асфodelи. Мари забавлялась — размахивала клеенчатой сумкой, сбивая лепестки асфodelей. Мы шли между рядами загородных дач, обнесенных белыми и зелеными заборами, одни домики вместе с верандами прятались в кустах тамариска, другие стояли совсем голые среди камней. Еще не дойдя до края плоскогорья, мы увидели неподвижное море.

Поодаль прозрачную воду разрезал тяжелый сонный мыс. В ясном воздухе слышался слабый стук мотора. Далеко-далеко мы увидели маленькое рыбацье судно, оно неприметно скользило по сверкающему морю. Мари нашла между камнями несколько ирисов. С пологого склона видно было, что на берегу уже кое-где есть купальщики.

Приитель Раймона жил в деревянном домишке на самом краю пляжа. Домишок прислонился к скале, спереди его подпирали сваи, вокруг плескалась вода. Раймон нас познакомил. Приятеля звали Масон. Он был рослый, плотный, плечистый, а жена его — маленькая, кругленькая, приветливая, по выговору — парижанка. Он сразу сказал, чтоб мы располагались как дома, сейчас он нас угостит жареной рыбой, он сам наловил ее нынче утром. Я сказал — домик у него очень красивый. Он ответил, что проводит здесь каждую субботу и воскресенье и весь отпуск.

— Вместе с женой, понятно, — прибавил он.

Его жена и Мари говорили о чем-то и смеялись. Кажется, впервые я всерьез подумал: пожалуй, и правда надо жениться.

Масон хотел купаться, но его жене и Раймону идти не хотелось. Мы пошли втроем, и Мари сразу бросилась в воду. Мы с Масоном немного посидели на песке. Речь у него была медлительная, и за ним водилась привычка поминутно приговаривать «более того», даже когда он уже ничего не прибавлял к сказанному. Про Мари он сказал:

— Она изумительна, более того — прелестна.

Потом я уже не обращал внимания на эту нелепую присказку, а лежал и наслаждался — было очень приятно греться на солнце. Песок под ногами стал горячий. Я еще помедлил, хотя меня уже тянуло в воду, и наконец сказал Масону:

— Пошли?

И бросился в воду. А он вошел осторожно и поплыл, только когда ноги перестали доставать дно. Плыл он брассом, довольно плохо, так что я его оставил и пустился догонять Мари. Вода была холодная, а плыть приятно. Мы с Мари заплыли далеко, славно было плыть так дружно, в лад, и чувствовать, что нам обоим хорошо.

Отплыв подальше, мы перевернулись на спину, я смотрел в небо, и под солнцем вмиг высохли на лице и на губах соленые брызги. Нам было видно, как Масон вышел из воды и растянулся на припеке. Издали он казался великаном. Мари захотелось поплавать вместе со мной. Я пристроился позади, взял ее за талию, и она поплыла, работая руками, а я помогал, отталкиваясь ногами. В тишине утра негромко плескала вокруг вода. А потом я устал, оторвался от Мари и поплыл к берегу, равномерно взмахивая руками и глубоко дыша. Вылез из воды и растянулся на животе рядом с Масоном, лицом в песок. Хорошо, сказал я ему, и он согласился. Немного погодя приплыла Мари. Я повернулся и смотрел, как она выходит на берег. От соленой воды она была вся точно лакированная, волосы откинуты назад. Она вытянулась на песке рядом со мной, от ее жаркого тела и от жаркого солнца я задремал.

Мари потрясла меня за плечо и сказала, что Масон пошел к

себе и уже пора завтракать. Я сейчас же поднялся, потому что хотелось есть, но Мари сказала—я с утра еще ни разу ее не поцеловал. И правда, ни разу, а поцеловать хотелось.

— Пойдем окунемся,—сказала она.

Мы вбежали в воду и закачались на прибрежных волнах. Поплыли немного, и Мари прильнула ко мне. Обхватила мои ноги своими, и я ее захотел.

Когда мы подходили к дому, Масон с порога уже звал нас. Я сказал—до чего хочется есть, и он сейчас же заявил своей жене, что я ему нравлюсь. Хлеб был вкусный, я вмиг уплетел свою порцию рыбы. Потом было мясо с жареной картошкой. Ели молча. Масон прихлебывал вино и то и дело подливал мне. К тому времени, как подали кофе, голова у меня стала тяжелая, и я начал курить одну сигарету за другой. Мы с Масоном и Раймоном надумали в августе пожить все вместе в складчину здесь, на пляже. И вдруг Мари сказала:

— А знаете, который час? Только половина двенадцатого.

Мы все удивились, но Масон сказал—ну и пускай, поели рано, ничего страшного тут нет: когда проголодаешься, тогда самое время поесть. Не знаю почему, но Мари это очень насмешило. Наверно, она выпила лишнее. Масон спросил—может, я хочу прогуляться с ним по пляжу?

— Жена после еды всегда отдыхает. А я этого не люблю. Мне надо пройтись. Я ей всегда говорю, это куда полезнее для здоровья. Но, в конце концов, ее воля, пускай делает как знает.

Мари объявила, что останется и поможет госпоже Масон перемыть посуду. Маленькая парижанка сказала—для этого надо выставить мужчин за дверь. И мы трое вышли.

Солнечные лучи падали на песок почти отвесно, и море под ними блестело нестерпимо. На пляже не было ни души. Из домишек, которые лепились на краю высокого берега, нависая над морем, слышался звон посуды, стук ножей и вилок. От раскаленных камней под ногами несло жаром так, что дух захватывало. Раймон с Масоном заговорили о делах и людях, мне незнакомых. Я понял, что они знают друг друга очень давно и даже когда-то жили под одной крышей. Мы шли по кромке песка, вдоль самой воды. Иногда волна побойчее с разбегу обдавала наши парусиновые туфли. Я ни о чем не думал, солнце жгло непокрытую голову, и от этого меня клонило ко сну.

Вдруг Раймон сказал Масону что-то, чего я не расслышал. Но в ту же минуту я увидел далеко впереди, в самом конце пляжа, двух арабов в синем—они шли нам навстречу. Я поглядел на Раймона, и Раймон сказал:

— Это он самый.

Мы шли не останавливаясь. Масон спросил, как же они догадались приехать сюда. Я подумал: должно быть, видели, что мы с пляжной сумкой сидим в автобус, но промолчал.

Арабы не спеша подходили все ближе. Мы не замедляли шага, но Раймон сказал:

— Если начнется потасовка, ты, Масон, займись вторым. О своем субчике я сам позабочусь. А если явится третий, это уж дела тебя, Мерсо.

— Ладно,— сказал я.

Масон заложил руки в карманы. Раскаленный песок мне теперь казался багровым. Размеренно, не торопясь мы шли навстречу арабам. Расстояние сокращалось. Когда нас разделяло уже всего несколько шагов, арабы остановились. Мы с Масоном замедлили шаг. Раймон пошел напрямик к своему врагу. Я не расслышал, что он ему сказал, но тот пригнулся, будто хотел на него броситься. Тогда Раймон нанес первый удар и тотчас позвал Масона. Масон подошел ко второму арабу и дважды ударил его изо всей силы. Тот плашмя свалился в воду, лицом вниз, и несколько секунд лежал так, а вокруг его головы на воде лопались пузыри. Тем временем Раймон опять ударил противника и разбил ему лицо в кровь. Обернулся ко мне и сказал:

— Сейчас я его изукрашу!

Я крикнул:

— Берегись! Нож!

Но араб уже полоснул его по руке повыше локтя и по губам.

Масон прыгнул вперед. Но второй араб поднялся и стал позади того, с ножом. Мы не смели шевельнуться. Они медленно отступали, не сводя с нас глаз и грозя ножом. А отойдя подальше, пустились бежать, мы же остались под солнцем, будто в землю вросли; Раймон зажимал рану на руке, из нее сочилась кровь.

Масон вспомнил, что тут есть врач. Он по воскресеньям всегда приезжает на дачу. Раймон хотел сейчас же пойти к нему. Но при каждом слове у него на разрезанных губах пузырилась кровь. Мы взяли его под руки и поскорей отвели в домик Масона. Там Раймон заявил, что у него не раны, а царапины, он может и сам пойти к врачу. Они с Масоном ушли, а я стал объяснять женщинам, что случилось. Госпожа Масон плакала, Мари сильно побледнела. Под конец мне надоело с ними толковать. Я замолчал и стал курить, глядя на море.

К половине второго Раймон с Масоном вернулись. Рука у Раймона была на перевязи, угол рта залеплен пластырем. Врач сказал, что это все пустяки, но Раймон был мрачнее тучи. Масон пытался его рассмешить. Но он отмалчивался. Потом заявил, что опять пойдет на пляж, и я спросил—куда. Он ответил—просто подышать воздухом. Мы с Масоном сказали, что тоже пойдем. Он вдруг разозлился и обругал нас. Масон сказал—не надо ему перечить. Но я все-таки пошел за Раймоном.

Мы долго шли по пляжу. Солнце жгло невыносимо. Оно дробилось на песке и на воде в колкие осколки. Мне казалось, Раймон знает, куда идет, но, наверно, я ошибался. В самом конце пляжа мы набрели на родничок, он выбегал из-за большой скалы и струился по песку к морю. Здесь мы увидели тех двух арабов. Они лежали на песке в своих засаленных синих одеждах. С виду они были смирные, даже кроткие. И к нашему появлению отнеслись очень спокойно. Тот, который ударил Раймона ножом, теперь молча смотрел на него. Второй насвистывал на тростниковой дудке, он искося на нас поглядывал и повторял опять и опять одни и те же три ноты.

Было только солнце и тишина, вполголоса журчал ручей, да

выводила одно и то же тростниковая дудка. Потом Раймон сунул руку в карман за револьвером, но его противник не пошевелился, они в упор смотрели друг на друга. Я заметил, что у того, который играл на дудке, большие пальцы на ногах далеко отставлены от остальных. Но тут Раймон, все не сводя глаз с врага, спросил меня:

— Прикончить его?

Я подумал—если сказать «нет», он взвесьется и наверняка выстрелит. И я проговорил только:

— Он еще ни слова не сказал. Было бы свинством стрелять ни с того ни с сего.

Опять стоим в жаре, в тишине, слушаем журчанье родника и дудки. Потом Раймон говорит:

— Тогда я его обругаю, а как ответит—прикончу.

— Ну что ж,—отвечаю.—Только если он не вытащит нож—стрелять не годится.

Раймон понемногу взвинчивался. Второй араб все играл, и оба они следили за каждым движением Раймона.

— Вот что,—сказал я.—Сойдись с ним один на один, а револьвер отдай мне. Если второй вмешается или если этот вытащит нож, я его пристрелю.

Раймон отдал мне револьвер, металл блеснул на солнце. Но мы по-прежнему не шевелились, будто весь мир оцепенел и сковал нас. Мы только глядели в упор на арабов, арабы—на нас, а море, солнце и песок, еле слышная дудка и родник будто замерли. И я подумал—можно стрелять, а можно и не стрелять, какая разница. Но вдруг арабы попятились и скользнули за скалу. Тогда мы с Раймоном повернули назад. Его как будто отпустило, и он сказал—пора к автобусу и домой.

Я проводил его до лачуги Масона, и он стал взбираться по деревянной лестнице, а я остановился внизу: в голове гудело от жары и не хватало пороху одолеть два десятка ступеней да еще разговаривать с женщинами. Но солнце пекло немилосердно, с неба хлестал дождь слепящего света, и оставаться под ним было тоже невозможно. Остаться тут или идти—в конце концов, было все едино. Я постоял минуту, повернулся и зашагал обратно на пляж.

Все так же слепил багровый песок. Море, тяжело дыша и захлебываясь, выплескивало на него мелкие волнишки. Я медленно шел к скалам и чувствовал, как от солнца пухнет голова. Жара давила, стеной вставала поперек дороги, обдавала лицо палящим дыханием. И я опять и опять стискивал зубы, сжимал кулаки в карманах штанов, весь напрягался, силясь побороть солнце и мутное опьянение, которое обволакивало меня и валило с ног. Всякая песчинка, побелевшая от солнца раковина, осколок стекла метали в меня копыя света, и я судорожно стискивал зубы. Я шел долго.

Вдалеке завиднелась темная глыба скалы в ослепительном ореоле света и летящей морской пены. Я вспомнил, что за скалой течет прохладный родник. Захотелось опять услышать его журчанье, укрыться от солнца, не напрягать мышц, не видеть женских слез, захотелось, наконец, тени и покоя. Но когда я

подошел ближе, оказалось — тот араб, враг Раймона, вернулся.

Он был один. Он лежал на спине, заложив руки под голову, лицо было в тени скалы, а все тело на солнце. В жарких лучах от синего балахона шел пар. Я немного удивился. Я-то думал, с этим делом покончено, и совсем про него позабыл, когда шел сюда.

Завидев меня, араб приподнялся и сунул руку в карман. Понятно, я нащупал в кармане куртки револьвер Раймона. Тогда араб опять откинулся на спину, но руку из кармана не вынул. Я был от него довольно далеко, метров за десять. Порой между полусомкнутыми веками я угадывал его взгляд. Но чаще его черты расплывались передо мной в дрожащем знойном воздухе. Волны плескали еще реже, еще ленивее, чем в полдень. Все то же солнце, тот же сверкающий, слепящий песок, и нет им конца. Вот уже два часа, как день оцепенел, два часа, как он бросил якорь в океане расплавленного металла и не двигается с места. На горизонте шел пароход, я едва заметил краем глаза темную точку, потому что неотрывно смотрел на араба.

Я подумал: стоит только повернуться и пойти прочь — и все кончится. Но весь раскаленный знойный берег словно подталкивал меня вперед. Я ступил к роднику — шаг, другой. Араб не шелохнулся. Все-таки до него было еще довольно далеко. Может быть, оттого, что на лицо его падала тень, казалось — он усмехается. Я помедлил. Солнце жгло мне щеки, на брови каплями стекал пот. Вот так же солнце жгло, когда я хоронил маму, и, как в тот день, мучительней всего ломило лоб и стучало в висках. Я не мог больше выдержать и подался вперед. Я знал: это глупо, я не избавлюсь от солнца, если сдвинусь на один только шаг. И все-таки я сделал его — один-единственный шаг вперед. Тогда, не поднимаясь, араб вытащил нож и показал мне, выставив на солнце. Оно высекло из стали острый луч, будто длинный искрящийся клинок впился мне в лоб. В тот же миг пот, скопившийся у меня в бровях, потек по векам и затянул их влажным полотнищем. Я ничего не различал за плотной пеленой соли и слез. И ничего больше не чувствовал, только в лоб, как в бубен, било солнце да огненный меч, возникший из стального лезвия, маячил передо мной. Этот жгучий клинок рассекал мне ресницы, вонзался в измученные, воспаленные глаза. И тогда все закачалось. Море испустило жаркий, тяжелый вздох. Мне почудилось — небо разверзлось во всю ширь и хлынул огненный дождь. Все во мне напряглось, пальцы стиснули револьвер. Выпуклость рукоятки была гладкая, отполированная, спусковой крючок поддался — и тут-то, сухим, но оглушительным треском, все и началось. Я стряхнул с себя пот и солнце. Я понял, что разрушил равновесие дня, необычайную тишину песчаного берега, где мне совсем недавно было так хорошо. Тогда я еще четыре раза выстрелил в распростертое тело, пули уходили в него, не оставляя следа. И эти четыре отрывистых удара прозвучали так, словно я стучался в дверь беды.

ЧАСТЬ II

I

Сразу же после ареста меня несколько раз допрашивали. Но допросы были недолгие — просто выясняли, кто я такой. В первый раз, в полицейском участке, моим делом, кажется, ровно никто не заинтересовался. Неделью спустя, напротив, судебный следователь смотрел на меня с любопытством. Но для начала он только спросил мое имя и адрес, род занятий, время и место рождения. Потом пожелал узнать, выбрал ли я себе адвоката. Я сказал — нет, а разве это так уж необходимо?

— То есть как? — удивился он.

Я сказал — по-моему, дело мое очень простое.

Он улыбнулся и сказал:

— Можно считать и так. Однако существует закон. Если вы не выберете себе защитника сами, мы вам кого-нибудь назначим.

Я подумал: очень удобно, что правосудие само заботится обо всех мелочах. Так я и сказал следователю. Он согласился и заметил, что законы составлены весьма разумно.

Сначала я не принял его всерьез. Он ждал меня в кабинете с завешенными окнами, горела одна только лампа на письменном столе и освещала кресло, в которое он меня усадил, а сам остался в тени. Я уже читал про такие приемы в книгах, и все это показалось мне игрой. Но когда мы поговорили, я посмотрел на него внимательней — он был высокий, тонкие черты лица, глубоко посаженные голубые глаза, длинные седеющие усы и грива почти совсем белых волос. Он показался мне человеком очень разумным и в общем приятным, хотя рот у него как-то нервно подергивался. Уходя, я чуть было не протянул ему руку, да вовремя вспомнил, что ведь я убил человека.

На другой день ко мне в тюрьму пришел адвокат. Он был маленький, кругленький, еще молодой, волосы тщательно прилизаны. Несмотря на жару (я сидел без куртки), на нем был темный костюм, крахмальный воротничок и какой-то необыкновенный

галстук в широкую белую и черную полосу. Он водрузил на мою койку портфель, представился и объявил, что внимательно изучил дело. Случай щекотливый, но он не сомневается в успехе, если только я вполне ему доверюсь. Я поблагодарил, и он сказал:

— Перейдем прямо к сути.

Он сел на койку и сообщил, что уже наведены справки о моей личной жизни. Стало известно, что моя мать недавно умерла в доме призрения. Тогда послали запрос в Маренго. Там следователям сообщили, что в день похорон мамы я «проявил бесчувственность».

— Понимаете,—сказал мой защитник,—мне неловко вас об этом расспрашивать. Но это крайне важно. И обвинение с успехом использует этот довод, если я ничего не сумею возразить.

Он хотел, чтобы я ему помог. Он спросил, горевал ли я в тот день. Я очень удивился, мне кажется, сам я постеснялся бы задать кому-нибудь такой вопрос. Все же я ответил, что несколько отвык разбираться в своих чувствах и затрудняюсь ему что-либо объяснить. Конечно, я любил маму, но какое это имеет значение. Всякий разумный человек так или иначе когда-нибудь желал смерти тем, кого любит. Тут адвокат меня перебил и, кажется, очень разволновался. Он взял с меня слово не говорить так ни на суде, ни у следователя. Все же я ему объяснил, что такой уж я от природы—когда мне физически не по себе, все мои чувства и мысли путаются. В тот день, когда хоронили маму, я очень устал и не выспался. И поэтому плохо соображал, что происходит. Одно могу сказать наверняка: я бы предпочел, чтобы мама была жива. Но защитник, видно, остался недоволен. Он сказал:

— Этого недостаточно.

Он задумался. Потом спросил, может ли он сказать на суде, что в тот день я взял себя в руки и сдержал естественную скорбь. Я сказал:

— Нет, ведь это неправда.

Он странно на меня посмотрел, как будто я был ему немного противен. И сказал почти злобно, что, во всяком случае, директор и служащие дома призрения будут вызваны в качестве свидетелей, «и тогда дело может принять для вас прескверный оборот». Я сказал—это здесь ни при чем, ведь меня судят совсем за другое, но он ответил только—сразу видно, что я никогда не сталкивался с правосудием.

Ушел он сердитый. Мне хотелось его удержать, объяснить, что я был бы рад, если бы он отнесся ко мне по-хорошему—и не потому, что тогда бы он больше старался, защищая меня, а просто так. Главное, я видел: из-за меня ему беспокойно. Он меня не понимал и поэтому немного злился. Мне хотелось растолковать ему, что я такой же, как все люди, в точности такой же. Но все это, в сущности, бесполезно, мне стало лень, и я махнул рукой.

Попозже меня опять отвели к следователю. Было два часа дня, и на этот раз кабинет был залит светом, легкая занавеска его почти не смягчала. Было очень жарко. Следователь предложил

мне сесть и весьма любезно сообщил, что мой адвокат не мог прийти — «помешали обстоятельства». Но я имею право не отвечать на вопросы и ждать адвоката. Я сказал, что и один могу отвечать. Он нажал кнопку звонка на столе. Вошел молодой секретарь и сел очень близко позади меня.

Мы со следователем поудобнее устроились в креслах. Начался допрос. Сперва он сказал, что, по общему мнению, я человек молчаливый и замкнутый — а сам я как полагаю? Я ответил:

— Просто мне нечего сказать. Вот я и молчу.

Он, кажется, впервые улыбнулся, согласился, что более веской причины не найдешь, и прибавил:

— Впрочем, это неважно. — Замолчал, посмотрел на меня, вдруг выпрямился и сказал быстро: — Меня интересуют вы сами.

Я не очень понял, о чем это он, и не ответил.

— Есть в вашем поступке что-то для меня неясное, — продолжал он. — Я уверен, вы поможете мне в этом разобраться.

Я сказал — все очень просто. Он попросил, чтобы я еще раз подробно описал ему тот день. Я перебрал заново все то, о чем уже рассказывал ему: Раймон, пляж, купание, стычка с арабами, опять пляж, родник, солнце и пять выстрелов из револьвера. Он снова и снова приговаривал:

— Так, так.

И когда я дошел до неподвижного тела на песке, он опять одобрил:

— Хорошо.

Мне уже надоело повторять одно и то же, кажется, никогда в жизни я так много не говорил.

Мы помолчали, потом он поднялся и сказал, что хочет мне помочь, что я его заинтересовал и с божьей помощью он постарается что-нибудь для меня сделать. Но сначала хочет задать мне еще несколько вопросов. И без перехода спросил, любил ли я маму. Я сказал:

— Да, как все люди.

Секретарь, который до сих пор без остановки стучал на машинке, тут, наверно, сбился и ударил не по той клавише: он вдруг замешкался, и ему пришлось вернуться назад. Так же нехстати, без видимой связи следователь спросил, стрелял ли я пять раз подряд, без перерыва. Я подумал и вспомнил, что сперва выстрелил один раз, а чуть погодя еще четыре.

— Почему вы ждали после первого выстрела? — спросил он.

Я снова увидел багровый пляж и почувствовал, как солнце жжет лоб. Но на этот раз ничего не ответил. Наступило долгое молчание, следователь как будто заволновался. Он опять сел, взъерошил волосы, облокотился на стол и с каким-то странным видом наклонился ко мне.

— Почему, почему вы стреляли в убитого?

Я опять не знал, что ответить. Следователь провел ладонями по лбу и повторил изменившимся голосом:

— Почему? Скажите мне, это необходимо: почему?

Я все молчал.

Он резко поднялся, большими шагами прошел через весь кабинет к картотеке и открыл ящик. Вытащил оттуда серебряное

распятие и, размахивая им, вернулся ко мне. И совсем другим тоном, чуть ли не с дрожью в голосе, воскликнул:

— Да знаете ли вы его?

Я сказал:

— Да, конечно.

Тогда он быстро, с жаром заговорил: он верит в бога, он убежден, что нет на свете человека столь виновного, чтобы господь бог его не простил, но для этого виновный должен раскаяться и стать душою как дитя—открыт и доверчив. Следовательно перегнулся над столом. Он махал распятием чуть не над самой моей головой. Сказать по правде, я плохо улавливал нить его мыслей, потому что было очень жарко, да еще по кабинету летали огромные мухи и садились мне на лицо, а кроме того, он меня немного пугал. И, однако, я понимал, что бояться смешно, ведь, в конце концов, преступник-то я. А он все говорил и говорил. Насколько я понял, в моем признании ему неясно одно—то обстоятельство, что после первого выстрела я выждал и дальше стрелял не сразу. Все остальное его не смущает, а вот этого он понять не может.

Я хотел сказать, что напрасно он упорствует: сразу ли стрелял, не сразу ли—невелика важность. Но он меня перебил и, выпрямившись во весь рост, в последний раз потребовал ответа: верю ли я в бога. Я сказал—не верю. Он рассердился и сел. И сказал, что этого не может быть, все люди верят в бога, даже те, кто от него отворачивается. Таково его глубочайшее убеждение, и, если он вынужден будет в этом усомниться, вся его жизнь потеряет смысл.

— Неужели вы хотите, чтобы жизнь моя потеряла смысл?—воскликнул он.

Я рассудил, что меня это не касается, и так ему и сказал. Но он через стол сунул распятие мне чуть не под нос и закричал как одержимый:

— Я христианин! Я молю его отпустить тебе твои грехи! Как ты можешь не верить, что он страдал за тебя?

Конечно, я заметил, что он уже говорит мне, как близкому, «ты», но с меня было довольно. Жара становилась нестерпимой. Как всегда, когда я хочу избавиться от кого-нибудь, кого слушаю через силу, я сделал вид, что со всем согласен. К моему удивлению, следовательно возликовал.

— Вот видишь, видишь!—с торжеством заявил он.—Ведь правда, ты веруешь в него и доверишься ему?

Разумеется, я еще раз сказал—нет. Он тяжело опустился в кресло. Лицо у него сделалось очень усталое. Он немного помолчал, а пишущая машинка, которая не переставала трещать во все время нашего разговора, еще достукивала последние слова. Потом следователь посмотрел на меня внимательно и даже печально. И пробормотал:

— Никогда еще я не видел души столь очерствелой, как ваша. Все преступники, сколько их ни проходило через мои руки, плакали перед этим скорбным ликом.

Я хотел ответить—потому и плакали, что они преступники. Но тотчас подумал, что ведь и я такой же. Я никак не мог

свыкнуться с этой мыслью. Тут следователь встал, словно в знак того, что допрос окончен. Он только спросил еще, с тем же усталым видом, сожалею ли я о своем поступке. Я подумал и сказал—не то чтобы жалею, но мне неприятно. Кажется, он не понял. Но в тот день на этом все и кончилось.

Потом я еще часто бывал у этого следователя. Но каждый раз со мною приходил мой защитник. И от меня требовалось только уточнять разные подробности прежних показаний. Или же следователь обсуждал с адвокатом пункты обвинения. Но в эти минуты сам я нисколько их обоим не занимал. Во всяком случае, тон допросов понемногу изменился. По-видимому, для следователя мое дело прояснилось, и он потерял ко мне интерес. Он больше не заговаривал со мной о боге, и я уже никогда не видал его в таком волнении, как при первой встрече. И поэтому наши разговоры стали более непринужденными. Нескольким вопросам, короткая беседа с адвокатом—вот и все. Дело мое, как выражался следователь, двигалось своим чередом. Иногда, если разговор заходил на какую-нибудь общую тему, меня тоже в него втягивали. И я начинал дышать свободнее. В эти часы никто на меня не злился. Все разыгрывалось как по нотам, естественно, размеренно, спокойно, и у меня возникало забавное ощущение, как будто я здесь—член семьи. Следствие длилось одиннадцать месяцев, и под конец мне почти не верилось, что у меня когда-то бывали другие удовольствия, кроме этих редких минут, когда следователь провожал меня до дверей кабинета, похлопывал по плечу и говорил дружески:

— Ну, на сегодня хватит, господин Антихрист!

А затем меня передавали с рук на руки жандармам.

II

Об иных вещах я всегда не любил говорить. И в тюрьме я в первые же дни понял: об этой полосе моей жизни говорить будет неприятно.

Потом я стал думать, что и это чувство ровно ничего не значит. В сущности, на первых порах я еще не был настоящим арестантом, я смутно ждал: вот-вот что-то изменится. Все началось только после первого и единственного посещения Мари. С того дня, как я получил от нее письмо (она писала, что ей больше не разрешают меня навещать, потому что мы не женаты), с того самого дня я почувствовал: теперь камера и есть мой дом и на этом жизнь моя остановилась. Сначала после ареста меня заперли в помещении, где уже сидели несколько заключенных, почти все—арабы. Увидев меня, они стали смеяться. Потом спросили, что я сделал. Я сказал, что убил араба, и они замолчали. Но очень скоро стемнело, и они объяснили мне, как разложить циновку, на которой предстояло спать. Один конец надо скатать валиком вместо подушки. Всю ночь у меня по лицу бегали клопы. Через несколько дней меня перевели в одиночку, там я спал на деревянных нарах. У меня была параша и жестяной таз для умывания. Тюрьма стояла высоко над городом, и в узкое

оконце видно было море. Однажды, когда я, ухватясь за прутья решетки, тянулся к свету, вошел надзиратель и сказал, что ко мне пришли. Я подумал — наверно, Мари. И правда, это была она.

В комнату свиданий меня вели длинным коридором, потом по лестнице и наконец еще одним коридором. Я вошел в просторный зал с огромными окнами по одной стене. Две решетчатые перегородки пересекали зал во всю длину на три части. Пустое пространство между решетками, метров восемь или десять, отделяло посетителей от арестантов. Напротив меня стояла Мари, я увидел платье в полоску и загорелое лицо. По ту же сторону, что и я, было еще с десятков заключенных, почти все — арабы. Посетительницы, кроме Мари, тоже были больше мавританки; справа от нее, плотно сжав губы, стояла маленькая старушка в черном, слева — простоволосая толстуха, эта кричала во все горло и размахивала руками. Да и всем заключенным и посетителям приходилось кричать, расстояние между решетками было слишком велико. Гул голосов и резкий свет, лившийся в окна, еще усиливались, отражаясь от голых стен, и, когда я вошел, у меня даже голова закружилась. В камере моей было куда тише и темнее. Не вдруг я освоился. Но потом в ярком свете начал ясно различать лица. В конце прохода между решетками сидел надзиратель. Многие арестанты-арабы и их родичи присели друг против друга на корточки. Эти не кричали. Несмотря на шум и гам вокруг, они говорили совсем тихо и умудрялись понимать друг друга. Они глухо бормотали внизу, будто гудела басовая струна, сопровождая вопросы и ответы, перелетавшие у них над головой. Все это я заметил очень быстро и направился к Мари. Она уже прильнула к решетке и изо всех сил улыбалась мне. Она показалась мне очень красивой, но я не умел ей это сказать.

— Ну как? — очень громко спросила она.

— Да так.

— Ты здоров, у тебя есть все, что нужно?

— Да, есть.

Мы замолчали, Мари все улыбалась. Толстуха что-то орала моему соседу, рослому детине со светлыми волосами и простодушным взглядом, — наверно, мужу. Разговор этот, видно, начался еще до моего прихода.

— Жанна не хотела его брать! — во всю мочь вопила толстуха.

— Да, да, — повторял муж.

— Я ей сказала, что ты, как выйдешь, опять его заберешь, а она все равно не захотела его взять!

Тут Мари крикнула, что Раймон передает мне привет, и я сказал:

— Спасибо.

Но меня заглушил сосед, крикнув жене:

— А он как, здоров?

Она засмеялась и ответила:

— Лучше всех!

Мой сосед слева — молодой, шуплый, с тонкими руками — все время молчал. Я заметил, что он стоит напротив маленькой старушки и они неотрывно смотрят друг на друга. Но больше я не

успел за ними понаблюдать, потому что Мари закричала: надо надеяться на лучшее!

Я сказал:

— Да.

Я смотрел на нее, и мне хотелось сжать ее плечо, прикрытое легким платьем. Мне хотелось этой чудесной плоти, и, право, не знаю, на что еще, кроме этого, стоило надеяться. Но, конечно, то же самое думала и Мари, потому что она все время улыбалась. Теперь я только и видел блеск ее зубов да смеющиеся морщинки у глаз. Она опять закричала:

— Вот выйдешь — и поженимся!

— Ты думаешь? — ответил я, надо ж было что-то сказать.

Она ответила очень быстро и очень громко — да-да, меня оправдают, и мы еще поплаваем. Но толстуха рядом с нею кричала еще громче: она, мол, передала корзинку в тюремную канцелярию — и перечисляла все, что в корзинку положено. И пускай он проверит — ведь все это стоит денег! Второй мой сосед и его мать по-прежнему не сводили глаз друг с друга. Внизу все так же вполголоса переговаривались арабы. На улице яркий свет словно набухал и давил на окна. Он стекал по лицам, точно сок из лопнувшего плода.

Мне нездоровилось, и я рад был бы уйти. От шума ломило виски. И все-таки хотелось, пока можно, видеть Мари. Не знаю, сколько еще времени прошло. Мари стала рассказывать о своей работе, а улыбка все не сходила с ее лица. Бормотанье, крики, разговоры были как перекрестный огонь. Уцелел только один островок тишины — щуплый молодой человек рядом со мной и его старуха мать молча глядели друг на друга. Понемногу арабов начали уводить. Как только первый вышел, почти все в зале умолкли. Старушка напротив придвинулась поближе к решетке, и в эту самую минуту надзиратель сделал знак ее сыну. Тот сказал:

— До свиданья, мама.

А она просунула руку между прутьями и махнула ему долгим, медленным движением.

Она вышла, и сейчас же появился мужчина со шляпой в руке и стал на ее место. Ввели нового арестанта, и они заговорили оживленно, но негромко, потому что в зале теперь все притихли. Надзиратель пришел за другим моим соседом, и жена крикнула ему, будто не замечая, что повышать голос уже незачем:

— Ты поосторожней! Береги себя!

Потом настал мой черед. Мари послала мне воздушный поцелуй. В дверях я оглянулся. Она стояла как вкопанная, прижимаясь лицом к решетке, и улыбалась все той же застывшей, вымученной улыбкой.

Вскоре после этого она мне написала. И тогда же началось многое такое, о чем я всегда не любил говорить. Хотя не надо преувеличивать: мне это давалось легче, чем другим. Однако первое время в тюрьме хуже всего было то, что у меня еще появлялись мысли свободного человека. Например, вдруг захочется полежать на песке, спуститься к морю. Ясно представлялось — всплескивают под ногами первые волны, погружаешься в воду, становится так легко, вольно — и тут вокруг разом смыкаются

стены тюрьмы. Но через несколько месяцев это прошло. И уже все мысли были арестантские. Я ждал, когда меня выведут во двор на ежедневную прогулку либо когда придет адвокат. И остальное время научился проводить неплохо. И часто думал: если бы меня заставили жить в стволе высохшего дерева и совсем ничего нельзя было бы делать, только смотреть, как цветет небо над головой, я бы понемногу и к этому привык. Ждал бы, чтоб пролетела птица или наполнили облака, все равно как здесь жду, в каком еще диковинном галстуке явится мой адвокат, а в прежней жизни запасался терпением до субботы, когда можно будет обнять Мари. Так ведь, если вдуматься, я не сижу в стволе сухого дерева. Есть люди несчастнее меня. Хотя это не моя мысль, а мамина, мама часто повторяла, что в конце концов ко всему привыкаешь.

Впрочем, обычно я не заходил так далеко в своих рассуждениях. Первые месяцы давались тяжело. Надо было как-то себя одолевать, но это-то и помогало провести время. К примеру, мучительно хотелось женщину. Это естественно, я молод. Я никогда не думал именно о Мари. Думал просто о женщине, вообще о женщинах, обо всех, кого знал, и о том, когда и как с ними сходился, но думал так много, что вся камера наполнялась их лицами, в ней становилось тесно от моих желаний. В каком-то смысле это выводило из равновесия. Зато так я легче убивал время. Под конец мне стал сочувствовать старший надзиратель, он обычно сопровождал того малого, который приносил с кухни еду. Старший надзиратель и заговорил со мной о женщинах. Он сказал—всем арестантам этого больше всего не хватает. Я сказал—мне тоже, несправедливо так обращаться с людьми.

— Да ведь для того вас и сажают в тюрьму,—сказал он.

— Как так?

— Ну да, свобода это самое и есть. А вас лишают свободы.

Прежде мне такое в голову не приходило. А ведь правильно. Я сказал:

— Да, верно—иначе какое же это было бы наказание?

— Вот-вот, вы-то разбираетесь. А другие нет. Но в конце концов они начинают сами себя утешать.

И он ушел.

Потом—сигареты. В тюрьме у меня сразу отобрали пояс, шнурки от ботинок, галстук и все, что было в карманах, главное—сигареты. Попав в камеру, я попросил, чтобы мне все это вернули. Но мне сказали—это запрещено. Первые дни было очень тяжело. Пожалуй, то, что нельзя курить, угнетало меня больше всего. Я отдирал от нар щепочки и сосал их. Весь день меня мучило. Я не понимал, почему у меня отнимают то, что никому не мешает и не вредит. Позже понял: это тоже часть наказания. Но к тому времени я уже отвык курить, и это больше не было для меня наказанием.

Если не считать этих неприятностей, я был не так уж несчастен. Самое главное, повторяю, убить время. Я научился вспоминать разные разности и с тех пор больше не скучал. Иногда принимался вспоминать свою комнату, представлял себе—вот я обхожу ее кругом, начинаю вон с того угла и перебираю

мысленно каждую мелочь, которая встретится на пути. Сперва этого хватало ненадолго. Но с каждым разом получалось немного дольше. Потому что я вспоминал каждый стул, что где стоит, что лежит в каком ящике, каждый пустяк, все подробности — инкрустацию, щербинку, трещинку, что какого цвета и какое на ощупь. В то же время я старался не сбиться, перебрать все по порядку и ничего не забыть. И через несколько недель у меня уже уходили часы только на то, чтобы перечислить все вещи, сколько их было в моей комнате. Чем больше я вспоминал, тем больше всплывало в памяти разных неприметных мелочей. Вот тогда я понял: если человек жил хотя бы один только день, он потом спокойно может сто лет просидеть в тюрьме. У него будет вдоволь воспоминаний, чтоб не скучать. Если угодно, это тоже утешает.

И еще сон. Вначале я плохо спал по ночам и совсем не спал днем. Понемногу ночью дело наладилось, и я даже научился спать днем. А в последние месяцы я спал по шестнадцать, по восемнадцать часов в сутки. Оставалось убить шесть часов, для этого у меня были завтрак, обед и ужин, естественные нужды, воспоминания да еще история про чеха.

Однажды я нашел на нарах под соломенным тюфяком прилипший к нему обрывок старой газеты — пожелтевший, почти прозрачный. Это был кусок уголовной хроники, начала не хватало, но, по-видимому, дело происходило в Чехословакии. Какой-то человек пустился из родной деревни в дальние края попытать счастья. Через двадцать пять лет, разбогатев, с женой и ребенком он возвратился на родину. Его мать и сестра содержали маленькую деревенскую гостиницу. Он решил их удивить, оставил жену и ребенка где-то в другом месте, пришел к матери — и та его не узнала. Шутки ради он притворился, будто ему нужна комната. Мать и сестра увидели, что у него много денег. Они молотком убили его, ограбили, а труп бросили в реку. Наутро явился его жена и, ничего не подозревая, открыла, кто был приезжий. Мать повесилась. Сестра бросилась в колодец. Я перечитал эту историю, наверно, тысячу раз. С одной стороны, она была неправдоподобна. С другой — вполне естественна. По-моему, этот человек в какой-то мере заслужил свою участь. Никогда не надо притворяться.

Вот так я часами спал, вспоминал, перечитывал отрывки из этой истории, в камере становилось то светло, то темно — а время шло. Где-то когда-то я вычитал, что в тюрьме человек под конец теряет представление о времени. Но тогда это для меня был звук пустой. Я не понимал, что день может быть сразу и очень длинным, и очень коротким. Конечно, прожить такой день — это долго, но они так растягивались, что в конце концов сливались, один переходил в другой. Они стали безликие, безымянные. Только слова «вчера» и «завтра» еще не потеряли свой смысл.

Однажды надзиратель сказал, что я сижу в тюрьме уже пять месяцев, — и я поверил, но понять не понял. Для меня в камере нескончаемо тянулся все один и тот же день, и забота у меня была все одна и та же. Когда надзиратель ушел, я погляделся, как в зеркало, в жестяной котелок. Мне показалось, мое

отражение остается хмурым, даже когда я стараюсь ему улыбаться. Я повертел котелок и так, и эдак. Опять улыбнулся, но отражение оставалось строгим и печальным. Смеркалось, и это был час, о котором мне не хочется говорить, безымянный час, когда со всех этажей тюрьмы безрадостным шествием поднимаются глухие вечерние шумы и медленно замирают. Я подошел к оконцу и в последних сумеречных отсветах еще раз всмотрелся в свое отражение. Оно по-прежнему было серьезное, и что в этом удивительного, раз я и сам теперь был серьезен? Но тут, впервые за столько месяцев, я отчетливо услышал свой голос. Так вот что за голос уже много дней отдавался у меня в ушах: только тут я понял, что все время, сидя в одиночке, разговаривал сам с собой. И вспомнил, что говорила сиделка на похоронах мамы. Да, никакого выхода нет, и никто не может себе представить, что такое вечера в тюрьме.

III

В сущности, лето очень быстро сменилось другим летом. Я заранее знал, что с приходом жары для меня настанет новая полоса. Дело мое должно было слушаться на последней сессии суда присяжных, она заканчивается в июне. Когда процесс начался, на воле все полно было солнцем. Мой защитник уверял, что разбирательство продлится дня два-три, не больше.

— Суд будет спешить,—прибавил он,—потому что ваше дело на этой сессии не самое важное. Есть еще отцеубийство, им займутся сразу после вас.

В половине восьмого утра за мной пришли и в тюремной машине отвезли в здание суда. Два жандарма ввели меня в затхлую каморку, там пахло темнотой. Мы ждали, сидя у двери, а за нею разговаривали, переключались, двигали стульями—словом, было шумно и суматошно, как на благотворительном вечере, когда после концерта середину зала освобождают для танцев. Жандармы сказали, что заседание еще не начиналось, и один предложил мне сигарету, но я отказался. Немного погодя он спросил, не трушу ли я, и я сказал—нет. В известном смысле мне даже интересно: посмотрю, как это бывает. Никогда еще не случилось попасть в суд.

— Да,—сказал второй жандарм,—но под конец это надоедает.

Немного спустя в комнате звякнул звонок. Тогда с меня сняли наручники. Отворили дверь и подвели меня к скамье подсудимых. В зале набилось полно народу. Шторы спущены, но кое-где пробивается солнце, и дышать уже нечем. Окон не открывали. Я сел, жандармы стали по бокам. И тут я увидел вереницу лиц напротив. Все они смотрели на меня, и я понял—это присяжные. Но я их не различал, они были какие-то одинаковые. Мне казалось, я вошел в трамвай, передо мною сидят в ряд пассажиры—безликие незнакомцы—и все уставились на меня и стараются подметить, над чем бы посмеяться. Я понимал, что это все глупости: мне ищут не смешное, а преступное. Но разница не так уж велика—во всяком случае, такое у меня тогда было ощущение.

И еще меня ошеломило множество народу—как сельди в бочке. Я опять оглядел зал, но не различил ни одного лица. Наверно, сперва я не понимал, что вся эта толпа сошлась сюда поглазеть на меня. Обычно люди не обращали на меня внимания. Пришлось сделать усилие, чтобы сообразить, что вся эта суматоха из-за меня. Я сказал жандарму:

— Сколько народу!

Он ответил—это газеты постарались—и показал на кучку людей у стола, пониже скамьи присяжных.

— Вот они,—сказал он.

— Кто?—спросил я.

И он повторил:

— Газеты.

Он увидел знакомого репортера, тот как раз направлялся к нам. Это был человек уже немолодой, с приятным, хотя, пожалуй, чересчур подвижным лицом. Он сердечно пожал жандарму руку. Тут я заметил, что все эти люди раскланивались, перекликались, переговаривались, будто в клубе, где все свои и рады побыть в дружеском кругу. Так вот отчего у меня сперва было это странное ощущение, словно я тут лишний, непрошенный гость. Однако репортер с улыбкой обратился ко мне. Он надеется, сказал он, что для меня все кончится благополучно. Я сказал—спасибо, и он прибавил:

— Знаете, мы немножко раздули ваше дело. Для газет лето—мертвый сезон. Ничего не подвертывалось стоящего, только вот вы да отцеубийца.

Потом он показал на одного из репортеров в группе, от которой он сам отошел,—этот человечек напоминал разжиревшего хоряка, на носу у него красовались огромные очки в черной оправе,—и сказал, что это специальный корреспондент одной парижской газеты.

— Вообще-то он приехал не ради вас. Он будет писать о процессе отцеубийцы, а уж заодно его попросили рассказать и о нашем деле.

Я чуть не поблагодарил еще раз, да спохватился, что это было бы смешно. Он приветливо махнул мне рукой и отошел. Потом мы еще немного подождали.

Явился мой защитник, в адвокатской мантии, окруженный своими собратьями. Направился к репортерам и стал жать им руки. Они шутили, смеялись и, видно, чувствовали себя как дома, пока в зале не раздался звонок. Тогда все разошлись по местам. Защитник подошел, пожал мне руку и посоветовал на вопросы отвечать кратко, ни о чем не заговаривать первым, а в остальном положиться на него.

Слева от меня шумно отодвинули стул, я обернулся—там усаживался высокий сухопарый человек в пенсне, заботливо расправляя красную мантию. Это был прокурор. Судебный пристав объявил, что суд идет. В эту минуту зажужжали два огромных вентилятора. Вошли трое судей—двое в черных мантиях, третий—в красной, у каждого под мышкой папка с бумагами—и быстрым шагом направились к возвышению. Тот, что в красном, сел в кресло посередине, положил свою шапочку перед

собой на стол, вытер платком лысину и объявил заседание суда открытым.

Репортеры уже навестили перья. Лица у них были равнодушные и немного насмешливые. Впрочем, один, самый молодой, в сером фланелевом костюме с голубым галстуком, еще не брался за самопишущую ручку, которая лежала перед ним на столе, и только смотрел на меня. В лице его была какая-то неправильность, но я видел только глаза — очень светлые, они пристально изучали меня, однако их выражение я не мог уловить. Очень странно — мне показалось, будто это я сам себя разглядываю. Может, поэтому и еще потому, что мне не знакомы судебные порядки, я плохо понимал, что происходило дальше: отбирали по жребию кандидатов в присяжные, председатель о чем-то спрашивал защитника, прокурора и присяжных (каждый раз головы всех присяжных разом поворачивались в его сторону), скороговоркой читали обвинительный акт (я услышал знакомые имена и названия знакомых мест), опять задавали вопросы защитнику.

А потом председатель сказал, что сейчас вызовут свидетелей. Пристав громко прочитал имена, они привлекли мое внимание. Из людского сборища, которое перед тем было слитным и безликим, по одному поднимались и затем уходили в боковую дверь директор и привратник дома призрения, старик Тома Перез, Раймон, Масон, Саламано, Мари. Она украдкой тревожно кивнула мне. Я удивлялся, как это я раньше никого из них не заметил, и вдруг назвали последнее имя, и поднялся Селест. Рядом с ним я увидел ту чудачку, которая в ресторане села за мой столик, и узнал ее жакет, решительное лицо и механические движения. Она смотрела на меня в упор. Но мне некогда было раздумывать, потому что председатель заговорил. Он сказал, что суд переходит к слушанию дела и, надо надеяться, нет нужды призывать публику к тишине и порядку. Его, председателя, долг позаботиться о том, чтобы дело разбиралось со всем беспристрастием и непредвзятостью. Присяжным надлежит вынести приговор в духе истинной справедливости, а кроме всего прочего, если кто-нибудь вздумает нарушить порядок, он, председатель, велит очистить зал.

Становилось все жарче, кое-кто в публике обмахивался газетой. Непрестанно слышалось это бумажное шуршанье. Председатель дал знак приставу, тот принес три плетеных соломенных веера, и судьи сразу пустили их в ход.

И сейчас же меня начали допрашивать. Председатель задавал мне вопросы очень спокойно и даже как бы доброжелательно. Снова потребовалось назвать мое имя, фамилию, возраст и прочее, и, хотя это мне порядком надоело, я подумал: в сущности, это естественно, ведь не шутка, если бы вдруг судили не того, кого надо. Потом председатель снова принял рассказывать о том, что я сделал, и через каждые два слова переспрашивал меня:

— Так? Правильно?

И я каждый раз отвечал, как научил меня защитник:

— Да, господин председатель.

Это тянулось долго, потому что председатель рассказывал

дотошно, со всеми подробностями. И все время репортеры записывали. Я чувствовал на себе взгляд самого молодого из них и той маленькой женщины-автомата. Все пассажиры с трамвайной скамейки смотрели на председателя. Он покашлял, полистал бумаги и, обмахиваясь соломенным веером, повернулся ко мне.

Он сказал, что должен сейчас затронуть вопросы, по видимости не имеющие отношения к моему делу, но, быть может, по существу весьма тесно с ним связанные. Я понял: сейчас он заговорит о маме—и мне стало тошно. Он спросил, почему я отдал маму в дом призрения. Я ответил—потому что у меня не хватало денег на уход за нею и на сиделку. Он спросил, не трудно ли мне было на это решиться, и я ответил—мы с мамой больше ничего друг от друга не ждали, да и ни от кого другого тоже, и оба мы привыкли к новому образу жизни. Тогда председатель сказал, что не стоит больше углубляться в эту тему, и спросил прокурора, нет ли у того ко мне вопросов.

Прокурор, не глядя на меня, через плечо заявил, что, с разрешения председателя, он желал бы узнать, для того ли я один вернулся к роднику, чтобы убить араба.

— Нет,—сказал я.

— Тогда почему же обвиняемый был вооружен и почему он вернулся именно на это место?

Я ответил—это вышло случайно. И прокурор процедил сквозь зубы:

— Пока достаточно.

Дальше пошла какая-то неразбериха, по крайней мере такое у меня было ощущение. А потом судьи пошептались и председатель объявил перерыв; на вечернем заседании, сказал он, будут заслушаны свидетели.

У меня не было времени подумать. Меня вывели из зала, посадили в арестантскую машину и отвезли в тюрьму, там я поел. И очень скоро, как раз когда я почувствовал, что устал, за мной опять пришли; все началось сызнова, я очутился в том же зале, на меня смотрели те же лица. Только стало куда жарче, и, точно по волшебству, в руках у всех присяжных, у прокурора, защитника и некоторых репортеров тоже появились соломенные веера. Молодой журналист и маленькая женщина сидели на прежних местах. Но они не обмахивались веерами и все так же молча смотрели на меня.

Я утирал пот со лба и плохо понимал, где я и что со мной, как вдруг услышал, что вызывают директора дома призрения. Его спросили, жаловалась ли мама на меня, и он сказал—да, но это дело обычное, все обитатели дома вечно жалуются на своих родных. Председатель попросил уточнить, упрекала ли меня мама в том, что я отдал ее в дом призрения, и директор опять сказал—да. Но на этот раз ничего больше не прибавил. На другой вопрос он ответил, что его удивило мое спокойствие в день похорон. Его спросили, что он подразумевает под словом «спокойствие». Директор опустил глаза и сказал, что я не хотел видеть маму в гробу, не пролил ни слезинки и не побыл у могилы, а уехал сразу же после погребения. И еще одно его удивило: служащий похоронного бюро сказал ему, что я не знал точно,

сколько моей матери было лет. Минуту все молчали, потом председатель спросил директора, обо мне ли он все это говорил. Тот не понял вопроса, и председатель пояснил: «Так полагается по закону». Потом спросил прокурора, нет ли у того вопросов к свидетелю, и прокурор воскликнул:

— О нет, этого предостаточно!

Он заявил это с таким жаром, так победоносно посмотрел в мою сторону, что впервые за много лет я, как дурак, чуть не заплакал, вдруг ощутив, до чего все эти люди меня ненавидят.

Председатель спросил присяжных и защитника, нет ли у них вопросов, потом вызвал привратника. С ним, как и с остальными, повторилась та же церемония. Выйдя на свидетельское место, он посмотрел на меня и отвел глаза. Ему задавали вопросы, он отвечал. Он сказал, что я не хотел увидеть маму, что я курил, спал и пил кофе с молоком. Тут я почувствовал, как в зале нарастает волнение, и впервые понял, что виноват. Привратника заставили снова рассказать про кофе с молоком и про сигарету. Прокурор посмотрел на меня с насмешкой. В эту минуту мой адвокат спросил привратника, не курил ли и он со мною. Но прокурор яростно запротестовал:

— Да кто же здесь подсудимый и что за приемы у защиты! Напрасно она пытается очернить свидетелей обвинения, ей не удастся умалить вес их сокрушительных показаний!

Председатель все-таки потребовал, чтобы привратник ответил на вопрос. Старик смутился.

— Верно, я тоже виноватый,—сказал он.—Да только этот господин сам предложил мне сигарету, так отказываться было неловко.

Под конец меня спросили, не хочу ли я что-нибудь прибавить.

— Ничего,—сказал я,—свидетель правильно говорит. Это правда, я предложил ему сигарету.

Привратник поглядел на меня удивленно и как будто даже с благодарностью. Появился немного и сказал, что он сам предложил мне кофе. Защитник шумно обрадовался и заявил: присяжным следует это учесть. Но в ответ громом раскатился голос прокурора:

— Да, господа присяжные это учтут. И сделают вывод, что посторонний человек мог предложить чашку кофе, а вот сын у бездыханного тела той, которая дала ему жизнь, должен был от этого кофе отказаться.

Привратник вернулся на свое место.

Когда настала очередь старика Переза, приставу пришлось под руку довести его до трибуны. Тома Перез сказал, что он был больше знаком с моей матерью, а меня видел только один раз, в день похорон. Его спросили, что я делал в тот день, и он ответил:

— Понимаете, я был убит горем. Так что я ничего не видел. Я ничего не видел от горя. Потому как для меня это было тяжкое горе. Я даже лишился чувств. Так что я не мог видеть господина Мерсо.

Прокурор спросил—может быть, он по крайней мере видел, что я плакал? Перез ответил—нет, не видел. И прокурор в свой черед сказал:

— Господам присяжным следует это учесть.

Но тут мой защитник вспылil. И спросил Переза, по-моему, чересчур сердито, видел ли он, что я не плакал. Перез сказал:

— Нет.

В зале засмеялись. И защитник, откидывая широкий рукав, громкогласно заявил:

— Вот он каков, этот процесс! Все правильно, и все вывернуто наизнанку!

У прокурора стало каменное лицо, он тыкал карандашом в свои бумаги.

Объявили перерыв на пять минут, и защитник успел сказать мне, что все идет хорошо, а после этого вызвали Селеста— свидетеля со стороны защиты. То есть с моей стороны. Селест поглядывал на меня и вертел в руках панаму. Он был в новом костюме, который надевал иногда по воскресеньям, когда мы с ним ходили на скачки. Но, видно, воротничок ему уже не под силу было надеть, и рубашка на шее разъехалась бы, если бы не медная запонка. Селеста спросили, столовался ли я у него, и он сказал— да, но, кроме того, он мой друг. Спросили, какого он обо мне мнения, и он ответил, что я— человек. А как это понимать? Всякий понимает, что это значит, заявил Селест. А замечал ли он, что я замкнутый и скрытный? В ответ Селест сказал только, что я не трепал языком попусту. Прокурор спросил, всегда ли я вовремя платил за стол. Селест засмеялся и сказал:

— Да это пустяки, мы с ним всегда сочтемся.

Его спросили, что он думает о моем преступлении. Тогда он оперся обеими руками о барьер, и стало ясно: он заранее приготовился на это ответить. Он сказал:

— Я так считаю, это несчастье. Всякий знает, что такое несчастье. Ты перед ним беззащитен. Так вот, я считаю, это было несчастье.

Он хотел продолжать, но председатель сказал— очень хорошо, спасибо. Селест немного растерялся. Но все-таки заявил, что ему надо еще кое-что сказать. Его попросили говорить покороче. Он опять повторил, что со мной случилось несчастье. И председатель сказал:

— Да, понятно. Но мы для того здесь и находимся, чтобы судить такого рода несчастья. Благодарю вас.

Тогда, словно не зная, как быть дальше и чем еще помочь, Селест повернулся ко мне. И мне показалось, глаза у него заблестели и губы дрожат. Он будто спрашивал, что еще можно сделать. А я ничего не сказал и не подал ему никакого знака, но в первый раз за всю мою жизнь мне захотелось обнять мужчину. Председатель опять велел ему уйти со свидетельского места. И Селест пошел и сел среди публики. До самого конца заседания он сидел, наклонясь вперед, локти в колени, панамы в руках, и внимательно слушал.

Вошла Мари. Она была в шляпке и все-таки красивая. Но мне она больше нравится с непокрытыми волосами. Я даже издали угадывал, как колышется ее грудь, видел знакомую, всегда немного припухшую нижнюю губу. Казалось, Мари очень волнуется. Ее сразу спросили, давно ли она меня знает. Она сказала— с

тех пор, как служила у нас в конторе. Председатель поинтересовался, в каких она со мной отношениях. Мари сказала, что она моя приятельница. А на другой вопрос ответила: да, правда, она собиралась за меня замуж. Прокурор перелистал свои бумаги и вдруг спросил, когда началась наша связь. Мари назвала месяц и число. Прокурор сделал равнодушное лицо и заметил — если он не ошибается, как раз накануне похоронили мою мать. Потом усмехнулся и прибавил, что понимает смущение Мари и рад бы не развивать далее столь деликатную тему, но (тут голос его зазвучал резко) его долг — стать выше условностей. И он потребовал, чтобы Мари описала тот день, когда мы с ней сошлись. Мари не хотела говорить, но прокурор настаивал, и она рассказала, как мы с ней купались и ходили в кино, а потом пошли ко мне домой. Прокурор сказал, что после показаний Мари на следствии он уже поинтересовался, какая в тот день шла картина. Но пускай Мари сама скажет, что за фильм тогда показывали. Мари еле слышно назвала фильм с участием Фернанделя. Когда она умолкла, в зале стояла мертвая тишина. Тут прокурор поднялся, лицо у него было очень серьезное, и в голосе мне послышалось непритворное волнение, он ткнул в мою сторону пальцем и медленно проговорил:

— Господа присяжные заседатели, на другой день после смерти матери этот человек едет на пляж купаться, заводит любовницу и идет в кино на развеселую комедию. Больше мне нечего вам сказать.

Он сел, в зале по-прежнему было тихо. И вдруг Мари громко зарыдала и стала говорить — это все неправда, было совсем по-другому, и ее заставили говорить не то, что она думает, а она меня хорошо знает, и я ничего плохого не делал. Но председатель подал знак приставу, тот ее увел, и заседание продолжалось.

После этого никто уже толком не слушал Масона, который заявил, что я человек честный «и более того — порядочный». И никто не слушал толком старика Саламано, когда он начал рассказывать, как я был добр к его собаке, а на вопрос, как я относился к матери, ответил, что нам с мамой уже не о чем было говорить, поэтому я и отдал ее в богадельню.

— Надо понимать, — твердил Саламано, — надо понимать.

Но, видно, никто не понимал. Его увели.

Потом пришел черед последнего свидетеля — Раймона. Он чуть заметно кивнул мне и сейчас же заявил, что я невиновен. Но председатель сказал — от свидетеля требуются не выводы, а факты. Его дело отвечать на вопросы. В каких отношениях он состоял с убитым арабом? Раймон воспользовался этим вопросом и сказал, что он-то и есть враг убитого, потому что дал пощечину его сестре — вот брат его и возненавидел. Но председатель спросил, а не имел ли убитый оснований ненавидеть и меня тоже. Раймон сказал — что я очутился на пляже, это чистая случайность. Тогда прокурор спросил, каким образом получилось, что письмо, из-за которого разыгралась вся трагедия, писал я. Раймон опять сказал, это — случайность. Прокурор возразил: в этой истории почему-то случай оказывается главным козлом отпущения. Интересно знать, вот когда Раймон дал своей любовнице

пощечину, я не вмешался—это тоже случайно? И свидетелем в полицейский участок пошел случайно? И что своими показаниями я всячески выгораживал Раймона—тоже случайность? Под конец он спросил, на какие средства живет Раймон, тот ответил: «Я кладовщик», и тогда прокурор заявил присяжным: всем известно, что у этого свидетеля особое ремесло, он—сутенер. А я его сообщник и приятель. Итак, тут имел место трагический фарс самого низкого пошиба, и перед судом не заурядный преступник, но выродец без стыда и совести. Раймон хотел оправдываться, и мой защитник тоже запротестовал, но им предложено было помолчать, пока не договорит прокурор. Прокурор сказал:

— Мне почти нечего прибавить.—И спросил Раймона:— Подсудимый был вашим приятелем?

— Да,—сказал Раймон,—он мне друг.

Прокурор и мне задал тот же вопрос, я посмотрел на Раймона, он не отвел глаз. Я сказал:

— Да.

Тогда прокурор повернулся к присяжным и провозгласил:

— Вот человек, который назавтра после смерти родной матери предавался постыдному распутству, и этот же самый человек по ничтожному поводу, лишь бы покончить с грязной, безнравственной сварой, совершил убийство.

И сел. Но мой защитник вышел из терпения, воздел руки к небесам, так что откинулись широкие рукава мантии и стали видны складки крахмальной рубашки, и закричал:

— Да в чем же его, наконец, обвиняют—что он убил человека или что он похоронил мать?!

В зале поднялся смех. Но прокурор снова выпрямился, запахнулся в мантию и заявил—надо, мол, обладать наивностью почтенного защитника, чтобы не уловить, сколь глубокая, потрясающая, нерасторжимая связь существует между этими двумя разнородными фактами.

— Да!—закричал он с жаром.—Я обвиняю этого человека в том, что на похоронах матери он в сердце своем был уже преступен.

Его слова, видно, произвели большое впечатление на публику. Защитник пожал плечами и утер пот со лба. Но он, кажется, и сам растерялся, и я понял, что дело принимает для меня плохой оборот.

После этого все пошло очень быстро. Заседание закрылось. Когда меня выводили из здания суда и усаживали в тюремную машину, я на минуту вдохнул тепло летнего вечера, почувствовал его запахи и краски. И потом, в темной камере на колесах, сквозь усталость вновь услышал один за другим знакомые шумы города, который я всегда любил, звуки того часа, когда мне бывало хорошо и спокойно. Дневной гомон спадал, ясно слышались крики газетчиков, затихающий писк сонных птиц в сквере, зазывные вопли торговцев сэндвичами, жалобный стон трамвая на крутом повороте и смутный гул, будто с неба льющийся перед тем, как на гавань опрокинется ночь,—по этим приметам я и вслепую узнавал дорогу, которую знал наизусть, когда был свободен. Да, в этот самый час мне бывало прежде хорошо и спокойно. Я знал,

вперед—сон без тревог и без сновидений. Но что-то переменялось, и вперед у меня не только предвкушение завтрашнего дня, а еще и одиночная камера. словно знакомые дорожки, прочерченные в летнем небе, могут привести не только к безмятежным снам, но и за тюремную решетку.

IV

Послушать, что про тебя говорят, интересно, даже когда сидишь на скамье подсудимых. В своих речах прокурор и защитник много рассуждали обо мне—и, пожалуй, больше обо мне самом, чем о моем преступлении. Разница между их речами была не так уж велика. Защитник воздевал руки к небесам и уверял, что я виновен, но заслуживаю снисхождения. Прокурор размахивал руками и гремел, что я виновен и не заслуживаю ни малейшего снисхождения. Только одно меня немного смущало. Как ни поглощен я был своими мыслями, иногда мне хотелось вставить слово, и тогда защитник говорил:

— Молчите! Для вас это будет лучше.

Получалось как-то так, что мое дело разбирают помимо меня. Все происходило без моего участия. Решалась моя судьба—и никто не спрашивал, что я об этом думаю. Иногда мне хотелось прервать их всех и сказать: «Да кто же, в конце концов, обвиняемый? Это не шутка—когда тебя обвиняют. Мне тоже есть что сказать!» Но если вдуматься, мне нечего было сказать. Притом, хотя, пожалуй, это и любопытное ощущение, когда люди заняты твоей особой,—оно быстро приедается. Скажем, прокурора я очень скоро устал слушать. Лишь изредка я улавливал какой-нибудь обрывок его речи, иная тирада, резкий жест поражали меня или казались стоящими внимания.

Насколько я понял, суть его мысли заключалась в том, что я совершил убийство с заранее обдуманном намерением. По крайней мере он старался это доказать. Он сам так говорил:

— Я это докажу, господа присяжные заседатели, и докажу двумя способами: сначала при ослепительном свете фактов, а затем при том зловещем свете, в котором предстает эта преступная душа, когда исследуешь ее тайные движения.

И он опять перечислил факты—все, что произошло после смерти мамы. Припомнил, какой я был бесчувственный, как не мог сказать, сколько маме было лет, а на другой день купался с женщиной, смотрел в кино комедию и наконец привел Мари к себе домой. Тут я не сразу его понял, потому что он все говорил «любовница», а для меня она—Мари. Потом он перешел к истории с Раймоном. Надо сказать, в его представлении все складывалось в довольно стройную систему. Все, что он говорил, звучало правдоподобно. Я написал письмо по сговору с Раймоном, чтобы заманить его любовницу в ловушку и предать ее в безжалостные руки этого субъекта «сомнительной нравственности». На пляже я первым затеял драку с противниками Раймона. Его ранили. Я взял у него револьвер. И вернулся, чтобы пустить оружие в ход. Я затем и шел, чтобы убить того араба. После

первого выстрела я выждал. А потом, «чтобы убедиться, что дело сделано на совесть», выпустил в него еще четыре пули—не спеша, уверенно, по какому-то продуманному плану.

— Так вот, господа,—продолжал прокурор.—Я восстановил перед вами ход событий, которые привели этого человека к хладнокровному, преднамеренному убийству. Повторяю и настаиваю: тут был умысел. Это не заурядное убийство под влиянием аффекта, не внезапный порыв, для которого вы могли бы найти смягчающие обстоятельства. Перед вами, господа, человек вполне разумный. Вы его слышали, не так ли? Он умеет отвечать на вопросы. Он знает цену словам. И уж никак нельзя сказать, что он действовал, не отдавая себе отчета в своих поступках.

Итак, меня считали разумным. Но я не мог понять, почему же то, что в обыкновенном человеке считается достоинством, оборачивается сокрушительной уликой против обвиняемого. Это меня поразило, и я больше не слушал прокурора, пока до меня не донеслись такие слова:

— Расскаивается ли он по крайней мере? Ничуть не бывало! За все время, пока шло следствие, этот человек ни разу не обнаружил, что хоть сколько-нибудь удручен своим гнусным злодеянием.

Тут он повернулся ко мне и, показывая на меня пальцем, разразился новыми нападками, а почему—право, толком нельзя было понять. Конечно, я не мог не признать, что он отчасти прав. Да, я не слишком жалел о сделанном. Но странно, что он обрушивался на меня с такой яростью. Я охотно попробовал бы ему объяснить, вполне доброжелательно и даже дружески, что никогда я не умел по-настоящему о чем-либо сожалеть. Меня всегда занимает то, что впереди, сегодняшний и завтрашний день. Но, разумеется, когда тебя посадили на скамью подсудимых, уже ни с кем нельзя говорить в таком тоне. Я больше не имел права разговаривать по-дружески, доброжелательно. И я опять постарался прислушаться, потому что прокурор стал рассуждать о моей душе.

Он говорил, что пристально в нее всмотрелся—и ровно ничего не нашел, господа присяжные заседатели! Поистине, говорил он, у меня вообще нет души, во мне нет ничего человеческого и нравственные принципы, ограждающие человеческое сердце от порока, мне недоступны.

— Без сомнения,—прибавил прокурор,—мы не должны вменять это ему в вину. Нельзя его упрекать в отсутствии того, что он попросту не мог приобрести. Но здесь, в суде, добродетель пассивная—терпимость и снисходительность—должна уступить место добродетели более трудной, но и более высокой, а именно—справедливости. Ибо пустыня, которая открывается нам в сердце этого человека, грозит разверзнуться пропастью и поглотить все, на чем зиждется наше общество.

И тут он заговорил о моем отношении к маме. Он повторил то, что уже высказывал раньше. Но теперь он стал куда многословнее, чем когда говорил о моем преступлении,—он распространялся так долго, что под конец я уже ничего не чувствовал, кроме жары. Во всяком случае, до той минуты, когда прокурор

остановился, немного помолчал и вновь заговорил очень тихо и очень проникновенно:

— Господа присяжные, завтра этот же суд будет рассматривать дело о гнуснейшем из злодеяний—убийстве родного отца.

Подобное злодейство, сказал он, невозможно вообразить. Он осмеливается выразить надежду, что людское правосудие сурово покарает преступника. Но он не побоится сказать, продолжал он, что даже это чудовищное преступление едва ли ужасает его сильнее, нежели мое бессердечие. Ибо, как он полагает, тот, кто убил родную мать душевной черствостью, столь же бесповоротно отторгает себя от человечества, как и тот, кто поднял на родителя преступную руку. Во всяком случае, первый открывает путь деяниям второго, в известном смысле предвещает их и узаконивает.

— Я убежден, господа,—продолжал прокурор, возвысив голос,—вы не сочтете мою мысль слишком дерзостной, если я скажу, что человек, сидящий сейчас на скамье подсудимых, виновен также и в убийстве, которое вы будете судить завтра. И соразмерно этой вине его надлежит покарать.

Прокурор отер лоснящееся от пота лицо. И в заключение сказал, что долг его тягостен, но он исполнит этот долг с твердостью. Он заявил, что мне нет места в обществе, чьих важнейших заповедей я не признаю, и я не вправе ждать милосердия, раз мне чужды простейшие движения человеческого сердца.

— Я требую от вас головы преступника,—сказал он,—и требую с чистой совестью. Немалый срок я тружусь на своем поприще, и мне уже случалось требовать смертной казни, но никогда еще я в такой мере не ощущал, что тяжесть этого долга возмещена, уравновешена, озарена сознанием властной и священной необходимости, а также и ужасом, который я испытываю при виде чудовища, в чьих чертах не могу прочесть ничего человеческого.

Когда прокурор сел на свое место, настала долгая минута молчания. Что до меня, я был оглушен жарой и удивлением. Председатель, покашляв, очень тихо спросил, не желаю ли я что-нибудь прибавить. Я поднялся—говорить мне хотелось,—и я сказал (правда, немного бессвязно), что вовсе не собирался убивать того араба. Председатель ответил, что это голословное заявление, до сих пор он плохо понимал, на что опирается моя защита, и, прежде чем выслушать моего адвоката, рад был бы от меня самого узнать точнее, какими побуждениями я был движим. Понимая, что это звучит нелепо, я наскоро и довольно сбивчиво объяснил: все вышло из-за солнца. В зале раздались смешки. Мой адвокат пожал плечами, и сейчас же ему дали слово. Но он заявил, что уже поздно, а для его речи понадобится не один час, и попросил отложить ее до вечернего заседания. Суд согласился.

После перерыва огромные вентиляторы все так же перемешивали застоявшийся воздух в зале суда и так же равномерно колыхались маленькие пестрые веера присяжных. Мне казалось, речи защитника не будет конца. В какую-то минуту я все-таки прислушался, потому что он сказал:

— Да, это правда, я убил.

И продолжал в том же духе — речь шла обо мне, а он всякий раз говорил «я». Меня это очень удивило. Я наклонился к жандарму и спросил, почему так. Он велел мне замолчать и через минуту прибавил:

— Адвокаты всегда так говорят.

Мне подумалось, таким образом меня еще больше отстраняют от дела, сводят к нулю и в некотором смысле подменяют. Но, видно, я был уже очень далек от всего, что происходило в этом зале. Да и защитник казался мне смешным. Он наспех упомянул, что я действовал по наущению и подстрекательству, а потом тоже стал рассуждать о моей душе. Но, по-моему, прокурор говорил куда талантливей.

— Я тоже всмотрелся в эту душу, — сказал защитник, — но в отличие от многоуважаемого представителя прокуратуры я там кое-что нашел и могу сказать, что читал в этой душе, как в открытой книге.

Он прочел, что я честный человек, прилежный и неутомимый труженик, верный интересам фирмы, в которой служил, любимый окружающими и отзывчивый к чужому горю. По его мнению, я был примерным сыном и оставался опорой матери до последней возможности, а в дом призрения отдал ее в надежде, что там она обретет покой и уют, какими я при своих скудных средствах не мог ее окружить.

— Меня удивляет, господа присяжные заседатели, — прибавил мой защитник, — что вокруг этого приюта для престарелых поднят такой шум. Ибо, если нужно доказывать полезность и великодушные подобных учреждений, напомним, что их содержит само государство.

Он только не сказал о похоронах, и я почувствовал, что это пробел в его речи. Но от всех этих длинных фраз, от нескончаемых часов, когда толковали о моей душе, все словно затопило мутной водой, и у меня стала кружиться голова.

Помню только, под конец, пока мой защитник все еще что-то говорил, откуда-то с улицы, через все коридоры и залы суда, до меня долетел звук рожка — это проходил со своей тележкой мороженщик. И нахлынули воспоминания о той жизни, которая больше мне не принадлежала и которая прежде приносила мне самые скудные и самые верные радости: запахи лета, любимые улицы, краски вечернего неба, смех Мари, ее платье. Мне стало тошно от бессмысленного, бесполезного торчания здесь, в этом зале, и хотелось только одного — поскорей бы все кончилось, поскорей бы вернуться в камеру и уснуть. Я едва слышал, как защитник в заключение воскликнул, что присяжные, конечно же, не захотят послать на смерть честного труженика, которого погубило кратковременное помрачение рассудка! Пусть примут они во внимание все смягчающие обстоятельства, ведь самой тяжелой карой для меня навек останутся угрызения совести. Суд удалился на совещание, а защитник, точно выбившись из сил, опустился на свое место. Но тут коллеги обступили его и начали жать ему руку.

— Великолепно, мой дорогой, — говорили ему.

А один даже призвал меня в свидетели.

— Каково?—сказал он мне.

Я согласился, что речь была великолепная, но не слишком искренне, потому что очень устал.

Между тем на улице день угасал, и в зале тоже стало не так жарко. По иным шумам, долетавшим снаружи, я догадывался, что вечер настает мягкий, прохладный. Все мы сидели и ждали. Но то, чего мы ждали все вместе, касалось одного меня. Я опять посмотрел в зал. Все осталось точно таким же, как в первый день. Я встретил взгляды репортера в сером пиджаке и женщины-автомата. И подумал, что за все время процесса ни разу не поискал глазами Мари. Не потому, что забыл о ней, а просто был слишком занят. Я увидел ее между Селестом и Раймоном. Она чуть кивнула мне, как будто говорила—наконец-то!—и улыбнулась, хотя была, видно, встревожена. Но у меня внутри все закаменело, и я даже не сумел улыбнуться в ответ.

Вернулись судьи. Присяжным наскоро зачитали ряд вопросов. До меня доносилось: «виновен в убийстве...», «подстрекательство...», «смягчающие обстоятельства...» Присяжные вышли, а меня увели в каморку, где я и раньше ожидал заседания. Туда пришел и защитник. Он болтал без умолку и говорил со мной так доверительно и дружелюбно, как никогда прежде. Он полагал, что все сойдет хорошо и я отделаюсь несколькими годами тюрьмы или каторги. Я спросил, есть ли надежда на пересмотр дела, если приговор будет неблагоприятный. Он сказал—нет. Его тактика заключалась в том, чтобы не подсказывать выводов: это лишь ожесточило бы присяжных. Приговор по такому делу, пояснил он, без серьезных оснований никто пересматривать не станет. Это мне показалось совершенно очевидным, и я с ним согласился. Если рассуждать трезво, это вполне разумно. Иначе развелось бы слишком много ненужной писанины.

— Во всяком случае,—сказал защитник,—можно подать просьбу о помиловании. Но убежден, исход будет благоприятный.

Мы ждали очень долго, наверно три четверти часа. Потом зазвенел звонок. Защитник направился к двери.

— Сейчас старшина присяжных зачитает ответы на вопросы,—сказал он мне, выходя.—Вас введут только тогда, когда объявят приговор.

Где-то захлопали двери. По лестницам—не знаю, далеко или рядом,—бежали люди. Потом в зале послышался глухой голос, он что-то читал. Опять прозвенел звонок, меня повели на скамью подсудимых, и навстречу из зала хлынула тишина—странная, небывалая тишина, и еще меня поразило, что молодой репортер отвел глаза. В сторону Мари я не посмотрел. Я не успел, потому что председатель в каких-то высокопарных выражениях сказал мне, что именем французского народа мне на площади прилюдно отрубят голову. И мне показалось: на всех лицах я читаю одно и то же чувство. Да, конечно, теперь все смотрели на меня с уважением. Жандармы стали очень милы. Адвокат взял меня за руку. Я ни о чем больше не думал. Но председатель суда спросил, не хочу ли я еще что-нибудь прибавить. Я немного подумал. И сказал:

— Нет.

И тогда меня увели.

V

Уже третий раз я отказался принять тюремного священника. Мне нечего ему сказать, и нет охоты с ним говорить, скоро я и так его увижу. А сейчас меня занимает только одно: нельзя ли ускользнуть от этой машины, вырваться из неизбежности. Меня перевели в другую камеру. Отсюда, когда лежишь, видно небо — и ничего, кроме неба. Все дни напролет я смотрю, как на лице его понемногу блекнут краски, превращая день в ночь. Ложусь, закидываю руки за голову и жду. Уж не знаю, сколько раз я себя спрашивал, бывало ли, чтобы осужденные на смерть ускользали от беспощадного механизма, исчезали до казни, прорвались сквозь цепь охраны. Напрасно я раньше не слушал с должным вниманием рассказов о смертной казни. Такими вещами следует интересоваться. Ведь никогда не знаешь, что может случиться. Как и все, я читал газетные отчеты. Но, уж наверно, есть и специальные труды, а я ни разу не полюбопытствовал в них заглянуть. Быть может, там нашлись бы и рассказы о побегах. Может, я узнал бы, что хоть раз колесо остановилось на полпути, что хоть однажды случай и удача изменили что-то в неотвратимом ходе событий. Хоть однажды! В каком-то смысле, думаю, мне и этого было бы довольно. Сердце само довершило бы остальное. Газеты часто пишут: мол, общество предъявляет преступнику счет. И по счету, мол, надо платить. Но это ничего не говорит воображению. Важно другое — возможность ускользнуть, вырваться из рамок неумолимого обряда, безрассудный побег, открывающий столько надежд. В сущности, надеяться можно только на то, что тебя перехватят на перекрестке и забьют насмерть либо подстрелят на бегу. Но, если трезво все взвесить, мне такая роскошь недоступна, все обращается против меня, от этой машины не уйдешь.

При всем желании я не мог примириться с этой наглой очевидностью. Потому что был какой-то нелепый разрыв между приговором, который ее обусловил, и неотвратимым ее приближением с той минуты, когда приговор огласили. Его зачитали в восемь часов вечера, но могли зачитать и в пять, он мог быть другим, его вынесли люди, которые, как и все на свете, меняют белье, он провозглашен именем чего-то весьма расплывчатого — именем французского народа (а почему не китайского или немецкого?), — все это, казалось мне, делает подобное решение каким-то несерьезным. И, однако, я не мог не признать, что с той минуты, как оно было принято, его действие стало таким же ощутимым и несомненным, как стена, к которой я сейчас прижимался всем телом.

В эти часы я вспоминал одну историю, которую мама рассказывала мне об отце. Отца я не знал. Об этом человеке мне известно, пожалуй, только то, что рассказала тогда мама: однажды он пошел посмотреть на казнь убийцы. Ему тошно было

даже думать о том, чтобы пойти туда. И все-таки он пошел, а когда вернулся, его чуть ли не все утро рвало. После этого рассказа мне как-то неприятно было думать об отце. А теперь я его понимаю, это так естественно. Как же я раньше не соображал,—нет на свете ничего важнее смертной казни, в известном смысле только она и заслуживает внимания! Если я когда-нибудь выйду из тюрьмы, всегда буду смотреть, как казнят. Впрочем, напрасно я об этом подумал. Потому что при одной мысли—вот я ранним утром окажусь за цепью охраны, вроде бы по другую сторону, буду просто зрителем, который придет, посмотрит, а потом его может выворачивать наизнанку,—при одной этой мысли к сердцу отравленной волной прилила радость. Нет, это неблагоприятно. Напрасно я позволил себе такие предположения, потому что меня тотчас обдало ледяным холодом, и я скорчился под одеялом. Я стучал зубами и никак не мог взять себя в руки.

Но, понятно, не всегда удается сохранять благоразумие. Иногда, например, я обдумывал новые законы. Я перестраивал систему наказаний. По-моему, самое важное—оставить осужденному хоть какую-то надежду. Пусть повезет одному из тысячи—этого довольно. Можно, скажем, составить химическое снадобье, убивающее пациента (про себя я так и выражался: пациент) в девяти случаях из десяти. Одно условие—пусть пациент об этом знает. Потому что по зрелом размышлении, спокойно все обдумав и взвесив, я понял, чем плоха гильотина: она не оставляет ни тени надежды. Смерть пациента решена с первой минуты окончательно и бесповоротно. Тут все твердо, неизбежно, установлено раз и навсегда. И возврата быть не может. Если каким-то чудом нож заело, все начнут сначала. А потому—досадная нелепость!—осужденный сам вынужден желать, чтобы машина работала безотказно. Я сказал—это недостаток. В каком-то смысле так оно и есть. Но в другом смысле нельзя не признать, что тут-то и кроется секрет отлично налаженного дела. Осужденный волеиневолей оказывается заодно с теми, кто его казнит. В его же интересах, чтобы все шло без запинки.

И еще я не мог не признать, что прежде у меня были обо всем этом ложные понятия. Я долго думал, сам не зная почему, что гильотина стоит на эшафоте и к ней надо подниматься по ступенькам. Наверно, это из-за революции 1789 года, то есть так меня учили в школе и так рисуют на картинках. Но однажды утром я вспомнил фотографию, которую поместили газеты в связи с одной нашумевшей казнью. Никакого помоста нет, машина стоит просто-напросто на земле. И она совсем не такая широкая, как мне представлялось. Забавно, что я не знал этого раньше. Механизм на снимке поражал своей законченностью, словно блестящий, безукоризненно точный инструмент. Чего не знаешь, то всегда преувеличиваешь. А теперь, напротив, я убеждаюсь, что все очень просто: машина стоит на одной плоскости с идущим к ней человеком. К ней подходишь, как к знакомому на улице. В каком-то смысле это тоже досадно. Взойти на эшафот, подняться к небу—тут есть за что ухватиться воображению. А здесь все подавляет некая механика—убивают тихо и скромно, чуть пристыженно и очень аккуратно.

Еще две неотвязные мысли преследовали меня: рассвет и просьба о помиловании. Однако я сдерживал себя и старался про это не думать. Растягивался на койке, смотрел в небо и заставлял себя сосредоточиться. Небо стало зеленое — значит, уже вечерет. Я делал над собой еще усилие: надо думать о чем-то другом. Прислушивался к своему сердцу. Никак не удавалось представить себе, что этот стук, неразлучный со мною с незапамятных времен, вдруг оборвется. Я никогда не отличался живым воображением. И все же пробовал вообразить такую секунду, когда биение сердца уже не будет отдаваться в висках. Но зря я старался. Опять и опять на ум приходили рассвет или помилование. Под конец я решил — нет смысла себя принуждать.

Они приходят на рассвете, это я знал. И все ночи напролет только тем и занимался, что ждал рассвета. Не люблю, чтобы меня затавали врасплох. Уж если что-то должно случиться, лучше я буду к этому готов. Так что под конец я только урывками спал днем, а ночами терпеливо ждал, пока в небе, как в окне, затеплится свет. Трудней всего давался тот смутный час, когда, как я знал, они обычно принимаются за работу. С полуночи я настораживался и ждал. Никогда прежде мое ухо не различало столько звуков — самых слабых, еле уловимых. Впрочем, мне, можно сказать, везло — за все время я ни разу не услышал шагов. Мама часто говорила, что человек никогда не бывает совершенно несчастен. В тюрьме, когда небо наливало краской и в камеру проскальзывал свет нового дня, я понял — она была права. Ведь шаги могли бы и прозвучать, и тогда, пожалуй, у меня разорвалось бы сердце. Но хотя при малейшем шорохе меня кидало к двери и я прижимался ухом к толстым доскам и ждал долго, иступленно и под конец пугался своего же дыхания, такое оно было громкое, хриплое, точно у загнанного пса, — а все-таки вот и опять сердце не разорвалось, и я выиграл еще двадцать четыре часа.

А весь день на уме просьба о помиловании. Наверно, из этой мысли я извлек все, что только мог. Я ничего не упускал из виду, все до мелочей принимал в расчет, и мои рассуждения приносили отличные плоды. Для начала я всегда предполагал самое худшее: просьба о помиловании отвергнута. Так что же? Значит, я умру. Раньше, чем другие, разумеется. Но ведь всякий знает — жить не стоит труда. В сущности, я прекрасно понимал, что умереть в тридцать лет или в семьдесят — невелика разница, все равно другие мужчины и женщины останутся жить после тебя, и так будет еще тысячи лет. Ясно и понятно, чего проще. Теперь или через двадцать лет — все равно я умру. Сейчас при этом рассуждении меня смущало одно: как подумаю, что можно бы прожить еще двадцать лет, внутри все так и вскинется. Оставалось глушить это чувство, внушать себе, что те же мысли одолевали бы меня и через двадцать лет, когда я все равно очутился бы в таком же положении. Ведь ясно и понятно: смерти не миновать, а когда и как умрешь — что за важность. Значит (трудней всего было не упустить нить рассуждений, которая вела к этому «значит»), — значит, надо примириться с тем, что мою просьбу могут отвергнуть.

Вот тут, только тут я, так сказать, получал право, я в какой-то мере позволял себе допустить другую возможность: меня помилюют. Досадно одно: приходилось обуздывать неистовый порыв крови и плоти, сумасбродную ослепляющую радость. Надо было старательно заглушать этот внутренний крик трезвыми рассуждениями. Надо было освоиться и с этой возможностью, чтобы вернее покориться той, первой. Когда мне это удавалось, я выигрывал час спокойствия. А это все же не пустяк.

Именно в такую минуту я еще раз отказался принять священника. Я лежал на койке и по тому, как бледнело летнее небо, угадывал приближение вечера. Только что я отклонил свою просьбу о помиловании и чувствовал, как спокойно течет кровь по жилам. Мне незачем было видеть священника. Впервые за много дней я подумал о Мари. Она уже давным-давно мне не писала. В тот вечер, поразмыслив, я сказал себе: может быть, ей надоело быть любовницей смертника. А могло случиться и другое—она заболела и умерла. Очень может быть. Откуда мне знать, что произошло,—ведь наши тела теперь врозь, а больше ничто нас не связывало и не напоминало друг о друге. Впрочем, если бы Мари умерла, я вспоминал бы о ней спокойно. Мертвая она бы меня ничуть не занимала. Это вполне естественно, и обо мне тоже, разумеется, забудут, как только я умру. Людям больше не будет до меня дела. Даже не могу сказать, чтобы это меня угнетало. В сущности, нет такой мысли, к которой человеку нельзя привыкнуть.

Вот тут-то и вошел священник. При виде его я слегка вздрогнул. Он это заметил и сказал—не надо бояться. Я сказал—обычно он приходит в другой час. Он ответил, что пришел просто по-дружески меня навестить, просьба о помиловании тут ни при чем, он про нее ничего не знает. Он присел на мою койку и предложил мне сесть рядом. Я отказался. Впрочем, лицо у него было очень доброе.

Некоторое время он сидел, понурясь, облокотясь на колени, и разглядывал свои руки. Они были тонкие и мускулистые, точно два проворных зверька. Он медленно потерял их. И застыл с опущенной головой, и не шевелился так долго, что я о нем чуть не забыл.

Но вдруг он вскинул голову и посмотрел на меня в упор.

— Почему вы всегда отказываетесь меня видеть?

Я ответил, что не верю в бога. Он спросил, вполне ли я в этом уверен, и я сказал—мне незачем себя проверять, ведь это совершенно неважно. Тогда он откинулся назад, прислонился к стене, опустив руки на колени. И словно про себя заметил, что иногда людям кажется, будто они в чем-то уверены, а на самом деле это не так. Я промолчал. Он посмотрел на меня и спросил:

— А как по-вашему?

Я сказал—всяко бывает. Может, я и не знаю наверняка, что меня по-настоящему занимает. Но уж что мне совсем неинтересно—это я знаю твердо. Так вот, то, о чем он говорит, меня ничуть не интересует.

Он отвел глаза и, не меняя позы, спросил—должно быть, я так говорю от крайнего отчаяния? Я объяснил, что вовсе не отчаиваюсь. Только боюсь—а это вполне естественно.

— Господь вам поможет,— заметил он.— В вашем положении все, кого я знал, обращались к господау.

Я сказал—что ж, это их право. Кроме того, очевидно, у них хватало на это времени. Ну а я не хочу, чтобы мне помогали, и у меня нет времени заниматься тем, что мне неинтересно.

Тут он было с досадой всплеснул руками, но сдержался и начал расправлять складки сутаны. Потом опять заговорил, называя меня «друг мой». Он, мол, так со мной говорит не потому, что я осужден на смерть,—ведь, в сущности, все мы осуждены на смерть. Я перебил его и сказал: это не одно и то же и, уж во всяком случае, это не утешает.

— Да, конечно,—согласился он.—Но если вы не умрете в скором времени, так умрете позже. И тогда перед вами встанет тот же самый вопрос. Как встретите вы это страшное испытание?

Я ответил:

— Точно так же, как встречаю сейчас.

Он поднялся и посмотрел мне прямо в глаза. Эта игра мне знакома. Я часто забавлялся ею с Эммануэлем и Селестом, и, как правило, первыми глаза отводили они. Я сразу же понял, что и священник тоже хорошо знает эту игру: его взгляд не дрогнул. И голос тоже не дрогнул, когда он сказал:

— Неужели у вас нет никакой надежды? Неужели вы живете с мыслью, что умрете совершенно и ничего от вас не останется?

— Да,—ответил я.

Он опустил голову и опять сел. И сказал, что ему меня жаль. Ему кажется—такое невозможно вынести человеку. А я чувствовал одно: он начинает мне надоедать. Я тоже отвернулся и подошел к окошку. И прислонился плечом к стене. Краем уха я слышал, что он опять задает мне вопросы. В голосе его звучала тревога и настойчивость. Я понял, что он взволнован, и стал слушать внимательней.

Он уверен, говорил он, что мою просьбу о помиловании удовлетворят, но на мне тяготеет грех—и от этого груза надо освободиться. У него выходило, что людской суд ничего не значит, важен только суд божий. Я сказал: меня-то осудили люди. Он возразил, однако этим не смыт мой грех. Я сказал: а мне неизвестно, что такое грех, мне объявили только, что я виновен. Я виновен и расплачиваюсь по счету, а больше с меня нечего спрашивать. Он снова поднялся, и я подумал—когда хочешь шевельнуться, в этой тесной камере нет выбора, только и можно встать или сесть.

Я смотрел в пол. Он шагнул ко мне и остановился, как будто не смел подойти ближе. Через решетку он посмотрел на небо.

— Вы заблуждаетесь, сын мой,—сказал он.—С вас могли бы спросить больше. А возможно, и спросят.

— Что спросят?

— Чтобы вы увидели.

— А что надо видеть?

Священник огляделся по сторонам, и голос его вдруг показался мне очень усталым:

— Я знаю, здесь каждый камень насквозь пропитан страданием. Не могу без скорби смотреть на эти стены. Но в глубине души

знаю: самые несчастные из вас порой видели, как сквозь эти мрачные стены проступал божественный лик. Вот его-то вы и должны увидеть.

Я немного оживился. И сказал, что уже много месяцев смотрю на эти стены. Я их изучил, как ни одну стену и ни одного человека на свете. Может быть, когда-то я и старался увидеть на них лицо. Но в том лице горят краски солнца и пламя желания— это лицо Мари. И я искал его понапрасну. А теперь с этим покончено. Во всяком случае, ничего я не видел и ничего сквозь эти камни не проступает.

Кажется, он посмотрел на меня с грустью. Теперь я прислонился к стене спиной, свет падал мне на лоб. Священник сказал несколько слов, которых я не расслышал, потом торопливо спросил: можно ему меня обнять?

— Нет,— сказал я.

Он отвернулся, шагнул к стене и провел по ней ладонью.

— Неужели вам так дорого все земное?— тихо спросил он.

Я ничего не ответил.

Он довольно долго стоял отвернувшись. Меня это злило, он был мне в тягость. Я уже хотел сказать— пускай уйдет и оставит меня в покое, как вдруг он обернулся ко мне и закричал с жаром:

— Нет, я не могу вам поверить! Я убежден, вам тоже случалось желать иной жизни.

Я ответил, да, конечно, но это бессмысленно— все равно как если хочешь разбогатеть, или плавать быстрее всех, или чтобы у тебя рот стал красивый. Совершенно одно и то же— пустые мечты. Тут он меня перебил и спросил, а как я себе представляю ту, иную жизнь? И я закричал:

— Так, чтобы вспоминать вот эту жизнь, земную!

И сейчас же прибавил— хватит с меня, надоело! Он хотел еще говорить о боге, но я подступил к нему ближе и постарался в последний раз объяснить, что у меня осталось слишком мало времени. И я не желаю тратить его на бога. Он попробовал переменить разговор и спросил, почему я называю его «господин священник», а не «отец мой». Я вспыхнул и ответил, что он мне не отец: он заодно с теми, кто против меня.

— Нет, сын мой,— сказал он и положил руку мне на плечо.— Я с вами. Но вы не в силах это понять, потому что сердце ваше слепо. Я буду за вас молиться.

Тут, не знаю почему, во мне что-то прорвалось. Я стал орать во все горло и выругал его и сказал— нечего за меня молиться. Я схватил его за воротник сутаны. От гнева и радости меня била дрожь, и я излил на него все, что скопилось в душе, до самого дна. Он с виду такой уверенный и ни в чем не сомневается? Так вот, вся его уверенность не стоит единого женского волоска. Напрасно он уверен, что жив, ведь он живет как мертвец. Вот я с виду нищий и обездоленный. Но я уверен в себе и во всем, куда уверенней, чем он, я уверен, что жив и что скоро умру. Да, кроме этой уверенности, у меня ничего нет. Но по крайней мере этой истины у меня никто не отнимет. Как и меня у нее не отнять. Я прав и теперь и прежде, всегда был прав. Я жил вот так, а мог бы жить по-другому. Делал то и не делал этого. Поступил так, а не

эдак. Ну и что? Как бы там ни было, а выходит — я всегда ждал вот этой минуты, этого рассвета, тут-то и подтвердится моя правота. Все — все равно, все не имеет значения, и я прекрасно знаю почему. И он тоже знает. На протяжении всей моей нелепой жизни, через еще не наступившие годы, из глубины будущего несло мне навстречу сумрачное дуновение и равняло все на своем пути, и от этого все, что мне сулили и навязывали, становилось столь же призрачным, как те годы, что я прожил на самом деле. Что мне смерть других людей, любовь матери, что мне его бог, другие пути, которые можно бы предпочесть в жизни, другие судьбы, которые можно избрать, — ведь мне предназначена одна-единственная судьба, мне и еще миллиардам избранных, всем, кто, как и он, называют себя моими братьями. Понятно ли ему, понятно ли наконец? Все люди на свете — избранные. Других не существует. Рано или поздно всех осудят и приговорят. И его тоже. Не все ли равно, если обвиненного в убийстве казнят за то, что он не плакал на похоронах матери? Псу старика Саламано цена не больше и не меньше, чем его жене. Маленькая женщина-автомат столь же виновна, как парижанка, на которой женился Масон, и как Мари, которая хотела стать моей женой. Не все ли равно, если моим приятелем был и Раймон, а не только Селест, который куда лучше Раймона? И не все ли равно, если Мари сегодня подставит губы какому-нибудь другому Мерсо? Так понимает ли он, приговоренный, что из глубины моего будущего... Я выкрикивал все это и задыхался от крика. Но священника уже вырвали у меня из рук, и надзиратели накинулись на меня с угрозами. Однако он их успокоил и минуту молча смотрел на меня. В глазах у него стояли слезы. Он повернулся и исчез.

Как только он вышел, я успокоился. Почувствовал, что очень устал, и бросился на койку. Наверно, я уснул, потому что, когда очнулся, в лицо мне смотрели звезды. До меня доносились звуки с полей. Прохладный запах ночи, земли и моря освежал виски. Чудесное спокойствие спящего лета вливалось в меня, как прибой. Вдруг где-то на краю ночи взвыли пароходные гудки. Они возвещали отплытия и разлуки миру, который стал мне навсегда безразличен. В первый раз за долгий-долгий срок я подумал о маме. Кажется, я понял, почему в конце жизни она нашла себе «жениха», почему затеяла эту игру, будто все начинается сначала. И там, вокруг дома призрения, где угасали человеческие жизни, там тоже вечер был как раздумчивое затишье. Перед самой смертью мама, должно быть, почувствовала себя освобожденной, готовой все пережить заново. Никто, никто не имел права ее оплакивать. Вот и я — я тоже готов все пережить заново. Как будто неистовый порыв гнева очистил меня от боли, избавил от надежды, и перед этой ночью, полной загадочных знаков и звезд, я впервые раскрываюсь навстречу тихому равнодушию мира. Он так на меня похож, он мне как брат, и от этого я чувствую — я был счастлив, я счастлив и сейчас. Чтобы все завершилось, чтобы не было мне так одиноко, остается только пожелать, чтобы в день моей казни собралось побольше зрителей — и пусть они встретят меня криками ненависти.



ЧУМА

LA PESTE

Paris, 1947

Перевод Н. Жарковой

Если позволительно изобразить тюремное заключение через другое тюремное заключение, то позволительно также изобразить любой действительно существующий в реальности предмет через нечто вообще несуществующее.

Даниель Дефо

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Любопытные события, послужившие сюжетом этой хроники, произошли в Оране в 194... году. По общему мнению, они, эти события, были просто неуместны в данном городе, ибо некоторым образом выходили за рамки обычного. И в самом деле, на первый взгляд Оран—обычный город, типичная французская префектура на алжирском берегу.

Надо признать, что город как таковой достаточно уродлив. И не сразу, а лишь по прошествии известного времени замечаешь под этой мирной оболочкой то, что отличает Оран от сотни других торговых городов, расположенных под всеми широтами. Ну как, скажите, дать вам представление о городе без голубей, без деревьев и без садов, где не услышишь ни хлопанья крыльев, ни шелеста листвы,—словом, без особых примет. О смене времени года говорит только небо. Весна извещает о своем приходе лишь новым качеством воздуха и количеством цветов, которые в корзинах привозят из пригородов розничные торговцы,—короче, весна, продающаяся вразнос. Летом солнце сжигает и без того прокаленные дома и покрывает стены сероватым пеплом; тогда жить можно лишь в тени наглухо закрытых ставен. Зато осень—это потопаы грязи. Погожие дни наступают только зимой.

Самый удобный способ познакомиться с городом—это попытаться узнать, как здесь работают, как здесь любят и как здесь умирают. В нашем городке—возможно, таково действие климата—все это слишком тесно переплетено и делается все с тем же лихорадочно-отсутствующим видом. Это значит, что здесь скучают и стараются обзавестись привычками. Наши обыватели работают много, но лишь ради того, чтобы разбогатеть. Все их интересы вращаются главным образом вокруг коммерции, и прежде всего они заняты, по их собственному выражению, тем, что «делают дела». Понятно, они не отказывают себе также и в

незатейливых радостях — любят женщин, кино и морские купания. Но, как люди рассудительные, все эти удовольствия они приберегают на субботний вечер и на воскресенье, а остальные шесть дней недели стараются заработать побольше денег. Вечером, покинув свои конторы, они в точно установленный час собираются в кафе, прогуливаются все по тому же бульвару или восседают на своих балконах. В молодости их желания неистовы и скоротечны, в более зрелом возрасте пороки не выходят за рамки общества игроков в шары, банкетов в складчину и клубов, где ведется крупная азартная игра.

Мне, разумеется, возразят, что все это присуще не только одному нашему городу и что таковы в конце концов все наши современники. Разумеется, в наши дни уже никого не удивляет, что люди работают с утра до ночи, а затем сообразно личным своим вкусам убивают остающееся им для жизни время на карты, сидение в кафе и на болтовню. Но есть ведь такие города и страны, где люди хотя бы временами подозревают о существовании чего-то иного. Вообще-то говоря, от этого их жизнь не меняется. Но подозрение все-таки мелькнуло, и то слава богу. А вот Оран, напротив, город, по-видимому никогда и ничего не подозревающий, то есть вполне современный город. Поэтому нет надобности уточнять, как у нас любят. Мужчины и женщины или слишком быстро взаимно пожирают друг друга в том, что зовется актом любви, или же у них постепенно образуется привычка быть вместе. Между двумя этими крайностями чаще всего середины нет. И это тоже не слишком оригинально. В Ороне, как и повсюду, за неимением времени и способности мыслить люди хоть и любят, но сами не знают об этом.

Зато более оригинально другое — смерть здесь связана с известными трудностями. Впрочем, трудность — это не то слово, правильнее было бы сказать некомфортабельность. Болеть всегда неприятно, но существуют города и страны, которые поддерживают вас во время недуга и где в известном смысле можно позволить себе роскошь поболеть. Больной нуждается в ласке, ему хочется на что-то опереться, это вполне естественно. Но в Ороне все требует крепкого здоровья: и капризы климата, и размах деловой жизни, серость окружающего, короткие сумерки и стиль развлечений. Больной там по-настоящему одинок... Каково же тому, кто лежит на смертном одре, в глухом капкане, за сотнями потрескивающих от зноя стен, меж тем как в эту минуту целый город по телефону или за столиками кафе говорит о коммерческих сделках, коносаментах и учете векселей. И вы поймете тогда, до чего же некомфортабельна может стать смерть, даже вполне современная, когда она приходит туда, где всегда сушь.

Будем надеяться, что эти беглые указания дадут достаточно четкое представление о нашем городе. Впрочем, не следует ничего преувеличивать. Надо бы вот что особенно подчеркнуть — банальнейший облик города и банальный ход тамошней жизни. Но стоит только обзавестись привычками, и дни потекут гладко. Раз наш город благоприятствует именно приобретению привычек, следовательно, мы вправе сказать, что все к лучшему. Конечно, под этим углом жизнь здесь не слишком захватывающая. Зато мы

не знаем, что такое беспорядок. И наши прямодушные, симпатичные и деятельные сограждане неизменно вызывают у путешественника вполне законное уважение. Этот отнюдь не живописный город, лишенный зелени и души, начинает казаться градом отдохновения и под конец усыпляет. Но справедливости ради добавим, что привили его к ни с чем не сравнимому пейзажу, он лежит посреди голого плато, окруженного лучезарными холмами, у самой бухты совершенных очертаний. Можно только пожалеть, что строился он спиной к бухте, поэтому моря ниоткуда не видно, вечно его приходится отыскивать.

После всего вышесказанного читатель без труда согласится, что происшествия, имевшие место весной нынешнего года, застали наших сограждан врасплох и были, как мы поняли впоследствии, провозвестниками целой череды событий чрезвычайных, рассказ о коих излагается в этой хронике. Некоторым эти факты покажутся вполне правдоподобными, зато другие могут счесть их фантазией автора. Но в конце концов летописец не обязан считаться с подобными противоречиями. Его задача—просто сказать «так было», если он знает, что так оно и было в действительности, если случившееся непосредственно коснулось жизни целого народа и имеются, следовательно, тысячи свидетелей, которые оценят в душе правдивость его рассказа.

К тому же рассказчик, имя которого мы узнаем в свое время, не позволил бы себе выступать в этом качестве, если бы волею случая ему не довелось собрать достаточное количество свидетельских показаний и если бы силою событий он сам не оказался замешанным во все, что намерен изложить. Это и позволило ему выступить в роли историка. Само собой разумеется, историк, даже если он дилетант, всегда располагает документами. У рассказывающего эту историю, понятно, тоже есть документы: в первую очередь его личное свидетельство, потом свидетельства других, поскольку в силу своего положения ему пришлось выслушивать доверительные признания всех персонажей этой хроники, наконец, бумаги, попавшие в его руки. Он намерен прибегать к ним, когда сочтет это необходимым, и использовать их так, как ему это удобно. Он намерен также... Но видимо, пора уже бросить рассуждения и недомолвки и перейти к самому рассказу. Описание первых дней требует особой тщательности.

Утром шестнадцатого апреля доктор Бернар Риэ, выйдя из квартиры, споткнулся на лестничной площадке о дохлую крысу. Как-то не придав этому значения, он отшвырнул ее носком ботинка и спустился по лестнице. Но уже на улице он задал себе вопрос, откуда бы взялась крыса у него под дверью, и он вернулся сообщить об этом происшествии привратнику. Реакция старого привратника мсье Мишеля лишь подчеркнула, сколь необычным был этот случай. Если доктору присутствие в их доме дохлой крысы показалось только странным, то в глазах привратника это был настоящий позор. Впрочем, мсье Мишель занял твердую позицию: в их доме крыс нет. И как ни уверял его доктор, что сам видел крысу на площадке второго этажа, и, по

всей видимости, дохлую крысу, мсье Мишель стоял на своем. Раз в доме крыс нет, значит, кто-нибудь подбросил ее нарочно. Короче, кто-то просто подшутил.

Вечером того же дня Бернар Риэ, прежде чем войти к себе, остановился на площадке и стал шарить по карманам ключи, как вдруг он заметил, что в дальнем, темном углу коридора показалась огромная крыса с мокрой шерсткой, двигавшаяся как-то боком. Грызун остановился, словно стараясь удержаться в равновесии, потом двинулся к доктору, снова остановился, перевернулся вокруг собственной оси и, слабо пискнув, упал на пол, причем из его мордочки брызнула кровь. С минуту доктор молча смотрел на крысу, потом вошел к себе.

Думал он не о крысе. При виде брызнувшей крови он снова вернулся мыслью к своим заботам. Жена его болела уже целый год и завтра должна была уехать в санаторий, расположенный в горах. Как он и просил уходя, она лежала в их спальне. Так она готовилась к завтрашнему утомительному путешествию. Она улыбнулась.

— А я чувствую себя прекрасно,— сказала она.

Доктор посмотрел на повернутое к нему лицо, на которое падал свет ночника. Лицо тридцатилетней женщины казалось Риэ таким же, каким было в дни первой молодости, возможно из-за этой улыбки, возмещавшей все, даже пометы тяжелого недуга.

— Постарайся, если можешь, заснуть,— сказал он.— В одиннадцать придет сиделка, и я отвезу вас обеих на вокзал к двенадцатичасовому поезду.

Он коснулся губами чуть влажного лба. Жена проводила его до дверей все с той же улыбкой.

Наутро, семнадцатого апреля, в восемь часов привратник остановил проходящего мимо доктора и пожаловался ему, что какие-то злые шутники подбросили в коридор трех дохлых крыс. Должно быть, их захлопнула особенно мощная крысоловка, потому что они все были в крови. Привратник еще с минуту постоял в дверях, держа крыс за лапки, он, видимо, ожидал, что злоумышленники выдадут себя какими-нибудь ядовитыми шутками. Но ровно ничего не произошло.

— Ладно, погодите,— пообещал мсье Мишель,— я их непременно поймаю.

Заинтригованный этим происшествием, Риэ решил начать визиты с внешних кварталов, где жили самые бедные его пациенты. Мусор оттуда вывозили обычно много позже, чем из центра города, и автомобиль, кативший по прямым и пыльным улицам, чуть не задевал своими боками стоявшие на краю тротуара ящики с отбросами. Только на одной из улиц, по которой ехал доктор, он насчитал с десяток дохлых крыс, валившихся на гнилых очистках и грязного тряпья.

Первого больного, к которому он заглянул, он застал в постели в комнате, выходившей окнами в переулок, которая служила и спальней и столовой. Больной был старик испанец с грубым изможденным лицом. Перед ним на одеяле стояли две кастрюльки с горошком. Когда доктор входил, больной, полусидевший в постели, откинулся на подушки, стараясь справиться с

хриплым дыханием, выдававшим застарелую астму. Жена принесла тазик.

— А вы видели, доктор, как они лезут, а?—спросил старик, пока Риэ делал ему укол.

— Верно,—подтвердила жена,—наш сосед трех подобрал.

Старик потер руки.

— Лезут, во всех помойках их полно! Это к голоду!

Риэ понял, что о крысах говорит уже весь квартал. Покончив с визитами, доктор возвратился домой.

— Вам телеграмма пришла,—сказал мсье Мишель.

Доктор осведомился, не видал ли он еще крыс.

— Э-э, нет,—ответил привратник.—Я теперь в оба гляжу, сами понимаете. Ни один мерзавец не сунется.

Телеграмма сообщала, что завтра прибывает мать Риэ. В отсутствие больной жены дом будет вести она. Доктор вошел к себе в квартиру, где уже ждала сиделка. Жена была на ногах, она надела строгий английский костюм, чуть подкрасилась. Он улыбнулся ей.

— Вот и хорошо,—сказал он,—очень хорошо.

На вокзале он посадил ее в спальный вагон. Она оглядела купе.

— Пожалуй, слишком для нас дорого, а?

— Так надо,—ответил Риэ.

— А что это за история с крысами?

— Сам еще не знаю. Вообще-то странно, но все обойдется.

И тут он, комкая слова, попросил у нее прощения за то, что недостаточно заботился о ней, часто бывал невнимателен. Она покачала головой, словно умоляя его замолчать, но он все-таки добавил:

— Когда ты вернешься, все будет по-другому. Начнем все сначала.

— Да,—сказала она, и глаза ее заблестели.—Начнем.

Она повернулась к нему спиной и стала смотреть в окно. На перроне суетились и толкались пассажиры. Даже в купе доходило приглушенное пыхтение паровоза. Он окликнул жену, и, когда она обернулась, доктор увидел мокрое от слез лицо.

— Не надо,—нежно проговорил он.

В глазах ее еще стояли слезы, но она снова улыбнулась, вернее, чуть скривила губы. Потом прерывисто вздохнула.

— Ну иди, все будет хорошо.

Он обнял ее и теперь, стоя на перроне по ту сторону вагонного окна, видел только ее улыбку.

— Прощу тебя,—сказал он,—береги себя.

Но она уже не могла расслышать его слов.

При выходе на вокзальную площадь Риэ заметил господина Отона, следователя, который вел за ручку своего сынишку. Доктор осведомился, не уезжает ли он. Господин Отон, длинный и черный, похожий на человека светского, как некогда выражались, и одновременно на факельщика из похоронного бюро, ответил любезно, но немногословно:

— Я встречаю мадам Отон, она ездила навестить моих родных.

Засвистел паровоз.

— Крысы...— начал следователь.

Риэ шагнул было в сторону поезда, но потом снова повернул к выходу.

— Да, но это ничего,— проговорил он.

Все, что удержала его память от этой минуты, был железнодорожник, несший ящик сдохлыми крысами, прижимая его к боку.

В тот же день после обеда, еще до начала вечернего приема, Риэ принял молодого человека—ему уже сообщили, что это журналист и что он заходил утром. Звался он Раймон Рамбер. Невысокий, широкоплечий, с решительным лицом, светлыми умными глазами, Рамбер, носивший костюм спортивного покроя, производил впечатление человека, находящегося в ладах с жизнью. Он сразу же приступил к делу. Явился он от большой парижской газеты взять у доктора интервью по поводу условий жизни арабов и хотел бы также получить материалы о санитарном состоянии коренного населения. Риэ сказал, что состояние не из блестящих. Но он пожелал узнать, прежде чем продолжать беседу, может ли журналист написать правду.

— Ну ясно,— ответил журналист.

— Я имею в виду, будет ли ваше обвинение безоговорочным?

— Безоговорочным, скажу откровенно,— нет. Но хочу надеяться, что для такого обвинения нет достаточных оснований.

Очень мягко Риэ сказал, что, пожалуй, и впрямь для подобного обвинения оснований нет; задавая этот вопрос, он преследовал лишь одну цель—ему хотелось узнать, может ли Рамбер свидетельствовать, ничего не смягчая.

— Я признаю только свидетельства, которые ничего не смягчают. И поэтому не считаю нужным подкреплять ваше свидетельство данными, которыми располагаю.

— Язык, достойный Сен-Жюста,— улыбнулся журналист.

Не повышая тона, Риэ сказал, что в этом он ничего не смыслит, а говорит он просто языком человека, уставшего жить в нашем мире, но, однако, чувствующего влечение к себе подобным и решившего для себя лично не мириться со всяческой несправедливостью и компромиссами. Рамбер, втянув голову в плечи, поглядывал на него.

— Думаю, что я вас понял,— проговорил он не сразу и поднялся.

Доктор проводил его до дверей.

— Спасибо, что вы так смотрите на вещи.

Рамбер нетерпеливо повел плечом.

— Понимаю,— сказал он,— простите за беспокойство.

Доктор пожал ему руку и сказал, что можно было бы сделать любопытный репортаж о грызунах: повсюду в городе валяются десятки дохлых крыс.

— Ого!— воскликнул Рамбер.— Действительно интересно!

В семнадцать часов, когда доктор снова отправился с визитами, он встретил на лестнице довольно еще молодого человека, тяжеловесного, с большим, массивным, но худым лицом, на котором резко выделялись густые брови. Доктор изредка встречал его у испанских танцовщиков, живших в их подъезде на

самом верхнем этаже. Жан Тарру сосредоточенно сосал сигарету, глядя на крысу, которая корчилась в агонии на ступеньке у самых его ног. Тарру поднял на доктора спокойный, пристальный взгляд серых глаз, поздоровался и добавил, что все-таки нашествие крыс — любопытная штука.

— Да,— согласился Риэ,— но в конце концов это начинает раздражать.

— Разве что только с одной точки зрения, доктор, только с одной. Просто мы никогда ничего подобного не видели, вот и все. Но я считаю этот факт интересным, да-да, весьма интересным.

Тарру провел ладонью по волосам, отбросил их назад, снова поглядел на переставшую корчиться крысу и улыбнулся Риэ.

— Вообще-то говоря, доктор, это уж забота привратника.

Доктор как раз обнаружил привратника у их подъезда, он стоял, прислонясь к стене, и его обычно багровое лицо выражало усталость.

— Да, знаю,— ответил старик Мишель, когда доктор сообщил ему о новой находке.— Теперь их сразу по две, по три находят. И в других домах то же самое.

Вид у него был озабоченный, пришибленный. Машинальным жестом он тер себе шею. Риэ осведомился о его самочувствии. Нельзя сказать, чтобы он окончательно расклеился. А все-таки как-то ему не по себе. Очевидно, это его заботы точат. Совсем сбили с панталыку эти крысы, а вот когда они уберутся прочь, ему сразу полегчает.

Но на следующее утро, восемнадцатого апреля, доктор, ездивший на вокзал встречать мать, заметил, что мсье Мишель еще больше осунулся: теперь уж с десяток крыс карабкались по лестницам, видимо перебирались из подвала на чердак. В соседних домах все баки для мусора полны дохлых крыс. Мать доктора выслушала эту весть, не выказав ни малейшего удивления.

— Такие вещи случаются.

Была она маленькая, с серебристой сединой в волосах, с кроткими черными глазами.

— Я счастлива повидать тебя, Бернар,— твердила она.— И никакие крысы нам не мешают.

Сын кивнул: и впрямь с ней всегда все казалось легким.

Все же Риэ позвонил в городское бюро дератизации, он был лично знаком с директором. Слышал ли директор разговоры о том, что огромное количество крыс вышли из нор и подыхают? Мерсье, директор, слышал об этом, и даже в их конторе, расположенной неподалеку от набережной, обнаружено с полсотни грызунов. Ему хотелось знать, насколько положение серьезно. Риэ не мог решить этот вопрос, но он считал, что контора обязана принять меры.

— Конечно,— сказал Мерсье,— но только когда получим распоряжение. Если ты считаешь, что дело стоит труда, я могу попытаться получить соответствующее распоряжение.

— Все всегда стоит труда,— ответил Риэ.

Их служанка только что сообщила ему, что на крупном заводе, где работает ее муж, подобрали несколько сотен дохлых крыс.

Во всяком случае, примерно в это же время наши сограждане стали проявлять первые признаки беспокойства. Ибо с восемнадцатого числа и в самом деле на всех заводах и складах ежедневно обнаруживали сотни крысиных трупиков. В тех случаях, когда агония затягивалась, приходилось грызунов приканчивать. От окраин до центра города, словом везде, где побывал доктор Риэ, везде, где собирались наши сограждане, крысы будто бы поджидали их, густо набившись в мусорные ящики или же вытянувшись длинной цепочкой в сточных канавах. С этого же дня за дело взялись вечерние газеты и в упор поставили перед муниципалитетом вопрос — намерен или нет он действовать и какие срочные меры собирается принять, дабы оградить своих подопечных от этого омерзительного нашествия. Муниципалитет ровно ничего не намеревался делать и ровно никаких мер не предпринимал, а ограничился тем, что собрался с целью обсудить положение. Службе дератизации был отдан приказ: каждое утро на рассвете подбирать дохлых крыс. А потом оба конторских грузовика должны были отвозить трупы животных на мусоросжигательную станцию для сожжения.

Но в следующие дни положение ухудшилось. Число дохлых грызунов все возрастало, и каждое утро работники конторы собирали еще более обильную, чем накануне, жатву. На четвертый день крысы стали группами выходить на свет и околевали кучно. Из всех сараев, подвалов, погребов, сточных канав вылезали они длинными расслабленными шеренгами, неверными шажками выбирались на свет, чтобы, покружившись вокруг собственной оси, подохнуть поближе к человеку. Ночью в переулках, на лестничных клетках был отчетливо слышен их короткий предсмертный писк. Утром в предместьях города их обнаруживали в сточных канавах с венчиком крови на остренькой мордочке — одни раздутые, уже разложившиеся, другие окоченевшие, с еще воинственно взъерошенными усами. Даже в центре города можно было наткнуться на трупы грызунов, валявшихся кучками на лестничных площадках или во дворах. А некоторые одиночные экземпляры забирались в вестибюли казенных зданий, на школьные дворики, иной раз даже на террасы кафе, где и подыхали. Наши сограждане с удивлением находили их в самых людных местах города. Порой эта мерзость попадалась на Оружейной площади, на бульварах, на Приморском променаде. На заре город очищали от падали, но в течение дня крысиные трупы накапливались вновь и вновь во все возрастающем количестве. Бывало не раз, что ночной прохожий случайно с размаху наступал на пружинящий под ногой еще свежий трупик. Казалось, будто сама земля, на которой были построены наши дома, очищалась от скопившейся в ее недрах скверны, будто оттуда изливалась наружу сукровица и взбухали язвы, разъедавшие землю изнутри. Вообразите же, как опешил наш доселе мирный городок, как потрясли его эти несколько дней; так здоровый человек вдруг обнаруживает, что его до поры до времени неспешно текущая в жилах кровь внезапно взбунтовалась.

Дошло до того, что агентство Инфдок (информация, документация, справки по любым вопросам) в часы, отведенные для

бесплатной информации, довело до сведения радиослушателей, что за одно только двадцать пятое апреля была подобрана и сожжена 6231 крыса. Цифра эта обобщила и прояснила смысл уже ставшего будничным зрелища и усугубила общее смутнение. До этой передачи люди сетовали на нашествие грызунов как на малоаппетитное происшествие. Только теперь они осознали, что это явление несет с собой угрозу, хотя никто не мог еще ни установить размеры бедствия, ни объяснить причину, его породившую. Один только старик испанец, задыхавшийся от астмы, по-прежнему потирал руки и твердил в упоении: «Лезут! Лезут!»

Двадцать восьмого апреля агентство Инфдок объявило, что подобрано примерно 8000 крысиных трупов, и городом овладел панический страх. Жители требовали принятия радикальных мер, обвиняли власти во всех смертных грехах, и некоторые владельцы вилл на побережье заговорили уже о том, что пришло время перебраться за город. Но на следующий день агентство объявило, что нашествие внезапно кончилось и служба очистки подобрала только незначительное количество дохлых крыс. Город вздохнул с облегчением.

Однако в тот же день около полудня доктор Риэ, остановив перед домом машину, заметил в конце их улицы привратника, который еле передвигался, как-то нелепо растопырив руки и ноги и свесив голову, будто деревянный паяц. Старика привратника поддерживал под руку священник, и доктор сразу его узнал. Это был отец Панлю, весьма ученый и воинствующий иезуит; они не раз встречались, и Риэ знал, что в их городе преподобный отец пользуется большим уважением даже среди людей, равнодушных к вопросам религии. Доктор подождал их. У старика Мишеля неестественно блестели глаза, дыхание со свистом вырывалось из груди. Вдруг что-то занемог, объяснил Мишель, и решил выйти на воздух. Но во время прогулки у него начались такие резкие боли в области шеи, под мышками и в паху, что пришлось повернуть обратно и попросить отца Панлю довести его до дома.

— Там набрякло,— пояснил он.— Не мог до дому добраться.

Высунув руку из окна автомобиля, доктор провел пальцем по щеке старика возле ключиц и нащупал твердый, как деревянный, узелок.

— Идите ложитесь, смеряйте температуру, я загляну к вам под вечер.

Привратник ушел, а Риэ спросил отца Панлю, что он думает насчет нашествия грызунов.

— Очевидно, начнется эпидемия,— ответил святой отец, и в глазах его, прикрытых круглыми стеклами очков, мелькнула улыбка.

После завтрака Риэ перечитывал телеграмму, где жена сообщила о своем прибытии в санаторий, как вдруг раздался телефонный звонок. Звонил его старый пациент, служащий мэрии. Он уже давно страдал сужением аорты, и, так как человек он был малоимущий, Риэ лечил его бесплатно.

— Да, это я, вы меня, наверно, помните,— сказал он.— Но сейчас речь не обо мне. Приходите поскорее, с моим соседом неладно.

Голос его прерывался. Риэ подумал о привратнике и решил заглянуть к нему попозже. Через несколько минут он уже добрался до одного из внешних кварталов и открыл дверь низенького домика по улице Федерб. На середине сырой и вонючей лестницы он увидел Жозефа Грана, служащего мэрии, который вышел его встретить. Узкоплечий, длинный, сутулый, с тонкими ногами и руками, прокуренными желтыми усами, он казался старше своих пятидесяти лет.

— Сейчас чуть получше,— сказал он, шагнув навстречу Риэ,— а я уж испугался, что он кончается.

Он высморкался. На третьем, то есть на самом верхнем, этаже Риэ прочел на двери слева надпись, сделанную красным мелом: «Входите, я повесился».

Они вошли. Веревка свисала с люстры над опрокинутым стулом, стол был задвинут в угол. Но в петле никого не оказалось.

— Я его вовремя успел вынуть из петли,— сказал Гран, который, как и всегда, с трудом подбирая слова, хотя лексикон его был и без того небогат.— Я как раз выходил и вдруг услышал шум. А когда увидел надпись, решил, что это розыгрыш, что ли. Но он так странно, я бы сказал даже зловеще, застонал...

Он поскреб себе затылок.

— По моему мнению, это должно быть крайне мучительно. Ну, понятно, я вошел.

Толкнув дверь, они очутились в светлой, бедно обставленной спальне. На кровати с медными шишечками лежал низкорослый толстячок. Дышал он громко и смотрел на вошедших воспаленными глазами. Доктор остановился на пороге. Ему почудилось, будто в паузах между двумя вздохами он слышит слабый крысиный писк. Но в углах комнаты ничто не копошилось. Риэ подошел к кровати. Пациент, очевидно, упал с небольшой высоты, и упал мягко—позвонки были целы. Само собой разумеется, небольшое удушье. Не мешало бы сделать рентгеновский снимок. Доктор впрыснул больному камфару и сказал, что через несколько дней все будет в порядке.

— Спасибо, доктор,— глухо пробормотал больной.

Риэ спросил Грана, сообщил ли он о случившемся полицейскому комиссару, и тот смущенно взглянул на него.

— Нет,— сказал он,— нет. Я решил, что важнее...

— Вы правы,— подтвердил Риэ,— тогда я сам сообщу.

Но тут больной беспокойно шевельнулся, сел на кровати и заявил, что он чувствует себя прекрасно и не стоит поэтому никому ничего сообщать.

— Успокойтесь,— сказал Риэ.— Поверьте мне, все это пустяки, но я обязан сообщать о таких происшествиях.

— Ох,— простонал больной.

Он откинулся на подушку и тихонько заскулил. Гран, молча пощипывавший усы, приблизился к постели.

— Ну-ну, мсье Коттар,— проговорил он.— Вы сами должны понимать. Ведь доктор, надо полагать, за такие вещи отвечает. А что, если вам в голову придет еще раз...

Но Коттар, всхлипывая, заявил, что не придет, то была просто

минутная вспышка безумия и он лишь одного хочет — пускай его оставят в покое. Риэ написал рецепт.

— Ладно,—сказал он.— Не будем об этом. Я зайду дня через два-три. Только смотрите снова не наделайте глупостей.

На лестничной площадке Риэ сказал Грану, что обязан заявить о происшедшем, но что он попросит комиссара начать расследование не раньше, чем дня через два.

— Ночью за ним стоило бы приглядеть. Семья у него есть?

— Во всяком случае, я никого не знаю, но могу сам за ним присмотреть.— Он покачал головой.— Признаться, я и его самого-то не так уж хорошо знаю. Но нужно ведь помогать друг другу.

Проходя по коридору, Риэ машинально посмотрел в угол и спросил Грана, полностью ли исчезли крысы из их квартала. Чинovníк не мог сообщить по этому поводу ничего. Правда, ему рассказывали о крысином нашествии, но он обычно не придает значения болтовне соседей.

— У меня свои заботы,—сказал он.

Риэ поспешно пожал ему руку. Нужно было еще написать жене, а перед тем навестить привратника.

Газетчики, продающие вечерний выпуск, громкими криками возвещали, что нашествие грызунов пресечено. Но, едва переступив порог каморки привратника, доктор увидел, что тот лежит, наполовину свесившись с кровати над помойным ведром, схватившись одной рукой за живот, другой за горло, и его рвет мучительно, с потугами, розовой желчью. Ослабев от этих усилий, еле дыша, привратник снова улегся. Температура у него поднялась до 39,5°, железы на шее и суставы еще сильнее опухли, на боку выступили два черных пятна. Теперь он жаловался, что у него ноет все нутро.

— Жжет,—твердил он,—ух как жжет, сволочь!

Губы неестественно темного цвета еле шевелились, он бормотал что-то неразборчивое и все поворачивал к врачу свои рабы глаза, на которые от нестерпимой головной боли то и дело наворачивались слезы. Жена с тревогой смотрела на упорно молчавшего Риэ.

— Доктор,—спросила она,—что это с ним такое?

— Может быть любое. Пока ничего определенного сказать нельзя. До вечера подержите его на диете, дайте слабительное. И пусть побольше пьет.

И впрямь, привратника все время мучила жажда.

Вернувшись домой, Риэ позвонил своему коллеге Ришару, одному из самых авторитетных врачей города.

— Нет,—ответил Ришар,—за последнее время никаких экстраординарных случаев я не наблюдал.

— Ни одного случая высокой температуры, лихорадки с локальным воспалением?

— Ах да, пожалуй, в двух случаях лимфатические узлы были сильно воспалены.

— Сверх нормы?

— Ну-у,—протянул Ришар,—норма, знаете ли...

Но так или иначе, к вечеру у привратника температура

поднялась до 40°, он бредил и жаловался на крыс. Риэ решил сделать ему фиксирующий абсцесс. Почувствовав жжение от терпентина, больной завопил: «Ох, сволочи!»

Лимфатические узлы еще сильнее набрякли, затвердели и на ощупь казались жесткими, как дерево. Жена больного совсем потеряла голову.

— Не отходите от него,— посоветовал доктор.— Если понадобится, позовите меня.

На следующий день, тридцатого апреля, с влажно-голубого неба повеял уже по-весеннему теплый ветер. Он принес из отдаленных пригородов благоухание цветов. Утренние шумы казались звонче, жизнерадостнее обычного. Для всего нашего небольшого городка, сбросившего с себя смутное предчувствие беды, под тяжестью которого мы прожили целую неделю, этот день стал подлинным днем прихода весны. Даже Риэ, получивший от жены бодрое письмо, спустился к привратнику с ощущением какой-то душевной легкости. И в самом деле, температура к утру упала до 38°. Больной слабо улыбнулся, не поднимая головы с подушки.

— Ему лучше, да, доктор?— спросила жена.

— Подождем еще немного.

Но к полудню температура сразу поднялась до 40°, больной не переставая бредил, приступы рвоты участились. Железы на шее стали еще болезненнее на ощупь, и привратник все закидывал голову, как будто ему хотелось держать ее как можно дальше от тела. Жена сидела в изножье постели и через одеяло легонько придерживала ноги больного. Она молча взглянула на врача.

— Вот что,— сказал Риэ,— его необходимо изолировать и провести специальный курс лечения. Я позвоню в госпиталь, и мы перевезем его в карете «скорой помощи».

Часа через два, уже сидя в машине «скорой помощи», доктор и жена больного склонились над ним. С обметанных, распухших губ срывались обрывки слов: «Крысы! Крысы!» Лицо его позеленело, губы стали как восковые, веки словно налились свинцом, дышал он прерывисто, поверхностно и, как бы распятый разбухшими железами, все жался в угол откидной койки, будто хотел, чтобы она захлопнулась над ним, будто какой-то голос, идущий из недр земли, не переставая звал его, задыхающегося под какой-то невидимой тяжестью. Жена плакала.

— Значит, доктор, надежды уже нет?

— Он скончался,— ответил Риэ.

Смерть привратника, можно сказать, подвела черту под первым периодом зловещих предзнаменований и положила начало второму, относительно более трудному, где первоначальное изумление мало-помалу перешло в панику. Прежде никто из наших сограждан даже мысли никогда не допускал—они поняли это только сейчас,— что именно нашему городку предназначено стать тем самым местом, где среди белого дня околевают крысы, а привратники гибнут от загадочных недугов. С этой точки зрения мы, следовательно, заблуждались, и нам пришлось срочно пере-

смагивать свои представления о мире. Если бы дело тем и ограничилось, привычка взяла бы верх. Но еще многим из нас — причем не только привратникам и беднякам — пришлось последовать по пути, который первым проложил мсье Мишель. Вот с этого-то времени и возник страх, а ему сопутствовали раздумья.

Однако, прежде чем приступить к подробному описанию дальнейших событий, рассказчик считает полезным привести суждение другого свидетеля касательно этого этапа. Жан Тарру, с которым читатель уже встречался в начале этого повествования, осел в Оране за несколько недель до чрезвычайных событий и жил в одном из самых больших отелей в центре города. Судя по всему, жил он безбедно, на свои доходы. Но хотя город постепенно привык к нему, никто не знал, откуда он взялся, почему живет здесь. Его встречали во всех общественных местах. С первых весенних дней его чаще всего можно было видеть на пляже, где он с явным удовольствием нырял и плавал. Жизнерадостный, с неизменной улыбкой на губах, он, казалось, отдавался всем развлечениям, но отнюдь не был их рабом... И в самом деле, можно назвать только одну его привычку — усердные посещения испанских танцовщиков и музыкантов, которых в нашем городе немало.

Так или иначе, его записные книжки тоже содержат хронику этого трудного периода. Но тут, в сущности, мы имеем дело с совсем особой хроникой, словно автор заведомо поставил себе целью все умять. На первый взгляд кажется, будто Тарру как-то ухитряется видеть людей и предметы в перевернутый бинокль. Среди всеобщего смятения он, по сути дела, старался стать историографом того, что вообще не имеет истории. Разумеется, можно только пожалеть об этой предвзятости и заподозрить душевную черствость. Но при всем том его записи могут пополнить хронику этого периода множеством второстепенных деталей, имеющих, однако, свое значение; более того, сама их своеобычность не позволяет нам судить с налету об этом безусловно занятом персонаже.

Первые записи Жана Тарру относятся ко времени его прибытия в Оран. С самого начала в них чувствуется, что автор до странности доволен тем обстоятельством, что попал в такой уродливый город. Там мы находим подробное описание двух бронзовых львов, украшающих подъезд мэрии, вполне благодушные замечания насчет отсутствия зелени, насчет неприглядного вида зданий и нелепой планировки города. Эти замечания Тарру перемежает диалогами, подслушанными в трамваях и на улицах, причем автор избегает любых комментариев, за исключением — но это уже позднее — одного разговора, касающегося некоего Кана. Тарру довелось присутствовать при беседе двух трамвайных кондукторов.

- Ты Кана знал? — спросил первый.
- Какого Кана? Высокого такого, с черными усами?
- Его самого. Он еще работал стрелочником.
- Ну конечно, знал.
- Так вот, он умер.

— Ага, а когда?

— Да после этой истории с крысами.

— Смотри-ка! А что с ним такое было?

— Не знаю, говорят, лихорадка. Да и вообще он слабого здоровья был. Сделались у него нарывы под мышками. Ну, он и не выдержал.

— А ведь с виду был вроде как все.

— Нет, у него грудь была слабая, да еще он играл в духовом оркестре. А знаешь, как вредно дудеть на корнет-а-пистоне.

— Да,— заключил второй,—когда у человека плохое здоровье, нечего ему дудеть на корнете.

Взвесив эти факты, Тарру задумывается над тем, с какой стати Кан явно во вред своим собственным интересам вступил в духовой оркестр и какие скрытые причины побудили его рисковать жизнью ради сомнительного удовольствия участвовать в воскресных шествиях.

Далее Тарру отмечает благоприятное впечатление, которое произвела на него сцена, почти ежедневно разыгрывавшаяся на балконе прямо напротив его окна. Его номер выходил в переулочек, где в тени, отбрасываемой стенами, мирно дремали кошки. Но ежедневно после второго завтрака, в те часы, когда сморенный зноем город впадал в полусон, на балконе напротив окна Тарру появлялся старичок. Седовласый, аккуратно причесанный, в костюме военного покроя, старичок, держащийся по-солдатски прямо и строго, негромко скликал кошек ласковым «кис-кис». Кошки, еще не трогаясь с места, подымали на него обесцвеченные сном глаза. Тогда старичок разрывал лист бумаги на маленькие клочки и сыпал их вниз, на улицу и на кошек, а те, соблазнившись роем беленьких бабочек, ступали на мостовую и нерешительно тянулись лапкой к обрывкам бумаги. Тут старичок смачно и метко плевал на кошек. Если хотя бы один плевок достигал цели, он раздражался хохотом.

Наконец, нашего Тарру, по-видимому, совсем покорила торговый облик города, где все—и самое оживление, и даже удовольствие—как бы подчинено нуждам коммерции. Эта особенность (именно такой термин мы встречаем в его записях) заслужила одобрение автора, и одна из хвалебных записей даже кончается словами: «Вот оно как!» Только в этих записях и проскальзывают личные нотки. Трудно вполне оценить значение и важность этих заметок. Рассказав историю о том, как кассир отеля, обнаружив дохлую крысу, допустил ошибку в счете, Тарру добавляет менее четким, чем обычно, почерком: «Вопрос: как добиться того, чтобы не терять зря времени? Ответ: прочувствовать время во всей его протяженности. Средства: проводить дни в приемной зубного врача на жестком стуле; сидеть на балконе в воскресенье после обеда; слушать доклады на непонятном для тебя языке; выбирать самые длинные и самые неудобные железнодорожные маршруты и, разумеется, ездить в поездах стоя; торчать в очереди у театральной кассы и не брать билета на спектакль и т. д. и т. п.». Но непосредственно после таких скачков мысли и стили в записных книжках идут подробнейшие описания наших городских трамваев, формы вагонов, отмечается то, что окраше-

ны они в неопределенно-бурый цвет, что в них всегда грязно, и кончаются эти соображения словами: «Это обращает на себя внимание!», что, в сущности, ничего не объясняет.

Во всяком случае, в записных книжках Тарру есть упоминание об истории с крысами, приводим его слова.

«Сегодня старичок, что живет напротив, явно расстроен. Не стало кошек. Они действительно куда-то испарились, обеспокоенные зрелищем дохлых крыс, которые сотнями валяются на улицах. По-моему, кошки, вообще-то, дохлых крыс не едят. Во всяком случае, помнится, мои категорически отказывались от этого угощения. Так или иначе, они, должно быть, носятся по подвалам, а старичку от этого одно расстройство. Он даже не так аккуратно причесан, как-то сразу сдал. Чувствуется, что ему не по себе. Постояв с минуту, он ушел в комнаты. Но на прощание все-таки плюнул разок — в пустоту.

Сегодня в городе остановили трамвай, так как обнаружили там дохлую крысу, непонятно откуда взявшуюся. Две-три женщины тут же вылезли. Крысу выбросили. Трамвай пошел дальше.

В нашем отеле ночной сторож — а он человек, вполне заслуживающий доверия, — сообщил мне, что ждет от крысиного нашествия всяческих бед. «Когда крысы покидают корабль...» Я возразил, что в случае с кораблем это, может, и верно, но в отношении городов это еще не доказано. Однако разубедить его не удалось. Я спросил, какая же беда, по его мнению, грозит нам. Он и сам не знает; беду, по его словам, заранее не угадаешь. Но ничего удивительного нет, если произойдет землетрясение. Я согласился, что это возможно, и он спросил, не пугает ли меня такая перспектива.

— Единственное, что мне важно, — сказал я, — обрести внутренний мир.

И сторож прекрасно меня понял.

В ресторане нашего отеля я не раз встречал весьма примечательное семейство. Отец — высокий, тощий, в черной паре, в туго накрахмаленном воротничке. На макушке у него плешь, а над ушами справа и слева торчат два кустика седых волос. Глазки у него маленькие, круглые и жесткие, нос тонкий, рот неестественно растянут, что придает ему сходство с благовоспитанным филином. Каждый раз он распахивает дверь ресторана, потом прижимается к косяку, пропуская жену, маленькую, как черная мышка, входит сам, а за ним семенят мальчик и девочка, наряженные, как цирковые собачонки. У столика он стоит, пока жена не займет место, садится сам, а потом уже оба пуделька могут вскарабкаться на стулья. К жене и детям он обращается на «вы», отпускает своей половине всяческие колкости и безапелляционным тоном говорит своим отпрыскам:

— Николь, на вас в высшей степени неприятно смотреть.

Девочка еле удерживает слезы. А ему только этого и надо.

Нынче утром мальчик не мог усидеть на месте, так взбудоражила его история с крысами. Он не вытерпел и начал было свой рассказ.

— За обедом о крысах не говорят, Филипп. Запрещаю вам раз и навсегда даже произносить слово «крыса».

— Ваш отец совершенно прав,—подхватила черная мышка.

Оба пуделька уткнули носы в тарелку с паштетом, а филин поблагодарил жену кивком головы, который можно было истолковать как угодно.

Пример, достойный подражания, а между тем весь город говорит о крысах. Даже газета вмешалась в это дело. Отдел городской хроники, обычно составленный из самых разных материалов, ведет теперь упорную кампанию против муниципалитета. «Отдают ли себе отчет отцы города, какую опасность представляют разлагающиеся на улицах трупы грызунов?» Директор отеля ни о чем, кроме этих крыс, говорить не может. И неудивительно, для него это зарез. То обстоятельство, что в лифте столь respectable отеля обнаружили крысу, кажется ему непостижимым. Желая его утешить, я сказал: «Но у всех сейчас крысы».

— Вот именно,—ответил он,—теперь мы стали как все.

Это он сообщил мне о первых случаях лихорадки непонятного происхождения, которая вызывает в городе тревогу. Одна из его горничных тоже заболела.

— Но ясно, болезнь не заразная,—поспешил заверить он.

Я сказал, что мне это безразлично.

— О, понимаю. Мсье вроде меня, мсье тоже фаталист.

Ничего подобного я не говорил, и к тому же я вовсе не фаталист. Так я ему и сказал...

С этого дня в записных книжках Тарру появляются более или менее подробные сведения об этой таинственной лихорадке, уже посеявшей в публике тревогу. После записи о старичке, который терпеливо продолжает совершенствовать свое прицельное плевание, так как после исчезновения крыс снова появились кошки, Тарру добавляет, что уже можно привести десяток случаев этой лихорадки, обычно приводящей к смертельному исходу.

Документальную ценность имеет портрет доктора Риэ, очерченный Тарру в нескольких строках. Поскольку может судить сам рассказчик, портрет этот достаточно верен.

«На вид лет тридцати пяти. Рост средний. Широкоплечий. Лицо почти квадратное. Глаза темные, взгляд прямой, скулы выдаются. Нос крупный, правильной формы. Волосы темные, стрижется очень коротко. Рот четко обрисован, губы пухлые, почти всегда плотно сжаты. Похож немного на сицилийского крестьянина—такой же загорелый, с иссиня-черной щетиной и к тому же ходит всегда в темном, впрочем, ему это идет.

Походка быстрая. Переходит через улицу, не замедляя шага, и почти каждый раз не просто ступает на противоположный тротуар, а легко вспрыгивает на обочину. Машину водит рассеянно и очень часто забывает отключить стрелку поворота, даже свернув в нужном направлении. Ходит всегда без шляпы. Вид человека, хорошо осведомленного».

Цифры, приведенные Тарру, полностью соответствовали истине. Уж кто-кто, а доктор Риэ это знал. После того как труп привратника перевезли в изолятор, Риэ позвонил Ришару, чтобы посоветоваться с ним насчет паховых опухолей.

— Сам ничего не понимаю,—признался Ришар.— У меня двое тоже умерли, один через двое суток, другой на третий день. А ведь я еще утром его посетил и нашел значительное улучшение.

— Предупредите меня, если у вас будут подобные случаи,—попросил Риэ.

Он позвонил еще и другим врачам. В результате проведенного опроса выяснилось, что за несколько последних дней отмечено примерно случаев двадцать аналогичного заболевания. Почти все они привели к смертельному исходу. Тогда Риэ опять позвонил Ришару, секретарю общества врачей Орана, и потребовал, чтобы вновь заболевшие были изолированы.

— Что же я-то могу?—сказал Ришар.— Тут должны принять меры городские власти. А откуда вы взяли, что это болезнь заразная?

— Ниоткуда. Просто симптомы слишком уж тревожные.

Однако Ришар заявил, что в этом вопросе он, мол, «недостаточно компетентен». Все, что он может сделать,—это поговорить с префектом.

Пока шли переговоры, погода испортилась. На следующий день после смерти привратника все небо затянуло густым туманом. На город обрушивались бурные, быстропроходящие дожди. Эти шумные ливни сменялись жарой, как в предгрозье. Даже море утратило свой темно-лазурный цвет и отливало под серым небом серебром, вернее, сталью так, что глазам было больно. По сравнению с влажной жарой нынешней весны даже летний зной казался желанным. В городе, лежащем в виде улитки на плоскогорье и только слегка открытым морю, царил угрюмое оцепенение. Люди, зажатые между бесконечными рядами ветхих стен, в лабиринте улиц с пыльными витринами, в грязно-желтых трамваях, чувствовали себя в плену у этого неба. Один только старик, пациент доктора Риэ, ликовал—в такую погоду астма его оставляла.

— Печет,—твердил он,—для бронхов оно самое полезное.

И в самом деле пекло, но не просто пекло, пекло и жгло, как при лихорадке. Весь город лихорадило, такое по крайней мере впечатление не оставляло доктора Риэ в то утро, когда он отправился на улицу Федерб, чтобы присутствовать при расследовании дела о покушении Коттара на самоубийство. Но он тут же счел свое впечатление несуразным. Он приписал это нервному переутомлению, множеству навалившихся на него забот и подумал, что следовало бы взять себя в руки и привести свои мысли в порядок.

До улицы Федерб он добрался раньше полицейского комиссара. Гран уже ждал его на лестнице, и оба решили посидеть пока у него, а дверь на площадку оставить открытой. Служащий мэрии жил в двухкомнатной, довольно убогой обставленной квартире. В глаза бросалась только деревянная некрашенная полка, на которой стояли два-три словаря, да грифельная доска на стене, где можно было еще разобрать полустертые слова «цветущие аллеи». По уверению Грана, Коттар провел ночь спокойно. Но утром он пожаловался на головную боль и вообще показался Грану каким-то безучастным. Сам Гран выглядел усталым и нервничал;

он шагал взад и вперед по комнате, то открывая на ходу, то захлопывая лежавшую на столе толстую папку, набитую исписанными листками.

Расхаживая по комнате, он сообщил доктору, что, в сущности, почти не знает Коттара, но предполагает, что у того есть небольшое состояние. Вообще-то Коттар—человек странный. Живут они рядом давно, но, встречаясь в подъезде, только раскланиваются.

— Фактически и разговаривал я с ним всего раза два. Несколько дней назад я уронил на площадке коробку с мелками. Там были красные и синие мелки. Как раз вышел Коттар и помог мне их собрать. Он спросил, для чего нужны разноцветные мелки.

Гран тогда объяснил ему, что намерен восстановить в памяти латынь. Латынь он учил в лицее, но порядком ее позабыл.

— Кстати, меня уверяли,—добавил он, обращаясь к доктору,—что знание латыни помогает глубже проникать в смысл французских слов.

На доске он пишет несколько латинских слов. Синим мелком те части слова, которые изменяются, согласно правилам склонения и спряжения, а красным—те, что остаются неизменными.

— Не знаю, понял ли меня Коттар или нет, во всяком случае, внешне он как будто заинтересовался и попросил у меня красный мелок. Я, конечно, удивился, но в конце концов... Не мог же я предвидеть, что мелок ему понадобится для осуществления своего замысла.

Риэ спросил, о чем шла у них речь во второй раз. Но тут в сопровождении секретаря явился полицейский комиссар и пожелал сначала выслушать показания Грана. Доктор отметил про себя, что Гран, говоря о Коттаре, называет его «человеком отчаявшимся». Он употребил даже слова «роковое решение». Речь шла о мотивах самоубийства, и Гран проявлял крайнюю щепетильность в выборе терминов. Наконец сообща выработали формулировку: «Огорчения интимного характера». Комиссар осведомился, было ли в поведении Коттара что-либо позволявшее предвидеть то, что он называл «его решение».

— Вчера он постучался ко мне,—сказал Гран,—и попросил спичек. Я дал ему коробок. Он извинился, что побеспокоил меня, но раз уж мы соседи... Потом стал уверять, что сейчас же вернет спички. Я сказал, пускай оставит коробок себе.

Комиссар спросил Грана, не показалось ли ему поведение Коттара странным.

— Одно мне показалось странным—то, что он вроде бы намеревался вступить со мной в беседу. Но мне как раз надо было работать.

Гран обернулся к Риэ и смущенно пояснил:

— Личная работа.

Комиссар выразил желание повидать больного, но Риэ решил, что разумнее будет сначала подготовить Коттара к этому визиту. Когда он вошел к нему в комнату, Коттар в серой фланелевой пижаме приподнялся на постели и тревожно оглянулся на дверь:

— Полиция, да?

— Да,—ответил Риэ,—но волноваться не следует. Всего двести формальности—и вас оставят в покое.

Но Коттар возразил, что все это ни к чему, а главное, он видеть не может полицию. Риэ не сдержал нетерпеливого жеста.

— Я тоже ее не обожаю. Но с этим делом надо покончить как можно скорее, поэтому отвечайте на вопросы быстро и точно.

Коттар замолчал, и доктор направился к двери. Но больной тут же окликнул его и, когда Риэ подошел, схватил его за руку:

— Скажите, доктор, ведь правда нельзя забирать больного или того, кто хотел повеситься, а?

С минуту Риэ смотрел на Коттара, а потом заверил его, что и речи не было ни о чем подобном, да он и сам явился сюда затем, чтобы защищать интересы своего пациента. Больной, видимо, успокоился, и Риэ позвал комиссара.

Коттару зачитали показания Грана и спросили, может ли он уточнить мотивы своего поступка. Не глядя на комиссара, он подтвердил только, что «огорчения интимного характера—очень хорошо сказано». Комиссар тогда и спросил, не вздумает ли Коттар повторить свою попытку. Коттар с воодушевлением заверил, что не вздумает и желает только одного—чтобы его оставили в покое.

— Разрешите заметить,—раздраженно сказал комиссар,—что в данном случае именно вы нарушаете чужой покой.

Риэ незаметно махнул ему рукой, и комиссар замолчал.

— Нет, вы только подумайте,—вздыхнул комиссар, когда они вышли на площадку,—у нас и без того хлопот по горло, особенно сейчас, с этой лихорадкой...

Он осведомился у доктора, серьезно ли это, и Риэ сказал, что сам не знает.

— Тут главное—погода, в ней вся беда,—заклучил комиссар.

Разумеется, во всем виновата была погода. День становился все жарче и жарче, вещи, казалось, липнут к рукам, и Риэ с каждым новым визитом укреплялся в своих опасениях. К вечеру того же дня он, попав в предместье, заглянул к соседу своего старого пациента-астматика и увидел, что тот лежит в бреду, схватившись за больной пах, и мучается неукротимой рвотой. Лимфатические узлы опухли у него еще сильнее, чем у их привратника. Один гнойник уже созрел и на глазах врача открылся, как гнилой плод. Вернувшись домой, Риэ позвонил в аптечный склад департамента. В его врачебных заметках под этой датой есть только одна запись: «Ответ отрицательный». А его вызывали уже к новым пациентам с тем же заболеванием. Ясно было одно—гнойники необходимо вскрывать. Два крестообразных надреза ланцетом—и из опухоли вытекала гнойная масса с примесью сукровицы. Больные исходили кровью, лежали как распытые. На животе и на ногах появлялись пятна, истечение из гнойников прекращалось, потом они снова набухали. В большинстве случаев больной погибал среди ужасающего зловония.

Газеты, размазывавшие на все лады историю с крысами, теперь словно в рот воды набрали. Оно и понятно: крысы умирали на улицах, а больные—у себя дома. А газеты интересуются только улицей. Однако префектура и муниципалитет призадумали

лись. Пока каждый врач сталкивался в своей практике с двумя-тремя случаями непонятного заболевания, никто и пальцем не шевельнул. Но достаточно было кому-то сделать простой подсчет, и полученный итог ошеломил всех. За несколько дней смертельные случаи участились, и тем, кто сталкивался с этим загадочным недугом, стало ясно, что речь идет о настоящей эпидемии. Именно в это время доктор Кастель, человек уже пожилой, зашел побеседовать к своему коллеге Риэ.

— Надеюсь, Риэ, вы уже знаете, что это?—спросил он.

— Хочу дождаться результата анализов.

— А я так знаю. И никакие анализы мне не требуются. Я много лет проработал в Китае, да, кроме того, лет двадцать назад наблюдал несколько случаев в Париже. Только тогда не посмели назвать болезнь своим именем. Общественное мнение—это же святая святых: никакой паники, главное—без паники. К тому же один врач мне сказал: «Но это немыслимо, всем известно, что на Западе она полностью исчезла». Знать-то все знали, кроме тех, кто от нее погиб. Да и вы, Риэ, тоже знаете это не хуже меня.

Риэ задумчиво молчал. Из окна кабинета был виден каменный отрог прибрежных скал, смыкавшихся вдалеке над бухтой. И хотя небо было голубое, сквозь лазурь пробивался какой-то тусклый блеск, меркнувший по мере того, как близился вечер.

— Да, Кастель,—проговорил он,—а все-таки не верится. Но по всей видимости, это чума.

Кастель поднялся и направился к двери.

— Вы сами знаете, что нам ответят,—сказал старик доктор.—«Уже давным-давно она исчезла в странах умеренного климата».

— А что, в сущности, значит «исчезла»?—ответил Риэ, пожимая плечами.

— Да, представьте, исчезла. И не забудьте: в самом Париже меньше двадцати лет назад...

— Ладно, будем надеяться, что у нас обойдется так же благополучно, как и там. Но просто не верится.

Слово «чума» было произнесено впервые. Оставим на время доктора Риэ у окна его кабинета и позволим себе отступление с целью оправдать в глазах читателя колебания и удивление врача, тем более что первая его реакция была точно такой же, как у большинства наших сограждан, правда с некоторыми нюансами. Стихийное бедствие и на самом деле вещь довольно обычная, но верится в него с трудом, даже когда оно обрушится на вашу голову. В мире всегда была чума, всегда была война. И однако ж, и чума и война, как правило, заставляли людей врасплох. И доктора Риэ, как и наших сограждан, чума застала врасплох, и поэтому давайте постараемся понять его колебания. И постараемся также понять, почему он молчал, переходя от беспокойства к надежде. Когда разражается война, люди обычно говорят: «Ну, это не может продлиться долго, слишком это глупо». И действительно, война—это и впрямь слишком глупо, что, впрочем, не мешает ей длиться долго. Вообще-то глупость—вещь чрезвычайно стойкая, это нетрудно заметить, если не думать все время

только о себе. В этом отношении наши сограждане вели себя, как и все люди,—они думали о себе, то есть были в этом смысле гуманистами: они не верили в бич божий. Стихийное бедствие не по мерке человеку, потому-то и считается, что бедствие—это нечто ирреальное, что оно-де дурной сон, который скоро пройдет. Но не сон кончается, а от одного дурного сна к другому кончаются люди, и в первую очередь гуманисты, потому что они пренебрегают мерами предосторожности. В этом отношении наши сограждане были повинны не больше других людей, просто они забыли о скромности и полагали, что для них еще все возможно, тем самым предполагая, что стихийные бедствия невозможны. Они по-прежнему делали дела, готовились к путешествиям и имели свои собственные мнения. Как же могли они поверить в чуму, которая разом отменяет будущее, все поездки и споры? Они считали себя свободными, но никто никогда не будет свободен, пока существуют бедствия.

И даже когда сам доктор Риэ признался своему другу Кастелю, что в разных частях города с десятков больных без всякого предупреждения взяли и скончались от чумы, опасность по-прежнему казалась ему нереальной. Просто, если ты врач, у тебя составилось определенное представление о страдании и это как-то подхлестывает твоё воображение. И, глядя в окно на свой город, который ничуть не изменился, вряд ли доктор почувствовал, как в нем зарождается то легкое отвращение перед будущим, что зовется тревогой. Он попытался мысленно свести в одно все свои сведения об этом заболевании. В памяти беспорядочно всплывали цифры, и он твердил про себя, что истории известно примерно три десятка больших эпидемий чумы, унесших сто миллионов человек. Но что такое сто миллионов мертвецов? Пройдя войну, с трудом представляешь себе даже, что такое один мертвец. И поскольку мертвый человек приобретает в твоих глазах весомость, только если ты видел его мертвым, то сто миллионов трупов, рассеянных по всей истории человечества, в сущности, дымка, застилающая воображение. Доктор припомнил, что, по утверждению Прокопия, чума в Константинополе уносила ежедневно десять тысяч человек. Десять тысяч мертвецов—это в пять раз больше, чем, скажем, зрителей крупного кинотеатра. Вот что следовало бы сделать. Собрать людей при выходе из пяти кинотеатров, свести их на городскую площадь и умертвить всех разом—тогда можно было бы себе все это яснее представить, можно было бы различить в этой безликой толпе знакомые лица. Но проект этот неосуществим, да и кто знает десять тысяч человек? К тому же люди, подобные Прокопию, как известно, считать не умели. Семьдесят лет назад в Кантоне сдохло от чумы сорок тысяч крыс, прежде чем бедствие обратилось на самих жителей. Но и в 1871 году не было возможности точно подсчитать количество крыс. Подсчитывали приблизительно, скопом и, конечно, допускали при этом ошибки. Между тем если одна крыса имеет в длину сантиметров тридцать, то сорок тысяч дохлых крыс, положенные в ряд, составят...

Но тут доктору изменило терпение. Он слишком дал себе волю, а вот этого-то и не следовало допускать. Несколько

случаев—это еще не эпидемия, и, в общем-то, достаточно принять необходимые меры. Следовало держаться того, что уже известно, например ступор, прострация, покраснение глаз, обманные губы, головные боли, бубоны, мучительная жажда, бред, пятна на теле, ощущение внутренней распятости, а в конце концов... А в конце концов доктор Риэ мысленно подставлял фразу, которой в учебнике завершается перечисление симптомов: «Пульс становится нитеобразным, и любое, самое незначительное движение влечет за собой смерть». Да, в конце концов все мы висим на ниточке, и три четверти людей—это уж точная цифра—спешат сделать то самое незначительное движение, которое их и сразит.

Доктор все еще смотрел в окно. По ту сторону стекла—ясное весеннее небо, а по эту—слово, до сих пор звучавшее в комнате: «чума». Слово это содержало в себе не только то, что пожелала вложить в него наука, но и бесконечную череду самых необычных картин, которые так не вязались с нашим желто-серым городом, в меру оживленным в этот час, скорее приглушенно жужжащим, чем шумным, в сущности-то счастливым, если можно только быть одновременно счастливым и угрюмым. И это мирное и такое равнодушное ко всему спокойствие одним росчерком, без особого труда зачеркивало давно известные картины бедствий: зачумленные и покинутые птицами Афины, китайские города, забытые безгласными умирающими, марсельских каторжников, скидывающих в ров сочащиеся кровью трупы, постройку великой провансальской стены, должествующей остановить яростный вихрь чумы, Яффу с ее отвратительными нищими, сырые и прогнившие подстилки, валяющиеся прямо на земляном полу константинопольского лазарета, зачумленных, которых тащат крючьями, карнавал врачей в масках во время Черной чумы, соитие живых на погостах Милана, повозки для мертвецов в сраженном ужасом Лондоне и все ночи, все дни, звенящие нескончаемым людским воплем. Нет, даже все это было не в силах убить покой сегодняшнего дня. По ту сторону окна вдруг протренькал невидимый отсюда трамвай и сразу же опроверг жестокость и боль. Разве что море там, за шахматной доской тусклых зданий, свидетельствовало, что в мире есть нечто тревожащее, никогда не знающее покоя. И доктор Риэ, глядя на залив, вспомнил о кострах, о них говорил Лукреций,—испуганные недугом афиняне раскладывали костры на берегу моря. Туда ночью сносили трупы, но берега уже не хватало, и живые дрались, пуская в ход факелы, лишь бы отвоевать место в огне тому, кто был им дорог, готовы были выдержать любую кровопролитную схватку, лишь бы не бросить на произвол судьбы своего покойника... Без труда представлялось багровое пламя костров рядом со спокойной темной гладью вод, факельные битвы, потрескивание искр во мраке, густые клубы ядовитого дыма, который подымался к строго внимающему небу. Трудно было не содрогнуться...

Но все это умопомрачение рушилось перед доводами разума. Совершенно верно, слово «чума» было произнесено, совершенно верно, как раз в ту самую минуту просвистел бич и сразил одну или две жертвы. Ну и что же—еще не поздно остановить его.

Главное—это ясно осознать то, что должно быть осознано, прогнать прочь бесплодные видения и принять надлежащие меры. И тогда-де чума остановится: ведь человек не может представить себе чуму или представляет ее неверно. Если она остановится, что всего вероятнее, тогда все образуется. В противном случае люди узнают, что такое чума и нет ли средства сначала ужиться с ней, чтобы уж затем одолеть.

Доктор отворил окно, в комнату ворвался шум города. Из соседней мастерской долетал короткий размеренный визг механической пилы. Риэ встряхнулся. Да, вот что дает уверенность—повседневный труд. Все прочее держится на ниточке, все зависит от того самого незначительного движения. К этому не прилепишься. Главное—это хорошо делать свое дело.

Вот о чем думал доктор Риэ, когда ему доложили, что пришел Жозеф Гран. Хотя Гран служил чиновником в мэрии и занимался там самыми разнообразными делами, время от времени ему, уже в качестве частного лица, поручали составлять статистические таблицы. Так, сейчас он вел подсчет смертных случаев. И, будучи человеком обязательным, охотно согласился лично занести доктору копию своих подсчетов.

Вместе с Граном явился и его сосед Коттар. Чиновник еще с порога взмахнул листком бумаги.

— Цифры растут, доктор,—объявил он,—одиннадцать смертей за последние сорок восемь часов.

Риэ поздоровался с Коттаром, осведомился о его самочувствии. Гран объяснил, что Коттар сам напросился прийти с ним, хотел поблагодарить доктора и принести извинения за доставленные хлопоты. Но Риэ уже завладел списком.

— Н-да,—протянул он,—возможно, пришла пора назвать болезнь ее настоящим именем. До сих пор мы тянули. Пойдемте со мной, мне нужно заглянуть в лабораторию.

— Верно, верно,—твердил Гран, спускаясь вслед за доктором по лестнице.—Необходимо называть вещи своими именами. А как прикажете называть эту болезнь?

— Пока еще я не могу вам ее назвать, впрочем, это вам ничего не даст.

— Вот видите,—улыбнулся Гран.—Не так-то это легко.

Они направились к Оружейной площади. Коттар упорно молчал. На улицах начал появляться народ. Быстротечные сумерки—других в нашем краю и не бывает—уже отступали перед ночным мраком, а на еще светлом небосклоне зажглись первые звезды. Через несколько секунд вспыхнули уличные фонари, и сразу же все небо затянуло черной пеленой и громче стал гул голосов.

— Простите, но я поеду на трамвае,—сказал Гран, когда они добрались до угла Оружейной площади.—Вечера для меня священны. Как говорят у нас на родине: «Никогда не откладывай на завтра...»

Уже не в первый раз Риэ отметил про себя эту страсть Грана, уроженца Монтелимара, ссылаясь в разговоре кстати и некстати

на местные речения, да еще непременно добавлять повсеместно бытующие банальные фразы, вроде «волшебная погода» или «феерическое освещение».

— Правильно,— подхватил Коттар.— После обеда его из дому не вытащишь.

Риэ спросил Грана, работает ли он вечерами для мэрии. Гран ответил— нет, работает для себя.

— А-а,— протянул Риэ, просто чтобы сказать что-то,— ну и как, идет дело?

— Я работаю уже много лет, значит, как-то идет... Хотя, с другой стороны, особых успехов не заметно.

— А чем, в сущности, вы занимаетесь?— спросил доктор, останавливаясь.

Гран, пробормотав что-то невнятное, нахлобучил на свои оттопыренные уши круглую шляпу... Риэ смутно догадался, что речь идет о каком-то личном самоусовершенствовании. Но Гран уже распрощался и засеменил под фикусами бульвара Марны. У дверей лаборатории Коттар сказал доктору, что очень бы хотел с ним повидаться еще раз и попросить совета. Риэ, нервно скручивая лежавшую в кармане таблицу, пригласил Коттара зайти к нему на прием, но тут же спохватился и сказал, что послезавтра будет в их квартале и под вечер сам заглянет к нему.

Расставшись с Коттаром, доктор поймал себя на том, что все это время думает о Гране. Он представлял его в самом пекле чумной эпидемии— не такой, конечно, как нынешняя, не слишком грозной, а во время какого-нибудь мора, вошедшего в историю. «Он из тех, кого чума щадит». И тут же Риэ припомнил вычитанное где-то утверждение, будто чума щадит людей тщедушных и обрушивается в первую очередь на людей могучей комплекции. И, продолжая размышлять об этом, доктор решил, что, судя по виду Грана, у него есть своя маленькая тайна.

На первый взгляд Жозеф Гран был самым типичным мелким служащим. Длинный, тощий, в широком не по мерке костюме— очевидно, нарочно покупает на номер больше, надеется, такой дольше будет носиться. В нижней челюсти еще сохранилось несколько зубов, зато в верхней не осталось ни единого. Когда он улыбался, верхняя губа уползала к носу и зияла черная дыра рта. Если добавить к этому портрету походку семинариста, неподражаемое искусство скользить вдоль стен и незаметно протискиваться в двери, да еще застарелый запах подвала и табачного дыма, все повадки личности незначительной, то, согласитесь сами, трудно представить себе такого человека иначе как за письменным столом, сверяющего тариф для городских банно-душевых заведений или подготовляющего для доклада молодому делопроизводителю материалы, касающиеся новой таксы на вывоз мусора и домовых отбросов. Даже самый непредвзятый наблюдатель решил бы, что и родился-то он на свет лишь для того, чтобы выполнять скромную, но весьма полезную работу в качестве сверхштатного служащего мэрии за шестьдесят два франка тридцать сантимов в день.

И действительно, именно такое определение, по словам Грана, фигурировало в его личном деле в графе «квалификация». Когда

двадцать два года назад он из-за отсутствия средств вышел из учебного заведения, не получив диплома, и согласился занять эту должность, ему, по его словам, наемкнули, что аттестация не за горами. Следует только в течение некоторого времени проявлять свою компетентность в щекотливых проблемах, которые возникают перед нашей городской администрацией. А потом, уверили его, он непременно дослужится до делопроизводителя, и это позволит ему жить безбедно. Впрочем, не тщеславие владело Жозефом Граном, как он и заверил с грустной улыбкой. Но перспектива обеспеченного и честного существования весьма его манила, тем более что он мог бы тогда с чистой совестью отдаваться любимому занятию. Если он согласился на эту должность, то из самых благородных побуждений и, если так можно выразиться, во имя верности некоему идеалу.

Это неопределенное положение длилось уже долгие годы, жизнь непомерно дорожала, а оклад Грана оставался по-прежнему мизерным, хотя за это время оклады несколько раз повышали. Он пожаловался на это Риэ, ведь никто вроде бы не замечает его положения. Вот здесь-то и коренится самобытность Грана, или, во всяком случае, таков один из ее признаков. Он и в самом деле мог бы сослаться если не на свои права, в которых не был особенно уверен, то, во всяком случае, на данные ему вначале заверения. Но во-первых, начальник канцелярии, пригласивший его на работу, давно умер, да и сам Гран не помнил, в каких именно выражениях ему посулили повышение. А главное, и, пожалуй, самое главное, было то, что Жозеф Гран не умел находить нужных слов.

Вот эта характерная черта, насколько мог заметить Риэ, особенно ярко рисовала нашего Грана. Именно это и мешало ему всякий раз написать давно задуманную докладную или предпринять другие, соответствующие обстоятельствам шаги. Если верить ему, он чувствовал себя окончательно не способным употребить как слово «право», ибо сам не был уверен в значении этого понятия, так и слово «обещание», ибо оно прозвучало бы как прямое требование воздать ему должное и, следовательно, граничило бы с дерзостью, не слишком-то уместной для человека, занимающего столь скромное положение. С другой стороны, он наотрез отказывался употреблять такие слова, как «благодарность», «ходатайство», «признательность», так как считал, что это унижает его человеческое достоинство. Так вот из-за невозможности найти точное выражение наш Гран продолжал выполнять самые скромные функции чуть не до седых волос. Впрочем, как опять-таки Гран сам сообщил доктору Риэ, он постепенно стал замечать, что с материальной стороны жизнь его так или иначе обеспечена, в основном потому, что он научился приспосабливать свои потребности к своим ресурсам. Тем самым он признавал справедливость любимого изречения нашего мэра, крупного оранского промышленника, который настойчиво уверял, что в конце концов (при этом мэр особенно налегал на слова «в конце концов», ибо на них фактически базировалось все его рассуждение), итак, в конце концов никогда не приходилось видеть, чтобы кто-нибудь умер с голоду. Во всяком случае, чуть ли не аскетическое

существование, которое вел Жозеф Гран, и в самом деле в конце концов освободило его от всех забот такого рода. Он продолжал подыскивать слова.

Скажем прямо, что в известном смысле жизнь его могла служить примером. Он принадлежал к числу людей, достаточно редких как в нашем городе, так и за его пределами, которые имеют мужество отдаваться своим добрым чувствам. То малое, что он поведал о себе доктору, и впрямь свидетельствовало о наличии доброты и сердечных привязанностях, о чем в наши дни не каждый решится сказать вслух. Без краски стыда говорил он, что любит племянников и сестру, единственную оставшуюся у него в живых родственницу, и каждые два года ездит во Францию с ней повидаться. Он не скрывал, что до сих пор воспоминания о родителях, которых он потерял еще в молодости, причиняют ему боль. Признавался, что ему особенно мил один колокол в их квартале—каждый день ровно в пять часов он звонил как-то необыкновенно приятно. Но для выражения даже столь простых чувств он с превеликой мукой подбирал нужные слова. Так что в конце концов именно этот труд по подбору слов стал главной его заботой. «Ах, доктор,—говорил он,—как бы мне хотелось научиться выражать свои мысли!» И при каждой встрече с Риэ он повторял эту фразу.

В этот вечер, глядя вслед удалявшемуся Грану, Риэ вдруг понял, что тот имел в виду: без сомнения, чиновник пишет книгу или что-нибудь в этом роде. Всю дорогу до самой лаборатории, куда он наконец добрался, мысль эта почему-то поддерживала Риэ. Он знал, что это глупо, но он не в состоянии был поверить в то, что чума и в самом деле может обосноваться в городе, где встречаются скромные чиновники, культивирующие какую-нибудь почтенную манию. Точнее говоря, не знал, какое место отвести подобным маниям в условиях чумы, и вывел отсюда заключение, что практически чуме не разгуляться среди наших сограждан.

Назавтра, проявив незаурядную настойчивость, которая многим казалась просто неуместной, доктор Риэ добился от префектуры согласия на созыв санитарной комиссии.

— Что верно, то верно, население встревожено,—признался Ришар.—А главное, еще эта болтовня, все эти преувеличения. Префект мне лично сказал: «Если угодно, давайте действовать быстро, только не подымайте шума». Кстати, он уверен, что это ложная тревога.

Бернар Риэ довез Кастеля в своей машине до префектуры.

— Вам известно, что в департаменте нет сыворотки?—спросил старик.

— Известно. Я звонил на склад. Директор точно с неба свалился. Придется выписывать сыворотку из Парижа.

— Надеюсь, что хоть волокиты не будет.

— Я уже телеграфировал,—ответил Риэ.

Префект встретил членов комиссии хотя и любезно, но не без нервозности.

— Приступим, господа,—сказал он.—Должен ли я резюмировать создавшееся положение?

Ришар считал, что это лишнее. Врачам и так известно положение в городе. Главное, пора уяснить себе, какие меры следует принять.

— Главное,—грубо перебил Ришара старик Кастель,—главное, уяснить себе—чума это или нет.

Кто-то из врачей изумленно ахнул. Остальные, видимо, колебались. А префект даже подскочил на стуле и машинально оглянулся на дверь, как бы желая удостовериться, что это невероятное сообщение не просочилось в коридор. Ришар заявил, что, по его мнению, не следует поддаваться панике: речь идет о лихорадке, правда осложненной воспалением паховых желез,—это все, что можно сказать в данный момент; а в науке, как и в жизни, гипотезы всегда опасны. Старик Кастель, спокойно покусывавший желтый от никотина кончик уса, вскинул на Риэ светлые глаза. Потом благодушным взглядом обвел присутствующих и заметил, что, по его твердому убеждению, как раз это и есть чума. Но ежели признать этот факт официально, то придется принимать драконовские меры. В сущности, он уверен, что именно это пугает его уважаемых коллег, а раз так, он ради их спокойствия охотно готов согласиться, что это не чума. Префект нервно заерзал на стуле и сказал, что при всех условиях такие рассуждения неправильны.

— Важно не то, правильные или нет, важно, чтобы они заставили задуматься.

Так как Риэ молчал, его попросили высказать свое мнение.

— Речь идет о лихорадке тифозного характера, но сопровождаемой образованием бубонов и осложненной рвотами. Я произвел надсечку бубонов. Таким образом я смог сделать анализы, и лаборатория предполагает, что обнаруженный ею микроб, очевидно, чумной. Но ради полной объективности следует добавить, что найденный микроб имеет известные отклонения от классического описания чумного микроба.

Ришар подчеркнул, что именно это обстоятельство и должно насторожить врачей, что необходимо поэтому дождаться результатов целой серии анализов, благо они производятся уже несколько дней.

— Раз микроб способен в течение трех суток в четыре раза увеличить объем селезенки,—после короткой паузы заговорил Риэ,—провоцировать воспаление лимфатических желез брыжейки, причем они достигают размера апельсина и наполнены кашеобразной материей, тут, по-моему, не может быть места для колебаний. Очаги заразы непрерывно множатся. Если не остановить болезнь, приняв такую размеры, она вполне способна убить половину города в течение двух, а то и меньше месяцев. И стало быть, не так уж важно, как вы будете величать эту болезнь—чумой или лихорадкой. Важно одно—помешать ей убить половину города.

Ришар возразил, что не следует сгущать краски, что заразность болезни к тому же еще не установлена, коль скоро родные заболевших живы и здоровы.

— Но больные-то умирают,— заметил Риэ.— Разумеется, риск заражения—величина не абсолютная, в противном случае болезнь возрастала бы с угрожающей прогрессией и привела бы к молниеносной гибели всего населения. Правильно, не надо сгущать краски. А принимать соответствующие меры надо.

Ришар позволил себе подытожить прения, напомнив присутствующим, что, если только эпидемия сама не перестанет расти, придется пресечь ее распространение, применяя строгие меры профилактики, предписанные законом, а чтобы сделать это, нужно официально признать, что речь идет о чуме; но, поскольку пока что нет полной уверенности, надо еще и еще раз все продумать.

— Вопрос не в том,—возразил Риэ,—каковы меры, предписываемые законом, строги они или нет, дело в другом—следует ли прибегнуть к ним, чтобы предотвратить гибель половины города. Все прочее—дело администрации, и не случайно в нашем законодательстве предусмотрены префекты, которым надлежит решать подобные вопросы.

— Бесспорно,—подтвердил префект,—но для этого необходимо, чтобы вы официально признали, что идет речь об эпидемии чумы.

— Если мы и не признаем,—сказал Риэ,—она все равно уничтожит половину города.

Тут заговорил явно нервничавший Ришар:

— Все дело в том, что наш коллега верит, будто это чума. Это видно хотя бы из его описаний синдрома заболевания.

Риэ возразил, что он описывал вовсе не синдром, а лишь то, что наблюдал своими собственными глазами. А наблюдал он бубоны, пятна на теле, высокую температуру, бред, летальный исход в течение двух суток. Решится ли господин Ришар со всей ответственностью утверждать, что эпидемия прекратится сама собой без принятия строгих профилактических мер?

Ришар замялся и взглянул на Риэ:

— Ответьте мне положа руку на сердце, вы действительно считаете, что это чума?

— Вы не так ставите вопрос. Дело не в терминах, дело в сроках.

— Значит, по вашему мнению,—сказал префект,—чума это, нет ли, все равно следует принять профилактические меры, предписываемые на случай чумных эпидемий.

— Если вам необходимо знать мое мнение, считаю, что это так.

Врачи посоветовались, и Ришар в конце концов заявил:

— Следовательно, нам придется взять на себя ответственность и действовать так, словно болезнь эта и есть чума.

Эта формулировка была горячо поддержана всеми присутствующими.

— А ваше мнение, дорогой коллега?—спросил Ришар.

— Формулировка мне безразлична,—ответил Риэ.—Скажем проще, мы не вправе действовать так, будто половине жителей нашего города не грозит гибель, иначе они и в самом деле погибнут.

Риэ уехал, оставив своих коллег в состоянии раздражения. И вскоре где-то в предместье, пропахшем салом и мочой, истошно вопившая женщина с кровоточащими бубонами в паху повернула к нему свое изглоданное болезнью лицо.

На следующий день после совещания болезнь сделала еще один небольшой скачок. Сведения о ней просочились даже в газеты, правда пока еще в форме вполне безобидных намеков. А еще через день Риэ прочитал одно из маленьких беленьких объявлений, которые префектура спешно расклеила в самых укромных уголках города. Из них никак уж нельзя было заключить, что власти отдают себе ясный отчет в серьезности создавшегося положения. Предлагаемые меры были отнюдь не драконовскими, и создавалось впечатление, будто власти готовы пожертвовать многим, лишь бы не встревожить общественное мнение. Во вступительной части распоряжения сообщалось, что в коммуне Оран было зарегистрировано несколько случаев злокачественной лихорадки, но пока еще рано говорить о ее заразности. Симптомы заболевания недостаточно характерны, дабы вызвать серьезную тревогу, и нет никакого сомнения, что население сумеет сохранить спокойствие. Тем не менее по вполне понятным соображениям благоразумия префект все же решил принять кое-какие превентивные меры. Эти меры при условии, что они будут правильно поняты и неукоснительно выполняться населением, помогут в корне пресечь угрозу эпидемии. Поэтому префект ни на минуту не сомневается, что среди вверенного ему населения он найдет преданнейших помощников, которые охотно поддержат его личные усилия.

Затем в объявлении приводился список мер, среди коих предусматривалась борьба с грызунами, поставленная на научную ногу: уничтожение крыс с помощью ядовитых газов в водостоках, неусыпный надзор за качеством питьевой воды. Далее гражданам рекомендовалось всячески следить за чистотой, а в конце всем оранцам — разносчикам блох предлагалось явиться в городские диспансеры. С другой стороны, родные обязаны немедленно сообщать о всех случаях заболевания, установленного врачами, и не препятствовать изоляции больных в специальных палатах больницы. Оборудование палат обеспечивает излечение больных в минимальные сроки с максимальными шансами на полное выздоровление. В дополнительных параграфах говорилось об обязательной дезинфекции помещения, где находился больной, а также перевозочных средств. А во всем прочем власти ограничились тем, что рекомендовали родственникам больных проходить санитарный осмотр.

Доктор Риэ резко отвернулся от афишки и направился к себе домой; там его уже ждал Жозеф Гран и, заметив врача, взмахнул руками.

— Знаю, знаю,— сказал Риэ,—цифры растут.

Накануне в городе умерло около десяти больных. Доктор сказал Грану, что, возможно, вечером они увидятся, так как он собирается навестить Котгара.

— Прекрасная мысль,—одобрил Гран.—Ваши визиты явно идут ему на пользу, он кое в чем переменялся.

— В чем же?

— Вежливый стал.

— А раньше не был?

Гран замаялся. Сказать прямо, что Коттар невежливый, он не мог—выражение казалось ему неточным. Просто он замкнутый, молчаливый, прямо дикий вепрь какой-то. Да и вся жизнь Коттара ограничивается сидением у себя в комнате, посещением скромного ресторанчика и какими-то таинственными вылазками. Официально он числился комиссионером по продаже вин и ликеров. Время от времени к нему являлись посетители, два-три человека, очевидно клиенты. Иногда вечерами ходит в кино напротив их дома. Гран заметил даже, что Коттар отдает явное предпочтение гангстерским фильмам. В любых обстоятельствах комиссионер держался замкнуто и недоверчиво.

Теперь, по словам Грана, все изменилось.

— Боюсь, я не сумею выразиться точно, но у меня, видите ли, создалось впечатление, будто он хочет примириться, что ли, с людьми, завоевать их симпатию. Стал со мной заговаривать, как-то даже предложил пойти вместе погулять, и я не сумел отказаться. Впрочем, он меня интересуется, ведь, в сущности, я спас ему жизнь.

После попытки к самоубийству Коттара еще никто не посещал. Он главным образом старался заслужить расположение и соседей, и лавочников. Никогда еще никто так мягко не говорил с бакалейщиками, никогда с таким интересом не выслушивал рассказов хозяйки табачной лавочки.

— Кстати, хозяйка эта чистая ехидна,—добавил Гран.—Я сказал об этом Коттару, а он ответил, что я ошибаюсь, что и в ней тоже есть много хорошего, надо только уметь приглядеться.

Наконец, раза два-три Коттар водил Грана в самые шикарные рестораны и кафе. Он просто стал их завсегдатаем. «Там приятно посидеть,—говорил он,—да и общество приличное». Гран заметил, что весь обслуживающий персонал относится к Коттару с преувеличенным вниманием, и разгадал причину—комиссионер раздавал непомерно крупные чаевые. По всей видимости, Коттар был весьма чувствителен к изъявлениям благодарности со стороны обласканных им официантов. Как-то, когда сам метрдотель проводил их до вестибюля и даже подал ему пальто, Коттар сказал Грану:

— Славный парень и может при случае засвидетельствовать.

— Как засвидетельствовать, что?..

Коттар замаялся.

— Ну... ну что я, скажем, неплохой человек.

Впрочем, изредка он еще взрывался по-прежнему. Недавно, когда лавочник был с ним не так любезен, как обычно, он вернулся домой, не помня себя от гнева.

— Экая гадина! С другими снюхался,—твердил он.

— С кем это с другими?

— Да со всеми.

Гран сам присутствовал при нелепейшей сцене, разыгравшейся

в табачной лавочке. Коттар с хозяйкой вели оживленную беседу, но вдруг она почему-то заговорила об аресте, происшедшем недавно и нашумевшем на весь Алжир. Речь шла о молодом служащем торговой конторы, который убил на пляже араба.

— Запрятать бы всю эту шваль за решетку,— сказала хозяйка,— тогда бы честные люди могли хоть свободно вздохнуть...

Но фразы своей она кончить не успела, потому что Коттар как оглашенный бросился прочь из лавочки и даже не извинился. Гран и хозяйка обомлели от удивления.

Впоследствии Гран счел необходимым сообщить Риэ еще о кое-каких переменах, происшедших с Коттаром. Тот обычно придерживался весьма либеральных убеждений. Например, любимым его присловьем было: «Большие всегда пожирают малых». Но с некоторых пор он покупает только самую благомыслящую оранскую газету, и невольно создается впечатление, будто он с неким умыслом садится читать ее в общественных местах. Или вот несколько дней назад, уже после выздоровления, он, узнав, что Гран идет на почту, попросил его перевести сто франков сестре—каждый месяц он переводил ей эту сумму. Но когда Гран уже собрался уходить, Коттар его окликнул:

— Пошлите-ка лучше двести франков,— сказал он,— то-то удивится и обрадуется. Она небось считает, что я о ней и думать забыл. Но на самом деле я к ней очень привязан.

Наконец, у них с Граном произошла любопытная беседа. Коттар, которого уже давно интриговали вечерние занятия Грана, наслел на него с вопросами, и тому пришлось дать ответ.

— Значит, вы пишете книгу?— сказал Коттар.

— Если угодно, да, но это, пожалуй, более сложно!

— Ох,— воскликнул Коттар,— как бы мне тоже хотелось заняться писанием!

Гран не мог скрыть своего удивления, и Коттар смущенно проормотал, что, мол, с художника все взятки гладки.

— Но почему же?— спросил Гран.

— Просто потому, что художнику дано больше прав, чем всем прочим. Каждому это известно. Ему все с рук сходит.

— Ну что ж,— сказал Риэ Грану в то самое утро, когда он впервые прочел объявление префектуры,— эта история с крысами сбила его с толку, как, впрочем, и многих других. А может, он просто боится заразы.

— Не думаю,— отозвался Гран,— и если, доктор, вы хотите знать мое мнение...

Под окнами, оглушая выхлопами, прошла машина службы дератизации. Риэ молчал и, только когда грохот утих вдаль, рассеянно спросил Грана, что же он думает о Коттаре. Гран многозначительно поглядел на доктора.

— У этого человека,— проговорил он,— что-то на совести.

Доктор пожал плечами. Правильно сказал тогда полицейский комиссар—дел без того хватает.

К вечеру у Риэ состоялся разговор с Кастелем. Сыворотка еще не прибыла.

— Да и поможет ли она?— спросил Риэ.— Бацилла необычная.

— Ну, знаете, я придерживаюсь иного мнения,— возразил

Кастель.— У этих тварей почему-то всегда необычный вид. Но в сущности, это одно и то же.

— Вернее, это ваше предположение. Ведь на самом деле мы ничего толком не знаем.

— Понятно, предположение. Но и другие тоже только предполагают.

В течение всего дня доктор ощущал легкое головокружение, оно охватывало его всякий раз при мысли о чуме. В конце концов он вынужден был признать, что ему страшно. Дважды он заходил в переполненное кафе. И он, как Коттар, нуждался в человеческом тепле. Риэ считал, что это глупо, но именно поэтому вспомнил, что обещал нынче навестить комиссионера.

Когда вечером доктор вошел к Коттару, тот стоял в столовой около стола. На столе лежал раскрытый детективный роман. Между тем уже вечерело и читать в сгущавшейся темноте было трудновато. Вернее всего, Коттар еще за минуту до того сидел у стола и размышлял в наступивших сумерках. Риэ осведомился о его самочувствии. Коттар, усаживаясь, буркнул, что ему лучше и было бы совсем хорошо, если бы им никто не занимался. Риэ заметил, что не может человек вечно находиться в одиночестве.

— Да нет, я не о том. Я о тех людях, которые занимаются только одним—как бы всем причинить побольше неприятностей.

Риэ промолчал.

— Заметьте, я не о себе говорю. Я вот тут читал роман. Однажды утром ни с того ни с сего хватают одного бедолагу. Оказывается, им интересовались, а он и не знал. Говорили о нем во всяких бюро, занесли его имя в карточки. Что ж по-вашему, это справедливо? Значит, по-вашему, люди имеют право проделывать такое с человеком?

— Это уж зависит от обстоятельств,—сказал Риэ.— В известном смысле вы правы, не имеют. Но это вопрос второстепенный. Нельзя вечно сидеть взаперти. Надо почаще выходить.

Коттар, явно нервничая, ответил, что он выходит каждый день и что, если понадобится, весь квартал может за него свидетельствовать. У него даже за пределами их квартала есть знакомые.

— Знаете господина Риго, архитектора? Мы с ним приятели.

В комнате постепенно сгущались сумерки. Окраинная улица оживала, и там, внизу, глухой возглас облегчения приветствовал свет вдруг вспыхнувших фонарей. Риэ вышел на балкон, и Коттар поплелся за ним. Со всех окрестных кварталов, как и ежевечерне в нашем городе, легкий ветерок гнал перед собой шорохи, запах жареного мяса, радостный и благоуханный бормот свободы, до краев переполнявший улицу, где весело шумела молодежь. Еще совсем недавно Риэ любил этот милый час—ночную мглу, хриплые крики невидимых отсюда кораблей, гул, идущий от моря, от растекающейся по улицам толпы. Но сегодня, когда он уже знал все, его не покидало гнетущее чувство.

— Может, зажжем свет?—предложил он Коттару.

Вспыхнул электрический свет, и Коттар, ослепленно моргая, взглянул на врача.

— Скажите, доктор, если я заболел, вы возьмете меня к себе в больницу?

— Почему бы и нет...

Тут Коттар спросил, бывают ли такие случаи, чтобы человека, находящегося на излечении в клинике или в больнице, арестовывали. Риэ ответил, что такое иной раз бывает, но при этом учитывается состояние больного.

— Я вам доверяю,—сказал Коттар.

Потом он спросил, не может ли доктор довезти его до центра на своей машине...

В центре толпа на улицах была уже не такая густая, да и свету поубавилось. Но у подъездов домов еще шумела детвора. По просьбе Коттара доктор остановил машину около стайки ребятишек. Они с громкими криками играли в классы. Один из них, с безупречным пробором в гладко прилизанных волосах, но с чумазой физиономией, вперил в Риэ упорный, смущающий взгляд своих светлых глаз. Риэ потупился. Коттар вышел из машины и, стоя на обочине тротуара, пожал доктору руку. Он заговорил хриплым, сдавленным голосом. При разговоре он то и дело оглядывался.

— Вот люди болтают об эпидемии. Это правда, доктор?

— Люди всегда болтают, оно и понятно,—отозвался доктор.

— Вы правы. Самое большее помрет десяток-другой, подумаешь, невидаль! Нет, нам не это нужно.

Мотор приглушенно взревел. Риэ держал ладонь на рукоятке переключения скоростей. А сам снова взглянул на мальчика, который по-прежнему рассматривал его степенно и важно. И вдруг, без всякого перехода, мальчик улыбнулся ему во весь рот.

— А что, по-вашему, нам нужно?—спросил доктор, улыбаясь в ответ.

Коттар вдруг ухватился за дверцу машины и, прежде чем уйти, крикнул злобным голосом, в котором дрожали слезы:

— Землетрясение, вот что! Да посильнее.

Однако наавтра никакого землетрясения не произошло, и Риэ провел весь день в бесконечных разъездах по городу, в переговорах с родными пациентов и спорах с самими пациентами. Никогда еще профессия врача не казалась Риэ столь тяжелой. До сих пор получалось так, что сами больные облегчали его задачу, полностью емуверялись. А сейчас, впервые в своей практике, доктор наталкивался на непонятную замкнутость пациентов, словно бы забившихся в самую глубину своего недуга и глядевших на него с недоверием и удивлением. Начиналась борьба, к которой он еще не привык. И когда около десяти вечера машина остановилась перед домом старика астматика—визит к нему Риэ отложил напоследок,—он с трудом поднялся с сиденья. Он медлил, вглядываясь в темную улицу, черное небо, на котором то вспыхивали, то гасли звезды. Старик астматик ждал его, сидя на постели. Дышал он полегче и, как обычно, считал горошины, перекладывая их из одной кастрюли в другую. На доктора он взглянул даже весело:

— Значит, доктор, холера началась?

— Откуда вы взяли?

— В газете прочел, да и по радио тоже объявляли.

— Нет, это не холера.

— Опять наши умники все раздули,—возбужденно отозвался старик.

— А вы не верьте,—посоветовал доктор.

Он уже осмотрел больного и сидел теперь посреди этой жалко обставленной столовой. Да, ему было страшно. Он знал, что вот здесь, в пригороде, его будут ждать завтра утром с десяток больных, не отрывающих глаз от своих бубонов. Только в двух-трех случаях рассечение бубонов принесло положительные результаты. Но для большинства больных единственная перспектива—больница, а он, врач, знал, что такое больница в представлении бедноты. «Не желаю, чтобы они на нем опыты делали»,—заявила ему жена одного больного. Никаких опытов они на нем делать не будут, он умрет, и все. Принятые меры недостаточны, это более чем очевидно. А что такое «специально оборудованные палаты», кто-кто, а Риэ знал отлично: два корпуса наспех освободят от незаразных больных, окна законопатят, вокруг поставят санитарный кордон. Если эпидемия не угаснет стихийно, ее не одолеть административными мерами такого порядка.

Однако вечерние официальные сообщения были все еще полны оптимизма. Наутро агентство Инфдок объявило, что распоряжение префектуры было встречено населением весьма благожелательно и что уже сообщено о тридцати случаях заболевания. Кастель позвонил Риэ:

— Сколько коек в корпусах?

— Восемьдесят.

— А в городе, надо полагать, больше тридцати больных?

— Да, многие напуганы, а о других, их, верно, гораздо больше, просто еще не успели сообщить.

— А погребение не контролируется?

— Нет. Я звонил Ришару, сказал, что необходимо принять строжайшие меры, а не отыгрываться пустыми фразами и что необходимо воздвигнуть против эпидемии настоящий барьер или вообще тогда уж лучше ничего не делать.

— Ну и что?

— Он не имеет соответствующих полномочий. А по моему мнению, болезнь будет прогрессировать.

И в самом деле, уже через три дня оба корпуса были забиты больными. По сведениям Ришара, собирались закрыть школу и устроить в ней вспомогательный лазарет. Риэ ждал сыворотки и тем временем вскрывал бубоны. Кастель вытащил на свет божий все свои старые книги и часами сидел в библиотеке.

— Крысы дохли от чумы или от какой-то другой болезни, весьма с ней схожей,—пришел он к выводу.—Они распустили блох, десятки тысяч блох, которые, если не принять вовремя мер, будут разносить заразу в геометрической прогрессии.

Риэ молчал.

В эти дни погода, по-видимому, установилась. Солнце выпило последние лужи, стоявшие после недавних ливней. Все располагало к безмятежности—и великолепная голубизна неба, откуда лился желтый свет, и гудение самолетов среди нарождающейся жары. А тем временем за последние четыре дня болезнь сделала четыре гигантских скачка: шестнадцать смертных случаев, два-

дцать четыре, двадцать восемь и тридцать два. На четвертый день было объявлено об открытии вспомогательного лазарета в помещении детского сада. Наши сограждане, которые раньше старались скрыть свою тревогу под веселой шуткой, ходили теперь пришибленные, как-то сразу примолкли.

Риэ решил позвонить префекту.

— Принятые меры недостаточны.

— Мне дали цифры,— сказал префект,— они и в самом деле тревожные.

— Они более чем тревожны, они не оставляют сомнения.

— Запрошу приказа у генерал-губернатора.

Риэ тут же позвонил Кастелю.

— Приказы! Тут не приказы нужны, а воображение!

— Что слышно насчет сыворотки?

— Прибудет на той неделе.

Через посредство доктора Ришара префектура попросила Риэ составить доклад, который намеревались переслать в столицу колонии, чтобы затребовать распоряжений. Риэ привел в докладе цифры, а также клиническое описание болезни. В тот же день было зарегистрировано около сорока смертных случаев. Префект на свой, как он выражался, риск решил со следующего же дня ввести более строгие меры. По-прежнему горожанам вменялось в обязанность заявлять о всех случаях заболевания, а больные в обязательном порядке подлежали изоляции. Дома, где обнаруживались больные, предписывалось очистить и продезинфицировать; люди, находившиеся в контакте с больными, обязаны были пройти карантин; похоронами займется городские власти, согласно особым указаниям префектуры. А еще через день самолетом прибыла сыворотка. Для лечения заболевших ее хватало. Но если эпидемии суждено распространиться, ее явно не хватит. На телеграфный запрос доктору Риэ ответили, что запасы сыворотки кончились и что приступили к изготовлению новой партии.

А тем временем из всех предместий на рынки пришла весна. Тысячи роз увядали в корзинах, расставленных вдоль тротуаров, и над всем городом веял леденцовый запах цветов. Внешне ничего словно бы не изменилось. По-прежнему в часы пик трамваи были набиты битком, а днем ходили пустые и грязные. Тарру по-прежнему вел наблюдение над старичком, и по-прежнему старичок плевал в кошек. Как и всегда, Гран вечерами спешил домой к своим загадочным трудам. Коттар кружил по городу, а господин Отон, следовательно, дрессировал свой домашний зверинец. Старик астматик, как обычно, перекладывал свой горошек, и изредка на улицах встречали журналиста Рамбера, спокойно и с любопытством озиравшегося по сторонам. Вечерами все та же толпа высыпала на тротуары, и перед кинотеатрами выстраивались очереди. Впрочем, эпидемия, казалось, отступила, за последние дни насчитывалось только с десятков смертных случаев. Потом вдруг кривая смертности резко пошла вверх. В тот день, когда снова было зарегистрировано тридцать смертей, Бернар Риэ перечитывал официальную депешу, лично врученную ему префектом со словами: «Перетрусили». Депеша гласила: «Официально объявить о чумной эпидемии. Город считать закрытым».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Можно смело сказать, что именно с этого момента чума стала нашим общим делом. До этого каждый из наших сограждан, несмотря на тревогу и недоумение, порожденные этими из ряда вон выходящими событиями, продолжал как мог заниматься своими делами, оставаясь на своем прежнем месте. И разумеется, так оно и должно было идти дальше. Но как только ворота города захлопнулись, все жители, вдруг и все разом, обнаружили, и сам рассказчик в том числе, что угодили в одну и ту же западню и что придется как-то к ней приспособливаться. Вообразите себе, к примеру, что даже такое глубоко личное чувство, как разлука с любимым существом, неожиданно с первых же недель стало всеобщим, всенародным чувством и наряду с чувством страха сделалось главным терзанием этой долгосрочной ссылки.

И действительно, одним из наиболее примечательных последствий объявления нашего города закрытым было это внезапное разъединение существ, отнюдь к разлуке не подготовленных. Матери и дети, мужья и жены, любовники, которые совсем недавно полагали, что расстаются со своими близкими на короткий срок, обменивались на перроне нашего вокзала прощальными поцелуями, обычными при отъездах советами, будучи в полной уверенности, что увидятся через несколько дней или же несколько недель, погрязшие в глупейшем человеческом легковерии, не считавшие нужным из-за обычного отъезда пренебречь будничными заботами,—внезапно все они осознали, что разлучены бесповоротно, что им заказано соединиться или сообщаться. Ибо фактически город был закрыт за несколько часов до того, как опубликовали приказ префекта, и, естественно, нельзя было принимать в расчет каждый частный случай. Можно даже сказать, что первым следствием внезапного вторжения эпидемии стало то, что наши сограждане вынуждены были действовать так, словно они лишены всех личных чувств. В первые же часы, когда

приказ вошел в силу, префектуру буквально осадила целая толпа просителей и кто по телефону, кто через служащих выдвигал равно уважительные причины, но вместе с тем равно не подлежащие рассмотрению. По правде говоря, только через много дней мы отдали себе отчет в том, что в нашем положении отпадают всяческие компромиссы и что такие слова, как «договориться», «в порядке исключения», «одолжение», уже потеряли всякий смысл.

Нам было отказано даже в таком невинном удовольствии, как переписка. С одной стороны, наш город и на самом деле уже не был связан с остальной страной обычными средствами сообщения, а с другой — еще один приказ категорически запрещал любой вид корреспонденции ввиду того, что письма могли стать разносчиками инфекции. Поначалу кое-кто из привилегированных лиц еще как-то ухитрялся сговариваться с солдатами кордона и те брались переправить врученные им послания. Однако это имело место лишь в самом начале эпидемии, когда стража еще позволяла себе поддаваться естественному голосу жалости. Но через некоторое время, когда тем же самым стражам разъяснили всю серьезность положения, они наотрез отказывались брать на себя ответственность, так как не могли предвидеть всех последствий своего попустительства. Сначала междугородные разговоры были разрешены, но из-за перегрузки телефонных линий и толчеи в переговорных кабинках они в течение нескольких дней были полностью запрещены, потом стали делать исключения в «особых случаях», например сообщений о смерти, рождении, свадьбе. Нашим единственным прибежищем остался, таким образом, телеграф. Люди, связанные между собой узами духовными, сердечными и родственными, вынуждены были искать знаков выражения своей прежней близости в простой депеше, в крупных буквах лаконичного телеграфного текста. И так как любые штампы, употребляемые при составлении телеграмм, не могут не иссякнуть, все — и долгая совместная жизнь, и мучительная страсть — вскоре свелось к периодическому обмену готовыми штампами: «Все благополучно. Думаю о тебе. Целую».

Однако некоторые из нас не сдавались, упорно продолжали писать, денно и ночно изобретали всевозможные хитроумные махинации, чтобы как-то связаться с внешним миром, но их планы кончались ничем. Если даже кое-какие из задуманных нами комбинаций случайно удавались, мы все равно ничего об этом не знали, так как не получали ответа. Поэтому-то в течение многих недель мы вынуждены были вновь и вновь садиться все за одно и то же письмо, сообщать все те же сведения, все так же вызывать об ответе, так что через некоторое время слова, которые вначале писались кровью сердца, лишались всякого смысла. Мы переписывали фразы уже машинально, стараясь с помощью этих мертвых фраз подать хоть какой-то знак о нашей трудной жизни. Так что в конце концов мы предпочли этому упрямому и бесплодному монологу, этой выхолощенной беседе с глухой стеной условные символы телеграфных призывов.

Впрочем, через несколько дней, когда уже стало ясно, что никому не удастся выбраться за пределы города, кто-то предложил обратиться к властям с запросом, могут ли вернуться

обратно выехавшие из Орана до начала эпидемии. После нескольких дней раздумья префектура ответила утвердительно. Но она уточнила, что вернувшиеся обратно ни в коем случае не смогут вновь покинуть город и ежели они вольны вернуться к нам, то не вольны снова уехать. И даже тогда кое-кто из наших сограждан, впрочем таких было мало, отнесся к создавшейся ситуации чересчур легкомысленно и, откинув благоразумие ради желания повидаться с родными, предложил этим последним воспользоваться предоставившейся возможностью. Но очень скоро узники чумы поняли, какой опасности они подвергают своих близких, и подчинились необходимости страдать в разлуке. В самый разгар этого ужасного мора мы были свидетелями лишь одного случая, когда человеческие чувства оказались сильнее страха перед мучительной смертью. И вопреки ожиданиям это были вовсе не влюбленные, те, что, забыв о самых страшных страданиях, рвутся друг к другу, одержимые любовью. А были это супруги Кастель, состоявшие в браке уже долгие годы. За несколько дней до эпидемии госпожа Кастель уехала в соседний город. Да и брак их никогда не являл миру примера образцового супружеского счастья, и рассказчик с полным правом может сказать, что каждый из них до сих пор был не слишком уверен, что счастлив в супружеской жизни. Но эта грубо навязанная, затянувшаяся разлука со всей очевидностью показала им, что они не могут жить вдали друг от друга, и в свете этой неожиданно проявившейся истины чума выглядела сущим пустяком.

Но их случай был исключением. Для большинства разлука, очевидно, должна была кончиться только вместе с эпидемией. И для всех нас чувство, проходившее красной нитью через всю нашу жизнь и, по видимости, столь хорошо нам знакомое (мы уже говорили, что страсти у наших сограждан самые несложные), оборачивалось новым своим ликом. Мужья и любовники, которые свято верили своим подругам, вдруг обнаружили, что способны на ревность. Мужчины, считавшие себя легкомысленными в любовных делах, вдруг обрели постоянство. Сын, почти не замечавший жившую с ним рядом мать, теперь с тревогой и сожалением мысленно вглядывался в каждую морщинку материнского лица, не выходившего из памяти. Эта грубая разлука, разлука без единой лазейки, без реально представимого будущего повергла нас в растерянность, лишила способности бороться с воспоминаниями о таком еще близком, но уже таком далеком видении, и воспоминания эти наполняли теперь все наши дни. В сущности, мы мучились дважды — нашей собственной мукой и затем еще той, которой в нашем воображении мучились отсутствующие — сын, жена или возлюбленная.

Впрочем, при иных обстоятельствах наши сограждане сумели бы найти какой-то выход, могли бы, скажем, вести более деятельный и открытый образ жизни. Но беда в том, что чума обрекала их на ничегонеделание и приходилось день за днем кружить по безотрадному унылому городу, предаваясь разочарывающей игре воспоминаний. Ибо в своих бесцельных блужданиях мы вынуждены были бродить по одним и тем же дорогам, а, так как наш городок невелик, дороги эти оказывались в большинстве

случаев как раз теми самыми, по которым мы ходили в лучшие времена с теми, с отсутствующими.

Итак, первое, что принесла нашим согражданам чума, было заточение. И рассказчик считает себя вправе от имени всех описать здесь то, что испытал тогда он сам, коль скоро он испытывал это одновременно с большинством своих сограждан. Ибо именно чувством изгнанника следует назвать то состояние незаполненности, в каком мы постоянно пребывали, то отчетливо ощущаемое, безрассудное желание повернуть время вспять или, наоборот, ускорить его бег, все эти обжигающие стрелы воспоминаний. И если иной раз мы давали волю воображению и тешили себя ожиданием звонка у входной двери, возвещающего о возвращении, или знакомых шагов на лестнице, если в такие минуты мы готовы были забыть, что поезд уже не ходят, старались поскорее справиться с делами, очутиться дома в тот час, в какой обычно пассажир, прибывший с вечерним экспресом, уже добирался до нашего квартала,—все это была игра, и она не могла длиться долго. Неизбежно наступала минута, когда мы ясно осознавали, что поезд не придет. И тогда мы понимали, что нашей разлуке суждено длиться и длиться, что нам следует попробовать приспособиться к настоящему. И, поняв, мы окончательно убеждались, что, в сущности, мы самые обыкновенные узники и одно лишь нам оставалось — прошлое, и если кто-нибудь из нас пытался жить будущим, то такой смельчак спешил отказаться от своих попыток, в той мере, конечно, в какой это удавалось, до того мучительно ранило его воображение, неизбежно ранящее всех, кто довернется ему.

В частности, все наши сограждане очень быстро отказались от появившейся было у них привычки подсчитывать даже на людях предполагаемые сроки разлуки. Почему? Если самые заядлые пессимисты определяли этот срок, скажем, в полгода, если они уже заранее вкусили горечь грядущих месяцев, если они ценою огромных усилий старались поднять свое мужество до уровня выпавшего на их долю испытания, крепились из последних сил, лишь бы не падать духом, лишь бы удержаться на высоте этих страданий, растянутых на многие месяцы, то иной раз встреча с приятелем, заметка в газете, мимолетное подозрение или внезапное прозрение приводили их к мысли, что нет, в сущности, никаких оснований надеяться, что эпидемия затихнет именно через полгода — а почему бы и не через год или еще позже.

В такие минуты полный крах их мужества, воли и терпения бывал столь внезапен и резок, что казалось, никогда им не выбраться из ямы, куда они рухнули. Поэтому-то они принуждали себя ни при каких обстоятельствах не думать о сроках освобождения, не обращать свой взгляд к будущему и жить с опущенными, если так можно выразиться, глазами. Но, естественно, эти благие порывы, это старание обмануть боль — спрятать шпагу в ножны, чтобы отказаться от боя,—все это вознаграждалось весьма и весьма скудно. И если им удавалось избежать окончательного краха, а они любой ценой хотели его предотвратить, они тем самым лишали себя минут, и нередких, когда картины близкого воссоединения с любимым существом заставляют забыть о чуме.

И, застряв где-то на полпути между этой бездной и этими горными вершинами, они не жили, их несло волною вырвавшихся из повиновения дней и бесплодных воспоминаний—они, беспокойные, блуждающие тени, которые могли обрести плоть и кровь, лишь добровольно укоренившись в земле своих скорбей.

Таким образом, они испытывали исконную муку всех заключенных и всех изгнанников, а мука эта вот что такое—жить памятью, когда память уже ни на что не нужна. Само прошлое, о котором они думали не переставая, и то приобретало привкус сожаления. Им хотелось бы присовокупить к этому прошлому все, что, к величайшему своему огорчению, они не успели сделать, перечувствовать, когда еще могли, вместе с тою или с тем, кого они теперь ждали, и совершенно так же ко всем обстоятельствам, даже относительно благополучным, их теперешней жизни узников они постоянно примешивали отсутствующих, и то, как они жили ныне, не могло их удовлетворить. Нетерпеливо подгонявшие настоящее, враждебно косящиеся на прошлое, лишенные будущего, мы были подобны тем, кого людское правосудие или людская злоба держат за решеткой. Короче, единственным средством избежать эти непереносимо затянувшиеся каникулы было вновь пустить, одною силою воображения, поезд по рельсам и заполнить пустые часы ожиданием, когда же затренькает звонок у входной двери, впрочем упорно молчавший.

Но если это и была ссылка, то в большинстве случаев мы были ссыльными у себя дома. И хотя рассказчик знал лишь одну, общую для всех нас ссылку, он обязан не забывать таких, как, скажем, журналист Рамбер, и других, для которых, напротив, все муки нашего отъединения от остального мира усугублялись еще и тем, что они, путешественники, застигнутые врасплох чумой и не имевшие права покинуть город, находились далеко и от близких, с которыми не могли воссоединиться, и от страны, которая была их родной страной. Среди нас, ссыльных, они были вдвойне ссыльными, ибо если бег времени неизбежно вызывал у них, как, впрочем, и у всех, тоскливый страх, то они сверх того ощущали еще себя привязанными к определенному месту и непрерывно натывались на стены, отделявшие их зачумленный загон от утраченной ими родины. Это они, конечно, в любое время дня шатались по нашим пыльным улицам, молча взывая к лишь одним им ведомым закатам и рассветам своей отчизны. Они растравляли свою боль по любому поводу: полет ласточки, вечерняя роса на траве, причудливое пятно, оставленное на тротуаре пустынной улицы лучом,—все было в их глазах неуловимым знамением, разочаровывающей вестью оттуда. Они закрывали глаза на внешний мир, извечный целитель всех бед, и, упрямы, лелеяли слишком реальные свои химеры, изо всех сил цеплялись за знакомые образы—земля, где льется совсем особый свет, два-три пригорка, любимое дерево и женские лица составляли ту особую атмосферу, которую ничем не заменишь.

И наконец, если остановиться именно на влюбленных, на самой примечательной категории изгнанников, о которых рассказчик может, пожалуй, говорить с наибольшим основанием, их терзала еще и иная тоска, где важное место занимали угрызения.

В теперешнем нашем положении они имели полную возможность увидеть свои чувства взглядом, равно объективным и лихорадочным. И чаще всего в этих случаях их собственные слабости выступали тогда перед ними во всей своей наготе. И в первую очередь потому, что они относили за счет собственных недостатков невозможность с предельной точностью представить себе дела и дни своих любимых. Они скорбели оттого, что не знают, чем заполнено их время, они корили себя за легкомыслие, за то, что прежде не удосуживались справиться об этом, и притворялись, будто не понимают, что для любящего знать в подробностях, что делает любимое существо, есть источник величайшей радости. И таким образом им уже было легче вернуться к истокам своей любви и шаг за шагом обследовать все ее несовершенство. В обычное время мы все, сознавая это или нет, понимаем, что существует любовь, для которой нет пределов, и тем не менее соглашаемся, и даже довольно спокойно, что наша-то любовь, в сущности, так себе, второго сорта. Но память человека требовательнее. И в силу железной логики несчастье, пришедшее к нам извне и обрушившееся на весь город, принесло нам не только незаслуженные мучения, на что еще можно было бы понегодовать. Оно принуждало нас также терзать самих себя и тем самым, не протестуя, принять боль. Это был один из способов, которым эпидемия отвлекала внимание от себя и путала все карты.

Итак, каждый из нас вынужден был жить ото дня ко дню один, лицом к лицу с этим небом. Эта абсолютная всеобщая заброшенность могла бы со временем закалить характеры, но получилось иначе, люди становились как-то суежнее. Многие из наших сограждан, к примеру, подпали под ярмо иного рабства, эти, что называется, находились в прямой зависимости от ведра или ненастья. При виде их начинало казаться, будто они впервые и непосредственно замечают стоящую на дворе погоду. Стоило пробежать по тротуару незамысловатому солнечному зайчику — и они уже расплывались в довольной улыбке, а в дождливые дни их лица да и мысли тоже окутывало густой пеленой. А ведь несколькими неделями раньше они умели не поддаваться этой слабости, этому дурацкому порабощению, потому что тогда они были перед лицом вселенной не одни и существо, бывшее с ними раньше, в той или иной степени заслоняло их мир от непогоды. Теперь же они, по всей видимости, оказались во власти небесных капризов, другими словами, мучились, как и все мы, и, как все мы, питали бессмысленные надежды.

И наконец, в этом обострившемся до пределов одиночестве никто из нас не мог рассчитывать на помощь соседа и вынужден был оставаться наедине со всеми своими заботами. Если случайно кто-нибудь из нас пытался довериться другому или хотя бы просто рассказать о своих чувствах, следовавший ответ, любой ответ, обычно воспринимался как оскорбление. Тут только он замечал, что он и его собеседник говорят совсем о разном. Ведь он-то вещал из самых глубин своих бесконечных дум все об одном и том же, из глубины своих мук, и образ, который он хотел открыть другому, уже давно томился на огне ожидания и страсти. А тот, другой, напротив, мысленно рисовал себе весьма баналь-

ные эмоции, обычную расхожую боль, стандартную меланхолию. И каков бы ни был ответ — враждебный или вполне благожелательный, он обычно не попадал в цель, так что приходилось отказываться от попытки душевных разговоров. Или, во всяком случае, те, для которых молчание становилось мукой, волей-неволей прибегали к расхожему жаргону и тоже пользовались штампованным словарем, словарем простой информации из рубрики происшествий — словом, чем-то вроде газетного репортажа, ведь никто вокруг не владел языком, идущим прямо от сердца. Поэтому-то самые доподлинные страдания стали постепенно и привычно выражаться системой стертых фраз. Только такой ценой узники чумы могли рассчитывать на сочувственный вздох привратника или надеяться завоевать интерес слушателей.

Однако, и, пожалуй, это самое существовавшее, как бы мучительные ни были наши страхи, каким бы до странности тяжелым камнем ни лежало в груди это пустое сердце, можно смело сказать, что изгнанники этой категории были в первый период мора как бы привилегированными. И в самом деле, когда жители были охвачены смятением, у изгнанников этого сорта все помыслы без остатка были обращены к тем, кого они ждали. Среди всеобщего отчаяния их хранил эгоизм любви, и если они вспоминали о чуме, то всегда лишь в той мере, в какой она угрожала превратить их временную разлуку в вечную. В самом пекле эпидемии они находили это спасительное отвлечение, которое можно было принять за хладнокровие. Безднадежность спасала их от паники, самое горе шло им во благо. Если, скажем, такого человека уносила болезнь, то почти всегда больной даже не имел времени опомниться. Его грубо отрывало от бесконечного внутреннего диалога, который он вел с любимой тенью, и без всякого перехода погружало в нерушимейшее молчание земли. А он и не успевал этого заметить.

Пока наши сограждане старались сжиться с этой неожиданной-негаданной ссылкой, чума выставила у ворот города кордоны и сворачивала с курса суда, шедшие к Орану. С того самого дня, когда Оран был объявлен закрытым городом, ни одна машина не проникла к нам. И теперь нам стало казаться, будто автомобили бессмысленно кружат все по одним и тем же улицам. Да и порт тоже представлял собой странное зрелище, особенно если смотреть на него сверху, с бульваров. Обычное оживление, благодаря которому он по праву считался первым портом на побережье, вдруг сразу стихло. У пирса стояло лишь с пяток кораблей, задержанных в связи с карантином. Но у причалов огромные, ненужные теперь краны, перевернутые набок вагонетки, какие-то удивительно одинокие штабеля бочек или мешков — все это красноречиво свидетельствовало о том, что коммерция тоже скончалась от чумы.

Вопреки этой непривычной картине наши сограждане лишь с трудом отдавали себе отчет в том, что с ними приключилось. Конечно, существовали общие для всех чувства, скажем разлуки или страха, но для многих на первый план властно выступали свои

личные заботы. Фактически никто еще не принимал эпидемии. Большинство страдало, в сущности, от нарушения своих привычек или от ущемления своих деловых интересов. Это раздражало или злило, а раздражение и злость не те чувства, которые можно противопоставить чуме. Так, первая их реакция была—во всем винить городские власти. Ответ префекта этим критикам, к которым присоединилась и пресса («Нельзя ли рассчитывать на смягчение принимаемых мер?»), был прямо-таки неожиданным. До сих пор ни газеты, ни агентство Инфдок не получали официальных статистических данных о ходе болезни. Теперь префект ежедневно сообщал эти данные агентству, но просил, чтобы публиковали их в виде еженедельной сводки.

Но и тут еще публика опомнилась не сразу. И впрямь, когда на третью неделю появилось сообщение о том, что эпидемия унесла триста два человека, эти цифры ничего не сказали нашему воображению. С одной стороны, может, вовсе не все они умерли от чумы. И с другой—никто в городе не знал толком, сколько человек умирает за неделю в обычное время. В городе насчитывалось двести тысяч жителей. А может, этот процент смертности вполне нормален? И хотя такие данные представляют несомненный интерес, обычно никого они не трогают. В известном смысле публике не доставало материала для сравнения. Только много позже, убедившись, что кривая смертности неуклонно ползет вверх, общественное мнение осознало истину. И на самом деле, пятая неделя эпидемии дала уже триста двадцать один смертный случай, а шестая—триста сорок пять. Вот этот скачок оказался весьма красноречивым. Однако он был еще недостаточно резок, и наши сограждане, хоть и встревожились, все же считали, что речь идет о довольно досадном, но в конце концов преходящем эпизоде.

По-прежнему они бродили по улицам, по-прежнему часами просиживали на террасах кафе. На людях они не праздновали труса, не жаловались, а прибегали к шутке и делали вид, будто все эти неудобства, явно временного порядка, не могут лишить их хорошего настроения. Приличия были, таким образом, соблюдены. Однако к концу месяца, примерно в молитвенную неделю (речь о ней пойдет позже), более серьезные изменения произошли во внешнем облике нашего города. Сначала префект принял меры, касающиеся движения транспорта и снабжения. Снабжение было лимитировано, а продажа бензина строго ограничена. Предписывалось даже экономить электроэнергию. В Оран наземным транспортом и с воздуха поступали лишь предметы первой необходимости. Таким образом, движение транспорта уменьшалось со дня на день, пока не свелось почти к нулю, роскошные магазины закрывались один за другим, в витринах менее роскошных красовались объявления, сообщающие, что таких-то и таких-то товаров в продаже нет, между тем как у дверей выстраивались длинные очереди покупателей.

В общем, Оран приобрел весьма своеобразный вид. Значительно возросло число пешеходов, даже в те часы, когда улицы обычно пустовали, множество людей, вынужденных бездействовать в связи с закрытием магазинов и порядков, наводняли бульвары

и кафе. Пока что они считались не безработными, а были, так сказать, в отпуску. Итак, в три часа дня под прекрасным южным небом Оран производил обманчивое впечатление города, где начался какой-то праздник, где нарочно заперли все магазины и перекрыли автомобильное движение, чтобы не мешать народной манифестации, а жители высыпали на улицы с целью принять участие во всеобщем веселье.

Понятно, кинотеатры широко пользовались этими всеобщими каникулами и делали крупные дела. Но распространение фильмов в нашем департаменте прекратилось. Через две недели кинотеатры уже вынуждены были обмениваться друг с другом программами, а вскоре на экранах шли бессменно все одни и те же фильмы. Однако сборы не падали.

Точно так же и кафе благодаря тому, что наш город вел в основном торговлю вином и располагал солидными запасами алкоголя, могли бесперебойно удовлетворять запросы клиентов. Откровенно сказать, пили крепко. Одно кафе извещало публику, что «чем больше пьешь, тем скорее микроба убьешь», и вера в то, что спиртное предохраняет от инфекционных заболеваний — мысль, впрочем, вполне естественная, — окончательно окрепла в наших умах. После двух часов ночи пьяницы, в немалом количестве изгнанные из кафе, до рассвета толклись на улицах и делали оптимистические прогнозы.

Но все эти перемены в каком-то смысле были столь удивительны и произошли они так молниеносно, что нелегко было считать их нормальными и прочными. В результате для нас на первом плане по-прежнему стояли личные чувства.

Через два дня после того, как город был объявлен закрытым, Риэ, выйдя из лазарета, наткнулся на Коттара, который поднял на него сияющее радостью лицо. Риэ поздравил его с полным выздоровлением, если, конечно, судить по виду.

— Верно, верно, я себя прекрасно чувствую, — подтвердил Коттар. — Скажите-ка, доктор, а ведь эта сволочная чума начинается всерьез забирать, а?

Доктор признал это. А Коттар не без удовольствия заметил:

— И причин-то вроде нет, чтобы эпидемия прекратилась. Все пойдет шиворот-навыворот.

Часть пути они прошли вместе. Коттар рассказал, что владелец большого продовольственного магазина в их квартале скупал направо и налево продукты, надеясь потом перепродать их по двойной цене, когда же за ним пришли санитары и повезли его в лазарет, они обнаружили под кроватью целый склад консервов. «Ясно, помер, нет, на чуме не наживешься». Вообще у Коттара имелась в запасе целая серия рассказов об эпидемии, и правдивых, и выдуманных. Например, ходила легенда, что какой-то человек, заметив первые признаки заражения, выскочил в полубреду на улицу, бросился к проходившей мимо женщине и крепко прижал ее к себе, вопя во все горло, что у него чума.

— Чудесно! — заключил Коттар любезным тоном, не ввязавшимся с его дальнейшими словами. — Скоро все мы с ума посходим, уж поверьте!

В тот же день, ближе к вечеру, Жозеф Гран наконец-то

набрался решимости и пустился с Риэ в откровенности. Началось с того, что он заметил на письменном столе доктора фотографию мадам Риэ и вопросительно взглянул на своего собеседника. Риэ ответил, что жена его находится не в городе, она лечится. «В каком-то смысле,—сказал Гран,—это скорее удача». Доктор ответил, что это, безусловно, удача и остается только надеяться, что его жена окончательно выздоровеет.

— А-а,—протянул Гран,—понимаю, понимаю.

И впервые со дня их знакомства Гран разразился многословной речью. Правда, он еще подыскивал нужные слова, но почти тут же их находил, будто уже давным-давно все это обдумал.

Женился он совсем молодым на юной небогатой девушке, их соседке. Ради этого пришлось бросить учение и поступить на работу. Ни он, ни Жанна никогда не переступали рубежа их родного квартала. Он повадился ходить к Жанне, и ее родители подсмеивались над нескладным и на редкость молчаливым ухажером. Отец Жанны был железнодорожником. В свободные часы он обычно сидел в уголку у окна и задумчиво смотрел на снующий по улицам народ, положив на колени свои огромные лапищи. Мать с утра до ночи возилась по хозяйству, Жанна ей помогала. Была она такая маленькая и тоненькая, что всякий раз, когда она переходила улицу, у Грана от страха замирало сердце. Все машины без исключения казались ему тогда опасными мастодонтами. Как-то раз перед Рождеством Жанна в восхищении остановилась перед празднично украшенной витриной и, подняв на своего спутника глаза, прошептала: «До чего ж красиво!» Он сжал ее запястье. Так было решено пожениться.

Конец истории, по словам Грана, был весьма прост. Такой же, как у всех: женятся, еще любят немножко друг друга, работают. Работают столько, что забывают о любви. Жанна тоже вынуждена была поступить на службу, поскольку начальник не сдержал своих обещаний. Тут, чтобы понять дальнейший рассказ Грана, доктору пришлось призвать на помощь воображение. Гран от неизбывной усталости как-то сник, все реже и реже говорил с женой и не сумел поддержать ее в убеждении, что она любима. Муж, поглощенный работой, бедность, медленно закрывавшиеся пути в будущее, тяжелое молчание, нависавшее вечерами над обеденным столом,—нет в таком мире места для страсти. Очевидно, Жанна страдала. Однако она не уходила. Так бывает нередко—человек мучается, мучается и сам того не знает. Шли годы. Потом она уехала. Не одна, разумеется. «Я очень тебя любила, но я слишком устала... Я не так уж счастлива, что уезжаю, но ведь для того, чтобы заново начать жизнь, не обязательно быть счастливой». Вот примерно, что она написала.

Жозеф Гран тоже немало страдал. И он бы мог начать новую жизнь, как справедливо заметил доктор. Только он уже не верит в такие вещи.

Просто-напросто он все время думает о ней. Больше всего ему хотелось бы написать Жанне письмо, чтобы как-то оправдать себя в ее глазах. «Только трудно очень,—добавил он.—Я уже давным-давно об этом думаю. Пока мы друг друга любили, мы обходились без слов и так все понимали. Но ведь любовь проходит. Мне

следовало бы тогда найти нужные слова, чтобы ее удержать, а я не нашел». Гран вытащил из кармана похожий на салфетку носовой платок в клеточку и шумно высморкался, потом обтер усы. Риэ молча смотрел на него.

— Простите меня, доктор,—сказал старик,—но как бы лучше выразиться... Я чувствую к вам доверие. Вот с вами я могу говорить. Ну и, конечно, волнуюсь.

Было ясно, что мыслями Гран за тысячу верст от чумы.

Вечером Риэ послал жене телеграмму и сообщил, что город объявлен закрытым, что он здоров, что пусть она и впредь получше следит за собой и что он все время о ней думает.

Через три недели после закрытия города Риэ, выходя из лазарета, наткнулся на поджидавшего его молодого человека.

— Надеюсь, вы меня узнаете,—сказал тот.

И Риэ почувствовалось, будто он где-то его видел, но не мог вспомнить где.

— Я приходил к вам еще до всех этих событий,—проговорил незнакомец,—просил у вас дать мне сведения относительно условий жизни арабов. Меня зовут Раймон Рамбер.

— Ах да,—вспомнил Риэ.—Ну что ж, теперь у вас богатый материал для репортажа.

Рамбер явно нервничал. И ответил, что речь идет не о репортаже и что пришел он к доктору просить содействия.

— Я должен перед вами извиниться,—добавил он,—но я никого в городе не знаю, а корреспондент нашей газеты, к несчастью, форменный болван.

Риэ предложил Рамберу пойти с ним вместе до центра, доктору надо было заглянуть по делам в диспансер. Они зашагали по узким улочкам негритянского квартала. Спускался вечер, но город, когда-то шумный в этот час, казался теперь удивительно пустынным. Только звуки труб, взлетающие к позлащенному закату небу, свидетельствовали о том, что военные еще выполняют свои обязанности, вернее, делают вид, что выполняют. Пока они шли по крутым улицам между двух рядов ярко-синих, желтых и фиолетовых домов в мавританском стиле, Рамбер все говорил, и говорил очень возбужденно. В Париже у него осталась жена. По правде сказать, не совсем жена, но это неважно. Когда город объявили закрытым, он ей телеграфировал. Сначала он думал, что все это не затянется надолго, и стал искать способ наладить с ней регулярную переписку. Его коллеги, оранские журналисты, прямо так и сказали, что ничего сделать не могут, на почте его просто прогнали, секретарша в префектуре нагло расхохоталась ему в лицо. В конце концов, простояв на телеграфе два часа в длиннейшей очереди, он послал депешу следующего содержания: «Все благополучно. До скорого».

Но на другое утро, поднявшись с постели, он вдруг подумал, что в конце концов никто не знает, как долго все это продлится. Поэтому он решил уехать. Так как у него было рекомендательное письмо, он сумел пройти к начальнику канцелярии префектуры (журналисты все-таки пользуются кое-какими поблажками). Рамбер лично явился к нему и сказал, что никакого отношения к Орану не имеет, что нечего ему здесь торчать зря, что очутился

он здесь чисто случайно и будет справедливо, если ему разрешат уехать, пусть даже придется пройти полагающийся карантин. Начальник канцелярии ответил, что прекрасно его понимает, но ни для кого исключения сделать не может, что он посмотрит, но, в общем-то, положение достаточно серьезное и что он сам ничего не решает.

— Но ведь я в вашем городе чужой,—добавил Рамбер.

— Совершенно верно, но все же будем надеяться, что эпидемия не затянется.

Желая подбодрить Рамбера, доктор заметил, что в Оране сейчас уйма материала для интереснейшего репортажа и что, по здравому рассуждению, нет ни одного даже самого прискорбного события, в котором не было бы своих хороших сторон. Рамбер пожал плечами. Они уже подходили к центру города.

— Но поймите меня, доктор, это же глупо. Я родился на свет не для того, чтобы писать репортажи... А может, я родился на свет, чтобы любить женщину. Разве это не в порядке вещей?

Ризэ ответил, что такая мысль, по-видимому, вполне разумна.

На центральных бульварах не было обычной толпы. Им попалось только несколько пешеходов, торопившихся к себе домой на окраину города. Ни одного улыбающегося лица. Ризэ подумалось, что, очевидно, таков результат сводки, опубликованной как раз сегодня агентством Инфдок. Через сутки наши сограждане снова начнут питать надежду. Но сегодняшние цифры, опубликованные днем, были еще слишком свежи в памяти.

— Дело в том,—без перехода сказал Рамбер,—дело в том, что мы с ней встретились совсем недавно и, представьте, прекрасно ладим.

Ризэ промолчал.

— Впрочем, я вам, очевидно, надоел,—продолжал Рамбер.—Я хотел вас только вот о чем попросить: не могли бы вы выдать мне удостоверение, где бы официально подтверждалось, что у меня нет этой чертовой чумы. Думаю, такая бумажка пригодилась бы.

Ризэ молча кивнул и как раз успел поднять мальчугана, с размаху ткнувшегося головой в его колени, и осторожно поставил его на землю. Они снова тронулись в путь и очутились на Оружейной площади. Понурые, словно застывшие, фикусы и пальмы окружали серым пыльным кольцом статую Республики, тоже пыльную и грязную. Они остановились у постамента. Ризэ постучал о землю ногой, сначала правой, потом левой, надеясь стряхнуть беловатый налет. Украдкой он взглянул на Рамбера. Тот стоял, сбив на затылок фетровую шляпу, небритый, обиженно надув губы, даже пуговку на воротничке—ту, что под галстуком,—не удосужился застегнуть, а в глазах застыло упреждающее выражение.

— Поверьте, я вас отлично понимаю,—наконец проговорил Ризэ,—но в ваших рассуждениях вы исходите из неправильных посылок. Я не могу выдать вам справку, потому что и в самом деле не знаю, больны вы этой болезнью или нет, и, даже если вы здоровы, я не могу поручиться, что как раз в ту долю минуты, когда вы выберетесь из моего кабинета и войдете в префектуру, вы не подхватите инфекцию. А впрочем, даже если...

— Что даже если?—переспросил Рамбер.

— Даже если бы я дал такую справку, она все равно вам бы не пригодилась.

— Почему это?

— Потому что в нашем городе есть тысячи людей, находящихся в таком же положении, как и вы, и, однако, мы не имеем права их отсюда выпускать.

— Но ведь они-то чумой не больны!

— Это недостаточно уважительная причина. Согласен, положение дурацкое, но мы все попали в ловушку. И приходится с этим считаться.

— Но ведь я не здешний.

— С известного момента, увы, вы тоже станете здешним.

Рамбер разгорячился:

— Но клянусь честью, это же вопрос человечности! Возможно, вы не отдадите себе отчет в том, что означает такая разлука для двух людей, которые прекрасно ладят друг с другом.

Риэ ответил не сразу. Потом сказал, что, очевидно, все-таки отдает. Больше того, всеми силами души он желает, чтобы Рамбер воссоединился со своей женой, чтобы вообще все любящие поскорее были вместе, но существуют, к сожалению, вполне определенные распоряжения и законы, а главное, существует чума; его же личная роль сводится к тому, чтобы делать свое дело.

— Нет,—с горечью возразил Рамбер,—вам этого не понять. Вашими устами вещает разум, вы живете в мире абстракций.

Доктор вскинул глаза на статую Республики и ответил, что вряд ли его устами вещает разум, в этом он не уверен, скорее уж голая очевидность, а это не всегда одно и то же. Журналист поправил галстук.

— Иными словами, придется изворачиваться как-нибудь иначе, так я вас понял? Все равно,—с вызовом заключил он,—я из города уеду.

Доктор сказал, что он опять-таки понимает Рамбера, но такие вещи его не касаются.

— Нет, касаются,—внезапно взорвался Рамбер,—я потому и обратился к вам, что, по слухам, именно вы настаивали на принятии драконовских мер. Ну я и подумал, что хотя бы в виде исключения, хотя бы только раз вы могли бы отменить подсказанные вами же решения. Но, видно, вам ни до чего нет дела. Вы ни о ком не подумали. Отмахнулись от тех, кто в разлуке.

Риэ согласился, в каком-то смысле Рамбер прав, он действительно отмахнулся.

— Знаю, знаю,—воскликнул Рамбер,—сейчас вы заговорите об общественной пользе! Но ведь общественное благо как раз и есть счастье каждого отдельного человека.

— Ну, знаете,—отозвался доктор не так рассеянно, как прежде,—счастье счастьем, но существует и нечто другое. Никогда не следует судить с налета. И зря вы сердитесь. Если вам удастся выпутаться из этой истории, я буду от души рад. Просто существуют вещи, которые мне запрещено делать по характеру моей работы.

Журналист нетерпеливо мотнул головой:

— Вы правы, зря я сержусь. Да еще отнял у вас уйму времени.

Риэ попросил Рамбера держать его в курсе своих дел и не таить против него зла. Очевидно, у Рамбера имеется план действий, и, пожалуй, в каком-то смысле они могут сойтись. Рамбер растерянно взглянул на врача.

— Я тоже в это верю,— сказал он, помолчав,— верю вопреки самому себе, вопреки тому, что вы здесь мне наговорили.— Он запнулся.— Но все равно я не могу одобрить ваши действия.

Он нахлобучил шляпу на лоб и быстро пошел прочь. Риэ проследил за ним взглядом и увидел, что журналист вошел в подъезд отеля, где жил Жан Тарру.

Доктор задумчиво покачал головой. Журналист был прав в своем нетерпеливом стремлении к счастью. Но вот когда он обвинял его, Риэ, был ли он и тогда прав? «Вы живете в мире абстракций». Уж не были ли миром абстракций дни, проведенные в лазарете, где чума с удвоенной алчностью заглатывала свои жертвы, унося за неделю в среднем по пятьсот человек? Да, несомненно, в бедствии была своя доля абстракции, было в нем и что-то нереальное. Но когда абстракция норовит вас убить, приходится заняться этой абстракцией. И Риэ знал только одно—не так-то это легко. Не так-то легко, к примеру, руководить подсобным лазаретом (теперь их насчитывалось уже три), ответственность за который возложили на него. В комнатке, примыкавшей к врачебному кабинету, устроили приемный покой. В полу сделали углубление, где стояло целое озерцо кресла, а посередине выложили из кирпичей нечто вроде островка. Больного укладывали сначала на этот островок, затем быстро раздевали донага и одежда падала в раствор кресла. И только потом, когда больного обмывали с ног до головы, насухо вытирали и одевали в шершавую больничную рубашу, он переходил в руки Риэ, а после его направляли в одну из палат. Пришлось использовать внутренние школьные крытые дворики, так как в лазарете число коек доходило уже до пятисот и почти все они были заняты. После утреннего обхода, который проводил сам Риэ, когда всем больным вводили вакцину, вскрывали бубоны, доктор еще просматривал бумаги, содержащие статистические данные, а после обеда снова начинался обход. Наконец, вечерами он ездил с визитами к своим пациентам и возвращался домой только поздно ночью... Как раз накануне мать, вручая Риэ телеграмму от жены, заметила, что руки у него трясутся.

— Да,— согласился он,— трясутся. Но это нервное, я за собой слежу.

Натура у него была могучая, стойкая. Он и на самом деле пока еще не успел устать. Но ездить по визитам ему было не вмоготу. Ставить диагноз «заразная лихорадка» означало немедленную изоляцию больного. Вот тут-то и впрямь начинались трудности, тут начинался мир абстракций, так как семья больного отлично знала, что увидит его или выздоровевшим, или в гробу. «Пожалейте нас, доктор»,— твердила мадам Лоре, мать горничной, работавшей в том отеле, где жил Тарру. Но что значит жалеть?

Ясно, он жалел. Но это ничего не меняло. Приходилось звонить. Через несколько минут раздавалась сирена машины «скорой помощи». Вначале соседи распахивали окна и выглядывали на улицу. А со временем, наоборот, стали спешно закрывать все ставни. И вот тогда-то, в сущности, и начинались борьба, слезы, уговоры, в общем абстракция. В комнатах, где, казалось, сам воздух пылал от лихорадки и страха, разыгрывались сцены, граничившие с безумием. Но больного все равно увозили. Риэ мог отправляться домой.

В первые дни эпидемии он ограничивался звонком по телефону и спешил к следующему больному, не дожидаясь кареты «скорой помощи». Но после его ухода родные наглухо запирали двери, они предпочитали оставаться лицом к лицу с заразой, лишь бы не выпускать из дому больного, так как знали, чем все это кончается. Крики, приказания, вмешательство полиции, а потом и военных — словом, больного брали приступом. В первые недели приходилось сидеть и ждать, пока не придет «скорая». А потом, когда с врачом стал приезжать санитарный инспектор, которых вербовали из добровольцев, Риэ мог сразу бежать от одного больного к другому. Но тогда, в самом начале, все вечера, проведенные у больного в ожидании «скорой», походили на тот вечер, когда он явился к мадам Лоре в ее квартирку, щедро украшенную бумажными веерами и букетиками искусственных цветов, и мать, встретив его на пороге, проговорила с вымученной улыбкой:

— Надеюсь, у нее не та лихорадка, о которой все говорят?

А он, подняв простыни и подол ночной рубашки, молча смотрел на багровые пятна, покрывавшие живот и пах, на набрякшие железы. Мать тоже взглянула на обнаженный пах дочери и, не сдержавшись, крикнула во весь голос. Каждый вечер точно так же вопили матери, бессмысленно уставившись на обнаженный живот своего ребенка, уже отмеченный багровыми пятнами смерти; каждый вечер чьи-нибудь руки судорожно цеплялись за руки Риэ, слезы сменялись бесплодными мольбами и клятвами, каждый вечер на сирену «скорой помощи» отвечали истерические рыдания, столь же бесполезные, как сама боль. И к концу этой бесконечной череды вечеров, неотличимо похожих друг на друга, Риэ понял, что его ждет все та же череда одинаковых сцен, повторявшихся вновь и вновь, и ни на что другое уже не надеялся. Да, чума как абстракция оказалась более чем монотонной. Изменилось, пожалуй, лишь одно — сам Риэ. Он осознал это у статуи Республики, в тот вечер, когда глядел на двери отеля, поглотившие Рамбера, только одно ощутил он: его постепенно захватывает свинцовое безразличие.

К концу этих изнуряющих недель, когда все в тех же сумерках весь город выплескивался наружу и бессмысленно кружил по улицам, Риэ вдруг отдал себе отчет, что ему не требуется больше защищаться от жалости. Очень уж утомительна жалость, когда жалость бесполезна... И, поняв, как постепенно замыкается в самом себе его сердце, доктор впервые ощутил облегчение, единственное за эти навалившиеся на него как бремя недели. Он знал, что отныне его задача станет легче. Вот почему он и

радовался. Когда мать доктора, встречая его в два часа ночи и ловя его пустой взгляд, огорчалась, она как раз и сожалела о том, что сын ее лишается единственного отпущенного ему утешения. Чтобы бороться с абстракцией, надо хоть отчасти быть ей сродни. Но как мог это почувствовать Рамбер? Абстракция в глазах Рамбера—это все то, что препятствует его счастью. И, положив руку на сердце, Риэ признавал, что в известном смысле журналист прав. Но он знал также, что бывают случаи, когда абстракция сильнее человеческого счастья, и тогда нужно отдавать себе в этом отчет. Только тогда. Вероятно, это и произошло с Рамбером, и доктор понял это много позднее из отдельных признаний журналиста. Он мог, таким образом, следить с новой позиции за мрачной битвой между счастьем каждого отдельного человека и абстракциями чумы,—битвой, которая составляла весь смысл жизни нашего города в течение долгого времени.

Но там, где одни видели абстракцию, другие видели истину. Конец первого месяца чумы был и впрямь омрачен новым явным ростом эпидемии и пылкой проповедью отца Панлю, иезуита, того, который помог добраться до дому заболевшему старику Мишелю. Отец Панлю был уже достаточно известен благодаря постоянному сотрудничеству в «Оранском географическом бюллетене», где он завоевал немалый авторитет трудами по расшифровке древних надписей. Но еще более широкую аудиторию он приобрел не как специалист-ученый, а как лектор, прочитавший серию докладов о современном индивидуализме. В своих лекциях он выступал в качестве пламенного поборника непримиримого христианства, равно далекого и от новейшего попустительства, и от обскурантизма минувших веков. По этому случаю он не скупился высказывать аудитории самые жесткие истины. Отсюда-то и пошла его репутация.

К концу первого месяца церковные власти города решили бороться против чумы собственными методами, объявив наступающую неделю неделей общих молений. Эти публичные манифестации благочестия должны были завершиться в воскресенье торжественной мессой в честь святого Роха, заступника зачумленных, ибо его также поразила чума. По этому случаю обратились к отцу Панлю с просьбой прочитать проповедь. На целые две недели этот последний оторвался от своих трудов, посвященных святому Августину и африканской церкви, снискавших ему почетное место в их иезуитском ордене. Будучи натурой пламенной и страстной, он сразу согласился принять возложенную на него миссию. Еще задолго до того, как проповедь была произнесена, о ней много говорили в городе, и в известном смысле она тоже стала значительной вехой в истории этого периода.

Неделя молебствий собрала много народу. И вовсе не потому, что в обычное время наши оранцы отличались особой религиозностью. Воскресными утрами, например, морские пляжи являлись серьезными конкурентами церковным службам. И вовсе не потому, что наши сограждане во внезапном озарении обратились к богу. Но раз город был объявлен закрытым и вход в порт

воспрещен, морские купания, естественно, отпадали — это с одной стороны, а с другой, оранцы находились в несколько необычном умонастроении, они не принимали душой свалившиеся на них неожиданные события, и все же они смутно ощущали, что многое изменилось. Правда, кое-кто все еще надеялся, что эпидемия пойдет на спад и пощадит их самих и их близких. А следовательно, они пока еще считали, что никому ничем не обязаны. Чума в их глазах была не более чем непрошеной гостьей, которая как пришла, так и уйдет прочь. Они были напуганы, но не отчаялись, поскольку еще не наступил момент, когда чума предстанет перед ними как форма их собственного существования и когда они забудут ту жизнь, что вели до эпидемии. Короче, они находились в ожидании. Чума довольно-таки причудливым образом изменила их обычные взгляды на религию, как, впрочем, и на множество иных проблем, и это новое умонастроение было равно далеко и от безразличия, и от страстей и лучше всего определялось словом «объективность». Большинство участвовавших в неделе молений могли бы с полным основанием подписаться под словами, сказанными одним из верующих доктору Риэ: «Во всяком случае, вреда от этого не будет». Сам Тарру записал в своем дневнике, что китайцы в аналогичных случаях бьют в барабаны, надеясь умиловить духа чумы, и заметил, что абсолютно невозможно доказать, действительно ли барабан эффективнее профилактических мер. Он добавлял, что разрешить этот вопрос можно было бы, лишь располагая данными о существовании духа чумы, и что наше невежество в этой области сводит на нет все имеющиеся на сей счет мнения.

Так или иначе, наш кафедральный собор в течение недели почти всегда был заполнен молящимися: В первые дни многие из наших сограждан предпочитали толпиться у ворот собора под сенью пальм и гранатовых деревьев, куда волнами докатывались церковные песнопения и молитвы — отголоски их слышны были даже на улице. Но чужой пример заразителен, и мало-помалу те же самые слушатели входили, набравшись смелости, в собор и присоединяли свой робкий голос к общему хору голосов. А в воскресенье огромная толпа затопила весь неф, заняла всю паперть, даже на ступеньках лестницы стояли люди. Накануне, в субботу, небо начало хмуриться, разразился ливень. Не попавшие в храм открыли зонтики. Когда на кафедру поднялся отец Панлю, в храме реял аромат ладана и запах волглого шелка.

Отец Панлю был невысок ростом, но коренаст. Когда он ухватился крупными руками за край кафедры, молящимся было видно лишь что-то черное и широкое, а выше два красных пятна его щек, а еще над ними — очки в металлической оправе. Голос у него был сильный, страстный, разносившийся далеко; и когда святой отец обрушил на собравшихся свою первую фразу, пылкую и чеканную: «Братья мои, вас постигла беда, и вы ее заслужили, братья», по храму прошло движение, докатившееся до паперти.

Последующие фразы логически не особенно-то вязались с пафосом этой посылки. Только к середине речи наши сограждане уразумели, что преподобный отец ловким ораторским приемом

вложил в первую фразу основной тезис своей проповеди, словно плетью ударил. Сразу же вслед за посылкой отец Панлю и впрямь привел стих из Исхода о египетской чуме и добавил: «Вот когда впервые в истории появился бич сей, дабы сразить врагов божьих. Фараон противился замыслам Предвечного, и чума вынудила его преклонить колена. С самого начала истории человечества бич божий смирял жестоковых и слепцов. Поразмыслите над этим хорошенько и преклоните колена».

Дождь снова припустил, и последняя фраза проповеди, произнесенная среди всеобщего молчания, подчеркнутого нудным стуком капель по витражам, прозвучала с такой силой, что кое-кто из молящихся после секундного колебания соскользнул со стула и преклонил колена на скамеечке. Остальные решили, что нужно последовать этому примеру, и мало-помалу в полном безмолвии, нарушаемом лишь скрипом стульев, вся аудитория опустилась на колени. Тут отец Панлю выпрямил свой стан, судорожно перевел дыхание и заговорил, выделяя голосом каждое слово: «Ежели чума ныне коснулась вас, значит, пришло время задуматься. Праведным нечего бояться, но нечестивые справедливо трепещут от страха. В необозримой житнице вселенной неумолимый бич будет до той поры молотить зерно человеческое, пока не отделит его от плевел. И мы увидим больше плевел, чем зерна, больше званых, чем избранных, и не бог возжелал этого зла. Долго, слишком долго мы мирились со злом, долго, слишком долго уповали на милосердие божье. Достаточно было покаяться во грехах своих, и все становилось нам дозволенным. И каждый смело каялся в прегрешениях своих. Но настанет час — и спросится с него. А пока легче всего жить как живется, с помощью милосердия божьего, мол, все уладится. Так вот, дальше так продолжаться не могло. Господь бог, так долго склонявшийся над жителями города свой милосердный лик, отвратил ныне от него взгляд свой, обманутый в извечных своих чаяниях, устав от бесплодных ожиданий. И, лишившись света господня, мы очутились, и надолго, во мраке чумы!»

Кто-то из слушателей издал странный звук, похожий на лошадиное фырканье. Помолчав немного, преподобный отец снова заговорил, но тоном ниже: «В «Золотой легенде» мы читали, что во времена короля Умберто Ломбардского Италия была опустошена чумой столь свирепой, что живые не успевали хоронить мертвецов своих, особенно же чума свирепствовала в Риме и Павии. И на глазах у всех явился добрый ангел и повелел злему ангелу, державшему в деснице охотничье копье, разить дома; и каждый раз, когда копье вонзалось в дом, любой, кто выходил из него, падал мертвым».

Здесь отец Панлю простер свои коротенькие руки к паперти, словно там, за трепетной завесой дождя, притаилось что-то. «Братья мои! — возгласил он с силой. — Эта смертоносная охота идет ныне на наших улицах. Смотрите, смотрите, вот он, ангел чумы, прекрасный, как Люцифер, и сверкающий, как само зло, вот он, грозно встающий над вашими кровлями, вот заносит десницу с окровавленным копьем над главою своею, а левой рукой указывает на дома ваши. Быть может, как раз сейчас он

простер перст к вашей двери, и копьё с треском вонзается в дерево, и еще через миг чума входит к вам, усаживается в комнате вашей и ждет вашего возвращения. Она там, терпеливая и зоркая, неотвратимая, как сам порядок мироздания. И руку, что она протянет к вам, ни одна сила земная, ни даже — запомните это хорошенько! — суетные человеческие знания не отведут от вас. И поверженные на обгаренное кровью гумно страданий, вы будете отброшены вместе с плеведами».

Здесь преподобный отец, не жалея красок, нарисовал ужасную всех картину бича божьего. По его словам, огромное деревянное копьё кружит над городом, бьет вслепую и вновь, окровавленное, вздымается вверх, разбрызгивая кровь и болезни людские, «и из такого посева взрастет урожай истины».

Закончив этот длинный период, отец Панлю замолк, волосы упали ему на лоб, все тело сотрясало, и дрожь сообщилась даже кафедре, в которую он вцепился обеими руками; потом он заговорил глуше, но все тем же обличительным тоном: «Да, пришел час размышлений. Вы полагали, что достаточно один раз в неделю, в воскресенье, зайти в храм божий, дабы в остальные шесть дней у вас были развязаны руки. Вы полагали, что, преклонив десяток раз колена, вы искупите вашу преступную беспечность. Но бог, он не тепел. Эти редкие обращения к небу не могут удовлетворить его ненасытную любовь. Ему хочется видеть вас постоянно, таково выражение его любви к вам, и, по правде говоря, единственное ее выражение. Вот почему, уставши ждать ваших посещений, он дозволил бичу обрушиться на вас, как обрушивался он на все погрязшие во грехах города с тех пор, как ведет свою историю род человеческий. Теперь вы знаете, что такое грех, как знали это Каин и его сыновья, как знали это до потопа, как знали жители Содомы и Гоморры, как знали фараон и Иов, как знали все, кого проклинал бог. И, подобно всем им, вы с того самого дня, как город замкнул в свое кольцо и вас, и бич божий, вы иным оком видите все живое и сущее. Вы знаете теперь, что пора подумать о главном».

Влажный ветер ворвался под своды собора и пригнул потрепавшие огоньки свечей. Вязкий запах воска, смешанный с дыханием кашлявших, чихавших людей, подступил к кафедре, и отец Панлю, вновь вернувшись к своей посылке, с ловкостью, высоко оцененной слушающими, заговорил спокойным голосом: «Знаю, многие из вас спрашивают себя, к чему я, в сущности, веду. Я хочу привести вас к истине и научить вас радоваться вопреки всему, что я здесь сказал. Ныне уже не те времена, когда человека ведут к добру благие советы и рука брата. Ныне указывает истина. И путь к спасению указывает вам также багровое копьё, и оно же подталкивает вас к богу. Вот в этом-то, братья мои, проявляет себя небесное милосердие, вложившее во все сущее и добро и зло, и гнев и жалость, и чуму и спасение. Тот самый бич, что жестоко разит вас, возносит каждого и указывает ему путь... Еще в давние времена абиссинцы христианского вероисповедания видели в чуме вернейшее средство войти в царство небесное и приписывали ей божественное происхождение. Тот, кого пощадил недуг, укутывался в полотно, которыми укрывали зачумлен-

ных, дабы наверняка умереть той же смертью. Разумеется, столь яростное стремление к спасению души мы рекомендовать не можем. Тут проявляет себя прискорбное поспешательство, граничащее с гордыней. Не следует опережать господа своего и тщиться ускорить ход незыблемого порядка, установленного творцом раз и навсегда. Это прямым путем ведет к ереси. Но так или иначе, пример сей поучителен. Самым пронзительным умам он показывает лучезарный свет вечности в недрах любого страдания. Он, этот свет, озаряет сумеречные дороги, ведущие к освобождению... Он, этот свет, есть проявление божественной воли, которая без усталости претворяет зло в добро. Даже ныне он, этот свет, ведет нас путем смерти, страха и кликов ужаса к последнему безмолвию и к высшему принципу всей нашей жизни. Вот, братья, то несказанное утешение, которое мне хотелось бы вам дать, и пусть то, что вы слышали здесь, будет не просто карающими словесами, но несущим умиротворение глаголом».

По всему чувствовалось, что проповедь отца Панлю подходит к концу. Дождь прекратился. С неба сквозь влажную дымку лился на площадь новорожденный свет. С улицы долетал гул голосов, шуршание автомобильных шин — обычный язык пробуждающегося города. Стараясь не производить шума, слушатели потихоньку стали собираться, в храме началась тихая возня. Однако преподобный отец снова заговорил, он заявил, что, доказав божественное происхождение чумы и карающую миссию бича божьего, он больше не вернется к этой теме и, заканчивая свое слово, поостережется прибегать к красотам красноречия, что было бы неуместно, коль скоро речь идет о событиях столь трагических. По его мнению, всем и так все должно быть ясно. Он хочет лишь напомнить слушателям, что летописец Матье Марэ, описывая великую чуму, обрушившуюся на Марсель, жаловался, что живет он в аду, без помощи и надежды. Ну что ж, Матье Марэ был жалкий слепец! Наоборот, отец Панлю решится утверждать, что именно сейчас каждому человеку дана божественная подмога и извечная надежда христианина. Он надеется вопреки всем надеждам, вопреки ужасу этих дней и крикам умирающих, он надеется, что сограждане наши обратят к небесам то единственное слово, слово христианина, которое и есть сама любовь. А господь довершит остальное.

Трудно сказать, произвела ли эта проповедь впечатление на наших сограждан. Например, мсье Отон, следовательно, заявил доктору Риэ, что, на его взгляд, основной тезис отца Панлю «абсолютно неопровержим». Однако не все оранцы придерживались столь категорического мнения. Проще говоря, после проповеди они острее почувствовали то, что до сего дня виделось им как-то смутно, — что они осуждены за неведомое преступление на заточение, которое и представить себе невозможно. И если одни продолжали свое скромное существование, старались приспособиться к заключению, то другие, напротив, думали лишь о том, как бы вырваться из этой тюрьмы.

Поначалу люди безропотно примирились с тем, что отрезаны от внешнего мира, как примирились бы они с любой временной

неприятностью, угрожавшей лишь кое-каким их привычкам. Но когда они вдруг осознали, что попали в темницу, когда над головой, как крышка, круглилось летнее небо, коробившееся от зноя, они стали смутно догадываться, что заключение угрожает всей их жизни, и вечерами, когда спускавшаяся прохлада подстегивала их энергию, они совершали порой самые безрассудные поступки.

Сначала — трудно сказать, было ли то простым совпадением, но только после этого вышеупомянутого воскресенья в нашем городе поселился страх; и по глубине его, и по охвату стало ясно, что наши сограждане действительно начали отдавать себе отчет в своем положении. Так что с известной точки зрения атмосфера в нашем городе чуть изменилась. Но вот в чем вопрос — произошли ли эти изменения в атмосфере самого города или в человеческих сердцах?

Через несколько дней после воскресной проповеди доктор Риэ вместе с Граном отправились на окраину города, обсуждая достославное событие, как вдруг путь им преградил какой-то человек: он неуклюже топтался перед ними, но почему-то не двигался с места. Как раз в эту минуту вспыхнули уличные фонари, теперь их зажигали все позже и позже. Свет фонаря, подвешенного к высокой мачте, стоявшей у них за спиной, вдруг осветил этого человека, и они увидели, что незнакомец беззвучно хохочет, плотно зажмурив глаза. По его бледному, искаженному ухмылкой безмолвного веселья лицу крупными каплями катился пот. Они прошли мимо.

— Сумасшедший, — проговорил Гран.

Риэ, взявший своего спутника под руку, чтобы поскорее увести его подальше от этого зрелища, почувствовал, как тело Грана бьет нервическая дрожь.

— Скоро у нас в городе все будет сумасшедшие, — заметил Риэ.

Горло у него пересохло, очевидно сказывалась многодневная усталость.

— Зайдем выпьем чего-нибудь.

В тесном кафе, куда они зашли, освещенном единственной лампой, горящей над стойкой и разливавшей густо-багровый свет, посетители почему-то говорили вполголоса, хотя, казалось бы, для этого не было никаких причин. Гран, к великому изумлению доктора, заказал себе стакан рому, выпил одним духом и заявил, что это здорово крепко. Потом направился к выходу. Когда они очутились на улице, Риэ почудилось, будто ночной мрак густо пронизан стенаниями. Глухой свист, шедший с черного неба и вьющийся где-то над фонарями, невольно напомнил ему невидимый бич божий, неумоимо рассекавший теплый воздух.

— Какое счастье, какое счастье, — твердил Гран.

Риэ старался понять, что, собственно, он имеет в виду.

— Какое счастье, — сказал Гран, — что у меня есть моя работа.

— Да, — подтвердил Риэ, — это действительно огромное преимущество.

И, желая заглушить этот посвист, он спросил Грана, доволен ли тот своей работой.

— Да как вам сказать, думается, я на верном пути.

— А долго вам еще трудиться?

Гран воодушевился, голос его зазвучал громче, словно согретый парами алкоголя.

— Не знаю, но вопрос в другом, доктор, да-да, совсем в другом.

Даже в темноте Риэ догадался, что его собеседник размахивает руками. Казалось, он готовит про себя речь, и она и впрямь вдруг вырвалась наружу и полилась без запинок:

— Видите ли, доктор, чего я хочу — я хочу, чтобы в тот день, когда моя рукопись попадет в руки издателя, издатель, прочитав ее, поднялся бы с места и сказал своим сотрудникам: «Господа, шапки долой!»

Это неожиданное заявление удивило Риэ. Ему почудилось даже, будто Гран поднес руку к голове жестом человека, снимающего шляпу, а потом выкинул руку вперед. Там наверху, в небе, с новой силой зазвенел странный свист.

— Да,—проговорил Гран,—я обязан добиться совершенства.

При всей своей неискушенности в литературных делах Риэ, однако, подумал, что, очевидно, все происходит не так просто и что, к примеру, вряд ли издательские работники сидят в своих кабинетах в шляпах. Но кто его знает — и Риэ предпочел промолчать. Вопреки воле он прислушивался к таинственному рокоту чумы. Они подошли к кварталу, где жил Гран, и, так как дорога слегка поднималась вверх, на них повеяло свежим ветерком, унесшим одновременно все шумы города. Гран все продолжал говорить, но Риэ улавливал только половину его слов. Он понял лишь, что произведение, о котором идет речь, уже насчитывает сотни страниц и что самое мучительное для автора — это добиться совершенства...

— Целые вечера, целые недели бьешься над одним каким-нибудь словом... а то и просто над согласованием.

Тут Гран остановился и схватил доктора за пуговицу пальто. Из его почти беззубого рта слова вырывались с трудом.

— Поймите меня, доктор. На худой конец, не так уж сложно сделать выбор между «и» и «но». Уже много труднее отдать предпочтение «и» или «потом». Трудности возрастают, когда речь идет о «потом» и «затем». Но конечно, самое трудное определить, надо ли вообще ставить «и» или не надо.

— Да,—сказал Риэ,—понимаю.

Он снова зашагал вперед. Гран явно сконфузился и догнал доктора.

— Простите меня,—пробормотал он.—Сам не знаю, что это со мной нынче вечером.

Риэ ласково похлопал его по плечу и сказал, что он очень хотел бы ему помочь, да и все, что он рассказывал, его чрезвычайно заинтересовало. Гран, по-видимому, успокоился, и, когда они дошли до подъезда, он, поколебавшись, предложил доктору подняться к нему на минуточку. Риэ согласился.

Гран усадил гостя в столовой у стола, заваленного бумагами, каждый листок был сплошь покрыт микроскопическими буквами, чернел от помарок.

— Да, она самая,—сказал Гран, поймав вопросительный взгляд Риэ.—Может, выпьете чего-нибудь? У меня есть немного вина.

Риэ отказался. Он глядел на листки рукописи.

— Да не глядите так,—попросил Гран.—Это только первая фраза. Ну и повозился же я с ней, ох и повозился.

Он тоже усталился на разбросанные по столу листки, и рука его, повинувшись неодолимому порыву, сама потянулась к странице, поднесла ее поближе к электрической лампочке без абажура. Листок дрожал в его руке. Риэ заметил, что на лбу Грана выступили капли пота.

— Садитесь,—сказал он,—и почитайте.

Гран вскинул на доктора глаза и благодарно улыбнулся.

— Верно,—сказал он,—мне и самому хочется вам почитать.

Он подождал с минуту, не отрывая взгляда от страницы, потом сел. А Риэ вслушивался в невнятное бормотание города, которое как бы служило аккомпанементом к свисту бича. Именно в этот миг он необычайно остро ощутил весь город, лежавший внизу, превратившийся в наглухо замкнутый мирок, раздираемый страшными воплями, которые поглощал ночной мрак. А рядом глухо бубнил Гран: «Прекрасным утром мая элегантная amazonка на великолепном гнедом коне скакала по цветущим аллеям Булонского леса...» Затем снова наступила тишина и принесла с собой невнятный гул города-мученика. Гран положил листок, но глаз от него не отвел. Через минуту он посмотрел на Риэ:

— Ну как?

Риэ ответил, что начало показалось ему занимательным и интересно было бы узнать, что будет дальше. На это Гран горячо возразил, что такая точка зрения неправомерна. И даже прихлопнул листок ладонью.

— Пока что все это еще очень приблизительно. Когда мне удастся непогрешимо точно воссоздать картину, живущую в моем воображении, когда у моей фразы будет тот же аллюр, что у этой четкой рыси—раз-два-три, раз-два-три,—все остальное пойдет легче, а главное, иллюзия с первой же строчки достигнет такой силы, что смело можно будет сказать: «Шапки долой!»

Но пока что работы у него непочатый край. Ни за какие блага мира он не согласится отдать вот такую фразу в руки издателя. Хотя временами эта фраза и дает ему чувство авторского удовлетворения, он отлично понимает, что пока еще она полностью не передает реальной картины, написана как-то слишком легковесно и это, пусть отдаленно, все-таки роднит ее со штампом. Примерно таков был смысл его речей, когда за окном вдруг раздался топот ног бегущих людей. Риэ поднялся.

— Вот увидите, как я ее поверну,—сказал Гран и, оглянувшись на окно, добавил:—Когда все это будет кончено...

Тут снова послышались торопливые шаги. Риэ поспешно спустился на улицу, и мимо прошли два человека. Очевидно, они направлялись к городским воротам. И действительно, кое-кто из наших сограждан, потеряв голову от зноя и чумы, решил действовать силой и, попытавшись обмануть бдительность кордона, выбраться из города.

Другие, как, скажем, Рамбер, тоже пытались вырваться из атмосферы нарождающейся паники, но действовали если не более успешно, то упорнее и хитрее. Для начала Рамбер проделал все официальные демарши. По его словам, он всегда считал, что настойчивость рано или поздно восторжествует, да и с известной точки зрения умение выпутываться из любых положений входило в его профессию. Поэтому он посетил множество канцелярий и людей, чья компетенция обычно не подлежала сомнению. Но в данном случае вся их компетенция оказалась ни к чему. Как правило, это были люди, обладавшие вполне точными и упорядоченными представлениями обо всем, что касалось банковских операций, или экспорта, или цитрусовых, или виноторговли, люди, имевшие неоспоримые знания в области судебных разбирательств или страхования, не говоря уже о солидных дипломах и немалом запасе доброй воли. Как раз и поражало в них наличие доброй воли. Но во всем касающемся чумы их знания сводились к нулю.

И тем не менее Рамбер каждый раз излагал каждому из них свое дело. Его аргументы в основном сводились к тому, что он, мол, чужой в нашем городе и поэтому его случай требует особого рассмотрения. Как правило, собеседники охотно соглашались с этим доводом. Но почти все давали ему понять, что в таком точно положении находится немало людей и поэтому случай его не такой уж исключительный, как ему кажется. На что Рамбер возражал, что, если даже так, суть его доводов от этого не меняется, а ему отвечали, что все-таки меняется, так как власти чинят в таких случаях препятствия, боятся любых поблажек, не желая создать так называемый прецедент, причем последнее слово произносилось с нескрываемым отвращением. Рамбер как-то сообщил доктору Риз, что таких субъектов по созданной им классификации он заносит в графу «бюрократы». А кроме бюрократов, попадались еще и краснобай, уверявшие просителя, что все это долго не протянется, а когда от них требовали конкретного решения, не скупившись на добрые советы, даже пытались утешать Рамбера, твердя, что все это лишь скоропреходящие неприятности. Попадались также сановитые, эти требовали, чтобы проситель подал им бумагу с изложением просьбы, а они известят его о своем решении; попадались пустозвоны, предлагавшие ему ордер на квартиру или сообщавшие адрес недорогого пансиона; попадались педанты, требовавшие заполнить по всей форме карточку и тут же приобщавшие ее к делу; встречались неврастеники, вздымавшие к небу руки; встречались неговорчивые, отводившие глаза; и наконец, и таких было большинство, встречались формалисты, отсылавшие по привычке Рамбера в соседнюю канцелярию или подсказывавшие какой-нибудь новый ход.

Журналист издергался от всех этих хождений, зато сумел составить себе достаточно ясное представление, что такое мэрия или префектура, еще и потому, что вынужден был сидеть часами в ожидании на обитой молескином скамейке напротив огромных плакатов — одни призывали подписываться на государственный заем, не облагаемый налогами, другие — вступить в колониальные войска; а потом еще топтался в самих канцеляриях, где на лицах

служащих можно прочесть не больше, чем на скоросшивателях и полках с папками. Правда, было тут одно преимущество, как признался не без горечи Рамбер доктору Риз: все эти хлопоты заслонили от него истинное положение дел. Фактически он даже не заметил, что эпидемия растет. Не говоря уже о том, что дни в этой бесполезной беготне проходили быстрее, а ведь можно, пожалуй, считать, что в том положении, в котором находился весь город, каждый прошедший день приближает каждого человека к концу его испытаний, если, понятно, он до этого доживет. Риз вынужден был признать, что такая точка зрения не лишена логики, но заключенная в ней истина, пожалуй, чересчур обща.

Наконец наступила минута, когда для Рамбера забрезжила надежда. Из префектуры он получил анкету с просьбой заполнить ее как можно точнее. Пославших анкету интересовало: его точные имя и фамилия, его семейное положение, его доходы — прежние и настоящие, словом, то, что принято называть *siggislum vitae*¹. В первые минуты ему показалось, будто эту анкету разослали специально тем лицам, которых можно отправить к месту их обычного жительства. Кое-какие сведения, полученные в канцелярии, правда довольно туманные, подтвердили это впечатление. Но после решительных шагов Рамберу удалось обнаружить отдел, рассылающий анкеты, и там ему сообщили, что сведения собирают «на случай».

— Какой случай? — спросил Рамбер.

Тогда ему объяснили, что на тот случай, если он заразится чумой и умрет, и тогда, с одной стороны, отдел сможет сообщить об этом прискорбном факте его родным, а с другой — установить, будет ли оплачиваться содержание его, Рамбера, в лазарете из городского бюджета, или же можно будет надеяться, что родные покойного покроют эту сумму. Конечно, это доказывало, что он не окончательно разлучен с той, что ждет его, — раз их судьбой занимается общество. Но утешение было довольно жалкое. Более примечательно то — и Рамбер не преминул это заметить, — что в самый разгар сурового бедствия некая канцелярия хладнокровно занималась своим делом, проявляла инициативу в дочумном стиле, подчас даже не ставя в известность начальство, и делала это лишь потому, что была специально создана для подобной работы.

Последующий период оказался для Рамбера и самым легким, и одновременно самым тяжелым. Это был период оцепенения. Журналист уже побывал во всех канцеляриях, предпринял все необходимые шаги и понял, что с этой стороны, по крайней мере на данное время, выход надежно забаррикадирован. Тогда он стал бродить из кафе в кафе. Утром усаживался на террасе кафе перед кружкой тепловатого пива и листал газеты в надежде обнаружить в них хоть какой-то намек на близкий конец эпидемии, разглядывал прохожих, с неприятно отворачивался от их невеселых лиц и, прочитав десятки, сотни раз вывески расположенных напротив магазинов, а также рекламу знаменитых аперитивов, которые уже не подавали, поднимался с места и шел по желтым улицам города куда глаза глядят. Так и проходило время до вечера, от одинокого

¹ Жизнеописание (лат.).

утреннего сидения в кафе до ужина в ресторане. Именно вечером Риэ заметил Рамбера, стоявшего в нерешительной позе у дверей кафе. Наконец он, видимо преодолев колебания, вошел и сел в дальнем углу зала. Близился тот час—по распоряжению свыше он с каждым днем наступал все позже и позже,—когда в кафе и ресторанах дают свет. Зал заволакивали сумерки, водянистые, мутно-серые, розоватость закатного неба отражалась в оконных стеклах, и в сгущающейся темноте слабо поблескивал мрамор столиков. Здесь, среди пустынной залы, Рамбер казался заблудшей тенью, и Риэ подумалось, что для журналиста это час отрешенности. Но и все прочие пленники зачумленного города проходили так же, как и он, свой час отрешенности, и надо было что-то делать, чтобы поторопить минуту освобождения. Риэ отвернулся.

Целые часы Рамбер проводил также и на вокзале. Выход на перрон был запрещен. Но в зал ожидания, куда попадали с площади, дверей не запирали, и иногда в знойные дни там укрывались нищие—в залах было свежо, как в тени. Рамбер приходил на вокзал читать старые расписания поездов, объявления, запрещающие плевать на пол, и расписание работ железно-дорожной полиции. Потом он садился в уголок. В зале было полутемно. Бока старой чугунной печки, не топленной уже многие месяцы, были все в разводах от поливки дезинфицирующими средствами. Со стены десятков плакатов вещал о счастливой и свободной жизни где-нибудь в Бандоле или Каннах. Здесь на Рамбера накатывало ощущение пугающей свободы, которое возникает, когдаходишь до последней черты. Из всех зрительных воспоминаний самыми мучительными были для него картины Парижа, так по крайней мере он уверял доктора Риэ. Париж становился его наваждением, и знакомые пейзажи—вода и старые камни, голуби на Пале-Рояль, Северный вокзал, пустынные кварталы вокруг Пантеона и еще кое-какие парижские уголки—убивали всякое желание действовать, а ведь раньше Рамбер даже не подозревал, что любит их до боли. Риэ подумал только, что журналист просто отождествляет эти образы со своей любовью. И когда Рамбер сказал ему как-то, что любит просыпаться в четыре часа утра и думать о своем родном городе, доктор без труда сопоставил эти слова со своим сокровенным опытом—ему тоже приятно было представлять себе как раз в эти часы свою уехавшую жену. Именно в этот час ему удавалось ощутить ее взаправду. До четырех часов утра человек, в сущности, ничего не делает и спит себе спокойно, если даже ночь эта была ночью измены. Да, человек спит в этот час, и очень хорошо, что спит, ибо единственное желание измученного тревогой сердца—безраздельно владеть тем, кого любишь, или, когда настал час разлуки, погрузить это существо в сон без сновидений, дабы продлился он до дня встречи.

Вскоре после проповеди наступил период жары. Подходил к концу июнь. На следующий день после запоздалых ливней, отметивших собой пресловутую проповедь, лето вдруг расцвело в

небе и над крышами домов. Приход его начался с горячего ураганного ветра, утихшего только к вечеру, но успевшего высушить все стены в городе. Солнце, казалось, застряло посредине неба. В течение всего дня зной и яркий свет заливали город. Едва человек покидал дом или выходил из-под уличных аркад, как сразу же начинало казаться, будто во всем городе не существует угла, защищенного от этого ослепляющего излучения. Солнце преследовало наших сограждан даже в самых глухих закоулках, и стоило им остановиться хоть на минуту, как оно обрушивалось на них. Так как первые дни жары совпали со стремительным подъемом кривой смертности—теперь эпидемия уносила за неделю примерно семьсот жертв,—в городе воцарилось уныние. В предместьях, где на ровных улицах стоят дома с террасами, затихло обычное оживление, и квартал, где вся жизнь проходит у порога, замер; ставни были закрыты. Но никто не знал, что загнало людей в комнаты—чума или солнце. Однако из некоторых домов доносились стоны. Раньше, когда случалось нечто подобное, на улице собирались зеваки, прислушивались, судачили. Но теперь, когда тревога затянулась, сердца людей, казалось, очерствели, и каждый жил или шагал где-то в стороне от этих стонов, как будто они стали естественным языком человека.

Схватка у городских ворот, когда жандармам пришлось пустить в ход оружие, вызвала глухое волнение. Были, конечно, раненые, но в городе, где все и вся преувеличивалось под воздействием жары и страха, утверждали, что были и убитые. Во всяком случае, верно одно—недовольство не переставало расти, и, предвидя худшее, наши власти всерьез начали подумывать о мерах, которые придется принять в том случае, если население города, смилившееся было под бичом, вдруг взбунтуется. Газеты печатали приказы, где вновь и вновь говорилось о категорическом запрещении покидать пределы города, нарушителям грозила тюрьма. Город прочесывали патрули. По пустынным, раскаленным зноем улицам, между двух рядов плотно закрытых ставен, то и дело проезжал конный патруль, предупреждавший о своем появлении звонким цоканьем копыт по мостовой. Патруль скрывался за углом, и глухая, настороженная тишина вновь окутывала бедствующий город. Временами раздавались выстрелы—это специальный отряд, согласно полученному недавно приказу, отстреливал бродячих собак и кошек, возможных переносчиков блох. Эти сухие хлопки окончательно погружали город в атмосферу военной тревоги.

Все приобретало несуразно огромное значение в испуганных душах наших сограждан, и виной тому были жара и безмолвие. Впервые наши сограждане стали замечать краски неба, запахи земли, возвещавшие смену времен года. Каждый со страхом понимал, что зной будет способствовать развитию эпидемии, и в то же время каждый видел, что наступало лето. Крики стрижей в вечернем небе над городом становились особенно ломкими. Но июньские сумерки, раздвигавшие в наших краях горизонт, были куда шире этого крика. На рынки вывозили уже не первые весенние бутоны, а пышно распустившиеся цветы, и после

утренней распродажи разноцветные лепестки густо устилали пыльные тротуары. Все видели воочию, что весна на исходе, что она расточила себя на эти тысячи и тысячи цветов, сменявших друг друга, как в хороводе, и что она уже чахнет под душившим ее исподволь двойным грузом — чумы и зноя. В глазах всех наших сограждан это по-летнему яркое небо, эти улицы, принявшие белесую окраску пыли и скуки, приобретали столь же угрожающий смысл, как сотни смертей, новым бременем ложившихся на плечи города. Безжалостное солнце, долгие часы с привкусом дремоты и летних вакаций уже не звали, как раньше, к празднествам воды и плоти. Напротив, в нашем закрытом притихшем городе они звучали глухо, как в подземелье. Часы эти утратили медный лоск загара счастливых летних месяцев. Солнце чумы приглушало все краски, гнало прочь все радости.

Вот в этом-то и сказался один из великих переворотов, произведенных чумой. Обычно наши сограждане весело приветствовали приход лета. Тогда город весь раскрывался навстречу морю и выплескивал все, что было в нем молодого, на пляжи. А нынешним летом море, лежавшее совсем рядом, было под запретом, и тело лишалось права на свою долю радости. Как жить в таких условиях? И онять-таки Тарру дал наиболее верную картину нашего существования в те печальные дни. Само собой разумеется, он следил лишь в общих чертах за развитием чумы и справедливо отметил в своей записной книжке как очередной этап эпидемии то обстоятельство, что радио отныне уже не сообщает, сколько сотен человек скончалось за неделю, а приводит данные всего за один день — девятьюстами двумя смертными случаями, сто семь, сто двадцать. «Пресса и городские власти стараются перехитрить чуму. Воображают, будто выигрывают очко только потому, что сто тридцать, конечно, меньше, чем девятьсот десять». Запечатлел он также трогательные или просто эффектные аспекты эпидемии — рассказал о том, как шел по пустынному кварталу мимо наглухо закрытых ставен, как вдруг над самой его головой широко распахнулись обе створки окна и какая-то женщина, испустив два пронзительных крика, снова захлопнула ставни, отрезав густой мрак комнаты от дневного света. А в другом месте он записал, что из аптеки исчезли мятные лепешечки, потому что многие сосут их непрерывно, надеясь уберечься от возможной заразы.

Продолжал он также наблюдать за своими любимыми персонажами. В частности, убедился, что кошачий старичок тоже переживает трагедию. Как-то утром на их улице захлопали выстрелы, и, судя по записям Тарру, свинцовые плевки уложили на месте большинство кошек, а остальные в испуге разбежались. В тот же день старичок вышел в обычный час на балкон, недоуменно передернул плечами, перевесился через перила, зорко оглядел всю улицу из конца в конец и, видимо, решил покориться судьбе и ждать. Пальцы его нервно выбивали дробь по металлическим перилам. Он еще подождал, побросал на тротуар бумажки, вошел в комнату, вышел снова, потом вдруг исчез, злобно хлопнув балконной дверью. В последующие дни сцена эта повторялась в точности, но теперь на лице старичка явно читались

все более и более глубокие грусть и растерянность. А уже через неделю Тарру напрасно поджидал этого ежедневного появления, окна упорно оставались закрытыми, за ними, видимо, царила вполне объяснимая печаль. «Запрещается во время чумы плевать на котов» — таким афоризмом заканчивалась эта запись.

Зато Тарру, возвращаясь к себе по вечерам, мог быть уверен, что увидит в холле мрачную физиономию ночного сторожа, без усталости шагавшего взад и вперед. Сторож напоминал всем и каждому, что он, мол, предвидел теперешние события. Когда же Тарру, подтвердив, что сам слышал это пророчество, позволил себе заметить, что предсказывал тот скорее землетрясение, старик возразил: «Эх, кабы землетрясение! Тряхнет хорошенько — и дело с концом... Сосчитают мертвых, живых — и все тут. А вот эта стерва чума! Даже тот, кто не болен, все равно носит болезнь у себя в сердце».

Директор отеля был удручен не меньше. В первое время путешественники, застрявшие в Оране, вынуждены были жить в отеле в связи с тем, что город был объявлен закрытым. Но эпидемия продолжалась, и многие постояльцы предпочли поселиться у своих друзей. И по тем же самым причинам, по каким все номера гостиницы раньше были заняты — теперь они пустовали, — новых путешественников в наш город не пускали. Тарру оставался в числе нескольких последних жильцов, и директор при каждой встрече давал ему понять, что он давным-давно уже закрыл бы отель, но не делает этого ради своих последних клиентов. Нередко он спрашивал мнение Тарру насчет возможной продолжительности эпидемии. «Говорят, — отвечал Тарру, — холода препятствуют развитию бактерий». Тут директор окончательно терял голову: «Да здесь же никогда настоящих холодов не бывает, мсье. Так или иначе, это еще на много месяцев!» К тому же он был убежден, что и после окончания эпидемии путешественники долго еще будут обходить наш город стороной. Эта чума — гибель для туризма.

В ресторане после недолгого отсутствия вновь появился господин Отон, человек-филин, но в сопровождении только двух своих дрессированных собачек. По наведенным справкам, его жена ухаживала за больной матерью и теперь, похоронив ее, находилась в карантине.

— Не нравится мне это, — признался директор Тарру. — Карантин карантином, а все-таки она на подозрении, а значит, и они тоже.

Тарру заметил, что с такой точки зрения все люди подозрительны. Но директор стоял на своем, и, как оказалось, у него на сей счет было вполне определенное мнение.

— Нет, мсье, мы с вами, например, не подозрительные. А они — да.

Но господин Отон ничуть не собирался менять свои привычки из-за таких пустяков, как чума, в данном случае чума просчиталась. Все так же входил он в зал ресторана, садился за столик первым, по-прежнему вел со своими отпрысками неприязненно-изысканные разговоры. Изменился один только мальчуган. Весь в черном, как и его сестренка, он как-то съезжился и казался

миниатюрной тенью отца. Ночной сторож, не выносивший господина Отона, ворчал:

— Этот-то и помрет одетым. И обрядовать его не придется. Так и отправится прямехонько на тот свет.

Нашлось в дневнике место и для записи о проповеди отца Панлю, но со следующими комментариями: «Мне понятен, даже симпатичен этот пыл. Начало бедствий, равно как и их конец, всегда сопровождается небольшой дозой риторики. В первом случае еще не утрачена привычка, а во втором она уже успела вернуться. Именно в разгар бедствий привыкаешь к правде, то есть к молчанию. Подождем».

Записал Тарру также, что имел с доктором Риэ продолжительную беседу, но не изложил ее, а отметил только, что она привела к положительным результатам, упомянул по этому поводу, что глаза у матери доктора карие, и вывел отсюда довольно-таки странное заключение, что взгляд, где читается такая доброта, всегда будет сильнее любой чумы, и, наконец, посвятил чуть ли не страницу старому астматику, пациенту доктора Риэ.

После их беседы он увязался за доктором, отправившимся навещать больного. Старик приветствовал гостей своим обычным ядовитым хихиканьем и потиранием рук. Он лежал в постели, под спину у него была подсунута подушка, а по бокам стояли две кастрюли с горошком.

— Ага, еще один,—сказал он, заметив Тарру.—Все на свете шиворот-навыворот, докторов стало больше, чем больных. Ну как, быстро дело пошло, а? Кюре прав, получили по заслугам.

На следующий день Тарру снова явился к нему без предупреждения. Если верить его записям, старик астматик, галантерейщик по роду занятий, достигнув пятидесяти лет, решил, что достаточно потрудился на своем веку. Он слег в постель и уже не вставал. Однако в стоячем положении астма его почти не мучила. Так и дожил он на небольшую ренту до своего семидесятипятилетия и легко нес бремя лет. Он не терпел вида любых часов, и в доме у них не было даже будильника. «Часы,—говаривал он,—и дорого, да и глупость ужасная». Время он узнавал, особенно время приема пищи, единственно для него важное, с помощью горошка, так как при пробуждении у его постели уже стояли две кастрюли, причем одна полная доверху. Так, горошина за горошиной, он наполнял пустую кастрюлю равномерно и прилежно. Кастрюли с горошком были, так сказать, его личными ориентирами, вполне годными для измерения времени. «Вот переложу пятнадцать кастрюль,—говорил он,—и закусить пора будет. Чего же проще».

Если верить его жене, он еще смолоду проявлял странности. И впрямь, никогда ничто его не интересовало—ни работа, ни друзья, ни кафе, ни музыка, ни женщины, ни прогулки. Он и города-то ни разу не покидал; только однажды, когда по семейным делам ему пришлось отправиться в Алжир, он вылез на ближайшей от Орана станции—дальнейшее странствие оказалось ему не по силам—и первым же поездом вернулся домой.

Старик объяснил господину Тарру, который не сумел скрыть своего удивления перед этим добровольным затворничеством, что, согласно религии, первая половина жизни человека—это подъем,

а вторая — спуск, и, когда начинается этот самый спуск, дни человека принадлежат уже не ему, они могут быть отняты в любую минуту. С этим ничего поделать нельзя, поэтому лучше вообще ничего не делать. Впрочем, явная нелогичность этого положения, видно, нисколько его не смущала, так как почти тут же он заявил Тарру, что бога не существует, будь бог, к чему бы тогда нужны попы. Но из дальнейшей беседы Тарру стало ясно, что философская концепция старика прямо объяснялась тем недовольством, которое вызывали у него благотворительные поборы в их приходе. В качестве последнего штриха к его портрету необходимо упомянуть о самом заветном желании старика, которое он неоднократно высказывал собеседнику: он надеялся умереть в глубокой старости.

«Кто он, святой? — спрашивал себя Тарру. И отвечал: — Да, святой, если только святость есть совокупность привычек».

Но в то же самое время Тарру затеял описать во всех подробностях один день зачумленного города и дать точное представление о занятиях и жизни наших сограждан этим летом. «Никто, кроме пьяниц, здесь не смеется, — записал Тарру, — а они смеются слишком много и часто». Затем шло само описание.

«На заре по городу проносится легкое веяние. В этот час, час между теми, кто умер ночью, и теми, кто умрет днем, почему-то чудится, будто мор на миг замирает и набирается духу. Все магазины еще закрыты. Но объявления, выставленные кое-где в витринах: «Закрыто по случаю чумы», свидетельствуют, что эти магазины не откроются в положенное время. Не совсем еще проснувшиеся продавцы газет не выкрикивают последних известий, а, прислонясь к стенке на углу улицы, молча протягивают фонарям свой товар жестом лунастика. Еще минута-другая, и разбуженные звоном первых трамваев газетчики рассыплются по всему городу, держа в вытянутой руке газетный лист, где чернеет только одно слово: «Чума». «Продолжится ли чума до осени? Профессор Б. отвечает: «Нет!» «Сто двадцать четыре смертных случая — таков итог девяносто четвертого дня эпидемии».

Несмотря на бумажный кризис, который становится все более ощутимым и в силу которого многие издания сократили свой объем, стала выходить новая газета «Вестник эпидемии», задача коей «информировать наших граждан со всей возможной объективностью о прогрессе или затухании болезни; давать им наиболее авторитетную информацию о дальнейшем ходе эпидемии; предоставлять свои страницы всем тем, известным или неизвестным, кто намерен бороться против бедствия; поддерживать дух населения, печатать распоряжения властей, — словом, собрать воедино, в один кулак добрую волю всех и каждого, дабы успешно противостоять постигшему нас несчастью». В действительности же газета буквально через несколько дней ограничила свою задачу публикацией сообщений о новых и надежных профилактических средствах против чумы.

Часов в шесть утра газеты успешно раскупаются очередями, уже выстроившимися у дверей магазинов за час до открытия, а потом и в трамваях, которые приходят с окраин, переполненные до отказа. Трамваи стали теперь единственным нашим транспор-

том, и продвигаются они с трудом, так как все площадки и подножки облеплены пассажирами. Любопытная деталь — пассажиры стараются стоять друг к другу спиной, конечно насколько это возможно при такой давке,—во избежание взаимного заражения. На остановках трамвай выбрасывает из себя партию мужчин и женщин, которые спешат разбежаться в разные стороны, чтобы остаться в одиночестве. Нередко в трамвае разыгрываются скандалы, что объясняется просто дурным настроением, а оно стало теперь хроническим.

После того как пройдут первые трамваи, город постепенно начинает просыпаться, открываются первые пивные, где на стойках стоят объявления вроде: «Кофе нет», «Сахар приносите с собой» и т. д. и т. п. Потом открываются лавки, на улицах становится шумнее. Одновременно весь город заливают солнечные лучи и жара обволакивает июльское небо свицовой дымкой. В этот час люди, которым нечего делать, отваживаются пройтись по бульварам. Создается впечатление, будто многие во что бы то ни стало хотят заглянуть в чуму с помощью выставленной напоказ роскоши. Каждый день, часам к одиннадцати, на главных улицах города происходит как бы парад молодых людей и молодых дам, и, глядя на них, понимаешь, что в лоне великих катастроф зреет страстное желание жить. Если эпидемия пойдет вширь, то рамки морали, пожалуй, еще раздвинутся. И мы увидим тогда миланские сатурналии у разверстых могил.

В полдень, как по мановению волшебного жезла, наполняются все рестораны. А уже через несколько минут у двери топчутся маленькие группы людей, которым не хватило места. От зноя небо постепенно тускнеет. А в тени огромных маркиз чающие еды ждут своей очереди на улице, которую вот-вот растопит солнце. Рестораны потому так набиты, что они во многом упрощают проблему питания. Но не снимают страха перед заражением. Обедаящие долго и терпеливо перетирают приборы и тарелки. С недавнего времени в витринах ресторанов появились объявления: «У нас посуду кипятят». Но потом владельцы ресторанов отказались от всякой рекламы, поскольку публика все равно придет. К тому же клиент перестал скупиться. Самые тонкие или считающиеся таковыми вина, самые дорогие закуски — с этого начинается неистовое состязание пирующих. Говорят также, что в одном ресторане поднялась паника: один из обедающих почувствовал себя плохо, встал из-за столика, побледнел и, шатаясь, поспешно направился к выходу.

К двум часам город постепенно пустеет, в эти минуты на улицах сходятся вместе пыль, солнце, чума и молчание. Зной без передышки стекает вдоль стен высоких серых зданий. Эти долгие тюремные часы переходят в пламенеющие вечера, которые обрушиваются на людной, стрекочущий город. В первые дни жары, неизвестно даже почему, на улицах и вечерами никого не было. Но теперь дыхание ночной свежести приносит с собой если не надежду, то хоть разрядку. Все высыпает тогда из домов. Стараются оглушить себя болтовней, громкими спорами, вожделеют, и под алым июльским небом весь город, с его парочками и людским говором, дрейфует навстречу одышливой ночи. И

тищетно каждый вечер какой-то вдохновенный старец в фетровой шляпе и в галстук бабочкой расталкивает толпу со словами: «Бог велик, приидите к нему»: все, напротив, спешат к чему-то, чего они, в сущности, не знают, или к тому, что кажется им важнее бога. Поначалу, когда считалось, что разразившаяся эпидемия — просто обычная эпидемия, религия была еще вполне уместна. Но когда люди поняли, что дело плохо, все разом вспомнили, что существуют радости жизни. Тоскливый страх, уродующий днем все лица, сейчас, в этих пыльных, пылающих сумерках, уступает место какому-то неопределенному возбуждению, какой-то неуклюжей свободе, воспаляющей весь город.

И я, я тоже, как они. Да что там! Смерть для таких людей, как я,—ничто. Просто событие, доказывающее нашу правоту!»

Это сам Тарру попросил доктора Риэ о свидании, упомянутом в его дневнике. В вечер условленной встречи Риэ ждал гостя и глядел на свою мать, чинно сидевшую на стуле в дальнем углу столовой. Это здесь, на этом самом месте, она, покончив с хлопотами по хозяйству, проводила все свое свободное время. Сложив руки на коленях, она ждала. Риэ был даже не совсем уверен, что ждет она именно его. Но когда он входил в комнату, лицо матери менялось. Все то, что долгой трудовой жизнью было сведено к немоте, казалось, разом в ней оживало. Но потом она снова погружалась в молчание. Этим вечером она глядела в окно на уже опустевшую улицу. Уличное освещение теперь уменьшилось на две трети. И только редкие слабенькие лампочки еще прорезали ночной мрак.

— Неужели во время всей эпидемии так и будет электричество гореть вполне? — спросила госпожа Риэ.

— Вероятно.

— Хоть бы до зимы кончилось. А то зимой будет совсем грустно.

— Да,—согласился Риэ.

Он заметил, что взгляд матери скользнул по его лбу. Да и сам Риэ знал, что тревога и усталость последних дней не красят его.

— Ну как сегодня, не ладилось? — спросила госпожа Риэ.

— Да нет, как всегда.

Как всегда! Это означало, что новая сыворотка, присланная из Парижа, оказалась, по-видимому, менее действенна, чем первая, и что цифры смертности растут. Но по-прежнему профилактическую вакцинацию приходится делать только в семьях, где уже побывала чума. А чтобы впрыскивать вакцину в нужных масштабах, необходимо наладить ее массовое производство. В большинстве случаев бубоны упорно отказывались вскрываться, они почему-то стали особенно твердыми, и больные страдали вдвойне. Со вчерашнего дня в городе зарегистрировано два случая новой разновидности заболевания. Теперь к бубонной чуме присоединилась еще и легочная. И тогда же окончательно сбившиеся с ног врачи потребовали на заседании у растерявшегося префекта — и добились — принятия новых мер с целью избежать опасности заражения, так как легочная чума разносится дыханием человека. И как обычно, никто ничего не знал.

Он посмотрел на мать. Милый взгляд карих глаз всколыхнул в нем сыновнюю нежность, целые годы нежности.

— Уж не боишься ли ты, мать?

— В мои лета особенно бояться нечего.

— Дни длинные, а меня никогда дома не бывает.

— Раз я знаю, что ты придешь, я могу тебя ждать сколько угодно. А когда тебя нет дома, я думаю о том, что ты делаешь. Есть известия?

— Да, все благополучно, если верить последней телеграмме. Но уверен, что она пишет так, только чтоб меня успокоить.

У двери продребезжал звонок. Доктор улыбнулся матери и пошел открывать. На лестничной площадке было уже темно, и Тарру походил в сером своем костюме на огромного медведя. Риэ усадил гостя в своем кабинете у письменного стола. А сам остался стоять, держась за спинку кресла. Их разделяла лампа, стоявшая на столе, только она одна и горела в комнате.

— Я знаю,—без обиняков начал Тарру,—что могу говорить с вами откровенно.

Риэ промолчал, подтверждая слова Тарру.

— Через две недели или через месяц вы будете уже бесполезны, события вас обогнали.

— Вы правы,—согласился Риэ.

— Санитарная служба организована из рук вон плохо. Вам не хватает ни людей, ни времени.

Риэ подтвердил и это.

— Я узнал, префектура подумывает об организации службы из гражданского населения с целью побудить всех годных мужчин принять участие в общей борьбе по спасению людей.

— Ваши сведения верны. Но недовольство и так уж велико, и префект колеблется.

— Почему в таком случае не обратиться к добровольцам?

— Пробовали, но результат получился жалкий.

— Пробовали официальным путем, сами почти не веря в успех. Им не хватает главного—воображения. Потому-то они и отстают от масштабов бедствия. И воображают, что борются с чумой, тогда как средства борьбы не поднимаются выше уровня борьбы с обыкновенным насморком. Если мы не вмешаемся, они погибнут, да и мы вместе с ними.

— Возможно,—согласился Риэ.—Должен вам сказать, что они подумывают также о привлечении на черную работу заключенных.

— Я предпочел бы, чтобы работу выполняли свободные люди.

— Я тоже. А почему, в сущности?

— Ненавижу смертные приговоры.

Риэ взглянул на Тарру.

— Ну и что же?—сказал он.

— А то, что у меня есть план по организации добровольных дружин. Поручите мне заняться этим делом, а начальство давайте побоку. У них и без того забот по горло. У меня повсюду есть друзья, они-то и будут ядром организации. Естественно, я тоже вступлю в дружину.

— Надеюсь, вы не сомневаетесь, что я лично соглашусь с радостью,— сказал Риэ.— Человек всегда нуждается в помощи, особенно при нашем ремесле. Беру на себя провести ваше предложение в префектуре. Впрочем, иного выхода у них нет. Но...

Риэ замолчал.

— Но эта работа, вы сами отлично знаете, сопряжена со смертельной опасностью. И во всех случаях я обязан вас об этом предупредить. Вы хорошо обдумали?

Тарру поднял на доктора спокойные серые глаза:

— А что вы скажете, доктор, о проповеди отца Панлю?

Вопрос этот прозвучал так естественно, что доктор Риэ ответил на него тоже вполне естественно:

— Я слишком много времени провел в больницах, чтобы меня соблазняла мысль о коллективном возмездии. Но знаете ли, христиане иной раз любят поговорить на эту тему, хотя сами по-настоящему в это не верят. Они лучше, чем кажутся на первый взгляд.

— Значит, вы, как и отец Панлю, считаете, что в чуме есть свои положительные стороны, что она открывает людям глаза, заставляет их думать?

Доктор нетерпеливо тряхнул головой:

— Как и все болезни мира. То, что верно в отношении недугов мира сего, верно и в отношении чумы. Возможно, кое-кто и станет лучше. Однако, когда видишь, сколько горя и беды приносит чума, надо быть сумасшедшим, слепцом или просто мерзавцем, чтобы примириться с чумой.

Риэ говорил, почти не повышая голоса. Но Тарру взмахнул рукой, как бы желая его успокоить. Он улыбнулся.

— Да,— сказал Риэ, пожав плечами.— Но вы мне еще не ответили. Вы хорошенько все продумали?

Тарру удобнее устроился в кресле и потянулся к лампе.

— А в бога вы верите, доктор?

И этот вопрос прозвучал тоже вполне естественно. Но на сей раз Риэ ответил не сразу.

— Нет, но какое это имеет значение? Я нахожусь во мраке и стараюсь разглядеть в нем хоть что-то. Уже давно я не считаю это оригинальным.

— Это-то и отделяет вас от отца Панлю?

— Не думаю. Панлю — кабинетный ученый. Он видел недостаточно смертей и поэтому вещает от имени истины. Но любой сельский попик, который отпускает грехи своим прихожанам и слышит последний вздох умирающего, думает так же, как и я. Он прежде всего попытается помочь беде, а уж потом будет доказывать ее благодетельные свойства.

Риэ поднялся, свет лампы сполз с его лица на грудь.

— Раз вы не хотите ответить на мой вопрос,— сказал он,— оставим это.

Тарру улыбнулся, он по-прежнему удобно, не шевелясь, сидел в кресле.

— Можно вместо ответа задать вам вопрос?

Доктор тоже улыбнулся.

— А вы, оказывается, любите таинственность,—сказал он.—
Валайте.

— Так вот,—сказал Тарру.—Почему вы так самоотверженно делаете свое дело, раз вы не верите в бога? Быть может, узнав ваш ответ, и я сам смогу ответить.

Стоя по-прежнему в полутени, доктор сказал, что он уже ответил на этот вопрос и что, если бы он верил во всемогущего бога, он бросил бы лечить больных и передал их в руки господни. Но дело в том, что ни один человек на всем свете, да-да, даже и отец Панлю, который верит, что верит, не верит в такого бога, поскольку никто полностью не полагается на его волю, он, Риэ, считает, что, во всяком случае, здесь он на правильном пути, борясь против установленного миропорядка.

— А-а,—протянул Тарру,—значит, так вы себе представляете вашу профессию?

— Примерно,—ответил доктор и шагнул в круг света, падавшего от лампы.

Тарру тихонько присвистнул, и доктор внимательно взглянул на него.

— Да,—проговорил Риэ,—вы, очевидно, хотите сказать, что тут нужна гордыня. Но у меня, поверьте, гордыни ровно столько, сколько нужно. Я не знаю ни что меня ожидает, ни что будет после всего этого. Сейчас есть больные и их надо лечить. Размышлять они будут потом, и я с ними тоже. Но самое насущное—это их лечить. Я как умею защищаю их, и все тут.

— Против кого?

Риэ повернулся к окну. Вдалеке угадывалось присутствие моря по еще более плотной и черной густоте небосклона. Он ощущал лишь одно—многодневную усталость и в то же самое время боролся против внезапного и безрассудного искушения исповедоваться перед этим странным человеком, в котором он, однако, чувствовал братскую душу.

— Сам не знаю, Тарру, клянусь, сам не знаю. Когда я только еще начинал, я действовал в известном смысле отвлеченно, потому что так мне было нужно, потому что профессия врача не хуже прочих, потому что многие юноши к ней стремятся. Возможно, еще и потому, что мне, сыну рабочего, она далась исключительно трудно. А потом пришлось видеть, как умирают. Знаете ли вы, что существуют люди, не желающие умирать? Надеюсь, вы не слышали, как кричит умирающая женщина: «Нет, нет, никогда!» А я слышал. И тогда уже я понял, что не смогу к этому привыкнуть. Я был еще совсем юнец, и я перенес свое отвращение на порядок вещей как таковой. Со временем я стал поскромнее. Только так и не смог привыкнуть к зрелищу смерти. Я больше и сам ничего не знаю. Но так или иначе...

Риэ спохватился и замолчал. Он вдруг почувствовал, что во рту у него пересохло.

— Что так или иначе?..—тихо переспросил Тарру.

— Так или иначе,—повторил доктор и снова замолчал, внимательно приглядываясь к Тарру,—впрочем, такой человек, как вы, поймет, я не ошибся?.. Так вот, раз порядок вещей определяется смертью, может быть, для господа бога вообще лучше, чтобы в

него не верили и всеми силами боролись против смерти, не обращая взоры к небесам, где царит молчание.

— Да,—подтвердил Тарру,—понимаю. Но любые ваши победы всегда были и будут только преходящими, вот в чем дело.

Риэ помрачнел.

— Знаю, так всегда будет. Но это еще не довод, чтобы бросать борьбу.

— Верно, не довод. Но представляю себе, что же в таком случае для вас эта чума.

— Да,—сказал Риэ.—Нескончаемое поражение.

Тарру с минуту пристально смотрел на доктора, потом поднялся и тяжело зашагал к двери. Риэ пошел за ним. Когда он догнал его, Тарру стоял, уставившись себе под ноги, и вдруг спросил:

— А кто вас научил всему этому, доктор?

Ответ последовал незамедлительно:

— Человеческое горе.

Риэ открыл дверь кабинета, а в коридоре сказал Тарру, что тоже выйдет с ним, ему необходимо заглянуть в предместье к одному больному. Тарру предложил его проводить, и доктор согласился. В самом конце коридора им встретилась госпожа Риэ, и доктор представил ей гостя.

— Познакомься, это мой друг,—сказал он.

— Очень рада с вами познакомиться,—проговорила госпожа Риэ.

Когда она отошла, Тарру оглянулся ей вслед. На площадке доктор тщетно попытался включить электричество. Лестничные марши были погружены во мрак. Доктор решил, что это действует новый приказ об экономии электроэнергии. Но впрочем, кто знает. С недавних пор все как-то разладилось и в городе и в домах. Возможно, это был просто недосмотр привратников, а большинство наших сограждан сами уже ни о чем не заботились. Но доктор не успел додумать этой мысли, так как за спиной у него прозвучал голос Тарру:

— Еще одно замечание, доктор, пусть даже оно покажется вам смешным: вы абсолютно правы.

Риэ пожал плечами, хотя в темноте Тарру не мог видеть его жеста.

— Откровенно говоря, я и сам не знаю. Но вы-то, вы знаете?

— Ну-ну,—бесстрастно протянул Тарру,—я человек ученый.

Риэ остановился, и шедший за ним следом Тарру споткнулся в темноте на ступеньке. Но удержался на ногах, схватив доктора за плечо.

— Стало быть, по-вашему, вы все знаете о жизни?—спросил доктор.

Из темноты донесся ответ, произнесенный все тем же спокойным тоном:

— Да, знаю.

Только выйдя на улицу, они сообразили, что уже поздно, очевидно около одиннадцати. Город был тихим, в нем все смолкло, кроме шорохов. Где-то очень далеко раздался сигнал «скорой помощи». Они сели в машину, и Риэ завел мотор.

— Зайдите-ка завтра в лазарет,—сказал он,—вам надо сделать предохранительный укол. Но чтобы покончить с этим и прежде чем вы ввяжетесь в эту историю, вспомните, что у вас только один шанс из трех выпутаться.

— Такие подсчеты не имеют никакого смысла, и вы сами, доктор, это прекрасно знаете. Сто лет назад во время чумной эпидемии в Персии болезнь убила всех обитателей города, кроме как раз одного человека, который обмывал трупы и ни на минуту не прекращал своего дела.

— Значит, ему выпал третий шанс, вот и все,—сказал Риэ, и голос его прозвучал неожиданно глухо.— Но ваша правда, мы еще не слишком осведомлены насчет чумы.

Теперь они ехали по предместью. Автомобильные фары ярко сверкали среди пустынных улиц. Доктор остановил машину. Закрывая дверцу, он спросил Тарру, желает ли тот зайти к больному, и Тарру ответил, что желает. Их лица освещал только отблеск, шедший с ночного неба. Внезапно Риэ дружелюбно расхохотался.

— Скажите, Тарру,—спросил он,—а вас-то что понуждает впутываться в эту историю?

— Не знаю. Очевидно, соображения морального порядка.

— А на чем они основаны?

— На понимании.

Тарру повернул к дому, и Риэ снова увидел его лицо, только когда они уже вошли к старику астматiku.

На следующий же день Тарру взялся за работу и создал первую добровольную дружину, по образцу которой скоро должны были создаваться и другие.

В намерение рассказчика отнюдь не входит придавать слишком большое значение этим санитарным ячейкам. Правда, большинство наших сограждан, будь они на месте рассказчика, поддались бы искушению преувеличить роль этих дружин. Но рассказчик скорее склонен поддаться искушению иного порядка, он считает, что, придавая непомерно огромное значение добрым поступкам, мы в конце концов возносим косвенную, но неумеренную хвалу самому злу. Ибо в таком случае легко предположить, что добрые поступки имеют цену лишь потому, что они явление редкое, а злоба и равнодушие куда более распространенные двигатели людских поступков. Вот этой-то точки зрения рассказчик ничуть не разделяет. Зло, существующее в мире, почти всегда результат невежества, и любая добрая воля может причинить столько же ущерба, что и злая, если только эта добрая воля недостаточно просвещена. Люди—они скорее хорошие, чем плохие, и, в сущности, не в этом дело. Но они в той или иной степени пребывают в неведении, и это-то зовется добродетелью или пороком, причем самым страшным пороком является неведение, считающее, что ему все ведомо, и разрешающее себе посему убивать. Душа убийцы слепа, и не существует ни подлинной доброты, ни самой прекрасной любви без абсолютной ясности видения.

Вот почему, одобряя создание наших санитарных дружин, возникших по почину Тарру, следует сохранять объективность. Вот почему рассказчик не намерен выступать в роли чересчур красноречивого рапсода и воспевать добрую волю и героизм, хотя вполне отдает им должное. Он и в дальнейшем останется историком растерзанных и непримиримых сердец наших сограждан, ибо такими нас сделала чума.

Не так уж велика заслуга тех, кто самоотверженно взялся за организацию санитарных дружин, они твердо знали, что ничего иного сделать нельзя, и, напротив, было бы непостижимым, если бы они не взялись. Эти дружины помогли нашим согражданам глубже войти в чуму и отчасти убедили их, что, раз болезнь уже здесь, нужно делать то, что нужно, для борьбы с ней. Ибо чума, став долгом для нескольких людей, явила собою то, чем была в действительности, а была она делом всех.

И это очень хорошо. Но ведь никому же не придет в голову хвалить учителя, который учит, что дважды два—четыре. Возможно, его похвалят за то, что он выбрал себе прекрасную профессию. Скажем так, весьма похвально, что Тарру и прочие взялись доказать, что дважды два—четыре, а не наоборот, но скажем также, что их добрая воля роднит их с тем учителем, со всеми, у кого такое же сердце, как у вышеупомянутого учителя, и что, к чести человека, таких много больше, чем полагают, по крайней мере рассказчик в этом глубоко убежден. Правда, он понимает, какие могут воспоследовать возражения, главное из них, что эти люди, мол, рисковали жизнью. Но в истории всегда и неизбежно наступает такой час, когда того, кто смеет сказать, что дважды два—четыре, карают смертью. Учитель это прекрасно знает. И вопрос не в том, чтобы знать, какую кару или какую награду влечет за собой это рассуждение. Вопрос в том, чтобы знать, составляют ли или нет дважды два четыре. Тем из наших сограждан, которые рисковали тогда жизнью, приходилось решать первое—чума это или не чума, и второе—нужно или не нужно бороться с ней.

Многие оранские новоявленные моралисты утверждали, что, мол, ничего сделать нельзя и что самое разумное—это стать на колени. И Тарру, и Риэ, и их друзья могли возразить на это кто так, кто эдак, но вывод их всегда диктовался тем, что они знали: необходимо бороться теми или иными способами и никоим образом не становиться на колени. Все дело было в том, чтобы уберечь от гибели как можно больше людей, не дать им познать горечь бесповоротной разлуки. А для этого существовало лишь одно средство—побороть чуму. Сама по себе эта истина не способна вызвать восхищение, скорее уж она просто логична.

Вот почему вполне естественно, что старик Кастель вложил всю свою веру и всю свою энергию в производство сыворотки здесь, на месте, из имеющихся под рукой материалов. И они с Риэ надеялись, что сыворотка, изготовленная из культур микроба, которым был поражен город, окажется более действенной, нежели сыворотка, полученная со стороны, ибо местный микроб слегка отличался от чумной бациллы, вернее, от классического ее

описания. Кастель рассчитывал получить первую партию сыворотки в ближайшие же дни.

Именно поэтому также вполне естественно, что Гран — вот уж действительно личность не героическая — стал в эти дни как бы административным центром дружин. Часть дружин, созданных Тарру, взяла на себя работу по оказанию превентивной помощи в перенаселенных кварталах. Члены дружины пытались внедрить здесь необходимую гигиену, вели учет чердаков и подвалов, еще не прошедших дезинфекции. Остальные дружины помогали непосредственно врачам — выезжали с ними по вызовам на квартиры, обеспечивали перевозку больных и даже со временем при отсутствии специального персонала сами водили машины «скорой помощи» или фургоны для перевозки трупов. Все это требовало статистического учета, который и взял на себя Гран.

С известной точки зрения рассказчик склонен считать, что Гран даже в большей степени, чем Риэ или, скажем, Тарру, являлся подлинным представителем того спокойного мужества, какое вдохновляло дружины в их работе. Он сказал «да» не колеблясь, с присущей ему доброй волей... Только он попросил, чтобы его использовали на несложной работе, для сложной он уже стар. Между восемнадцатью и двадцатью часами его время в распоряжении доктора. И когда Риэ горячо поблагодарил его, он даже удивился: «Это же не самое трудное. Сейчас чума, ну ясно, надо с ней бороться. Ах, если бы все на свете было так же просто!» И он возвращался к своей недописанной фразе. Иногда вечерами, когда статистические подсчеты были кончены, Риэ беседовал с Граном. Мало-помалу к этим вечерним беседам они привлекли и Тарру, и Гран с явным удовольствием открывал свою душу перед двумя приятелями. А они с неослабевающим интересом следили за кропотливыми трудами Грана, которые он не бросил даже в разгар чумы. В конце концов это стало для них обиходом своего рода разрядкой.

«Ну как амазонка?» — нередко спрашивал Тарру. И Гран с вымученной улыбкой всякий раз отвечал одними и теми же словами: «Скачет себе, скачет!» Как-то вечером Гран сообщил, что он окончательно убрал эпитет «элегантная» применительно к своей амазонке и что отныне она будет фигурировать как «стройная». «Так точнее», — пояснил он. В другой раз он прочел своим слушателям первую фразу, переделанную заново: «Однажды, прекрасным майским утром, стройная амазонка на великолепном гнедом коне скакала по цветущим аллеям Булонского леса».

— Ведь правда, так лучше ее видишь? — спросил он. — И потом, я предпочел написать «майским утром» потому, что «утром мая» отчасти замедляет скок лошади.

Затем он занялся эпитетом «великолепный». По его словам, это не звучит, а ему требуется термин, который с фотографической точностью сразу обрисовал бы роскошного коня, существующего в его воображении. «Откормленный» не пойдет, хоть и точно, зато чуточку пренебрежительно. Одно время он склонялся было к «ухоженный», но эпитет ритмически не укладывался во фразу. Однажды вечером он торжественно возвестил, что

нашел: «гнедой в яблоках». По его мнению, это, не подчеркивая, передает изящество животного.

— Но так же нельзя,—возразил Риэ.

— А почему?

— Потому что в яблоках—это тоже масть лошади, но не гнедая.

— Какая масть?

— Неважно какая, во всяком случае, в яблоках—это не гнедой.

Гран был поражен до глубины души.

— Спасибо, спасибо,—сказал он,—как хорошо, что я вам прочел. Ну, теперь вы сами убедились, как это трудно.

— А что, если написать «роскошный»,—предложил Тарру.

Гран взглянул на него. Он размышлял.

— Да,—наконец проговорил он,—именно так!

И постепенно губы его сложились в улыбку.

Через несколько дней он признался друзьям, что ему ужасно мешает слово «цветущий». Так как сам он нигде дальше Орана и Монтелимара не бывал, он приступил с расспросами к своим друзьям и требовал от них ответа—цветущие ли аллеи в Булонском лесу или нет. Откровенно говоря, ни на Риэ, ни на Тарру они никогда не производили впечатления особенно цветущих, но убедительные доводы Грана поколебали их уверенность. А он все дивился их сомнениям. «Лишь одни художники умеют видеть!» Как-то доктор застал Грана в состоянии неестественного возбуждения. Он только что заменил «цветущие» на «полные цветов». Он радостно потирал руки. «Наконец-то их увидят, почувствуют. А ну-ка, шапки долой, господа!» И он торжественно прочел фразу: «Однажды, прекрасным майским утром, стройная амазонка неслась галопом на роскошном гнедом коне среди полных цветов аллеи Булонского леса». Но прочитанные вслух три родительных падежа, заканчивающих фразу, звучали назойливо, и Гран запнулся. Он удрученно сел на стул. Потом попросил у доктора разрешения уйти. Ему необходимо подумать на досуге.

Как раз в это время—правда, узналось об этом позже—на работе он стал проявлять недопустимую рассеянность, что было воспринято как весьма прискорбное обстоятельство, особенно в те дни, когда мэрии с меньшим наличным составом приходилось справляться с множеством тяжелейших обязанностей. Работа явно страдала, и начальник канцелярии сурово отчитал Грана, заметив, что ему платят жалованье за то, что он выполняет работу, а он ее как раз и не выполняет. «Я слышал,—добавил начальник,—что вы на добровольных началах работаете для санитарных дружин в свободное от службы время. Это меня не касается. Единственное, что меня касается,—это ваша работа здесь, в мэрии. И тот, кто действительно хочет приносить пользу в эти ужасные времена, в первую очередь обязан образцово выполнять свою работу. Иначе все прочее тоже ни к чему».

— Он прав,—сказал Гран доктору.

— Да, прав,—подтвердил Риэ.

— Я действительно стал рассеянным и не знаю, как распутаться с концом фразы.

Он решил вообще вычеркнуть слово «Булонский», полагая, что и так все будет понятно. Но тогда во фразе стало непонятно, что приписывается «цветам», а что «аллеям». Он подумывал было написать: «Аллеи леса, полные цветов». Но тогда лес получался между существительным и прилагательным, и эпитет, который он сознательно отрывал от существительного, торчал, как заноза. Но что правда, то правда, в иные вечера вид у него был еще более утомленный, чем у Риэ.

Да, Грана утомили эти поглощавшие его с головой поиски нужного слова, но тем не менее он не прекращал делать подсчеты и собирать статистические данные, необходимые санитарным дружинам. Каждый вечер он терпеливо вытаскивал свои карточки, выводил кривую и изо всех сил старался дать по возможности наиболее точную картину. Нередко он заходил к Риэ в лазарет и просил, чтобы ему выделили стол в каком-нибудь кабинете или в приемной. Потом располагался со своими бумагами, совсем так, как у себя за столом в мэрии, и спокойно помахивал листком, чтобы поскорее высохли чернила, не замечая, что воздух вокруг словно бы сгущался от запаха дезинфицирующих средств и самой болезни. В такие часы он честно старался выкинуть из головы свою амазонку и делать только то, что положено.

И если люди действительно хотят, чтобы им давали некие возвышенные примеры и образцы, которые обычно именуют героическими, и если уж так необходимы нашей истории свои герои, рассказчик предлагает вниманию читателя совсем незначительного и бесцветного героя, у которого только и есть что сердечная доброта да идеал, на первый взгляд смехотворный. Таким образом, каждый получает свое: истина то, что ей положено по праву, два, умноженные на два,—свою вечную четверку, а героизм—второстепенное и от века полагающееся ему место, как раз «за» и никогда не «перед» требованием всеобщего счастья. Да и нашей хронике благодаря этому придается вполне определенный характер, какой и должен быть у любого рассказа о подлинных фактах, предпринятого с добрыми чувствами, то есть с чувствами, которые ни слишком явно плохи, ни слишком экзальтированы в дурном театральном смысле этого слова.

Таково по крайней мере было мнение доктора Риэ, когда он читал газеты или слушал по радио слова призыва и ободрения, которые слал зачумленному городу мир, лежащий вовне. Одновременно с помощью, посылаемой по суше или по воздуху, радиоволны или печатное слово каждый божий день обрушивали на город, отныне такой одинокий, потоки трогательных или восторженных комментариев. И всякий раз самый стиль и тон их, эпический или риторический, выводил доктора из себя. Конечно, он понимал, что эти знаки внимания вовсе не притворство. Но они могли выражать себя только на том условном языке, которым люди пытаются выразить то, что связывает их с человечеством. И язык этот не мог быть применим к незначительным каждодневным трудам, скажем, того же Грана, поскольку не мог дать представления о том, что значил Гран в разгар эпидемии.

Иной раз в полночь, среди великого молчания опустевшего

ныне города, доктор, ложась в постель для короткого сна, настраивал радиоприемник. И из дальних уголков земли, через тысячи километров незнакомые братские голоса пытались неуклюже выразить свою солидарность, говорили о ней, но в то же самое время в них чувствовалось трагическое бессилие, так как не может человек по-настоящему разделить чужое горе, которое не видит собственными глазами. «Оран! Оран!» Напрасно призыв этот перелетал через моря, напрасно настораживался Риэ, вскоре волна красноречия разбухала и еще ярче подчеркивала главное различие, превращавшее Грана и оратора в двух посторонних друг другу людей. «Оран! Да, Оран!» «Но нет,—думал доктор,—есть только одно средство—это любить или умереть вместе. А они чересчур далеко».

Прежде чем перейти к рассказу о кульминации чумы, когда бедствие, собрав в кулак все свои силы, бросило их на город и окончательно им завладело, нам осталось еще рассказать о тех отчаянных, бесконечных и однообразных попытках, которые предпринимали отдельные люди, такие, как Рамбер, лишь бы вновь обрести свое счастье и отстоять от чумы ту часть самих себя, какую они упрямо защищали против всех посягательств. Таков был их метод отвергать грозившее им порабощение, и, хотя это неприятие внешне было не столь действенное, как иное, рассказчик убежден, что в нем имелся свой смысл и оно свидетельствовало также при всей своей бесплодности и противоречиях о том, что в каждом из нас живет еще гордость.

Рамбер бился, не желая, чтобы чума захлестнула его с головой. Убедившись, что легальным путем покинуть город ему не удастся, он намеревался, о чем и сообщил Риэ, использовать иные каналы. Журналист начал с официантов из кафе. Официант кафе всегда в курсе всех дел. Но первый же, к кому он обратился, оказался как раз в курсе того, какая суровая кара полагается за подобные авантюры. А в одном кафе его приняли без дальних слов за провокатора. Только после случайной встречи с Коттаром у доктора Риэ дело сдвинулось с мертвой точки. В тот день Риэ с Рамбером говорили о бесплодных хлопотах, предпринятых журналистом в административных учреждениях. Через несколько дней Коттар столкнулся с Рамбером на улице и любезно поздоровался с ним, с недавних пор при общении со знакомыми он был особенно обходителен.

— Ну как, по-прежнему ничего? — осведомился Коттар.

— Ничего.

— Да разве можно рассчитывать на чиновников. Не затем они сидят в канцеляриях, чтобы понимать людей.

— Совершенно верно. Но я пытаюсь найти какой-нибудь другой ход. А это трудно.

— Еще бы,—подтвердил Коттар.

Но оказалось, ему известны кое-какие обходные пути, и на недоуменный вопрос Рамбера он объяснил, что уже давным-давно считает своим в большинстве оранских кафе, что там у него повсюду друзья и что ему известно о существовании организации,

занимающейся делами такого рода. Истина же заключалась в том, что Коттар, тративший больше, чем зарабатывал, был причастен к контрабанде нормированными товарами. Он перепродавал сигареты и плохонькие алкогольные напитки, цены на которые росли с каждым днем, и уже сколотил себе таким образом небольшое состояние.

— А вы в этом уверены? — спросил Рамбер.

— Да, мне самому предлагали.

— И вы не воспользовались?

— Грешно не доверять ближнему, — благодушно произнес Коттар, — я не воспользовался потому, что я лично не хочу отсюда уезжать. У меня на то свои причины.

И после короткого молчания добавил:

— А вас не интересует, какие именно причины?

— По моему, это меня не касается, — ответил Рамбер.

— В каком-то смысле правильно, не касается. А с другой стороны... Ну, словом, для меня одно ясно: с тех пор как у нас чума, мне как-то вольготнее стало.

Выслушав слова Коттара, Рамбер спросил:

— А как связаться с этой организацией?

— Дело трудное, — вздохнул Коттар, — идите со мной.

Было уже четыре часа. Под тяжело нависшим раскаленным небом город пекся, как на медленном огне. Витрины магазинов были прикрыты шторами. На улицах ни души. Коттар с Рамбером свернули под аркады и долго шагали молча. Был тот час, когда чума превращалась в невидимку. Эта тишина, эта мертвенность красок и движений в равной мере могли быть приметой и оранского лета, и чумы. Попробуй угадай, чем насыщен неподвижный воздух — угрозами или пылью и зноем. Чтобы постичь чуму, надо было наблюдать, раздумывать. Ведь она проявляла себя лишь, так сказать, негативными признаками. Так, Коттар, у которого были с нею особые контакты, обратил внимание Рамбера на отсутствие собак — в обычное время они валялись бы у порога, судорожно лова раскрытой пастью горячий воздух, в поисках несуществующей прохлады.

Они прошли Пальмовым бульваром, пересекли Оружейную площадь и очутились во Флотском квартале. Налево кафе, покрашенное в зеленую краску, пыталось укрыться под косыми шторами из плотной желтой ткани. Очутившись в помещении, оба одинаковым жестом утерли взмокшие лбы. Потом уселись на складных садовых стульчиках перед столиком, крытым железным листом, тоже покрашенным зеленой краской. В зале не было ни души. Под потолком гудели мухи. Облезлый попугай, сидевший в желтой клетке, водруженной на колченогий прилавок, уныло цеплялся за жердочку. По стенам висели старые картины на батальные сюжеты, и все вокруг было покрыто налетом грязи и густо оплетено паутиной. На всех столиках и даже под самым носом Рамбера лежали кучки куриного помета, и журналист никак не мог понять, откуда бы взяться тут помету, но вдруг в темном углу что-то зашевелилось, завозилось и, подрагивая на голенастых лапах, в середину зала вышел роскошный петух.

С его появлением зной, казалось, еще усилился. Коттар снял

пиджак и постучал по столику. Какой-то коротышка, путаясь в длинном не по росту синем переднике, вышел из заднего помещения, заметив Коттара, поклонился еще издали и направился к их столику, по пути отшвырнув петуха свирепым пинком ноги, и под негодующий клекот кочета спросил у господ, чем может им служить. Коттар заказал себе стакан белого и осведомился о каком-то Гарсиа. По словам официанта-карлика, Гарсиа уже несколько дней в их кафе не появлялся.

— А вечером он, по-вашему, придет?

— Поди знай,— ответил официант:— Вам же известно, в какие часы он бывает.

— Да, но, в сущности, дело терпит. Я только хотел познакомиться его с моим приятелем.

Официант вытер взмокшие ладони о передник.

— Мсье тоже делами занимается?

— Ясно,— ответил Коттар.

Карлик шумно втянул воздух:

— Тогда приходите вечером. Я мальчика за ним пошлю.

На улице Рамбер спросил, о каких делах шла речь.

— Понятно, о контрабанде. Они провозят товары через городские ворота. И продают их по высоким ценам.

— Чудесно,— сказал Рамбер.— Значит, у них есть сообщники?

— А как же!

Вечером штора кафе оказалась поднятой, попугай без умолку трещал что-то в своей клетке, а вокруг железных столиков, сняв пиджаки, сидели посетители. Один из них, лет тридцати, в сбитом на затылок соломенном канотье, в белой рубашке, распахнутой на бурой груди, поднялся с места при появлении Коттара. Лицо у него было с правильными чертами, сильно загорелое, глаза черные, маленькие, на пальцах сидело несколько перстней, белые зубы поблескивали.

— Привет,— сказал он,— пойдем к стойке, выпьем.

Они молча выпили, угощали по очереди все трое.

— А что, если выйдем?— предложил Гарсиа.

Они направились к порту, и Гарсиа спросил, что от него требуется. Коттар сказал, что он хотел познакомиться с ним Рамбера не совсем по их делу, а по поводу того, что он деликатно назвал «вылазкой». Зажав сигарету в зубах, Гарсиа шагал, не глядя на своих спутников. Задавал вопросы, говорил о Рамбере «он» и, казалось, вообще не замечал его присутствия.

— А зачем?— спросил он.

— У него жена во Франции.

— А-а!

И после паузы:

— Чем он занимается?

— Журналист.

— При ихнем ремесле язык за зубами держать не умеют.

Рамбер промолчал.

— Он друг,— сказал Коттар.

Снова они зашагали в молчании. Наконец добрались до набережной, вход туда был перекрыт высокими воротами. Но они

направились прямо к ларьку, где торговали жареными сардинками, далеко распространявшими аппетитный аромат.

— Вообще-то,—заключил Гарсиа,—это не по моей части, этим Рауль занимается. А его еще найти надо. Дело сложное.

— Значит, он скрывается?—взволнованно осведомился Коттар.

Гарсиа не ответил. У ларька он остановился и впервые поглядел в лицо Рамберу.

— Послезавтра в одиннадцать часов на углу, у таможенной казармы в верхней части города.

Он сделал вид, что уходит, но вдруг повернулся к своим собеседникам.

— Расходы будут,—сказал он.

Прозвучало это как нечто само собой подразумевающееся.

— Ясно,—поспешил согласиться Рамбер.

Когда несколько минут спустя журналист поблагодарил Коттара, тот весело ответил:

— Да не за что. Мне просто приятно оказать вам услугу. И к тому же вы журналист, при случае сквитаемся.

А еще через день Рамбер с Коттаром шли по широким улицам, не знавшим зелени и тени, к верхней части города. Одно крыло казармы превратили в лазарет, и перед воротами стояла толпа: кто надеялся, что его пропустят внутрь, хотя посещения были строжайше запрещены, кто хотел навести справку о состоянии больного, забывая, что сведения почти всегда запаздывают. Так или иначе, увидев эту толпу и непрерывное хождение взад и вперед, Рамбер понял, что, назначая свидание, Гарсиа учел эту толчею.

— Странно все-таки,—начал Коттар,—почему вам так приспичило уехать? Ведь сейчас в городе творятся интересные вещи.

— Только не для меня,—ответил Рамбер.

— Ну ясно, все-таки известный риск есть. Но в конце концов и до чумы риск был, попробуйте-ка перейти бойкий перекресток.

В эту минуту рядом с ними остановился автомобиль Риэ. За рулем сидел Тарру, а доктор, казалось, дремлет. Однако он проснулся и представил журналиста Тарру.

— Мы уже знакомы,—сказал Тарру,—в одном отеле живем.

Он предложил Рамберу довезти его до центра.

— Нет, спасибо, у нас здесь назначено свидание.

Риэ взглянул на Рамбера.

— Да,—подтвердил тот.

— Ого,—удивился Коттар,—значит, доктор тоже в курсе дела?

— А вот и следователь идет,—заметил Тарру и посмотрел на Коттара.

Коттар даже побледнел. И верно, по улице шествовал господин Отон, шагал он энергично, но размеренно. Поравнявшись с машиной, он приподнял шляпу.

— Добрый день, господин следователь!—сказал Тарру.

Следователь в свою очередь пожелал доброго дня сидящим в машине и, оглядев стоявших поодаль Коттара и Рамбера, важно наклонил голову. Тарру представил ему рантье и журналиста.

Следователь вскинул на миг глаза к небу и, вздохнув, заявил, что настали печальные времена.

— Мне сообщили, господин Тарру, что вы взялись за внедрение профилактических мер. Не могу не выразить своего восхищения. Как по-вашему, доктор, эпидемия еще распространится?

Риз выразил надежду, что нет, и следователь повторил, что никогда не нужно терять надежды, ибо пути господни неисповедимы. Тарру осведомился, не повлияли ли последние события на объем работы.

— Напротив, дел, которые мы называем уголовными, стало меньше. В основном приходится рассматривать дела о серьезном нарушении последних распоряжений. Никогда еще так не чтили старых законов.

— А это значит,—улыбнулся Тарру,—что по сравнению с новыми они оказались хороши.

Со следователя мигом слетел подчеркнуто мечтательный вид, даже отрешенный взор оторвался от созерцания небес. И он холодно посмотрел на Тарру.

— Ну и что ж из этого?—сказал он.—Важен не закон, а наказание. Следствие здесь ни при чем.

— Вот вам враг номер один,—проговорил Коттар, когда следователь скрылся в толпе.

Машина отъехала от тротуара.

Через несколько минут Рамбер и Коттар увидели направляющегося к ним Гарсиа. Он подошел вплотную и вместо приветствия бросил: «Придется подождать».

Вокруг них толпа, состоявшая главным образом из женщин, ждала в полном молчании. Почти все принесли с собой корзиночки, питая несбыточную надежду как-нибудь передать их своим больным и еще более безумную мысль, что тому нужна эта передача. Вход охраняли часовые при оружии; время от времени со двора, отделявшего здание казармы от улицы, долетал странный крик. И сразу же вся толпа поворачивала к лазарету встревоженные лица.

Трое мужчин молча глядели на это зрелище, когда за их спиной вдруг раздалось отрывистое и важное «здрасьте», и они, как по команде, обернулись. Несмотря на жару, Рауль был одет, как будто собрался на прием. Двубортный темный костюм ладно облегал его высокую, сильную фигуру, а на голове красовалась фетровая шляпа с загнутыми вверх полями. Лицо у него было бледное, глаза темные, губы плотно сжаты, говорил он быстро и четко.

— Идите по направлению к центру,—приказал он,—а ты, Гарсиа, можешь уйти.

Гарсиа закурил сигарету и остался стоять на месте. Все трое шли быстро, и Рамбер с Коттаром старались приноровиться к шагу Рауля, который шествовал в середине.

— Гарсиа мне сказал,—проговорил Рауль.—Сделать можно. Во всяком случае, потянет десять тысяч франков.

Рамбер сказал, что согласен.

— Позавтракаем завтра в испанском ресторане на Флотской.

Рамбер снова сказал, что согласен, и Рауль, пожав ему руку,

впервые улыбнулся. После его ухода Коттар извинился, завтра он занят, впрочем, Рамбер обойдется и без его содействия.

Когда на следующий день журналист вошел в испанский ресторан, все головы повернулись в его сторону. Этот тенистый погребок, куда приходилось спускаться по нескольким ступеням, был расположен на желтой, иссушенной зноем улочке, и посещали его только мужчины, в основном испанского типа. Но когда Рауль, сидевший за дальним столиком, махнул журналисту, приглашая его подойти, и Рамбер направился к нему, все присутствующие сразу утратили к нему интерес и уткнулись в тарелки. За столиком рядом с Раулем восседал какой-то длинный небритый субъект с неестественно широкими при такой худобе плечами, с лошадиной физиономией и сильно поредевшей шевелюрой. Рукава рубашки были засучены и открывали длинные тонкие руки, густо обросшие черной шерстью. Рауль представил ему журналиста, и незнакомец трижды мотнул головой. Имя его Рамберу не назвали, и Рауль, говоря с ним, называл его просто «наш друг».

— Наш друг надеется, что сможет вам помочь. Он вас...

Рауль замолчал потому, что к Рамберу подошла официантка принять заказ.

— Он вас сейчас сведет с двумя нашими друзьями, а те в свою очередь познакомят со стражниками, с которыми мы связаны. Но это еще не все. Стражники сами должны выбрать наиболее удобное время. Самое, по-моему, простое — это переночевать две-три ночи у кого-нибудь из стражников, живущих поблизости от ворот. Но предварительно наш друг обеспечит вам несколько необходимых контактов. Когда все будет улажено, деньги передадите ему.

«Наш друг» снова качнул своей лошадиной головой, не переставая жевать салат из помидоров и сладкого перца, на который он особенно налегал. Потом он заговорил с легким испанским акцентом. Он предложил Рамберу встретиться послезавтра в восемь утра на паперти собора.

— Еще два дня,—протянул Рамбер.

— Дело нелегкое,—сказал Рауль.—Надо ведь людей найти.

«Наш друг» Конь энергично подтвердил эти слова кивком головы, и Рамбер вяло согласился. Завтрак проходил в непрерывных поисках темы для разговора. Но когда Рамберу удалось обнаружить, что Конь еще и футболист, все чрезвычайно упростилось. В свое время и он сам усердно занимался футболом. Разговор, естественно, перешел на чемпионат Франции, на достоинства английских профессиональных команд и тактику «дубль ве». К концу завтрака Конь совсем разошелся, обращался к Рамберу уже на «ты», старался убедить его, что в любой команде «выгоднее всего играть в полузащите». «Пойми ты,—твердил он,—ведь как раз полузащита определяет игру. А это в футболе главное». Рамбер соглашался, хотя сам всегда играл в нападении. Но тут их спору положило конец радио, несколько раз подряд повторившее под сурдинку позывные — какую-то сентиментальную мелодию,—вслед за чем было сообщено, что вчера чума унесла сто тридцать семь жертв. Никто из присутствующих даже

не оглянулся. Конь пожал плечами и встал. Рауль с Рамбером последовали его примеру.

На прощание полузащитник энергично потряс руку Рамберу и заявил:

— Меня зовут Гонсалес.

Два последующих дня показались Рамберу нескончаемо долгими. Он отправился к Риэ и во всех подробностях рассказал ему о предпринятых шагах. Потом увязался за доктором и распрощался с ним у дверей дома, где лежал больной с подозрением на чуму. В коридоре слышался топот ног и голоса: это соседи пришли предупредить семью больного о прибытии врача.

— Только бы Тарру не запоздал,—пробормотал Риэ.

Вид у него был усталый.

— Эпидемия, видно, набирает темпы,—сказал Рамбер.

Риэ ответил, что не в этом главное, что кривая заболеваний даже медленнее, чем раньше, ползет вверх. Просто нет еще достаточно эффективных средств борьбы с чумой.

— Нам не хватает материалов,—пояснил он.—В любой армии мира недостаток материальной части обычно восполним людьми. А у нас и людей тоже не хватает.

— Но ведь в город прибыли врачи и санитары.

— Верно, прибыли,—согласился Риэ.—Десять врачей и примерно сотня санитаров. На первый взгляд вроде как бы и много. Но этого едва хватает на данной стадии эпидемии. А если эпидемия усилится, тогда совсем уж не хватит.

Риэ прислушался к суматохе в доме и затем улыбнулся Рамберу.

— Да,—проговорил он,—советую вам не мешкать на пути к удаче.

По лицу Рамбера прошла тень.

— Ну вы же знаете,—глухо произнес он,—я вовсе не потому стремлюсь отсюда вырваться.

Риэ подтвердил, что знает, но Рамбер не дал ему договорить:

— Полагаю, что я не трус, во всяком случае трушу редко. У меня было достаточно случаев проверить это. Но есть мысли, для меня непереносимые.

Доктор взглянул ему прямо в лицо.

— Вы с ней встретитесь,—сказал он.

— Возможно, но я физически не могу переносить мысль, что все это затянется и что она тем временем будет стариться. В тридцать лет человек уже начинает стариться, и поэтому надо пользоваться каждой минутой... Не знаю, поймете ли вы меня?

Риэ пробормотал, что поймет, но тут появился весьма оживленный Тарру.

— Только что говорил с отцом Панлю, предложил ему вступить в дружину.

— Ну и что же он?—спросил доктор.

— Сначала подумал, потом согласился.

— Очень рад,—сказал доктор.—Рад, что он лучше, чем его проповеди.

— Все люди таковы,—заявил Тарру.—Надо только дать им подходящий случай.—Он улыбнулся и подмигнул Риэ: —Видно,

у меня такая специальность — давать людям подходящие случаи.

— Простите меня, — сказал Рамбер, — но мне пора.

В назначенный четверг Рамбер явился на паперть собора без пяти восемь. Было еще довольно свежо. По небу расплывались белые круглые облачка, но скоро нарождающийся зной поглотит их без остатка. Волна влажных запахов еще долетала с лужаек, уже порядком выжженных зноем. Солнце, скрывавшееся за домами восточной части города, успело коснуться только каски Жанны д'Арк, ее позолоченная с головы до ног статуя была главным украшением площади. Часы пробили восемь. Рамбер прошелся взад и вперед под сводами пустынной паперти. Из собора долетали обрывки песнопений вместе с застарелым запахом ладана и подвальной сырости. Вдруг песнопения прекратились. Дюжина маленьких человечков в черном высыпала из храма и затопала по улицам. Рамбера взяло нетерпение. Тут новые черные фигурки поднялись по высоким ступеням и направились к паперти. Он зажег было сигарету, но тут же спохватился: место для курения выбрано не совсем удачно.

В восемь пятнадцать потихоньку, под сурдинку, заиграл соборный орган. Рамбер вошел под темные своды. Сначала он различил только маленькие черные фигурки, которые прошли мимо него к нефу. Они сгрудились в углу перед импровизированным алтарем, где недавно водрузили статую святого Роха, выполненную по срочному заказу в одной из скульптурных мастерских нашего города. Теперь коленопреклоненные фигурки, казалось, совсем сжались и здесь, среди этой извечной серости, были словно комочки сгустившейся тени, разве что чуть-чуть плотнее и подвижнее, чем поглощавшая их дымка. А над их головами орган без передышки играл все одну и ту же тему с вариациями.

Когда Рамбер вышел, Гонсалес уже спускался с лестницы, очевидно направляясь к центру.

— А я думал, ты уже ушел, — сказал он журналисту. — И правильно бы сделал.

В пояснение своих слов он сообщил, что ждал друзей, с которыми у него было назначено свидание неподалеку отсюда в семь пятьдесят пять. Но только зря прождал целых двадцать минут.

— Что-то им помешало, это ясно. В нашем деле не все идет гладко.

Он предложил встретиться завтра в то же время у памятника павшим. Рамбер со вздохом сдвинул фетровую шляпу на затылок.

— Ничего, ничего, — смеясь, проговорил Гонсалес. — Сам знаешь, сколько приходится делать пасов, комбинаций, финтов, прежде чем забьешь гол.

— Разумеется, — согласился Рамбер. — Но ведь матч длится всего полтора часа.

Памятник павшим стоит как раз на том единственном в Оране месте, откуда видно море, на коротком променаде, идущем вдоль отрогов гор над портом. На следующий день Рамбер — на свидание он опять явился первым — внимательно прочитал список

погибших на поле брани. Через несколько минут появились еще какие-то двое, равнодушно взглянули на Рамбера, отошли, оперлись о балюстраду, огораживавшую променад, и, казалось, погрузились в созерцание пустых и безлюдных набережных. Оба были одинакового роста, оба одеты в одинаковые синие брюки и морские тельняшки с короткими рукавами. Журналист отошел от памятника, присел на скамью и от нечего делать стал разглядывать незнакомцев. Тут только он заметил, что с виду им было не больше чем по двадцати. Но в эту минуту он увидел Гонсалеса, который еще на ходу извинялся за опоздание.

— Вот они, наши друзья,—сказал он, подведя Рамбера к молодым людям, и представил их—одного под именем Марсель, а другого под именем Луи. Они и лицом оказались похожи, и Рамбер решил, что это родные братья.

— Ну вот,—сказал Гонсалес.—Теперь вы познакомились. Осталось только обговорить дело.

Марсель, а может, Луи, сказал, что их смена в карауле начинается через два дня, что продлится она неделю и важно выбрать наиболее подходящий день. Их пост из четырех человек охраняет западные ворота, и двое из постовых—кадровые военные. И речи быть не может о том, чтобы посвятить их в операцию. Во-первых, это народ ненадежный, а во-вторых, в таком случае вырастут расходы. Но иногда их коллеги проводят часть ночи в заднем помещении одного знакомого им бара. Марсель, а может, Луи, предложил поэтому Рамберу поселиться у них—это рядом с воротами—и ждать, когда за ним придут. Тогда выбрать из города будет несложно. Но следует поторопиться, потому что поговаривают, будто в ближайшие дни установят усиленные наряды с наружной стороны.

Рамбер одобрил план действий и угостил братьев своими последними сигаретами. Тот из двух, который пока еще не раскрывал рта, вдруг спросил Гонсалеса, улажен ли вопрос с вознаграждением и нельзя ли получить аванс.

— Не надо,—ответил Гонсалес,—это свой парень. Когда все будет сделано, тогда и заплатит.

Договорились о новой встрече. Гонсалес предложил после завтра пообедать в испанском ресторане. А оттуда можно будет отправиться домой к братьям-стражникам.

— Первую ночь, хочешь, я тоже там переночую,—предложил он Рамберу.

На следующий день Рамбер, поднимавшийся в свой номер, столкнулся на лестнице с Тарру.

— Иду к Риэ,—сообщил Тарру.—Хотите со мной?

— Знаете, мне всегда почему-то кажется, будто я ему мешаю,—нерешительно отозвался Рамбер.

— Не думаю, он мне часто о вас говорил.

Журналист задумался.

— Послушайте-ка,—сказал он.—Если у вас к вечеру, пусть даже совсем поздно, выпадет свободная минутка, лучше приходите оба в бар, сюда, в отель.

— Ну, это уж будет зависеть от него и от чумы,—ответил Тарру.

Однако в одиннадцать часов оба — и Риэ и Тарру — входили в узкий, тесный бар отеля. Человек тридцать посетителей толклись в маленьком помещении, слышался громкий гул голосов. Оба невольно остановились на пороге — после гробовой тишины зачумленного города их даже ошеломил этот шум. Но они сразу догадались о причине такого веселья — здесь еще подавали алкогольные напитки. Рамбер, сидевший на высоком табурете в дальнем углу перед стойкой, помахал им рукой. Они подошли, и Тарру хладнокровно отодвинул в сторону какого-то не в меру расшумевшегося соседа.

— Алкоголь вас не пугает?

— Нет, напротив, — ответил Тарру.

Риэ втягивал ноздрями горьковатый запах трав, идущий из стакана. Разговор в таком шуме не клеился, да и Рамбер, казалось, интересуется не ими, а алкоголем. Доктор так и не мог решить, пьян журналист или еще нет. За одним из двух столиков, занимавших все свободное пространство тесного бара, сидел морской офицер с двумя дамами — по правую и левую руку — и рассказывал какому-то краснолицему толстяку, четвертому в их компании, об эпидемии тифа в Каире.

— Лагерь! — твердил он. — Там устроили для туземцев специальные лагеря, разбили палатки и вокруг выставили военный кордон, которому был дан приказ стрелять в родных, когда они пытались тайком передать больному снадобье от знахарки. Конечно, мера, может, суровая, но справедливая.

О чем говорили за другим столиком чересчур элегантные молодые люди, разобрать было нельзя — и без того непонятные отдельные фразы терялись в рубленном ритме «Saint James Infirmary»*, рвавшемся из проигрывателя, вознесенного над головами посетителей.

— Ну как, рады? — спросил Риэ, повысив голос.

— Теперь уже скоро, — ответил Рамбер. — Возможно, даже на этой неделе.

— Жаль! — крикнул Тарру.

— Почему жаль?

Тарру оглянулся на Риэ.

— Ну, знаете, — сказал доктор. — Тарру считает, что вы могли бы быть полезным здесь, и потому так говорит, но я лично вполне понимаю ваше желание уехать.

Тарру заказал еще по стакану. Рамбер прыгнул с табуретки и впервые за этот вечер посмотрел прямо в глаза Тарру:

— А чем я могу быть полезен?

— Как это чем? — ответил Тарру, неторопливо беря стакан. — Ну хотя бы в наших санитарных дружинах.

Рамбер задумался и молча взобрался на табуретку, лицо его приняло обычное для него упрямое и хмурое выражение.

— Значит, по-вашему, наши дружины не приносят пользы? — спросил Тарру, ставя пустой стакан и пристально глядя на Рамбера.

* Больница Сент-Джеймс (англ.).

— Конечно, приносят, и немалую,—ответил журналист и тоже выпил.

Риэ заметил, что рука у него дрожит. И решил про себя: да, действительно, Рамбер сильно на взводе.

На следующий день, когда Рамбер во второй раз подошел к испанскому ресторану, ему пришлось пробираться среди стульев, стоявших прямо на улице у входа, их вытащили из помещения посетители, чтобы насладиться золотисто-зеленым вечером, уже приглушавшим дневную жару. Курили они какой-то особенно едкий табак. В самом ресторане было почти пусто. Рамбер выбрал тот самый дальний столик, за которым они впервые встретились с Гонсалесом. Официантке он сказал, что ждет знакомого. Было уже семь тридцать. Мало-помалу сидевшие снаружи возвращались в зал и устраивались за столиками. Официантки разносили еду, и под низкими сводами ресторана гулко отдавался стук посуды и приглушенный говор. А Рамбер все ждал, хотя было восемь. Наконец дали свет. Новые посетители уселись за его столик. Рамбер тоже заказал себе обед. И кончил обедать в половине девятого, так и не увидев ни Гонсалеса, ни братьев-стражников. Он закурил. Ресторан постепенно обезлюдел. Там, за его стенами, стремительно сгушалась тьма. Теплый ветерок с мора ласково вздувал занавески на окнах. В девять часов Рамбер заметил, что зал совсем опустел и официантка с удивлением поглядывает на него. Он расплатился и вышел. Напротив ресторана еще было открыто какое-то кафе. Рамбер устроился у стойки, откуда можно было видеть вход в ресторан. В девять тридцать он отправился к себе в отель, стараясь сообразить, как бы найти Гонсалеса, не оставившего ему адреса, и сердце его щемило при мысли, что придется начинать все заново.

Как раз в эту минуту во мраке, исполосованном фарами санитарных машин, Рамбер вдруг отдал себе отчет—и впоследствии сам признался в этом доктору Риэ,—что за все это время ни разу не вспомнил о своей жене, поглощенный поисками щелки в глухих городских стенах, отделявших их друг от друга. Но в ту же самую минуту, когда все пути снова были ему заказаны, он вдруг ощутил, что именно она была средоточием всех его желаний, и такая внезапная боль пронзила его, что он сломя голову бросился в отель, лишь бы скрыться от этого жестокого ожога, от которого нельзя было убежать и от которого ломило виски.

Однако на следующий день он с самого утра зашел к Риэ спросить, как увидиться с Коттаром.

— Единственное, что мне остается,—признался он,—это начать все заново.

— Приходите завтра вечером,—посоветовал Риэ,—Тарру попросил меня зачем-то позвать Котгара. Он придет часам к десяти. А вы загляните в половине одиннадцатого.

Когда на следующий день Коттар явился к доктору, Тарру и Риэ как раз говорили о неожиданном случае выздоровления, происшедшем в лазарете Риэ.

— Один из десяти. Повезло человеку,—заметил Тарру.

— Значит, у него не чума была,—объявил Коттар.

Его поспешили заверить, что была как раз чума.

— Да какая там чума, раз он выздоровел. Вы не хуже меня знаете, что чума пощады не дает.

— В общем-то, вы правы,—согласился Риэ.—Но если очень налечь, могут быть и неожиданности.

Коттар хихикнул:

— Ну это как сказать. Последнюю вечернюю сводку слышали?

Тарру, благожелательно поглядывавший на Коттара, ответил, что слышал, что положение действительно очень серьезное, но что это, в сущности, доказывает? Доказывает лишь то, что необходимо принимать сверхмеры.

— Э-э! Вы же их принимаете!

— Принимать-то принимаем, но пусть каждый тоже принимает.

Коттар тупо уставился на Тарру. А Тарру сказал, что большинство людей сидит сложа руки, что эпидемия—дело каждого и каждый обязан выполнять свой долг. В санитарные дружины принимают всех желающих.

— Что ж, это правильно,—согласился Коттар,—только все равно зря. Чума сильнее.

— Когда мы испробуем все, тогда увидим,—терпеливо договорил Тарру.

Во время этой беседы Риэ сидел за столом и переписывал набело карточки. А Тарру по-прежнему в упор смотрел на Коттара, беспокойно ерзавшего на стуле.

— Почему бы вам не поработать с нами, мсье Коттар?

Коттар с оскорбленной миной вскочил со стула, взял шляпу:

— Это не по моей части.

И добавил вызывающим тоном:

— Впрочем, мне чума как раз на руку. И с какой это стати я буду помогать людям, которые с ней борются.

Тарру хлопнул себя ладонью по лбу, будто его внезапно осенила истина:

— Ах да, я забыл: не будь чумы, вас бы арестовали.

Коттар даже подскочил и схватился за спинку стула, будто боялся рухнуть на пол. Риэ отложил ручку и кинул на него внимательный, серьезный взгляд.

— Кто это вам сказал?—крикнул Коттар.

Тарру удивленно поднял брови и ответил:

— Да вы сами. Или, вернее, мы с доктором так вас поняли.

И пока Коттар в приступе неодолимой ярости лопотал что-то невнятное, Тарру добавил:

— Да не нервничайте вы так. Уж во всяком случае, мы с доктором на вас доносить не пойдем. Ваши дела нас не касаются. И к тому же мы сами не большие любители полиции. А ну, присядьте-ка.

Коттар недоверчиво покосился на стул и не сразу решился сесть. Он помолчал, потом глубоко вздохнул.

— Это уже старые дела,—признался он,—но они вытащили их на свет божий. А я надеялся, что все уже забыто. Но кто-то, видать, постарался. Они меня вызвали и велели куда-то уезжать

до конца следствия. Тут я понял, что рано или поздно они меня зацапают.

— Дело-то серьезное? — спросил Тарру.

— Все зависит от того, что понимать под словом «серьезное». Во всяком случае, не убийство...

— Тюрьма или каторжные работы?

Коттар совсем приуныл:

— Если повезет — тюрьма...

Но после короткой паузы он живо добавил:

— Ошибка вышла. Все ошибаются. Только я не могу примириться с мыслью, что меня схватят, все у меня отнимут: и дом, и привычки, и всех, кого я знаю.

— А-а, — протянул Тарру, — значит, поэтому вы и решили повеситься?..

— Да, поэтому. Глупо, конечно, все это.

Тут поднял голос молчавший до сих пор Риэ и сказал, что он вполне понимает тревогу Коттара, но, возможно, все еще образуется.

— Знаю, знаю, в данный момент мне бояться нечего.

— Итак, я вижу, вы в дружину поступать не собираетесь, — заметил Тарру.

Коттар судорожно мямл в руках шляпу и вскинул на Тарру боязливый взгляд:

— Только вы на меня не сердитесь...

— Господь с вами, — улыбнулся Тарру. — Но хотя бы постарайтесь не распространять ради вашей же пользы чумного микроба.

Коттар запротестовал: вовсе он чумы не хотел, она сама пришла, и не его вина, если чума его устраивает. И когда на пороге появился Рамбер, Коттар энергично добавил:

— Впрочем, я убежден, все равно ничего вы не добьетесь.

От Коттара Рамбер узнал, что тому тоже не известен адрес Гонсалеса, но можно попытаться снова сходить в первое кафе, то, маленькое. Решили встретиться завтра. И так как Риэ выразил желание узнать результаты переговоров, Рамбер пригласил их с Тарру зайти в конце недели прямо к нему в номер в любой час ночи.

Наутро Коттар и Рамбер отправились в маленькое кафе и велели передать Гарсиа, что будут ждать его нынче вечером, а в случае какой-либо помехи завтра... Весь вечер они прождали зря. Зато на следующий день Гарсиа явился. Он молча выслушал рассказ о злоключениях Рамбера. Лично он не в курсе дел, но слышал, что недавно оцепили несколько кварталов и в течение суток прочесывали там все дома подряд. Очень возможно, что Гонсалесу и братьям не удалось выбраться из оцепления. Все, что он может сделать, — это снова свести их с Раулем. Ясно, на встречу раньше, чем через день-другой, рассчитывать не приходится.

— Видно, надо начинать все сначала, — заметил Рамбер.

Когда Рамбер встретился с Раулем на условленном месте, на перекрестке, тот подтвердил предположения Гарсиа — все нижние кварталы города действительно оцеплены. Надо бы попытаться

восстановить связь с Гонсалесом. А через два дня Рамбер уже завтракал с футболистом.

— Вот ведь глупость какая,— твердил Гонсалес.— Мы должны были договориться, как найти друг друга.

Того же мнения придерживался и Рамбер.

— Завтра утром пойдем к мальчикам, попытаемся что-нибудь устроить.

На следующий день мальчиков не оказалось дома. Им назначили свидание на завтра в полдень на Лицейской площади. И Тарру, встретивший после обеда Рамбера, был поражен убитым выражением его лица.

— Не ладится?— спросил Тарру.

— Да. Вот тебе и начали сначала,— ответил Рамбер.

И он повторил свое приглашение:

— Заходите сегодня вечером.

Вечером, когда гости вошли в номер Рамбера, хозяин лежал на постели. Он поднялся и сразу же налил приготовленные заранее стаканы. Риэ, взяв свой стакан, осведомился, как идут дела. Журналист ответил, что он уже заново проделал весь круг, что опять вернулся к исходной позиции и что скоро у него будет еще одна встреча, последняя. Выпив, он добавил:

— Только опять они не придут.

— Не следует обобщать,— сказал Тарру.

— Вы ее еще не раскусили,— ответил Рамбер, пожимая плечами.

— Кого ее?

— Чуму.

— А-а,— протянул Риэ.

— Нет, вы не поняли, что чума—это значит начинать все сначала.

Рамбер отошел в угол номера и завел небольшой патефон.

— Что это за пластинка?— спросил Тарру.— Что-то знакомое.

Рамбер сказал, что это «Saint James Infirmary».

Пластинка еще продолжала вертеться, когда вдали послышалось два выстрела.

— По собаке или по беглецу бьют,— заметил Тарру.

Через минуту патефон замолчал, и совсем рядом прогудел клаксон санитарной машины, звук окреп, пробежал под окнами номера, ослаб и наконец затих вдали.

— Занудная пластинка,— сказал Рамбер.— И к тому же я прослушал ее сегодня раз десять.

— Она вам так нравится?

— Да нет, просто другой нету.

И добавил, помолчав:

— Говорю же вам, что это значит начинать все сначала...

Он осведомился у Риэ, как работают санитарные дружины. Сейчас насчитывается уже пять дружин. Есть надежда сформировать еще несколько. Журналист присел на край кровати и с подчеркнутым вниманием стал рассматривать свои ногти. Риэ приглядывался к коренастой сильной фигуре Рамбера и вдруг заметил, что Рамбер тоже смотрит на него.

— А знаете, доктор,—проговорил журналист,—я много думал о ваших дружинах. И если я не с вами, то у меня на то есть особые причины. Не будь их, думаю, я охотно рискнул бы своей шкурой—я ведь в Испании воевал.

— На чьей стороне?—спросил Тарру.

— На стороне побежденных. Но с тех пор я много размышлял.

— О чем?—осведомился Тарру.

— О мужестве. Теперь я знаю, человек способен на великие деяния. Но если при этом он не способен на великие чувства, он для меня не существует.

— Похоже, что человек способен на все,—заметил Тарру.

— Нет-нет, он не способен долго страдать или долго быть счастливым. Значит, он не способен ни на что дельное.

Рамбер посмотрел поочередно на своих гостей и спросил:

— А вот вы, Тарру, способны вы умереть ради любви?

— Не знаю, но думаю, что сейчас нет, не способен...

— Вот видите. А ведь вы способны умереть за идею, это невооруженным глазом видно. Ну, а с меня хватит людей, умирающих за идею. Я не верю в героизм, я знаю, что быть героем легко, и я знаю теперь, что этот героизм губителен. Единственное, что для меня ценно,—это умереть или жить тем, что любишь.

Риэ внимательно слушал журналиста. Не отводя от него глаз, он мягко проговорил:

— Человек—это не идея, Рамбер.

Рамбер подскочил на кровати, он даже покраснел от волнения.

— Нет, идея, и идея не бог весть какая, как только человек отворачивается от любви. А мы-то как раз не способны любить. Примиримся же с этим, доктор. Будем ждать, пока не станем способны, и, если и впрямь это невозможно, подождем всеобщего освобождения, не играя в героев. Дальше этого я не иду.

Риэ поднялся со стула, лицо его вдруг приняло усталое выражение.

— Вы правы, Рамбер, совершенно правы, и ни за какие блага мира я не стал бы вас отговаривать сделать то, что вы собираетесь сделать, раз я считаю, что это и справедливо и хорошо. Однако я обязан вам вот что сказать: при чем тут, в сущности, героизм. Это не героизм, а обыкновенная честность. Возможно, эта мысль покажется вам смехотворной, но единственное оружие против чумы—это честность.

— А что такое честность?—спросил Рамбер совсем иным, серьезным тоном.

— Что вообще она такое, я и сам не знаю. Но в моем случае знаю: быть честным—значит делать свое дело.

— А вот я не знаю, в чем мое дело,—яростно выдохнул Рамбер.—Возможно, я не прав, выбрав любовь.

Риэ обернулся к нему.

— Нет, не думайте так,—с силой произнес он,—вы правы!

Рамбер поднял на них задумчивый взгляд:

— По-моему, вы оба ничего в данных обстоятельствах не теряете. Легко быть на стороне благого дела.

Риэ допил вино.

— Пойдем,—сказал он Тарру,—у нас еще много работы.

Он первым вышел из номера.

Тарру последовал за ним до порога, но, видимо, спохватился, обернулся к журналисту и сказал:

— А вы знаете, что жена Риэ находится в санатории в нескольких сотнях километров отсюда?

Рамбер удивленно развел руками, но Тарру уже вышел из номера.

Назавтра рано утром Рамбер позвонил доктору:

— Вы не будете возражать, если я поработаю с вами, пока мне не представится случай покинуть город?

На том конце провода помолчали, а затем:

— Конечно, Рамбер. Спасибо вам.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Так в течение долгих недель пленники чумы бились как умели и как могли. А ведь кое-кто из них воображал, как, например, Рамбер, в чем мы имели возможность убедиться выше, что они еще действовали как люди свободные, что им еще дано было право выбора. Но тем не менее в этот момент, к середине августа, можно было смело утверждать, что чума пересилила всех и вся. Теперь уже не стало отдельных, индивидуальных судеб — была только наша коллективная история, точнее, чума и порожденные ею чувства разделялись всеми. Самым важным сейчас были разлука и ссылка со всеми вытекающими отсюда последствиями — страхом и возмущением. Вот почему рассказчик считает уместным именно сейчас, в разгар зноя и эпидемии, описать хотя бы в общих чертах и в качестве примера ярость наших оставшихся в живых сограждан, похороны мертвых и страдания влюбленных в разлуке.

Как раз в этом году, посредине лета, поднялся ветер и несколько дней подряд хлестал по зачумленному городу. Жители Орана вообще имели все основания недолюбливать ветер: на плато, где возведен город, ветер не встречает естественных препятствий и без помех, как оголтелый прорывается за городские стены. Ни одна капля влаги не освежила Оран, и после месяцев засухи он весь оброс серым налетом, лупившимся под порывами ветра. Ветер подымал тучи пыли и бумажек, с размаху льющихся к ногам прохожих, которых становилось все меньше. Те немногие, кого гнала из дома нужда, торопливо шагали, согнувшись чуть ли не вдвое, прикрыв рот ладонью или носовым платком. Теперь вечерами на улицах уже не толпился народ, стараясь продлить прожитый день, который мог оказаться последним, теперь чаще попадались лишь отдельные группки людей, люди торопились вернуться домой или заглянуть в кафе, так что в течение недели с наступлением рано спускавшихся сумерек в

городе стало совсем пусто, и только ветер протяжно и жалобно завывал вдоль стен. От беспокойного и невидимого отсюда моря шел запах соли и водорослей. И наш пустынный город, весь побелевший от пыли, перенасыщенный запахами моря, весь гулкий от вскриков ветра, стenal, как проклятый богом остров.

До сих пор чума косила людей чаще всего не в центре, а в более населенных и не столь комфортабельных окраинных районах. Но вдруг оказалось, что она одним скачком приблизилась к деловым кварталам и прочно там воцарилась. Жители уверяли, что это ветер разносит семена инфекции. «Все карты смешал», — жаловался директор отеля. Но что бы там ни было, центральные кварталы поняли, что наступил их час, ибо теперь все чаще и чаще раздавался в ночи прерывистый гудок машин «скорой помощи», бросавших под самые окна унылый и бесстрастный зов чумы.

Кто-то додумался оцепить даже в самом городе несколько особенно пораженных чумой кварталов и выпускать оттуда только тех, кому это необходимо по соображениям работы. Те, кто попали в оцепление, естественно, рассматривали эту меру как выпад лично против них; во всяком случае, они в силу контраста считали жителей других кварталов свободными людьми. А эти свободные в свою очередь находили в трудную минуту некое утешение в сознании, что другие еще менее свободны, чем они. «Они еще покрепче под замком сидят» — вот в этой-то фразе выражалась тогда единственно доступная нам надежда.

Приблизительно в это же время началась серия пожаров, особенно в веселых кварталах у западных ворот Орана. Расследования показали, что по большей части это было делом рук людей, вернувшихся из карантина и потерявших голову от утрат и бед; они поджигали свои собственные дома, вообразив, будто в огне чума умрет. Приходилось вести нелегкую борьбу с этой усилившейся манией поджогов, представлявших серьезную опасность для целых кварталов, особенно при теперешнем шквальном ветре. После многочисленных, но, увы, бесполезных разъяснений, что дезинфекция, мол, произведенная по приказу городских властей, исключает всякую возможность заражения, пришлось прибегнуть к более крутым мерам в отношении этих без вины виноватых поджигателей. И без сомнения, не сама мысль попасть за решетку испугала этих горемык, а общая для всех жителей города уверенность, что приговоренный к тюремному заключению фактически приговаривается к смертной казни, так как в городской тюрьме смертность достигала неслыханных размеров. Безусловно, убеждение это имело кое-какие основания. По вполне понятным причинам чума особенно бушевала среди тех, кто в силу привычки или необходимости жил кучно, то есть среди солдат, монахов и арестантов. Ибо, несмотря на то что некоторые заключенные были изолированы, тюрьма все же является своеобразной общиной, и доказать это нетрудно — в нашей городской тюрьме стражники платили дань эпидемии наравне с арестованными. С точки зрения самой чумы, с ее олимпийской точки зрения, все без изъятия, начиная с начальника тюрьмы и кончая последним заключенным, были равно обречены на смерть, и,

возможно, впервые за долгие годы в узилище царила подлинная справедливость.

И напрасно городские власти пытались ввести некие иерархические различия в это всеобщее уравнительство, возымев мысль награждать стражников, погибших от чумы при выполнении служебных обязанностей. Так как город был объявлен на осадном положении, можно было считать с известной точки зрения, что стражники мобилизованы, поэтому их посмертно награждали воинской медалью. Но если арестанты безропотно примирились с таким положением, то военные власти, напротив, взглянули на дело иначе и объявили не без основания, что эта мера способна внести прискорбную путаницу в умы оранцев. Просьбу военачальников уважили и решили было, что проще всего награждать погибших от чумы стражников медалью за борьбу с эпидемией. Но зло уже совершилось — нечего было и думать о том, чтобы отбирать воинские медали у стражников, погибших первыми, а военные власти продолжали отстаивать свою точку зрения. С другой стороны, медаль за борьбу с эпидемией имела существенный недостаток: она не производила столь впечатляющего морального эффекта, как присвоение воинской награды, коль скоро в году эпидемии получить медаль за борьбу с ней — дело довольно-таки обычное. Словом, все оказались недовольны.

К тому же тюремное начальство не могло действовать наподобие духовных властей и тем более военных. Монахи обоих имеющихся в городе монастырей были и в самом деле временно расселены по благочестивым семьям. И точно так же при первой возможности из казармы небольшими соединениями выводили солдат и ставили их на постой в школы или другие общественные здания. Получилось, что эпидемия, которая, казалось бы, должна была сплотить жителей города, как сплачиваются они во время осады, разрушала традиционные сообщества и вновь обрекала людей на одиночество. Все это вносило замешательство.

Мы не ошибемся, если скажем, что все эти обстоятельства плюс шквальный ветер и в иных умах тоже раздули пламя пожара. Снова ночью на городские ворота было совершено несколько налетов, но на сей раз небольшие группки атакующих были вооружены. С обеих сторон поднялась перестрелка, были раненые, и несколько человек сумели вырваться на свободу. Но караульные посты были усилены, и все попытки к бегству вскоре прекратились. Однако и этого оказалось достаточно, чтобы по городу пронесся мятежный вихрь, в результате чего то там, то здесь разыгрывались бурные сцены. Люди бросались грабить горящие или закрытые по санитарным соображениям дома. Откровенно говоря, трудно предположить, что делалось это с заранее обдуманном намерением. По большей части люди, причем люди до того вполне почтенные, силою непредвиденных обстоятельств совершали неблагоприятные поступки, тут же вызывавшие подражание. Так, находились одержимые, которые врываются в охваченное пламенем здание на глазах оцепеневшего от горя владельца. Именно полное его безразличие побуждало зевак следовать примеру зачинщиков, и тогда можно было видеть, как по темной улице, освещенной лишь отблесками пожара, разбе-

гаются во все стороны какие-то тени, неузнаваемо искаженные последними вспышками пожара, горбатые от взваленного на плечи кресла или тюка с одеждой. Именно из-за этих инцидентов городские власти вынуждены были приравнять состояние чумы к состоянию осады и прибегать к вытекающим отсюда мерам. Двух мародеров расстреляли, но сомнительно, произвела ли эта расправа впечатление на остальных, так как среди стольких смертей какие-то две казни прошли незамеченными — вот уж воистину капля в море. И по правде говоря, подобные сцены стали повторяться вновь, а власти делали вид, что ничего не замечают. Единственной мерой, которая, по-видимому, произвела впечатление на всех наших сограждан, было введение комендантского часа. После одиннадцати наш город, погруженный в полный мрак, словно окаменевал.

Под лунным небом он выставлял напоказ свои белесые стены и свои прямые улицы, нигде не перечеркнутые темной тенью дерева, и ни разу тишину не нарушили шаги прохожего или лай собаки. Огромный безмолвствующий город в такие ночи становился просто скоплением массивных и безжизненных кубов, а среди них лишь одни немотствующие статуи давно забытых благодетелей рода человеческого или навек загнанные в бронзу бывшие великие мира сего пытались своими лицами-масками, выполненными в камне или металле, воссоздать искаженный образ того, что было в свое время человеком. Эти кумиры средней руки красовались под густым августовским небом на обезлюдевших перекрестках, эти бесчувственные чурбаны достаточно полно олицетворяли собой то царство неподвижности, куда мы попали все скопом, или в крайнем случае — последний его образ, образ некрополя, где чума, камень и мрак, казалось, наконец-то задушили живой человеческий голос.

Но мрак царил также во всех сердцах; и легенды, и правда насчет практикуемой церемонии похорон вряд ли вселяли особую бодрость в наших сограждан. Ибо хочешь не хочешь, а надо рассказать о похоронах, и рассказчик заранее просит за это прощение. Он безропотно готов принять вполне законные упреки, но единственное его оправдание в том, что были же в течение всего этого периода похороны и что в какой-то мере он вынужден был, как и все наши сограждане, заниматься похоронами. Во всяком случае, он вовсе не такой уж любитель подобных церемоний, напротив, он предпочитает общество живых, к примеру пляж, морские купания. Но морские купания были запрещены, и общество живых с утра до ночи пребывало в страхе, как бы их не выгеснило общество мертвецов. Такова очевидность. Разумеется, можно было бы попытаться не видеть ее, закрыть глаза и начисто ее отринуть, но очевидность обладает чудовищной силой и всегда в конце концов восторжествует. Ну скажите сами, как можно отринуть похороны в тот день, когда те, которых вы любите, должны быть похоронены.

Так вот, самой характерной чертой нашего погребального обряда была поначалу быстрота. Все формальности упростились,

и траурная церемония как таковая была отменена. Больные умирали не дома, не на глазах у близких, традиционные ночные бдения были запрещены, так что тот, кто, скажем, умирал к вечеру, проводил ночь в полном одиночестве, а того, кто умирал днем, старались поскорее зарыть. Семью, понятно, извещали, но в большинстве случаев родные не могли свободно передвигаться по городу, так как сидели в карантине, если они находились в контакте с больным. В тех же случаях, если покойный жил отдельно от родных, они являлись в указанный час, то есть к моменту отъезда на кладбище, когда тело было уже обмыто и положено в гроб.

Предположим, что подобная церемония происходила во вспомогательном лазарете, которым ведал доктор Риэ. Вход в школу находился позади главного здания. В большом подсобном помещении, выходящем в коридор, хранились гробы. В коридоре же семья обнаруживала один уже заколоченный гроб. И тут же переходили к основной части обряда, другими словами, давали главе семьи подписать нужные бумаги. Затем гроб ставили в закрытый автомобиль, иной раз это был самый обыкновенный фургон, иной раз специально оборудованная машина «скорой помощи». Родные рассаживались в такси, тогда еще не упрямленные, и весь кортеж галопом неся к кладбищу по окраинным улицам. У городских ворот жандармы останавливали кортеж, шлепали печать на официальный пропуск, без чего отныне не стало доступа к «последнему месту упокоения», как выражались наши сограждане, пропускали машины, и они останавливались у четырехугольной площадки, изрытой многочисленными рвами, ожидавшими загрузки. Священник выходил встречать покойника, так как отпевание в церкви было отменено. Под чтение молитв из машины вытаскивали гроб, обвязывали его веревками, волокли волоком, и он, скользя в ров, стучался о дно; священник размахивал кадилом, и вот уже первые комья земли начинали барабанил по крышке. Фургон уезжал сразу же, так как ему полагалось пройти дезинфекцию; комья глины, падавшие с лопаты, звучали все глуше, а родственники тем временем уже рассаживались в такси. И через четверть часа они были дома.

Таким образом, все происходило поистине с максимальной быстротой и минимальным риском. И разумеется, по крайней мере в начале эпидемии, родные бывали оскорблены в своих самых естественных чувствах. Но во время чумы такие соображения в расчет не принимаются: жертвуют всем ради пользы дела. Впрочем, если поначалу дух нашего населения пострадал от подобной практики, поскольку желание быть похороненным прилично распространено гораздо шире, чем принято считать, то вскоре, к счастью, начались затруднения с продуктами питания, и жителей отвлекли более насущные заботы... Нас настолько поглощало многочасовое стояние в очередях, различные хлопоты и различные формальности, которые приходилось выполнять, ежели ты хочешь кушать, что у людей просто не оставалось времени размышлять о том, как умирают вокруг них и как сам ты умрешь, когда наступит твой час. Таким образом, материальные трудности, которые, вообще-то, сами по себе зло, обернулись, как

это ни странно, благом. И все было бы к лучшему, если бы, как мы уже видели, эпидемия не распространилась столь широко.

Ибо гробы становились редкостью, для саванов не хватало полотна, на кладбище не хватало мест. Приходилось что-то предпринимать. Самое простое—все по тем же соображениям пользы—было объединять несколько похоронных церемоний в одну и, раз уж возникла такая необходимость, участить рейсы между лазаретом и погостом. Так, в распоряжении лазарета, руководимого доктором Риэ, в наличии имелось к этому времени всего пять гробов. Когда все они бывали заполнены, их грузили в машину. На кладбище гробы опорожняли, трупы цвета ржавого железа клали на носилки и ставили в специально оборудованный сарай. Затем гробы обливали дезинфицирующим раствором, отвозили обратно в лазарет, и вся операция повторялась столько раз, сколько требовалось. Так что дело было поставлено образцово, и префект неоднократно выказывал свое удовлетворение. Он даже сказал Риэ, что видел в старинных летописях, посвященных чуме, рисунки, изображающие негров, которые отвозят на погост груды трупов в простых тележках, и что наша организация похорон куда совершеннее.

— Верно,—согласился Риэ,—похороны такие же, только нам-то еще придется заполнять карточки. Так что прогресс налицо.

Несмотря на все достижения администрации в этой области, префектуре пришлось запретить родственникам присутствовать при погребении, так как со временем похоронный обряд превратился в довольно-таки неприглядную формальность. Родным разрешалось доходить только до кладбищенских ворот, да и то неофициально. И произошло это потому, что перемена коснулась в основном заключительной части погребения. В дальнем конце кладбища, на пустом еще пространстве, поросшем мастиковым деревом, вырыли два огромных рва. Один ров предназначался для мужчин, второй для женщин. Администрация в данном вопросе старалась еще придерживаться правил приличия и только уже значительно позже, силою обстоятельств, отказалась от последней попытки соблюдать благопристойность, и мертвецов стали хоронить кучно, вповалку, не разбирая мужчин и женщин, отбросив все заботы о целомудрии. К счастью, этот апокалипсический хаос был характерен только для последних этапов бедствия. В тот период, о котором идет речь, еще существовали отдельные могильные рвы, и префектура очень гордилась этим обстоятельством. На дне каждого из рвов булькала и шипела негашеная известь, налитая толстым слоем. На краю рвов лежали кучки такой же извести, и вздувавшиеся на них пузырьки лопались под воздействием свежего воздуха. Когда рейсы заканчивались, из сарая выносили носилки, выстраивали их бок о бок, потом сбрасывали в ров почти вплотную друг к другу голые, чуть скрюченные тела и тут же заливали их новым слоем извести; потом довольно скупно засыпали ров землей, чтобы оставить место для будущих гостей. На следующий день вызывали родственников и предлагали им расписаться в книге регистраций, что подчеркивало разницу, существующую между людьми, которых всегда можно было контролировать, и, скажем, собаками.

Для всех этих операций требовался персонал, и каждый день возникала опасность, что его вот-вот не хватит. Большинство санитаров и могильщиков, в первое время профессионалов, а потом взятых со стороны, погибали от чумы. Зараза все равно брала свое, какие бы меры предосторожности ни принимались. Но если хорошенько вдуматься, самое удивительное было то, что во время всей эпидемии охотники все-таки находились. Критический период наступил незадолго до того, как кривая заболеваний достигла потолка, и тревога доктора Риэ была тогда вполне законной. Рук не хватало ни для квалифицированной работы, ни, как он выражался, для черной. Но с той поры, когда чума по-хозяйски расположилась в городе, даже ее крайности в конечном счете пошли на пользу — из-за эпидемии разладилась вся экономическая жизнь Орана, а это, естественно, увеличилось число безработных. Пополнять ими ряды специалистов в большинстве случаев не удавалось, но для черной работы они вполне годились. И в самом деле, именно в эти дни нищета оказалась сильнее страха, тем более что труд оплачивался в зависимости от степени риска. Санитарные службы располагали списками, куда были занесены ждущие работы, и, как только освобождалась вакансия, извещали первых, стоявших на очереди, и они неукоснительно являлись на вызов, если только за это время не исчезали из списка живых. Поэтому-то префекту, долго не решавшемуся использовать на подсобных работах заключенных пожизненно или на срок, удалось обойтись без этой крайней меры. Он считал, что, пока есть и будут безработные, вполне можно ждать.

Худо ли, хорошо ли, но до конца августа наши сограждане отходили в свое последнее жилище если не совсем как положено, зато в атмосфере образцового порядка, и власти, таким образом, пребывали в убеждении, что свой долг они выполняют. Но тут уместно немного опередить события и рассказать, к каким мерам вынуждена была прибегать под занавес служба, ведающая похоронами. Начиная с августа при тогдашнем взлете эпидемии количество жертв значительно превосходило возможности нашего скромного по размерам кладбища. И хотя часть ограды сняли, отдав в распоряжение мертвецов прилегающие участки, пришлось срочно изыскивать какие-то иные выходы. Поначалу решено было устраивать похороны ночью, что на первых порах избавляло персонал от излишней щепетильности — можно было набивать машины до отказа. И кое-кто из замешкавшихся горожан, после наступления комендантского часа находившихся на окраине вопреки запрету (или же вынужденных передвигаться ночью по роду своих занятий), нередко становились свидетелями того, как длинные, выкрашенные в белый цвет машины мчатся во весь опор и глухие гудки их будят эхо в черных провалах улиц. Затем трупы наспех бросали в ров. Они еще подпрыгивали от толчка, а шлепки извести уже расплывались по их лицам; земля покрывала без разбора всех этих безымянных, и их навсегда поглощали рвы, которые теперь рыли как можно глубже.

Спустя некоторое время пришлось, однако, искать новые пути и выйти на новые рубежи. По приказу префектуры были потревожены старые захоронения и останки бывших владельцев

свезены к печам. Вскоре начали сжигать и трупы погибших от чумы. Для этой цели приспособили мусоросжигательную печь, находившуюся в восточной части города, уже за воротами. Посты отнесли дальше, а какой-то служащий мэрии значительно облегчил задачу администрации, посоветовав использовать для перевозки трупов трамваи, которые ходили раньше по горной дороге над морем, а сейчас стояли без употребления. Для этой цели в прицепах и моторных вагонах сняли сиденья и пустили трамваи до мусоросжигательной станции, которая и стала конечной остановкой на этой линии.

И в конце лета, и в самый разгар осенних ливней ежедневно можно было видеть, как глубокой ночью катит по горной дороге страшный кортеж трамваев без пассажиров и побрякивает, позвякивает себе над морем. В конце концов жители пронюхали, в чем тут дело. И несмотря на то что патрули запрещали приближаться к карнизу, отдельным группам лиц все же удавалось, и удавалось часто, пробраться по скалам, о которые бились волны, и бросить цветы в прицепной вагон проходившего мимо трамвая. Тогда летними ночами до нас докатывалось лязганье трамвайных вагонов, груженных трупами и цветами.

А к утру, во всяком случае в первое время, густой тошнотворный дым окутывал восточные кварталы города. По единодушному утверждению врачей, эти испарения, пусть даже весьма неприятные, не приносили никакого вреда. Но обитатели этих кварталов немедленно объявили, что покидают насиженные места, так как верили, будто чума валится на них с неба; пришлось поэтому воздвигнуть сложную систему дымоуловителей, и люди тогда успокоились. Только в дни шквальных ветров зловонная волна, идущая с востока, напоминала нам, что теперь все мы живем при новом порядке и что пламя чумы ежевечерне требует своей дани.

Таковы были последствия чумы в ее апогее. Но к счастью, эпидемия стабилизировалась, ибо, надо думать, фантазия отцов города, изобретательность префектуры, издающей приказы, и даже пропускная способность печи уже истощились. Риэ слышал, что выдвигаются еще новые проекты, продиктованные отчаянием, например кто-то предложил бросать трупы в море, и воображение доктора без труда нарисовало страшную пену, вскипавшую на синих водах. Знал он также, что, если число смертных случаев будет расти, любая, даже самая безупречная организация окажется бессильной, люди станут умирать кучно, а трупы вопреки всем ухищрениям префектуры будут разлагаться прямо на улицах, и город увидит еще, как на площадях и бульварах умирающие будут цепляться за живых, движимые вполне объяснимой ненавистью и глупейшей надеждой.

Во всяком случае, вот эта-то очевидность или опасения поддерживали в наших согражданах ощущение изгнания и отъединения. С этой точки зрения очень прискорбно — и рассказчик сам прекрасно это понимает, — что ему не удалось украсить свою хронику достаточно эффектными страницами, например нарисовать вселяющий бодрость образ героя или какой-нибудь из ряда вон выходящий поступок, вроде тех, что встречаются в старин-

ных хрониках. Ибо нет ничего менее эффектного, чем картина бедствия, и самые великие беды монотонны именно в силу своей протяженности. В памяти тех, кто пережил страшные дни чумы, они остались не в образе грозного и беспощадного пожара, а скорее уж как нескончаемое топтание на месте, все подминающее под себя.

Нет, чума не имела ничего общего с теми впечатляющими картинками, которые преследовали доктора Ризэ в самом начале эпидемии. Прежде всего чума была неким административным механизмом, осмотрительным, безупречным, во всяком случае функционирующим безукоризненно. Рассказчик, заметим в скобках, боясь погрешить против истины, а главное — погрешить против самого себя, стремился в первую очередь к объективности. Почти ничем не поступился он ради красоты стиля, если, конечно, не считать примитивных требований связности изложения. И как раз объективность велит ему сейчас сказать, что если самым великим страданием этой эпохи, самым общим для всех и самым глубоким была разлука, если необходимо дать с полной чистосердечностью новое описание этой стадии чумы, то все же не надо скрывать, что страдания эти уже теряли свой первоначальный пафос.

Уж не начали ли привыкать наши сограждане, хотя бы те, что сильнее всего страдали от этой беды, к своему положению? Было бы несправедливо утверждать это со всей категоричностью. Куда точнее будет сказать, что не только в физическом, но и моральном смысле они страдали в первую очередь от бесплотности своих представлений. В начале эпидемии воображение четко рисовало себе близкое существо, с которым они расстались и о котором тосковали. Но если они ясно помнили любимое лицо, знакомый смех, тот или иной день, впоследствии осознанный как день счастья, то они с трудом представляли себе, что могут любимые делать там, в таком далеком краю, как раз в ту минуту, когда о них думают. В общем, в этот период у них работала память, но сдавало воображение. А на второй стадии чумы угасла и память. Не то чтобы они забыли дорогое лицо, нет, но образ стал бесплотным, что, в сущности, одно и то же, и они уже не находили его в глубинах своей души. В первые недели эпидемии они жаловались, что их любовь со всем ее многообразием обращена к теням, а потом вдруг убедились, что и тени-то могут, оказывается, стать еще более бесплотными, что тускнеет все, вплоть до мельчайших оттенков, свято хранимых памятью. Так что к концу этой бесконечной разлуки они уже не в силах были представить себе ни былой близости, ни того, как они жили раньше подле милого существа, которого в любую минуту можно было коснуться рукой.

Если смотреть на дело с этой точки зрения, они включились в распорядок чумы, вполне будничным и поэтому особенно действенный. Ни у кого из нас уже не сохранилось великих чувств. Зато все в равной мере испытывали чувства бесцветные. «Скорее бы все это кончилось», — говорили наши сограждане, потому что в период бедствий вполне естественно желать конца общих страданий, а еще и потому, что они действительно хотели, чтобы это

кончилось. А говорилось это без прежнего пыла и без прежней горечи, и обосновывалось это мотивами, уже малоубедительными, но пока еще понятными. На смену яростному порыву первых недель пришло тупое оцепенение, которое не следует путать с покорностью, хотя оно все же было чем-то вроде временного приятия.

Наши сограждане подчинились или, как принято говорить, приспособились, потому что иного выхода не было. Понятно, внешне они выглядели людьми, сраженными горем и страданиями, но уже не чувствовали первоначальной их остроты. Впрочем, доктор Риэ, например, считал, что именно это-то и есть главная беда и что привычка к отчаянию куда хуже, чем само отчаяние. Раньше жившие в разлуке были несчастны не до конца, в их муках было какое-то озарение, ныне уже угасшее. А теперь где бы их ни встречали: на перекрестке, у друзей или в кафе, невозмутимых и немного рассеянных, взгляд у них был такой скучающий, что весь наш город казался сплошным залом ожидания. Те, у которых были какие-то занятия, выполняли их в ритме самой чумы—тщательно и без блеска. Все стали скромниками. Впервые разлученные без всякого неприятного осадка беседовали со знакомыми о своем отсутствующем, пользовались стертыми словами, оценивали свою разлуку под тем же углом, что и цифры смертности. Даже те, кто до сих пор яростно старался не смешивать своих страданий с общим горем, даже те шли теперь на это уравнительство. Лишенные памяти и надежды, они укоренились в настоящем, в сегодняшнем дне. По правде говоря, все в их глазах становилось сегодняшним. Надо сказать, что чума лишила всех без исключения способности любви и даже дружбы. Ибо любовь требует хоть капельки будущего, а для нас существовало только данное мгновение.

Само собой разумеется, все это несколько огрублено. Ибо если верно, что все тоскующие в разлуке дошли до этого состояния, то справедливости ради добавим, что дошли не все в одно и то же время, что, хотя они жились со своим новым положением, порой внезапные озарения, неожиданные возвраты, случайные просветления вновь и вновь возрождали всю свежесть и ранимость чувств. Им необходимы были эти минуты, когда, отвлекшись от злости дня, они строили планы так, словно чума уже прекратилась. Необходимы были внезапные уколы беспредметной ревности, и это было благодеянием. Да и другие тоже переживали эту неожиданную полосу возрождения, скидывали с себя оцепенелость, хотя бы в известные дни недели, конечно в первую очередь в воскресенье и в субботний вечер, потому что дни эти во времена отсутствующего были связаны с каким-нибудь семейным ритуалом. Или, случалось, тоска, охватывавшая их к вечеру, давала им надежду, впрочем не всегда оправдывавшуюся, что к ним вернется память. Тот вечерний час, когда верующие католики придиричиво вопрошают свою совесть, этот вечерний час тяжел для узника или изгнанника, которым некого вопрошать, кроме пустоты. На какой-то миг они воспряли, но затем они снова впадали в состояние бесчувственности, замыкались в чуме.

Читатель, очевидно, уже догадался, что это означало полное

отказ от самого личного. Тогда, в первые дни эпидемии, их уязвляли какие-нибудь пустяки, не имевшие для других никакого смысла, и именно благодаря сумме этих пустяков, столь важных для них, они накапливали опыт личной жизни, а теперь, напротив, их интересовало лишь то, что интересовало всех прочих, они вращались в круге общих идей и даже сама любовь приобретала абстрактное обличье. Они до такой степени предали себя в руки чумы, что подчас, случалось, надеялись только на даруемый ею сон и ловили себя на мысли: «Пусть бубоны, только бы все кончилось». Но они уже и так спали, и весь этот долгий этап был фактически долгим сном. Город был заселен полупроснувшимися сонями, которым удавалось вырываться из пут судьбы лишь изредка, обычно ночью, когда их с виду затянувшиеся раны вдруг открывались. И грубо пробужденные, они как-то рассеянно касались воспаленных губ, обнаруживая, словно при вспышке молнии, свое омоложенное страдание, а вместе с ним растроженный лик своей любви. А поутру они покорно подставляли шею бедствию, то есть рутине.

Но, спросит читатель, как выглядели эти мученики разлуки? Да очень просто — никак. Или, если угодно, как и все, приобрели некий общий для нас вид. Они, как и весь город, жили в состоянии ребячливого благодушия и суеты. Они утратили видимость критического чувства, приобретаю при этом видимость хладнокровия. Например, нередко можно было наблюдать, как самые, казалось бы, светлые головы притворялись, будто по примеру всех прочих ищут в газетах или в радиопередачах обнадеживающие намеки на близкое окончание эпидемии, загорались химерическими надеждами или же, напротив, испытывали ни на чем не основанный страх, читая рассуждения какого-нибудь досужего журналиста, написанные просто так, с зевком на губах. А во всем остальном они пили свое пиво или выхаживали своих больных, ленились или лезли вон из кожи, составляя статистические таблицы, или ставили пластинки и только этим отличались друг от друга. Иными словами, они уже ничего не выбирали. Чума лишила их способности оценочных суждений. И это было видно хотя бы по тому, что никто уже не интересовался качеством покупаемой одежды или пищи. Принимали все без разбора.

Чтобы покончить с этим вопросом, добавим, что мученики разлуки лишились любопытной привилегии, поначалу служившей им защитой. Они утратили эгоизм любви и все вытекающие отсюда преимущества. Зато теперь положение стало ясным, бедствие касалось всех без изъятия. Все мы под стрельбу, раздававшуюся у городских ворот, под хлопанье штемпелей, определяющих ритм нашей жизни и наших похорон, среди пожаров и регистрационных карточек, ужаса и формальностей, осужденные на постыдную, однако зарегистрированную по всей форме кончину, среди зловещих клубов дыма и невозмутимых сирен «скорой помощи», — все мы в равной степени вкушали хлеб изгнания, ожидая неведомо для себя потрясающего душу воссоединения и умиротворения. Понятно, наша любовь была по-прежнему с нами, только она была ни к чему не приложима, давила всех нас тяжелым бременем, вяло гнездилась в наших

душах, бесплодная, как преступление или смертный приговор. Наша любовь была долготерпением без будущего и упрямым ожиданием. И с этой точки зрения поведение кое-кого из наших сограждан приводило на память длинные очереди, собиравшиеся во всех концах города перед продовольственными магазинами. И тут и там — та же способность смиряться и терпеть, одновременно беспредельная и лишенная иллюзий. Надо только умножить это чувство в тысячу раз, ибо здесь речь идет о разлуке, об ином голоде, способном пожрать все.

Во всяком случае, если кто-нибудь захочет иметь точную картину умонастроения наших мучеников разлуки, проще всего вновь вызвать в воображении эти пыльно-золотые нескончаемые вечера, спускавшиеся на лишенный зелени город, меж тем как мужчины и женщины растекались по всем улицам. Ибо как это ни странно, но из-за отсутствия городского транспорта и автомобилей вечерами к еще позлащенным солнцем террасам подымался уже не прежний шорох шин и металлическое треньканье — обычная мелодия городов, — а равномерный, нескончаемый шорох шагов и приглушенный гул голосов, скорбное шарканье тысяч подошв в ритм свисту бича в душном небе, непрерывное, хватающее за горло топтание, которое мало-помалу заполняло весь Оран и которое вечер за вечером становилось голосом, точным и унылым голосом слепого упорства, заменившего в наших сердцах любовь.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

В течение сентября и октября чума по-прежнему подминала под себя город. Поскольку мы уже упоминали о топтании, следует заметить, что многие сотни тысяч людей топтались так в течение бесконечно долгих недель. Небо слало то туман, то жару, а то дождевые тучи. Безмолвные стаи дроздов и скворцов, летевших с юга, проносились где-то высоко-высоко, но упорно обходили стороной наш город, словно тот самый бич, о котором говорил отец Панлю, это деревянное копье, со свистом крутящееся над крышами домов, держало их на почтительном расстоянии от Орана. В начале октября ливневые дожди начисто смыли пыль с улиц. И в течение всего этого периода ничего существенного не произошло, если не считать тупого, неутихающего топтания.

Тут только обнаружилось, до какой степени устали Риэ и его друзья. И в самом деле, члены санитарных дружин уже не в силах были справиться с этой усталостью. Доктор Риэ заметил это, наблюдая, как прогрессирует в нем самом, да и во всех его друзьях, какое-то странное безразличие. Так, к примеру, эти люди, которые раньше с живейшим интересом прислушивались ко всем новостям касательно чумы, вовсе перестали интересоваться этим. Рамбер—ему временно поручили один из карантинных, расположенный в их отеле,—с закрытыми глазами мог назвать число своих подопечных. Мог он также в мельчайших подробностях рассказать о системе экстренной перевозки, организованной им для тех, у кого внезапно обнаруживались симптомы заболевания. Статистические данные о действии сыворотки на людей, содержащихся в карантине, казалось, навсегда врезались в его память. Но он не был способен назвать ежедневную цифру жертв, унесенных чумой, он действительно не имел представления, идет ли болезнь на убыль или нет. И вопреки всему этому он лелеял надежду на побег из города в самые ближайшие дни.

Что касается других, отдававших работе и дни и ночи, то они уже не читали газет, не включали радио. И если им сообщали

очередные статистические данные, они притворялись, что слушают с интересом, на самом же деле принимали эти сведения с рассеянным безразличием, какое мы обычно числим за участниками великих войн, изнуренных бранными трудами, старающихся только не ослабеть духом при выполнении своего ежедневного долга и уже не надеющихся ни на решающую операцию, ни на скорое перемирие.

Гран, продолжавший вести столь важные во время чумы подсчеты, был явно не способен назвать общие итоги. В отличие от Тарру, Рамбера и Риэ, еще не окончательно поддавшихся усталости, здоровьем Гран никогда похвастаться не мог. А ведь он совмещал свои функции в мэрии с должностью секретаря у Риэ да еще трудился ночью для себя самого. Поэтому он находился в состоянии полного упадка сил, и поддерживали его две-три почти маниакальные идеи, в частности он решил дать себе после окончания эпидемии полный отдых хотя бы на неделю и трудиться только ради своего «шапки долой» — по его словам, дело уже идет на лад. Временами на него накатывало необузданное умиление, и в этих случаях он долго и много говорил с доктором Риэ о своей Жанне, старался догадаться, где она может находиться сейчас и думает ли она о нем, читая газеты. Именно беседуя с ним, доктор Риэ поймал себя на том, что и сам говорит о своей жене какими-то удивительно пошлыми словами, чего за ним до сих пор не водилось... Не слишком доверяя успокоительным телеграммам жены, он решил протелеграфировать непосредственно главному врачу санатория, где она находилась на излечении. В ответ он получил извещение, что состояние больной ухудшилось, и одновременно главный врач заверял супруга, что будут приняты все меры, могущие приостановить развитие болезни. Риэ хранил эту весть про себя и только состоянием крайней усталости мог объяснить то, что решился рассказать о телеграмме Грану. Сначала Гран многословно говорил о своей Жанне, потом спросил Риэ о его жене, и тот ответил. «Знаете,— сказал Гран,— в наше время такие болезни прекрасно лечат». И Риэ подтвердил, что лечат действительно прекрасно, и добавил, что разлука, по его мнению, слишком затянулась и что его присутствие, возможно, помогло бы жене успешнее бороться с недугом, а что теперь она, должно быть, чувствует себя ужасно одинокой. Потом он замолк и уклончиво отвечал на дальнейшие расспросы Грана.

Другие находились примерно в таком же состоянии. Тарру держался более стойко, чем остальные, но его записные книжки доказывают, что если его любознательность и не потеряла своей остроты, то, во всяком случае, круг наблюдений сузился. Так, в течение всего этого периода он интересовался, пожалуй, одним лишь Коттаром. Вечерами у доктора — Тарру пришлось переселиться к Риэ после того, как их отель отвели под карантин, — только из вежливости он слушал Грана или доктора, сообщающих о результатах своей работы. И старался поскорее перевести разговор на незначительные факты оранской жизни, которые обычно его интересовали.

В тот день, когда Капель пришел к Риэ объявить, что сыворотка готова, и они после обсуждения решили испытать ее

впервые на сынишке следователя Отона, только что доставленном в лазарет — хотя Риэ лично считал, что случай безнадежный, — хозяин дома, сообщая своему престарелому другу последние статистические данные, вдруг заметил, что его собеседник забылся глубоким сном, привалившись к спинке кресла. И, вглядываясь в эти черты, вдруг утратившие обычное выражение легкой иронии, отчего Кастель казался не по возрасту молодым, заметив, что из полуоткрытого рта стекает струйка слюны, так что на этом сразу обмякшем лице стали видны пометы времени, старость, Риэ почувствовал, как болезненно сжалось его горло.

Именно такие проявления слабости показывали Риэ, до чего он сам устал. Чувства выходили из повиновения. Туго стянутые, зачерствевшие и иссохшие, они временами давали трещину, и он оказывался во власти эмоций, над которыми уже не был хозяином. Надежным способом защиты было укрыться за этой броней очерствелости и потуже стянуть этот давящий где-то внутри узел. Он отлично понимал, что это единственная возможность продолжать. А что касается всего прочего, то у него уже почти не оставалось иллюзий, и усталость разрушала те, что еще сохранялись. Ибо он сознавал, что на данном этапе, границ которого и сам не сумел бы установить, он покончил с функцией целителя. Теперь его функцией стала диагностика. Определять, видеть, описывать, регистрировать, потом обрекать на смерть — вот какое у него было сейчас занятие. Жены хватили его за руки, вопили: «Доктор, спасите его!» Но он приходил к больному не затем, чтобы спасти его жизнь, а чтобы распорядиться о его изоляции. И ненависть, которую он читал на лицах, ничего не могла изменить. «У вас нет сердца!» — однажды сказали ему. Да нет же, сердце у него как раз было. И билось оно затем, чтобы помогать ему в течение двадцати часов в сутки видеть, как умирают люди, созданные для жизни, и назавтра начинать все сначала. Отныне сердца только на это и хватало. Как же могло его хватить на спасение чьей-то жизни?

Нет, в течение дня не помочь он давал, а справки. Разумеется, трудно назвать такое занятие ремеслом человека. Но кому в конце концов среди этой запуганной, изрядно поредевшей толпы дана была роскошь заниматься своим человеческим ремеслом? Счастье еще, что существовала усталость. Будь Риэ не так замотан, этот запах смерти, разлитый повсюду, возможно, способен был пробудить в нем сентиментальность. Но когда спишь по четыре часа в сутки, тут уж не до сантиментов. Тогда видишь вещи в их истинном свете, иными словами в свете справедливости, этой мерзкой и нелепой справедливости. И те, другие, обреченные, те тоже хорошо это чувствовали. До чумы люди встречали его как спасителя. Сейчас он даст пяток пилюль, сделает укол — и все будет в порядке, и, провожая доктора до дверей, ему благодарно жали руку. Это было лестно, однако чревато опасностями. А теперь, напротив, он являлся в сопровождении солдат, и приходилось стучать в двери прикладом, чтобы родные больного решились наконец отпереть. Им хотелось бы его, да и все человечество, утащить с собой в могилу. Ох! Совершенно верно, не могут люди обходиться без людей, верно, что Риэ был так же

беспомощен, как эти несчастные, и что он вполне заслуживал того же трепета жалости, который беспрепятственно рос в нем после ухода от больных.

Таковы, по крайней мере в течение этих бесконечно долгих недель, были мысли, которым предавался доктор Ризэ, перемежая их другими, порожденными состоянием разлуки. Отблески тех же мыслей он читал на лицах своих друзей. Однако самым роковым следствием истощения и усталости, завладевшей постепенно всеми, кто боролся против бедствия, было даже не безразличие к событиям внешнего мира и к эмоциям других, а общее для всех небрежение, какому они поддавались. Ибо все они в равной степени старались не делать ничего лишнего, а только самое необходимое и считали, что даже это выше их сил. Поэтому-то борцы с чумой все чаще и чаще пренебрегали правилами гигиены, которую сами же ввели, по забывчивости манкировали дезинфицирующими средствами, подчас мчались, не приняв мер предосторожности против инфекции, к больным легочной чумой, только потому, что их предупредили в последнюю минуту, а им казалось утомительным заворачивать по дороге еще и на медицинский пункт, где бы им сделали необходимое вливание. Именно здесь таилась подлинная опасность, так как сама борьба с чумой делала борцов особенно уязвимыми для заражения. В сущности, они ставили ставку на случай, а случай он и есть случай.

И все же в городе оставался один человек, который не выглядел ни усталым, ни унылым и скорее даже являл собой олицетворенный образ довольства. И человеком этим был Коттар. Он по-прежнему держался в стороне, но отношений с людьми не порывал. Особенно он привязался к Тарру и при первой же возможности, когда тот бывал свободен от своих обязанностей, старался его повидать, потому что, с одной стороны, Тарру находился в курсе всех его дел и, с другой, потому что Тарру умел приветить комиссионера своей неистощимой сердечностью. Пожалуй, это было чудо, и чудо не кончавшееся, но Тарру, несмотря на свой адский труд, был, как всегда, доброжелателен и внимателен к собеседнику. Если даже иной раз к вечеру он буквально валился с ног от усталости, то утрами просыпался с новым запасом энергии. «С ним,—уверял Коттар Рамбера,—можно говорить, потому что он настоящий человек. Все всегда понимает».

Вот почему в этот период в записных книжках Тарру все чаще и чаще возвращается к Коттару. Тарру пытался воспроизвести полную картину переживаний и размышлений Коттара в том виде, как Коттар ему их поведал, или так, как сам Тарру их воспринял. Под заголовком «Заметки о Коттаре и о чуме» эти описания заняли несколько страниц записной книжки, и рассказчик считает небесполезным привести их здесь в выдержках. Свое общее мнение о Коттаре Тарру сформулировал так: «Вот человек, который растет». Впрочем, рос не столько он, сколько его бодрость духа. Он был даже доволен поворотом событий. Нередко он выражал перед Тарру свои заветные мысли в следующих словах: «Конечно, не все идет гладко. Но зато хоть все мы в одной яме сидим».

«Разумеется,—добавлял Тарру,—ему грозит та же опасность, что и другим, но, подчеркиваю, именно что и другим. И к тому же он вполне серьезно считает, что зараза его не возьмет. По-видимому, он, что называется, живет идеей, впрочем не такой уж глупой, что человек, больной какой-нибудь опасной болезнью или находящийся в состоянии глубокого страха, в силу этого защищен от других недугов или от страхов. «А вы заметили,—как-то сказал он,—что болезни вместе не уживаются? Предположим, у вас серьезный или неизлечимый недуг, ну рак, что ли, или хорошенький туберкулез, так вот, вы никогда не подцепите чумы или тифа—это исключено. Впрочем, можно пойти еще дальше: видели ли вы хоть раз в жизни, чтобы больной раком погибал в автомобильной катастрофе!» Ложная эта идея или верная, но она неизменно поддерживает в Коттаре бодрое расположение духа. Единственное, чего он хочет,—это не отделяться от людей. Он предпочитает жить в осаде вместе со всеми, чем стать арестантом в единственном числе. Во время чумы не до секретных расследований, досье, тайных инструкций и неизбежных арестов. Собственно говоря, полиции больше не существует, нет старых или новых преступлений, нет виновных, а есть только осужденные на смерть, неизвестно почему ожидающие помилования, в том числе сами полицейские». Таким образом, по словам Тарру, Коттар склонен смотреть на симптомы страха и растерянности, пример коих являли наши сограждане, с каким-то снисходительным пониманием и удовлетворением, которое можно бы выразить следующей формулой: «Что ни говори, а я еще до вас все эти удовольствия имел».

«Напрасно я ему твердил, что единственный способ не отделяться от людей—это прежде всего иметь чистую совесть. Он злобно взглянул на меня и ответил: «Ну, знаете, если так, то люди всегда врозь». И добавил: «Говорите что хотите, но я вам вот что скажу: единственный способ объединить людей—это наслать на них чуму. Да вы оглянитесь вокруг себя!» И, откровенно говоря, я прекрасно понимаю, что он имеет в виду и какой, должно быть, удобной кажется ему наша теперешняя жизнь. Он на каждом шагу видит, что реакция других на события вполне совпадает с тем, что пережил он сам; так, каждому хочется, чтобы все были с ним заодно; отсюда любезность, с какой подчас объясняешь дорогу заблудившемуся прохожему, и неприязнь, какую проявляешь к нему в других случаях, и толпы, спешащие попасть в роскошные рестораны, и удовольствие сидеть и сидеть себе за столиком; беспорядочный наплыв публики в кино, бесконечные очереди за билетами, переполненные залы театров и даже дансингов. Одним словом, девятый вал во всех увеселительных заведениях; боязнь любых контактов и жажда человеческого тепла, толкающая людей друг к другу, локоть к локтю, один пол к другому. Ясно, Коттар испытал все это раньше прочих. За исключением, пожалуй, женщин, потому что с таким лицом, как у него... Я подозреваю даже, что ему не раз приходила охота отправиться к девочкам, но он отказывал себе в этом удовольствии потому, что все это, мол, неблаговидно и может сослужить ему впоследствии плохую службу.

Короче, чума ему на руку. Человека одинокого и в то же время тяготящегося своим одиночеством она превращает в сообщника. Ибо он явный сообщник, сообщник, упивающийся своим положением. Он соучастник всего, что попадает в поле его зрения: суеверий, непозволительных страхов, болезненной уязвимости встревоженных душ, их маниакального нежелания говорить о чуме и тем не менее говорить только о ней, их почти панического ужаса и бедности при пустяковой мигрени, потому что всем уже известно, что чума начинается с головной боли, и, наконец, их повышенной чувствительности, раздражительной, переменчивой, истолковывающей забывчивость как кровную обиду, а потерю пуговицы от брюк чуть ли не как катастрофу».

Теперь Тарру часто случалось проводить вечера с Коттаром. Потом он записывал, как они вдвоем ныряли в толпу, обесцвеченную сумерками или мраком, зажатые чужими плечами, погружались в эту бело-черную массу, лишь кое-где прорезанную светом фонарей, и шли вслед за человеческим стадом к жгучим развлечениям, защищающим от могильного холода чумы. Те мечты, которые лелеял Коттар всего несколько месяцев назад и не мог их удовлетворить, то, чего он искал в общественных местах, а именно роскошь и широкую жизнь, возможность предаваться необузданным наслаждениям,—как раз к этому и стремился сейчас целый город. И хотя теперь цены буквально на все неудержимо росли, у нас никогда еще так не швыряли деньгами, и, хотя большинству не хватало предметов первой необходимости, никто не жалел средств на различные ненужности и пустяки. Широко распространились азартные игры, на которые так падка праздность. Однако в нашем случае праздность была просто безработицей. Иной раз Тарру с Коттаром долго шагали за какой-нибудь парочкой, которая раньше пыталась бы скрыть свои чувства, а теперь и он и она упорно шли через весь город, тесно прижавшись друг к другу, не видя окружающей толпы, с чуточку маниакальной рассеянностью, свойственной великим страстям. Коттар умилялся. «Ну и штукари!»—говорил он. Он повышал голос, весь расцветал среди этой всеобщей лихорадки, королевских чаевых, звенящих вокруг, и интрижек, завязывающихся на глазах у всех.

Между тем Тарру отмечал, что в поведении Коттара никакой особой злобности не чувствовалось. Его «Я все это еще до них знал»—свидетельство скорее о несчастье, чем о торжестве. «Думаю даже,—писал Тарру,—что он постепенно начинает любить этих людей, заточенных между небом и стенами их родного города. К примеру, он бы охотно объяснил им, конечно если бы мог, что вовсе это не так уж страшно. «Нет, вы только их послушайте,—говорил он мне,—после чумы я, мол, то-то и то-то сделаю... Сидели бы спокойно, не отравляли бы себе жизнь. Своей выгоды не понимают. Вот я, разве я говорил: «После ареста сделаю то-то и то-то»? Арест—это самое начало, а не конец. Зато чума... Хотите знать мое мнение? Они несчастливы потому, что не умеют плыть по течению. Я-то знаю, что говорю».

И в самом деле, он знает,—добавлял Тарру.—Он совершенно правильно оценивает противоречия, раздражающие наших оранцев,

которые ощущают глубочайшую потребность в человеческом тепле, сближающем людей, и в то же самое время не могут довериться этому чувству из-за недоверия, отдаляющего их друг от друга. Слишком нам хорошо известно, что не следует чересчур полагаться на соседа, который, того гляди, наградит вас чумой, воспользуется минутой вашей доверчивости и заразит вас. Если проводить время так, как проводил его Коттар, то есть видеть потенциальных осведомителей во всех тех людях, общества которых ты сам добивался, то можно понять это состояние. Нельзя не сочувствовать людям, живущим мыслью, что чума не сегодня завтра положит руку тебе на плечо и что, может, как раз в эту самую минуту она готовится к прыжку, а ты вот радуешься, что пока еще цел и невредим. В той мере, в какой это возможно, он чувствует себя вполне уютненько среди всеобщего ужаса. Но так как все это он перечувствовал задолго до нас, думаю, он не способен в полной мере осознать вместе с нами всю жестокость этой неуверенности. Короче, в обществе всех нас, пока еще не умерших от чумы, он прекрасно ощущает, что его свобода и жизнь ежедневно находятся накануне гибели. Но коль скоро он сам прошел через это состояние ужаса, он считает вполне естественным, чтобы и другие тоже узнали его. Или, точнее, если бы он был один в таком положении, переносить это состояние ужаса ему было бы куда мучительнее. Тут он, конечно, не прав, и понять его труднее, чем прочих. Но именно в этом пункте он больше, чем прочие, заслуживает труда быть понятым».

Записи Тарру оканчиваются рассказом, ярко иллюстрирующим это особое уmonoстроение, которое возникало одновременно и у Коттара, и у зачумленных. Рассказ этот в какой-то мере воссоздает тяжкую атмосферу этого периода, и вот почему рассказчик считает его важным.

Оба они отправились в городской оперный театр, где давали глюковского «Орфея». Коттар пригласил с собой Тарру. Дело в том, что весной, перед самым началом эпидемии, в наш город приехала оперная труппа, рассчитывавшая дать несколько спектаклей. Отрезанная чумой от мира, труппа, по согласованию с дирекцией нашей оперы, вынуждена была давать спектакль раз в неделю. Таким образом, в течение нескольких месяцев каждую пятницу наш городской театр оглашали мелодичные жалобы Орфея и бессильные призывы Эвридики. Однако спектакль неизменно пользовался успехом у зрителей и давал полные сборы. Усевшись на самые дорогие места в бенеуаре, Тарру с Коттаром могли сверху любоваться переполненным партером, где собрались наиболее элегантные наши сограждане. Входящие явно старались как можно эффектнее обставить свое появление. В ослепительном свете рампы, пока музыканты под сурдинку настраивали свои инструменты, четко вырисовывались силуэты,двигающиеся от ряда к ряду, грациозно раскланивающиеся со знакомыми. Под легкий гул светских разговоров мужчины разом обрели уверенность, какой им так не хватало всего час назад на темных улицах города. Чума отступала перед фраком.

Все первое действие Орфей легко, не форсируя голоса,

жаловался на свой удел, несколько девиц в античных туниках изящными жестами комментировали его злосчастье, и любовь воспевалась в ариеттах. Зал реагировал тепло, но сдержанно. Вряд ли публика заметила, что в арию второго действия Орфей вводит не предусмотренное композитором тремоло и с чуть повышенным пафосом молит владыку Аида тронуться его слезами. Кое-какие чересчур судорожные жесты знатоки сочли данью стилизации, что, по их мнению, обогащало интерпретацию певца.

Только во время знаменитого дуэта Орфея с Эвридикой в третьем акте (когда Эвридика ускользает от своего возлюбленного) легкий трепет удивления прошел по залу. И словно певец специально ждал этого тревожного шевеления в публике, или, вернее, невнятный рокот голосов, дошедший из партера до сцены, внезапно подтвердил то, что он смутно чувствовал, только выбрал этот момент, чтобы нелепешим образом шагнуть к рампе, растопырив под своей античной туникой руки и ноги, и рухнуть среди пасторальных декораций, которые и всегда-то казались анахронизмом, но сейчас в глазах зрителей впервые стали по-настоящему зловеще анахроничными. Ибо в то же самое время оркестр вдруг смолк, зрители партера, поднявшись с мест, стали медленно и молча выходить из зала, как выходят после мессы из церкви или из комнаты, где лежит покойник, к которому приходят отдать последний долг: дамы — подобрав юбки, опустив головы, а кавалеры — поддерживая своих спутниц за локоть, чтобы уберечь их от толчков откидных стульев. Но мало-помалу движение ускорилось, шепот перешел в крик, и толпа хлынула к опасным выходам. У дверей началась давка, послышались вопли. Коттар и Тарру только поднялись и стояли теперь лицом к лицу с тем, что было одним из аспектов нашей теперешней жизни: чума на сцене в облике бывшего в судорогах лицедея, а в зале вся ненужная теперь роскошь в образе забытых вееров и кружевных косынок, цеплявшихся за алый бархат кресел.

В течение первой недели сентября Рамбер всерьез впрягся в работу и помогал Риэ. Он только попросил доктора дать ему выходной в тот день, на который была назначена встреча у здания мужского лица с Гонсалесом и братьями.

В полдень Гонсалес и журналист еще издали увидели братьев, чему-то на ходу смеявшихся. Братья заявили, что в прошлый раз им ничего не удалось сделать, что, впрочем, не было неожиданным. Так или иначе, на этой неделе они не дежурят. Придется подождать следующей. Тогда и начнем все сначала. Рамбер сказал, что вот именно сначала. Тут Гонсалес предложил встретиться в будущий понедельник. Но тогда уж Рамбера посылать у Марселя и Луи. «Мы с тобой только вдвоем встретимся. Если я почему-либо не приду, топай прямо к ним. Сейчас тебе объяснят, куда идти». Но Марсель, а может, Луи, сказал, что проще всего отвести сейчас же их приятеля к ним. Если Рамбер не слишком переборчивый, его там и накормят, еды хватит на четверых. А он таким образом войдет в курс дела. Гонсалес подтвердил: мысль и в самом деле блестящая, и все четверо двинулись к порту.

Марсель и Луи жили в самом конце Флотского квартала, возле ворот, выходивших на приморское шоссе. Домик у них был низенький, в испанском стиле, с толстыми стенами, с ярко раскрашенными деревянными ставнями, а в комнатах было пусто и прохладно. Мать мальчиков, старуха испанка, с улыбочатым, сплошь морщинистым лицом, подала им вареный рис. Гонсалес удивился: в городе рис уже давно пропал. «У ворот всегда чего-нибудь добудешь»,—пояснил Марсель. Рамбер ел и пил. Гонсалес твердил, что это свой парень, а свой парень слушал и думал только о том, что ему придется торчать здесь еще целую неделю.

На самом же деле пришлось ждать не одну, а две недели, так как теперь сократили число караулов и стражники сменялись раз в полмесяца. И в течение этих двух недель Рамбер работал на щадя сил, работал как заведенный, с зари до ночи, закрыв на все глаза. Ложился он поздно и сразу забывался тяжелым сном. Резкий переход от безделья к изнурительной работе почти лишил его сновидений и сил. О своем скором освобождении он не распространялся. Примечательный факт: к концу первой недели он признался доктору, что впервые за долгий срок прошлой ночью здорово напился. Когда он вышел из бара, ему вдруг померещилось, будто железы у него в паху распухли и что-то под мышками мешает свободно двигать руками. Он решил, что это чума. И единственной его реакцией—он сам согласился с Риэ, весьма безрассудной реакцией,—было то, что он бросился бежать к возвышенной части города, и там, стоя на маленькой площади, откуда и моря-то не было видно, разве что небо казалось пошире, он громко крикнул, призывая свою жену через стены зачумленного города. Вернувшись домой и не обнаружив ни одного симптома заражения, он устыдился своего внезапного порыва. Риэ сказал, что он отлично понимает такой поступок. «Во всяком случае,—добавил доктор,—желание так поступить вполне объяснимо».

— Кстати, сегодня утром мсье Отон говорил со мной о вас,—вдруг добавил Риэ, когда Рамбер с ним прощался.— Спросил, знаю ли я вас. «А раз знаете,—это он мне сказал,—так посоветуйте ему не болтаться среди контрабандистской братии. Его засекли».

— Что все это значит?

— Значит, что вам следует поторопиться.

— Спасибо,—сказал Рамбер, пожимая доктору руку.

Уже стоя на пороге, он неожиданно обернулся. Риэ отметил про себя, что впервые с начала эпидемии Рамбер улыбается.

— А почему бы вам не помешать моему отъезду? У вас же есть такая возможность.

Риэ характерным своим движением покачал головой и сказал, что это дело его, Рамбера, что он, Рамбер, выбрал счастье и что он, Риэ, в сущности, не имеет в своем распоряжении никаких веских аргументов против этого выбора. В таких делах он чувствует себя не способным решать, что худо и что хорошо.

— Почему же в таком случае вы советуете мне поторопиться?

Тут улыбнулся Риэ:

— Возможно потому, что и мне тоже хочется сделать что-нибудь для счастья.

На другой день они уже не возвращались к этой теме, хотя работали вместе. На следующей неделе Рамбер перебрался наконец в испанский домик. Ему устроили ложе в общей комнате. Так как мальчики не приходили домой обедать и так как Рамбера просили не выходить без крайней нужды, он целыми днями сидел один или болтал со старухой испанкой, матерью Марселя и Луи. Эта худенькая старушка, вся в черном, со смуглым морщинистым лицом под белоснежными, до блеска промытыми седыми волосами, была на редкость деятельна и подвижна. Она обычно молчала, и, только когда она смотрела на Рамбера, в глазах ее расцветала улыбка.

Иногда она спрашивала его, не боится ли он занести заразу жене, Рамбер отвечал, что имеется, конечно, некоторый риск, но он не так уж велик, а если ему оставаться в городе, они, чего доброго, вообще никогда не увидятся.

— А она милая? — улыбаясь, спросила старуха.

— Очень.

— Хорошенькая?

— По-моему, да.

— Ага, значит, поэтому, — сказала старуха.

Рамбер задумался. Конечно, и поэтому, но невозможно же, чтобы только поэтому.

— Вы в господа бога не верите? — спросила старуха, она каждое утро аккуратно ходила к мессе.

Рамбер признался, что не верит, и старуха добавила, что и поэтому тоже.

— Тогда вы правы, поезжайте к ней. Иначе что же вам остается?

Целыми днями Рамбер кружил среди голых стен, побеленных известкой. Трогал по дороге прибитые к стене веера или же считал помпоны на шерстяном коврике, покрывавшем стол. Вечером возвращались мальчики. Разговорчивость они не отличались, сообщали только, что еще не время. После обеда Марсель играл на гитаре и все пили анисовый ликер. Казалось, Рамбер все время о чем-то думает.

В среду Марсель, вернувшись, сказал: «Завтра в полночь, будь готов заранее». Один из двух постовых, дежуривших с ними, заболел чумой, а другого, который жил с заболевшим в одной комнате, взяли в карантин. Таким образом, дня два-три Марсель и Луи будут дежурить одни. Нынче ночью они сделают последние приготовления. Видимо, завтра удобнее всего. Рамбер поблагодарил. «Рады?» — спросила старушка. Он сказал, да, рад, но сам думал о другом.

На следующий день с тяжело нависавшего неба лился душный влажный зной. Сведения о чуме были неутешительны. Только одна старушка испанка не теряла ясности духа. «Нагрешили мы, — говорила она. — Чего ж тут удивляться». Рамбер по примеру Марселя и Луи скинул рубашку. Но это не помогало, между лопатками и по голой груди струйками стекал пот. В полумраке комнаты с плотно закрытыми ставнями их обнаженные торсы

казались коричневыми, словно отлакированными. Рамбер молча кружил по комнате. Вдруг в четыре часа пополудни он оделся и заявил, что уходит.

— Только смотри—ровно в полночь,—сказал Марсель.—Все уже готово.

Рамбер направился к Риэ. Мать доктора сообщила Рамберу, что тот в лазарете в верхнем городе. Перед лазаретом у караулки все по-прежнему топтались люди. «А ну, проходи»,—твердил сержант с глазами навывкате. Люди проходили, но, описав круг, возвращались обратно. «Нечего тут ждать!»—говорил сержант в пропотевшей от пота куртке. Такого же мнения придерживалась и толпа, но все же не расходилась, несмотря на убийственный зной. Рамбер предъявил сержанту пропуск, и тот направил его в кабинет Тарру. В кабинет попадали прямо со двора. Рамбер столкнулся с отцом Панлю, который как раз выходил из кабинета.

В тесной грязной комнатенке с побеленными стенами, пропахшей аптекой и волглым бельем, сидел за черным деревянным столом Тарру; он засучил рукава сорочки и вытирал скомканным носовым платком пот, стекавший в углубление на сгибе локтя.

— Еще здесь?—удивился он.

— Да. Мне хотелось бы поговорить с Риэ.

— Он в палате. Но если дело можно уладить без него, лучше его не трогать.

— Почему?

— Он еле на ногах держится. Я стараюсь избавить его от лишних хлопот.

Рамбер взглянул на Тарру. Он тоже исхудал. В глазах, в чертах лица читалась усталость. Его широкие сильные плечи ссутулились. В дверь постучали, и вошел санитар в белой маске. Он положил на письменный стол перед Тарру пачку карточек, сказал только «шесть» глухим из-за марлевой повязки голосом и удалился. Тарру поднял глаза на журналиста и указал ему на карточки, которые веером держал в руке.

— Миленькие карточки, а? Да нет, я шучу—это умершие. Умерли за ночь.

Лоб его прорезала морщина. Он сложил карточки в пачку.

— Единственное, что нам осталось,—это отчетность.

Тарру поднялся, оперся ладонями о край стола.

— Скоро уезжаете?

— Сегодня в полночь.

Тарру сказал, что он сердечно этому рад и что Рамберу следует быть поосторожнее.

— Вы это искренне?

Тарру пожал плечами:

— В мои годы хочешь не хочешь приходится быть искренним. Лгать слишком утомительно.

— Тарру,—произнес журналист,—мне хотелось бы повидаться с доктором. Простите меня, пожалуйста.

— Знаю, знаю. Он человечнее меня. Ну пойдем.

— Да нет, не поэтому,—с трудом сказал Рамбер. И замолчал. Тарру посмотрел на него и вдруг улыбнулся.

Они прошли узеньким коридорчиком, стены которого были выкрашены в светло-зеленый цвет, и поэтому казалось, будто они идут по дну аквариума. У двойных застекленных дверей, за которыми нелепо суетились какие-то тени, Тарру повернул и ввел Рамбера в крохотную комнату, сплошь в стенных шкафах. Он открыл шкаф, вынул из стерилизатора две гигроскопические маски, протянул одну Рамберу и посоветовал ее надеть. Журналист спросил, предохраняет ли маска хоть от чего-нибудь, и Тарру ответил: нет, зато действует на других успокоительно.

Они открыли стеклянную дверь. И попали в огромную палату, где, несмотря на жару, все окна были наглухо закрыты. На стенах под самым потолком жужжали вентиляторы, и их скошенные лопасти месили горячий жирный воздух, гоня его над стоявшими в два ряда серыми койками. Из всех углов шли приглушенные стоны, иногда прерываемые пронзительным вскриком, и все эти звуки сливались в одну нескончаемую однообразную жалобу. Люди в белых халатах медленно двигались по палате под ярким до резкости светом, лившимся в высокие окна, забранные решеткой. Рамберу стало не по себе в этой душной до одури палате, и он с трудом узнал Риэ, который склонился над распластавшейся на постели и стонущей фигурой. Доктор вскрывал бубоны в паху больного, а две санитарки, стоя по бокам койки, держали того в позе человека, подвергающегося четвертованию. Выпрямившись, Риэ бросил инструменты на поднос, который подставил фельдшер, с минуту постоял не шевелясь и глядел на больного, которому делали перевязку.

— Что новенького?—спросил он подошедшего к нему Тарру.

— Панлю согласился замещать Рамбера в карантине. Он уже многое сделал. Теперь надо только организовать третью дружину, инспекционную, раз Рамбер уезжает.

Риэ молча кивнул.

— Кастель уже приготовил первые препараты. Предлагает испытать.

— Ого, вот это славно!—сказал Риэ.

— И наконец, здесь Рамбер.

Риэ обернулся. Разглядывая журналиста, он прищурил глаза, не закрытые маской.

— А вы почему здесь?—спросил он.—Вам полагается быть далеко отсюда.

Тарру сказал, что нынче вечером Рамбер будет далеко, а сам Рамбер добавил: «Теоретически».

Всякий раз при разговоре маска пучилась, промокала у рта. Разговор поэтому получался какой-то нереальный, как диалог статуй.

— Мне хотелось бы поговорить с вами,—сказал Рамбер.

— Если угодно, давайте вместе выйдем. Подождите меня в комнате у Тарру.

Через несколько минут Рамбер и Риэ уже сидели на заднем сиденье докторского автомобиля. Вел машину Тарру.

— Бензин кончается,—сказал он, включая скорость.—Завтра придется топтать на своих двоих.

— Доктор,—проговорил Рамбер,—я не еду, я хочу остаться здесь, с вами.

Тарру даже не шелохнулся. Он по-прежнему вел машину. А Риэ, казалось, уже был не в силах вынырнуть из недр усталости.

— А как же она?—глухо спросил он.

Рамбер ответил, что он еще и еще думал, что он по-прежнему верит в то, во что верил, но, если он уедет, ему будет стыдно. Ну, короче, это помешает ему любить ту, которую он оставил. Но тут Риэ вдруг выпрямился и твердо сказал, что это глупо и что ничуть не стыдно отдать предпочтение счастью.

— Верно,—согласился Рамбер.—Но все-таки стыдно быть счастливым одному.

Молчавший до этого Тарру сказал, не поворачивая головы, что, если Рамберу угодно разделять людское горе, ему никогда не урвать свободной минуты для счастья. Надо выбирать что-нибудь одно.

— Тут другое,—проговорил Рамбер.—Я раньше считал, что чужой в этом городе и что мне здесь у вас нечего делать. Но теперь, когда я видел то, что видел, я чувствую, что я тоже здешний, хочу я того или нет. Эта история касается равно всех нас.

Никто ему не ответил, и Рамбер нетерпеливо шевельнулся.

— И вы ведь сами это отлично знаете! Иначе что бы вы делали в вашем лазарете? Или вы тоже сделали выбор и отказались от счастья?

Ни Тарру, ни Риэ не ответили на этот вопрос. Молчание затянулось и длилось почти до самого дома Риэ. И тут Рамбер снова повторил свой вопрос, но уже более настойчиво. И опять только один Риэ повернулся к нему. Чувствовалось, что даже этот жест дался ему с трудом.

— Простите меня, Рамбер,—проговорил он,—но я сам не знаю. Оставайтесь с нами, раз вы хотите.

Он замолчал, так как машина резко свернула в сторону. Потом снова заговорил, глядя в ветровое стекло.

— Разве есть на свете хоть что-нибудь, ради чего можно отказаться от того, что любишь? Однако я тоже отказался, сам не знаю почему.

Он снова откинулся на спинку сиденья.

— Просто я констатирую факт, вот и все,—устало произнес он.—Примем это к сведению и сделаем выводы.

— Какие выводы?—спросил Рамбер.

— Эх, нельзя одновременно лечить и знать,—ответил Риэ.—Поэтому будем стараться излечивать как можно скорее. Это самое неотложное.

В полночь Тарру и Риэ вручили Рамберу план квартала, который ему предстояло инспектировать, и вдруг Тарру поглядел на часы. Подняв голову, он встретил взгляд Рамбера.

— Вы предупредили?

Журналист отвел глаза.

— Послал записку,—с трудом проговорил он,—еще прежде, чем прийти сюда, к вам.

Сыворотку Кастеля испробовали только в конце октября. Практически эта сыворотка была последней надеждой Риэ. Доктор был твердо убежден, что в случае новой неудачи город окончательно попадет под власть капризов чумы независимо от того, будет ли хозяйничать эпидемия еще долгие месяцы или вдруг ни с того ни с сего пойдет на убыль.

Накануне того дня, когда Кастель зашел к Риэ, заболел сын мсье Отона, и всю семью полагалось отправить в карантин. Мать, сама только что вышедшая из карантина, вынуждена была возвратиться туда снова. Свято чтя приказы властей, следовательно вызвал доктора Риэ, как только обнаружил на теле ребенка первые пометы болезни. Когда Риэ явился, родители стояли у изножья постели. Девочку удалили из дома. Мальчик находился в первой стадии болезни, характеризующейся полным упадком сил, и покорно дал себя осмотреть. Когда доктор поднял голову, он встретил взгляд отца, увидел бледное лицо матери, стоявшей чуть поодаль; прижимая к губам носовой платок, она широко открытыми глазами следила за манипуляциями врача.

— То самое, не так ли? — холодно спросил следователь.

— Да, — ответил Риэ, снова посмотрев на ребенка.

Глаза матери расширились от ужаса, но она ничего не сказала. Следователь тоже молчал, потом вполголоса произнес:

— Что ж, доктор, мы обязаны сделать то, что предписывается в таких случаях.

Риэ старался не смотреть на мать, которая по-прежнему стояла поодаль, зажимая рот платком.

— Если я сейчас позвоню, все сделают быстро, — нерешительно проговорил он.

Мсье Отон вызвался проводить его к телефону. Но доктор повернулся к его жене:

— Я очень огорчен. Вам придется собрать кое-какие вещи. Ведь вы знаете, как все это делается.

Мадам Отон в каком-то оцепенении выслушала его. Глаз она не подняла.

— Да, знаю, — сказала она, кивнув головой. — Сейчас соберу.

Прежде чем уйти от них, Риэ, не удержавшись, спросил, не нужно ли им чего-нибудь. Мать по-прежнему молча смотрела на него. Но на сей раз отвел глаза следователь.

— Нет, спасибо, — сказал он, с трудом проглотив слюну, — только спасите моего ребенка.

Вначале карантин был простой формальностью, но, когда за дело взялись Риэ с Рамбером, все правила изоляции стали соблюдаться неукоснительно. В частности, они потребовали, чтобы члены семьи больного помещались непременно раздельно. Если один из них уже заразился, сам того не подозревая, то не следует увеличивать риск. Риэ изложил эти соображения следователю, который признал их весьма разумными. Однако они с женой переглянулись, и, поймав их взгляд, доктор понял, как убиты оба предстоящей разлукой. Мадам Отон с дочкой решено было устроить в отеле, отведенном под карантин, которым руководил Рамбер. Но мест там было в обрез, и на долю следователя остался только так называемый лагерь для изолиру-

емых, этот лагерь устроила на городском стадионе префектура, взяв заимообразно для этой цели палатки у дорожного ведомства. Риэ извинился за несовершенство лагеря, но мсье Отон сказал, что правила существуют для всех, и вполне справедливо, что все им подчиняются.

А мальчика перевезли во вспомогательный лазарет, который устроили в бывшей классной комнате, поставив десять коек. После двадцатичасовой борьбы Риэ понял, что случай безнадежен. Маленькое тельце без сопротивления отдалось во власть пожиравших его микробов. На хрупких суставах набухли совсем небольшие, но болезненные бубоны, сковывавшие движения. Мальчик был заранее побежден недугом. Вот почему Риэ решил испробовать на нем сыворотку Кастеля. В тот же день под вечер они сделали ему капельное вливание. Но ребенок даже не реагировал. А на заре следующего дня все собрались у постели ребенка, чтобы проверить результаты решающего опыта.

Выйдя из состояния первоначального оцепенения, мальчик судорожно ворочался под одеялом. С четырех часов утра доктор Кастель и Тарру не отходили от его постели, ежеминутно следя за усилением или ослаблением болезни. Тарру стоял в головах, чуть нагнув над постелью свой могучий торс. Риэ тоже стоял, но в изножье, а рядом сидел Кастель и с видом полнейшего спокойствия читал какой-то старый медицинский труд. Но когда начало светать, в бывшем школьном классе постепенно собрались и другие. Первым пришел Панлю, он встал напротив Тарру и прислонился к стене. На лице его застыло страдальческое выражение, а многодневная усталость, связанная с постоянной угрозой заражения, прочертила морщины на его багровом лбу. Пришел и Жозеф Гран. Было уже семь часов, и Гран попросил извинения, что еще не отдышался. Он только на минутку, просто забежал узнать, нет ли каких новостей. Риэ молча указал ему на ребенка, который, зажмурив веки, сжав зубы, насколько позволяли ему силенки, неподвижно лежал с искаженным болью лицом и только все перекатывал голову справа налево по валику подушки без наволочки. А когда уже стало совсем светло и на черной классной доске, которую так и не удосужились снять, можно было различить нестертые столбики уравнения, явился Рамбер. Он прислонился к стене в изножье соседней койки и вытащил было из кармана пачку сигарет. Но, посмотрев на мальчика, сунул ее обратно.

Кастель, не вставая с места, бросил поверх очков взгляд на Риэ.

— Об отце что-нибудь известно?

— Нет,—ответил Риэ,—он в карантине, в лагере.

Доктор изо всех сил сжал перекладину кровати, на которой стоял мальчик. Он не спускал глаз с больного ребенка, который внезапно весь напрягся и, снова сжав зубки, как-то странно прогнулся в талии и медленно раскинул руки и ноги. От маленького голенюго тела, прикрытого грубым солдатским одеялом, шел острый запах пота и взмокшей шерсти. Мало-помалу тело мальчика обмякло, он свел руки и ноги и, по-прежнему ничего не видевший, ничего не говоривший, как будто

задышал быстрее. Риэ поймал взгляд Тарру, но тот сразу же отвел глаза.

Они уже не раз видели смерть детей, коль скоро ужас, бушевавший в городе в течение нескольких месяцев, не выбирал своих жертв, но впервые им пришлось наблюдать мучения ребенка минута за минутой, как нынче утром. И разумеется, недуг, поражавший невинные создания, они воспринимали именно так, как оно и было на самом деле, — как нечто постыдное. Но до сих пор стыд этот был в какой-то мере отвлеченный, потому что еще ни разу не следили они так долго за агонией невинного младенца, не смотрели ей прямо в лицо.

Но тут мальчик, словно его укусили в живот, снова скорчился, тоненько пискнув. Так он, скорчившись, пролежал несколько долгих секунд, его била дрожь, его сотрясали конвульсии, как будто маленький хрупкий костяк гнулся под яростным шквалом чумы, трещал под налетающими порывами лихорадки. Когда шквал прошел, тело его чуть обмякло, казалось, лихорадка отступилась и бросила его, задышающегося на этом влажном от пота, зараженном микробами одре, где даже эта короткая передышка уже походила на смерть. Когда в третий раз его накрыла жгучая волна, приподняла с постели, мальчик скрючился, забился в уголок, напуганный сжигавшим его жаром, и яростно затряс головой, отбрасывая одеяло. Крупные слезы брызнули из-под его воспаленных век, поползли по свинцовому личику, а когда приступ кончился, он, обессилив, развел костлявые ножонки и ручки, которые за двое суток превратились в палочки, обтянутые кожей, и улегся в нелепой позе распятого.

Тарру нагнулся и отер своей тяжелой ладонью пот и слезы с маленького личика. Кастель захлопнул книгу и с минуту смотрел на больного. Он заговорил было, но в середине фразы ему пришлось откашляться, так как голос сорвался и прозвучал неестественно.

— Утренней ремиссии не было, Риэ?

Риэ сказал, что не было, однако ребенок сопротивляется болезни много дольше обычного. Панлю, устало привалившийся к стене, произнес глухим голосом:

— Если ему суждено умереть, он будет страдать много дольше обычного.

Доктор резко повернулся к нему, открыл было рот, но заставил себя промолчать, что, видимо, стоило ему немалого труда, и снова устремил взгляд на мальчика.

По палате все шире разливался дневной свет. Стоны, которые шли с пяти соседних коек, где беспокойно ворочались человеческие фигуры, свидетельствовали о какой-то сознательной сдержанности. Только из дальнего угла несяся крик, который через равные промежутки сменялся короткими охами, в них было больше удивления, чем страдания. Казалось даже, сами больные уже притерпелись и не испытывают страха, как в начале эпидемии. В их теперешнем отношении к болезни чувствовалось что-то вроде ее приятия. Один только ребенок бился с недугом изо всех своих сил. Риэ время от времени щупал ему пульс, впрочем без особой надобности, а скорее чтобы выйти из

состояния одолевавшего его цепящего бессилия, и когда он закрывал глаза, то чувствовал, как ему самому передается чужой трепет, стучит в его жилах вместе с собственной его кровью. В такие мгновения он как бы отождествлял себя с истязуемым болезнью ребенком и старался поддержать его всеми своими еще не сдавшими силами. Но проходила минута — и два этих сердца бились уже не в унисон, ребенок ускользал от Риэ, и усилия врача рушились в пустоту. Тогда он отпускал тоненькое запястье и отходил на место.

Розоватый свет, падавший из окон на стены, выбеленные известкой, постепенно принимал желтый оттенок. Там, за оконными стеклами, уже потрескивало знойное утро. Вряд ли они, собравшиеся у постели, слышали, как ушел Гран, пообещав заглянуть еще. Они ждали. Ребенок, лежавший с закрытыми глазами, казалось, стал чуть поспокойнее. Пальцы его, похожие на коготки птицы, осторожно перебирали край койки. Потом они всползли кверху, поцарапали одеяло на уровне колен, и внезапно мальчик скрючил ноги, подтянул их к животу и застыл в неподвижности. Тут он впервые открыл глаза и посмотрел прямо на Риэ, стоявшего рядом. На лицо его, изглоданное болезнью, как бы легла маска из серой глины, рот приоткрылся, и почти сразу же с губ сорвался крик, один-единственный, протяжный, чуть замиравший во время вздохов и заполнивший всю палату монотонной надтреснутой жалобой, протестом до того нечеловеческим, что, казалось, исходит он ото всех людей разом. Риэ стиснул зубы, Тарру отвернулся. Рамбер шагнул вперед и стал рядом с Кастелем, который закрыл лежавшую у него на коленях книгу. Отец Панлю посмотрел на этот обметанный болезнью рот, из которого рвался не детский крик, а крик вне возраста. Он опустил на колени, и все остальные сочли вполне естественными слова, что он произнес отчетливо, но сдавленным голосом, не заглушаемым этим никому не принадлежавшим жалобным стоном: «Господи, спаси этого ребенка!»

Но ребенок не замолкал, и больные в палате заволновались. Тот, в дальнем углу, по-прежнему вскрикивавший время от времени, вскрикивал теперь в ином, учащенном ритме, и скоро отдельные его возгласы тоже превратились в настоящий вопль, сопровождаемый все усиливавшимся стоном других больных. Со всех углов палаты к ним подступала волна рыданий, заглушая молитву отца Панлю, и Риэ, судорожно вцепившись пальцами в спинку кровати, закрыл глаза, он словно опьянел от усталости и отвращения.

Когда он поднял веки, рядом с ним стоял Тарру.

— Придется мне уйти,— сказал Риэ.— Не могу этого выносить.

Но вдруг больные, как по команде, замолчали. И тут только доктор понял, что крики мальчика слабеют, слабеют с каждым мгновением и вдруг совсем прекратились. Вокруг снова слышались стоны, но глухие, будто отдаленное эхо той борьбы, которая только что завершилась. Ибо она завершилась. Кастель обошел койку и сказал, что это конец. Не закрыв молчавшего уже теперь рта, ребенок тихо покоем среди сбитых одеял, он вдруг стал

совсем крохотный, а на щеках его так и не высохли слезы.

Отец Панлю приблизился к постели и перекрестил покойника. Потом, подобрав полы сутаны, побрел по главному проходу.

— Значит, опять все начнем сызнова?— обратился к Кастелю Тарру.

Старик доктор покачал головой.

— Возможно,— криво улыбнулся он.— В конце концов мальчик боролся долго.

Тем временем Риэ уже вышел из палаты; шагал он так быстро и с таким странным лицом, что отец Панлю, которого он перегнал в коридоре, схватил доктора за локоть и удержал.

— Ну-ну, доктор,— сказал он.

Все так же запальчиво Риэ обернулся и яростно бросил в лицо Панлю:

— У этого-то, надеюсь, не было грехов— вы сами это отлично знаете!

Потом он отвернулся, обогнал отца Панлю и направился в глубь школьного сада. Там он уселся на скамейку, стоявшую среди пыльных деревьев, и стер ладонью пот, стекавший со лба на веки. Ему хотелось кричать, вопить, лишь бы лопнул наконец этот проклятый узел, перерезавший ему надвое сердце. Зной медленно просачивался сквозь листья фикусов. Бирюзовое утреннее небо быстро заволакивало, как бельмом, белесой пленкой, и воздух стал еще душнее. Риэ тупо сидел на скамье. Он глядел на ветки, на небо, и постепенно дыхание его налаживалось, уходила усталость.

— Почему вы говорили со мной так гневно?— раздался за его спиной чей-то голос.— Я тоже с трудом вынес это зрелище.

Риэ обернулся к отцу Панлю.

— Вы правы, простите меня,— сказал он.— Но усталость— это то же сумасшествие, и в иные часы для меня в этом городе не существует ничего, кроме моего протеста.

— Понимаю,— пробормотал отец Панлю.— Это действительно вызывает протест, ибо превосходит все наши человеческие мерки. Но быть может, мы обязаны любить то, чего не можем объять умом.

Риэ резко выпрямился. Он посмотрел на отца Панлю, вложив в свой взгляд всю силу и страсть, отпущенные ему природой, и тряхнул головой.

— Нет, отец мой,— сказал он.— У меня лично иное представление о любви. И даже на смертном одре я не приму этот мир божий, где истязают детей.

Лицо Панлю болезненно сжалось, словно по нему прошла тень.

— Теперь, доктор,— грустно произнес он,— я понял, что зовется благодатью.

Но Риэ уже снова обмяк на своей скамейке. Вновь поднялась из самых глубин усталость, и он проговорил более мягко:

— У меня ее нет, я знаю. Но я не хочу вступать с вами в такие споры. Мы вместе трудимся ради того, что объединяет нас, и это за пределами богохульства и молитвы! Только одно это и важно.

Отец Панлю опустился рядом с Риэ. Вид у него был взволнованный.

— Да,—сказал он,—и вы, вы тоже трудитесь ради спасения человека.

Риэ вымученно улыбнулся:

— Ну, знаете ли, для меня такие слова, как спасение человека, звучат слишком громко. Так далеко я не заглядываю. Меня интересует здоровье человека, в первую очередь здоровье.

Отец Панлю нерешительно молчал.

— Доктор,—наконец проговорил он.

Но сразу осекся. По его лбу тоже каплями стекал пот. Он буркнул: «До свидания», поднялся со скамьи, глаза его блеснули. Он уже шагнул было прочь, но тут Риэ, сидевший в задумчивости, тоже встал и подошел к нему.

— Еще раз простите меня, пожалуйста,—сказал он.— Поверьте, эта вспышка не повторится.

Отец Панлю протянул доктору руку и печально произнес:

— И однако я вас не переубедил!

— А что бы это дало? —возразил Риэ.— Вы сами знаете, что я ненавижу зло и смерть. И хотите ли вы или нет, мы здесь вместе для того, чтобы страдать от этого и с этим бороться.

Риэ задержал руку отца Панлю в своей.

— Вот видите,—добавил он, избегая глядеть на него,—теперь и сам господь бог не может нас разлучить.

С того самого дня, как отец Панлю вступил в санитарную дружину, он не вылезал из лазаретов и пораженных чумой кварталов. Среди членов дружины он занял место, которое, на его взгляд, больше всего подходило ему по рангу, то есть первое. Смертей он нагляделся с избытком. И хотя теоретически он был защищен от заражения предохранительными прививками, мысль о собственной смерти не была ему чуждой. Внешне он при всех обстоятельствах сохранял спокойствие. Но с того дня, когда он в течение нескольких часов смотрел на умирающего ребенка, что-то в нем надломилось. На лице все явственнее читалось внутреннее напряжение. И когда он как-то с улыбкой сказал Риэ, что как раз готовит небольшую работу—трактат на тему: «Должен ли священнослужитель обращаться к врачу?», доктору почудилось, будто за этими словами скрывается нечто большее, чем хотел сказать святой отец. Риэ выразил желание ознакомиться с этим трудом, но Панлю заявил, что вскоре он произнесет во время мессы проповедь и постарается изложить в ней хотя бы отдельные свои соображения.

— Буду очень рад, доктор, если вы тоже придете; уверен, что вас это заинтересует.

Вторая проповедь отца Панлю пришлось на ветреный день. Откровенно говоря, ряды присутствующих по сравнению с первым разом значительно поределели. Главное потому, что подобные зрелища уже потеряли для наших сограждан прелесть новизны. Да и слово «новизна» тоже утратило свой первоначальный смысл в те трудные дни, какие переживал наш город. К тому же

большинство наших сограждан, если даже они еще не окончательно отвернулись от выполнения религиозных обязанностей или не сочетали их слишком открыто со своей личной, глубоко безнравственной жизнью, восполняли обычные посещения церкви довольно-таки нелепыми суевериями. Они предпочитали не ходить к мессе, зато носили на шее медальоны, обладающие свойством предохранять от недугов, или амулеты с изображением святого Роха.

В качестве иллюстрации можно привести неумеренное увлечение наших сограждан различными пророчествами. Так, весной все мы с минуты на минуту дружно ждали прекращения чумы и никому не приходило в голову выспрашивать соседа его мнение о сроках эпидемии, поскольку все старались себя убедить, что она вот-вот затухнет. Но шли дни, и люди начали бояться, что беда вообще никогда не кончится, и тогда-то прекращение эпидемии стало объектом всеобщих чаяний. Тут-то и стали ходить по рукам различные прорицания, почерпнутые из высказываний католических святых или пророков. Владельцы городских типографий быстро смекнули, какую выгоду можно извлечь из этого поголовного увлечения, и отпечатали во множестве экземпляров тексты, циркулировавшие по всему Орану. Но, заметив, что это не насытило жадного любопытства публики, дельцы предприняли розыски, перерыли все городские библиотеки и, обнаружив подходящие свидетельства такого рода, рассыпанные по местным летописям, распространяли их по городу. Но поскольку летопись скупа на подобные прорицания, их стали заказывать журналистам, которые, по крайней мере в этом пункте, выказали себя столь же сведущими, как их учителя в минувших веках.

Некоторые из этих пророчеств печатались подвалами в газетах. Читатели набрасывались на них с такой же жадностью, как на сентиментальные истории, помещавшиеся на последней странице в благословенные времена здорovia. Некоторые из этих прорицаний базировались на весьма причудливых подсчетах, где все было вперемешку: и непременно цифра тысяча, и количество смертей, и подсчет месяцев, прошедших под властью чумы. Другие проводили сравнения с великими чумными морами, именуемыми в предсказаниях константными, и из своих более или менее причудливых подсчетов извлекали данные о нашем теперешнем испытании. Но особенно высоко ценила публика прорицания, составленные в стиле пророчеств Апокалипсиса и возвещавшие о череде событий, каждое из которых можно было без труда применить к нашему городу и до того путаных, что любой мог толковать их сообразно своему личному вкусу. Каждый день ворошили творения Нострадамуса и святой Одиллии и всякий раз собирали обильную жатву. Все эти пророчества объединяла общая черта — утешительность их итогов. И только одна чума не обладала этим свойством.

Итак, суеверия прочно заменили нашим согражданам религию, и именно по этой причине церковь, где читал свою проповедь отец Панлю, была заполнена всего на три четверти. Когда вечером Риэ зашел в собор, ветер со свистом просачивался между створками входных дверей, свободно разгуливал среди присутствующих. И в

этом промозглом, скованном тишиной храме, где собрались одни лишь мужчины, Риэ присел на скамью и увидел, как на кафедру поднялся преподобный отец. Заговорил он более кротким и более раздумчивым тоном, чем в первый раз, и молящиеся отмечали про себя, что он не без некоторого колебания приступил к делу. И еще одна любопытная деталь: теперь он говорил не «вы», а «мы».

Но мало-помалу голос его окреп. Для начала он напомнил о том, что чума царит в нашем городе вот уже несколько долгих месяцев и что теперь мы узнали ее лучше, ибо множество раз видели, как присаживалась она к нашему столу или к изголовью постели близкого нам человека, как шагала рядом с нами, поджидала нашего выхода с работы; итак, теперь мы, возможно, способны лучше внимать тому, что говорит она нам беспрестанно и к чему мы в первые минуты растерянности прислушивались, видимо, недостаточно. То, о чем уже вещал отец Панлю с этой самой кафедры, остается верным—или по крайней мере таково было тогда его убеждение. Но возможно, как и все мы—тут отец Панлю сокрушенно ударил себя в грудь,—быть может, он и думал и говорил об этом без должного сострадания. Но все же в речи его было и зерно истины: из всего и всегда можно извлечь поучение. Самое жестокое испытание—и оно благо для христианина. А христианин как раз в данном случае и должен стремиться к этому благу, искать его, понимать, в чем оно и как его найти.

В эту минуту люди, сидевшие вокруг Риэ, откинулись на спинки скамеек и расположились со всеми возможными в церкви удобствами. Одна из створок обитой войлоком двери тихонько хлопала от ветра. Кто-то из присутствующих поднялся с места и придержал ее. И Риэ, отвлеченный этим движением, почти не слышал того, о чем заговорил после паузы отец Панлю. А тот говорил примерно так: не следует пытаться объяснять являемое чумой зрелище, а следует пытаться усвоить то, что можно усвоить. Короче, по словам проповедника, так по крайней мере истолковал их про себя рассеянно слушавший Риэ, выходило, что объяснять здесь нечего. Но он стал слушать с большим интересом, когда проповедник неожиданно громко возгласил, что многое объяснимо перед лицом господа бога, а иное так и не объяснится. Конечно, существуют добро и зло, и обычно каждый без труда видит различие между ними. Но когда мы доходим до внутренней сущности зла, здесь-то и подстерегают нас трудности. Существует, к примеру, зло, внешне необходимое, и зло, внешне бесполезное. Имеется Дон Жуан, ввергнутый в преисподнюю, и кончина невинного ребенка. Ибо если вполне справедливо, что распутник сражен десницей божьей, то трудно понять страдания дитяти. И впрямь, нет на свете ничего более значимого, чем страдание дитяти и ужас, который влекут за собой эти страдания, и причины этого страдания, кои необходимо обнаружить. Вообще-то бог все облегчает нам, и с этой точки зрения наша вера не заслуживает похвал—она естественна. А тут он, бог, напротив, припирает нас к стене. Таким образом, мы находимся под стенами чумы и именно из ее зловещей сени обязаны извлечь для себя благо. Отец Панлю отказывался даже от тех льгот и побряжек, что позволили бы перемахнуть через эту стену. Ему ничего не

стоило сказать, что вечное блаженство, ожидающее ребенка, может сторицей вознаградить его за земные муки, но, по правде говоря, он и сам не знает, так ли это. И впрямь, кто возьмется утверждать, что века райского блаженства могут оплатить хотя бы миг человеческих страданий? Утверждающий так не был бы, конечно, христианином, ибо наш Учитель познал страдания плотью своей и духом своим. Нет, отец Панлю останется у подножия стены, верный образу четвертования, символом коего является крест, и пребудет лицом к лицу с муками младенца. И безбоязненно скажет он тем, кто слушает его ныне: «Братия, пришел час. Или надо во все верить, или все отрицать... А кто среди вас осмелится отрицать все?..»

У Риэ на мгновение мелькнула мысль, что святой отец договорился до прямой ереси. Но тут оратор продолжал с новой силой доказывать, что это предписание свыше, это ясное требование идет на благо христианину. Оно же зачтется ему как добродетель. Он, Панлю, знает, что та добродетель, речь о коей пойдет ниже, возможно, содержит нечто чрезмерное и покоробит многие умы, привыкшие к более снисходительной и более классической морали. Но религия времен чумы не может остаться нашей каждодневной религией, и ежели господь способен попустить, даже возжелать, чтобы душа покоилась и радовалась во времена счастья, то возжелал он также, чтобы религия в годину испытания стала неистовой. Ныне бог проявил милость к творениям своим, наслав на них неслыханные беды, дабы могли они обрести и взять на рамена свои высшую добродетель, каковая есть Все или Ничего.

Много веков назад некий светский мыслитель утверждал, что ему-де открыта тайна церкви, заключающаяся в том, что чистилища не существует. Под этими словами он разумел, что полумеры исключены, что есть только рай и ад и что человеку, согласно собственному его выбору, уготовано райское блаженство или вечные муки. По словам отца Панлю, это было чистейшей ересью, каковая могла родиться лишь в душе вольнодумца. Ибо чистилище существует. Но разумеется, бывают эпохи, когда нельзя говорить о мелких грехах. Всякий грех смертен, и всяческое равнодушие преступно. Или все, или ничего.

Отец Панлю замолк, и до слуха Риэ отчетливее донеслись жалобные стоны разгулявшегося ветра, со свистом просачивающегося в щель под дверь. Но святой отец тут же заговорил снова и сказал, что добродетель безоговорочного приятия, о коей он упомянул выше, не может быть понята в рамках того узкого смысла, какой придается ей обычно, что речь шла не о банальной покорности и даже не о труднодостижимом уничижении. Да, он имел в виду уничижение, но то уничижение, на какое добровольно идет уничижаемый. Безусловно, муки ребенка уничижительны для ума и сердца. Но именно поэтому необходимо через них пройти. Именно поэтому—и тут отец Панлю заверил свою аудиторию, что ему нелегко будет произнести эти слова,—поэтому нужно желать их, раз их возжелал господь. Только так христианин идет на то, чтобы ничего не щадить, и раз все выходы для него заказаны, дойдет до главного, главенствующего выбора.

И выберет он безоговорочную веру, дабы не быть вынужденным к безоговорочному отрицанию. И подобно тем славным женщинам, которые, узнав, что набухающие бубоны свидетельствуют о том, что тело естественным путем изгоняет из себя заразу, молят сейчас в церквях: «Господи, пошли ему бубоны», так вот и христианин должен уметь отдать себя в распоряжение воли божьей, пусть даже она неисповедима. Нельзя говорить: «Это я понимаю, а это для меня неприемлемо»; надо броситься в сердцевину этого неприемлемого, которое предложено нам именно для того, дабы совершили мы свой выбор. Страдания ребенка — это наш горький хлеб, но, не будь этого хлеба, душа наша зачахла бы от духовного голода.

Тут приглушенный шум, обычно сопровождавший каждую паузу в проповеди отца Панлю, стал громче, но святой отец заговорил с внезапной силой и, словно поставив себя на место своих слушателей, вопрошал, как следует вести себя. Он уверен, что первой мыслью и первым словом будет страшное слово «фатализм». Так вот он не отступит перед этим словом, ежели ему позволят добавить к слову «фатализм» эпитет «активный». Разумеется, он хочет напомнить еще раз, что не следует брать пример с абиссинцев христианского вероисповедания, о которых он уже говорил в предыдущей проповеди. И не следует даже в мыслях подражать персам, которые во время чумы кидали свое тряпье в христианские санитарные пикеты, громогласно призывая небеса ниспослать чуму на этих неверных, осмелившихся бороться против бича, посланного богом. Но с другой стороны, не надо брать пример также и с каирских монахов, которые при чумной эпидемии, разразившейся в прошлом веке, брали во время причастия облатки щипчиками, дабы избежать соприкосновения с влажными горячечными устами, где могла притаиться зараза. И зачумленные персы и каирские монахи равно совершили грех. Ибо для первых страдания ребенка были ничто, а для вторых, напротив, вполне человеческий страх перед муками заглушил все прочие чувства. В обоих случаях извращалась сама проблема. И те и другие остались глухи к гласу божьему. Но есть и иные примеры, какие хотел бы напомнить собравшимся отец Панлю. Если верить старинной хронике, повествующей о великой марсельской чуме, то там говорится, что из восьмидесяти одного монаха обители Мерси только четверых пощадила злая лихорадка. И из этих четверых трое бежали куда глаза глядят. Так гласит летопись, а летопись, как известно, не обязана комментировать. Но, читая хронику, отец Панлю думал о том, что остался там один вопреки семидесяти семи смертям, вопреки примеру троих уцелевших братьев. И, ударив кулаком о край кафедры, преподобный отец воскликнул: «Братья мои, надо быть тем, который остается!»

Конечно, это не значит, что следует отказываться от мер предосторожности, от разумного порядка, который вводит общество, борясь с беспорядком стихийного бедствия. Не следует слушать тех моралистов, которые твердят, что надо-де пасть на колени и предоставить событиям идти своим чередом. Напротив, надо потихоньку пробираться в потемках, возможно даже всле-

пую, и пытаться делать добро. Но что касается всего прочего, надо оставаться на месте, положиться со смирением на господу даже в кончине малых детей и не искать для себя прибежища.

Здесь отец Панлю поведал собравшимся историю епископа Бельзенса во время марсельской чумы. Проповедник напомнил слушателям, что к концу эпидемии епископ, свершив все, что повелевал ему долг, и считая, что помочь уже ничем нельзя, заперся в своем доме, куда снес запасы продовольствия, и велел замуровать ворота; и вот марсельцы с непостоянством, вполне закономерным, когда чаша страданий бывает переполнена, возненавидели того, кого почитали ранее своим кумиром, обложили его дом трупами, желая распространить заразу, и даже перебрасывали мертвецов через стены, дабы чума сгубила его вернее. Итак, епископ, поддавшись последней слабости, надеялся найти убежище среди разгула смерти, а мертвые падали ему на голову с неба. Так и мы должны извлечь из этого примера урок: нет во время чумы и не может быть островка. Нет, середины не дано. Надо принять постыдное, ибо каждому надлежит сделать выбор между ненавистью к богу и любовью к нему. А кто осмелится избрать ненависть к богу?

«Братья мои,—продолжал Панлю, и по его интонациям прихожане догадались, что проповедь подходит к концу,—любовь к богу—трудная любовь. Любовь к нему предполагает полное забвение самого себя, пренебрежение к своей личности. Но один лишь он может смыть ужас страдания и гибели детей, во всяком случае лишь один он может превратить его в необходимость, ибо человек не способен это понять, он может лишь желать этого. Вот тот трудный урок, который я желал усвоить вместе с вами. Вот она, вера, жестокая в глазах человека и единственно ценная в глазах господу, к которой мы и должны приблизиться. Пред лицом столь страшного зрелища все мы должны стать равными. На этой вершине все сольется и все сравняется, и воссияет истина из видимой несправедливости. Вот почему во многих церквах Юга Франции погибшие от чумы покоятся под плитами церковных хоров и священнослужители обращаются к своей пастве с высоты этих могил, и истины, которые они проповедают, воссияют из этого пепла, куда, увы, внесли свою лепту и малые дети».

Когда Риэ выходил из церкви, шквальный ветер ворвался в полуоткрытые двери, ударил в лицо расходившимся по домам прихожанам. Ветер нагнал в собор запахи дождя, мокрого асфальта, и молящиеся, еще не достигнув паперти, уже знали, каким откроется перед их глазами город. Впереди доктора шли старичок священник с молодым диаконом, оба боролись с порывами ветра, норовившего унести их шляпы. Старичок даже во время этой неравной борьбы не переставал обсуждать проповедь. Он отдавал должное красноречию отца Панлю, но его задела смелость высказанных проповедником мыслей. Он находил, что в проповеди звучала не столько сила, сколько тревога и что священнослужитель в возрасте отца Панлю не имеет права тревожиться. Молодой диакон нагнул голову, надеясь уклониться от ударов ветра, и заверил, что он часто бывает у отца Панлю,

что он в курсе происшедшей с ним эволюции, что трактат его будет еще более смелым и, возможно, даже не получит *imprimatur**.

— Какая у него все-таки главная идея? — допытывался старичок священник.

Они вышли уже на паперть, ветер с воем накинудся на них, и диакон не сразу ответил. Воспользовавшись минутой затишья, он сказал только:

— Если священнослужитель обращается за помощью к врачу, тут явное противоречие.

Тарру, которому Риэ пересказал проповедь отца Панлю, заметил, что он сам лично знал священника, который во время войны потерял веру, увидев юношу, лишившегося глаз.

— Панлю прав, — добавил Тарру. — Когда невинное существо лишается глаз, христианин может только или потерять веру, или согласиться тоже остаться без глаз. Панлю не желает утратить веры, он пойдет до конца. Это-то он и хотел сказать.

Возможно, замечание Тарру прольет известный свет на последующие злосчастные события и на поведение самого отца Панлю, загадочное даже для близких ему людей. Пусть читатель судит об этом сам.

Так вот, через несколько дней после проповеди отец Панлю задумал перебраться на новую квартиру. Как раз в это время в связи с усилением эпидемии весь город, казалось, менял свои привычные жилища. И так же как Тарру пришлось выехать из отеля и поселиться у доктора Риэ, точно так же и отец Панлю вынужден был выехать из отведенной ему их орденем квартиры и перебраться к одной старушке, завзятой богомолке, пока еще пощаженной чумою. Отец Панлю перебирался на новое жилище с чувством все возраставшей усталости и страха. И поэтому он сразу же потерял уважение своей квартирохозяйки. Ибо когда старушка стала горячо восхвалять чудесные прорицания святой Одилии, священник выказал легкое нетерпение, что объяснялось, конечно, его усталостью. И как ни старался он впоследствии добиться от старушки хотя бы благожелательного нейтралитета, ему это не удалось. Слишком плохое впечатление произвел он тогда, поначалу. И каждый вечер, удаляясь из гостиной в отведенную ему комнату, утопавшую в кружевах, собственноручно связанных хозяйкой, он видел только ее спину и уносил в памяти сухое: «Покойной ночи, отец мой», брошенное через плечо. И одним из таких вечеров, уже ложась в постель, он почувствовал, как в висках, в запястьях, в голове забушевали, заходили волны лихорадки, таившейся в нем уже несколько дней.

Все последующее удалось узнать только из рассказов его квартирохозяйки. Утром она, как обычно, поднялась очень рано. Напрасно прождав своего жильца, она, удивленная тем, что преподобный отец не выходил из спальни, решила осторожно постучать в дверь. Она обнаружила, что он не вставал после бессонной ночи. Он тяжело дышал, и лицо у него было еще

¹ Разрешение церковной цензуры (лат.).

краснее, чем всегда. По ее словам, она вполне вежливо предложила ему вызвать врача, но предложение это было отвергнуто с прискорбной резкостью, как она выразилась. Ей осталось только одно — уйти прочь. А через некоторое время отец Панлю позвонил и попросил ее зайти к нему. Он извинился за свою невольную резкость и заявил, что о чуме не может быть и речи, что он не обнаружил у себя ни одного из симптомов, очевидно, все дело в чрезмерной усталости, но это пройдет. На что старая дама с достоинством возразила, что ежели она и предложила вызвать врача, то отнюдь не потому, что встревожилась за себя, что бояться ей нечего, коль скоро ее живот и смерть в руке божьей, просто она обеспокоилась состоянием преподобного отца, так как считает себя в какой-то мере ответственной за него. Но так как он промолчал, она снова предложила вызвать врача, считая, что выполняет свой прямой долг. Святой отец снова отказался, но на сей раз присовокупил к своему отказу какие-то весьма туманные, по словам старой дамы, объяснения. Поняла она как раз то, что, на ее взгляд, было непонятным из всей его тирады, а именно святой отец отказался призвать врача, потому что это, мол, противоречит его принципам. Естественно, она сочла, что разум ее жильца несколько помутился от жара, и ограничилась тем, что принесла ему чашку лекарственного настоя.

Решившись как можно аккуратнее выполнять свои обязанности, раз уж так все получилось, квартирохозяйка заглядывала к жильцу регулярно каждые два часа. Больше всего ее поразило лихорадочное возбуждение, не оставлявшее больного в течение всего дня. Он то откидывал одеяло, то снова натягивал его, все время проводил ладонью по влажному лбу и, приподнявшись на подушках, пытался откашляться, кашель у него был какой-то странный, хриплый, сдавленный и в то же время влажный, словно все внутри у него отрывалось. Со стороны казалось, будто он старается выхаркнуть из гортани душившие его куски ваты. После этих приступов он падал на подушки, видимо совсем обессилев. Потом он снова приподнимался и несколько секунд смотрел куда-то в стену, и смотрел с неестественной пристальностью, пожалуй еще более лихорадочной, чем предшествующее возбуждение. Но старая дама все еще не решалась вызвать врача, боясь раздражить больного. Впрочем, эта действительно устрашающая на вид болезнь могла оказаться приступами обычной лихорадки.

Однако к вечеру она набралась храбрости еще раз поговорить с отцом Панлю и получила весьма невразумительный ответ. Она повторила свое предложение, но тут святой отец приподнялся на постели и, хотя задыхался, вполне раздельно проговорил, что не желает показываться врачам. После этих слов хозяйка решила подождать утра и, если состояние отца Панлю не улучшится, позвонить по телефону в агентство Инфдок, благо соответствующий номер десятки раз на день повторяли по радио. Все так же неукоснительно выполняя свои обязанности, она решила заходить к больному ночью и присматривать за ним. Но вечером, дав ему чашку свежего настоя, она прилегла на минутку и проснулась только на заре. Первым делом она побежала к больному.

Отец Панлю лежал без движения. Вчерашняя багровость кожи сменилась мертвенной бледностью, тем более впечатляющей, что черты лица не потеряли своей округлости. Больной не отрываясь смотрел на лампочку с разноцветными хрустальными подвесками, висевшую над кроватью. При появлении квартирохозяйки он повернул к ней голову. По ее словам, вид у него был такой, будто всю ночь его били и к утру он от слабости уже потерял способность реагировать на происходящее. Она осведомилась, как он себя чувствует. И он ответил с той же странной, поразившей старую даму отрешенностью, что чувствует себя плохо, но что врача звать нет надобности и пусть его просто отправят в лазарет, согласно существующим правилам. Старая дама в испуге бросилась к телефону.

Риэ прибыл в полдень. Выслушав рассказ старушки, он сказал только, что отец Панлю совершенно прав, но что, к сожалению, его позвали слишком поздно. Отец Панлю встретил его все так же безучастно. Риэ освидетельствовал больного и, к великому своему изумлению, не обнаружил никаких характерных симптомов бубонной или легочной чумы, кроме удушья и стеснения в груди. Но так или иначе, пульс был такой слабый, а общее состояние такое угрожающее, что надежды почти не оставалось.

— У вас нет никаких характерных симптомов этой болезни,— сказал Риэ отцу Панлю.— Но поскольку нет и полной ясности, я обязан вас изолировать.

Отец Панлю как-то странно улыбнулся, словно бы из любезности, и промолчал. Риэ вышел в соседнюю комнату позвонить по телефону и снова вернулся в спальню. Он взглянул на отца Панлю.

— Я останусь при вас,— ласково проговорил он.

Больной, казалось, приободрился при этих словах и поднял на доктора чуть потеплевшие глаза. Потом он произнес, так мучительно выговаривая слова, что доктор не понял, звучит ли в его голосе печаль или нет.

— Спасибо,— сказал Панлю.— Но у священнослужителей не бывает друзей. Все свои чувства они вкладывают в свою веру.

Он попросил дать ему распятие, висевшее в головах кровати, и, когда просьба его была выполнена, отвернулся и стал смотреть на распятие.

В лазарете отец Панлю не открыл рта. Словно бесчувственная вещь, он подчинялся всем предписанным процедурам, но распятия из рук уже не выпускал. Однако случай его был неясен. Риэ терзался сомнениями. Это была чума, и это не было чумой. Впрочем, в течение последнего времени ей, казалось, доставляет удовольствие путать карты диагностики. Но в случае отца Панлю, как выяснилось в дальнейшем, эта неопределенность особого значения не имела.

Температура подскочила. Кашель стал еще более хриплым и мучил больного весь день. Наконец к вечеру отцу Панлю удалось выхаркнуть душившую его вату. Мокрота была окрашена кровью. Как ни бушевала лихорадка, отец Панлю по-прежнему безучастно глядел вокруг, и, когда на следующее утро санитары обнаружили уже застывшее тело, наполовину сползшее с койки, взгляд его

ничего не выражал. На карточке написали: «Случай сомнительный».

В том году День всех святых прошел совсем не так, как проходил он обычно. Конечно, сыграла тут свою роль и погода. Погода резко переменялась, и на смену запоздалой жаре неожиданно пришла осенняя прохлада. Как и в предыдущие годы, не переставая свистел холодный ветер. Через все небо бежали пухлые облака, погружая в тень попадавшие на их пути дома, но, стоило им проплыть, все снова заливал холодный золотистый свет ноябрьского солнца. На улицах появились первые непромокаемые плащи. Удивительное дело, вскоре весь город шуршал от прорезиненных блестящих тканей. Оказалось, газеты напечатали сообщение о том, что двести лет назад в годину великой чумы на Юге Франции, врачи, стремясь уберечься от заразы, ходили в промасленной одежде. Владельцы магазинов сумели использовать это обстоятельство и выбросили на прилавки всякую вышедшую из моды заваль, с помощью которой наши сограждане надеялись защитить себя от бацилл.

Но как ни очевидны были приметы осени, все мы помнили и знали, что кладбища в этот день покинуты. В прошлые годы трамваи были полны пресным запахом хризантем и женщины группками направлялись туда, где покоились их близкие, чтобы украсить цветами родные могилы. Раньше в этот день живые пытались вознаградить покойного за то одиночество и забвение, в котором он пребывал столько месяцев подряд. Но в этом году никто не желал думать о мертвых. Ведь о них и без того думали слишком много. И странно было бы снова навещать родную могилу, платить дань легкому сожалению и тяжелой меланхолии. Теперь покойники не были, как прежде, просто чем-то забытым, к кому приходят раз в году ради очистки совести. Они стали непрощеными втирушами, которых хотелось поскорее забыть. Вот почему праздник всех святых в этом году получился какой-то неестественный. Коттар, который, по мнению Тарру, становился все ядовитее на язык, сказал, что теперь у нас каждый день праздник мертвых.

И действительно, все веселее в печи крематория разгорался фейерверк чумы. Правда, смертность вроде бы стабилизировалась. Но казалось, будто чума уютненько расположилась на высшей точке и отныне вносит в свои ежедневные убийства старательность и аккуратность исправного чиновника. По мнению людей компетентных, это был, по сути дела, добрый знак. Так, например, доктор Ришар считал крайне обнадеживающим тот факт, что кривая смертности, резко поднявшись, пошла потом ровно. «Прекрасная, чудесная кривая»,—твердил Ришар. Он уверял, что эпидемия уже достигла, как он выражался, потолка. И поэтому ей остается только падать. В этом он видел заслугу доктора Кастеля, вернее, его новой сыворотки, которая и на самом деле в некоторых случаях неожиданно давала прекрасные результаты. Старик Кастель не перечил, но, по его мнению, ничего предсказывать еще нельзя, так как из истории известно,

что эпидемия неожиданно делает резкие скачки. Префектура, уже давно горевшая желанием внести успокоение в умы оранцев, что было весьма затруднительно, принимая во внимание чуму, предложила собрать врачей с тем, чтобы они составили соответствующий доклад, как вдруг чума унесла также и доктора Ришара, и именно тогда, когда кривая достигла потолка.

Узнав об этом безусловно впечатляющем случае, Впрочем ровно ничего не доказывавшем, городские власти сразу же впали в пессимизм, столь же необоснованный, как и оптимизм, которому за неделю до того они предавались. Кастель же стал просто-напросто готовить свою сыворотку еще тщательнее, чем прежде. Так или иначе, не осталось ни одного общественного здания, не превращенного в больницу или в лазарет, и если до сих пор не посягнули на префектуру, то лишь потому, что надо было иметь какое-то место для различных сборищ. Но в общем-то, и именно в силу относительной стабилизации эпидемии в этот период, санитарная служба, организованная Риэ, вполне справлялась со своими задачами. Врачи и санитары, трудившиеся на износ, могли надеяться, что уж больших усилий от них не потребуется. Им надо было только как можно аккуратнее, если уместно употребить здесь это слово, выполнять свой нечеловеческий долг. Легочная форма чумы — сначала было зарегистрировано лишь несколько ее случаев — теперь быстро распространилась по всему городу, так, словно ветер разжигал и поддерживал пожар в груди людей. Больные, которых мучила кровавая рвота, погибали значительно скорее. При этой новой форме болезни следовало ждать более быстрого распространения заразы. Но мнения специалистов на сей счет расходились. В целях большей безопасности медицинский персонал продолжал работать в масках, пропитанных дезинфицирующим составом. На первый взгляд эпидемия должна была бы шириться. Но поскольку случаи заболевания бубонной чумой стали реже, итог сбалансировался.

Между прочим, городским властям и без того было о чем тревожиться — продовольственные затруднения все больше росли. Спекулянты, понятно, не остались в стороне и предлагали по баснословным ценам продукты первой необходимости, уже исчезнувшие с рынка. Бедные семьи попали в весьма тяжелое положение, тогда как богатые почти ни в чем не испытывали недостатка. Казалось бы, чума должна была укрепить узы равенства между нашими согражданами именно из-за той неумолимой беспристрастности, с какой она действовала по своему ведомству, а получилось наоборот — эпидемия в силу обычной игры эгоистических интересов еще больше обострила в сердцах людей чувство несправедливости. Разумеется, за нами сохранялось совершеннейшее равенство смерти, но вот его-то никто не желал. Бедняки, страдавшие от голода, тоскливо мечтали о соседних городах и деревнях, где живут свободно и где хлеб не стоит таких бешеных денег. Раз их не могут досыта накормить, пусть тогда позволят уехать — таковы были их чувства, возможно не совсем разумные. Словом, кончилось тем, что на стенах домов стал появляться лозунг: «Хлеба или воли», а иной раз его выкрикивали вслед проезжавшему префекту. Эта ироническая

фраза послужила сигналом к манифестациям, и, хотя их быстро подавили, все понимали, насколько дело серьезно.

Естественно, газеты по приказу свыше действовали в духе оголтелого оптимизма. Если верить им, то наиболее характерным для годины бедствия было «исключительное спокойствие и хладнокровие, волнующий пример которого давало население». Но в наглухо закрытом городе, где ничто не оставалось в тайне, никто не обманывался насчет «примера», даваемого нашим сообществом. Чтобы составить себе верное представление о вышеуказанном спокойствии и хладнокровии, достаточно было заглянуть в карантин или в «лагерь изоляции», организованный нашими властями. Случилось так, что рассказчик, занятый другими делами, сам в них не бывал. Потому-то он может лишь привести свидетельство Тарру.

Тарру и в самом деле рассказал в своем дневнике о посещении такого лагеря, устроенного на городском стадионе, куда он ходил вместе с Рамбером. Стадион расположен почти у самых городских ворот и одной стороной выходит на улицу, где бегают трамваи, а другой — на обширные пустыри, тянущиеся до границы плато, на котором возведен город. Он обнесен бетонной высокой оградой, и достаточно поэтому было поставить у всех четырех ворот часовых, чтобы затруднить побег. Кроме того, отделенные высокой стеной от улицы, несчастные, угодившие в карантин, могли не бояться досужего любопытства прохожих. Зато в течение всего дня на стадионе слышно было, как совсем рядом проходят с грохотом невидимые отсюда трамваи, и по тому, как крепчал в определенных часы гул толпы, отрезанные от мира бедолаги догадывались, что народ идет с работы или на работу. Таким образом, они знали, что жизнь, куда им ныне заказан доступ, продолжается всего в нескольких метрах от них и что бетонные стены разделяют две вселенные, более чуждые друг другу, чем если бы даже они помещались на двух различных планетах.

Тарру и Рамбер решили отправиться на стадион в воскресенье после обеда. С ними увязался Гонсалес, тот самый футболист; Рамбер разыскал его и уговорил взять на себя наблюдение за сменой караула у ворот стадиона. Рамбер обещал представить его начальнику лагеря. Встретившись со своими спутниками. Гонсалес сообщил, что как раз в этот час, ясно, до чумы, он начинал переодеваться, готовясь к матчу. Теперь, когда все стадионы реквизируют, податься было некуда, и Гонсалес чувствовал себя чуть ли не бездельником, даже вид у него был соответствующий. Именно по этой причине он и согласился взять на себя дежурство в лагере, но при условии, что работать будет только в последние дни недели. Небо затянуло облаками, и Гонсалес, задрав голову, печально заметил, что такая погода — не дождливая и не солнечная — для футбола самое милое дело. В меру отпущенного ему природой красноречия он старался передать слушателям запах втираний, стоявший в раздевалке, давку на трибунах, яркие пятна маек на буром поле, вкус лимона или шипучки в перерыве, покалывающей пересохшую глотку тысячью ледяных иголок. Тарру отмечает, что во время всего пути по выбитым улочкам

предместья футболист непрерывно гнал перед собой первый попавшийся камешек. Он пытался послать его прямо в решетку водосточной канавы и, если это удавалось, громогласно возглашал: «Один ноль в мою пользу». Докурив сигарету, он ловко выплевывал ее в воздух и старался на лету подшибить ногой. У самого стадиона игравшие в футбол ребяташки запустили в их сторону мяч, и Гонсалес не поленился сбегать за ним и вернул его обратно точнейшим ударом.

Наконец они вошли на стадион. Все трибуны были полны. Но на поле тесными рядами стояло несколько сотен красных палаток, внутри которых, они заметили еще издали, находились носилки и узлы с пожитками. Трибуны решено было не загромождать, чтобы интернированные могли посидеть там в укрытии от дождя или палящего солнца. Но с закатом им полагалось расходиться по палаткам. Под трибунами помещалось душевое отделение, его подремонтировали, а раздевалки переоборудовали под канцелярию и медпункты. Большинство интернированных облюбовали трибуны. Некоторые бродили по проходам. А кое-кто, присев на корточки у входа в свою палатку, рассеянно озирался вокруг. У сидевших на трибунах был пришибленный вид, казалось, они все ждут чего-то.

— А что они делают целыми днями?— обратился Тарру к Рамберу.

— Ничего не делают.

И действительно, почти все сидели вяло, опустив руки, раскрыв пустые ладони. Странное впечатление производило это огромное скопище неестественно молчаливых людей.

— В первые дни здесь оглохнуть можно было,— пояснил Рамбер.— Ну а потом, со временем, почти перестали разговаривать.

Если верить записям Тарру, то он вполне понимал этих несчастных, он без труда представил себе, как в первые дни, набившись в палатки, они вслушиваются в нудное жужжание мух или скребут себя чуть не до крови, а когда попадается сочувствующая пара ушей, вопят о своем гневе или страхе... Но с тех пор как лагерь переполнился народом, таких сочувствующих попадалось все меньше. Поэтому приходилось молчать и подозрительно коситься на соседа. Казалось, что и в самом деле с серенького, но все же лучистого неба кто-то сеет на этот алый лагерь подозрительность и недоверие.

Да, вид у всех у них был недоверчивый. Раз их отделили от остального мира, значит, это неспроста, и лица у них всех стали одинаковые, как у людей, которые в чем-то пытаются оправдаться и мучатся страхом. На кого бы ни падал взгляд Тарру, каждый праздно озирался вокруг, видимо страдая от все абстрагирующей разлуки с тем, что составляло смысл его жизни. И так как они не могли с утра до ночи думать о смерти, они вообще ни о чем не думали. Они были как бы в отпуску. «Но самое страшное,— записал Тарру,— что они, забытые, понимают это. Тот, кто их знал, забыл, потому что думал о другом, и это вполне естественно. А тот, кто их любит, тоже их забыл, потому что сбился с ног, хлопоча об их же освобождении и выискивая разные ходы.

Думая, как бы поскорее освободить своих близких из пленения, он уже не думает о том, кого надо освободить. И это тоже вполне в порядке вещей. И в конце концов видишь, что никто не способен по-настоящему думать ни о ком, даже в часы самых горьких испытаний. Ибо думать по-настоящему о ком-то — значит думать о нем постоянно, минута за минутой, ничем от этих мыслей не отвлекаясь: ни хлопотами по хозяйству, ни пролетевшей мимо мухой, ни принятием пищи, ни зудом. Но всегда были и будут мухи и зуд. Вот почему жизнь очень трудная штука. И вот они-то прекрасно знают это».

К ним подошел начальник лагеря и сказал, что их желает видеть некий мсье Отон. Усадив Гонсалеса в своем кабинете, начальник отвел остальных к трибуне, где в стороне сидел мсье Отон, поднявшийся при их приближении. Он был одет как и на воле, даже не расстался с туго накрахмаленным воротничком. Одну только перемену обнаружил в нем Тарру — пучки волос у висков нелепо взъерошились и шнурок на одном ботинке развязался. Вид у следователя был усталый, и ни разу он не поглядел собеседникам в лицо. Он сказал, что рад их видеть и что он просит передать свою благодарность доктору Ризэ за все, что тот сделал.

Рамбер и Тарру промолчали.

— Надеюсь,— добавил следователь после короткой паузы,— надеюсь, что Жак не слишком страдал.

Впервые Тарру услышал, как мсье Отон произносит имя сына, и понял, что, значит, есть еще и другие перемены. Солнце катилось к горизонту, и лучи, прорвавшись в щелку между двух облачков, косо освещали трибуны и золотили лица разговаривавших.

— Правда, правда,— ответил Тарру,— он совсем не мучился.

Когда они ушли, следователь так и остался стоять, глядя в сторону заходящего солнца.

Они заглянули в кабинет начальника попрощаться с Гонсалесом, который изучал график дежурств. Футболист пожал им руки и рассмеялся.

— Хотя в раздевалку-то попал,— сказал он,— и то ладно.

Начальник повел гостей к выходу, но вдруг над трибунами что-то оглушительно затрещало. Потом громкоговорители, те самые, что в лучшие времена сообщали публике результаты матча или знакомили ее с составом команд, гнусаво потребовали, чтобы интернированные расходились по палаткам, так как сейчас начнут раздавать ужин. Люди не спеша спускались с трибун и, еле волоча ноги, направлялись к палаткам. Когда все разбрелись, появились два небольших электрокара, такие бывают на вокзалах, и медленно пополнили по проходу между палатками, неся на себе два больших котла. Люди протягивали навстречу им обе руки, два черпака ныряли в два котла и выплескивали содержимое в две протянутые тарелки. Затем электрокар двигался дальше. У следующей палатки повторялась та же процедура.

— Научная постановка дела,— сказал Тарру начальнику.

— А как же,— самодовольно подтвердил начальник, пожимая посетителям на прощание руки,— конечно, по-научному.

Сумерки уже спустились, небо очистилось. На лагерь лился мягкий, ясный свет. В мирный вечерний воздух со всех сторон подымалось звяканье ложек и тарелок. Низко над палатками скользили летучие мыши и исчезали так же внезапно, как появлялись. По ту сторону ограды проскрежетал на стрелке трамвай.

— Бедняга следователь,— пробормотал Тарру, выходя за ворота.— Надо бы для него что-нибудь сделать. Да как помочь законнику?

Были в нашем городе еще и другие лагеря, и в немалом количестве, но рассказчик не будет о них говорить по вполне понятным соображениям добросовестности и за отсутствием точной информации. Единственное, что он может сказать,—так это то, что самосуществование таких лагерей, доносящийся оттуда запах людской плоти, оглушительный голос громкоговорящих на закате, стены, скрывающие тайну и страх перед этим окаянным местом,—все это тяжелым грузом ложилось на души наших сограждан и еще больше увеличивало смятение, тяготило всех своим присутствием. Все чаще возникали стычки с начальством, происходили различные инциденты.

Тем временем, к концу ноября, уже начались холодные утренники. Ливневые дожди, не скупясь, обмыли плиты мостовой, чистенькие безоблачные небеса лежали над доведенными до блеска улицами. Солнце, уже потерявшее летнюю силу, каждое утро заливало наш город холодным ярким светом. А к вечеру, напротив, воздух снова теплел. Как-то в один из таких вечеров Тарру решил приоткрыть свою душу доктору Риз.

Часов в десять вечера, после длинного утомительного дня, Тарру вызвался проводить Риз, решившего навестить старика астматика. Над крышами старого квартала кротко поблескивало небо. Мягкий ветерок бесшумно пробегал вдоль темных переулков. Старик астматик встретил их болтовней, чуть не оглушившей гостей после тишины улиц. Старик сразу же заявил, что многие не согласны, что куски пожирнее всегда достаются одним и тем же, что повадился кувшин по воду ходить, тут ему и голову сломить, что, возможно,—и он от удовольствия даже руки потер—будет хорошенкая заваруха. Пока доктор осматривал его, он болтал без умолку, комментируя последние события.

Над головой у них послышались шаги. Поймав удивленный взгляд Тарру, старушка, жена астматика, объяснила, что, должно быть, это на крыше, то есть на террасе, сошлись соседки. И тут же им было сообщено, что оттуда, с крыши, очень красивый вид и что многие террасы примыкают вплотную друг к другу, так что местные женщины ходят к соседям в гости, не спускаясь в комнаты.

— Верно,—подхватил старик.—Если хотите, подымитесь. Воздух там свежий.

На террасе, где стояло три стула, было пусто. Справа, насколько хватал глаз, видны были сплошные террасы, примыкавшие вдалеке к чему-то темному, каменистому, в чем оба признали

первый прибрежный холм. Слева, бегло скользнув по двум-трем улочкам и невидимому отсюда порту, взгляд упирался в линию горизонта, где в еле заметном трепетании море сливалось с небом. А над тем, что, как они знали, было грядой утесов, через ровные промежутки вспыхивал свет, самого источника света отсюда не было видно: это еще с весны продолжали вращаться фары маяка, указывая путь судам, которые направлялись теперь в другие порты. В чистом после шквальных ветров, глянцевином небе горели первозданным блеском звезды, и далекий свет маяка время от времени примешивал к ним свой преходящий пепельный луч. Ветер нес запахи пряностей и камня. Кругом стояла ничем не нарушаемая тишина.

— Хорошо,—сказал Риэ, усевшись на стул,—такое впечатление, будто чума никогда сюда не добиралась.

Тарру стоял, повернувшись к нему спиной, и смотрел на море.

— Да,—ответил он не сразу.—Хорошо.

Он шагнул, сел рядом с доктором и внимательно посмотрел ему в лицо. Трижды по небу пробежал луч маяка. Из глубокой щели улицы доносился грохот посуды. В соседнем доме тихонько скрипнула дверь.

— Риэ,—самым естественным тоном проговорил Тарру,—вы никогда не пытались узнать, что я такое? Надеюсь, вы мне друг?

— Да,—ответил доктор,—я вам друг. Только до сих пор нам обоим все как-то времени не хватало.

— Прекрасно, теперь я спокоен. Не возражаете посвятить этот час дружбе?

Вместо ответа Риэ улыбнулся.

— Так вот, слушайте...

Где-то, не по их улице, проехала машина, и казалось, она слишком долго катится по мокрой мостовой. Наконец шорох шин стих, но воцарившуюся было тишину нарушили далекие невнятные крики. И только потом тишина всей тяжестью звезд и неба обрушилась на обоих мужчин. Тарру снова поднялся, подошел к перилам террасы, оперся о них как раз напротив Риэ, который сидел на стуле, устало привалившись к спинке. Он видел не фигуру Тарру, а что-то темное, большое, выделявшееся на фоне неба. Наконец Тарру заговорил, и вот приблизительный пересказ его исповеди.

«Для простоты начнем, Риэ, с того, что я был уже чумой поражен еще прежде, чем попал в ваш город в разгар эпидемии. Достаточно сказать, что я такой же, как и все. Но существуют люди, которые не знают этого, или люди, которые сумели сжиться с состоянием чумы, и существуют люди, которые знают и которым хотелось бы вырваться. Так вот, мне всегда хотелось вырваться.

В юности я жил с мыслью о своей невинности, то есть без всяких мыслей. Я не принадлежу к разряду беспокойных, наоборот, вступил я в жизнь, как положено всем юношам. Все мне удавалось, науки давались легко, с женщинами я ладил прекрасно, и если накатывало на меня облачко беспокойства, оно быстро исчезало. Но в один прекрасный день я начал думать. И тогда...

Надо сказать, что в отличие от вас бедности я не знал. Мой отец был помощником прокурора, то есть занимал достаточно видный пост. Внешне это на нем не отражалось. Он от природы был человек благодушный, добряк. Мать моя была женщина простая, перед всеми тушевалась, я ее любил и люблю, но предпочитаю о ней не говорить. Отец много со мной возился, любил меня, думаю, даже пытался меня понять. У него на стороне — теперь-то я в этом уверен — были интрижки, и, представьте, я ничуть этим не возмущаюсь. Вел он себя именно так, как полагается себя вести в подобных случаях, никого не шокируя. Короче, человек он был не слишком оригинальный, и теперь, после его смерти, я понимаю, что прожил он жизнь не как святой, но и дурным человеком тоже не был. Просто придерживался середины, а к такому сорту людей обычно испытывают разумную привязанность, и надолго.

Однако имелась у него одна слабость: его настольной книгой был большой железнодорожный справочник Шэкса. Он даже и не путешествовал, разве что проводил отпуск в Бретани, где у него было маленькое поместье. Но он мог вам без запинки назвать часы прибытия и отбытия поезда Париж — Берлин, порекомендовать наиболее простой маршрут, скажем из Лиона в Варшаву, не говоря уже о том, что наизусть знал расстояние с точностью до полукилометра между любыми столицами, какую бы вы ни назвали. Вот вы, например, доктор, можете вы сказать, как проехать из Бриансона в Шамоникс? Даже начальник вокзала и тот задумается. А отец не задумывался. Каждый свободный вечер он старался расширить свои знания в этой области и очень ими гордился. Меня это ужасно забавляло, и я нередко экзаменовал его, проверял ответы по справочнику и радовался, что он никогда не ошибается. Эти невинные занятия нас сблизили, так как он ценил во мне благодарного слушателя. А я считал, что его превосходство в области железнодорожных расписаний было ничуть не хуже всякого другого.

Но я увлекся и боюсь преувеличить значение этого честного человека. Ибо скажу вам, чтобы покончить с этим вопросом, прямого влияния на мое становление отец не имел. Самое большее — он дал мне окончательный толчок. Когда мне исполнилось семнадцать, отец позвал меня в суд послушать его. В суде присяжных разбиралось какое-то важное дело, и он, вероятно, считал, что покажется мне в самом выгодном свете. Думаю также, он надеялся, что эта церемония, способная поразить юное воображение, побудит меня избрать профессию, которую в свое время выбрал себе он. Я охотно согласился, во-первых, хотел сделать отцу удовольствие, а во-вторых, мне самому было любопытно посмотреть и послушать его в иной роли, не в той, какую он играл дома. Вот и все, ни о чем другом я не думал. Все, что происходит в суде, с самого раннего детства казалось мне вполне естественным и неизбежным, как, скажем, праздник 14 июля или выдача наград при переходе из класса в класс. Словом, представление о юстиции у меня было самое расплывчатое, отнюдь не мешавшее мне жить.

Однако от того дня моя память удержала лишь один образ —

образ подсудимого. Думаю, что он и в самом деле был виновен, в чем — неважно. Но этот человечек с рыжими редкими волосами, лет примерно тридцати, казалось, был готов признаться во всем, до того искренне страшило его то, что он сделал, и то, что сделают с ним самим, — так что через несколько минут я видел только его, только его одного. Он почему-то напоминал сову, испуганную чересчур ярким светом. Узел галстука сполз куда-то под воротничок. Он все время грыз ногти, только на одной руке, на правой... Короче, не буду размазывать, вы, должно быть, уже поняли, что я хочу сказать — он был живой.

А я, я как-то вдруг заметил, что до сих пор думал о нем только под углом весьма удобной категории — только как об «обвиняемом». Не могу сказать, что я совсем забыл об отце, но что-то до такой степени сдавило мне нутро, что при всем желании я не мог отвести глаз от подсудимого. Я почти ничего не слушал, я чувствовал, что здесь хотят убить живого человека, и какой-то неодолимый инстинкт подобно волне влек меня к нему со слепым упрямством. Я очнулся, только когда отец начал обвинительную речь.

Непохожий на себя в красной прокурорской мантии, уже не тот добродушный и сердечный человек, которого я знал, он громоздил громкие фразы, выползавшие из его уст, как змеи. И я понял, что он от имени общества требует смерти этого человека, больше того — просит, чтобы ему отрубили голову. Правда, сказал он только: «Эта голова должна упасть». Но в конце концов разница не так уж велика. И выходит одно на одно, раз он действительно получил эту голову. Просто не он сам выполнял последнюю работу. А я, следивший теперь за ходом судебного разбирательства вплоть до заключительного слова, я чувствовал, как связывает меня с этим несчастным умопомрачительная близость, какой у меня никогда не было с отцом. А отец, согласно существующим обычаям, обязан был присутствовать при том, что вежливо именуется «последними минутами» преступника, но что следовало бы скорее назвать самым гнусным из убийств.

С этого дня я не мог видеть без дрожи отвращения справочник Шэкса. С этого дня я заинтересовался правосудием, испытывая при этом ужас, заинтересовался смертными приговорами, казнями и в каком-то умопомрачении твердил себе, что отец по обязанности множество раз присутствовал при убийстве и как раз в эти дни вставал до зари. Да-да, в таких случаях он специально заводил будильник. Я не посмел заговорить об этом с матерью, но стал за ней исподтишка наблюдать и понял, что мои родители чужие друг другу и что жизнь ее была сплошным самоотречением. Поэтому я простил ее с легкой душой, как я говорил тогда. Позже я узнал, что и прощать-то ее не за что было, до замужества она всю жизнь прожила в бедности, и именно бедность приучила ее к покорности.

Вы, очевидно, надеетесь услышать от меня, что я, мол, сразу бросил родительский кров. Нет, я прожил дома еще долго, почти целый год. Но сердце у меня щемило. Как-то вечером отец попросил у матери будильник, потому что завтра ему надо рано вставать. Всю ночь я не сомкнул глаз. На следующий день, когда

он вернулся, я ушел из дому. Добавлю, что отец разыскал меня, что я виделся с ним, но никаких объяснений между нами не было: я спокойно сказал ему, что, если он вернет меня домой силой, я покончу с собой. В конце концов он уступил, так как нрава он был скорее мягкого, произнес целую речь, причем назвал блажью мое намерение жить своей жизнью (так он объяснял себе мой уход, и я, конечно, не стал его разубеждать), надавал мне тысячи советов и с трудом удержался от вполне искренних слез. После этой беседы я в течение довольно долгого времени аккуратно ходил навещать мать и тогда встречал отца. Эти взаимоотношения вполне его устраивали, как мне кажется. Я лично против него зла не имел, только на сердце у меня было грустно. Когда он умер, я взял к себе мать, и она до сих пор жила бы со мной, если бы тоже не умерла.

Я затянул начало только потому, что и в самом деле это стало началом всего. Дальнейшее я изложу короче. В восемнадцать лет я, живший до того в достатке, узнал нищету. Чего только я не перепробовал, чтобы заработать себе на жизнь. И представьте, в значительной мере преуспел. Но единственное, что меня интересовало,—это смертные приговоры. Мне хотелось уплатить по счету той рыжей сове. И естественно, я стал, как принято говорить, заниматься политикой. Просто не хотел быть зачумленным, вот и все. Я думал, что то самое общество, где я живу, базируется на смертных приговорах и, борясь против него, я борюсь таким образом с убийством. Так я думал, так мне говорили другие, и, если хотите, это в достаточной степени справедливо. Таким образом, я встал в ряды тех, кого я любил и до сих пор люблю. Я оставался с ними долго, и не было в Европе такой страны, где бы я не участвовал в борьбе. Ну да ладно...

Разумеется, я знал, что при случае и мы тоже выносили смертные приговоры. Но меня уверяли, что эти несколько смертей необходимы, дабы построить мир, где никого не будут убивать. До известной степени это было правдой, но я, должно быть, просто не способен держаться такого рода правды. Единственное, что бесспорно,—это то, что я колебался. Но я вспоминал сову и мог таким образом жить дальше. Вплоть до того дня, когда я лично присутствовал при смертной казни (было это в Венгрии), и то же самое умопомрачение, заставшее глаза подростка, каким я был некогда, застлало глаза уже взрослого мужчины.

Вы никогда не видели, как расстреливают человека? Да нет, конечно, без особого приглашения туда не попадешь, да и публику подбирают заранее. И в результате все вы пробавляетесь в этом отношении картинками и книжными описаниями. Повязка на глазах, столб, и вдалеке несколько солдат. Как бы не так! А знаете, что как раз наоборот, взвод солдат выстраивают в полутора метрах от расстреливаемого? Знаете, что, если осужденный сделает хоть шаг, он упрется грудью в дула винтовок? Знаете, что с этой предельно близкой дистанции ведут прицельный огонь в область сердца, а так как пули большие, получается отверстие, куда можно кулак засунуть? Нет, ничего вы этого не знаете, потому что о таких вот деталях не принято говорить. Сон

человека куда более священная вещь, чем жизнь для зачумленных. Не следует портить сон честным людям. Это было бы дурным вкусом, а вкус как раз и заключается в том, чтобы ничего не пережевывать — это всем известно. Но с тех пор я стал плохо спать. Дурной вкус остался у меня во рту, и я не перестал пережевывать, другими словами думать.

Вот тут я и понял, что я, по крайней мере в течение всех этих долгих лет, как был, так и остался зачумленным, а сам всеми силами души верил, будто как раз борюсь с чумой. Понял, что пусть косвенно, но я осудил на смерть тысячи людей, что я даже сам способствовал этим смертям, одобряя действия и принципы, неизбежно влекущие ее за собой. Прочих, казалось, ничуть не смущало это обстоятельство, или, во всяком случае, они никогда об этом по доброй воле не заговаривали. А я жил с таким ощущением, будто мне перехватило глотку. Я был с ними и в то же время был один. Когда мне случалось выражать свои сомнения, те говорили, что следует смотреть в корень, и подчас приводили достаточно впечатляющие доводы, чтобы помочь мне проглотить то, что застряло у меня в глотке. Но я возражал, что главные зачумленные — это те, что напяливают на себя красные мантии, что и они тоже приводят в подобном случае весьма убедительные доводы, и, если я принимаю чрезвычайные и вызванные необходимостью доводы мелких зачумленных, я не вправе отбрасывать доводы главных. На это мне говорили, что лучший способ признать доводы красных мантий — это оставить за ними исключительное право на вынесение смертных приговоров. Но я думал про себя, что если уступить хоть раз, то где предел? Похоже, что история человечества подтвердила мою правоту, сейчас убивают наперегонки. Все они охвачены яростью убийства и иначе поступать не могут.

Не знаю, как другие, но я лично исходил не из рассуждений. Для меня все дело было в той рыжей сове, в той грязной истории, когда грязные, зачумленные уста объявили закованному в кандалы человеку, что он должен умереть, и действительно аккуратно сделали все, чтобы он умер после бесконечно длинных ночей агонии, пока он с открытыми глазами ждал, что его убьют. Не знаю, как для других, но для меня все дело было в этой дыре, зиявшей в груди. И я сказал себе, что, во всяком случае, лично я не соглашусь ни с одним, слышите, ни с одним доводом в пользу этой омерзительнейшей бойни. Да, я сознательно выбрал эту упрямую слепоту в ожидании того дня, когда буду видеть яснее.

С тех пор я не изменился. Уже давно мне стыдно, до смерти стыдно, что и я, хотя бы косвенно, хотя бы из самых лучших побуждений, тоже был убийцей. Со временем я не мог не заметить, что даже самые лучшие не способны нынче воздержаться от убийства своими или чужими руками, потому что такова логика их жизни, и в этом мире мы не можем сделать ни одного жеста, не рискуя принести смерть. Да, мне по-прежнему было стыдно, я понял, что все мы живем в чумной скверне, и я потерял покой. Даже теперь я все еще ищу покоя, пытаюсь понять их всех, пытаюсь не быть ничьим смертельным врагом. Я знаю только, что надо делать, чтобы перестать быть зачумлен-

ным, и лишь таким путем мы можем надеяться на воцарение мира или за невозможностью такового — хотя бы на славную кончину. Вот каким путем можно облегчить душу людям и если не спасти их, то хотя бы, на худой конец, причинять им как можно меньше зла, а порой даже приносить немножко добра. Вот почему я решил отринуть все, что хотя бы отдаленно, по хорошим или по дурным доводам приносит смерть или оправдывает убийство.

Вот почему, кстати, эта эпидемия ничего нового мне не открыла, разве только одно — надо бороться против нее рука об руку с вами. Мне доподлинно известно (а вы сами видите, Риэ, что я знаю жизнь во всех ее проявлениях), что каждый носит ее, чуму, в себе, ибо не существует такого человека в мире, да-да, не существует, которого бы она не коснулась. И надо поэтому безостановочно следить за собой, чтобы, случайно забывшись, недохнуть в лицо другому и не передать ему заразы. Потому что микроб — это нечто естественное. Все прочее: здоровье, неподкупность, если хотите даже чистота, — все это уже продукт воли, и воли, которая не должна давать себе передышки. Человек честный, никому не передающий заразы, — это как раз тот, который ни на миг не смеет расслабиться. А сколько требуется воли и напряжения, Риэ, чтобы не забыться! Да, Риэ, быть зачумленным весьма утомительно. Но еще более утомительно не желать им быть. Вот почему все явно устали, ведь нынче все немножко зачумленные. Но именно поэтому те немногие, что не хотят жить в состоянии зачумленности, доходят до крайних пределов усталости, освободить от коей может их только смерть.

Теперь я знаю, что я ничего не стою для вот этого мира и что с того времени, как я отказался убивать, сам себя осудил на бесповоротное изгнание. Историю будут делать другие. И я знаю также, что, по-видимому, не годен судить этих других. Для того чтобы стать здравомыслящим убийцей, у меня просто не хватает какого-то качества. Следовательно, это не превосходство. Но теперь я примирился с тем, что я таков, каков есть, я научился скромности. Я только считаю, что на нашей планете существуют бедствия и жертвы и что надо по возможности стараться не встать на сторону бедствия. Боюсь, мои рассуждения покажутся вам несколько упрощенными, не знаю, так ли это просто, знаю только, что это правильно. Я столько наслушался разных рассуждений, что у меня самого чуть было не пошла голова кругом, а сколько эти рассуждения вскружили вообще голов, склоняя их принять убийство, так что в конце концов я понял одно — вся беда людей происходит оттого, что они не умеют пользоваться ясным языком. Тогда я решил во что бы то ни стало и говорить и действовать ясно, чтобы выбраться на правильный путь. И вот я говорю: существуют бедствия и жертвы, и ничего больше. Если, сказав это, я сам становлюсь бедствием, то по крайней мере без моего согласия. Я стараюсь быть невинным убийцей. Как видите, притязание не такое уж большое.

Разумеется, должна существовать и третья категория, категория настоящих врачей, но такое встречается редко, и, очевидно, это очень и очень нелегко. Вот почему я решил во всех случаях становиться на сторону жертв, чтобы хоть как-нибудь ограничить

размах бедствия. Очутившись в рядах жертв, я могу попытаться нащупать дорогу к третьей категории, другими словами — прийти к миру».

Закончив фразу, Тарру переступил с ноги на ногу и негромко постучал подметкой о пол террасы. Наступило молчание, затем доктор выпрямился на стуле и спросил Тарру, имеет ли он представление, какой надо выбрать путь, чтобы прийти к миру.

— Да, имею — сочувствие.

Где-то вдалеке дважды прогудела санитарная карета. Разрозненный рокот голосов слился теперь в сплошной гул где-то на окраине города, у каменистого холма. Почти одновременно раздались два хлопка, похожие на выстрелы. Потом снова наступила тишина. Риэ насчитал две вспышки маяка. Ветер набирался силы, и в этот же миг дуновением с моря принесло запах соли. Теперь стали внятно слышны глухие вздохи волн, бившихся о скалу.

— В сущности, одно лишь меня интересует, — просто сказал Тарру, — знать, как становятся святым.

— Но вы же в бога не верите.

— Правильно. Сейчас для меня существует только одна конкретная проблема — возможно ли стать святым без бога.

Внезапно яркий свет брызнул с той стороны, откуда доносились крики, и сюда к ним течением ветра принесло смутный гул голосов. Свет внезапно погас, и только там, где последняя терраса лепилась к скале, еще лежала узенькая багровая полоска. Порыв ветра снова донес до них отчетливые крики толпы, потом грохот залпа и негодующий рокот. Тарру поднялся, прислушался. Все смолкло.

— Опять у ворот дрались.

— Уже кончили, — сказал Риэ.

Тарру буркнул, что такое никогда не кончается и снова будут жертвы, потому что таков порядок вещей.

— Возможно, — согласился доктор, — но, как вы знаете, я чувствую себя скорее заодно с победженными, а не со святыми. Думаю, я просто лишен вкуса к героизму и святости. Единственное, что мне важно, — это быть человеком.

— Да, оба мы ищем одно и то же, только я не имею столь высоких притязаний.

Риэ подумал, что Тарру шутит, и поднял на него глаза. Но в слабом свете, лившемся с неба, он увидел грустное, серьезное лицо. Снова поднялся ветер, и Риэ почувствовал всей кожей его теплое дыхание. Тарру тряхнул головой.

— А знаете, что бы следовало сделать, чтобы закрепить нашу дружбу?

— Согласен на все, что вам угодно, — сказал Риэ.

— Пойдем выкупаемся в море. Удовольствие, вполне достойное даже будущего святого.

Риэ улыбнулся.

— Пропуска у нас есть, до дамбы мы доберемся без труда. В конце концов глупо жить только одной чумой! Разумеется, человек обязан бороться на стороне жертв. Но если его любовь замкнется только в эти рамки, к чему тогда и бороться.

— Хорошо, пойдем,—сказал Риэ.

Через несколько минут машина остановилась у ворот порта. Уже вошла луна. Небесный свод затянуло молочной дымкой, и тени были бледные, неяркие. За их спиной громоздился город, и долетавшее оттуда горячее, болезненное дыхание гнало их к морю. Они предъявили стражнику пропуска, и тот долго вертел их в пальцах. Наконец он посторонился, и они направились к дамбе через какие-то площадки, заваленные бочками, откуда шел запах вина и рыбы. А еще через несколько шагов запах йода и водорослей известил их о близости моря. Только потом они его услышали.

Оно негромко шелестело у подножия огромных каменных уступов, и, когда они поднялись еще немного, перед ними открылось море, плотное, как бархат, гибкое и блестящее, как хребет хищника. Они облюбовали себе утес, стоявший лицом к морю. Волны медленно взбухали и откатывались назад. От этого спокойного дыхания на поверхности воды рождались и исчезали маслянистые блики. А впереди лежала бескрайняя мгла. Ощущая под ладонью изрытый как оспой лик скалы, Риэ испытывал чувство какого-то удивительного счастья. Повернувшись к Тарру, он прочел на серьезном, невозмутимом лице друга выражение того же счастья, которое не забывало ничего, даже убийства.

Они разделись, Риэ первым вошел в воду. Поначалу вода показалась ему ужасно холодной, но, когда он поплыл, ему стало теплее. Проплыв несколько метров, он уже знал, что море нынче вечером совсем теплое той особой осенней теплотой, когда вода отбирает от земли весь накопленный ею за лето зной. Он плыл ровно, не спеша. От его бьющих по воде ступней вскипала пенная борозда, вода струилась по предплечью и плотно льнула к ногам. Позади раздался тяжелый плеск, и Риэ понял, что Тарру бухнулся в воду. Риэ перевернулся на спину и лежал не шевелясь, глядя на опрокинутый над ним небесный свод, полный звезд и луны. Он глубоко вздохнул. Плеск вспененной мощными взмахами рук воды стал ближе и казался удивительно ясным в молчании и одиночестве ночи. Тарру приближался, вскоре доктор различил его шумное дыхание. Риэ перевернулся на живот и поплыл рядом с другом в том же ритме. Тарру плавал быстрее, и доктору пришлось поднагнать. Несколько минут они продвигались вперед в том же темпе, теми же мощными рывками, одни, далекие от всего мира, освободившиеся наконец от города и чумы. Риэ сдался первым, они повернули и медленно поплыли к берегу; только когда путь их пересекла ледяная струя, они ускорили темп. Не обменявшись ни словом, оба поплыли скорее, подстегиваемые этим неожиданным сюрпризом, который уготовило им море.

Они молча оделись и молча направились домой. Но сердцем они сроднились, и воспоминание об этой ночи стало им мило. Когда же они еще издали заметили часового чумы, Риэ догадался, о чем думает сейчас Тарру,—он, как и сам Риэ, думал, что болезнь забыла о них, что это хорошо и что сейчас придется снова браться за дело.

Да, пришлось снова браться за дело, и чума ни о ком надолго

не забывала. Весь декабрь она пылала в груди наших сограждан, разжигала печи в крематории, заселяла лагерь бездействующими теньями—словом, все время терпеливо продвигалась вперед ровненькими короткими прыжками. Городские власти возлагали надежду на холодные дни, рассчитывая, что холод остановит это продвижение, но чума невредимо прошла сквозь первые испытания зимы. Приходилось снова ждать. Но когда ждешь слишком долго, то уж вообще не ждешь, и весь наш город жил без будущего.

Коротенький миг дружбы и покоя, выпавший на долю доктора Риэ, не имел завтрашнего дня. Открыли еще один лазарет, и Риэ оставался наедине только с тем или другим больным. Однако он заметил, что на этой стадии эпидемии, когда чума все чаще и чаще проявлялась в легочной форме, больные как бы стараются помочь врачу. Если в первые дни болезнь характеризовалась состоянием прострации или вспышками безумия, то теперь пациенты яснее отдавали себе отчет в том, что идет им на пользу, и по собственному почину требовали именно то, что могло облегчить их страдания. Так, они беспрестанно просили пить и все без исключения искали тепла. И хотя доктор Риэ по-прежнему валился с ног от усталости, все же в этих новых обстоятельствах он чувствовал себя не таким одиноким, как прежде.

Как-то, было это уже к концу декабря, доктор получил письмо от следователя мсье Отона, который еще до сих пор находился в лагере; в письме говорилось, что карантин уже кончился, но что начальство никак не может обнаружить в списках дату его поступления в карантин и потому его задерживают здесь явно по ошибке. Его жена, недавно отбывшая свой срок в карантине, ходила жаловаться в префектуру, где ее встретили в штыки и заявили, что ошибок у них не бывает. Риэ попросил Рамбера уладить это дело, и через несколько дней к нему явился сам мсье Отон. Действительно, вышла ошибка, и Риэ даже немного рассердился. Но еще больше похудевший мсье Отон вяло махнул рукой и сказал, веско упирая на каждое слово, что все могут ошибаться. Доктор отметил про себя, что следователь в чем-то изменился.

— А что вы собираетесь делать, господин следователь? Вас ждут дела,—сказал Риэ.

— Да ничего не собираюсь,—ответил следователь.—Хотелось бы получить отпуск.

— Верно, верно, отдохнуть вам не мешает.

— Нет, не для этого. Я хотел бы вернуться в лагерь.

Риэ не мог скрыть удивления:

— Но вы же только что оттуда вышли!

— Вы меня не так поняли. Мне говорили, что в этот лагерь начальство вербует добровольцев.

Следователь перекатил справа налево свои круглые глаза и попытался пригладить хохол у виска.

— Я хочу, чтобы вы меня поняли. Во-первых, у меня будет занятие. А во-вторых, возможно, мои слова и покажутся вам глупыми, но там я буду меньше чувствовать разлуку с моим мальчиком.

Риэ взглянул на следователя. Может ли быть, что в этих жестких, ничего не выражающих глазах вдруг вспыхнула нежность. Но они затуманились, они утратили свой ясный металлический блеск.

— Разумеется, я займусь вашим делом, раз вы сами того хотите,—сказал доктор Риэ.

И действительно, доктор взял на себя хлопоты по делу мсье Отона, и вплоть до Рождества жизнь зачумленного города шла своим ходом. Тарру по-прежнему появлялся повсюду, и его неизменное спокойствие действовало на людей как лекарство. Рамбер признался доктору, что при помощи братьев-часовых ему удалось наладить тайную переписку с женой. Время от времени он получает от нее весточку. Рамбер предложил доктору воспользоваться его каналами, и Риэ согласился. Впервые за долгие месяцы он взялся за перо, но писание далось ему с трудом. Что-то из его лексикона исчезло. Письмо отправили. Но ответ задерживался. Зато Коттар благоденствовал и богател на своих махинациях. А вот Грану рождественские каникулы не принесли удачи.

В этом году Рождество походило скорее на адский, чем на евангельский праздник. Ничто не напоминало былых рождественских каникул—пустые, неосвещенные магазины, в витринах бутафорский шоколад, в трамваях хмурые лица. Раньше этот праздник объединял всех, и богатого и бедного, а теперь только привилегированные особы могли позволить себе отгороженную от людей постыдную роскошь праздничного пира, раздобывая за бешеные деньги все необходимое с черного хода грязных лавчонок. Даже в церквах слова благодарственного молебна заглушал плач. Только ребятишки, еще не понимавшие нависшей над ними угрозы, резвились на улицах угрюмого, схваченного холодом города. Но никто не осмеливался напомнить им о боге, таком, каким был он до чумы, о боженьке, щедром дарителе, древнем, как человеческое горе, но вечно новом, как юная надежда. В наших сердцах оставалось место только для очень древней угрюмой надежды, для той надежды, которая мешает людям покорно принимать смерть и которая не надежда вовсе, а просто упрямое цепляние за жизнь.

Накануне Гран не пришел в назначенный час. Риэ встревожился и заглянул к нему рано утром, но дома не застал. Он поднял всех на ноги. В одиннадцатом часу в лазарет к Риэ забежал Рамбер и сообщил, что видел издали Грана, но тот прошел мимо с убитым видом. И тут Рамбер потерял его след. Доктор и Тарру сели в машину и отправились на розыски.

Уже в полдень, в морозный час, Риэ, выходя из машины, издали заметил Грана, почти вжавшегося в витрину магазина, где были выставлены топорно вырезанные из дерева игрушки. По лицу старика чиновника беспрерывно катились слезы. И при виде этих льющихся слез у Риэ сжалось сердце—он догадался об их причине, и к горлу его тоже подступили рыдания. И он тоже вспомнил помолвку Грана перед такой же вот убранной к празднику витриной, Жанну, которая, запрокинув головку, сказала, что она счастлива. Он не сомневался, что из глубин далеких

лет сюда, в цитадель их общего безумия, до Грана долетел свежий Жаннин голосок. Риэ знал, о чем думает сейчас этот плачущий старик, и он тоже подумал, что наш мир без любви — это мертвый мир и неизбежно наступает час, когда, устав от тюрем, работы и мужества, жаждешь вызвать в памяти родное лицо, хочешь, чтобы сердце умилялось от нежности.

Но Гран заметил его отражение в стекле. Не вытирая слез, он обернулся, оперся спиной о витрину, глядя на приближавшегося к нему Риэ.

— Ох, доктор, доктор! — твердил он.

Риэ не мог вымолвить ни слова и, желая приободрить старика, ласково кивнул ему головой. Это отчаяние было и его отчаянием, душу ему выворачивал неудержимый гнев, который охватывает человека при виде боли, общей для всех людей.

— Да, Гран, — произнес он.

— Мне хотелось бы успеть написать ей письмо. Чтобы она знала... чтобы была счастлива, не испытывая угрызений совести...

Риэ даже с какой-то яростью оторвал Грана от витрины. А тот покорно позволял себя тащить и все бормотал какие-то фразы без начала и конца.

— Слишком уж это затянулось. Не хочется больше сопротивляться, будь что будет! Ох, доктор! Это только вид у меня спокойный. Но мне вечно приходилось делать над собой невероятные усилия, лишь бы удержаться на грани нормального. Но теперь чаша переполнилась.

Он остановился, трясась всем телом, и глядел на Риэ безумным взглядом. Риэ взял его за руку. Она горела.

— Пойдем-ка домой.

Гран вырвался, бросился бежать, но уже через несколько шагов остановился, раскинул руки крестом и зашатался назад и вперед. Потом, сделав полный круг, упал на скованный льдом тротуар, а по грязному лицу его все еще ползли слезы. Прохожие издали поглядывали на них, круто останавливались, не решаясь подойти ближе. Пришлось Риэ донести Грана до машины на руках.

Когда Грана уложили в постель, он начал задыхаться: очевидно, были задеты легкие. Риэ задумался. Родных у Грана нет. Зачем перевозить его в лазарет? Пусть лежит себе здесь, а Тарру будет за ним присматривать...

Голова Грана глубоко ушла в подушки, кожа на лице приняла зеленоватый оттенок, взор потух. Не отрываясь, он глядел на чахлое пламя, которое Тарру разжег в печурке, кинув туда старый ящик. «Плохо дело», — твердил он. И из глубин его охваченных огнем легких вместе с каждым произнесенным словом вылетал какой-то странный хрип. Риэ велел ему замолчать и сказал, что зайдет попозже. Странная улыбка морщила губы больного, и одновременно лицо его выразило нежность. Он с трудом подмигнул врачу: «Если я выкарабкаюсь, шапки долой, доктор!» Но тут же впал в состояние прострации.

Через несколько часов Риэ и Тарру снова отправились к Грану, он полусидел в постели, и врач испугался, увидев, как за

этот недолгий срок преуспела болезнь. Но сознание, казалось, вернулось, и сразу же Гран каким-то неестественно глухим голосом попросил дать ему рукопись, лежавшую в ящике. Тарру подал ему листки, и Гран, не глядя, прижал их к груди, потом протянул доктору, показав жестом, что просит его почитать вслух. Рукопись была коротенькая, всего страниц пятьдесят. Доктор полистал ее и увидел, что каждый листок исписан одной и той же фразой, бесконечными ее вариантами, переделанными и так и эдак, то подлиннее и покрасивее, то покороче и побледнее. Сплошные месяц май, амазонка и аллеи Булонского леса, чуть измененные, чуть перевернутые. Тут же находились пояснения, подчас невыносимо длинные, а также различные варианты. Но в самом низу последней страницы было прилежно выведено всего несколько слов, видимо недавно, так как чернила были еще совсем свежие: «Дорогая моя Жанна, сегодня Рождество...» А выше — написанная каллиграфическим почерком последняя версия фразы. «Прочтите», — попросил Гран. И Риэ стал читать:

— «Прекрасным майским утром стройная амазонка на велико-
лепном гнедом скакуне неслась среди цветов по аллеям Булонско-
го леса...»

— Ну как получилось? — лихорадочно спросил больной.

Риэ не смел поднять на него глаз.

— Знаю, знаю, — беспокойно двигаясь на постели, пробормо-
тал Гран, — сам знаю. Прекрасным, прекрасным, нет, не то
все-таки слово.

Риэ взял его руку, лежавшую поверх одеяла.

— Оставьте, доктор. У меня времени не хватит...

Грудь его мучительно ходила, и вдруг он выкрикнул полным
голосом:

— Сожгите ее!

Доктор нерешительно взглянул на Грана, но тот повторил свое
приказание таким страшным тоном, с такой мукой в голосе, что
Риэ повиновался и швырнул листки в почти погасшую печурку.
На мгновение комнату озарило яркое пламя, и ненадолго стало
теплее. Когда доктор подошел к постели, больной лежал, повер-
нувшись спиной, почти упираясь лбом в стену. Тарру безучастно
смотрел в окно, будто его ничуть не касалась эта сцена. Впрыснув
больному сыворотку, Риэ сказал своему другу, что вряд ли Гран
дотянет до утра, и Тарру вызвался посидеть с ним. Доктор
согласился.

Всю ночь он мучился при мысли, что Грану суждено умереть.
Но утром следующего дня Риэ, войдя к больному, увидел, что тот
сидит на постели и разговаривает с Тарру. Температура упала.
Единственное, что осталось от вчерашнего приступа, — это общая
слабость.

— Ах, доктор, — начал Гран, — зря я это. Но ничего, начну все
заново. Я ведь все помню.

— Подождем, — обратился Риэ к Тарру.

Но и в полдень положение больного не изменилось. К вечеру
стало ясно, что Гран спасен. Риэ ничего не понимал в этом
воскресении из мертвых.

И между тем примерно в то же время к Риэ доставили

больную, он счел ее случай безнадежным и велел изолировать от других больных. Молоденькая девушка бредила, все признаки легочной чумы были налицо. Но к утру температура упала. Доктор, как и в случае с Граном, решил, что это обычная утренняя ремиссия, а по его опыту это было зловещим признаком. Однако в полдень температура не поднялась. К вечеру поднялась всего на несколько десятых, а еще через день совсем упала. Девушка, хоть и ослабла, дышала ровно и свободно. Риэ сказал Тарру, что она спаслась вопреки всем правилам. Но в течение недели Риэ пришлось столкнуться с четырьмя аналогичными случаями.

К концу недели Риэ и Тарру, заглянувшие к старику астматику, нашли его в состоянии небывалого возбуждения.

— Ну и ну,—твердил он.—Опять лезут.

— Кто?

— Да крысы же!

С апреля никто ни разу не видел в городе ни одной дохлой крысы.

— Неужели начнется все сызнова?—спросил Тарру у Риэ.

Старик радостно потирал руки.

— Вы бы только посмотрели, как они носятся! Одно удовольствие.

Он сам видел двух живых крыс, которые преспокойно вошли к нему с улицы. А соседи рассказывали, что и у них тоже появились грызуны. Кое-где на стройках люди снова слышали уже давно забытые возню и писк. Риэ поджидал последней сводки с общим итогом—ее обычно печатали в начале недели. Согласно им, болезнь отступала.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Вопреки этому непредвиденному спаду эпидемии наши сограждане не спешили предаваться ликованиям. Долгие месяцы все росла их жажда освобождения, но за тот же срок они превзошли науку осмотрительности и постепенно отучились рассчитывать на близкий конец эпидемии. Между тем новость была у всех на устах и в глубине каждого сердца зарождалась великая, потаенная надежда. Все прочее отступало на задний план. Новые жертвы чумы казались чем-то маловажным по сравнению с ошеломляющим фактом: кривая заболеваний пошла вниз. Одним из характерных признаков ожидания эры здоровья — открыто на нее не надеялись, но втайне взывали, — так вот, характерным признаком было то, что в последнее время наши сограждане стали охотно строить планы о послечумном существовании, правда внешне равнодушно.

Все сходились на том, что былая жизнь со всеми ее удобствами вернется не сразу, что легче разрушать, чем создавать. Просто считалось, что с продовольствием, во всяком случае, будет легче и что хоть одной тягостной заботой станет меньше. Но по сути, под этими внешне безобидными замечаниями бушевала безумная надежда, и так сильно бушевала, что наши сограждане иной раз все же спохватывались и выпаливали одним духом, что при всех обстоятельствах избавление — дело не завтрашнего дня.

И впрямь, чума затихла не завтра, но по всем признакам она ослабевала быстрее, чем позволительно было надеяться. В первые дни января наступили необычно упорные для нас холода и, казалось, легли над городом хрустальным куполом. И однако, никогда еще небо не было таким синим. С утра до вечера его недвижимое льдистое великолепие заливало наш город своим неугасающим сиянием. В течение трех недель чума в этом очищенном воздухе, пройдя через несколько спадов, по-видимому, истощила себя, ограничившись сильно поредевшим строем

мертвых тел. В короткое время чума растеряла почти всю свою мощь, накопленную за долгие месяцы эпидемии. Уже по одному тому, как выпускает она из своих когтей явно обреченные на смерть жертвы, скажем Грана или молоденькую пациентку доктора Риэ, бесчинствует в некоторых кварталах в продолжение двух-трех дней, а в соседних уже исчезла полностью, как в понедельник набрасывается она еще на свои жертвы, а в среду отступает по всему фронту, уже по тому, как она запыхалась и суетится, можно было с уверенностью сказать, как она издергана, устала, в чем-то разладилась, что, теряя власть над собой, чума одновременно утеряла свою царственную, математически неотвратимую действенность, бывшую источником ее силы. Если прежде сыворотка Кастанья почти не знала удач, то теперь одна удача следовала за другой. Любое врачебное мероприятие, бывшее прежде неэффективным, стало теперь спасительным. Создавалось впечатление, будто сейчас травят уже шаг за шагом саму болезнь и что внезапная слабость чумы придала силу притупившемуся оружию, которым с ней пытались раньше бороться. Только временами чума, отдышавшись, делала вслепую резкий скачок и уносила трех-четырех больных, хотя врачи надеялись на их выздоровление. Это были, так сказать, неудачники чумы, те, которых она убивала в самый разгар надежд. Такая судьба постигла, например, мсье Отона, которого пришлось увезти из карантина, и Тарру говорил, что следователю и в самом деле не повезло, при этом никто так и не понял, что он имеет в виду — смерть или жизнь следователя.

Но в общем-то, чума отступала по всей линии, и сводки префектуры, поначалу будившие в сердцах наших сограждан лишь робкую и тайную надежду, теперь уже полностью поселили в нас убеждение, что победа одержана и чума оставляет свои позиции. Откровенно говоря, трудно было утверждать, действительно ли это победа или нет. Приходилось лишь констатировать, что эпидемия уходит так же неожиданно, как и пришла. Применявшаяся в борьбе с ней стратегия не изменилась, вчера еще бесплодная, сегодня она явно приносила успех. Так или иначе создавалось впечатление, будто болезнь сама себя исчерпала или, возможно, отступила, поразив все намеченные объекты. В каком-то смысле роль ее была сыграна.

Тем не менее внешне город вроде не изменился. Днем было по-прежнему тихо и пустынно, вечерами улицы заполняла все та же толпа, где теперь, впрочем, преобладали теплые пальто и кашне. Кинотеатры и кафе по-прежнему делали большие сборы. Но, приглядевшись попристальнее, можно было увидеть, что лица не так напряженно-суровы и кое-кто даже улыбается. И именно это дало повод заметить, что доньше никто на улице не улыбался... И в самом деле, в мутной дымке, уже долгие месяцы окутывавшей наш город, появился первый просвет, и по понедельникам каждый, слушая радио, имел возможность убедиться, что просвет этот с каждым днем становится шире и наконец-то нам позволено будет вздохнуть свободно. Пока еще это было, так сказать, лишь негативное облегчение, ничем не выражавшееся открыто. Но если раньше мы с недоверием встретили бы весть об

отбытии поезда, или прибытии судна, или о том, что автомобилям вновь разрешается циркулировать по городу, то в середине января, напротив, такие вести никого бы не удивили. Разумеется, это не так уж много. Но на деле этот оттенок свидетельствовал о том, как далеко шагнули наши сограждане по пути надежды. Впрочем, можно также сказать, что с той самой минуты, когда население позволяет себе лелеять хоть самую крошечную надежду, реальная власть чумы кончается.

Тем не менее в течение всего января наши сограждане воспринимали происходящее самым противоречивым образом. Точнее, от радостного возбуждения их тут же бросало в уныние. Именно в то время, когда статистические данные казались более чем благоприятными, снова было зарегистрировано несколько попыток к бегству. Это обстоятельство весьма удивило не только городские власти, но и караульные посты, так как большинство побегов удалось. Но если разобраться строго, люди, бежавшие из города как раз в эти дни, повиновались вполне естественному чувству. В одних чума вселила глубочайший скептицизм, от которого они не могли отделаться. Надежда уже не имела над ними власти. Даже тогда, когда година чумы миновала, они все еще продолжали жить согласно ее нормам. Они просто отстали от событий. И напротив, в сердцах других — категория эта вербовалась в первую очередь из тех, кто жил в разлуке с любимым, — ветер надежды, повеявший после длительного затвора и уныния, разжег лихорадочное нетерпение и лишил их возможности владеть собой. Их охватывала чуть ли не паника при мысли, что они, не дай бог, погибнут от чумы, когда цель уже так близка, что не увидят тех, кого они так безгранично любили, и что долгие страдания не будут им зачтены. И хотя в течение месяцев и месяцев они вопреки тюрьме и изгнанию мрачно и упорно жили ожиданием, первого проблеска надежды оказалось достаточно, чтобы разрушить дотла то, что не могли поколебать страх и безнадежность. Как безумные, бросились они напролом, лишь бы опередить чуму, уже не в силах на финише приноравливаться к ее аллюру.

Впрочем, в то же самое время как-то непроизвольно стали проявляться признаки оптимизма. Так, было отмечено довольно значительное снижение цен. С точки зрения чистой экономики этот сдвиг был необъясним. Трудности с продовольствием остались прежние, у городских ворот все еще стояли карантинные кордоны, да и снабжение не слишком-то улучшилось. Значит, мы присутствовали при феномене чисто морального характера, так, словно бы отступление чумы проецировалось на все. Одновременно оптимизм возвращался к тем, кто до чумы жил общиной, а во время эпидемии был насильственно расселен. Оба наши монастыря постепенно стали такими же, как прежде, и братия снова зажила общей жизнью. То же самое можно сказать и о военных, которых снова перевели в казармы, не занятые в свое время под лазарет, они тоже вернулись к нормальному гарнизонному существованию. Два эти незначительных факта оказались весьма красноречивыми знамениями.

В этом состоянии внутреннего волнения пребывали наши

сограждане вплоть до двадцать пятого января. За последнюю неделю кривая смертности так резко пошла вниз, что после консультации с медицинской комиссией префектура объявила, что эпидемию можно считать пресеченной. Правда, в сообщении добавлялось, что из соображений осторожности, а это, несомненно, будет одобрено оранцами, город останется закрытым еще на две недели и профилактические мероприятия будут проводиться в течение целого месяца. Если за этот период времени появятся малейшие признаки опасности, «необходимо будет придерживаться статус-кво со всеми вытекающими отсюда последствиями». Однако наши сограждане склонны были считать это добавление чисто стилистическим ходом, и вечером двадцать пятого января весь город охватило радостное волнение. Не желая оставаться в стороне от общей радости, префект распорядился освещать город, как в дочумные времена. На залитые ярким светом улицы, под холодное чистое небо высыпали группками наши сограждане, смеющиеся и шумливые.

Конечно, во многих домах ставни так и не распахнулись, и семьи в тяжком молчании проводили это вечернее бдение, звнящее от возгласов толпы. Но и тот, кто еще носил траур по погибшим, испытывал чувство глубочайшего облегчения, то ли потому, что перестал бояться за жизнь пощаженных чумой близких, то ли потому, что улеглась тревога за свою собственную жизнь. Но конечно, особенно чурались всеобщего веселья те семьи, где в этот самый час больной боролся с чумой в лазарете, или те, что находились в карантине или даже дома, ожидая, что бич божий покончит с ними, как покончил он и со многими другими. Правда, и в этих семьях теплилась надежда, но ее на всякий случай хранили про запас, запрещали себе думать о ней, прежде чем не приобретут на нее полное право. И это ожидание, это немотствующее бодрствование где-то на полпути между агонией и радостью казалось им еще более жестоким среди всеобщего ликования.

Но эти исключения не умаляли радость других. Разумеется, чума еще не кончилась, она это еще докажет. Однако каждый уже заглядывал на несколько недель вперед, представляя себе, как со свистом понесутся по рельсам поезда, а корабли будут бороздить сверкающую гладь моря. На следующий день умы поуспокоятся и снова родятся сомнения. Но в ту минуту весь город как бы встряхнулся, выбрался на простор из мрачных стылых укрытий, где глубоко вросли в землю его каменные корни, и наконец-то стронулся с места, неся груз выживших. В тот вечер Тарру, Риз, Рамбер и другие шагали с толпой и точно так же, как и все, чувствовали, как уходит из-под их ног земля. Еще долго Тарру и Риз, свернув с бульваров, слышали у себя за спиной радостный гул, хотя уже углубились в пустынные улочки и шли мимо наглухо закрытых ставен. И все из-за той же проклятой усталости они не могли отделить страдания, продолжавшиеся за этими ставнями, от веселья, заливавшего чуть подальше центр города. Лик приближающегося освобождения был орошен слезами и сиял улыбкой.

В ту самую минуту, когда радостный гул особенно окреп,

Тарру вдруг остановился. По темной мостовой легко проскользнула тень. Кошка! В городе их не видели с самой весны. На секунду кошка замерла посреди мостовой, нерешительно присела, облизала лапку и, быстро проведя ею за правым ушком, снова бесшумно двинулась к противоположному тротуару и исчезла во мраке.

Тарру улыбнулся. Вот уж старичок напротив будет доволен!..

Но именно теперь, когда чума, казалось, уходит вспять, заползает обратно в ту неведомую нору, откуда она бесшумно выползла весной, нашелся в городе один человек, которого, если верить записям Тарру, уход ее поверг в уныние, и человеком этим был Коттар.

Если говорить начистоту, то с того дня, когда кривая заболеваний пошла вниз, записи Тарру приобрели какой-то странный характер. Было ли то следствием усталости—неизвестно, но почерк стал неразборчивым, да и сам автор все время перескакивал с одной темы на другую. Более того, впервые эти записи лишились своей былой объективности и, напротив, все чаще и чаще попадались в них личные соображения. Среди довольно длинного рассказа о Коттаре вкраплено несколько слов о старичке-кошкоплюе. По словам Тарру, чума отнюдь не умалила его уважения к этому персонажу, он интересовался им после эпидемии так же, как и до нее, но, к сожалению, больше он уже не сможет им интересоваться, хотя по-прежнему относится к старику весьма благожелательно. Он попытался его увидеть. Через несколько дней после двадцать пятого января он занял наблюдательный пост на углу их переулка. Кошки, памятуя о заветном месте встреч, снова мирно грелись в солнечных лужицах. Но в положенный час ставни упорно оставались закрытыми. И все последующие дни Тарру ни разу не видел, чтобы их открывали. Из чего автор заключил, что старичок или обиделся, или помер; если он обиделся, то потому, что считал себя правым, а чума его опровергла, а если он помер, следовало бы поразмыслить о том, не был ли он святым, как и их старик астматик. Сам Тарру так не думал, но считал, что случай со старичком можно рассматривать как некое «указание». «Возможно,—гласят записные книжки,—человек способен приблизиться лишь к подступам святости. Если так, то пришлось бы довольствоваться скромным и милосердным сатанизмом».

Вперемешку с записями о Коттаре встречаются также многочисленные и разбросанные в беспорядке замечания то о Гране, уже выздоровевшем и снова взявшемся за работу, будто ничего и не случилось, то о матери доктора Риэ. Скрупулезно, с мельчайшими подробностями записаны беседы ее с Тарру, что неизбежно при совместном проживании под одной крышей; манеры старушки, ее улыбка, ее замечания насчет чумы. Особенно Тарру подчеркивает ее необыкновенную способность стушевываться, ее привычку изъясняться только самыми простыми фразами, ее особое пристрастие к окошку, выходящему на тихую улочку,

возле которого она просиживала все вечера, тихонько сложив руки на коленях, чуть выпрямив стан, и все глядела, пока сумерки не затопят комнату, а сама она не превратится в черную тень, еле выделяющуюся на фоне серой дымки, которая, постепенно сгущаясь, поглотит ее неподвижный силуэт; о легкости, с которой она передвигается по квартире, о ее доброте, которой светится все ее существо, каждый ее жест, каждое ее слово, хотя непосредственно она вроде бы ничего особенного при Тарру не сделала, и, наконец, он пишет, что старушка постигает все не умом, а сердцем и что, оставаясь в тени, в молчании, она умеет быть равной любому свету, будь то даже свет чумы. Впрочем, здесь почерк Тарру становится каким-то странным, словно рука пишущего ослабла. Следующие за этим строчки почти невозможно разобрать, и как бы в доказательство этой слабости последние слова записи являются в то же время первыми личными высказываниями: «Моя мать была такая же, я любил в ней эту способность добровольно стушевываться, и больше всего мне хотелось бы быть с ней. Прошло уже восемь лет, но я никак не могу решиться сказать, что она умерла. Просто стушеввалась немного больше, чем обычно, а когда я обернулся—ее уже нет».

Но вернемся к Коттару. С тех пор как эпидемия пошла на убыль, Коттар под разными выдуманнными предлогами зачастил к Риэ. Но в действительности являлся он лишь затем, чтобы разузнать у врача прогнозы насчет дальнейшего развития эпидемии. «Значит, вы считаете, что она может кончиться вот так, сразу, ни с того ни с сего?» В этом отношении он был настроен скептически или, во всяком случае, хотел показать, что настроен именно так. Но его назойливость доказывала, что в душе он не так уж был в этом убежден. С середины января Риэ стал отвечать на его вопросы более оптимистическим тоном. И всякий раз ответы врача не только не радовали Коттара, но, наоборот, вызывали в нем различные эмоции—в иные дни уныние, в иные—досаду. Потом уж доктор Риэ стал говорить ему, что, несмотря на благоприятные признаки и статистические данные, рано еще кричать «ура».

— Другими словами,— заметил Коттар,—раз ничего не известно, значит, не сегодня завтра все опять может начаться сначала?

— Да, но в равной мере может случиться, что эпидемия пойдет на убыль еще быстрее.

Эта неуверенность, причинявшая тревогу всем и каждому, явно приносила успокоение Коттару, и в присутствии Тарру он не раз заводил разговоры с соседними торговцами и старался как можно шире распространить мнение доктора Риэ. Впрочем, особого труда это не представляло. Ибо после лихорадочного возбуждения, вызванного первыми победными реляциями, многих снова охватило сомнение, оказавшееся куда более стойким, нежели ликование по поводу заявления префектуры. Зрелище растревоженного города успокаивало Коттара. Но в иные дни он снова падал духом.

— Рано или поздно,—твердил он Тарру,—город все равно объявят открытым. И вот увидите, тогда все от меня отвернется.

Еще до знаменитого двадцать пятого января все в Оране обратили внимание на переменчивый нрав Коттара. Сколько терпения потратил он, стремясь обаять весь квартал, всех своих соседей,—и вдруг на несколько дней круто порывал с ними, сиднем сидел дома. Во всяком случае, таково было внешнее впечатление, он отходил от людей и, как прежде, замыкался в своей диковатости. Его не видели ни в ресторанах, ни в театре, ни даже в любимых кафе. И все же чувствовалось, что он не вернулся к прежнему размеренному и незаметному существованию, какое вел до эпидемии. Теперь он не вылезал из дому и даже обед ему приносили из соседнего ресторанчика. Только вечерами он пробегал по улицам, делал необходимые покупки, пулей выскакивал из магазина и сворачивал в самые пустынные улицы. Тарру случайно натыкался на Коттара во время этих одиноких пробежек, но не мог вырвать у него ни слова, тот только бормотал что-то в ответ. Потом вдруг, без всякой видимой причины, Коттар снова делался общительным, много и долго распространялся о чуме, выведывал мнение других на этот счет и с явным удовольствием смешивался с текущей по улицам толпой.

В день оглашения декларации префектуры Коттар окончательно исчез с горизонта. Через два дня Тарру встретил его, одиноко блуждающего по улицам. Коттар попросил Тарру проводить его до окраины. Тарру, чувствовавший себя особенно усталым после долгого дня работы, согласился не сразу. Но Коттар настаивал. Он казался неестественно возбужденным, нелепо размахивал руками, говорил быстро и громко. Он спросил у своего спутника, считает ли тот, что сообщение префектуры и в самом деле означает конец эпидемии. Тарру, разумеется, полагал, что административными заявлениями бедствия не пресечешь, но есть основание думать, что эпидемия идет на убыль, если, конечно, не произойдет чего-нибудь непредвиденного.

— Верно,—подтвердил Коттар,—если только не произойдет. А непредвиденное всегда происходит.

Тарру возразил, что префектура, впрочем, в какой-то мере предвидела непредвиденное, поскольку, объявив город открытым, предусмотрела двухнедельный контрольный срок.

— И хорошо сделала,—проговорил все так же мрачно и возбужденно Коттар,—потому что, судя по ходу событий, вполне может быть, что зря эту декларацию опубликовали.

Тарру согласился, что, может, и зря, но, по его мнению, гораздо приятнее думать, что город в скором времени станет открытым и мы вернемся к нормальной жизни.

— Допустим,—прервал его Коттар,—допустим, но что именно вы подразумеваете под словами «вернемся к нормальной жизни»?

— Ну, хотя бы начнут демонстрировать новые фильмы,—улыбнулся Тарру.

Но Коттар не улыбался. Ему хотелось понять, значит ли это,

что чума ничего не изменила в городе и все пойдет, как и раньше, то есть так, словно ничего и не произошло. Тарру полагал, что чума изменила и в то же время не изменила город, что, разумеется, наиболее сильным желанием наших сограждан было и будет вести себя так, словно ничего не изменилось, и что, следовательно, в каком-то смысле ничего не изменится, но, с другой стороны, все забыть нельзя, даже собрав в кулак всю свою волю,—чума, безусловно, оставит след, хотя бы в сердцах людей. Тут рантье отрезал, что людские сердца его ничуть не интересуют, более того, плевать ему на все сердца скопом. Ему интересно знать другое: не подвергнется ли перестройке система управления и будут ли, к примеру, все учреждения функционировать, как и прежде. И Тарру вынужден был признать, что ему это неизвестно. Но надо думать, учреждения, взбаламученные эпидемией, нелегко будет снова запустить на полный ход. Можно также думать, что перед ними возникнет множество новых вопросов, а это потребует хотя бы реорганизации прежних канцелярий.

— Возможно,—сказал Коттар,—тогда всем придется все начинать с самого начала.

Они уже добрались до дома Коттара. Коттар был возбужден, говорил с наигранным оптимизмом. Ему лично видится город, начинающий всю жизнь сначала, стерший начисто свое прошлое, чтобы начать с нуля.

— Что ж,—сказал Тарру.—Возможно, в конце концов также уладятся и ваши дела. В известном смысле начнется новая жизнь.

У подъезда они распрощались.

— Вы правы,—проговорил Коттар, уже не пытаясь скрыть волнения,—начать все с нуля—превосходная штука.

Но тут в дальнем углу подъезда внезапно возникли две тени. Тарру еле разобрал шепот Коттара, спросившего, что нужно здесь этим птичкам. А птички, похожие на принарядившихся чиновников, осведомились у Коттара, действительно ли он Коттар; тот, глухо чертыхнувшись, круто повернул и исчез во мраке прежде, чем птички да и сам Тарру успели шелохнуться. Когда первое удивление улеглось, Тарру спросил у незнакомцев, что им надо. Они ответили сдержанно и вежливо, что им надо навести кое-какие справки, и степенно зашагали в том направлении, где скрылся Коттар.

Вернувшись домой, Тарру записал эту сцену и тут же пожаловался на усталость (что подтверждал и его почерк). Он добавил, что впереди у него еще много дел, но это вовсе не довод и надо быть всегда готовым, и сам себе задавал вопрос, действительно ли он готов. И сам себе ответил—на этой записи и кончается дневник Тарру,—что у каждого человека бывает в сутки—ночью ли, днем ли—такой час, когда он празднует труса, и что лично он боится только этого часа.

На третьи сутки, за несколько дней до открытия города, доктор Риэ вернулся домой около полудня, думая по дороге, не

пришла ли на его имя долгожданная телеграмма. Хотя и сейчас он работал до изнеможения, как в самый разгар чумы, близость окончательного освобождения снимала усталость. Он теперь надеялся и радовался, что может еще надеяться. Нельзя до бесконечности сжимать свою волю в кулак, нельзя все время жить в напряжении, и какое же это счастье одним махом ослабить наконец пучок собранных для борьбы сил. Если ожидаемая телеграмма будет благоприятной, Риэ сможет начать все сначала. И он считал, что пусть все начнут все сначала.

Риэ прошел мимо швейцарской. Новый привратник, сидевший у окошка, улыбнулся ему. Поднимаясь по лестнице, Риэ вдруг вспомнил его лицо, бледное от усталости и недоедания.

Да, когда будет покончено с абстракцией, он начнет все с самого начала, и если хоть немного повезет... С этой мыслью он открыл дверь, и в ту же самую минуту навстречу ему вышла мать и сообщила, что мсье Тарру нездоровится. Утром он, правда, встал, но из дому не вышел и снова лег. Мадам Риэ была встревожена.

— Может быть, еще ничего серьезного,—сказал Риэ.

Тарру лежал, вытянувшись во весь рост на постели, его тяжелая голова глубоко вдавилась в подушку, под одеялами вырисовывались очертания мощной грудной клетки. Температура у него была высокая, и очень болела голова. Он сказал Риэ, что симптомы еще слишком неопределенны, но возможно, что это и чума.

— Нет, пока еще рано выносить окончательное суждение,—сказал Риэ, осмотрев больного.

Но Тарру мучила жажда. Выйдя в коридор, доктор сказал матери, что, возможно, это начало чумы.

— Нет,—проговорила она,—это немыслимо, особенно сейчас!

И тут же добавила:

— Оставим его у нас, Бернар.

Риэ задумался.

— Я не имею права,—ответил он.—Но город не сегодня завтра будет объявлен открытым. Если бы не ты, я бы взял на себя этот риск.

— Бернар,—умоляюще проговорила мать,—оставь нас обоих здесь. Ты же знаешь, мне только что впрыскивали вакцину.

Доктор сказал, что Тарру тоже впрыскивали вакцину, но он, очевидно, так замотался, что пропустил последнюю прививку и забыл принять необходимые меры предосторожности.

Риэ прошел к себе в кабинет. Когда он снова заглянул в спальню, Тарру сразу заметил, что доктор несет огромные ампулы с сывороткой.

— Ага, значит, она самая,—сказал он.

— Нет, просто мера предосторожности.

Вместо ответа Тарру протянул руку и спокойно перенес капельное вливание, которое сам десятки раз делал другим.

— Посмотрим, что будет вечером,—сказал Риэ, глядя Тарру прямо в лицо.

— А как насчет изоляции?

— Пока еще нет никакой уверенности, что у вас чума.

Тарру с трудом улыбнулся:

— Ну, знаете, это впервые в моей практике — вливают сыворотку и не требуют немедленной изоляции больного.

Риэ отвернулся.

— Мама и я будем за вами ухаживать. Вам здесь будет лучше.

Тарру замолчал, и доктор стал собирать ампулы, ожидая, что Тарру заговорит и тогда у него будет предлог оглянуться. Не выдержав молчания, он снова подошел к постели. Больной смотрел прямо на Риэ. На его лице лежало выражение усталости, но серые глаза были спокойны. Риэ улыбнулся ему:

— Если можете, поспите. Я скоро вернусь.

На пороге он услышал, что Тарру его окликнул. Риэ вернулся к больному.

Но Тарру заговорил не сразу, казалось, он борется даже против самих слов, которые готовы сорваться с его губ.

— Риэ,— проговорил он наконец,— не надо от меня ничего скрывать, мне это необходимо.

— Обещаю вам.

Тяжелое лицо Тарру чуть искривила вымученная улыбка.

— Спасибо. Умирать мне не хочется, и я еще поборюсь. Но если дело плохо, я хочу умереть пристойно.

Риэ склонился над кроватью и сжал плечо больного.

— Нет,— сказал он.— Чтобы стать святым, надо жить. Боритесь.

Днем резкий холод чуть смягчился, но лишь затем, чтобы уступить к вечеру арену яростным ливням и граду. В сумерках небо немного очистилось и холод стал еще пронзительнее. Риэ вернулся домой только перед самым ужином. Даже не сняв пальто, он сразу же вошел в спальню, которую занимал его друг. Мать Риэ сидела у постели с вязаньем в руках. Тарру, казалось, так и не пошевелился с утра, и только его побелевшие от лихорадки губы выдавали весь накал борьбы, которую он вел.

— Ну, как теперь?— спросил доктор.

Тарру чуть пожал своими могучими плечами.

— Теперь игра, кажется, проиграна,— ответил он.

Доктор склонился над постелью. Под горячей кожей набрякли железы, в груди хрипело, словно там непрерывно работала подземная кузница. Как ни странно, но у Тарру были симптомы обоих видов. Поднявшись со стула, Риэ сказал, что сыворотка, видимо, еще не успела подействовать. Но ответа он не разобрал: прихлынувшая к гортани волна жара поглотила те несколько слов, которые пытался пробормотать Тарру.

Вечером Риэ с матерью уселись в комнате больного. Ночь начиналась для Тарру борьбой, и Риэ знал, что эта беспощадная битва с ангелом чумы продлится до самого рассвета. Даже могучие плечи, даже широкая грудь Тарру были не самым надежным его оружием в этой битве, скорее уж его кровь, только что брызнувшая из-под шприца Риэ, и в этой крови таилось нечто еще более сокровенное, чем сама душа, то сокровенное, что не

дано обнаружить никакой науке. А ему, Риэ, оставалось только одно — сидеть и смотреть, как борется его друг. После долгих месяцев постоянных неудач он слишком хорошо знал цену искусственных абсцессов и вливаний, тонизирующих средств. Единственная его задача, по сути дела, — это очистить поле действия случаю, который чаще всего не вмешивается, пока ему не бросишь вызов. А надо было, чтобы он вмешался. Ибо перед Риэ предстал как раз тот лик чумы, который путал ему все карты. Снова и снова чума напрягала все свои силы, лишь бы обойти стратегические рогаки, выдвинутые против нее, появлялась там, где ее не ждали, и исчезала там, где, казалось бы, прочно укоренилась. И опять она постаралась поставить его в тупик.

Тарру боролся, хотя и лежал неподвижно. Ни разу за всю ночь он не противопоставил натиску недуга лихорадочного метания, он боролся только своей монументальностью и своим молчанием. И ни разу также он не заговорил, он как бы желал показать этим молчанием, что ему не дозволено ни на минуту отвлечься от этой битвы. Риэ догадывался о фазах этой борьбы лишь по глазам своего друга, то широко открытым, то закрытым, причем веки как-то особенно плотно прилепали к главному яблоку или, напротив, широко распахивались, и взгляд Тарру приковывался к какому-нибудь предмету или обращался к доктору и его матери. Всякий раз, когда их глаза встречались, Тарру делал над собой почти нечеловеческие усилия, чтобы улыбнуться.

Вдруг на улице раздались торопливые шаги. Казалось, прохожий пытается спастись бегством от пока еще далекого ворчания, приближавшегося с минуты на минуту и вскоре затопившего ливнем всю улицу: дождь зарядил, потом посыпал град, громко барабанил по асфальту. Тяжелые занавеси на окнах сморщило от ветра. Сидевший в полумраке комнаты Риэ на минуту отвлекся, вслушиваясь в шум дождя, потом снова перевел взгляд на Тарру, на чье лицо падал свет ночника у изголовья кровати. Мать Риэ вязала и только время от времени вскидывала голову и пристально всматривалась в больного. Доктор сделал все, что можно было сделать. Дождь прошел, в комнате вновь сгустилась тишина, насыщенная лишь безмолвным бормотом невидимой войны. Разбитому бессонницей доктору чудилось, будто где-то там, за рубежами тишины, слышится негромкий, ритмичный посвист, преследовавший его с первых дней эпидемии. Жестом он показал матери, чтобы она пошла легла. Она отрицательно покачала головой, глаза ее блеснули, потом она нагнулась над спицами, внимательно разглядывая чуть не соскользнувшую петлю. Риэ поднялся, напоил больного и снова сел на место.

Мимо окон, воспользовавшись затишьем, быстро шагали прохожие. Шаги становились все реже, удалялись. Впервые за долгое время доктор понял, что сегодняшняя ночь, тишину которой то и дело нарушали шаги запоздалых пешеходов и не рвали на части пронзительные гудки машин «скорой помощи», была похожа на те, прежние ночи. За окном была ночь, стряхнувшая с себя чуму. И казалось, будто болезнь, изгнанная холодами, ярким светом,

толпами людей, выскользнула из темных недр города, пригласилась в их теплой спальне и здесь вступила в последнее свое единоборство с вяло распростертым телом Тарру. Небеса над городом уже не бороздил бич божий. Но он тихонько посвистывал здесь, в тяжелом воздухе спальни. Его-то и слышал Риэ, слышал в течение всех этих бессонных часов. И приходилось ждать, когда он и тут смолкнет, когда и тут чума признает свое окончательное поражение.

Перед рассветом Риэ нагнулся к матери:

— Пойди непременно ляг, иначе ты не сможешь меня сменить в восемь часов. Только не забудь сделать полоскание.

Мадам Риэ поднялась с кресла, сложила свое вязанье и подошла к постели Тарру, уже давно не открывавшего глаз. Над его крутым лбом закручавились от пота волосы. Она вздохнула, и больной открыл глаза. Тарру увидел склоненное над собою кроткое лицо, и сквозь набегающие волны лихорадки снова упрямо пробилась улыбка. Но веки тут же сомкнулись. Оставшись один, Риэ перебрался в кресло, где раньше сидела его мать. Улица безмолвствовала, уже ничто не нарушало тишины. Предрассветный холод давал себя знать даже в комнате.

Доктор задремал, но грохот первой утренней повозки разбудил его. Он вздрогнул и, посмотрев на Тарру, понял, что действительно забылся сном и что больной тоже заснул. Вдалеке затихал грохот деревянных колес, окованных железом, цоканье лошадиных копыт. За окном еще было темно. Когда доктор подошел к постели, Тарру поднял на него пустые, ничего не выражающие глаза, как будто он находился еще по ту сторону сна.

— Поспали? — спросил Риэ.

— Да.

— Дышать легче?

— Немножко. А имеет это какое-нибудь значение?

Риэ ответил не сразу, потом проговорил:

— Нет, Тарру, не имеет. Вы, как и я, знаете, что это просто обычная утренняя ремиссия.

Тарру одобритительно кивнул головой.

— Спасибо, — сказал он. — Отвечайте, пожалуйста, и впредь так же точно.

Доктор присел в изножье постели. Боком он чувствовал длинные неподвижные ноги Тарру, ноги уже неживого человека. Тарру задышал громче.

— Температура снова поднимется, да, Риэ? — спросил он прерывающимся от одышки голосом.

— Да, но в полдень, и тогда будет ясно.

Тарру закрыл глаза, будто собирая все свои силы. В чертах лица сквозила усталость. Он ждал нового приступа лихорадки, которая уже шевелилась где-то в глубинах его тела. Потом веки приподнялись, открыв помутневший зрачок. Только когда он заметил склонившегося над постелью Риэ, взор его посветлел.

— Попейте, — сказал Риэ.

Тарру напился и устало уронил голову на подушку.

— Оказывается, это долго, — проговорил он.

Риэ взял его за руку, но Тарру отвел взгляд и, казалось, не почувствовал прикосновения. И внезапно, на глазах Риэ, лихорадка, словно прорвав какую-то внутреннюю плотину, хлынула наружу и добралась до лба. Когда Тарру поднял взгляд на доктора, тот попытался придать своему застывшему лицу выражение надежды. Тарру старался улыбнуться, но улыбке не удалось прорваться сквозь судорожно сжатые челюсти, сквозь слепленные белой пеной губы. Однако на его застывшем лице глаза еще блестели всем светом мужества.

В семь часов мадам Риэ вошла в спальню. Доктор из своего кабинета позвонил в лазарет и попросил заменить его на работе. Он решил также отказаться сегодня от всех визитов к больным, прилег было на диван тут же в кабинете, но, не выдержав, вскочил и вернулся в спальню. Тарру лежал, повернув лицо к мадам Риэ. Не отрываясь, глядел он на маленький комочек тени, жавшийся рядом с ним на стуле, с ладонями, плотно прижатыми к коленам. Глядел он так пристально, что мадам Риэ, заметив сына, приложила палец к губам, встала и потушила лампочку у изголовья постели. Но дневной свет быстро просачивался сквозь шторы, и, когда лицо больного выступило из темноты, мадам Риэ убедилась, что он по-прежнему смотрит на нее. Она нагнулась над постелью, поправила подушку и приложила ладонь к мокрым закурчавившимся волосам. И тут она услышала глухой голос, идущий откуда-то издалека, и голос этот сказал ей спасибо и уверил, что теперь все хорошо. Когда она снова села, Тарру закрыл глаза, и его изможденное лицо, казалось, озарила улыбка, хотя губы по-прежнему были плотно сжаты.

В полдень лихорадка достигла апогея. Нутряной кашель сотрясал тело больного, он уже начал харкать кровью. Железы перестали набухать, они были все те же, твердые на ощупь, будто во все суставы ввинтили гайки, и Риэ решил, что вскрывать опухоль бессмысленно. В промежутках между приступами кашля и лихорадки Тарру кидал взгляды на своих друзей. Но вскоре его веки стали смежаться все чаще и чаще, и свет, еще так недавно озарявший его изнуренное болезнью лицо, постепенно гас. Буря, сотрясавшая его тело судорожными конвульсиями, все реже и реже разражалась вспышками молний, и Тарру медленно уносило в бушующую бездну. Перед собой на подушках Риэ видел лишь безжизненную маску, откуда навсегда ушла улыбка. В то, что еще сохраняло обличье человека, столь близкого Риэ, вонзилось теперь острое копьё, его жгла невыносимая боль, скручивали все злобные небесные вихри, и оно на глазах друга погружалось в хляби чумы. А он, друг, не мог предотвратить этой катастрофы. И опять Риэ вынужден был стоять на берегу с пустыми руками, с рвущимся на части сердцем, безоружный и беспомощный перед бедствием. И когда наступил конец, слезы бессилия застлали глаза Риэ и он не видел, как Тарру вдруг резко повернулся к стене и испустил дух с глухим стоном, словно где-то в глубине его тела лопнула главная струна.

Следующая ночь уже не была ночью битвы, а была ночью тишины. В этой спальне, отрезанной от всего мира, над этим безжизненным телом, уже обряженным для погребальной церемо-

нии, ощутимо витал необыкновенный покой, точно так же, как за много ночей до того витал он над террасами, вознесенными над чумой, когда начался штурм городских ворот. Уже тогда Риэ думал об этой тишине, которая подымалась с ложа, где перед ним, беспомощным, умирали люди. И повсюду та же краткая передышка, тот же самый торжественный интервал, повсюду то же самое умиротворение, наступающее после битвы, повсюду немота поражения. Но то безмолвие, что обволакивало сейчас его друга, было таким плотным, так тесно сливалось оно с безмолвием улиц и всего города, освобожденного от чумы, что Риэ ясно почувствовал: сейчас это уже окончательное, бесповоротное поражение, каким завершаются войны и которое превращает даже наступивший мир в неисцелимые муки. Доктор не знал, обрел ли под конец Тарру мир, но хотя бы в эту минуту был уверен, что ему самому мир заказан навсегда, точно так же как не существует перемирия для матери, потерявшей сына, или для мужчины, который хоронит друга.

Там, за окном, лежала такая же, как и вчера, холодная ночь, те же ледяные звезды светились на ясном студеном небе. В полутемную спальню просачивался жавшийся к окнам холод, чувствовалось бесцветное ровное дыхание полярных ночей. У постели сидела мадам Риэ в привычной своей позе, справа на нее падал свет лампочки, горевшей у изголовья постели. Риэ устроился в кресле, стоявшем в полумраке посреди спальни. То и дело он вспоминал о жене, но гнал прочь эти мысли.

В ночной морозной тишине звонко стучали по тротуару каблуки прохожих.

— Ты все сделал? — спросила мать.

— Да, я уже позвонил.

И вновь началось молчаливое бдение. Время от времени мадам Риэ взглядывала на сына. Поймав ее взгляд, он улыбался в ответ. В привычном порядке сменялись на улице ночные шумы. Хотя официальное разрешение еще не было дано, автомобили опять раскатывали по городу. Они стремительно вбирали в себя мостовую, исчезали, снова появлялись. Голоса, возгласы, вновь наступавшая тишина, цоканье лошадиных копыт, трамвай, проскрежещавший на стрелке, затем второй, какие-то неопределенные звуки и снова торжественное дыхание ночи.

— Бернар!

— Что?

— Ты не устал?

— Нет.

Он знал, о чем думает его мать, знал, что в эту самую минуту она любит его. Но он знал также, что не так уж это много — любить другого, и, во всяком случае, любовь никогда не бывает настолько сильной, чтобы найти себе выражение. Так они с матерью всегда будут любить друг друга в молчании. И она тоже умрет, в свой черед — или умрет он, — и так никогда за всю жизнь они не найдут слов, чтобы выразить взаимную нежность. И точно так же они с Тарру жили бок о бок, и вот Тарру умер нынче вечером, и их дружба не успела по-настоящему побыть на земле. Тарру, как он выражался, проиграл партию. Ну а он, Риэ,

что он выиграл? Разве одно—узнал чуму и помнит о ней, познал дружбу и помнит о ней, узнал нежность, и теперь его долг когда-нибудь о ней вспомнить. Все, что человек способен выиграть в игре с чумой и с жизнью,—это знание и память. Быть может, именно это и называл Тарру «выиграть партию»!

Снова мимо окна промчался автомобиль, и мадам Риэ пошевелилась на стуле. Риэ улыбнулся ей. Она сказала, что не чувствует усталости, и тут же добавила:

— Надо бы тебе съездить в горы отдохнуть.

— Конечно, мама, поеду.

Да, он там отдохнет. Почему бы и нет? Еще один предлог вспоминать. Но если это и значит выиграть партию, как должно быть тяжело жить только тем, что знаешь, и тем, что помнишь, и не иметь впереди надежды. Так, очевидно, жил Тарру, он-то понимал, как бесплодна жизнь, лишенная иллюзий. Не существует покоя без надежды. И Тарру, отказывавший людям в праве осуждать на смерть человека, знал, однако, что никто не в силах отказаться от вынесения приговора и что даже жертвы подчас бывают палачами, а если так, значит, Тарру жил, терзаясь и противореча себе, и никогда он не знал надежды. Может, поэтому он искал святости и хотел обрести покой в служении людям. В сущности, Риэ и не знал, так ли это, но это и неважно. Память его сохранит лишь немногие образы Тарру—Тарру за рулем машины, положивший обе руки на баранку, готовый везти его куда угодно, или вот это грузное, массивное тело, без движения распростертое на одре. Тепло жизни и образ смерти—вот что такое знание.

И разумеется, именно поэтому доктор Риэ, получив утром телеграмму, извещавшую о кончине жены, принял эту весть спокойно. Он был у себя в кабинете. Мать вбежала, сунула ему телеграмму и тут же вышла, чтобы дать на чай рассыльному. Когда она вернулась, сын стоял и держал в руке распечатанную телеграмму. Она подняла на него глаза, но он упорно смотрел в окно, где над портом поднималось великолепное утро.

— Бернар,—кликнула мадам Риэ.

Доктор рассеянно оглянулся.

— Да, в телеграмме?—спросила она.

— Да,—подтвердил доктор.—Неделю назад.

Мадам Риэ тоже повернулась к окну. Доктор молчал. Потом он сказал матери, что плакать не надо, что он этого ждал, но все равно это очень трудно. Просто, говоря это, он осознал, что в его страданиях отсутствует нечаянность. Все та же непрекращающаяся боль мучила его в течение нескольких месяцев и в течение этих двух последних дней.

Прекрасным февральским утром на заре наконец-то открылись ворота города; и событие это радостно встретил народ, газеты, радио и префектура в своих сообщениях. Таким образом, рассказчику остается лишь выступить в роли летописца блаженных часов, наступивших с открытием ворот, хотя сам он принадлежал

к числу тех, у кого не хватало досуга целиком отдаться всеобщей радости.

Были устроены празднества, длившиеся весь день и всю ночь. В то же самое время на вокзалах запыхтели паровозы и прибывшие из далеких морей корабли уже входили в наш порт, свидетельствуя в свою очередь, что этот день стал для тех, кто стонал в разлуке, днем великой встречи.

Нетрудно представить себе, во что обратилось это чувство разъединенности, жившее в душе многих наших сограждан. Поезда, в течение дня прибывавшие в наш город, были так же перегружены, как и те, что отбывали с нашего вокзала. Пассажиры заранее, еще во время двухнедельной отсрочки, запасались билетами на сегодняшнее число и до третьего звонка тряслись от страха, что вдруг постановление префектуры возьмут и отменят. Да и путешественники, прибывавшие к нам, не могли отделаться от смутных опасений, так как знали только, да и то приблизительно, о судьбе своих близких, все же, что касалось прочих и самого города, было им неизвестно, и город в их глазах приобретал зловещий лик. Но это было применимо лишь к тем, кого за все время чумы не сжигала страсть.

Те, кого она сжигала, были и впрямь под властью своей навязчивой идеи. Одно лишь изменилось для них: в течение месяцев разлуки им неистово хотелось ускорить события, подтолкнуть время физически, чтобы оно не мешкало, а теперь, когда перед ними уже открывался наш город, они, напротив, как только поезд начал притормаживать, желали одного: чтобы время замедлило свой бег, чтобы оно застыло. Смутное и в то же время жгучее чувство, вскормленное этим多月м существованием, потерянным для любви, именно оно, это чувство, требовало некоего реванша—пусть часы радости тянутся вдвое медленнее, чем часы ожидания. И те, что ждали дома или на перроне, как, например, Рамбер, уже давно предупрежденный женой, что она добилась разрешения на приезд, равно страдали от нетерпения и растерянности. Любовь эта и нежность превратились за время чумы в абстракцию, и теперь Рамбер с душевным трепетом ждал, когда эти чувства и это живое существо, на которое они были направлены, окажутся лицом к лицу.

Ему хотелось вновь стать таким, каким был он в начале эпидемии, когда, ни о чем не думая, решил очертя голову вырваться из города, броситься к той, любимой. Но он знал, что это уже невозможно. Он переменялся, чума вселила в него отрешенность, и напрасно он пытался опровергнуть это всеми своими силами, ощущение отрешенности продолжало жить в нем, как некая глухая тоска. В каком-то смысле у него даже было чувство, будто чума кончилась слишком резко, когда он еще не собрался с духом. Счастье приближалось на всех парах, ход событий опережал ожидание. Рамбер понимал, что ему будет возвращено все сразу и что радость, в сущности, сродни ожогу, куда уж тут ею упиваться.

Все остальные более или менее отчетливо переживали то же самое, и поэтому поговорим лучше обо всех. Стоя здесь, на перроне вокзала, где должна была с минуты на минуту начаться

вновь их личная жизнь, они пока еще ощущали свою общность, обменивались понимающими взглядами и улыбками. Но как только они заметили вырывающийся из трубы паровоза дым, застарелое чувство отъединенности вдруг угасло под ливнем смутной и оглушающей радости. Когда поезд остановился, кое для кого кончилась долгая разлука, начавшаяся на этом самом перроне, на этом самом вокзале, и кончилась в тот миг, когда руки ликующе и алчно ощутили родное тело, хотя уже забыли его живое присутствие. Так, Рамбер не успел даже разглядеть бегущее к нему существо, с размаху уткнувшееся лицом в его грудь. Он держал ее в своих объятиях, прижимал к себе голову, не видя лица, а только знакомые волосы,—он не утирал катившиеся из глаз слезы и сам не понимал, льются ли они от теперешнего его счастья или от загнанной куда-то в глубину души боли, и все же знал, что эта влага, застывшая взор, помешала ему убедиться в том, действительно ли это лицо, прильнувшее к его плечу, то самое, о котором так долго мечталось, или, напротив, он увидит перед собой незнакомку. Он поймет, но позже, верно ли было его подозрение. А сейчас ему, как и всем толпившимся на перроне, хотелось верить или делать вид, что они верят, будто чума может прийти и уйти, ничего не изменив в сердце человека.

Тесно жавшиеся друг к другу парочки расходились по домам, не видя никого и ничего, внешне восторжествовав над чумой, забыв былые муки, забыв тех, кто прибыл тем же поездом и, не обнаружив на перроне близких, нашел подтверждение своим страхам, уже давно тлевшим в сердце после слишком долгого молчания. Для них, чьим единственным спутником отныне оставалась еще свежая боль, для тех, кто в эти самые минуты посвящал себя памяти об исчезнувшем, для них все получилось иначе, и чувство разлуки именно сейчас достигло своего апогея. Для них, матерей, супругов, любовников, потерявших всю радость жизни вместе с родным существом, брошенным куда-то в безымянный ров или превратившимся в кучу пепла,—для них по-прежнему шла чума.

Но кому было дело до этих осиротелых? В полдень солнце, обуздав холодные порывы ветра, бороздившие небо с самого утра, пролилось на город сплошными волнами недвижимого света. День словно застыл. В окаменевшее небо с форта на холме без перерыва били пушки. Весь город высыпал на улицы, чтобы отпраздновать эту пронзительную минуту, когда время мучений уже кончалось, а время забвения еще не началось.

На всех площадях танцевали. За несколько часов движение резко усилилось, и многочисленные машины с трудом пробирались через забытые народом улицы. Все послеобеденное время гудели напропалую наши городские колокола. От их звона по лазурно-золотистому небу расходились волны дрожи. В церквах служили благодарственные молебны. Но и в увеселительных заведениях тоже набилось множество публики, и владельцы кафе, не заботясь о завтрашнем дне, широко торговали еще остававшимися у них спиртными напитками. Перед стойками возбужденно толпились люди, и среди них виднелись парочки, тесно обнявши-

еся, бесстрашно выставлявшие напоказ свое счастье. Кто кричал, кто смеялся. В этот день, данный им сверх положенного, каждый щедро расходовал запасы жизненных сил, накопленные за те месяцы, когда у всех душа едва тлела. Завтра начнется жизнь как таковая, со всей ее осмотрительностью. А пока люди разных слоев общества братались, толклись бок о бок. То равенство, какого не сумела добиться нависшая над городом смерть, установило счастье освобождения, пусть только на несколько часов.

Но это банальное неистовство все же о чем-то умалчивало, и люди, высыпавшие в послеобеденный час на улицу, шедшие рядом с Рамбером, скрывали под невозмутимой миной некое более утонченное счастье. И действительно, многие парочки и семьи казались с виду обычными мирными прохожими. А в действительности они совершали утонченное паломничество к тем местам, где столько перестрадали. Им хотелось показать вновь прибывшим разительные или скрытые пометы чумы, зримые следы ее истории. В иных случаях оранцы довольствовались ролью гидов, которые, мол, всего навидались, ролью современника чумы, и в таких случаях о связанной с нею опасности говорилось приглушенно, а о страхе вообще не говорили. В сущности, вполне безобидное развлечение. Но в иных случаях выбирался более тревожащий маршрут, следуя которому любовник в приливе нежной грусти воспоминаний мог бы сказать своей подруге: «Как раз здесь в те времена я так тебя хотел, а тебя не было». Этих туристов, ведомых страстью, узнавали с первого взгляда: они как бы образовывали островки шепота и признаний среди окружающего их гула толпы. Именно они, а не оркестры, игравшие на всех перекрестках, знаменовали собой подлинное освобождение. Ибо эти восторженные парочки, жавшиеся друг к другу и скупые на слова, провозглашали всем торжеством и всей несправедливостью своего счастья, что чума кончилась и время ужаса миновало. Вопреки всякой очевидности они хладнокровно отрицали тот факт, что мы познали безумный мир, где убийство одного человека было столь же обычным делом, как щелчок по мухе, познали это вполне рассчитанное дикарство, этот продуманный до мелочей бред, это заточение, чудовищно освобождавшее от всего, что не было сегодняшним днем, этот запах смерти, доводивший до одури тех, кого еще не убила чума; они отрицали наконец, что мы были тем обезумевшим народом, часть которого, загнанная в жерло мусоросжигательной печи, вылетала в воздух жирным липким дымом, в то время как другая, закованная в цепи бессилия и страха, ждала своей очереди.

По крайней мере это первым делом бросилось в глаза доктору Риэ, который, торопясь добраться до окраины, шагал в этот послеобеденный час среди звона колоколов, грохота пушек, музыки и оглушительных криков. Его работа продолжалась, болезнь не дает передышки. На город спускался несравненно прекрасной дымкой тихий свет, и в него вплетались прежние запахи—жареного мяса и анисовой водки. Вокруг Риэ видел запрокинутые к небу веселые лица. Мужчины и женщины шли сцепив руки, с горящими глазами, и их желание выражало себя

лихорадочным возбуждением и криком. Да, чума кончилась, кончился ужас, и сплетшиеся руки говорили, что чума была изгнанием, была разлукой в самом глубинном значении этого слова.

Впервые Риэ сумел найти общую фамильную примету того, что он в течение месяцев читал на лицах прохожих. Сейчас достаточно было оглядеться кругом. Люди дожили до конца чумы со всеми ее бедами и лишениями, в конце концов они влезли в этот костюм,— в костюм, который предписывался им ролью, уже давно они играли эту роль эмигрантов, чьи лица, а теперь и одежда свидетельствовали о разлуке и далекой отчизне. С той минуты, когда чума закрыла городские ворота, когда их существование заполнила собой разлука, они лишились того спасительного человеческого тепла, которое помогает забыть все. В каждом уголке города мужчины и женщины в различной степени жаждали некоего воссоединения, которое каждый толковал по-своему, но которое было для всех без изъятия одинаково недоступным. Большинство из всех своих сил взывало к кому-то отсутствующему, тянулось к теплоте чьего-то тела, к нежности или к привычке. Кое-кто, подчас сам того не зная, страдал потому, что очутился вне круга человеческой дружбы, уже не мог общаться с людьми даже самыми обычными способами, какими выражает себя дружба,—письмами, поездками, кораблями. Другие, как, очевидно, Тарру—таких было меньшинство,—стремились к воссоединению с чем-то, чего и сами не могли определить, но именно это неопределимое и казалось им единственно желанным. И за неимением иного слова они, случалось, называли это миром, покоем.

Риэ все шагал. По мере того как он продвигался вперед, толпа сгущалась, гул голосов крепчал, и ему чудилось, будто предмет, куда он направлялся, отодвигаются все дальше и дальше от центра. Постепенно он растворился в этом гигантском громкоговорителем организме, он все глубже вникал в его крик и одновременно понимал, что в какой-то степени это и его собственный крик. Да, все мы мучились вместе, и физически и душевно, во время этих затянувшихся, непереносимо трудных каникул, от этой ссылки, откуда нет выхода, от этой жажды, которую не дано утолить. Среди нагромождения трупов, тревожных гудков санитарных машин, знамений, подаваемых так называемой судьбой, упрямого топтания страхов и грозного бунта сердец беспрерывно и отовсюду шел ропот, будораживший испуганных людей, твердивший им, что необходимо вновь обрести свою подлинную родину. Для всех них подлинная родина находилась за стенами этого полузадушенного города. Она была в благоухании кустарника на склонах холмов, в морской глади, в свободных странах и в веселой силе любви. И к ней-то, то есть к счастью, они и жаждали вернуться, с отвращением отводя взоры от всего прочего.

Риэ и сам не знал, какой, в сущности, смысл заключался в их изгнании и в этом стремлении к воссоединению. Он шел и шел, его толкали, окликали, мало-помалу он достиг менее людных улиц, и тут он подумал, что не так-то важно, имеет все это смысл

или не имеет, главное — надо знать, какой ответ дан человеческой надежде.

Отныне он-то знал, что именно отвечено, как-то яснее заметил это на ближних, почти пустынных улицах предместья. Были люди, которые держались за то немногое, что было им отпущено, жаждали лишь одного — вернуться под кров своей любви, и эти порой бывали вознаграждены. Конечно, кое-кто бродил сейчас одиноко по городу, так как лишился того, кого ждал. Счастливы еще те, которых дважды не постигла разлука, подобно тем, кто до начала эпидемии не сумел сразу построить здания своей любви и в течение многих лет вслепую пытался найти недостижимо трудное согласие, которое спаяло бы жизнь двух любовников-врагов. Вот эти, подобно самому Риэ, имели легкомыслие рассчитывать на все улаживающее время; этих навеки развело в разные стороны. Но другие, как, например, Рамбер, которому доктор сказал нынче утром: «Мужество, мужество, теперь мы должны доказать свою правоту», такие, как Рамбер, не колеблясь, нашли отсутствующего, которого, как им думалось, уже потеряли. Эти будут счастливы, хотя бы на время. Теперь они знали, что существует на свете нечто, к чему нужно стремиться всегда и что иногда дается в руки, и это нечто — человеческая нежность.

И напротив, тем, кто обращался поверх человека к чему-то, для них самих непредставимому, — вот тем ответа нет. Тарру, очевидно, достиг этого труднодостижимого мира, о котором он говорил, но обрел его лишь в смерти, когда он уже ни на что не нужен. И вот те, кого Риэ видел сейчас, те, что стояли в свете уходящего солнца у порога своих домов, нежно обнявшись, страстно глядя в любимые глаза, — вот эти получили то, что хотели, они-то ведь просили то единственное, что зависело от них самих. И Риэ, сворачивая на улицу, где жили Коттар и Гран, подумал, что вполне справедливо, если хотя бы время от времени радость, как награда, приходит к тому, кто довольствуется своим уделом человека и своей бедной и страшной любовью.

Наша хроника подходит к концу. Пора уже доктору Бернару Риэ признаться, что он ее автор. Но прежде чем приступить к изложению последних событий, ему хотелось бы в какой-то мере оправдать свой замысел и объяснить, почему он пытался придергиваться тона объективного свидетеля. В продолжение всей эпидемии ему в силу его профессиональных занятий приходилось встречаться со множеством своих сограждан и выслушивать их излияния. Таким образом, он находился как бы в центре событий и мог поэтому наиболее полно передать то, что видел и слышал. Но он счел нужным сделать это со всей полагающейся сдержанностью. В большинстве случаев он старался передать только то, что видел своими глазами, старался не навязывать своим собратьям по чуме мысли, которые, по сути дела, у них самих не возникали, и использовать только те документы, которые волею случая или беды попали ему в руки.

Призванный свидетельствовать по поводу страшного преступ-

ления, он сумел сохранить известную сдержанность, как оно и подобает добросовестному свидетелю. Но в то же время, следуя законам душевной честности, он сознательно встал на сторону жертв и хотел быть вместе с людьми, своими согражданами, в единственном, что было для всех неоспоримо,— в любви, муках и изгнании. Поэтому-то он разделял со своими согражданами все их страхи, потому-то любое положение, в какое они попадали, было и его собственным.

Стремясь быть наиболее добросовестным свидетелем, он обязан был приводить в основном лишь документы, записи и слухи. Но ему приходилось молчать о своем личном, например о своем ожидании, о своих испытаниях. Если подчас он нарушал это правило, то лишь затем, чтобы понять своих сограждан или чтобы другие лучше их поняли, чтобы облечь в наиболее точную форму то, что они в большинстве случаев чувствовали смутно. Откровенно говоря, эти усилия разума дались ему без труда. Когда ему не терпелось непосредственно слить свою личную исповедь с сотнями голосов зачумленных, он откладывал перо при мысли, что нет и не было у него такой боли, какой не перестрадали бы другие, и что в мире, где боль подчас так одинока, в этом было даже свое преимущество. Нет, решительно он должен был говорить за всех.

Но был среди жителей Орана один человек, за которого не мог говорить доктор Риэ. Речь шла о том, о ком Тарру как-то сказал Риэ: «Единственное его преступление, что в сердце своем он одобрил то, что убивает детей и взрослых. Во всем остальном я его, пожалуй, понимаю, но вот это я вынужден ему простить». И совершенно справедливо, что хроника оканчивается рассказом об этом человеке, у которого было слепое сердце, то есть одинокое сердце.

Когда доктор выбрался из шумных праздничных улиц и уже собрался свернуть в переулок, где жили Гран с Коттаром, его остановил полицейский патруль — этого уж он никак не ожидал. Вслушиваясь в отдаленный гул праздника, Риэ рисовал в воображении тихий квартал, пустынный и безмолвный. Он вынул свое удостоверение.

— Все равно нельзя, доктор,— сказал полицейский.— Там какой-то сумасшедший в толпу стреляет. Подождите-ка здесь, ваша помощь может еще понадобиться.

В эту минуту Риэ заметил приближавшегося к нему Грана. Гран тоже ничего не знал. Его тоже не пропустили; одно ему было известно: стреляют из их дома. Отсюда был действительно виден фасад здания, позолоченный лучами по-вечернему нежаркого солнца. Перед домом оставалось пустое пространство, даже на противоположном тротуаре никого не было. Посреди мостовой валялась шляпа и клочок какой-то засаленной тряпки. Риэ и Гран разглядели вдалеке, на другом конце улицы, второй полицейский патруль, тоже заграждавший проход, а за спинами полицейских быстро мелькали фигуры прохожих. Присмотревшись внимательнее, они заметили еще нескольких полицейских с револьверами в руках, эти забились в ворота напротив. Все ставни в доме были закрыты. Но во втором этаже одна из створок чуть приоткры-

лась. Улица застыла в молчании. Слышались только обрывки музыки, доносившейся из центра города.

В ту же минуту из окон противоположного дома щелкнули два револьверных выстрела и раздался треск разбитых ставен. Потом снова наступила тишина. После праздничного гама, продолжавшего греметь в центре города, все это показалось Риэ каким-то нереальным.

— Это окно Коттара,—вдруг взволнованно воскликнул Гран.—Но ведь Коттар куда-то пропал!

— А почему стреляют?—спросил Риэ у полицейского.

— Хотят его отвлечь. Мы ждем специальную машину, ведь он в каждого, кто пытается войти в дом, целит. Одного полицейского уже ранил.

— Почему он стреляет?

— Поди знай. Люди здесь на улице веселились. При первом выстреле они даже не поняли, что к чему. А после второго начался крик, кого-то ранило, и все разбежались. Видать, просто сумасшедший!

Во вновь воцарившейся тишине минуты казались часами. Вдруг из-за дальнего угла улицы высочила собака, первая, которую Риэ увидел за долгое время; это был грязный взъерошенный спаниель, очевидно, хозяева прятали его где-нибудь во время эпидемии, и теперь он степенно трусил вдоль стен. Добравшись до ворот, он постоял в нерешительности, потом сел и, вывернувшись, стал выгрызать из шерсти блох. Раздалось одновременно несколько свистков—это полицейские приманивали пса. Пес поднял голову, потом нерешительно шагнул, очевидно намереваясь обнюхать валявшуюся на мостовой шляпу. Но сразу же из окна третьего этажа грохнул выстрел, и животное плюхнулось на спину, как блин на сковородку, судорожно забило лапами, стараясь повернуться на бок, сотрясаясь в корчах. В ответ раздалось пять-шесть выстрелов, это стреляли из ворот и снова попали в ставню, из которой брызнули щепки. Опять все стихло. Солнце спускалось к горизонту, и к окну Коттара уже подползла тень. За спиной Риэ раздался негромкий скрежет тормозов.

— Приехали,—сказал полицейский.

Из машины повыскакивали полицейские, вытащили канаты, лестницу, два каких-то продолговатых свертка, обернутых в прорезиненную ткань. Потом они стали пробираться по улице, шедшей параллельно этой, за домами, позади жилища Грана. И уже через несколько минут Риэ не столько увидел, сколько догадался, что под аркой ворот началась какая-то суетня. Потом все вновь застыло в ожидании. Пес уже не дергался, вокруг него расплылась темная лужа.

Внезапно из окна дома, занятого полицейскими, застрочил пулемет. Били по ставне, и она в буквальном смысле слова разлеталась в щепы, открыв черный четырехугольник окна, но Риэ с Граном со своего места ничего не могли разглядеть. Когда пулемет замолчал, в дело вступил второй, находившийся в соседнем доме, ближе к углу. Очевидно, целили в проем окна, так как отлетел кусок кирпича. В ту же самую минуту трое

полицейских бегом пересекли мостовую и укрылись в подъезде. За ними по пятам бросилось еще трое, и пулеметная стрельба прекратилась. И снова все стояли и ждали. В доме раздалось два глухих выстрела. Потом послышался гул голосов, и из подъезда выволокли, вернее, не выволокли, а вынесли на руках невысокого человечка без пиджака, не переставая что-то вопившего. И как по мановению волшебной палочки все закрытые ставни распахнулись, в окнах замелькали головы любопытных, из домов высыпали люди и столпились за спинами полицейского заслона. Все сразу увидели того человечка, теперь он уже шел по мостовой сам, руки у него были скручены за спиной. Он вопил. Полицейский приблизился и ударил его два раза по лицу во всю мощь своих кулаков, расчетливо, с каким-то даже усердием.

— Это Коттар,— пробормотал Гран.— Он сошел с ума.

Коттар упал. И зрители увидели, как полицейский со всего размаха пнул каблуком валявшееся на мостовой тело. Потом группа зевак засуетилась и направилась к доктору и его старому другу.

— Разойдись!—скомандовал толпе полицейский.

Когда группа проходила мимо, Риэ отвел глаза.

Гран и доктор шагали рядом в последних отблесках сумерек. И словно это происшествие разом сняло оцепенение, дремотно окутывавшее весь квартал, отдаленные от центра улицы снова наполнились радостным жужжанием толпы. У подъезда дома Гран распрощался с доктором. Пора идти работать. Но с первой ступеньки он крикнул доктору, что написал Жанне и что теперь он по-настоящему рад. А главное, он снова взялся за свою фразу. «Я из нее все эпитеты убрал»,— объявил он.

И с лукавой улыбкой он приподнял шляпу, церемонно откланявшись доктору. Но Риэ продолжал думать о Коттаре, и глухой стук кулака по лицу преследовал его всю дорогу вплоть до дома старика астматика. Возможно, ему тяжелее было думать о человеке преступном, чем о мертвом человеке.

Когда Риэ добрался до своего старого пациента, мрак уже полностью поглотил небо. В комнату долетал отдаленный гул освобождения, а старик, все такой же, как всегда, продолжал перекладывать из кастрюли в кастрюлю свой горошек.

— И они правы, что веселятся. Все-таки разнообразие,— сказал старик.— А что это давно не слышать о вашем коллеге, доктор? Что с ним?

До них донеслись хлопки взрывов, на сей раз безобидные,— это детвора взрывала петарды.

— Он умер,— ответил Риэ, приложив стетоскоп к груди, где все хрипело.

— А-а,— озадаченно протянул старик.

— От чумы,— добавил Риэ.

— Да,— заключил, помолчав, старик,— лучшие всегда уходят. Такова жизнь. Это был человек, который знал, чего хочет.

— Почему вы это говорите?— спросил доктор, убирая стетоскоп.

— Да так. Он зря не болтал. Просто он мне нравился. Но так уж оно есть. Другие твердят: «Это чума, у нас чума была».

Глядишь, и ордена себе за это потребуют. А что такое, в сущности, чума? Тоже жизнь, и все тут.

— Не забывайте аккуратно делать ингаляцию.

— Не беспокойтесь. Я еще протяну, я еще увижу, как они все перемрут. Я-то умею жить.

Ответом ему были отдаленные вопли радости. Доктор нерешительно остановился посреди комнаты.

— Вам не мешает, если я поднимусь на террасу?

— Да нет, что вы. Хотите сверху на них посмотреть? Сколько угодно. Но они отовсюду одинаковы.

Риэ направился к лестнице.

— Скажите-ка, доктор, верно, что они собираются воздвигнуть памятник погибшим от чумы?

— Во всяком случае, так в газетах писали. Стелу или до-ску.

— Так я и знал. И еще сколько речей напроизнесут.— Старик одышливо захихикал.— Так прямо и слышу: «Наши мертвецы...», а потом пойдут закусить.

Но Риэ уже подымался по лестнице. Над крышами домов блесло широкое холодное небо, и висевшие низко над холмами звезды казались твердыми как камень. Сегодняшняя ночь не слишком отличалась от той, когда они с Тарру поднялись сюда, на эту террасу, чтобы забыть о чуме. Но сейчас море громче, чем тогда, билось о подножие скал. Воздух был легкий, неподвижный, очистившийся от соленых дуновений, которые приносит теплый осенний ветер. И по-прежнему к террасам подступали шумы города, похожие на всплеск волн. Но нынешняя ночь была ночью освобождения, а не мятежа. Там, вдалеке, красноватое мерцание, пробивавшееся сквозь темноту, отмечало линию бульваров и площадей, озаренных иллюминацией. В уже освобожденной теперь ночи желание ломало все преграды, и это его гул доходил сюда до Риэ.

Над темным портом взлетели первые ракеты официального увеселения. Весь город приветствовал их глухими и протяжными криками. Коттар, Тарру, та или те, кого любил Риэ и кого он потерял, все, мертвые или преступные, были забыты. Старик астматик прав — люди всегда одни и те же. Но в этом-то их сила, в этом-то их невиновность, и Риэ чувствовал, что вопреки своей боли в этом он с ними. В небе теперь беспрерывно распускались многоцветные фонтаны фейерверка, и появление каждого встречал раскатистый, крепнувший раз от раза крик, долетавший сюда на террасу, и тут-то доктор Риэ решил написать эту историю, которая оканчивается здесь, написать для того, чтобы не уподобиться молчаливым, свидетельствовать в пользу зачумленных, чтобы хоть память оставить о несправедливости и насилии, совершенных над ними, да просто для того, чтобы сказать о том, чему учит тебя година бедствий: есть больше оснований восхищаться людьми, чем презирать их.

Но вместе с тем он понимал, что эта хроника не может стать историей окончательной победы. А может она быть лишь свидетельством того, что следовало совершить и что, без сомнения, обязаны совершать все люди вопреки страху с его не знающим

устали оружием, вопреки их личным терзаниям, обязаны совершать все люди, которые за невозможностью стать святыми и отказываясь принять бедствие пытаются быть целителями.

И в самом деле, вслушиваясь в радостные клики, идущие из центра города, Риэ вспомнил, что любая радость находится под угрозой. Ибо он знал то, чего не ведала эта ликующая толпа и о чем можно прочесть в книжках,— что микроб чумы никогда не умирает, никогда не исчезает, что он может десятилетиями спать где-нибудь в завитушках мебели или в стопке белья, что он терпеливо ждет своего часа в спальне, в подвале, в чемодане, в носовых платках и в бумагах и что, возможно, придет на горе и в поучение людям такой день, когда чума пробудит крыс и пошлет их околевать на улицы счастливого города.

ПАДЕНИЕ



LA CHUTE

Paris, 1956

Перевод Н. Немчиновой

Надеюсь, вы не сочтете навязчивостью, если я предложу помочь вам? Боюсь, иначе вы не столкнетесь с почтенным гориллой, ведающим судьбами сего заведения. Ведь он говорит только по-голландски. И если вы не разрешите мне выступить в защиту ваших интересов, он не догадается, что вам угодно выпить джину. Ну вот, кажется, он понял меня: эти кивки головой должны означать, что мои аргументы убедили его. Видите, повернулся и пошел за бутылкой, даже поспешает с разумной степенностью. Вам повезло: он не зарычал. Если он отвергает заказ, то ему достаточно зарычать — никто не посмеет настаивать. Считаться только со своим настроением — это привилегия крупных зверей. Разрешите откланяться, очень рад был оказать вам услугу. Благодарю вас, благодарю. С удовольствием бы принял приглашение, но не хочу надоедать. Вы чересчур добры. Так я поставлю свой стаканчик рядом с вашим?

Вы правы, его безмолвие ошеломляет. Оно подобно молчанию, царящему в девственных лесах, — молчанию грозному, как пушка, заряженная до самого жерла. Порой я удивляюсь, что наш молчаливый друг так упорно пренебрегает языками цивилизованных стран. Ведь его ремесло состоит в том, чтобы принимать моряков всех национальностей в этом амстердамском баре, который он, неизвестно почему, назвал «Мехико-Сити». При таких обязанностях его невежество весьма неудобно, как вы полагаете? Вообразите себе, что первобытный человек попал в Вавилонскую башню и вынужден жить там. Ведь он страдал бы: кругом все чужие. Но этот кабатчик несколько не чувствует себя изгнанным, идет своей дорожкой, его ничем не проймешь. Одной из немногих фраз, которая сорвалась при мне с его уст, он провозгласил следующее положение: «Хочешь — соглашайся, а не то к черту убирайся». С кем следовало соглашаться, кому к черту убираться? Несомненно, наш друг имел в виду самого себя.

Признаюсь, меня привлекают столь цельные натуры. Когда по обязанностям своей профессии или по призванию много размышляешь о сущности человеческой, случается испытывать тоску по приматам. У них по крайней мере нет задних мыслей.

У нашего хозяина, по правде сказать, есть кое-какие задние мысли, но очень смутные.

Поскольку он не понимает того, что говорится вокруг, у него в характере развилась недоверчивость. Поэтому он и держится с угрюмой важностью, словно возымел наконец подозрение, что не все идет гладко в человеческом обществе. При такой его настроенности довольно трудно заводить с ним разговоры, не касающиеся его ремесла. А вот посмотрите на заднюю стену — видите, прямо над головой хозяина на обоях менее выцветший прямоугольник, как будто там прежде висела картина. И действительно, там была картина, и притом замечательная, настоящий шедевр. Так вот я присутствовал при том, как наш кабатчик приобрел ее и на моих же глазах продал. В обоих случаях он проявил одинаковую недоверчивость: несколько недель обдумывал сделку. В этом отношении жизнь в человеческом обществе, надо признать, несколько испортила первоначальную простоту его натуры.

Заметьте, что я не осуждаю этого человека. Я готов уважать вполне обоснованную его недоверчивость и охотно разделял бы ее, если б этому не мешала моя природная общительность. Увы! Я болтун и очень легко схожусь с людьми. Хотя я умею соблюдать должное расстояние, для меня хороши все поводы к знакомству. Когда я жил во Франции, то, стоило мне встретить умного человека, я тотчас же начинал искать его общества. Я вижу, вас удивило это старомодное выражение. Признаюсь, у меня слабость к таким оборотам речи и вообще ко всему возвышенному. Слабость! Сам себя корю за нее, поверьте! Я же прекрасно знаю, что склонность человека к тонкому белью вовсе не говорит о его привычке мыть ноги. Право, изящный стиль подобен шелковому полотну, зачастую прикрывающему экзему. В утешение себе говорю, что и косноязычные не чище нашего брата, краснобаев. О, конечно, я не откажусь от второго стаканчика.

Вы долго предполагаете пробыть в Амстердаме? Красивый город, не правда ли? Волшебный! Вот прилагательное, которого я не слышал уже много лет — с тех пор как расстался с Парижем. Но у сердца крепкая память, и я не позабыл нашу прекрасную столицу, не позабыл набережных Сены. Париж — сущая фантазмагория, великолепные декорации, в которых движутся четыре миллиона марионеток. Даже около пяти миллионов, по последней переписи. И ведь они плодятся и множатся. Что ж тут удивительного? Мне всегда казалось, что у наших сограждан две ярые страсти: мыслить и блудить. Напропалую, как говорится. Не будем, однако, осуждать их за это — не одни они распутничают, вся Европа блудит. Иной раз я думаю, а что скажет о нас будущий историк? Для характеристики современного человека ему будет достаточно одной фразы: «Он блудил и читал газеты». Этим кратким определением тема, смею сказать, будет исчерпана.

Голландцы? О нет, они куда менее современны! Но они еще

успеют, они наверстают. Посмотрите-ка на них! Чем они занимаются? Все эти господа живут на заработки своих дам. Впрочем, все они, и мужчины и женщины, весьма буржуазны и приходят сюда обычно из почтения к легендам, сложившимся о них, или по глупости. От избытка или от недостатка воображения. Время от времени сутенеры тут устраивают поножовщину или перестрелку, но не думайте, что они кровожадны. Роль этого требует, вот и все; они умирают от страха, выпуская последние пули. И все же я считаю их людьми более нравственными, чем те, кто убивает, так сказать, по-семейному, берет измором. Замечали вы, что современное общество прекрасно организовано для такого рода уничтожения? Вы, разумеется, слышали о тех крошечных рыбках, которые водятся в реках Бразилии: они тысячами нападают на неосторожного пловца, в несколько секунд быстрыми жадными глотками пожирают его, остается лишь безукоризненно обглоданный, чистенький скелет. «Желаете вы иметь личную жизнь? Как все люди?» Вы, разумеется, говорите: «Да». Как же это сказать: «Нет»? Согласны? Сейчас вас и обглодают: вот вам профессия, семья, организованный досуг. И острые зубки вонзаются в ваше тело до самых костей. Но я несправедлив. Не о хищниках надо говорить. В конце концов у нас самих так устроено: кто кого обглодает.

Ну вот, принесли нам наконец джин. За ваше здоровье! Смотрите-ка, горилла разомкнул уста и назвал меня доктором. В этой стране все доктора или профессора. Здесь любят почитать людей — по доброте или из скромности. У голландцев по крайней мере злопыхательство не стало национальной чертой. А я, кстати сказать, вовсе не доктор. Если угодно знать, я до того, как приехал сюда, был адвокатом. Теперь я судья на покаянии.

Позвольте представиться: Жан-Батист Кламанс, к вашим услугам. Очень рад знакомству. Вы, вероятно, посвятили себя коммерции? Более или менее? Превосходный ответ! И совершенно правильный. У нас всегда и все «более или менее». Ну вот, разрешите мне разыграть роль сыщика. Вы приблизительно моего возраста, у вас взгляд искушенного сорокалетнего человека, выдавшего виды, вы более или менее элегантно одеты, как одеваются во Франции, и у вас гладкие руки. Итак, вы более или менее буржуа! Но буржуа утонченный. Заметить старомодный оборот речи — это, несомненно, показывает, что вы человек образованный, ибо вы не только замечаете вычурность, но она и раздражает вас. Наконец, я, по-видимому, занимаю вас, а это, скажу без хвастовства, говорит о широте вашего кругозора. Итак, вы более или менее... Но это неважно. Профессии меня интересуют меньше, чем секты. Разрешите задать вам два вопроса, но ответьте на них в том случае, если не сочтете их нескромными. Были вы богаты? Более или менее? Прекрасно. Делились вы богатством с неимущими? Нет? Значит, вы из тех, кого я называю саддукеями. Вы не следовали заветам Священного писания, но, полагаю, от этого не очень много выиграли. Выиграли? Так вы, стало быть, знаете Священное писание? Право, вы меня интересуете.

Что касается меня... Ну что ж, судите сами.

Ростом, шириной плеч и лицом, о котором мне часто говорили, будто оно свирепое, я больше похожу на игрока в регби, не правда ли? Но если судить по разговору, придется признать во мне некоторую изысканность. Пальто на мне жиденькое (должно быть, верблюд, с которого настригли шерсть для сукна, страдал паршой и совсем облысел), зато у меня холеные ногти. Я, как и вы, человек многоопытный, но все же доверяюсь вам без всяких предосторожностей, всецело полагаюсь на ваше лицо. Словом, несмотря на хорошие манеры и культурную речь, я завсегдатай матросских баров в здешнем порту. Больше не допытывайтесь. У меня двойная профессия, вот и все, так же как и моя натура. Я ведь уже сказал вам, что я судья на покаянии. В моей истории только одно является простым: у меня ничего нет. Да, я был богат и не делился с близкими. Что это доказывает? То, что я тоже был саддукеем... Ого! Слышите, как воют сирены в порту? Будет нынче туманище на Зейдерзе!

Вы уже уходите? Это я, наверно, задержал вас. Извините, пожалуйста. Нет уж, разрешите, платить буду я. Вы мой гость в этом «Мехико-Сити», и я очень рад, что могу вас принять. Конечно, завтра я буду опять тут, так же как всегда по вечерам, и с благодарностью приму ваше приглашение. Как вам найти отсюда дорогу?.. Ну что ж, если вы не считаете это неудобным, проще всего будет, если я провожу вас до порта. А оттуда, обогнув Еврейский квартал, вы без труда попадете на прекрасные проспекты, по которым бегут сейчас вагоны трамваев, нагруженные цветами и гремящими оркестрами. Ваша гостиница на одном из этих проспектов, именуемом Дамрак. Пожалуйста, проходите первым, прошу вас. Я-то живу в Еврейском квартале, как он назывался до тех пор, пока господа гитлеровцы не расчистили его. Вот уж постарались! Семьдесят пять тысяч евреев отправили в концлагеря или сразу же убили. Подмели под метелку. Как не восхищаться таким усердием и терпеливой методичностью? Если у человека нет характера, он должен выработать в себе хотя бы методичность. Здесь она, бесспорно, сделала чудеса, и я живу в тех местах, где совершены величайшие в истории преступления. Быть может, это как раз и помогает мне понять гориллу и его недоверчивость. Я могу таким образом бороться со своей природной склонностью, неодолимо влекущей меня к людям. Теперь, когда я вижу новое лицо, кто-то во мне бьет тревогу: «Потише! Легче на поворотах! Опасно!» Даже когда у меня возникает очень сильная симпатия к человеку, я держусь настороже.

А знаете вы, что на моей родине, в маленькой деревеньке, во время карательной экспедиции немецкий офицер очень вежливо предложил старухе матери самой выбрать, которого из двух ее сыновей расстрелять в качестве заложника. Выбрать! Представляете себе? Вот этого? Нет, вон того. И смотреть, как его уводят. Не будем углублять вопрос, но поверьте, сударь, все неожиданности возможны. Я знал человека, который сердцем отвергал недовольство. Он был пацифист, сторонник полной, неограниченной свободы, любил несокрушимой любовью все человечество и все зверье на земле. Избранная душа! Да это уж несомненно!.. И

знаете, во время последних религиозных войн в Европе он удалился в деревню. На пороге своего дома он написал: «Откуда бы вы ни явились, входите. Добро пожаловать!» И кто же, по-вашему, отозвался на это радушное приглашение? Фашисты. Они вошли к миротворцу как к себе домой и выпустили ему кишки.

Ах, извините, мадам! Впрочем, она ничего не поняла. Как много кругом народу, хотя час поздний, дождь льет не переставая уже несколько дней! К счастью, существует джин, единственный проблеск света в этом мраке. Вы чувствуете, как он зажигает в вас огонь, золотистый, с медным отливом? Люблю вечерами ходить по городу и чувствовать, как меня согревает джин. Я хожу целые ночи, мечтаю или без конца разговариваю сам с собой. Вот так же, как нынче вечером. Да-да. Боюсь, что я немножко ошеломил вас. Нет? Благодарю вас, вы очень любезны. Но знаете, душа переполнена, и лишь только я открываю рот — текут, текут слова. К тому же сама страна вдохновляет меня. Я люблю этот народ, толпы людей кишат здесь на тротуарах, стиснутые на малом пространстве между домами и водой, окруженные туманами, холодной землей и морем, над которым поднимается пар, как над стиральным баком. Люблю этот народ, у голландцев двойственная натура: они здесь и вместе с тем где-то далеко.

Ну да! Вот послушайте их тяжелые шаги по лоснящейся мостовой, посмотрите, как грузно они лавируют между своими лавками, где полно золотистых седелок и драгоценностей цвета палых листьев. Вы, конечно, думаете, что они тут нынче вечером? Вы ошибаетесь, как и все, принимая этих славных людей за племя синдиксов и купцов, полагая, что они подсчитывают свои барыши и свои шансы на вечную жизнь, а лирическая сторона их натуры проявляется лишь изредка, когда, накрывшись широкополыми шляпами, они берут урок анатомии. О, как вы ошибаетесь! Правда, они проходят около нас, и все же взгляните — где их головы? В красном или зеленом светящемся тумане, который разливают неоновые вывески, рекламирующие джин и мятный ликер. Голландия — это сон, сударь, золотой и дымный сон, более дымный днем, более золотой ночью, но и ночью и днем этот сон населен Лоэнгринами, такими вот, как эти молодые люди, что задумчиво едут на своих черных велосипедах с высокими рулями, похожих на траурных лебедей, которые непрестанно скользят по всей стране вокруг морей, вдоль каналов. А люди мечтают в неоновой дымке медного отлива, они кружат на одном месте, они молятся в золотистом фимиаме тумана — их уже нет с нами. Они унеслись в мечтах за тысячи километров — к Яве, к далекому острову. Они молятся гримасничающим богам Индонезии, которыми украшены все их витрины и которые витают в эту минуту над нами, а потом ухватятся, как тропические обезьяны, за вывески и за крыши, расположенные лесенками, и сразу напомнят этим тоскующим колонистам, что Голландия — это не только торговая Европа, но и море, море, ведущее к Сипанго и к тем островам, где люди умирают безумными и счастливыми.

Да что ж это я разошелся и произношу защитительную речь. Извините! Привычка, сударь, призвание! Да и хочется мне, чтобы вы лучше поняли этот город и сущность вещей! Ведь мы у самой их сущности. Вы заметили, что концентрические каналы Амстердама походят на круги ада? Буржуазного ада, разумеется, населенного дурными снами. Когда приедешь сюда из других мест, то, по мере того как проходишь по этим кругам, жизнь, а значит, и ее преступления становятся более осязаемыми, более мрачными. Мы здесь в последнем кругу. В кругу тех... Ах, вы это знаете? Вот черт, все труднее становится определить, кто вы такой! Но, значит, вы понимаете, почему я говорю: средоточие мира находится именно здесь, хотя Голландия и расположена на краю материка. Человек с тонкой организацией понимает эту странность. Во всяком случае, для глотателей газет и блудников—это последняя граница континента. Они съезжаются со всех концов Европы и останавливаются вокруг внутреннего моря, на бесцветном песчаном берегу. Они слушают сирены и тщетно ищут в тумане силуэт корабля, а потом переходят по мостам через каналы и под дождем возвращаются к себе. Закоченев, они заходят в «Мехико-Сити» и на всех языках требуют джина. Я жду их там.

Итак, до завтра, дорогой мой соотечественник. Нет-нет, вы теперь легко найдете дорогу. Я расстанусь с вами у моста—я, знаете ли, никогда не хожу ночью по мосту. Дал такой зарок. Ну, предположите, что кто-нибудь на ваших глазах бросится в воду.

Одно из двух: или вы кинетесь спасать несчастного, а в холодное время года это грозит вам гибелью, или предоставите утопающего самому себе, и от его негромких всплесков, попыток выплыть вас будет мучить порой странная ломота. Ну, покойной ночи. Как, вы не знаете, кто эти дамы в витринах? Сама мечта, сударь, мечта! Путешествие в Индию по сходной цене. Эти красавицы насквозь пропахли экзотическими пряностями. Вы входите, они задерживают занавески, и плавание начинается. Боги нисходят на обнаженные тела, по океану дрейфуют острова, безумные, увенчанные взлохмаченными на ветру космами высоких пальм. Попробуйте.

Что такое судья на покаянии? О, я вижу, вы заинтригованы. Я сказал это без всякой хитрости, поверьте, и могу объяснить. В известном смысле это даже входит в мои обязанности. Но сначала мне нужно сообщить вам некоторые факты, они помогут вам лучше понять меня.

Несколько лет назад я был адвокатом в Париже, и, честное слово, довольно известным адвокатом. Разумеется, я вам не сказал своего настоящего имени. Я специализировался на «благородных делах», на защите вдов и сирот, как говорится. Не знаю, почему защищать их считается благородным—ведь есть весьма зловредные вдовы и свирепые сироты. Но достаточно было, чтобы от обвиняемого хоть чуточку повеяло запахом жертвы, как широкие рукава моей мантии начинали взлетать. Да еще как! Настоящая буря. Душа нарасташку. Право, можно было поду-

мать, что сама богиня правосудия еженощно сходила на мое ложе. Я уверен, вас восхитил бы верный тон моих защитительных речей, искренность волнения, убедительность, теплота и сдержанное негодование. От природы я был наделен выигрышной внешностью, благородные позы давались мне без труда. Кроме того, меня поддерживали два искренних чувства. Чувство удовлетворенности от того, что я борюсь за правое дело, и безотчетное презрение к судьям вообще. Впрочем, это презрение в конце концов не было уж таким безотчетным. Теперь я знаю, что для него имелись основания, но со стороны оно походило на некую страсть. Нельзя отрицать, что по крайней мере в настоящий момент с судьями у нас слабовато, не правда ли? Но я не мог понять, как это человек решается выполнять такие удивительные обязанности. Судьи, однако, примелькались мне, и я мирился с их существованием, как, скажем, с существованием кузнечиков. С тою лишь разницей, что нашествие стрекожущих прямокрылых никогда не приносило мне ни гроша, тогда как я зарабатывал себе на жизнь благодаря словопрениям с этими людьми, которых я презирал.

Итак, я пребывал в лагере справедливости, и этого было достаточно для моего душевного спокойствия. Чувство своей правоты, удовлетворенности победой над противником и уважение к самому себе—все это, дорогой мой, мощные пружины, помогающие выстоять в борьбе и даже идти вперед. А если лишить людей этих чувств, вы их превратите в бешеных собак. Сколько преступлений совершено просто потому, что виновник не мог перенести мысли, что он раскрыт. Я знал когда-то одного промышленника. Жена его была прелестная женщина, вызывавшая всеобщее восхищение, а он все-таки ей изменял да еще буквально бесился из-за того, что был виноват перед ней и что никто решительно, даже он сам, не мог бы дать ему свидетельство о добродетели. Чем больше проявлялось совершенство его жены, тем сильнее он бесновался. В конце концов сознание своей вины стало для него невыносимым. И как вы думаете, что он сделал тогда? Перестал ей изменять? Нет. Он убил ее. Из-за этого у нас и завязались с ним отношения.

Мое положение было куда более завидным. Я не только не рисковал попасть в лагерь преступников (в частности, никак уж не мог убить свою жену, так как был холостяком), но я еще выступал в их защиту при том единственном условии, чтобы они были настоящими убийцами, как дикари бывают настоящими дикарями. Самая моя манера вести защиту приносила мне глубокое удовлетворение. Я был поистине безупречен в своей профессиональной деятельности. Я никогда не принимал взятки, это уж само собой разумеется, да никогда и не унижался до каких-нибудь махинаций. И что еще реже бывает, я никогда не соглашался льстить какому-нибудь журналисту, чтобы он благосклонно отзывался обо мне, или какому-нибудь чиновнику, чье расположение было бы мне полезно. Два-три раза мне представлялся случай получить орден Почетного легиона, и я отказывался со скромным достоинством, находя в этом истинную себе награду. Наконец, я никогда не брал платы с бедняков и никогда не кричал об этом на

всех перекрестках. Не думайте, однако, дорогой мой, что я говорю все это из хвастовства. Тут не было никакой моей заслуги: алчность, которая в нашем обществе заняла место честолюбия, всегда была мне смешна. Я метил выше. Вы увидите, что в отношении меня это правильное выражение.

Да сами посудите, чего еще мне было надо? Я восхищался собственной натурой, а ведь всем известно, что это большое счастье, хотя для взаимного успокоения мы иногда делаем вид, будто осуждаем такого рода чувство, называя его самовлюбленностью. Как хотите, а я лично радовался, что природа наделила меня свойством так остро реагировать на горе вдов и сирот, что в конце концов оно разрослось, развилось и постоянно проявлялось в моей жизни. Я, например, обожал помогать слепым переходить через улицу. Лишь только я замечал палку, нерешительно качавшуюся на краю тротуара, я бросался туда, иной раз на секунду опередив другую сострадательную руку, подхватывал слепого, отнимал его от всех других благодетелей и мягко, но решительно вел его по переходу через улицу, лавируя среди всяческих препятствий, и доставлял в спокойную гавань—на противоположный тротуар, где мы с ним и расставались, оба приятно взволнованные. Точно так же я любил услужить нужной справкой заблудившемуся прохожему, дать прикурить, помочь тащить тяжело нагруженную тележку, подтолкнуть застрявший на мостовой автомобиль, охотно покупал газету у члена Армии спасения или букетик у старушки цветочницы, хотя и знал, что она крадет цветы на кладбище Монпарнас. И я любил также (рассказывать об этом труднее всего) подавать милостыню. Один мой приятель, добродетельный христианин, признавался, что первое чувство, которое он испытывает при виде нищего, приближающегося к его дому, неудовольствие. Со мной дело обстояло хуже: я ликовал! Но не будем на этом останавливаться.

Поговорим лучше о моей вежливости. Она была знаменита и притом беспорочна. Она доставляла мне великие радости. Если мне иной раз так везло по утрам, что я мог уступить место в автобусе или в метро (разумеется, тому, кто этого заслуживал), подобрать вещь, выпавшую из рук почтенной дамы, подать ей потерю с обычной своей милой улыбкой или попросту уступить такси торопящемуся куда-то человеку, то весь день был для меня озарен этой удачей. Надо признаться, я даже радовался забастовкам на общественном транспорте, так как в эти дни мог на остановках автобусов посадить в свой автомобиль кого-нибудь из злосчастных моих сограждан, не знавших, как им добраться до дому. Поменять свое место в театре для того, чтобы влюбленные могли сидеть рядышком, услужить в вагоне железной дороги молодой девушке, любезно водрузив ее чемодан на багажную полку, слишком высокую для нее,—все эти подвиги я совершал чаще, чем другие люди, потому что эвил к этому случай и потому что они доставляли мне наслаждение.

Я слыл человеком щедрым и действительно был таковым. Я проявлял эту черту и в общественной и в личной благотворительности. Мне нисколько не было жаль расставаться с отдаваемой вещью или с определенной суммой денег; наоборот, я всегда

извлекал из этой филантропии некоторые радости, и далеко не самой маленькой из них была меланхолическая мысль о бесплодности моих даров и весьма вероятной неблагодарности, которая за ними воспоследует. Мне было очень приятно дарить, но я терпеть не мог, когда меня принуждали к этому. Подписные листы с их точными цифрами меня раздражали, и я давал по ним скрепя сердце. Мне хотелось самому распоряжаться своими щедротами.

Всё это мелочи, но они помогут вам понять, сколько радостей я постоянно находил в жизни, и особенно в своей профессии. Вот, например, остановит тебя в коридорах Судебной палаты жена обвиняемого, которого ты защищал только во имя справедливости или из сострадания, то есть бесплатно, услышишь, как эта женщина лепечет, что отныне вся их семья в неоплатном долгу перед тобой, а ты ответишь ей, что это было вполне естественно с твоей стороны, любой на твоём месте поступил бы точно так же, предложишь даже денежную помощь, чтобы они могли пережить предстоящие трудные дни, а затем, чтобы оборвать благодарственные излияния и сохранить верный их резонанс, поцелуешь руку бедняжке и покончишь на этом разговор. Поверьте, дорогой мой, это высокое удовольствие, недоступное вульгарному честолюбию. Ты при этом поднимаешься на вершину благородства, которое не нуждается в каком-нибудь поощрении.

Остановимся на этих высотах. Вы теперь понимаете, конечно, что я хотел сказать, заявив, что я «метил выше». Я правильно назвал это «вершиной благородства», единственной, на которой я мог жить. Да, я чувствовал себя свободно, только когда карабкался вверх. Даже в житейских мелочах мне всегда хотелось быть выше других. Троллейбус я предпочитал вагонам метро, автобусы — автомобилям, террасы — антресолям. Я любитель спортивных самолетов, когда у тебя над головой открытое небо, а на пароходах я всегда выбираю для прогулок верхнюю палубу. В горах я бегу от ущелий, взбираюсь на перевалы, на плато; уж если равнина, то высокогорная, на меньшее я не согласен. Если бы по воле судьбы мне пришлось выбирать себе какое-нибудь ремесло, например токаря или кровельщика, будьте спокойны, я бы выбрал крыши и не побоялся головокружения. Трюмы, погреба, подполья, гроты, пропасти вызывают у меня ужас. Я даже возненавидел спелеологов, которые имеют нахальство занимать первую полосу в газетах, и подвиги этих исследователей были мне противны. Спускаться в пропасть на глубину восемьсот метров ниже уровня моря, рискуя не вытащить головы из расщелины в скале (из «сифона», как говорят эти безумцы), — на такой подвиг, казалось мне, могли пойти только люди извращенные или чем-то травмированные. В этом есть что-то мерзкое.

Природная терраса на высоте пятьсот или шестьсот метров над уровнем моря, которое еще видишь, которое залито светом, — вот где мне дышалось легче всего, особенно если я был там один, вдали от человеческих муравейников. Я очень хорошо понимал, почему проповеди, смелые пророчества, чудеса огня происходили на вершинах. По-моему, никто не мог предаваться размышлениям в подпольях или в тюремных камерах (если только последние не были расположены в башне, откуда открывался широкий вид) —

там не размышляли, а плесневели. Я понимал тех, кто пошел в монахи, а потом стал расстригой из-за того, что окно кельи выходило не на светлые просторы, а на глухую стену. Будьте уверены, уж я-то отнюдь не плесневел. Ежедневно и ежечасно я наедине с собой или на людях взбирался на высоты, зажигал там яркие костры и внимал веселым приветственным крикам, доносившимся снизу. Так я радовался жизни и собственному своему совершенству.

Профессия адвоката, к счастью, вполне удовлетворяла моему стремлению к высотам. Она избавляла меня от горькой обиды на моих ближних, которым я всегда оказывал услугу, не будучи им ничем обязан. Она ставила меня выше судьи, которого я в свою очередь ставил выше подсудимого, а последний обязан был, конечно, питать ко мне признательность. Оцените же это сами, сударь: я пользовался безнаказанностью. Я не был подвластен никакому суду, не находился на подмостках трибунала. Я был где-то над ним, в колосниках, как боги в античном театре, которые время от времени при помощи машины спускались, чтобы преобразить ход действия и дать этому действию угодный им оборот. В конце концов жить, возвышаясь над другими,— вот единственная оставшаяся нам возможность добиться восторженных взглядов и приветственных криков толпы.

Кое-кто из моих подзащитных, кстати сказать, и совершил убийство именно из таких побуждений. Уголовная хроника в газетах, собственная ничтожная роль в жизни и высокое мнение о себе, несомненно, повергали их в печальную экзальтацию. Как и многие люди, они не в силах были смириться со своей безвестностью, и нетерпеливая жажда прославиться отчасти и могла привести их к злополучным крайностям. Ведь чтобы добиться известности, достаточно убить консержку в своем доме. К несчастью, такого рода слава эфемерна—уж очень много на свете консержек, которые заслуживают и получают удар ножом. На суде преступление все время находится на переднем плане, а сам преступник появляется у рампы лишь мельком, его тотчас сменяют другие фигуры. Словом, за краткие минуты триумфа ему приходится платить слишком дорого. А вот мы, адвокаты, защищая этих несчастных честолюбцев, жаждущих славы, действительно можем прославиться одновременно с ними и рядом с ними, но более экономными средствами. Это и побуждало меня прибегать к достоянным усилиям, дабы они платили как можно меньше. Ведь, расплачиваясь за свои проступки, они немного платили и за мою репутацию. Негодование, ораторский талант, волнение, которое я на них растрчивал, избавляли меня от всякого долга перед ними. Судьи карали, ибо обвиняемым полагалось испустить свою вину, а я, свободный от всякого долга, не подлежавший ни суду, ни наказанию, царил, свободно рея в райском сиянии. Как же не назвать раем бездумное существование, дорогой мой? Вот я и блаженствовал. Мне никогда не приходилось учиться жить. По этой части я был прирожденным мастером. Для иных людей важнейшая задача—укрыться от нападков, а для других—поладить с нападающими. Что касается меня, то я отличался гибкостью. Когда нужно было, держался

запросто, когда полагалось, замыкался в молчании, то проявлял веселую непринужденность, то строгость. Неудивительно, что я пользовался большой популярностью, а своим победам в обществе и счет потерял. Я был недурен собой, считался и неутомимым танцором и скромным эрудитом, любил женщин и вместе с тем любил правосудие (а сочетать две эти склонности совсем нелегко), был спортсменом, понимал толк в искусстве и в литературе — ну, тут уж я остановлюсь, не то вы заподозрите меня в самовлюбленности. Но все-таки представьте себе человека в цвете лет, наделенного прекрасным здоровьем, разнообразными дарованиями, искусного в физических упражнениях и в умственной гимнастике, ни бедного, ни богатого, отнюдь не страдающего бессонницей и вполне довольного собою, но проявляющего это чувство только в приятной для всех общительности. Согласитесь, что у такого счастливицы жизнь должна была складываться удачно.

Да, мало кому жилось так просто, как мне. Мне совсем не приходилось ломать себя, я принимал жизнь полностью такую, какой она была сверху донизу, со всей ее иронией, ее величием и ее рабством. В частности, плоть, материя — словом, все телесное, что расстраивает или обескураживает многих людей, поглощенных любовью или живущих в одиночестве, не поработали меня, а неизменно приносили мне радости. Я создан был для того, чтобы иметь тело. Оттого и развились у меня это высокое самообладание, эта гармоничность, которую люди чувствовали во мне и порой даже признавались, что она помогала им жить. Неудивительно, что их тянуло ко мне. Нередко новым моим знакомым казалось, что они когда-то уже не раз виделись со мной. Жизнь и люди с их дарами шли навстречу всем моим желаниям; я принимал восхищение моих почитателей с благожелательной гордостью. Право же, я жил полнокровной жизнью, с такой простотой и силой ощущая свое человеческое естество, что даже считал себя немножко сверхчеловеком.

Я происходил из порядочной, но совсем незнатной семьи (мой отец был офицером), однако иной раз утром, признаюсь смиренно, чувствовал себя принцем или неопалимой купиной. Заметьте, пожалуйста, что я отнюдь не воображал себя самым умным человеком на свете. Подобная уверенность ни к чему не ведет хотя бы потому, что ею исполнены полчища дураков. Нет, жизнь очень уж баловала меня, и я, стыдно признаться, мнил себя избранником, чье особое предназначение долгий и неизменный успех. Такое мнение я составил из скромности. Я отказывался приписать этот успех только своим достоинствам и не мог поверить, чтобы сочетание в одной личности разнообразных высоких качеств было случайным. Вот почему, живя счастливо, я чувствовал, что это счастье, так сказать, дано мне неким высшим соизволением. Если я вам скажу, что я человек абсолютно неверующий, вы еще больше оцените необычайность такого убеждения. Обычное или необычное, но оно долго поднимало меня над буднями, над обывательщиной, благодаря ему я парил в высоте целые годы, и я с сожалением вспоминаю о них. Долго парил я в поднебесье, но вот однажды вечером... Да нет, это

совсем другое дело, лучше всего забыть о нем. Впрочем, я, может быть, преувеличиваю. Мне жилось так приятно, а вместе с тем я хотел все новых и новых радостей, никак не мог насытиться. Переходил с празднества на празднество. Случалось, я танцевал ночи напролет, все больше влюбляясь в людей и в жизнь. Иной раз в поздний час такой безумной ночи, когда танцы, легкое опьянение, разгул, всеобщая и неистовая жажда наслаждений приводили меня в какое-то экстатическое состояние, я, утомленный, как будто достигнув предела усталости, на минуту, казалось, постигал тайну людей и мира. Но на утро усталость проходила, а вместе с тем забывалась и разгадка тайны, я вновь бросался в погоню за удовольствиями. Я гнался за ними, всегда находил их, никогда не чувствовал пресыщения, не знал, где и когда остановлюсь, и так было до того дня, вернее, вечера, когда музыка вдруг оборвалась и погасли огни. Празднество, на котором я был так счастлив... Но позвольте мне воззвать к нашему другу примату. Покивайте ему головой в знак благодарности, а главное, выпейте со мной, мне нужна ваша благожелательность.

Вижу, что такое заявление удивляет вас. Разве вы никогда не испытывали внезапную потребность в сочувствии, в помощи, в дружбе. Да, несомненно. Но я уже привык довольствоваться сочувствием. Его найти легче, и оно ни к чему не обязывает. «Поверьте, я очень сочувствую вам»,—говорит собеседник, а сам думает про себя: «Ну вот, теперь займемся другими делами». «Глубокое сочувствие» выражает и премьер-министр—его очень легко выразить пострадавшим от какой-нибудь катастрофы. Дружба—чувство не такое простое. Она иногда бывает долгой, добиться ее трудно, но, уж если ты связал себя узами дружбы, попробуй-ка освободиться от них—не удастся, надо терпеть. И главное, не воображайте, что ваши друзья станут звонить вам по телефону каждый вечер (как бы это им следовало делать), чтобы узнать, не собираетесь ли вы покончить с собой или хотя бы не нуждаетесь ли вы в компании, не хочется ли вам пойти куда-нибудь. Нет, успокойтесь, если они позвонят, то именно в тот вечер, когда вы не одни и когда жизнь улыбается вам. А на самоубийство они скорее уж сами толкнут вас, полагая, что это ваш долг перед собою. Да хранит вас небо от слишком высокого мнения друзей о вашей особе! Что касается тех, кто обязан нас любить—я имею в виду родных и соратников (каково выражение!),—тут совсем другая песня. Они-то знают, что вам сказать: именно те слова, которые убивают; они с таким видом набирают номер телефона, как будто целятся в вас из ружья. И стреляют они метко. Ах, эти снайперы!

Что? Рассказать про тот вечер! Я дойду до него, потерпите немножко. Да, впрочем, я уже и подошел к этой теме, упомянув о друзьях и соратниках. Представьте, мне говорили, что один человек, сострадая своему другу, брошенному в тюрьму, каждую ночь спал не на постели, а на голом полу—он не желал пользоваться комфортом, которого лишили его любимого друга. А кто, дорогой мой, будет ради нас спать на полу? Да разве я сам стал бы так спать? Право, я хотел бы и мог бы пойти на это. Когда-нибудь мы все сможем, и в этом будет наше спасение. Но

достигнуть его нелегко, ведь дружба страдает рассеянностью или по крайней мере она немощна. Она хочет, но не может. Вероятно, она недостаточно сильно хочет? Или мы недостаточно любим жизнь. Заметили вы, что только смерть пробуждает наши чувства? Как горячо мы любим друзей, которых отняла у нас смерть. Верно? Как мы восхищаемся нашими учителями, которые уже не могут говорить, ибо у них в рот набилась земля. Без тени принуждения мы их восхваляем, а может быть, они всю жизнь ждали от нас хвалебного слова. И знаете, почему мы всегда более справедливы и более великодушны к умершим? Причина очень проста. Мы не связаны обязательствами по отношению к ним. Они не стесняют нашей свободы, мы можем не спешить восторгаться ими и воздавать им хвалу между коктейлем и свиданием с хорошенькой любовницей — словом, в свободное время. Если бы они и обязывали нас к чему-нибудь, то лишь к памяти о них, а память-то у нас короткая. Нет, мы любим только свежие воспоминания о смерти наших друзей, свежее горе, свою скорбь — словом, самих себя!

Был у меня друг, от которого я чаще всего убегал. Скучный был человек и все читал мне мораль. Но когда он заболел и был уже при смерти, будьте покойны, я, конечно, явился. Ни одного дня не пропустил. Он умер, очень довольный мною, пожимал мне руки. У назойливой моей любовницы, которая слишком часто и тщетно зазывала меня к себе, хватило такта умереть молодой. Какое место она сразу заняла в моем сердце! А представьте себе не просто смерть, а самоубийство. Боже мой! Какая поднимается волнующая суматоха! Звонки по телефону, излияния сердца, нарочито короткие фразы, полные намеков и сдержанного горя, и даже, да-да, даже обвинения в свой адрес.

Так уж скроен человек, дорогой мой, это двуликое существо: он не может любить, не любя при этом самого себя. Понаблюдайте за соседями, когда в вашем доме кто-нибудь вдруг умрет. Все шло тихо, мирно, и вот, скажем, умирает швейцар. Тотчас все всполошится, засуетятся, станут расспрашивать, сокрушаться. Покойник готов к показу, начинается представление. Людям требуется трагедия, что поделаешь, это их врожденное влечение, это их аперитив. А кстати, я не случайно упомянул о швейцаре. У нас был в доме швейцар, настоящий урод, и к тому же злой как дьявол, ничтожество и злопыхатель, он привел бы в отчаяние самого кроткого монаха-францисканца. При его жизни я даже разговаривать с ним перестал. Одним уж своим существованием он портил мне жизнь. Но вот он умер, и я пошел на его похороны. Скажите мне, пожалуйста, почему?

За два дня, предшествующих погребению, произошло, впрочем, много интересного. Жена покойного была больна и лежала в постели, комната в швейцарской только одна, и рядом с кроватью поставили на козлы гроб. Жильцам приходилось самим брать в швейцарской почту. Они отворяли дверь, говорили: «Здравствуйте, мадам», выслушивали хвалу усопшему, на которого жена указывала рукой, и уходили, захватив письма и газеты. Ничего приятного в этом нет, не правда ли? И однако ж, все жильцы продефилировали в швейцарской, где воняло карболкой. И никто

не посылал вместо себя слуг, нет, все сами спешили насладиться зрелищем. Слуги тоже приходили, но в качестве дополнения. В день похорон оказалось, что гроб не проходит в двери. «Ох, миленький ты мой,—говорила лежащая в постели вдова с восторженным и скорбным удивлением,—какой же ты был большой!» «Не беспокойтесь, мадам,—отвечал распорядитель похорон,—мы его накреним и пронесем». Гроб пронесли, а потом водрузили на катафалк. И только я один (кроме бывшего рассыльного из соседнего кабака, постоянного, как я понял, собутыльника усопшего), да, я один проводил покойного на кладбище и бросил цветы на гроб, удививший меня своей роскошью. Затем я навестил вдову и выслушал ее трагическое выражение благодарности. Ну скажите мне, что за причина всему этому. Никакой — аперитив, и только.

Я хоронил также старого сотрудника коллегии адвокатов. Обыкновенный жалкий чинуша, которому я, однако, всегда пожимал руку. Впрочем, там, где я работал, я всем пожимал руки, и даже по два раза на день. Этим простым знаком внимания я, можно сказать, по дешевке завоевывал всеобщую симпатию, необходимую для моего душевного благоденствия. На похороны старика председатель коллегии, конечно, не пожаловал. Я же счел нужным явиться, хотя на другой день отправлялся в путешествие, и это многие подчеркивали. Но ведь я знал, что мое присутствие будет замечено и весьма лестно для меня истолковано. Как же иначе! Меня не остановил даже сильный снегопад, испугавший других.

Что? Да вы не беспокойтесь, я не отклоняюсь от темы. Только разрешите мне сначала отметить, что вдова нашего швейцара, можно сказать разорившаяся на дорогое распятие, на дубовый гроб с серебряными ручками, доказывавший глубину ее скорби, не позже чем через месяц сошлась с франтиком, обладавшим прекрасным голосом. Он ее колотил, из швейцарской неслись ужасные вопли, но тогда же после экзекуции он отворял окно и орал свой любимый романс: «О женщины, как вы милы!» «И все-таки...» — сокрушались соседи. А что, спрашивается, «все-таки»? Словом, внешние обстоятельства говорили против этого баритона. Верно? И вдова тоже хороша! Впрочем, кто докажет, что они не любили друг друга? И кто докажет, что она не любила умершего мужа? Кстати сказать, как только франтик улетучился, насадив себе голос и руку, верная супруга опять принялась восхвалять покойного. Да в конце концов я знаю много случаев, когда внешние обстоятельства говорят в пользу безутешных вдов и вдовцов, а на самом деле они не более искренни и верны, чем эта жена швейцара. Я знал человека, который отдал двадцать лет своей жизни сушей вертихвостке, пожертвовал ради нее решительно всем — друзьями, карьерой, приличиями и в один прекрасный день обнаружил, что никогда ее не любил. Ему просто было скучно, как большинству людей. Вот он и создал себе искусственную жизнь, сотканную из всяких сложных переживаний и драм. Надо, чтобы что-нибудь случилось,—вот объяснение большинства человеческих конфликтов. Надо, чтобы что-нибудь случилось необыкновенное, пусть даже рабство без любви, пусть даже

война или смерть! Да здравствуют похороны!

Но у меня не было даже такого оправдания. Меня отнюдь не томила скука, потому что я царствовал. В тот вечер, о котором я хочу сказать, я скучал меньше, чем когда бы то ни было, и совсем не жаждал, чтобы случилось «что-нибудь необыкновенное». А между тем... Представьте себе, дорогой мой, как спускается над Сеной осенний мягкий вечер, еще теплый, но уже сырой. Наступают сумерки, на западе небо еще розовое, но постепенно темнеет, фонари светят тускло. Я шел по набережным левого берега к мосту Искусств. Между запертыми ларьками букинистов поблескивала река. Народу на набережных было немного. Парижане уже сели за ужин. Я наступал на желтые и пыльные опавшие листья, еще напоминавшие о лете. В небе мало-помалу загорались звезды... Минуешь фонарь, отойдешь на некоторое расстояние — они становятся заметнее. Я наслаждался тишиной, прелестью вечера, безлюдьем. Я был доволен истекшим днем: помог перейти через улицу слепому, потом оправдалась надежда на смягчение приговора моему подзащитному, он горячо пожал мне руку; я выказал щедрость кое в каких мелочах, а после обеда в кружке приятелей блеснул импровизированной речью, обрушившись на черствость сердец в правящем классе и лицемерие нашей элиты.

Я нарочно пошел по мосту Искусств, совсем пустынному в этот час, и, остановившись, перегнулся через перила: мне хотелось посмотреть на реку, еле видневшуюся в густеющих сумерках. Остановился я напротив статуи Генриха IV, как раз над островом. Во мне росло и ширилось чувство собственной силы и, я сказал бы, завершенности. Я выпрямился и хотел было закурить сигарету, как это бывает в минуту удовлетворения, как вдруг за моей спиной раздался смех. Я в изумлении оглянулся — никого. Я подошел к причалу — ни баржи, ни лодки. Вернулся на старое место — к острову — и снова услышал у себя за спиной смех, только немного дальше, как будто он спускался вниз по реке. Я замер неподвижно. Смех звучал тише, но я еще явственно слышал его позади себя. Откуда он шел? Ниоткуда. Разве только из воды. Я чувствовал, как колотится у меня сердце. Заметьте, пожалуйста, в этом смехе не было ничего таинственного — такой славный, естественный, почти дружеский смех, который все ставит на свои места. Да, впрочем, он вскоре прекратился, я ничего больше не слышал. Я пошел по набережным, свернул на улицу Дофины, купил совсем не нужные мне сигареты. Я был ошеломлен, я тяжело дышал. Вечером я позвонил приятелю, его не оказалось дома. Хотел пойти куда-нибудь и вдруг услышал смех под своими окнами. Я отворил окно. Действительно, на тротуаре смеялись: какие-то молодые люди весело хохотали, прощаясь друг с другом. Пожав плечами, я затворил окно, меня ждала папка с материалами по делу, которое я вел. Я пошел в ванную, выпил стакан воды. Увидел в зеркале свое лицо, оно улыбалось, но улыбка показалась мне какой-то фальшивой.

Что? Простите, я задумался. Вероятно, мы завтра увидимся. Завтра, так будет лучше. Нет-нет, сегодня я не могу остаться. К

тому же меня зовет для консультации некий медведь косолапый — видите, вон там? Вполне порядочный человек, а полиция по своей мерзкой привычке ужасно придирается к нему. Вы находите, что у него физиономия убийцы? Полноте, такая внешность естественна при его профессии. Он действительно налетчик, и вы, конечно, удивитесь, если я скажу, что он неплохо разбирается в живописи и торгует картинами. В Голландии все понимают толк в живописи и в тюльпанах. Этому человеку, несмотря на его скромный вид, приписывают одну из самых смелых краж. Он украл картину. Какую? Я, пожалуй, скажу. Не удивляйтесь, что я знаю. Хотя я судья на покаянии, у меня есть свои увлечения: я состою юрисконсультом этих славных людей. Я изучил законы страны, и у меня появилась клиентура в этом квартале — тут не требуют предъявления диплома. Сначала мне было нелегко, но ведь я внушаю людям доверие: у меня такой приятный, искренний смех, такое энергичное пожатие руки, а это большие козыри. Кроме того, я им помог в нескольких запутанных делах, сделав это не только из корысти, но и по убеждению. Ведь если бы сутенеры и воры всегда и всюду подвергались суровым карам, то так называемые честные люди считали бы себя совершенно невинными, дорогой мой. Подождите, подождите, я уже подхожу к самой сути, по-моему, как раз этого-то и следует избегать. Иначе уж очень бы смешно получилось.

Право, дорогой мой соотечественник, я очень вам признателен за ваше любопытство. Но в моей истории нет ничего необыкновенного. Раз она вас интересует, учтите, что я помнил об этом смехе совсем недолго — несколько дней, а потом забыл о нем.

Изредка мне казалось, что я слышу его где-то в себе. Но обычно я без всяких усилий со своей стороны думал о другом.

Должен, однако, признаться, что я больше не ходил на набережные. Когда я проезжал там в такси или в автобусе, во мне все замирало — в ожидании, кажется мне. Но мы спокойно проезжали по мосту, никогда ничего не случалось, и я вздыхал с облегчением. Как раз в ту пору у меня немного расстроилось здоровье. Ничего определенного, просто какая-то подавленность, с трудом возвращалось бывшее хорошее настроение. Я обращался к врачам, мне прописывали всякие укрепляющие средства. Бывало, приободрись, а потом опять раскиснешь. Жить стало невесело: когда какая-нибудь болезнь подтачивает тело, сердце томит тоска. Мне казалось, что я отчасти разучился делать то, чему никогда не учился, но так хорошо умел — жить. Да, кажется, тогда-то все и началось.

А знаете, нынче вечером я не в форме. Не клеится у меня рассказ. Право, язык не ворочается, и все красноречие иссякло. Погода, должно быть, виновата. Трудно дышать, воздух такой тяжелый, просто давит на грудь. А что, если бы мы, дорогой соотечественник, вышли прогуляться по городу? Не возражаете? Спасибо.

Как хороши нынче вечером каналы! Я люблю, когда ветер повеет над этими стоячими водами, принесет запах листьев,

которые мокнут в канале, и похоронный запах, поднимающийся с баркасов, нагруженных цветами. Нет-нет, в моей любви к этим запахам нет ничего извращенного, болезненного. Наоборот, я сознательно стараюсь привыкнуть к ним. По правде говоря, я заставляю себя восхищаться амстердамскими каналами. Но больше всего на свете я, знаете ли, люблю Сицилию, она так прекрасна, когда видишь ее с высоты Этны, всю залитую светом, видишь весь остров и расстилающееся внизу море. Ява тоже хороша, но только в период пассатов. Да-да, я там побывал в молодости. Я вообще люблю острова. Там легче царить.

Какой прелестный дом, взгляните. А две скульптуры, которые вы там видите,—это головы негров-невольников. Вывеска. Дом принадлежал работоторговцу. О, в те времена игру вели в открытую! Смелые были дельцы. Не стеснясь, заявляли: «Вот мой дом, я богат, торгую невольниками, продаю черное мясо». Можете вы себе представить, чтобы нынче кто-нибудь публично сообщил, что он занимается таким промыслом? Вот был бы скандал! Воображаю, каких слов наговорили бы мои собратья в Париже. В этом вопросе они непоколебимы, они тотчас же выпустили бы два-три манифеста, а может, и больше! Поразмыслив, я бы тоже поставил свою подпись под их протестами. Рабство? О нет, нет! Мы против! Разумеется, мы вынуждены ввести его в своих владениях или на заводах—это в порядке вещей, но хвалиться такими делами? Это уж безобразие!

Я хорошо знаю, что нельзя обойтись без господства и без рабства. Каждому человеку рабы нужны как воздух. Ведь приказывать так же необходимо, как дышать. Вы согласны со мной? Даже самому обездоленному случается приказывать. У человека, стоящего на последней ступени социальной иерархии, имеется супружеская или родительская власть. А если он холост, то может приказывать своей собаке. В общем, главное, чтобы ты мог разгневаться, а тебе не смели бы отвечать. «Отцу не смей отвечать». Вы знаете это требование? Странное все-таки правило. Кому же нам и отвечать в этом мире, как не тем, кого мы любим. Но в известном смысле это верное правило. Надо же, чтобы за кем-то оставалось последнее слово. А то ты скажешь слово, а тебе в ответ два, так спор никогда и не кончится. Зато уж власть живо оборвет любые пререкания. Далеко не сразу, но все же мы поняли это. Вы, я полагаю, заметили, что наша старуха Европа стала наконец рассуждать так, как надо. Мы уже не говорим, как в прежние наивные времена: «Я думаю так-то и так-то. Какие у вас имеются возражения?» У нас теперь трезвые взгляды. Диалог мы заменили сообщениями: «Истина состоит в том-то и том-то. Можете с ней не соглашаться, меня это не интересует. Но через несколько лет вмешается полиция и покажет вам, что я прав».

Ах, дорогая наша планета! Все на ней теперь ясно. Мы друг друга знаем, мы поняли, на что каждый способен. Вот погодите, я приведу в пример себя (не меняя, однако, темы). Я всегда хотел, чтобы мне служили с улыбкой. Если у прислуги был печальный вид, это портило мне настроение. Она, разумеется, имела право печалиться, но я находил, что для нее было бы лучше, если бы она прислуживала смеясь, а не плача. Хотя, в сущности, это было

бы лучше не для нее, а для меня. Однако скажу без хвастовства, мое рассуждение не было сплошным идиотством. И вот еще — я всегда отказывался обедать в китайских ресторанах. Почему? Потому что в присутствии белых азиаты, когда они молчат, зачастую принимают презрительный вид. Разумеется, презрительное выражение сохраняется у них и когда они обслуживают нас за столиком. Ну как в таком случае есть с удовольствием цыпленка, а главное, как думать, глядя на них, что мы выше желтокожих?

Словом, скажу вам по секрету, рабство, по преимуществу улыбающееся, необходимо. Но мы должны скрывать его. Раз мы не можем обойтись без рабов, не лучше ли называть их свободными людьми? Во-первых, из принципа, а во-вторых, чтобы не ожесточать рабов. Должны же мы их как-то компенсировать, верно? Тогда они всегда будут улыбаться и у нас будет спокойно на душе. А иначе нам придется туго: начнем копаться в себе, с ума сходить от горестных мыслей, даже можем сделаться скромными — всего можно ожидать. Поэтому никакого афиширования. Нахальная вывеска с головами негров просто возмутительна! Да и вообще, если все примутся откровенничать, раскрывать свои подлинные занятия, свою личность, некуда будет от стыда деваться! Вообразите себе визитную карточку, на которой напечатано: «Дюпон — философ и трус», или «стяжатель и христианин», или «гуманист и прелюбодей». Выбор богатый. Но это был бы сущий ад! Да-да, в аду так и должно быть: улицы с вывесками и никакой возможности вступить в объяснение. Ярлык повешен раз и навсегда.

Право, советую вам, дорогой соотечественник, подумать немножко, каков будет ваш ярлык. Вы молчите? Ну ничего, потом ответите. Во всяком случае, я-то свой ярлык знаю: «Двуликий. Обаятельный Янус». А сверху девиз: «Не доверяйтесь ему». На визитных же карточках будет напечатано: «Жан-Батист Кламанс, комедиант». Знаете, через некоторое время после того вечера, о котором я рассказывал, появилось, как я заметил, что-то новое в моем поведении. Расставшись со слепым на углу тротуара, до которого я помог ему добраться, я на прощание снимал шляпу и кланялся слепцу. Разумеется, поклон предназначался не для слепого — он ведь не мог меня видеть. Для кого же? Для публики. Роль сыграна, актер кланяется. Недурно, а? Однажды в ту же самую пору владельцу автомобиля, благодарившему меня за помощь в аварии, я ответил, что никто другой не приложил столько стараний. Разумеется, я хотел сказать: «Всякий на моем месте». Из-за этой злополучной оговорки у меня сжалось сердце. Ведь я же отличался, по всеобщему мнению, непревзойденной скромностью.

А на самом-то деле, признаюсь, дорогой соотечественник, меня просто распирало от тщеславия. «Я», «я», «я»! — вот лейтмотив моей жизни, он слышался во всем, что я говорил. Я не мог обойтись без хвастовства, но обладал искусством хвастаться с потрясающей скромностью. Правда, я всегда жил привольно и ощущал свою силу. И притом я чувствовал себя совершенно свободным от обязательств перед другими людьми по той простой

причине, что всегда считал себя умнее всех, как я вам уже говорил, а также наделенным более совершенными органами чувств; я, например, превосходно стрелял, великолепно водил машину, был отличным любовником. Даже там, где легко было убедиться, что я отстаю от других, например на теннисном корте, ибо в теннис я играл посредственно, я не мог отказаться от мысли, что, будь у меня время потренироваться, я превзошел бы чемпионов. Я видел в себе только замечательные качества, этим объяснялись мое самодовольство и безмятежное душевное спокойствие. Если я уделял внимание ближним, то только из снисходительности, без всякого принуждения и поэтому еще больше заслуживал похвалы и мог подняться еще выше в своей любви к самому себе.

Все эти истины и некоторые другие мало-помалу открылись мне после знаменательного вечера, о котором я вам рассказал. Не сразу, нет, и сперва не очень четко. Сначала нужно было, чтобы ко мне вернулась память. Постепенно я стал все видеть яснее, разобрался в том, что знал. Раньше мне всегда облегчала жизнь удивительная способность забывать. Я забывал все, и прежде всего свои решения. Войны, самоубийства, любовные трагедии, нищета людей — для меня все это не шло в счет. Конечно, я обращал на это внимание, когда меня принуждали к тому обстоятельства, но, так сказать, из вежливости, поверхностно. Порой я как будто горячо принимал к сердцу дело, совершенно чуждое моей повседневной жизни. Но по существу оставался к нему равнодушен, за исключением тех случаев, когда стесняли мою свободу. Как бы это сказать? Все скользило. Да, все скользило по поверхности моей души.

Будем справедливы: случалось, моя забывчивость была похвальной. Заметили вы, что встречаются люди, которые по заповедям своей религии должны прощать и действительно прощают обиды, но никогда их не забывают? Я же совсем не склонен был прощать, но в конце концов всегда забывал. И оскорбитель, полагавший, что я ненавижу его, не мог прийти в себя от изумления, когда я с широкой улыбкой здоровался с ним. Тогда он в зависимости от своего характера восхищался величием моей души или же презирал мою трусость, не зная, что причина куда проще: я позабыл даже его имя. Мое великодушие объяснялось той самой природной ущербностью, которая делала меня неблагодарным или безразличным к людям.

Итак, я жил изо дня в день, и одно было у меня на уме: мое «я», мое «я», мое «я». День за днем — женщины, день за днем — благородные речи и блуд, будничный, как у собак; но каждый день я был полон любви к себе и крепко стоял на ногах. Так и текла жизнь, очень поверхностная, вся, так сказать, в словах, ненастоящая. Столько книг, но они едва перелистаны, столько друзей, но им едва отдаешь крохотную частичку сердца, столько женщин, но как мимолетны эти связи! Чего я только не вытворял от скуки и в поисках развлечений! Женщины, живые люди, шли за мною, пытались ухватиться за меня, но ничего у них не получалось, к несчастью. К несчастью для них. Ведь я-то быстро их забывал. Я всегда помнил только о себе.

Постепенно, однако, память ко мне вернулась. Нет, я сам обратился к ней, и тогда воскресли воспоминания, долго ожидавшие меня. Но прежде чем рассказать о них, позвольте, дорогой соотечественник, привести несколько примеров (я уверен, они вам пригодятся)—примеров тех открытий, которые я сделал во время моих изысканий.

Однажды я вел машину и на мгновение замешкался нажать стартер, когда зажегся зеленый свет, наши терпеливые сограждане тотчас пустили в ход гудки, подняли адский рев, и тут мне внезапно вспомнилось происшествие, случившееся со мной при таких же обстоятельствах. Меня в тот раз обогнал мотоциклист, маленький, сухонький человечек в очках и в брюках гольф. Обогнал и остановился как раз передо мной, выехав на красный свет.

Мотоциклист выключил мотор, а мотор вдруг заело, и он тщетно пытался запустить его. Зажегся зеленый свет, я с обычной моей учтивостью деликатно прошу мотоциклиста: «Подвиньте, пожалуйста, свою машину, дайте проехать». А этот маленький человечек разнервничался, бьется над своим заглушим мотором. И отвечает мне по всем правилам парижской вежливости, чтобы я убирался ко всем чертям. Я настаиваю все так же деликатно, но уже с ноткой нетерпения в голосе. Тотчас же я услышал в ответ, что меня надо вздрючить как следует. А позади уже раздаются нетерпеливые гудки. Тогда я твердым тоном прошу мотоциклиста держать себя прилично и учесть, что он мешает личному движению. Раздражительный человечек, несомненно придя в отчаяние от злого упрямства своего мотора, сообщил мне, что если я желаю «схлопотать по морде», то он с большим удовольствием надает мне оплеух. Такой цинизм возмутил меня, и я вылез из машины, намереваясь надрать грубияну уши. Я отнюдь не считал себя трусом (мало ли что мнишь о себе), я был на голову выше своего противника, моя мускулатура всегда превосходно служила мне. Мне и теперь еще кажется, что трепку, скорее всего, задал бы я, а не этот поскребыш. Но едва я вылез на мостовую, тотчас собралась толпа, из нее вышел какой-то тип, бросился ко мне и заявил, что я последний негодяй и что он не позволит мне ударить человека, который не может слезть с мотоцикла и, следовательно, находится в невыгодном для себя положении. Я повернулся к этому мушкетеру, но, по правде сказать, даже и не увидел его. Едва я повернул голову, как мотоцикл затрещал во всю мочь, а мотоциклист изо всей силы дал мне по уху. Не успел я сообразить, что произошло, как он умчался. Растерявшись, я машинально двинулся к д'Артаньяну, но тут начался отчаянный концерт—за моей машиной уже выстроилась вереница автомобилей. Снова зажегся зеленый свет. И тогда я, все еще растерянный, вместо того чтобы оттаскать дурака, набросившегося на меня, покорно забрался в машину и поехал, а дурак послал мне вдогонку: «Что, съел?»—и я все еще помню об этом оскорблении.

Вы скажете, что случай пустячный. Разумеется. Но я долго не мог его забыть—вот что важно. Правда, у меня были смягчающие обстоятельства. Меня ударили, я не дал сдачи, но в

трусости меня обвинить никто не мог. Я был застигнут врасплох, на меня налетели с двух сторон, все у меня смешалось, а ревущие гудки довершили мое смятение. И все же я чувствовал себя таким несчастным, словно совершил какой-то бесчестный поступок. Мне все вспоминалось, как я влезаю в свой автомобиль, ничем не ответив на оскорбление, и меня провожают насмешливые взгляды столпившихся зевак, восхищенных моим унижением, тем более что на мне был очень элегантный светло-синий костюм. Мне все слышалось: «Что, съел?» — возглас, совершенно оправданный положением. Я сел в лужу, публично сдрейфил. Правда, так сложились обстоятельства, но ведь обстоятельства всегда существуют. Задним числом я прекрасно соображал, что мне следовало сделать. Коротким боксерским ударом сбить с ног д'Артаньяна, вскочить в автомобиль, помчаться вдогонку за тем сморчком, который ударил меня, настигнуть его, прижать его мотоцикл к тротуару, оттащить нахала в сторонку и задать ему заслуженную взбучку. Сто раз прокручивал в своем воображении этот коротенький фильм, с некоторыми вариантами. Но ничего не поделаешь — поздно! Несколько дней я был в отвратительном настроении.

Смотрите, опять дождь. Давайте постоим под воротами. Прекрасно. Так на чем же я остановился? Да, на защите чести! И вот, вспоминая об этом происшествии, я понял его значение. В общем, мои мечтания не выдержали испытания действительностью. Мне казалось, что я человек полноценный, что я всегда заставлю публику уважать себя и как личность, и как профессионала. Наполовину Сердан, наполовину де Голль, если угодно. Короче говоря, я хотел господствовать во всем. Поэтому я рисовался, кокетничал, показывал больше физическую ловкость, нежели интеллектуальные дарования. Но после того, как мне публично дали по уху и я не ответил, было уже невозможно держаться о себе прежнего лестного мнения. Если б я действительно был служителем правды и разума, как я это мнил, разве меня затронуло бы это происшествие, уже позабытое очевидцами? Я бы только досадовал на то, что рассердился из-за пустяков, дал волю гневу и не сумел справиться с неприятными последствиями своей несдержанности. А вместо этого меня одолевали мечты отомстить обидчику, сразиться с ним и победить. Очевидно, я вовсе не стремился к тому, чтобы стать самым разумным и самым великодушным созданием на земле, а хотел одного: оказаться сильнее всех, хотя бы и прибегнув для этого к самым примитивным средствам. Да ведь по правде сказать, каждый интеллигент (вы же это хорошо знаете) мечтает быть гангстером и властвовать над обществом единственно путем насилия. Однако сие не столь легко, как это можно вообразить, начитавшись соответствующих романов, подобные мечтатели бросаются в политику и лезут в самую свирепую партию. Что за важность духовное падение, если таким способом можно господствовать над миром? Я открыл в своей душе сладостные мечты стать угнетателем.

И по крайней мере мне тогда стало ясно, что я стою на стороне преступников, на стороне обвиняемых, поскольку их преступления не причинили мне ущерба. Их виновность воспламе-

няла мое красноречие, потому что я не был их жертвой. А если бы они угрожали мне, я не только стал бы их судьей, но даже больше—я готов был стать гневливым владыкой, объявить их вне закона и подвергнуть их избиению, пыткам, поставить их на колени. При таких желаниях, дорогой соотечественник, довольно трудно сохранить веру в свое призвание служить правосудию, защищать вдов и сирот.

Дождь-то все усиливается, значит, времени у нас достаточно, и я, пожалуй, дерзну поведать вам о новом открытии, сделанном мною вслед за этим, когда я порылся в своей памяти. Разрешите? Присядемте на скамью под навесом. Уже сколько столетий голландцы, покуривая трубку, созерцают здесь одну и ту же картину: смотрят, как дождь поливает канал. Я собираюсь рассказать вам довольно сложную историю. На этот раз речь пойдет о женщине. Во-первых, надо отметить, что я всегда имел успех у женщин, даже без больших стараний с моей стороны. Не хочу сказать, что я давал им счастье или они делали меня счастливым. Нет, просто я имел успех. Почти всегда, когда мне этого хотелось, я добивался своего. Женщины находили меня обаятельным, представьте себе! Вы знаете, что такое обаяние? Умение почувствовать, как тебе говорят «да», хотя ты ни о чем не спрашивал. Так и было у меня когда-то. Вас это изумляет? Правда? Да вы не отрицайте. При моей теперешней физиономии ваше удивление вполне естественно. Увы, с возрастом каждый приобретает тот облик, какого заслуживает. А уж мой-то... Ну да все равно! Факт остается фактом: в свое время меня находили обаятельным и я пользовался успехом.

Я не строил никаких стратегических расчетов, я увлекался искренне или почти искренне. Мое отношение к женщинам было совершенно естественным, непринужденным, легким, как говорится. Я не прибегал к хитрости—разве только к той, явной, упорной, которую женщины считают честью для себя. Я их любил—по общепринятому выражению, то есть никогда не любил ни одну. Я всегда находил презрение к женщинам вульгарным, глупым и почти всех женщин, которых знал, считал лучше себя. Однако, хоть я и ставил их высоко, я чаще пользовался их услугами, чем служил им. Как тут разобраться?

Конечно, истинная любовь—исключение, встречается она два-три раза в столетие. А в большинстве случаев любовь—порождение тщеславия или скуки. Что касается меня, то я, во всяком случае, не был героем «Португальской монахини». У меня совсем не черствое сердце, наоборот, сердце, полное нежности, и я легко плачу. Только мои душевные порывы и чувство умиленности бывают обращены на меня самого. В конце концов нельзя сказать, что я никогда не любил. Нет, одну неизменную любовь питал я в своей жизни—предметом ее был я сам. Если посмотреть с этой точки зрения, то после неизбежных трудностей, естественных в юном возрасте, я быстро понял суть дела: чувственность, и только чувственность, воцарилась в моей любовной жизни. Я искал только наслаждений и побед. Кстати сказать, мне тут помогала моя комплекция: природа была щедра ко мне. Я этим немало гордился и уж не могу сказать, чему я больше

радовался — наслаждениям или своему престижу. Ну вот, вы, наверно, скажете, что я опять хвастаюсь. Пусть это хвастовство, но гордиться мне тут нечем, хоть все это истинная правда.

Во всяком случае, чувственность (если уж говорить только о ней) была во мне так сильна, что ради десятиминутного любовного приключения я отрекся бы от отца и матери, хоть потом и горько сожалел бы об этом. Да что я говорю! Главная-то прелесть и была в мимолетности, в том, что роман не затягивался и не имел последствий. У меня, разумеется, были нравственные принципы, например: жена друга священна. Но весьма искренне и просто-душно я за несколько дней до решающего события лишал своей дружбы обманутого мужа. Чувственность. А может быть, не следует это так называть? В чувственности самой по себе нет ничего отталкивающего. Будем снисходительны и лучше уж назовем уродством прирожденную неспособность видеть в любви что-либо иное, кроме некоего акта. Уродство это было для меня удобным. В сочетании с моей способностью оно обеспечивало мне свободу. А кроме того, сообщая мне выражение гордой отчужденности и бесспорной независимости, оно давало мне шансы на новые победы. Я не отличался романтичностью, но был героем многих романов. Право, у наших возлюбленных есть кое-что общее с Бонапартом: они всегда думают одержать победу там, где все терпели поражение.

В отношениях с женщинами я, впрочем, искал не только удовлетворения своей чувственности — это была для меня также игра. В женщинах я видел партнеров своеобразной игры, где они как будто защищали свое целомудрие. Видите ли, я не выношу скуки и ценю в жизни только развлечения. Самое блестящее общество быстро надоедает мне, но мне никогда не бывает скучно с женщинами, которые мне нравятся. Стыдно признаться, но я отдал бы десять бесед с Эйнштейном за первое свидание с хорошенькой статисткой. Правда, на десятом свидании я стал бы вздыхать об Эйнштейне или о серьезной книге. В общем, высокие проблемы интересовали меня лишь в промежутках между любовными приключениями. И сколько раз бывало, что, остановившись с друзьями на тротуаре, я вдруг терял нить мысли в горячем споре только потому, что в эту минуту через улицу переходила какая-нибудь обольстительница.

Итак, я вел игру. Я знал, что женщины не любят, когда к цели идут слишком быстро. Сначала нужны были словесные упражнения, нежность, как они говорят. Меня не затрудняли ни разговоры, поскольку я адвокат, ни проницательные взгляды, ибо на военной службе я участвовал в драматическом кружке. Роли я менял часто, но, по сути дела, пьеса была одна и та же. У меня был коронный номер: непостижимое влечение, «что-то такое» непонятное, беспричинное, неодолимое, хотя я бесконечно устал от любви, и так далее — очень старая роль в моем репертуаре, но всегда производившая впечатление. Был еще и другой номер: таинственное блаженство, которого не давала мне еще ни одна женщина; быть может, и даже наверное, миг счастья будет очень кратким (надо же обезопасить себя), но ничто не может с ним сравниться. А главное, я отработал небольшую тираду, всегда

встречавшую благосклонный прием. Я уверен, что она и вам понравится. Суть этой тирады в горьком и смиренном признании, что я ничтожество, пустой человек и не стою женской привязанности, что я никогда не знал простого, бесхитростного счастья, быть может, я предпочел бы его всему на свете, но теперь уж поздно. О причинах этого непоправимого загадочного запоздания я умалчивал, зная, как выгодно окутывать себя тайной. В некотором смысле я верил тому, что говорил,—я вживался в роль. Неудивительно, что и мои партнерши тоже спешили выйти на сцену. Самые чувствительные из моих подруг пытались «понять меня» и предавались меланхолическим излияниям. Другие же, довольные тем, что я соблюдаю правила игры и до начала атаки деликатно задерживаюсь на разговорах, иной раз сами переходили в наступление. Для меня это был двойной выигрыш: я не только мог тогда утолить свое вождение, но и насладиться чувством удовлетворенной любви к самому себе, убеждаясь всякий раз в своей власти.

И если даже случалось, что некоторые мои партнерши доставляли мне лишь посредственное удовольствие, я время от времени назначал им свидания—этому способствовало вдруг вспыхнувшее желание, которое обстреляла разлука, и готовность отозваться на него, загоравшаяся в моей прежней сообщнице; мне хотелось убедиться, что связь наша не порвана окончательно: стоит мне только пожелать, и она возобновится. Иной раз я брал с женщин клятвенное обещание не принадлежать никому другому, кроме меня,—так меня это беспокоило. Но ни сердце, ни воображение не участвовали в этой игре. Самодовольство, укоре-нившееся во мне, не допускало вопреки очевидности, чтобы женщина, принадлежавшая мне, могла когда-нибудь принадлежать другому. Впрочем, клятва, которой я требовал, связывала только женщину, а мне предоставляла свободу. Покинутая мною не будет принадлежать никому, значит, можно разорвать с нею, а иначе это почти всегда было просто невымыслимо. Что касается женщин, то проверкой раз и навсегда были установлены прочность и длительность моей власти над ними. Любопытно? А ведь это сущая правда, дорогой соотечественник. Одни кричат: «Люби меня!», другие: «Не люби меня!» А есть такая порода людей, самая скверная и самая несчастная, которая требует: «Не люби меня и будь мне верна».

Только вот в чем дело: проверка никогда не бывает окончательной, ее надо возобновлять с каждой новой возлюбленной. Повторяешь, повторяешь—и создается привычка. Вскоре уже говоришь, не думая, уже вырабатывается рефлекс, и в один прекрасный день добиваешься обладания, не чувствуя настоящего влечения. Поверьте, для некоторых людей отказаться от обладания тем, чего они вовсе и не желают, труднее всего на свете.

Так со мною и случилась однажды неприятность, а не лишним будет сказать, что женщина эта не очень волновала меня, но мне нравился ее облик, в котором было что-то покорное и жаждущее. Откровенно говоря, удовольствие оказалось посредственным, как и следовало ожидать. Но я никогда не страдал никакими

комплексами и быстро забыл эту особу, с которой решил больше не встречаться. Я думал, что она ничего не заметила, мне даже и на ум не приходило, что у нее может быть свое мнение на этот счет: ведь она была так скромна, так не походила на других женщин. Но через некоторое время я узнал, что она доверительно рассказала третьим лицам о недостаточной моей мужественности. Меня кольнуло чувство обиды, как будто я стал жертвой обмана: она оказалась не такой уж пассивной, как я думал, и могла судить о подобных вещах. Однако я пожал плечами и притворно рассмеялся. Нет, я рассмеялся искренне, слишком уж был незначителен этот случай. Если есть сфера, где скромность должна считаться правилом, то это именно сексуальная жизнь со всеми ее неожиданностями, не правда ли? Так ведь нет, каждый хочет перещеголять других, даже в мыслях, наедине с собой. И несмотря на то, что я пожал плечами, знаете, как я себя повел? Немного позднее встретился с этой женщиной, сделал все, чтобы ее пленить, и снова овладел ею. Это было не очень трудно: женщины тоже не любят разочарований. И с тех пор я почти непроизвольно принял всячески терзать ее. Я бросал ее и вновь привлекал к себе, принуждал ее отдаваться мне в неподходящее время и в неподходящем месте, всегда и во всем обращался с нею так грубо, что в конце концов даже привязался к ней, как, думается, тюремщик бывает привязан к заключенному. И так длилось до тех пор, пока она в бурном порыве болезненной и вынужденной страсти откровенно воздала хвалу тому, что ее поработало. С того дня я стал удаляться от нее. А потом и вовсе забыл.

Несмотря на ваше вежливое молчание, я согласен с вами, что в этом любовном приключении моя роль не из красивых. Но обратитесь к своей собственной жизни, дорогой соотечественник! Покопайтесь в воспоминаниях, может быть, вы найдете среди них подобную же историю и позднее расскажете ее мне. Что касается меня, то, когда это приключение вспоминалось мне, я всегда смеялся. Но уже иным смехом, похожим на тот, который я услышал на мосту Искусств. Я смеялся над своим краснобайством и своими речами в суде. Даже больше над своими судебными речами, чем над краснобайством с женщинами. Им-то я по крайней мере лгал очень мало. Во всем моем поведении так ясно, без уверток говорил инстинкт. Любовный акт, например, ведь это признание. Тут и голый эгоизм, тут и тщеславие, а иной раз подлинное великодушие. Право же, в этой плачевной истории еще больше, чем в других моих романах, и больше, чем я думаю, я был откровенным, ибо ясно показал, кто я такой и как я мог бы жить. Но даже тогда — нет, именно тогда, когда я вел себя так, как рассказал сейчас, — в моей личной жизни было больше достоинства, чем в моих высокопарных адвокатских разглагольствованиях о невиновности и правосудии. По крайней мере, вглядываясь в свое поведение с женщинами, я не мог обманываться насчет истинной сути моей натуры. Человек никогда не бывает лицемером в своих удовольствиях, где-то я вычитал такую мысль или же сам до нее додумался. Верно сказано, дорогой соотечественник?

Когда я вспоминаю, с каким трудом мне удавалось окончательно порвать с женщиной—с таким трудом, что у меня из-за этого бывало по несколько связей одновременно,—я отнюдь не приписываю это нежности своего сердца. Вовсе не она руководила мною, когда одна из моих возлюбленных, устав ждать Аустерлица нашей страсти, собиралась ретироваться. Тотчас же я раскрывал ей объятия, делал всевозможные уступки, становился красноречив. Я пробуждал в ней нежность и сладостное умиление, а сам испытывал эти чувства лишь по видимости, был только немного взволнован угрозой разрыва и утраты женской привязанности. Правда, иной раз мне казалось, что я действительно страдаю. Но стоило мятежнице расстаться со мной, как я без труда забывал о ней; впрочем, я помнил о ней ничуть не больше, если она решалась вернуться. Нет, не любовь и не великодушные подтеги-вали меня, когда мне грозила опасность оказаться покинутым, а только желание быть любимым и получать то, что, по моему мнению, мне полагалось по праву. Убедившись, что я любим, я вновь забывал о своей партнерше, зато сам сиял, приходил в прекрасное настроение и снова становился обаятельным.

Заметьте, кстати, что вновь завоеванная привязанность тяготила меня. В минуты досады я говорил себе тогда, что идеальным выходом была бы смерть увлекшейся мною женщины. Смерть, во-первых, окончательно скрепила бы наши узы, а во-вторых, избавила бы ее от всякого принуждения. Но ведь нельзя желать всем смерти и уничтожить в конце концов население нашей планеты для того, чтобы воспользоваться неограниченной свободой, которая иначе немислима. Против такого метода восставала моя чувствительность и моя любовь к людям.

Единственное глубокое чувство, которое мне случалось испытывать во всех этих любовных интригах, была благодарность, если все шло хорошо, если меня оставляли в покое и давали мне полную свободу действий. Ах, как я бывал любезен и мил с женщиной, если только что побывал в постели другой, я словно распространял на всех остальных признательность, которую испытывал к одной из них. Какова бы ни была путаница в моих чувствах, суть их была ясна: я удерживал подле себя своих возлюбленных и друзей для того, чтобы пользоваться их любовью, когда вздумается. Я сам признавал, что мог бы жить счастливо лишь при условии, если на всей земле все люди или по крайней мере как можно больше людей обратят взоры на меня, никогда не узнают иной привязанности, не узнают независимости, готовые в любую минуту откликнуться на мой призыв, обреченные, наконец, на бесплодие до того дня, когда я удостою обласкать их лучом своего света. В общем, чтобы жить счастливо, мне надо было, чтобы мои избранницы совсем не жили. Они должны были получать частицу жизни лишь время от времени и только по моей милости.

Ах, поверьте, мне совсем не доставляет удовольствия рассказывать об этом. Стоит мне вспомнить о той полосе моей жизни, когда я требовал все и ровным счетом ничего не давал взамен, когда я заставлял многих и многих людей служить мне, а их самих как будто прятал в холодильник, чтобы они всегда были

под рукой и я мог бы ими пользоваться по мере надобности, право, уж и не знаю, как назвать то любопытное чувство, которое возникает тогда у меня. Может быть, это стыд? Скажите, дорогой соотечественник, ведь стыд немного жжет душу, верно? Тогда это, пожалуй, стыд или одна из тех нелепых эмоций, которые касаются чести. И во всяком случае, мне кажется, что это чувство не покидало меня с того приключения, которое гвоздем засело у меня в памяти. Я должен рассказать о нем, больше я не могу оттягивать, несмотря на все свои отступления, а в них я проявил столько старания, столько изобретательности, что, надеюсь, вы воздадите мне должное.

Смотрите-ка, дождь перестал! Будьте так любезны, проводите меня до дому. Я устал. Странное дело, устал не оттого, что много говорил, но от одной мысли о том, что мне еще предстоит рассказать. Ну, начнем. Восстановим в нескольких словах главное мое открытие. Буду краток. Зачем много говорить об этом? Долой покровы, которыми закрывают нагую статую, прочь пышные речи! Так вот. Однажды в ноябрьскую ночь года через три после того вечера, когда мне показалось, что кто-то смеется за моей спиной, я возвращался домой по левому берегу Сены и пересек ее по Королевскому мосту. Был час ночи. Моросил мелкий дождь, скорее, изморось, разогнавшая редких прохожих. Я возвращался от своей любовницы, которая, наверное, уже уснула. Мне было хорошо, я чувствовал легкую усталость, успокоенное тело согревала кровь, пробегавшая по жилам неслышно, как этот осенний дождик. На мосту кто-то стоял, перегнувшись через перила, как будто смотрел на реку. Подойдя ближе, я увидел, что это молодая тоненькая женщина, вся в черном. Между черными ее волосами и воротником пальто видна была полоска шеи, беленькой, мокрой от дождя шейки, и это немного взволновало меня. Я на мгновение замедлил шаг, но тут же одернул себя и двинулся дальше. Спустившись с моста на набережную, я двинулся по направлению к бульвару Сен-Мишель, на котором жил. Я прошел уже метров пятьдесят и вдруг услышал шум, показавшийся мне оглушительным в ночной тишине,—шум падения человеческого тела, рухнувшего в воду. Я замер на месте, но не обернулся. И тотчас же раздался крик. Он повторился несколько раз и как будто спускался вниз по течению, но внезапно оборвался. Молчание, наступившее вслед за тем в застывшем мраке, показалось мне бесконечным. Я хотел побежать и не мог пошевелиться. Я весь дрожал от холода и волнения. Я говорил себе: «Надо скорее, скорее»—и чувствовал, как непреодолимая слабость сковала меня. Не помню уж, что я думал тогда: «Слишком поздно, слишком далеко»—или что-то вроде этого. Я стоял неподвижно, прислушивался. Потом медленно двинулся дальше. И никому ни о чем не сообщил.

Но вот мы и пришли, вот мой дом, мое убежище! Завтра? Хорошо, как хотите. Охотно повезу вас на остров Маркен, посмотрите на Зайдерзе. Встретимся в одиннадцать часов утра в «Мехико-Сити». Что? Та женщина? Не знаю, честное слово, не знаю. На другой день и еще несколько дней я не читал газет.

Кукольная деревня, не правда ли? И довольно живописная! Но я привез вас на этот остров не ради его живописности, дорогой друг. Каждый мог бы показать вам эти прелестные чепцы, деревянные башмаки и расписные дома, где сидят рыбаки и курят хороший табак, а в комнате пахнет воском. Нет, я один из тех редких людей, кто может показать вам то, что здесь действительно стоит посмотреть.

Мы с вами подходим к плотине. Надо идти по ней, идти как можно дальше от этих хорошеньких домиков. Давайте теперь присядем. Ну, что скажете? Самый унылый из всех унылых пейзажей. Посмотрите: налево — что-то вроде груды золы, именуемой здесь дюной; направо — серая плотина, у наших ног белесый песчаный берег, перед нами — море, такого же цвета, как вода в корыте, чуть-чуть подкрашенная синькой, а над этими бледными водами раскинулось широкое небо. Какой-то вялый ад, право! Линии только горизонтальные, ни одного яркого пятна, бесцветное пространство, мертвая жизнь. Все стерто, затушевано, перед глазами образ небытия. Нет людей, главное — нет людей! Только вы и я, и перед нами опустевшая наконец планета. А небо живет еще? Да-да, вы правы, дорогой друг. Оно становится плотным от туч, потом в нем образуются провалы, отворяются врата облаков, видны ступени воздушных лестниц. Там голуби. Вы не заметили, что небо в Голландии заполнили миллионы голубей, невидимых голубей — так высоко они летают; они машут крыльями, поднимаются и спускаются все вместе, наполняют небесное пространство волнами сероватых перьев, и ветер то уносит их, то мчит обратно. Голуби ждут там, наверху, ждут весь год. Они кружат над землей, смотрят, хотят спуститься. Но ведь внизу нет ничего — только море и каналы, крыши, и на них вывески, и ни одной головы, на которой птица могла бы пристроиться.

Вы не понимаете, что я хочу сказать? Признаться, устал я. Теряю нить, путаюсь в словах, уже нет той ясности мысли, за которую прославляли меня друзья. Впрочем, это я из принципа говорю «друзья». Друзей у меня нет, а только сообщники. Зато число их умножилось — весь род человеческий, и среди них вы — первый. Откуда я знаю, что у меня нет друзей? Да очень просто: открыл этот факт, когда вздумал было покончить с собой, чтобы сыграть с ними злую шутку и в некотором роде наказывать их. Но кого тут наказывать? Кое-кто был бы изумлен, и только, а наказанным никто бы себя не чувствовал. Я понял, что у меня не было друзей. Да если б у меня и были друзья, что мне от этого? Если бы я мог, покончив с собой, увидеть, какие у них будут физиономии, тогда да, игра стоила бы свеч. Но в земле темно, гробовые доски толстые, саван не прозрачный. Вот если бы глазами души удалось увидеть. Да существует ли она, эта душа, и есть ли у нее глаза? Увы, в этом нет уверенности и никогда не было. А иначе нашелся бы выход из положения, можно было бы наконец заставить людей всерьез отнестись к тебе. Ведь убедить их в твоей правоте, в искренности, в мучительных твоих страданиях можно только своей смертью. Пока ты жив, ты, так сказать, сомнительный случай, ты имеешь право лишь на скептическое к тебе отношение. Вот если бы

имелась уверенность, что можно будет самому насладиться зрелищем собственной смерти, то стоило бы труда доказать им то, чему они не желали верить, и удивить их. А так что же? Ты покончишь с собой, и тогда не все ли равно, верят тебе они или нет? Ты уже не существуешь, не видишь, кто изумлен, кто сокрушается (недолго, конечно),—словом, не сможешь присутствовать, как о том мечтает каждый, на собственных своих похоронах. Чтобы не давать повод к сомнениям, нужно просто умереть.

А может, это и хорошо, что мы ничего не увидим? Нам было бы слишком больно от их равнодушия. «Ты за это заплатишься!»—сказала одна девушка своему отцу, не позволившему ей выйти замуж за какого-то прилизанного хлыща. И покончила с собой. Но отец нисколько не поплатился. Он обожал рыбную ловлю со спиннингом. Через три недели он уже поехал на рыбалку, «чтобы забыться», как он сказал. Отец верно рассчитал—он забыл покойную дочь. По правде говоря, удивляться можно было бы, если бы случилось обратное. Или вот—человек решил умереть, дабы наказать жену, а на деле—возвратил ей свободу. Так лучше уж не видеть всего этого. Да еще ты рисковал бы услышать, какими причинами объясняют твое самоубийство. Что касается меня, я уже заранее знаю: «Он покончил с собою, потому что не мог вынести...» Ах, дорогой мой, как люди недогадливы, какое у них скудное воображение. Они всегда думают, что человек кончает с собой по какой-нибудь одной причине. Но ведь вполне возможно иметь для самоубийства две причины. Нет, это им и в голову не приходит. Так для чего кончать счеты с жизнью, добровольно приносить себя в жертву, пытаюсь создать о себе определенное представление! Ты умрешь, а они воспользуются случаем и выдумают идиотские или вульгарные причины твоей смерти. Мученикам, дорогой друг, надо выбирать между забвением, насмешками или использованием их смерти в каких-нибудь целях. А чтобы их поняли?.. Да никогда!

Будем идти прямо к цели. Я люблю жизнь—вот моя подлинная слабость. Так люблю жизнь, что не могу вообразить себе ничего, находящегося за ее пределами. В этой жадности к жизни есть что-то плебейское, вы не находите? Аристократия смотрит на себя и на свою жизнь немножко со стороны. Если понадобится, аристократ умрет, он скорее уж сломается, чем согнется. А я сгибаюсь, потому что все еще люблю себя. Вот после всего услышанного вами как вы думаете, что со мной случилось? Почувствовал я отвращение к себе? Нисколько! Отвращение я почувствовал к другим. Конечно, я знал свои прегрешения и сожалел о своих слабостях и, однако ж, по-прежнему с похвальным упорством забывал их. Зато суд над другими людьми непрестанно шел в моем сердце. Вас это, конечно, коробит? Вы, вероятно, думаете, что это нелогично. Но вопрос тут не в логике. Тут вопрос в том, чтобы как-нибудь ускользнуть, да, главное—увернуться от суда. Я не говорю—ускользнуть от наказания. Наказание без суда можно перенести. У него есть название, гарантирующее нашу невиновность,—несчастье. Нет, речь идет о том, чтобы избежать суда, избежать придирчивого судебного

разбирательства, сразу его прервать, чтобы приговор никогда не был вынесен.

Но избежать суда не так-то легко. Нынче мы всегда готовы и судить и блудить. С той только разницей, что в первом случае нам нечего бояться неудачи. Если сомневаетесь, прислушайтесь когда-нибудь, о чем говорят за табльдотом в августе месяце на курортах, куда наши сострадательные соотечественники приезжают лечиться от скуки. А если и тогда не решитесь сделать вывод, почитайте произведения наших современных знаменитостей или понаблюдайте, что творится среди вашей собственной родни. Поучительные будут наблюдения. Друг мой, не стоит давать даже самого незначительного повода судить нас. А не то нас растерзают, разорвут на клочки. Нам приходится быть столь же осторожными, как укротителю диких зверей. Если он, по несчастью, порезался бритвой, перед тем как войти в клетку к хищникам, он станет для них лакомым кусочком. И я сразу угадал опасность в тот день, как у меня возникло подозрение, что я не такое уж восхитительное создание. С тех пор я стал недоверчив. Раз у меня чуточку вытекло крови, мне конец — всего сожрут!

Мои отношения с современниками внешне оставались прежними, но понемножку расстраивались. Приятели мои не изменились. Они всегда при случае восхваляли то чувство душевной гармонии и надежности, которое они испытывали близ меня. Однако сам-то я замечал лишь диссонансы в своей душе, лишь хаотическую сумятицу; я чувствовал себя уязвимым, отданным во власть общественного мнения. Люди уже не казались мне почтительной аудиторией слушателей, к которой я привык. Круг, центром которого являлась моя особа, разорвался, и они разместились теперь в ряд, как судьи в судебном заседании. С той минуты, как я стал опасаться, что за некоторые вещи можно меня и осуждать, я, в общем, понял, какое у них неодолимое стремление судить. Да, вот они передо мною, как и раньше, но они смеются. Вернее, мне казалось, что каждый встречный смотрит на меня с затаенной усмешкой. В ту пору у меня даже было такое впечатление, будто им хочется подставить мне подножку. Два-три раза я и в самом деле спотыкался без всякой причины, входя в какое-нибудь общественное место. Один раз даже растянулся у порога. Француз-картезианец, каковым я могу себя назвать, быстро взял себя в руки и приписал эти происшествия божеству, доступному нашему рассудку, то есть случайности. Все равно недоверчивость меня не покидала.

Поскольку внимание мое обострилось, я без труда открыл, что у меня есть враги. Во-первых, в судебных кругах, а во-вторых, в светских. Одних раздражало, что они обязаны мне какой-нибудь услугой. Другие же полагали, что я обязан был оказать им услугу и не сделал этого. Все это было, конечно, в порядке вещей, и подобные открытия не очень огорчали меня. Куда труднее и печальнее было допустить, что у меня есть враги среди людей, едва мне знакомых и даже совсем незнакомых. По своему простодушию, которое вы, вероятно, заметили во мне, я полагал, что люди незнакомые непременно полюбят меня, если ближе со мной познакомятся. Но представьте себе, нет! Больше всего

враждебности я встречал среди тех, с кем имел только шапочное знакомство и сам хорошенько их не знал. Они, несомненно, подозревали, что я живу в полное свое удовольствие, без помех предаваясь счастью, а это не прощается. Облик счастливого, удачника, особенно когда в нем проступают черты самодовольства, может взбесить даже осла. Кроме того, я жил такой полной жизнью, так мало у меня было времени, что я отвергал попытки многих сблизиться со мной. И по той же причине я с легкостью забывал об этом. Но ведь попытки к сближению делали люди, которые не жили полной жизнью, и уж они-то помнили, что я отверг их.

Таким образом (возьмем один пример), женщины в конечном счете дорого стоили мне. Время, которое я посвящал им, я не мог отдавать мужчинам, а они не всегда мне это прощали. Как тут быть? Счастье и успехи тебе прощают лишь при том условии, что ты великодушно соглашаешься разделить их с другими. Но раз хочешь быть счастливым, ты не можешь чересчур заботиться о других. Положение безвыходное. Будь счастлив и судим или не знай осуждения и будь горемыкой. А ко мне относились еще более несправедливо: меня осуждали за прошлое мое счастье. Я долго жил в иллюзии всеобщего согласия, тогда как со всех сторон в меня, рассеянного, улыбающегося счастливого, недруги метали осуждающие взгляды и стрелы насмешек. В тот день, когда я услышал сигналы тревоги, я вдруг прозрел, почувствовал все нанесенные мне раны и сразу лишился сил. Весь мир принялся смеяться надо мной.

А ведь такого издевательства не может вынести ни один человек (кроме мудрецов, то есть тех, кто не живет). Единственный отпор—это злоба. И тогда люди спешат осудить тебя, чтобы самим не подвергнуться осуждению. Ну что вы хотите? Самая естественная и самая наивная мысль, которая приходит человеку как бы из глубины его естества,—это мысль, что он не виновен. С этой точки зрения мы все подобны тому французскому мальчику, который в Бухенвальде упорно хотел подать жалобу писцу (тоже из числа заключенных), заносившему его имя в список узников. Жалобу? Писарь и его товарищи засмеялись: «Бесполезно, милый мой. Здесь жалоб не принимают». «Но видите ли, мсье,—говорил маленький француз,—у меня исключительный случай. Я не виновен!»

Мы все—исключительные случаи. Все мы хотим апеллировать по тому или иному поводу. Каждый требует, чтобы его признали невиновным во что бы то ни стало, даже если для этого надо обвинить весь род людской и небо. Вы очень мало обрадуете человека, расхвалив его за те великие усилия, благодаря которым он стал интеллигентным или великодушным. Но зато как он засияет, если вы будете восхищаться его природным великодушием. И наоборот, если вы скажете преступнику, что его преступление не зависит ни от его натуры, ни от его характера, а от несчастных обстоятельств его жизни, он вам будет бесконечно благодарен. Во время вашей защитительной речи он как раз выберет ту минуту, когда вы говорите про эти обстоятельства, и расплачется. А ведь нет никакой заслуги во врожденной честности.

сти или природном уме. Не возрастает, конечно, и ответственность за преступление, если оно совершено в силу преступной природы его виновника, а не в силу обстоятельств. Но эти мошенники требуют помилования, то есть безответственности, и бесстыдно ссылаются в свое оправдание то на свою натуру, то на смягчающие обстоятельства, даже если одно другому и противоречит. Для них главное, чтобы их признали невиновными, не подвергали сомнению их врожденные добродетели, а их грехи сочли бы следствием несчастного стечения обстоятельств, временной бедой. Я вам говорил: главное—отвертеться от суда. А поскольку это нелегко,—вызвать восхищение собой и в то же время найти оправдание своей натуре дело весьма затруднительное,—все они жаждут богатства. Почему? Вы задумывались над этим? Богатство—это могущество, правильно. Но важнее тут другое: богатство избавляет от немедленного суда, извлекает вас из толпы, осаждающей вагоны метро, и дает вам блещущий никелем автомобиль, изолирует вас в обширных, бдительно охраняемых парках, в спальнях вагонов и паровозных каютах-люкс. Богатство, дорогой друг,—это еще не оправдание преступника, но отсрочка, и то уж хорошо...

Главное—не верьте вашим друзьям, когда они будут просить вас говорить с ними вполне откровенно. Они просто надеются, что своим обещанием ничего от них не скрывать вы поддержите их высокое мнение о себе самих. Да разве откровенность может быть условием дружбы? Стремление установить истину любой ценой—это страсть, которая ничего не пощадит и которой ничто противиться не может. Это даже порок, весьма редко чрезмерное правдолюбие бывает удобным, чаще всего это эгоизм. Так вот, если вы окажетесь в таком положении, не задумывайтесь: обещайте быть правдивым и лгите без зазрения совести. Вы удовлетворите желание друзей и докажете им свою привязанность.

Это бесспорная истина, недаром же мы редко доверяемся тем, кто лучше нас. Скорее уж мы избегаем их общества. Чаще всего мы исповедуемся тем, кто похож на нас и разделяет наши слабости. Мы вовсе не хотим исправляться, не стремимся к самоусовершенствованию: прежде всего нужно, чтобы нас судили со всеми нашими слабостями. Нам хочется, чтобы нас пожалели и поддержали дух наш. В общем, мы хотели бы и не считаться виновными, и не стараться очиститься. В нас недостаточно цинизма и недостаточно добродетели. У нас нет ни силы зла, ни силы добра. Вы читали Данте? Правда? Вот черт! Вы, стало быть, знаете, как это у Данте? Ведь он допускает, что ангелы были нейтральными в распре между Богом и Сатаной. Он отводит им место в преддверии, так сказать в вестибюле своего ада. Мы с вами в вестибюле, дорогой друг.

Терпение? Вы, разумеется, правы. Нужно набраться терпения и ждать Страшного суда. Но, к несчастью, нам некогда, мы торопимся. Так торопимся, что мне даже пришлось стать судьей на покаянии. Однако мне сначала нужно было привести в порядок свои открытия и уладить дело с насмешками моих современников. С того вечера, когда меня позвали к ответу—а ведь меня

действительно позвали,—я обязан был ответить или по крайней мере поискать ответ. Это оказалось нелегко. Я долго блуждал наугад. Но этот постоянный хохот и насмешки научили меня яснее разбираться в себе и увидеть наконец, что я совсем не прост. Вы не улыбайтесь, эта истина не так уж элементарна, как кажется. Элементарными называют такие истины, которые человек открывает последними,—вот и все.

Как бы там ни было, но после долгого изучения самого себя я установил глубокую двуликость человеческой природы. Порывшись в своей памяти, я понял тогда, что скромность помогла мне блистать, смирение — побеждать, а благородство — угнетать. Я вел войну мирными средствами и, выказывая бескорыстие, добивался всего, чего мне хотелось. Я, например, никогда не жаловался, что меня не поздравили с днем рождения, позабыли эту знаменательную дату; знакомые удивлялись моей скромности и почти восхищались ею. Но истинная ее причина была скрыта от них: я хотел, чтобы обо мне позабыли. Хотел почувствовать себя обиженным и пожалеть себя. За несколько дней до пресловутой даты, которую я, конечно, прекрасно помнил, я уже был настороже, старался не допустить ничего такого, что могло бы напомнить о ней людям, на забывчивость которых я рассчитывал (я даже вознамерился однажды подделать календарь, висевший в коридоре). Доказав себе свое одиночество, я мог предаться сладостной, мужественной печали.

Словом, у казовой стороны моих добродетелей всегда была менее привлекательная изнанка. Правда, в известном смысле мои недостатки оборачивались к моей выгоде. Мне, например, приходилось скрывать темные стороны моей жизни, но эта скрытность придавала мне холодный вид, который посторонние принимали за гордость добродетельного человека, мое равнодушие вызывало любовь ко мне, и больше всего мой эгоизм сказывался в «благородных» моих поступках. Я остановлюсь на этом — слишком большая симметрия повредит убедительности. Да что там, я становился закоренелым сластолюбцем и уже не мог отказаться ни от предложенного стакана вина, ни от женщины, меня манившей! Я слыл деятельным, энергичным, но царством моим было любовное ложе. Я кричал о своей честности, а ведь, пожалуй, каждому и каждой из тех, кого я любил, я в конце концов изменял. Разумеется, мои измены не мешали моей верности профессиональному долгу, при всей моей беспечности я немало трудился: я никогда не переставал помогать ближним, потому что находил в этом удовольствие. Но сколько бы я ни твердил себе эти очевидные истины, они давали мне лишь поверхностное утешение. Иной раз по утрам я подвергал себя строжайшему суду своей совести и приходил к заключению, что главная моя вина в презрении к людям. И больше всего я презирал тех, кому помогал чаще других. Весьма учтиво, с волнением выражая свое сочувствие, я, в сущности, ежедневно плевал в лицо всем встречным слепым.

А есть ли этому какое-нибудь оправдание? Откровенно говоря, есть, но такое ничтожное, что мне просто неудобно указывать на него. Но как бы то ни было, вот оно. Я никогда не мог до конца

поверить, что дела, заполняющие человеческую жизнь,—это нечто серьезное. В чем состоит действительно «серьезное», я не знал, но то, что я видел вокруг, казалось мне просто игрой—то забавной, то надоедливой и скучной. Право, я никогда не мог понять некоторых стремлений и взглядов. С удивлением и даже подозрением смотрел я, например, на странных людей, кончавших с собой из-за денег, приходивших в отчаяние от того, что они лишились «положения», или с важным видом приносивших себя в жертву ради благополучия своей семьи. Мне более понятен был мой знакомый, который вздумал бросить курить и у которого хватило силы воли добиться этого. Однажды утром он развернул газету, прочел, что произведен первый взрыв водородной бомбы, узнал, каковы последствия таких взрывов, и немедленно отправился в табачную лавку.

Конечно, я иногда делал вид, что принимаю жизнь всерьез. Но очень скоро мне становилось ясно, как легковесна эта серьезность, и я продолжал играть свою роль, по мере сил изображая из себя человека деятельного, умного, благородного, исполненного гражданских чувств, сострадательного—словом, примерного... Остановлюсь на этом. Вы, вероятно, уже поняли, что я был вроде голландцев: они рядом с нами, но их здесь нет, так и я—я отсутствовал как раз тогда, когда занимал в жизни особенно большое место. По-настоящему искренним и способным на энтузиазм я был лишь в своих занятиях спортом да еще на военной службе, когда мы в полку ставили пьесы для собственного нашего удовольствия. В том и другом случаях существовали правила игры, отнюдь не серьезные, но мы потехи ради признавали их обязательными. Даже теперь переполненный до отказа стадион, где происходит воскресный матч, и страстно любимый мною театр—единственные места в мире, где я чувствую себя ни в чем не повинным.

Но кто же счел бы законной такую позицию, когда речь идет о любви, о смерти, о заработной плате неимущих? А что мне было делать? Любость Изольды я мог представить себе лишь в романах или на сцене. А умирающие порою казались мне актерами, проникшимися своей ролью. Реплики моих неимущих клиентов как будто шли по одному и тому же сценарию. И вот, живя среди людей, но не разделяя их интересов, я не мог верить в серьезность своих обязанностей. Из учтивости и беспечности я отвечал тем требованиям, какие предъявлялись моей профессии, моим родственным и гражданским чувствам, но делал это как-то рассеянно, что в конце концов все портило. Я жил под знаком двойственности, и самые важные мои поступки зачастую были самыми необдуманно. Не потому ли я вдобавок ко всем своим глупостям не мог простить себя, хотя и с яростью восставал против суда своей совести и суда окружающих, который я чувствовал и который заставлял меня искать какого-нибудь выхода.

Некоторое время моя жизнь с внешней стороны шла так же, как и раньше, словно ничего в ней не изменилось. Она катилась все по тем же рельсам. И как нарочно, вокруг меня все громче звучали восхваления. Вот откуда пришла беда! Помните? «Горе

вам, когда все будут хвалить вас!» Право, золотые слова! Горе мне и было! Двигатель что-то закапризничал, неизвестно почему, машина останавливалась.

И как раз в это время в мою повседневную жизнь ворвалась мысль о смерти. Я высчитывал, сколько лет еще остается мне до конца. Искал примера, когда умирали люди моего возраста. И меня мучили мысли, что я не успею выполнить свою задачу. Какую задачу? Я и сам не знал. Откровенно говоря, стоило ли труда продолжать то, что я делал? Но вопрос не совсем в этом. В действительности меня преследовал нелепый страх: а что, если я умру, не признавшись во всех своих обманах и лжи? Нет, надо признаться, конечно, не богу или одному из его служителей. Вы же понимаете, я был выше этого. Нет, надо признаться людям, например своему другу или любимой женщине. Если утаить хоть один обман, он со смертью человека навеки останется нераскрытым. Никогда никто не узнает правды, потому что единственный, кто ее знал, умер, почил вечным сном и унес с собой свою тайну. От мысли о такой бесповоротной гибели правды у меня кружилась голова. Нынче, скажу между прочим, подобное убийство истины скорее доставило бы мне изысканное удовольствие. Меня радует, например, уверенность, что только я один знаю то, что старается разгадать весь мир,—ведь у меня спрятана вещь, которую долго и тщетно разыскивала полиция трех стран. Но в то время я еще не нашел рецепта душевного спокойствия и очень мучился.

Конечно, я одергивал себя. Подумаешь, важность — ложь одного человека в истории многих поколений, и что за претензия пролить свет истины на жалкий обман, затерявшийся в океане веков, как крупинка соли в море! Я говорил себе также, что физическая смерть, если судить по тем случаям, свидетелем которых я был, уже сама по себе достаточная кара, дающая отпущение всех грехов. Ценою предсмертных мук человек получает спасение (то есть право исчезнуть окончательно). Но все равно мое тяжелое настроение все усиливалось, мысли о смерти преследовали меня неотступно, я просыпался и засыпал с ними, и похвалы окружающих становились для меня все более невыносимыми. Мне казалось, что вместе с ними возрастает и становится безмерной моя ложь и мне уже никак не справиться с ней.

Настал день, когда я не мог больше этого выдержать. Первая моя реакция была беспорядочной. Раз я лгун, я должен показать это, должен бросить мою двучищность в лицо всем этим дуракам, пока они сами ее не обнаружили. Раз истина вызывает меня на поединок, я готов принять бой. Чтобы предотвратить насмешки, я сам обращаю себя во всеобщее посмешище. Словом, надо было прервать суд. Я хотел привлечь насмешников на свою сторону или уж по крайней мере самому встать на их сторону. Я задумал, например, толкать слепых на улице, и глухая, совсем неожиданная радость, которую я испытывал, замыслив это, показала мне, до какой степени я в глубине души ненавидел их; мне хотелось протыкать шины маленьких автомобильчиков, какие делают для калек, или встать, например, под строительными лесами, на которых работают каменщики и штукатуры, и заорать: «Мерзкая

голытьба!», иадавать пощечин маленьким детям в вагоне метро. Но я только мечтал о подобных делах и ничего такого не делал, а если и делал что-либо похожее, то забывал про свои выходки. Во всяком случае, само слово «правосудие» приводило меня в удивительную ярость. Я поневоле употреблял его, как и прежде, в своих защитительных речах. Но в наказание себе публично прокинул дух гуманности; я возвестил, что скоро выпущу манифест, в котором разоблачу угнетенных, доказав, что они угнетают порядочных людей. Однажды, когда я ел лангусту на террасе ресторана, меня разозлил надоедливый нищий, я позвал хозяина, попросил его прогнать нищего и с удовлетворением слушал речь этого исполнителя казни. «Вы ведь всех стесняете,— говорил он.— Ну в конце концов, поставьте себя на место приличных господ»,— убеждал он нищего. Я говорил всякому встречному и поперечному, как мне жаль, что теперь уж нельзя поступать подобно некоему русскому помещику, восхищавшему меня своим характером: он приказывал кучеру стегать кнутом и тех своих крепостных, которые кланялись ему при встрече, и тех, которые не кланялись, наказывая и тех и других «за дерзость», ибо считал ее в обоих случаях одинаковой.

Вспоминаю, кстати сказать, как я тогда разошелся: начал было писать «Оду полиции» и «Апофеоз гильотины». А главное, заставлял себя посещать те кафе, где собирались наши известные гуманисты. Ввиду моей доброй славы меня они, разумеется, встречали хорошо. И там я как будто нечаянно произносил запретные у нас слова. «Слава богу!»—говорил я или же просто восклицал: «Боже мой!» А вы знаете, каковы наши ресторанные атеисты, эти робкие богомольцы. Услышав такие ужасные, такие неподобающие слова, они бывали потрясены, молча переглядывались, потом начиналось шумное смятение: одни убегали из кафе, другие поднимали негодующую трескотню, ничего не желая слушать, и каждый корчился, как черт, которого окропили святой водой.

Вам моя выходка кажется ребячеством? Однако ж в этой шутке был, пожалуй, и серьезный смысл. Мне хотелось испортить их игру, а главное—да-да—подорвать мою лестную репутацию, приводившую меня в ярость. «Такой человек, как вы»,—любезно говорили мне, и я бледнел от злости. Мне больше не нужно было их уважение, потому что оно не было всеобщим, да и как оно могло быть всеобщим, раз сам я не мог его разделять. Значит, лучше набросить на все—на суд людской и на уважение «порядочного общества»—покров нелепости и насмешки. Мне необходимо было дать выход чувству, которое душило меня. Я хотел разломать красивый манекен, каким я повсюду выступал, и показать всем, чем набито его нутро. Вспоминаю, например, беседу, которую я должен был провести с молодыми адвокатами-стажерами. Раздраженный невероятными похвалами старшины «сословия адвокатов», представлявшего меня аудитории, я не стерпел. Начал я темпераментно, с заразительным волнением, которого ждали от меня и которое я без труда «выдавал» по заказу. А потом я вдруг стал рекомендовать в качестве метода защиты мешанину. Не ту усовершенствованную мешанину, какая

применяется в наших современных судилищах инквизиции, где усаживают на скамью подсудимых одновременно и вора и честного человека, для того чтобы взвалить на второго преступления первого. Нет, речь шла о том, что вора там защищают ценою преступления честного человека, в данном случае — адвоката. Я совершенно ясно выразил свою мысль.

«Предположим, я взялся защищать какого-нибудь трогательного гражданина, совершившего убийство из ревности. Подумайте, господа присяжные, ведь грешно сердиться на этого человека, вы же видите, что его природная доброта подверглась непосильному для него испытанию сексуальной страстью. Насколько важнее то обстоятельство, что я, например, нахожусь не на скамье подсудимых, а на своем адвокатском месте, хотя я никогда не отличался добротой и не страдал, оказавшись жертвой лукавой измены. Я на воле, я не подлежу суровому вашему суждению, а ведь кто я такой? По чести гордости — сияю, как солнце, а вместе с тем я похотливый козел, гневливый фараон, первостатейный бездельник. Я никого не убивал? Нет еще, конечно! Но, может быть, из-за меня умерли весьма достойные женщины. Очень может быть. И я способен опять взяться за свое. Тогда как этот человек — взгляните на него, — он уже не повторит своего преступления. Он до сих пор не может опомниться от того, что так здорово поработал». Такая речь немного смутила моих молодых собратьев. Но тут же они оправались и принялись хохотать. А потом и совсем успокоились, когда я подошел к заключительной части и красноречиво воззвал в ней к защите человеческой личности и ее предполагаемых прав. Привычка оказалась сильнее меня.

Неоднократно повторяя эти милые выходки, я достиг только того, что несколько поколебал установившееся обо мне мнение. Обезоружить почитателей, а главное, самому сложить оружие мне не удалось. Никакой радости не принесло мне удивление, которое я обычно встречал у своих слушателей, их молчаливое смущение, похожее на то, какое вы сейчас испытываете, — нет-нет, не протестуйте. Видите ли, недостаточно самому обвинить себя, чтобы стать невиновным, иначе я был бы чистым агнцем. Надо обвинить себя особым образом, мне понадобилось немало времени, чтобы выработать эту манеру, я открыл ее лишь тогда, когда все отшатнулись от меня. А до того времени вокруг меня все реяло смехом, и все мои беспорядочные усилия не могли его лишить благожелательного, почти ласкового оттенка, от которого мне становилось больно.

Смотрите-ка, начался, кажется, прилив. Значит, скоро наш пароход отправится обратно. День на исходе. Видите, голуби собрались в вышине. Прижались друг к другу тесно-тесно, едва могут пошевелиться, и свет меркнет. Давайте помолчим, наладимся этим закатым, довольно мрачным часом. Нет? Вас больше интересует моя история? Вы очень любезны. Впрочем, я теперь, пожалуй, и в самом деле могу вас заинтересовать. Прежде чем разъяснить, что такое судья на покаянии, я вам скажу все о распутстве и о каменных мешках.

Вы ошибаетесь, дорогой мой, пароход идет быстро. Но ведь Зейдерзе—мертвое море, почти что мертвое. Берега плоские, окутанные туманом, не знаешь, где это море начинается, где кончается. И нет никакой вехи, мы не можем определить скорость движения. Пароход плывет, плывет, а кругом ничего не меняется. Это не плавание, это какой-то сон.

Вот в греческом архипелаге я испытывал совершенно противоположное чувство. На горизонте появлялись все новые и новые острова. Голые, каменные, они очертаниями своих хребтов обозначали границу неба, скалистые их берега четко выделялись на фоне моря. Там уж не спутаешь: столько яркого света, и все становится вехой. У меня было такое впечатление, будто я непрестанно, и днем и ночью, прыгаю по гребням прохладных волн от одного островка к другому, и, хоть наш пароходик еле тащился, мне казалось, что он несется, вздымая пену морскую и взрывы смеха на борту. С тех пор сама Греция плывет во мне, ее неустанно несет течение где-то на краю памяти. О, да и меня захватила и несет волна лиризма! Что ж вы не остановите меня, дорогой?

А кстати сказать, знаете ли вы Грецию? Нет? Тем лучше! Что нам делать в Греции? Там нужны люди чистые сердцем. Представьте себе, друзья там прогуливаются по улицам трогательной парой, держась за руку. Да, женщины сидят дома, а мужчины зрелого возраста, почтенные, усатые люди, важно шествуют по тротуару, сплетя свои пальцы с пальцами друга. На Востоке тоже так бывает? Возможно. Но вот скажите мне, взяли бы вы меня за руку на улице Парижа? Ну разумеется, я шучу. Мы-то ведь умеем держать себя, мы боимся грязных подозрений. Прежде чем пристать к греческим островам, нам пришлось бы долго мыться. Там воздух так чист, там и море и радости так светлы. А мы...

Посидим на этих шезлонгах. Какой туман! Я, кажется, собирался рассказать вам о каменных мешках? Да, я вам скажу, что это такое. Долго я отбивался, напрасно напуская на себя надменный и дерзкий вид, но, лишившись сил, убедившись в бесполезности моих стараний, я решил расстаться с человеческим обществом. Нет-нет, я не стал искать какой-нибудь необитаемый остров, да их и нет теперь. Я просто нашел себе убежище у женщин. Вы же знаете, они не осуждают по-настоящему наших слабостей, скорее уж пытаются унизить нашу силу, обезоружить нас. Женщина—это награда не воителя, а преступника. Для него женщина—пристань, тихая гавань; в постели женщины обычно его и арестовывают. Женщина! Ведь это все, что нам остается от рая земного, не так ли? Совсем растерявшись, я понесся к этой естественной пристани. Но теперь я уже не произносил речей. Правда, я еще немного играл роль, по привычке, однако прежней изобретательности у меня не стало. Боюсь признаться (а то опять начнешь ораторствовать), но, кажется, именно в ту пору во мне заговорила потребность в настоящей любви. Цинично, не правда ли? Во всяком случае, меня томила тоска, чувство обездоленности, делавшее меня более уязвимым, случалось, я волей-неволей, отчасти из любопытства брал на себя некоторые обязательства. У меня явилась потреб-

ность любить и быть любимым, а посему я вообразил себя влюбленным. Иначе говоря, я совсем поглупел.

Нередко я ловил себя на том, что задаю тот вопрос, которого я, как человек опытный, до тех пор избегал. Я спрашивал: «Ты меня любишь?» Вы, конечно, знаете, какой ответ следует в подобных ситуациях: «А ты?» Если я отвечал: «Да», значит, преувеличивал подлинные свои чувства. А если дерзал ответить: «Нет», рисковал тем, что меня разлюбят и я буду страдать из-за этого. Чем большая опасность угрожала чувству, в котором я надеялся найти покой душевный, тем упорнее я добивался его от своей партнерши. Я дошел до самых недвусмысленных обещаний и требовал от своего сердца все более глубокого чувства. Тогда-то я и воспылал ложной страстью к очаровательной дурочке, начитавшейся советов в эротических изданиях, а посему говорившей о любви с уверенностью и убежденностью интеллектуала, возвещающего неизбежность бесклассового общества. Вам, конечно, известно, как захватывает такая убежденность. Я тоже попытался говорить о любви и в конце концов убедил самого себя, что я влюбился. По крайней мере я пребывал в этой уверенности до тех пор, пока эта глупышка не стала моей любовницей и я не понял, что авторы, специализировавшиеся на сердечных делах, научили ее толковать о любви, но оставили полной невеждой в любовной практике. Я влюбился в попугайчика, а спать мне пришлось со змеей. Тогда я стал искать у других женщин той любви, о которой говорят книги и которой я никогда не встречал в жизни.

Но искал я без особого увлечения. Ведь больше тридцати лет я любил только самого себя. Разве можно было расстаться с укоренившейся привычкой? И я не расстался с ней, я проявлял лишь слабые попытки восчувствовать страстную любовь. Я множил обещания, я влюблялся сразу в нескольких, как бывало заводил сразу несколько связей. И навлекал на женщин больше бед, чем во времена моего беспечного равнодушия. Представьте себе, мой попугайчик, дойдя до отчаяния, решила уморить себя голодом. К счастью, я вовремя явился к страдальце и кротко поддерживал ее дух до тех пор, пока она не встретила вернувшегося из путешествия на остров Бали интересного инженера с седеющими висками, которого ей уже описал ее излюбленный еженедельник. Во всяком случае, я не только не вознесся, как говорится, на седьмое небо и не получил отпущения грехов, но еще увеличил бремя своих провинностей и заблуждений. После этого я почувствовал такое отвращение к любви, что долгие годы не мог без скрежета зубного слышать о «Жизни среди роз» или «Любви и смерти Изольды». Я попытался отказаться на свой лад от женщин и жить целомудренно. В конце концов с меня достаточно было их дружбы. Но пришлось отказаться и от игры. А ведь если отбросить влечение, то с женщинами мне было безмерно скучно; да, по-видимому, и они тоже скучали со мной. Не было больше игры, не было театра—одна лишь неприкрытая правда. Но правда, друг мой,—это скука смертная.

Придя в отчаяние и от любви и от целомудрия, я наконец решил, что мне еще остается разврат—он прекрасно заменяет

любовь, прекращает насмешки людей, водворяет молчание, а главное, дарует бессмертие. Когда ты вполъпьяна, еще не потеряв ясности ума, лежишь поздно ночью меж двух проституток, начисто исчерпав вождление, надежда, знаете ли, уже не мучает тебя—воображаешь, что отныне и впредь, на все времена, в жизни твоей воцарится холодный рассудок, а все страдания навеки канут в прошлое. В известном смысле я всегда погрязал в разврате, никогда не переставая при этом мечтать о бессмертии. Это было свойственно моей натуре и вытекало также из великой моей любви к самому себе, о которой я уже неоднократно говорил вам. Да я просто умирал от жажды бессмертия. Я слишком любил себя и, разумеется, желал, чтобы драгоценный предмет этой любви жил вечно. Но ведь в трезвом состоянии ты, немного зная себя, не видишь достаточных оснований к тому, чтобы бессмертие было даровано какой-то похотливой обезьяне, а следовательно, надо раздобыть себе суррогаты бессмертия. Из-за того, что я жаждал вечной жизни, я и спал с проститутками и пил по ночам. Утром, разумеется, у меня было горько во рту, как оно и подобает смертному. Но долгие часы я реял в небесах. Уж не знаю, как и признаться, я все еще с умилением вспоминаю о некоторых ночах, когда я ходил в подозрительный кабак, поджидая подвизавшуюся там танцовщицу, даровавшую мне свои милости; во славу ее я даже подрался однажды вечером с неким хвастливым щенком. Каждую ночь я трепал языком у стойки бара в этом злачном месте, освещенном багряными огнями и пропитанном пылью, врал, как зубодер на ярмарке, и пил, пил. Дождавшись зари, я попадал наконец в вечно не застланную постель моей принцессы, которая машинально предавалась любовным утехам и сразу же засыпала. Потихоньку занимался день, озаряя мое крушение, а я, недвижимый, возносился к небесам в лучах славы.

Алкоголь и женщины давали мне, признаюсь, единственное достойное меня облегчение. Открываю вам эту тайну, дорогой друг, не бойтесь воспользоваться ею. Вы сами тогда убедитесь, что настоящий разврат—сущий избавитель, потому что он не налагает никаких обязательств. Распутствуя, думаешь только о самом себе, поэтому-то больше всего и развратничают люди, питающие великую любовь к собственной особе. Разврат—это джунгли без будущего и без прошлого, а главное, без обещаний и без немедленной кары. Места, предназначенные для него, отделены от мира. Входя туда, оставь и страх и надежду. Разговаривать там не обязательно, то, за чем пришел, можно получить и без слов, а зачастую даже и без денег—да-да. Ах, позвольте уж мне, пожалуйста, воздать хвалу безвестным и позабытым женщинам, которые помогали мне тогда. Еще и до сих пор к воспоминаниям, оставшимся у меня о них, примешивается что-то похожее на уважение.

Как бы то ни было, я без удержу пользовался этими средствами избавления от тоски. Меня видели даже в особой гостинице, отведенной, как говорится, для прелюбодеяствия, я жил там одновременно с проституткой зрелых лет и с молодойенькой девушкой из лучшего общества. С первой я играл роль верного

рыцаря, а вторую посвящал в некоторые тайны реальной действительности. К несчастью, проститутка была по природе своей крайне буржуазна: позднее она согласилась написать свои воспоминания для одного церковного журнала, широко открывавшего свои страницы современным проблемам. А молодая девушка вышла замуж, чтобы утолить свои разнузданные страсти и найти применение своим замечательным дарованиям. Могу похвалиться также, что в это время меня как равного приняла к себе некая мужская корпорация, на которую часто клеветают. Упомяну об этом лишь вскользь; как вам известно, даже очень умные люди гордятся тем, что они способны выпить на одну бутылку больше, чем сосед. Мне, может быть, удалось бы найти в этих приятных развлечениях покой и избавление от мук. Но опять помехой этому оказался я сам. Вдруг заболела печень, да еще напала безмерная усталость, которая и до сих пор не оставляет меня. Вот играешь в игру «жажда бессмертия», а через несколько недель ты уже едва жив и не знаешь, сможешь ли дотянуть до завтра.

Когда я отказался от своих ночных подвигов, жизнь стала менее мучительной, и это была единственная польза от такого эксперимента. Усталость, подтачивающая мое тело, притупила многие шипы, раздиравшие мне душу. Всякое излишество уменьшает жизненную силу, а значит, ослабляет и страдания. В разврате нет ничего неистового вопреки обычному представлению. Это просто долгий сон. Вы, вероятно, замечали, что для людей, искренне страдающих от ревности, важнее всего переспать с той, которая, как они думают, изменила им. Они, разумеется, хотя бы лишний раз удостовериться, что драгоценное сокровище по-прежнему принадлежит им. Они, как говорится, жаждут обладания, к тому же сразу после этого они меньше ревнуют. Плотская ревность — это результат воображения, а также и мнения человека о самом себе. Сопернику он приписывает те скверные мысли, какие у него самого были при таких же обстоятельствах. К счастью, от избытка блаженства воображение хиреет так же, как и самомнение. Муки ревности угасают вместе с мужественностью и дремлют так же долго, как и она. По тем же самым причинам юноши после первой любовницы освобождаются от метафизической тревоги, зато некоторые браки, представляющие собою узаконенный разврат, становятся однообразными похоронами смелости и изобретательности. Да, дорогой друг, буржуазный брак обул нашу страну в домашние шлепанцы и скоро приведет ее к вратам смерти.

Я преувеличиваю? Нет, только отвлекаюсь. Ведь я хотел лишь сказать, какую выгоду извлек из нескольких месяцев разврата. Я жил в каком-то тумане, в котором смех, преследовавший меня, звучал так глухо, что я в конце концов даже и не слышал его. Равнодушные, занимавшее уже столько места в моей душе, не встречало больше сопротивления, и склероз этот все ширился. Больше никаких волнений! Ровное настроение, вернее, отсутствие настроения. У выздоравливающего чахоточного легкие, пораженные туберкулезом, иногда ссыхаются, и мало-помалу счастливый их обладатель погибает от удушья. Так и я спокойно умирал от своего исцеления. Я все еще кормился адвокатским ремеслом,

хотя и подорвал свою репутацию дерзкими выпадами в разговорах, но регулярно заниматься судебной практикой мне мешала беспорядочная жизнь. Интересно, кстати, отметить, что мне меньше вменяли в вину мои ночные похождения, чем браваду в моих речах. Чисто ораторские ссылки на господа бога в моих судебных выступлениях вызывали недоверие у моих клиентов. Они, вероятно, боялись, что небо не сможет так хорошо защитить их интересы, как искусный адвокат, несокрушимый знаток уголовного и гражданского кодексов. Они вполне могли предположить, что я взываю к богу в силу своего невежества. Поэтому число их уменьшилось. Время от времени я еще выступал в суде. Иной раз, позабыв о том, что я больше не верю своим словам, я говорил хорошо. Собственный голос увлекал меня, я шел за ним следом; хоть я и не воспарял в небеса, как раньше, я все же немного отрывался от земли, летел бреющим полетом. Помимо деловых знакомых, я мало с кем виделся, с трудом поддерживал две-три надоевшие связи. Случалось даже, что я отдавал вечера чисто дружеской близости, к которой не примешивались грешные желания, и смиренно переносил эти скучные часы, едва, однако, слушая то, что мне говорили. Я немного пополнил и мог уже надеяться наконец, что кризис миновал. Теперь мне оставалось только стареть.

Но вот однажды, во время морского путешествия, на которое я пригласил свою подружку, не сказав ей о том, что я предпринял его, чтобы отпраздновать свое исцеление, я очутился на борту океанского парохода, на верхней палубе, разумеется; мы плыли в открытом море, и вдруг вдали на поверхности синевато-серых волн я заметил черную точку. Я сразу отвел глаза, сердце у меня забилося. Когда я снова заставил себя посмотреть в ту сторону, черная точка куда-то исчезла. Но я вновь ее увидел и готов был закричать, позвать на помощь. Однако оказалось, что это просто обломок ящика, какие пароходы оставляют за собой. И все же мне нестерпимо было смотреть на него, мне все казалось, что это утопленник. Тогда без тени возмущения, как смиряются с роковой вестью, давно уже зная, что это правда, я понял, что крик, раздавшийся на Сене много лет назад, разнесшийся где-то за моей спиной, не умолк: река повлекла его к водам Ла-Манша, и он несется теперь по всему свету, в беспредельных просторах океана; он ждал меня до того дня, когда я встретил его. Я понял также, что он и дальше будет ждать меня на морях и реках — словом, повсюду, где окажется горькая вода моего крещения. А ведь здесь мы тоже на воде, верно? На плоской, однообразной, бесконечной поверхности, сливающей свои пределы с пределами земли. Просто не верится, что мы скоро прибудем в Амстердам. Нет, никогда нам не выбраться из этой огромной купели. Прислушайтесь. Вы разве не слышите криков чаек? Они кличут нас. К чему же они нас призывают?

Да это те же самые чайки, которые кричали, которые звали меня в Атлантическом океане в тот день, когда мне стало совершенно ясно, что я не исцелился, что я по-прежнему в тисках и мне надо что-то сделать. Кончена блестящая карьера, но кончены также и неистовство и судорожные рывки. Надо поко-

риться и признать себя виновным. Надо жить в мешке. Да, правда, вы не знаете, что такое «мешок»! Так называли в средние века каземат подземной темницы. Обычно заключенного бросали туда на всю жизнь. Этот каземат отличался от других камер остроумно вычисленными размерами. Он был недостаточно высок, чтобы можно было выпрямиться во весь рост, и недостаточно длинен, чтобы можно было лежать. Приходилось поневоле жить там скрючившись, «по диагонали», сон сваливал человека с ног; бодрствуя, он вынужден был сидеть на корточках. Друг мой, какая это была гениальная находка. Так просто, а вместе с тем гениально, я говорю это, взвешивая свои слова. Непрестанная, вынужденная неподвижность, от которой затекало онемевшее тело, заставляя осужденного смиряться с мыслью, что он виновен, а невиновность дает право весело потянуться. Можете вы себе представить в таком «мешке» человека, привыкшего к горным высотам и верхним палубам? Что? Разве можно было жить в таких казематах и быть невиновным? Невероятно, совершенно невероятно! А иначе разобьется весь ход моих рассуждений. Чтобы невиновному да пришлось жить, превратившись в горбуна,—нет, я отказываюсь допустить хотя бы на минуту подобную гипотезу! Впрочем, нельзя никого считать невиновным, зато с уверенностью можно утверждать, что все мы виноваты. Каждый человек свидетельствует о преступлении всех других— вот моя вера и моя надежда.

Поверьте, религии ошибаются, как только начинают создавать принципы нравственности и мечут громы и молнии, устанавливая заповеди. Нет необходимости в боге, чтобы возложить на кого-нибудь бремя вины и наказать за нее. Это прекрасно сделают наши ближние с нашей помощью. Вот вы сказали о Страшном суде. Позвольте мне почтительно посмеяться над этим. Я жду его бестрепетно, ведь я изведаль кое-что страшнее: суд человеческий. Для него нет смягчающих обстоятельств, даже благие намерения он вменяет в вину. Слышали вы хотя бы о камере плевков? Какой-то народ недавно придумал такую камеру, чтобы доказать, что он самый великий народ на земле. Это каменный ящик, в котором заключенный стоит во весь рост, но двигаться не может. Прочная дверь этой каменной скорлупы доходит ему до подбородка. Значит, видно только его лицо, которое каждый тюремный сторож, проходя мимо, орошает обильным плевком. Узник, втиснутый в ящик, не может утереться, но ему, правда, позволено закрывать глаза. Ну вот, дорогой мой, вот вам изобретение ума человеческого. Для этого маленького шедевра бог людям не понадобился.

Что я хочу сказать? Да то, что единственная польза от бога была бы, если б он гарантировал невиновность, и на религию я смотрел бы скорее как на огромную прачечную, чем она, кстати сказать, и была когда-то, но очень недолго—в течение нескольких лет—и не называлась тогда религией. Однако с тех пор не хватает мыла, а так как носы у нас грязные, то мы их друг другу вытираем. Все пакостные, все наказанные, а туда же, плюем на провинившихся, и хлоп—в каменный мешок! Давай, кто кого переплюнет, вот и все. Я вам сейчас открою большой секрет,

дорогой мой. Не ждите Страшного суда. Он происходит каждый день.

Нет, не беспокойтесь, я озяб немножко, оттого и дрожу. Такая сырость проклятая! Да мы уже и подплываем. Стоп! Нет-нет, вас пропускаю вперед. Но только не уходите, пожалуйста, проводите меня немножко. Я еще не кончил, надо продолжить. А продолжать-то как раз и трудно. Погодите, вы знаете, за что его распяли—того самого, о ком вы, может быть, думаете в эту минуту? Разумеется, было много причин. Всегда найдутся причины для того, чтобы убить человека. И наоборот, невозможно оправдать помилование. Преступление всегда найдет защитников, а невиновность—только иногда. Но, помимо тех причин, какие нам усердно объясняли в течение двух тысяч лет, была еще одна важная причина этой ужасной казни, и я не знаю, почему ее так старательно скрывают. Истинная причина вот в чем: он-то сам знал, что совсем невиновным его нельзя назвать. Если на нем не было бремени преступления, в котором его обвиняли, он совершил другие грехи, даже если и не знал какие. А может быть, и знал? Во всяком случае, он стоял у их истока. Он, наверно, слышал, как говорили об избиении младенцев. Маленьких детей в Иудее убивали, а его самого родители увезли в надежное место. Из-за чего же дети умерли, если не из-за него? Он этого не хотел, разумеется. Перепачканные кровью солдаты, младенцы, разрубленные надвое,—это было ужасно для него. И конечно, по самой сущности своей он не мог их забыть. Та печаль, которую угадываешь во всех его речах и поступках,—разве не была она неисцелимой тоской? Он ведь слышал по ночам голос Рахили, стенавшей над мертвыми своими детьми и отвергавшей все утешения. Стенания поднимались во мраке ночном, Рахиль звала детей своих, убитых из-за него, а он-то, он был жив!

Он знал все сокровенное, все постигнул в душе человеческой (Ах! Кто бы мог подумать, что иной раз не так преступно предать смерти, как не умереть самому!), он день и ночь думал о своем безвинном преступлении, и для него стало слишком трудно крепиться и жить. Лучше было со всем покончить, не защищаться, умереть, чтобы не сознать себя единственным уцелевшим, не поддаваться соблазну уйти куда-нибудь в другое место, где его, может быть, поддержат. Его не поддержали, он на это возроптал, и тогда его стенания подвергли цензуре. Да-да, кажется, это евангелист Лука выкинул из текста его жалобный возглас: «Зачем ты покинул меня?»—ведь это мятежный возглас, не правда ли! Живо, ножницы сюда! Заметьте, однако, что, если бы Лука ничего не вычеркнул, жалобу распятого едва бы заметили; во всяком случае, она не заняла бы большого места. А запрещение цензора превратило возглас в крик. Странно все устроено в мире.

Но все равно тот, кто подвергся цензуре, не мог продолжать. Я, дорогой мой, знаю, что говорю. Было время, когда мне каждую минуту казалось, что до следующей минуты мне не дожить. Да, можно в этом мире вести войны, кривляться, изображая любовь, мучить своего ближнего, распускать павлиний хвост в газетах или просто-напросто злословить о своем соседе,

занимаясь при этом вязаньем. Но в иных случаях продолжать свое существование, только продолжать,—для этого надо быть сверхчеловеком. А ведь он, поверьте, не был сверхчеловеком. Он возроптал, он пожаловался на свои муки, и потому-то я люблю его, друг мой, люблю его, умершего в неведении.

К несчастью, нас он оставил одних, и мы живем, что бы ни случилось, даже когда мы брошены в каменный мешок, когда мы изведали то, что он изведal, но оказались не способны сделать то, что он сделал, и умереть так же, как он. Разумеется, кое-кто попытался обратить себе на пользу его смерть. В конечном счете было гениальной выдумкой сказать нам: «Да, вы не блещете добродетелями—это факт. Но не будем вдаваться в подробности! Вы искупите все сразу, когда вас распнут на кресте!» Теперь слишком много страдальцев карабкается на крест, желая, чтобы их видели издали, даже если им надо для этого попать ногами того, кто уже давно распят. Слишком много людей решило творить милосердие без великодушия. Ах, как же несправедливо, как несправедливо с ним поступают! У меня просто сердце сжимается от обиды.

Ну вот, смотрите—опять на меня нашло: собрался выступить с защитительной речью. Простите меня, пожалуйста, надеюсь, вы поймете, почему так происходит. Знаете, неподалеку отсюда находится музей, который носит такое название: «Господь спаситель наш над нами!» В давние времена голландцы устраивали свои каткомбы на чердаках. Что поделаешь, подземелья здесь затопляе-т. Нынче, не беспокойтесь, их господь спаситель не обретается ни на чердаке, ни в подземелье. Они в тайне сердца своего вознесли его на стену трибуналов и от его имени быют со всего размаха, а главное—судят, осуждают. От его имени! Он-то кротко говорил блуднице: «И я тоже не осуждаю тебя». Но для них это неважно, они осуждают, они никому не отпускают грехов. «Во имя господя получай пощечину. На тебе!» Во имя господя? Он не требовал такого рвения, друг мой. Он хотел, чтобы его любили, и только. Конечно, есть люди, которые его любят, даже среди христиан. Но сколько их? По пальцам можно перечесть. Он, впрочем, предвидел это—у него было чувство юмора. Апостол Петр, как известно, струсил и отрекся от него: «Я не знаю этого человека... Не знаю, что ты хочешь сказать и т. д.» Ужасно испугался! А учитель так остроумно ему сказал: «На сем камне воздвигну я церковь свою». Какая ирония! Дальше уж некуда! Вы не находите? И что же, они опять восторжествовали: «Вы же видите, он сам так сказал!» Он действительно так сказал, с полным пониманием дела. А потом ушел навеки, предоставив им судить и выносить приговоры. На устах—прощение, а в сердце—суровый приговор.

И ведь нельзя сказать, будто в мире уже нет сострадания, где там, великие боги! Мы без конца о нем говорим. Просто теперь больше никого не оправдывают. Невинность умерла, а судьи так и кишат, судьи всех пород—из воинства Христа и из воинства Антихриста; впрочем, это одно племя, они помирились друг с другом, придумав каменный мешок. Нельзя все валить только на христиан. Другие тоже не стоят в сторонке. Знаете, во что

превратили в этом городе дом, где некогда жил Декарт? В сумасшедший дом! Да-да, повсюду теперь бред безумия и преследования. Разумеется, и мы волей-неволей в этом участвуем. Вы уже могли заметить, что я ничего не щажу. Да, мне думается, и вы не меньше моего порицаете миропорядок. Ну, а раз мы все стали судьями, все мы друг перед другом виноваты, все мы подобны Христу, на свой грешный лад, всех нас одного за другим распинают на кресте, а сами палачи того и не ведают. Так было бы и со мной, Кламансом, если бы я не нашел выхода, единственного разрешения задачи—словом, не открыл бы истину...

Нет, не бойтесь, дорогой друг, не бойтесь. На сем я останавливаюсь. Да мы сейчас и простимся—вот мой дом. В одиночестве, в час усталости охотно считаешь себя пророком—что поделаешь! В конце концов я и стал пророком, укрывшимся в пустыне, созданной из камня, туманов и стоячих вод, но речи мои—пустословие, ибо наше время—царство пошлости, и назвать меня можно Илией, непосланным мессией, взвинченным от лихорадки и джина, пророком, который прислонился к вот этой липкой двери и, воздев палец к низкому небу, проклинает беззаконников, кои не могут переносить суждения о них. Да-да, они не могут, дорогой мой, переносить никакого суда над ними—в этом все и дело. Кто соблюдает закон, не боится суда, ибо признан будет верным велениям закона. Но величайшая мука для человека—подвергнуться суду беззаконников. А ведь нам и приходится ее терпеть. Не зная по природе своей никакого удержу, разъяренные судьи наугад хватают, хватают жертвы беззакония своего. Что же нам остается делать? опередить преследователей, не правда ли? Вот и идет великая суматоха. Множится число пророков и целителей, они спешат принести нам благие законы или непогрешимый общественный строй, пока земля еще не обезлюдела. Счастье ваше, что я пришел к вам. Ибо я—начало и конец, я возвещаю закон. Словом, я—судья на покаянии.

Да-да. А завтра я скажу вам, в чем состоят эти прекрасные обязанности. Послезавтра вы уезжаете, так надо поторопиться. Приходите ко мне, пожалуйста. Звонить надо три раза. Вы возвращаетесь в Париж? Париж далеко, Париж прекрасен, я не позабыл его. Помню его сумерки в такое же вот осеннее время. На крыши, сизые от дыма, спускается вечер, сухой, хрустящий, город глухо гудит, а река словно течет в обратную сторону. Я бродил тогда по улицам. Такие, как я, бродят там и теперь, я это знаю. Они бродят, а делают вид, будто спешат к усталой жене, в свой суровый дом... Ах, друг мой, знаете ли вы, каково одинокому человеку бродить по улицам в больших городах?..

Мне ужасно неловко, что я принимаю вас, лежа в постели. Нет-нет, ничего серьезного, немножко лихорадит: я лечусь джином. Знакомое дело эти приступы. Малярия. Я подхватил ее, вероятно, в те времена, когда был папой Римским. Нет, это только наполовину шутка. Я знаю, что вы думаете: «Трудно

отличить правду от выдумки в его рассказах». Сознаюсь, трудно. Я и сам... Видите ли, один из близких моих знакомых делил людей на три разряда: одни предпочитают лучше уж ничего не скрывать, только бы не лгать, другие предпочитают солгать, но никогда не откажутся от того, что следует скрыть, а третьи готовы и приврать, и кое-что держать в тайне. Предоставляю вам самому выбрать, к какому разряду правильнее всего меня отнести.

Да разве все это важно? Ложь изреченная в конечном счете приводит к правде. Разве мои рассказы, правдивые или выдуманные, не имеют одной и той же цели, одного и того же смысла? Так не все ли равно, правдивы они или выдуманы, если в обоих случаях они рисуют, кем я был и кем стал теперь. Иной раз яснее разберешься в человеке, который лжет, чем в том, кто говорит правду. Правда, как яркий свет, ослепляет. Ложь, наоборот, — легкий полумрак, выделяющий каждую вещь. Ну, думайте что угодно, а меня назначили папой в концлагере.

Присядьте же, пожалуйста. Прошу вас. Вам любопытна моя комната? Стены голые, но все тут опрятно. Подобие картины Вермеера, но без шкафов и кастрюль. И без книг тоже — я уже давно бросил читать. Когда-то у меня в доме полно было наполовину прочитанных книг. Отвратительная манера, такая же противная, как привычка иных привередников, которые отщипнут кусочек от паштета из гусиной печенки, а остальное выбрасывают вон. Впрочем, я теперь люблю только исповеди, но авторы этих исповедей пишут главным образом для того, чтобы ни в чем не исповедаться и ничего не сказать из того, что им известно. Когда они якобы переходят к признаниям, тут-то им и нельзя доверять: сейчас начнут поддурманивать труп. Поверьте мне, я в этой косметике разбираюсь. Ну, я сразу обрезал. Долой книги, долой и лишние вещи — только строго необходимое, чтобы было чисто и отлакировано, как гроб. Кстате сказать, эти голландские постели жестки, как камень, а безупречной белизны простыни, благоухающие чистотой, подобны смертному савану.

Вам любопытно познакомиться с моими приключениями, которые возвели меня в сан папы? Знаете ли, самые банальные обстоятельства. Хватит ли только у меня сил рассказать о них. Да, лихорадка, кажется, стихает. А события эти давние. Происходили они в Африке, где благодаря господину Роммелю запылало пламя войны. Я в нее не вмешивался, нет, не беспокойтесь. Я уже все покончил и с той войной, что шла в Европе. Конечно, меня мобилизовали, но я ни разу не был под огнем. Пожалуй, стоило пожалеть об этом. Может быть, это многое изменило бы. Французской армии я на фронте не потребовался. Меня только заставили участвовать в отступлении. Таким образом я снова увидел Париж и немцев. Меня соблазняла мысль о Соппротивлении — о нем начали говорить как раз в тот момент, когда я открыл в себе чувство патриотизма. Вы улыбаетесь? Напрасно. Я сделал это открытие в коридорах метро, на станции «Шатле». В лабиринте переходов там заблудилась собака. Большая, шерсть жесткая, одно ухо торчит, другое обвислое, в глазах любопытство. Пес скакал, обнюхивал икры проходивших людей. Я люблю собак,

всегда любил их верной, нежной любовью. Я подозревал этого пса, он заколебался, но, видимо, почувствовал ко мне доверие и, восторженно виляя хвостом, побежал на несколько метров впереди меня. И тут меня обогнал весело шагавший немецкий солдат. Поравнявшись с собакой, он погладил ее по голове. И пес без колебания пошел рядом с ним, так же радостно виляя хвостом, и исчез с этим немцем. Я почувствовал не только досаду, а лютую злобу к этому немецкому солдату — и тогда я понял, что во мне заговорил патриотизм. Пойди собака за французом, я об этом и думать бы позабыл. А тут мне все представлялось, как этот симпатичный пес станет любимцем немецкого полка, и это приводило меня в ярость. Испытание было убедительное.

Я пробрался в южную зону с намерением разузнать там о Сопротивлении. Но, получив на месте сведения, я заколебался. Движение показалось мне немного безрассудным и, прямо сказать, романтическим. А главное, думается, подпольная работа не соответствовала моему темпераменту и моей любви к высотам, овеваемым чистым воздухом. Мне казалось, что от меня потребуют ткать ковер в подземелье, ткать его долгие дни и ночи, а тупые негодяи придут и, обнаружив меня, сначала искромсают все мое рукоделье, потом потащут меня в другой подвал, будут там пытаться и убьют меня! Я восхищался теми, кто оказался способен на этот подземный героизм, но сам не мог следовать их примеру.

Тогда я переехал в Северную Африку, питая смутные намерения добраться оттуда до Лондона. Но в Африке положение было неясным, обе противостоящие друг другу группировки казались мне одинаково правыми, и я воздержался. Понимаю по вашему виду, что вы находите мое изложение этих немаловажных подробностей слишком поверхностным. Ну что ж, если я правильно оценил вас, то именно моя торопливость и заставит вас обратиться на них сугубое внимание. Как бы то ни было, я в конце концов очутился в Тунисе, где нежная моя подруга устроила меня на службу. Она была очень культурной особой и работала в кино. Я последовал за ней в Тунис и узнал ее настоящую профессию только после высадки союзников в Алжире — в тот день, когда немцы арестовали ее. Вместе с нею на всякий случай забрали и меня. Что случилось с нею, не знаю. А мне не причинили никакого зла, и после ужасной тревоги я понял, что мой арест скорее произведен в целях безопасности. Меня интернировали в концлагерь под Триполи; заключенные страдали там не столько от жестокого обращения, сколько от жажды и отсутствия одежды. Описывать нашу жизнь в лагере не стану. Мы, дети середины двадцатого века, не нуждаемся в рисунках, чтобы представить себе такого рода места. Сто пятьдесят лет назад люди умиляли озера и леса. А нынче нас приводят в лирическое волнение тюремные камеры. Итак, я доверюсь вашему воображению, только прибавлю несколько штрихов: зной, отвесные лучи солнца, мухи, песок, отсутствие воды.

Со мной был там один молодой француз, человек верующий. Да, прямо как в сказке. По характеру — сущий рыцарь Дюгесклен. Он отправился из Франции в Испанию, чтобы сражаться с

немцами. А католический генерал интернировал его, и, видя, что во франкистских концлагерях чечевичная похлебка для заключенных получала, осмелюсь сказать, благословение папы Римского, он впал в глубокое уныние. Ни знойные небеса Африки, в которой он очутился затем, ни вынужденные досуги в концлагере не могли исцелить его от этого уныния. Наоборот, от постоянного раздумья и невыносимого солнца он стал немного ненормальным. Однажды, когда под тентом, с которого как будто струилось расплавленное олово, нас сидело человек двенадцать, задыхаясь и тщетно отгоняя мух, Дюгесклен, как обычно, начал обличать папу Римского, которого он называл Римлянин. Оборванный, обросший бородой, он смотрел на нас блуждающим взглядом, голый, худой его торс покрыт был потом, пальцы костлявых рук барабанили по выступающим ребрам. Он заявил нам, что нужно избрать нового папу, который жил бы среди несчастных, вместо того чтобы молиться, сидя на престоле, и чем скорее произвести перемену, тем лучше. Пристально вглядываясь в нас сумасшедшими своими глазами, он твердил, кивая головой: «Да, чем скорее, тем лучше». И, вдруг успокоившись, сказал мрачным тоном, что далеко ходить не надо—выбрать следует кого-нибудь из нас, взять человека цельного, имеющего и недостатки и достоинства, и принести ему клятву в повиновении, поставив одно-единственное обязательное условие: пусть он поддерживает и в себе и в других чувство нашей общности в страданиях. «У кого из нас больше всего слабостей?»—сказал он. Шутки ради я поднял руку—больше никто не отозвался. «Хорошо, Жан-Батист подойдет». Нет, он не так сказал—ведь я носил тогда другое имя. Во всяком случае, он объявил, что, выставив свою кандидатуру, я проявил незаурядное мужество, и предложил избрать меня. Остальные согласились, с некоторой важностью играя эту комедию. По правде сказать, Дюгесклен произвел на нас впечатление. Даже я, как помнится, не смеялся. Во-первых, я полагал, что мой юный пророк прав, а тут еще солнце, изнурительный труд, сражения из-за воды—словом, мы были немного не в себе. Во всяком случае, я несколько недель исполнял обязанности папы Римского, и притом самым серьезным образом.

В чем же они состояли, эти обязанности? Право, я был чем-то вроде начальника группы или секретаря ячейки. Остальные, даже не верующие люди, привыкли повиноваться мне. Дюгесклен страдал, я облегчал его страдания. Я заметил тогда, что быть папой не так легко, как думают, и мне вспомнилось это вчера, после моих презрительных обличений по адресу судей, моих братьев. Важнейшим вопросом в лагере было распределение воды. Кроме нашей, образовались и другие группы, люди объединялись по политическим взглядам или по вероисповеданию, и каждая группа покровительствовала своим. Мне тоже приходилось покровительствовать своим, то есть поступать немного против совести. Но даже и в своей группе я не мог установить полного равенства. В зависимости от состояния здоровья моих товарищей или от тяжести работ, которые они выполняли, я отдавал преимущество то одному, то другому. А такие различия заводят далеко, можете мне поверить. Нет, право, я очень устал,

и мне совсем не хочется вспоминать о тех временах. Скажу только, что я дошел до предела—в тот день, когда выпил воду умирающего товарища. Нет-нет, не Дюгесклена, он тогда, помнится, уже умер—слишком много терпел лишений ради других. Да и если б он был тогда жив, я дольше боролся бы с жаждой из любви к нему—ведь я любил его, да, любил, так мне кажется, по крайней мере. Но тут воду я выпил, убеждая себя при этом, что я нужен товарищам, нужнее, чем тот, который все равно вот-вот умрет, и я должен ради них сохранить себе жизнь. Вот так-то, дорогой, под солнцем смерти рождаются империи и церкви. А чтобы подправить вчерашние мои высказывания, я сейчас поделюсь с вами глубочайшей мыслью, возникшей у меня, когда я говорил обо всех этих историях (я уж и не знаю теперь, действительно ли я пережил их или видел во сне). А глубочайшая моя мысль вот какая: надо прощать папе. Во-первых, он больше, чем кто бы то ни было, нуждается в прощении. А во-вторых, это единственный способ встать выше его...

Ах, простите, вы хорошо заперли дверь? Да? Проверьте, пожалуйста. Прошу вас извинить меня—у меня это комплекс. Лягу вечером в постель, уже начинаю засыпать, и вдруг мысль: а запер ли я дверь? Не помню! Каждый вечер приходится вставать проверять. Ни в чем нельзя быть уверенным, я уж это вам говорил. Не думайте, однако, что эта боязнь, эти мысли о задвижке—свойство перепуганного собственника. Еще не так давно я не запираю на ключ ни своей квартиры, ни автомобиля. Я и денег не запираю, не дорожил своей собственностью. Откровенно говоря, я даже немного стыдился, что у меня есть собственность. Случалось, что, ораторствуя в обществе, я убежденно восклицал: «Собственность, господа,—это убийство!» Не отличаясь такой широтой души, чтобы поделиться своими сокровищами с каким-нибудь достойным бедняком, я предоставлял их в распоряжение вполне возможных воров, надеясь, что случай исправит несправедливость. Нынче, однако, у меня ничего нет. И забочусь я не о своей безопасности, а о себе самом, о своем душевном спокойствии. Мне хочется крепко замкнуть ворота моего маленького мирка, где я и царь, и папа Римский, и судья.

Кстати, позвольте попросить вас отворить дверцы стенного шкафа. Да-да, там картина. Посмотрите на нее. Не узнаете? Да ведь это «Неподкупные судьи». Вы не вздрогнули? Так, значит, в вашем образовании имеются пробелы? Однако если вы читаете газеты, то, вероятно, помните о краже, которая совершена была в 1934 году: в Генте из собора св. Бавона выкрали одну из створок знаменитого напрестольного складня кисти Ван Эйка «Поклонение агнцу». Украденная створка называлась «Неподкупные судьи». На ней изображены были судьи, которые верхом на конях едут поклониться святому агнцу. Похищенную картину заменили превосходной копией, оригинала же так и не нашли. А он вот, перед вами! Нет, я здесь ни при чем. Один из завсегдатаев «Мехико-Сити», тот самый, которого вы заметили в прошлый раз, будучи пьяным, продал сей шедевр хозяину этого кабака за бутылку джина. Я посоветовал нашему другу горилле повесить картину на видном месте, и, пока во всем мире искали наших

благочестивых судей, они возвышались в «Мехико-Сити» над головами пьяниц и сутенеров. Потом горилла по моей просьбе отдал картину мне на хранение. Сперва он ворчал, не хотел этого делать, но, когда я разъяснил ему положение, испугался. С тех пор почтенные судейские чиновники составляют все мое общество. А там, в «Мехико-Сити», картина, как вы видели, оставила след на стене.

Почему я не возвратил картину в собор? Ах, ах! У вас рефлексы полицейского, право! Ну что ж, я вам отвечу так, как ответил бы судебному следователю, если бы только кто-нибудь додумался наконец, что картина попала в мою спальню. Не возвратил я картину, во-первых, потому, что она принадлежит не мне, а хозяину «Мехико-Сити», который так же заслуживает этого, как и епископ Гентский. Во-вторых, никто из тех, кто проходит мимо «Поклонения агнцу», не мог бы отличить копии этой картины от оригинала и, следовательно, никто не потерпел ущерба по моей вине. В-третьих, я при помощи этой махинации возвышаюсь над толпой невежд. Для всеобщего обозрения и восхищения выставлена подделка, а подлинник-то у меня спрятан! В-четвертых, я таким образом рискую попасть в тюрьму — мысль в некотором отношении соблазнительная. В-пятых, судьи едут на поклонение агнцу, а поскольку больше нет ни агнца, ни непорочности, ловкий жулик, укравший картину, оказался орудием неведомого правосудия, коему не следует перечить. Словом, потому, что таким способом мы восстановили порядок, и, раз правосудие окончательно отделено от невиновности, последняя распята на кресте, а первое скрыто в стенном шкафу — у меня руки развязаны, и я свободно могу действовать согласно моим убеждениям. Я могу со спокойной совестью исполнять трудные обязанности судьи на покаянии, к которым я обратился после многих разочарований и превратностей, и, раз вы уезжаете, пора мне сказать вам наконец, что же это такое.

Позвольте только я сначала лягу повыше, а то дышать трудно. Ах, как я устал! Заприте на ключ моих неподкупных судей. Спасибо. Так вот, судья на покаянии — это как раз и есть моя специальность в настоящее время. Обычно я практикую в «Мехико-Сити». Но дело, к которому человек питает призвание, он вершит и вне постоянного места работы. Я не оставляю его даже в постели, даже когда меня треплет лихорадка. Это, впрочем, не просто профессия, а искусство, я им вдохновляюсь, дышу им, не думайте же, что в течение пяти дней я вел такие длинные речи только для собственного удовольствия. Нет, в свое время я достаточно поупражнялся в пустопорожней болтовне. Теперь мои речи преследуют определенную цель. Разумеется, я стремлюсь к тому, чтобы смолкли насмешки надо мной, чтобы лично я избежал суда, хотя как будто для этого нет никакой возможности. Больше всего нам мешает ускользнуть от судилища то, что мы первые выносим себе приговор. Стало быть, надо начать с того, чтобы распространить суд на всех, без всяких различий и тем самым уже несколько ослабить его.

Исхожу я при этом из следующего принципа: никаких извинений — никогда и никому. Я отметаю благие намерения, уважитель-

ные заблуждения, ложные шаги, смягчающие обстоятельства. У меня не дают поблажки, не дают отпущения грехов. Просто-напросто производят арифметическое действие — сложение — и устанавливают: «Всего столько-то. Вы развратник, сатир, мифоман, педераст, мошенник... и так далее». Вот так-то. Довольно сухо. В философии, как и в политике, я сторонник любой теории, отказывающей человеку в невинности, и за то, чтобы с ним на практике обращались как с преступником. Я, дорогой мой, убежденный сторонник рабства.

Без рабства, по правде сказать, и не может быть окончательного выхода. Я очень быстро это понял. Прежде я все твердил: «Свобода, свобода!» Я ее намазывал на тартинки за завтраком, жевал целый день, и дыхание мое было пропитано чудесным ароматом свободы. Этим великолепным словом я мог сразить любого, кто мне противоречил, я поставил это слово на службу своих желаний и своей силы. Я лепетал его на ухо своим засыпавшим возлюбленным, и оно же помогало мне бросать их. Я шептал его... Впрочем, довольно, я прихожу в возбуждение и теряю меру. Однако мне случалось пользоваться свободой бескорыстно, и даже, представьте себе мою наивность, два-три раза я по-настоящему выступал на защиту ее; конечно, я не шел на смерть ради свободы, но все же подвергался некоторым опасностям. Надо простить мне эту неосторожность, я не ведал, что творил. Я не знал, что свободу не уподобишь награде или знаку отличия, в честь которых пьют шампанское. Это и не лакомый подарок, вроде коробки дорогих конфет. О нет! Совсем наоборот — это повинность, изнурительный бег сколько хватит сил, и притом в одиночку. Ни шампанского, ни друзей, которые поднимают бокал, с нежностью глядя на тебя. Ты один в мрачном зале, один на скамье подсудимых перед судьями, и один должен отвечать перед самим собой или перед судом людским. В конце всякой свободы нас ждет кара; вот почему свобода — тяжелая ноша, особенно когда у человека лихорадка, или когда у него тяжело на душе, или когда он никого не любит.

Ах, дорогой мой, тому, кто одинок, у кого нет ни бога, ни господина, бремя дней ужасно. Значит, надо избрать себе господина, так как бог теперь не в моде. К тому же слово это потеряло смысл, и не стоит употреблять его, чтобы никого не шокировать. Но посмотрите на наших моралистов — это такие серьезные люди, они так любят своих ближних! А скажите, чем они отличаются от христиан? Только тем, что не читают проповедей в церквях. Как по-вашему, что им мешает обратиться к богу? Пожалуй, стыд, да, именно ложный стыд, боязнь суда людского. Они не хотят устраивать скандал и хранят свои чувства про себя. Я вот знал одного писателя-атеиста, который каждый вечер молился богу. Это не мешало ему расправиться с богом в своих книгах! Задавал он ему трепку, как сказал кто-то, не помню уж кто. Некий общественный деятель, человек свободомыслящий, которому я рассказал про этого писателя, всплеснул руками (впрочем, беззлобно). «Да для меня это не новость, — воскликнул со вздохом сей апостол, — они все такие!» По его словам, восемьдесят процентов наших писателей охотней прославляли бы

имя божие в своих произведениях, если бы могли не подписывать их. Но они подписываются, по мнению моего знакомого, из-за того, что любят себя и ничего не прославляют, из-за того, что ненавидят людей. Но так как они все же не могут отказаться от суждения о ближних, они наверстывают на вопросах морали. В общем, они дьявольски почитают добродетель. Странное, право, время! Неудивительно, что происходит смятение умов и что один из моих приятелей, который был атеистом, пока хранил безупречную верность супруге, вдруг обратился в христианство, когда совершил прелюбодеяние.

Ах, эти мелкие скрытники, комедианты, лицемеры — они, однако, очень трогательны! Поверьте, все трогательно, даже когда они разжигают в небесах пожар. Атеисты они или богомольцы, чтят ли они Москву или Бостон — все они христиане, так уж у них от отца к сыну идет. Но если нет больше отцовской власти, кто же будет хлопать по пальцам указкой? Люди свободны, пусть уж как-нибудь сами выворачиваются, но, так как они больше всего боятся свободы и кары, ожидающей их за эту свободу, они просят, чтоб их хлопали по пальцам, изобретают страшные указки, спешно воздвигают костры, чтобы заменить ими церковь. Сущие Савонаролы, право! Но они верят только в смертный грех и никогда не поверят в благодать. О благодати они, конечно, думают. Они мечтают о благодати, о всеобщем «да», о непосредственности, благоденствии и, как знать (ведь они сентиментальные), грезят о помолвках: невеста — молоденькая, свеженькая девушка, жених — статный мужчина, в честь обручения гремит музыка. А я не отличаюсь сентиментальностью, так знаете, о чем я мечтал? О том, чтобы предаваться любви душой и телом, день и ночь, в непрестанном объятии, в экстазе наслаждения — и пусть так будет пять лет, а потом — смерть. Увы!

Ну а раз нет целомудренных помолвок или непрестанной любви, пусть уж будет брак со всей его грубостью, супружеской властью и плеткой. Главное — чтобы все стало просто, как для ребенка, чтобы каждое действие предписывалось да чтобы добро и зло были определены произвольно, зато вполне очевидно. И я на это согласен, при всем моем сицилианстве и яванстве, а уж к христианам меня никак нельзя отнести, хотя к первому из них я полон самых добрых чувств. Но на парижских мостах я узнал, что и я боюсь свободы. Да здравствует же господин, каков бы он ни был, лишь бы он заменял закон небес! «Отче наш, временно находящийся на земле... О руководители наши, главари очаровательно строгие, вожаки жестокие и многолюбимые!..» Словом, как видите, главное в том, чтобы не быть свободным и в раскаянии своем повиноваться тому, кто хитрее тебя. И раз все мы будем виновны — вот вам и демократия. Да еще учтите, дорогой друг, ведь надо отомстить за то, что мы должны умирать одиноко. Умираем мы в одиночестве, а рабство — всеобщее состояние. Не только мы, но и другие будут поработены одновременно с нами — вот что важно. Все наконец объединятся, правда стоя на коленях и склонив голову.

Значит, совсем неплохо в своей жизни уподобиться обществу, а разве для этого не нужно, чтобы общество походило на меня?

Угрозы, позор, полиция—таковы священные основы этого сходства. Раз меня презирают, преследуют, принуждают, стало быть, я имею право развернуться вовсю, показать свое нутро, быть естественным. Вот почему, дорогой мой, торжественно восславив свободу, я втайне решил, что надо срочно отдать ее кому угодно. И всякий раз, как я могу это сделать, я проповедую в своей церкви—в «Мехико-Сити», призываю добрых людей покориться и смиренно добиваться удобного состояния рабства, называя его, однако, истинной свободой.

Но я еще не сошел с ума и прекрасно понимаю, что рабство не настанет завтра. Это одно из благодений, которые принесет нам будущее. А пока что мне надо приспособиться к настоящему и поискать хотя бы временный выход. Вот и пришлось найти способ распространить осуждение на всех, чтобы бремя его легче стало для меня самого. И я нашел способ. Будьте добры, приоткройте окно, здесь невероятно жарко. Широко не отворяйте, меня и знобит к тому же. Мысль моя очень проста и плодотворна. Как сделать, чтобы все поголовно окунулись в воду, а ты бы имел право сохнуть на солнышке? Не подняться ли на кафедру проповедника, как многие мои знаменитые современники, и не проклясть ли человечество? Нет, опасная штука! В один прекрасный день или ночь внезапно раздастся хохот. Приговор, который вы бросили другим, в конце концов полетит обратно, прямо в вашу физиономию и нанесет ей повреждения. Ну и как же?—думаете вы. А вот вам гениальная догадка! Я открыл, что, пока еще не пришли власти и не принесли с собой розги, мы должны, как в свое время Коперник, рассуждать от противного, чтобы восторжествовать. Раз мы не можем осуждать других без того, чтобы тотчас же не осудить самих себя, нужно сначала обвинить себя, и тогда получишь право осуждать других. Раз всякий судья приходит в конце концов к покаянию, надо идти в обратном направлении и начать с покаяния, а кончить осуждением. Вы следите за моей мыслью? Чтобы она стала вам еще яснее, сейчас расскажу, как я работаю.

Прежде всего я закрыл свою адвокатскую контору, уехал из Парижа, путешествовал, пытался устроиться под другим именем в другом городе, где у меня была бы достаточная практика. В мире немало таких городов, но случай, удобство, ирония и потребность в известном самобичевании заставили меня выбрать вот эту столицу воды и туманов, изрезанную каналами, загроможденную домами, место, куда съезжаются люди со всех концов света. Я устроил свою контору в баре матросского района. Клиентура в портах весьма разнообразна. Бедняки не заглядывают в роскошные рестораны, а богачи хоть раз в жизни, как вы сами знаете, попадают к нам. Я главным образом подстерегаю какого-нибудь буржуа, заблудившегося буржуа, и уж на него-то я воздействую во всю мощь своего красноречия. Как виртуоз, извлекаю из него самые изысканные мелодии.

С некоторого времени я своей полезной профессией занимаюсь в «Мехико-Сити». Она состоит прежде всего в том, что я охотно совершаю публичную исповедь, в чем вы имели случай убедиться. Обвиняю себя напропалую. Это нетрудно, на меня нахлынули

воспоминания. Но заметьте, никаких грубых приемов: я каюсь, но не бью себя кулаком в грудь. Нет, у меня гибкая лавировка, множество оттенков и отступлений—словом, я приноравливаюсь к слушателю, и уж тогда он сам подбавляет жару. То, что касается меня, я примешиваю к тому, что касается других. Я схватываю черты, общие для многих, жизненный опыт, выстраданный всеми, слабости, которые я разделяю с другими, правила хорошего тона, требования современного человека, свирепствующие во мне и в других. Из всего этого я создаю портрет, обобщенный и безликий. Так сказать, личину, похожую на карнавальные маски, вернее, на упрощенные изображения, увидев которые каждый думает: «Постой, где же я встречал этого типа?» Когда портрет закончен, как вот нынче вечером, я показываю его и горестно восклицаю: «Увы, вот я каков!» Обвинительный акт завершен. Но тут же портрет, который я протягиваю моим современникам, становится зеркалом.

Посыпав главу пеплом, неспешно вырываю на ней волосы и, расцарапав себе ногтями лицо, сохраняя, однако, пронзительность взгляда, стою я перед всем человечеством, перечисляя свои позорные деяния, не теряя из виду впечатление, какое я произвел, и говорю: «Я был последним негодяем!» А потом незаметно перехожу в своей речи с «я» на «мы». Когда же я говорю: «Вот каковы мы с вами!»—дело сделано, я уже могу резать им в глаза правду. Я, разумеется, такой же, как они, мы варимся в одном котле. У меня, однако, то преимущество, что я это знаю, и это дает мне право говорить, не стесняясь. Я уверен—вы видите это преимущество. Чем больше я обвиняю себя, тем больше имею право осуждать вас. А еще лучше—подстрекать вас к осуждению самого себя, ведь это для меня такое облегчение! Ах, дорогой мой! Какие мы странные, жалкие создания! Ведь стоит нам приглядеться к своей жизни, мы найдем достаточно оснований удивляться себе и стыдиться своих поступков. Попробуйте и будьте уверены, вашу исповедь я выслушаю с глубоким братским сочувствием.

Не смейтесь! Да, вы клиент трудный, я это сразу увидел. Но вы придете к исповеди. Это неизбежно. Другие в большинстве своем скорее чувствительны, чем умны, их сразу сбиваешь с толку. С умными людьми надо набраться терпения. Им нужно объяснить свой метод. Они не забудут его, они станут размышлять. И рано или поздно шутки ради, а может быть, в час душевного смятения они все выложат. Вы не только умны, вы, как видно, человек бывалый. Признайтесь, однако, что сегодня вы менее довольны собою, чем пять дней назад. Буду теперь ждать вашего письма или вашего приезда. Ведь вы придете, я уверен. И найдете, что я не переменялся. А почему мне меняться, раз я обрел счастье, соответствующее мне? Я вполне примирился со своей двойственностью, вместо того чтобы приходить из-за нее в отчаяние. Я свыкся с нею и полагаю, что она то самое удобное состояние, которого я искал всю жизнь. В сущности, я неверно вам сказал, что важнее всего избежать осуждения. Нет, самое главное—все себе позволять, но время от времени вопиять о своей подлости. Я теперь опять все себе позволяю, но уже не

слышу смеха за своей спиной. Я не изменил своего образа жизни, я продолжаю любить самого себя и пользоваться другими. Однако я исповедуюсь в своих грехах, и благодаря этому мне легче все начинать сызнова и наслаждаться вдвойне — во-первых, угождая своей натуре, а во-вторых, познавая прелесть раскаяния.

С тех пор как я нашел для себя выход, я пустился во все тяжкие, тут все: и женщины, и гордыня, и тоска, и злопамятство, и даже лихорадка, которая, как я с радостью чувствую в эту минуту, все усиливается. Наконец-то пришло мое царство — и теперь уж навсегда. Я опять нашел вершину, на которую мне можно взобраться одному и с нее судить всех и вся. Порой, но очень редко, в какую-нибудь прекрасную, поистине прекрасную ночь, я слышу отдаленный смех и вновь меня охватывает сомнение. Но я живо опомнюсь, обрушу на все живое и на весь мир бремя моего собственного уродства, и опять становлюсь молодцом.

Итак, буду терпеливо ждать приятной встречи с вами в «Мехико-Сити». А сейчас снимите с меня это одеяло, я задыхаюсь. Вы приедете, верно? Я в знак привязанности к вам даже продемонстрирую некоторые подробности моей техники. Вы увидите, как целую ночь я доказываю своим собеседникам, что они негодяи. Кстати сказать, я нынче вечером опять возьмусь за дело. Не могу без этого обойтись, не хочу лишать себя тех минут, когда один из них, с помощью алкоголя, конечно, рухнет под тяжестью раскаяния и примется бить себя кулаком в грудь. И тогда я поднимаюсь, дорогой, поднимаюсь высоко, дышу свободно, стою на горе и перед глазами моими простирается равнина. Как упоительно чувствовать себя богом-отцом и раздавать непрекаемые удостоверения о дурной жизни и безнравственности. Я царю среди моих падших ангелов на вершине голландского неба и вижу, как поднимаются ко мне, выходя из туманов и воды, легионы явившихся на Страшный суд. Они поднимаются медленно, но вот уже приближается первый из них. Лицо у него растерянное, наполовину прикрытое рукой, и я читаю на нем печаль о всеобщей участи и горькое отчаяние, ибо он не может избежать ее. А я — я жалею, но не даю отпущения грехов, я понимаю, но не прощаю, и, главное, ах, я чувствую наконец, что мне поклоняются.

Ну да, конечно, я волнуюсь, как же мне лежать спокойно? Мне надо подняться выше вас, и мои мысли возносят меня. В те ночи, вернее, в рассветные часы, так как падение происходит на заре, я выхожу на улицу и стремительным шагом иду вдоль каналов. В побледневшем небе тоньше становятся слоистые скопления перьев, голуби поднимаются немного выше, над крышами брезжит розовый свет, рождается новый день творения моего. На Дамраке в сыром воздухе дребезжит звонок первого трамвая, возвещающая пробуждение жизни на краю Европы, в которой в это самое время сотни миллионов людей, моих подданных, с трудом просыпаются, чувствуя горечь во рту, и встают, чтобы идти туда, где их ждет безрадостный труд. А я парю тогда в мыслях над всем этим континентом, который неведомо для себя подвластен мне, я впиваю мутный, как абсент,

свет нарождающегося дня, и, опьянев от злобных своих слов, я счастлив,—счастлив, говорю я вам, я запрещаю вам сомневаться, что я счастлив, я смертельно счастлив! О солнце, песчаные берега морей и океанов и острова, овеваемые пассатами, молодость, воспоминания о которой приводят в отчаяние.

Извините, я лягу опять. Боюсь, что очень взволновался. Но я все-таки не плачу. Иной раз совсем растеряешься, сомневаешься в самом очевидном, даже когда откроешь секрет счастливой жизни. Тот выход, какой я нашел, конечно, не назовешь идеальным. Но когда тебе опротивела твоя жизнь, когда знаешь, что надо жить по-другому, выбора у тебя нет, не правда ли? Что сделать, чтобы стать другим? Невозможно это. Надо бы уйти от своего «я», забыть о себе ради кого-нибудь, хотя бы раз, только один раз. Но как это сделать? Не вините меня чересчур строго. Я как тот старик нищий, который все не выпускал моей руки, получив от меня милостыню на террасе кафе. «Ах, не сердитесь,—говорил он,—не потому до этого доходишь, что ты плохой человек, да вот свет в глазах померк». Да, померк у нас в глазах свет, погасли утренние зори, утратили мы святую невинность, которой прощаются ее грехи.

Смотрите, снег пошел! О, надо мне пойти прогуляться. Спящий Амстердам, белый его покров в ночи, мрачная чернота каналов под заснеженными мостиками, пустынные улицы, мои приглушенные шаги... Очень хороша вся эта мимолетная чистота—ведь завтра будет грязь. Видите, какие огромные белые хлопья распушились за окнами. Это, конечно, голуби. Милые, они решились наконец спуститься! Покрыли и воду и крыши густым слоем белых перьев, трепещут у каждого окна. Какое нашествие! Будем надеяться, что они принесут нам благую весть. Все, все будут спасены, да, а не только избранные, богатства и бремя труда разделят между всеми, и с нынешнего дня вы каждую ночь будете спать на полу ради меня. Полная гармония, чего там! Признайтесь, однако, что вы обомлеете, если с неба спустится колесница и я вознесусь на ней или вот снег вдруг запылает огнем. Вы не верите в чудеса? Я тоже. Но мне все же необходимо пройтись.

Хорошо, хорошо. Я буду лежать спокойно, не тревожиться. Да вы и не очень-то доверяйте моему волнению, моему умилению и бредовым моим речам. Они целенаправленны. Погодите, теперь вы расскажете мне о себе, и тогда я узнаю, достиг ли я своей страстной исповедью хотя бы одной из своих целей. Я все надеюсь, что когда-нибудь моим собеседником окажется полицейский и он арестует меня за кражу «Неподкупных судей». За все остальное никто не может меня арестовать, верно? Но эта кража подпадает под действие закона, и я уж постарался, чтобы меня сочли сообщником: я укрываю у себя драгоценную картину и показываю ее первому встречному. Так вы, значит, можете меня арестовать—это будет хорошее начало. Может быть, займутся потом и всем остальным, может быть, отрубят мне голову, и я избавлюсь от страха смерти, буду спасен. Вы поднимете над собравшейся толпой зрителей мою еще не тронутую тлением голову, чтобы они ее узнали, и вновь я возвышусь над ними, как

образцовый преступник. Все будет кончено, я завершу потихоньку свой путь лжепророка, вопиющего в пустыне и не желающего выйти из нее.

Но вы, конечно, не полицейский—это было бы слишком просто. Да что вы?.. Адвокат? А знаете, я так и думал. Стало быть, странная симпатия, которую я почувствовал к вам, имела свои основания. Вы занимаетесь в Париже прекрасной деятельностью. Я так и знал, что мы с вами из одного племени. Ведь мы все похожи друг на друга, говорим без умолку, в сущности не обращаясь ни к кому, и всегда сталкиваемся с одними и теми же вопросами, хотя и знаем заранее ответы на них. Ну, расскажите мне, прошу вас, что случилось с вами однажды вечером на набережной Сены и как вам удалось никогда не рисковать своей жизнью. Произнесите те слова, которые уже много лет не перестают звучать по ночам в моих ушах и которые я произношу наконец вашими устами: «Девушка, ах девушка! Кинься еще раз в воду, чтобы вторично мне выпала возможность спасти нас с тобой обоих!» Вторично? Ох, какая опрометчивость! Подумайте, дорогой мэтр, а вдруг нас поймают на слове? Выполняйте обещание! Бр-р! Вода такая холодная! Да нет, можно не беспокоиться. Теперь уж поздно, и всегда будет поздно. К счастью!

РАССКАЗЫ И ЭССЕ



ИЗ КНИГИ «ИЗНАНКА И ЛИЦО»

МЕЖДУ ДА И НЕТ

Если и вправду есть только один рай—тот, который потерял,—я знаю, как назвать то неуловимое, нежное, нечеловеческое, что переполняет меня сегодня. Скиталец возвращается на родину. А я—я предаюсь воспоминаниям. Насмешка, упрямство—все смолкает, и вот я снова дома. Не стану твердить о счастье. Все гораздо проще и легче. Потому что среди часов, которые я возвращаю из глубины забвения, всего сохранней память о подлинном чувстве, об одном лишь миге, который не затеряется в вечности. Только это во мне настоящее, и я слишком поздно это понял. Мы любим гибкость движения, вид дерева, которое выросло как раз там, где надо. И чтобы воскресить эту любовь, довольно самой малости, будь то воздух комнаты, которую слишком долго не открывали, или знакомые шаги на дороге. Так и со мной. И если я тогда любил самозабвение, значит, был верен себе, ибо самим себе возвращает нас только любовь.

Медлительные, тихие и торжественные возвращаются ко мне эти часы и все так же захватывают, все так же волнуют, ибо это вечер, печальный час, и в небе, лишенном света, затаилось смутное желание. В каждом вспомнившемся движении я вновь открываю себя. Когда-то мне сказали: «Жить так трудно». И я помню, как это прозвучало. В другой раз кто-то прошептал: «Самая горькая ошибка—заставить человека страдать». Когда все кончено, жажда жизни иссякает. Быть может, это и зовут счастьем? Перебирая воспоминания, мы все их облекаем в одни и те же скромные одежды, и смерть предстает перед нами, как старая выцветшая декорация в глубине сцены. Мы возвращаемся к самим себе. Ощущаем всю меру своей скорби, и она становится нам милее. Да, быть может, грусть былых несчастий и есть счастье.

Таков и этот вечер. В мавританской кофейне, на краю арабского города, мне вспоминается не бывшее счастье, но некое

странное чувство. Уже поздно. На стенах, среди пальм о пяти ветвях, канареечно-желтые львы гонятся за шейхами в зеленых одеяниях. В углу мигает ацетиленовая лампа. Но комнату кое-как освещает открытая топка маленькой печки, выложенной зелеными и желтыми изразцами. Пламя освещает середину комнаты, и я ощущаю на лице его отблески. Передо мною распахнутая дверь, и за нею — залив. В углу сидит на корточках хозяин и, кажется, смотрит на мой давно уже пустой стакан с листиком мяты на дне. В кофейне ни души, внизу шумит город, вдали виднеются огни над заливом. Мне слышно, как тяжело дышит араб, в сумраке поблескивают его глаза. Глухой далекий шум — верно, море? Нескончаемые мерные вздохи доносятся до меня — дыхание мира, непреходящее равнодушие и спокойствие того, что не умирает. От крупных алых бликов огня изгибаются львы на стенах. Становится прохладней. Над морем звучит сирена. Загораются огни маяка: зеленый, красный, белый. И не смолкает мощное дыхание мира. Из равнодушия рождается какая-то потаенная песнь. И вот я вновь на родине. Думаю о мальчишке, что жил в бедном квартале. Тот квартал, тот дом... Всего два этажа, и на лестнице темно. Еще и сейчас, после долгих лет, он мог бы вернуться туда среди ночи. Он знал, что взбежит по лестнице единым духом и ни разу не споткнется. Все его тело хранит на себе отпечаток того дома. Ноги в точности помнят высоту ступеней. И ладонь помнит невольный страх перед перилами, который так и не удалось одолеть. Потому что там водились тараканы.

Летними вечерами рабочие выходят на балкон. А у мальчишки было только крохотное оконце. Что ж, выносили из комнаты стулья и радовались вечеру, сидя перед домом. Тут была улица, рядом шла торговля мороженым, напротив — кофейни, с криком носилась от крыльца к крыльцу детвора. А главное, между огромными фикусами было небо. Бедность делает человека одиноким. Но одиночество это всему придает цену. Кто хоть на несколько ступеней поднялся к богатству, тот даже небо и ночь, полную звезд, принимает как нечто само собою разумеющееся. Но для стоящих внизу, у подножия лестницы, небо вновь обретает весь свой смысл: это благодать, которой нет цены. Летние ночи, таинство, пламенеющее звездами! За спиной мальчишка тянулся зловонный коридор, на продавленном стуле не очень-то удобно было сидеть. Но, подняв глаза, он впивал чистоту ночи. Порой пробегал мимо большой быстрый трамвай. Где-то за углом затягивал песню пьяный, но и это не нарушало тишины.

И мать мальчика тоже всегда молчала. Иной раз ее спрашивали: «О чем ты думаешь?» «Ни о чем», — отвечала она. И это была правда. Все тут, при ней, — о чем же думать? Ее жизнь, ее заботы, ее дети просто-напросто были при ней, а ведь того, что само собой разумеется, не ощущаешь. Она была слаба здоровьем, мысль ее работала трудно и медленно. Ее мать, женщина грубая, властная, вспыльчивая, все приносила в жертву неистовому

самолюбию и с детства сломила слабую волю дочери. Выйдя замуж, дочь высвободилась было из-под ее власти, но, когда муж умер, покорно вернулась к матери. Умер он, как говорится, на поле чести. В золоченой рамке на самом виду висят его награды: крест «За боевые заслуги» и медаль. И еще из военного госпиталя вдове прислали найденный в его теле осколок гранаты. Вдова сохранила осколок. Она давно уже перестала горевать. Мужа она забыла, но еще говорит иногда об отце своих детей. Чтобы их вырастить, она работает и деньги отдает матери. А та воспитывает внуков ремнем. Когда она бьет слишком сильно, дочь говорит ей: «Только не бей по голове». Она их любит, ведь это ее дети. Любит всех одинаково и ни разу ничем не показала им своей любви. Случалось, в такой вот вечер, какие ему теперь вспоминаются, она вернется без сил с работы (она ходила по домам убирать) и не застанет ни души. Старуха ушла за покупками, дети еще в школе. Тогда она опустится на стул и смутным взглядом растерянно уставится на трещину в полу. Вокруг нее сгущается ночь, и во тьме немота ее полна безысходного уныния. В такие минуты, случись мальчику войти, он едва различит угловатый силуэт, худые, костлявые плечи и застынет на месте: ему страшно. Он уже начинает многое чувствовать. Он только-только начал сознавать, что существует. Но ему трудно плакать перед лицом этой немоты бессловесного животного. Он жалеет мать — значит ли это любить? Она никогда его не ласкала, она этого не умеет. И вот долгие минуты он стоит и смотрит на нее. Он чувствует себя посторонним и оттого понимает ее муку. Она его не слышит: она туга на ухо. Сейчас вернется старуха, и жизнь пойдет своим чередом: будет круг света от керосиновой лампы, клеенка на столе, крики, брань. А пока — тишина, значит, время остановилось, длится нескончаемое мгновение. Мальчику кажется — что-то встрепенулось внутри, какое-то смутное чувство, наверно, это любовь к матери. Что ж, так и надо, ведь, в конце концов, она ему мать.

А она ни о чем не думает. На улице светло, шумно; здесь тьма и тишина. Мальчик вырастет, поймет. Его растят и за это потребуют благодарности, как будто уберегли от боли. Мать всегда будет вот так же погружаться в молчание. Он будет расти среди боли. Главное — стать взрослым. Бабушка умрет, а потом и мать, и он сам.

Мать вздрогнула. Испугалась. Чего он на нее уставился как дурак? Пускай садится готовить уроки. Мальчик приготовил все уроки. Сегодня он сидит в какой-то дрянной кофейне. Теперь он — взрослый. Разве это не главное? Похоже, что нет, ведь, когда сделаешь все уроки и примиришься с тем, что ты уже взрослый, впереди остается только старость.

Араб все так же сидит на корточках в своем углу, взявшись руками за ступни. Снаружи, с террас, тянет запахом поджаренного кофе, доносятся оживленные молодые голоса. Еще гудит негромко и ласково буксирный пароходик. Жизнь замирает, как всегда по вечерам, и от всех безмерных мучений остается лишь обещание покоя. Странная мать, такая равнодушная! Только безграничное одиночество, переполняющее мир, помогает мне

постичь меру этого равнодушия. Однажды сына, уже взрослого, вызвали к матери. Внезапный испуг кончился для нее кровоизлиянием в мозг. Она привыкла по вечерам выходить на балкон. Садилась на стул, прижимала губами к холодным ржавым железным перилам. И смотрела на прохожих. За спиной у нее понемногу сгущалась тьма. Перед нею вдруг вспыхивали витрины. Улицу заполняли огни и люди. И мать погружалась в бесцельное созерцание. В тот вечер, о котором идет речь, сзади появился неизвестный человек, набросился на нее, избил и, заслышав шум, скрылся. Она ничего не видела, потеряла сознание. Когда очнулся сын, она была в постели. Врач посоветовал не оставлять ее на ночь одну. Сын прилег подле нее на кровати, поверх одеяла. Было лето. Жаркая комната еще дышала ужасом недавно разыгравшейся драмы. За стеною слышались шаги, скрип дверей. В духоте держался запах уксуса, которым обтирали больную. Она и сейчас беспокойно металась, стонала, порой вздрагивала всем телом. И сын, едва успев задремать, просыпался весь в поту, настороженно приглядывался к ней, потом бросал взгляд на часы, на которых плясал трижды отраженный огонек ночника, и вновь погружался в тяжелую дремоту. Лишь позднее он постиг, до чего одиноки были они в ту ночь. Одни против всех. «Другие» спали в этот час, когда их обоих сжигала лихорадка. Старый дом казался пустым, нежилым. Прошли полуночные трамваи, и с ними иссякли все надежды, какие пробуждают в нас люди, пропала уверенность, которую приносят нам городские шумы. В доме еще отдавалось эхо прогремевшего мимо вагона, потом все угасло. И остался лишь огромный сад безмолвия, где порою прорастали пугливые стоны больной. Никогда еще сын не чувствовал себя таким потерянным. Мир истаял, а с ним и обманная надежда, будто жизнь каждый день начинается сызнова. Ничего больше не существовало — ни занятий, ни честолюбивых замыслов, излюбленных блюд в ресторане, любимых красок. Остались только болезнь и смерть, и они затягивали его... И, однако, в тот самый час, когда рушился мир, он жил. И даже в конце концов уснул. Но все же в нем запечатлелся надрывающий душу, полный нежности образ этого одиночества вдвоем. Позже, много позже, вспомнится ему смешанный запах пота и уксуса, вспомнятся минуты, когда он ощутил узы, соединяющие его с матерью. Словно безмерная жалость, переполнявшая его сердце, излилась наружу, обрела плоть и, ничуть не считая себя самозванкой, добросовестно играла роль полuniцей старой женщины с горькой судьбой.

Уголья в очаге уже подернулись пеплом. И все так же дышит земля. Где-то рассыпает переливчатую трель дербука¹. С ней сливается смеющийся женский голос. По заливу приближаются огни — наверно, возвращаются в гавань рыбацьи лодки. Треугольник неба, который виден мне с моего места, стяхнул с себя дневные облачка. Полный звезд, он трепещет под чистым дуновением, и меня овевают медленными взмахами бесшумные крылья ночи. Куда придет эта ночь, в которой я больше не

¹ Арабский музыкальный инструмент, подобие барабана.

принадлежу себе? Есть нечто опасное в слове «простота». И сегодня ночью я понимаю: в иные минуты хочется умереть, потому что видишь жизнь насквозь — и тогда все теряет значение и смысл. Человек страдает, на него обрушивается несчастье за несчастьем. Он все выносит, свыкается со своей участью. Его уважают. А потом однажды вечером оказывается — ничего не осталось; человек встретил друга, когда-то близкого и любимого. Тот говорит с ним рассеянно. Возвратясь домой, человек кончает самоубийством. Потом говорят о тайном горе, о душевной драме. Нет. Если уж необходимо доискиваться причины, он покончил с собой потому, что друг говорил с ним рассеянно. И вот, всякий раз, как мне кажется, что я постиг мир до самых глубин, он меня потрясает своей простотой. Вспоминается мама, тот вечер и ее странное равнодушие. Или другой случай: я жил на даче в предместье, со мной были только собака, две кошки и их котята, все черные. Кошка не могла их кормить. Котята умирали один за другим. Они наполняли ящик пометом. И каждый вечер, возвращаясь домой, я обнаруживал еще один окоченелый, оскаленный трупик. Однажды вечером я нашел последнего — мать наполовину сожрала его. От него уже пахло. Несло мертвечиной и мочой. Тогда я сел на пол и среди всей этой мерзости, с перепачканными руками, дыша запахом разложения, долго смотрел в зеленые, горящие безумием глаза кошки, оцепеневшей в углу. Да. Вот так было и в тот вечер. Что-то утратишь, и уже ни в чем нет связи и толку, надежда и безнадежность кажутся одинаково бессмысленными, и вся жизнь воплощается в единственном образе. Но почему бы не пойти дальше? Все просто, все очень просто при свете маяка — зеленый огонь, красный, белый; все просто в ночной прохладе, в долетающих до меня запахах города и нищеты. Если в этот вечер ко мне возвращаются образы детства, как же не принять урок, который они дают, урок любви и бедности? Этот час — как бы затишье между ДА и НЕТ, а потому я отложу на другие часы и надежду, и отвращение к жизни. Да, надо только принять прозрачную ясность и простоту потерянного рая, заключенную в одном лишь образе. И вот, не так уж давно, в один дом в старом квартале пришел сын навестить мать. Они молча сидят друг против друга. Но взгляды их встречаются.

— Ну как, мама?

— Да так, ничего.

— Тебе скучно? Я мало говорю?

— Ну, ты всегда мало говорил.

И прекрасная улыбка освещает ее лицо, почти не трогая губ. Да, правда, он никогда с нею не разговаривал. Но, в сущности, что нужды говорить? В молчании все проясняется. Он ей сын, она его мать. Она может просто сказать ему: «Знаешь...»

Она сидит на краешке дивана, ступни плотно сдвинуты, руки сложены на коленях. Он — на стуле, почти не смотрит на нее, курит без передышки. Молчание.

— Напрасно ты так много куришь.

— Да, верно.

В окно вливается все, чем дышит улица. Слышен аккордеон из соседней кофейни, шумы уличного движения, нарастающие к

вечеру; пахнет жареным мясом—кусочки его, прямо с вертела, едят, зажав между маленькими упругими лепешками; где-то плачет ребенок. Мать поднимается, берет вязанье. У нее неловкие пальцы, изуродованные артритом. Она вяжет медленно, по три раза принимается за одну и ту же петлю или распускает весь ряд; чуть слышно глухое шушанье.

— Это кофточка. Буду носить с белым воротничком. Еще есть черное пальто, вот я и одета на зиму.

Она опять встает, зажигает свет.

— Нынче темнеет рано.

Да, верно. Уже не лето, но еще не осень. В ласковом небе еще носятся с криком стрижи.

— Ты скоро вернешься?

— Да ведь я еще не уехал. Почему ты спрашиваешь?

— Просто так, надо же что-то сказать.

Проходит трамвай. Автомобиль.

— Правда, что я похож на отца?

— А как же, вылитый отец. Понятно, ты его не знал. Тебе полгода было, когда он умер. Вот если бы тебе еще усики!

Об отце он говорит неуверенно. Никаких воспоминаний, никакого волнения. Уж конечно, самый обыкновенный человек. Впрочем, воевать он пошел с восторгом. На Марне ему раскроило череп. Он ослеп, мучительно умирал целую неделю, имя его в его родном округе выбито на обелиске в память павших.

— Вообще-то так лучше,—говорит мать.—Вернулся бы он слепой, а может, помешанный. Что уж тогда бедняге...

— Да, верно.

Что же удерживает сына в этой комнате, если не уверенность, что всегда все к лучшему, не ощущение, что в этих стенах укрылась вся абсурдная, бессмысленная простота мира.

— Ты еще приедешь?—спрашивает мать.—Я знаю, у тебя работа. Но хоть кой-когда...

Так о чем это я сейчас? И как отделить нынешнюю пустую кофейню от той комнаты из прошлого? Я уже сам не знаю, живу ли или только вспоминаю. Вот они, огни маяка. И араб, хозяин кофейни, встает передо мной и говорит, что пора закрывать. Надо идти. Не хочу больше спускаться по этому опасному склону. Правда, я смотрю вниз на залив и его огни в последний раз, и его дыхание приносит мне не надежду на лучшие дни, а спокойное, первобытное равнодушие ко всему на свете и к самому себе. Но надо прервать этот слишком плавный, слишком легкий спуск. И мне необходима ясность мысли. Да, все просто. Люди сами все усложняют. Пусть нам не рассказывают сказки. Пусть не изрекают о приговоренном к смертной казни: «Он заплатит свой долг обществу», а скажут просто: «Ему отрубят голову». Кажется, пустяк. Но все-таки не совсем одно и то же. И потом, есть люди, которые предпочитают смотреть своей судьбе прямо в глаза.

ИЗ КНИГИ «БРАКОСОЧЕТАНИЯ»

БРАКОСОЧЕТАНИЕ В ТИПАСА

Весной в Типаса обитают боги, и боги говорят на языке солнца и запаха полыни, моря, закованного в серебряные латы, синего, без отбелей, неба, руин, утопающих в цветах, и кипени света на грудах камней. В иные часы все вокруг черно от спящего солнца. Глаза тщетно пытаются уловить что-нибудь, кроме дрожащих на ресницах капелек света и красок. От густого запаха ароматических трав, который стоит в знойном воздухе, першит в горле и нечем дышать. Я едва различаю черную громаду Шенуа, который вырастает из окружающих селение холмов и тяжелой, уверенной поступью спускается к морю.

Мы едем через селение, откуда уже видна бухта. Мы вступаем в желто-синий мир, где нас встречает, как вздох, терпкий аромат, который летом издает земля в Алжире. Повсюду из-за стен вилл выглядывают бугенвиллеи; в садах — еще бледные кетмии, которые скоро станут пурпурными, и море чайных роз, пенящихся, как взбитые сливки, в обрамлении нежно-лиловых ирисов на длинных стеблях. Каждый камень излучает тепло. Когда мы выходим из автобуса, сверкающего, как начищенная золотая пуговица, мясники в своих красных машинах, как обычно по утрам, объезжают селение, сзывая жителей гудками сирен.

Слева от порта лестница из каменных плит, не скрепленных цементом, ведет к руинам через заросли дрока и мастиковых деревьев. Дорога проходит мимо маленького маяка и теряется в полях. От самого подножия этого маяка какие-то большие мясистые растения с фиолетовыми, желтыми и красными цветами спускаются к первым скалам, которые море целует взасос. Мы стоим на солнце, обдуваемые легким ветром, который касается холодком одной стороны лица, и смотрим, как с неба нисходит свет и море, без единой морщинки, улыбается своей белозубой улыбкой. Прежде чем вступить в царство руин, мы в последний раз созерцаем пейзаж, как сторонние зрители.

Едва мы делаем несколько шагов, полынь берет нас за горло. Повсюду, насколько хватает глаз, ее серые волосы покрывают

руины. От зноя в ней бродят соки, и кажется, на всем свете от земли к солнцу поднимается крепкий хмель, от которого пьянеет и шатается небо. Мы идем навстречу любви и желанию. Мы не ищем поучений, проникнутых горькой философией, которых обычно ждут от всего величественного. Все, кроме солнца, поцелуев и диких запахов, кажется нам пустым. Что до меня, я не стремлюсь бывать здесь в одиночестве. Часто я приезжал сюда с теми, кого любил, и я читал в их чертах светлую улыбку, которой здесь озаряется лик любви. Здесь мне нет дела до порядка и меры. Меня всецело захватывает необузданное своеволие природы и распутство моря. Сочетавшись с весной, руины опять стали камнями и, утратив наведенную людьми полировку, вновь приобщились к природе. Чтобы отпраздновать возвращение этих блудных сыновей, природа щедро рассыпала цветы. Между плит форума гелиотроп просовывает свою круглую белую головку, и красивые герани обагрывают кровью то, что некогда было домами, храмами и городскими площадями. Подобно тому как иных ученых наука вновь приводит к богу, столетия вновь привели руины в обитель их матери. Ныне их наконец покидает их прошлое, и ничто уже не мешает им покориться той властной силе, которая увлекает свободно падающее тело.

Сколько часов провел я, топча полынь, ощупывая теплые камни и пытаюсь согласовать свое дыхание с бурными вздохами мира! Одурманенный дикими запахами и дремотным жужжанием насекомых, я приемлю взором и сердцем невыносимое величие знойного неба. Не так-то легко стать самим собой, вернуть утерянную внутреннюю гармонию. Но, глядя на массивный хребет Шенуа, я неизменно испытывал странное успокоение. Я начинал дышать глубоко и ровно, я обретал душевную цельность и полноту. Я поднимался то на один, то на другой склон, и каждый раз меня ждало вознаграждение, как, например, этот храм, колоннами которого расчислен бег солнца, а со ступеней видно все селение с его белыми и розовыми крышами и зелеными верандами. Или эта базилика на Восточном холме: ее стены сохранились, а вокруг нее широким кольцом тянутся раскопанные саркофаги, по большей части едва обнажившиеся, еще причастные к земле. Прежде в них покоились мертвые, а теперь растут желтые левкой и шалфей. Сент-Сальса — христианская базилика, но стоит посмотреть в любой пролом, как, изгоняя чувство отрешенности, до нас доносится мелодия мира: склоны усажены соснами и кипарисами, а в каких-нибудь двадцати метрах белеет барашками море. У холма, на котором возвышается Сент-Сальса, плоская вершина, и от этого ветер свободнее бродит в портиках храма. Под лучами утреннего солнца блаженством дышит простор.

Нищи те, кто нуждается в мифах. Здесь боги служат руслами, по которым текут дни, или вехами, отмечающими их течение. Описывая пейзаж, я говорю: «Вот это красное, это синее, это зеленое. Это море, горы, цветы». И к чему мне упоминать о Дионисе, чтобы сказать, что я люблю, раздавив пальцами, подносить к носу почки мастикового дерева? И Деметре ли посвящен тот древний гимн, который потом сам собою пришел

мне на память: «Счастлив тот из живущих на земле, кто видел это». Видеть, и видеть земное,—как можно забыть этот завет? Участникам Элевзинских мистерий достаточно было созерцать. Я знаю, что даже здесь я никогда до конца не сближусь с миром. Мне нужно раздеться донага и броситься в море, растворить в нем пропитавшие меня земные запахи и своим телом сомкнуть объятия, о которых издавна, прильнув устами к устам, вздыхают земля и море. Я вхожу в воду, словно в холодную смолу, и у меня перехватывает дыхание; потом ныряю; шумит в ушах, течет из носа, горько во рту, и я плыву—руки взлетают из воды, блестящие, будто покрытые лаком, и, позлащенные солнцем, сгибаются и опускаются, играя каждым мускулом; вода струится вдоль тела, я с шумом отталкиваюсь ногами, попирая волну, и—нет предо мной горизонта. На берегу я падаю на песок, вновь обретая тяжесть костей и плоти, и безвольно лежу, одуревший от солнца, изредка поглядывая на свои руки и следя, как с них скатываются капельки воды и там, где кожа высыхает, показываются золотистый пушок и пятнышки соли.

Здесь я понимаю, что такое избранничество: это право безмерно любить. Есть лишь одна любовь в этом мире. Сжимать в объятиях тело женщины—то же, что вбирать в себя странную радость, которая с неба нисходит к морю. Сейчас я брошусь наземь и, валяясь по полыни, чтобы пропитаться ее запахом, буду сознавать, что поступаю согласно истинной природе вещей, в силу которой солнце светит, а я когда-нибудь умру. В известном смысле здесь я ставлю на карту свою жизнь, жизнь, согретую теплом, которое излучают камни, полную вздохов моря и стрекота цикад, которые заводят теперь свою песнь. Свежий ветерок, синее небо. Я самозабвенно люблю эту жизнь и хочу безудержно говорить о ней: она внушает мне гордость за мою судьбу—судьбу человека. Однако мне не раз говорили: тут нечем гордиться. Нет, есть чем: этим солнцем, этим морем, моим сердцем, прыгающим от молодости, моим солоноватым телом и необъятным простором, где в желтых и синих тонах пейзажа сочетаются нежность и величие. Завоевать все это—вот на что я должен употребить все мои силы и средства. Здесь ничто не мешает мне оставаться самим собой, я ни от чего не отрекаюсь и не надеваю никакой маски: мне достаточно терпеливо учиться жить. Это трудная наука, но она стоит всех формул житейской мудрости.

Незадолго до полудня мы через руины возвращаемся в маленькое кафе у самого порта. Какое отрадное убежище этот прохладный, полный тени зал, когда в голове звенит от солнца и красок, как освежает стакан ледяной зеленой мяты! За окном—море и сверкающая горячей пылью дорога. Сидя за столиком, я пытаюсь смотреть на раскаленное добела небо, мигаю и шучу—в глазах рябит от слепящего света. Лица у нас потные, но тело под легким полотняным платком, в которое мы одеты, сохраняет приятную свежесть, и от всех нас веет счастливой усталостью людей, празднующих свое бракосочетание с миром.

Кормят в этом кафе плохо, зато здесь много фруктов—главным образом персиков, таких зрелых, что, когда их ешь, сок течет по подбородку. Смакуя персик, я слушаю, как во мне

бурлит кровь, стуча в виски, и смотрю во все глаза. На море воцарилась всеобъемлющая полуденная тишина. Всякое прекрасное существо естественно гордится своей красотой, и гордость мира сегодня сквозит во всем. Зачем же мне перед его лицом отрицать радость жизни, если радость жизни для меня не исключает всего остального? Быть счастливым не стыдно. Но ныне король — глупец, а глупцом я называю того, кто боится наслаждаться жизнью. Нам так много говорили о гордости: вы ведь знаете, это сатанинский грех. Берегитесь, кричали нам, вы погубите себя и свои живые силы! С тех пор я узнал, что известного рода гордость действительно... Но в иные минуты я не могу не настаивать на своем праве гордиться жизнью, ибо весь мир вступает в заговор, чтобы вселить в меня это чувство. В Типаса видеть и верить — одно и то же, и я не стану упорно отрицать то, к чему могу прикоснуться рукой или губами. Я не испытываю потребности воссоздать увиденное в произведении искусства, я хочу рассказать о нем, а это нечто иное. Типаса для меня подобна тем персонажам, которых описывают, чтобы косвенным образом высказать свой взгляд на мир. Они свидетельствуют в пользу этого взгляда, и свидетельствуют по-мужски твердо. Так и Типаса. Сегодня она мой персонаж, и, пока я любовно описываю ее, я, кажется, буду пьянеть и пьянеть. Всему свое время — время жить и время запечатлевать жизнь. Наступает и время творить, что уже не так естественно. Мне достаточно жить каждой клеточкой тела и утверждать жизнь всеми фибрами сердца. Жить жизнью Типаса и запечатлевать эту жизнь. А потом придет и искусство. Здесь гнездится свобода.

Я никогда не оставался в Типаса больше чем на день. Всегда наступает момент, когда ты слишком присмотрелся к пейзажу, точно так же, как проходит долгое время, прежде чем в него как следует всмотришься. Горы, небо, море подобны примелькавшимся лицам, которые вдруг поражают нас своей изможденностью или прелестью: до этого мы смотрели, вместо того чтобы видеть. Но всякое лицо, для того чтобы стать красноречивым, должно претерпеть известное обновление. И люди жалуются, что все слишком быстро приедается, когда им следовало бы восхищаться тем, что мир нам кажется новым только потому, что мы забыли, каков он.

К вечеру я возвращался в более ухоженную, расчищенную под сад часть парка, примыкающую к шоссе. Позади оставалось буйство солнца и запахов, в воздухе веяло вечерней прохладой, ум успокаивался, отдыхающее тело вкушало внутренний покой, который порождает удовлетворенная любовь. Я сажился на скамейку и смотрел, как, замыкая окрестность в кольцо, со всех сторон надвигаются сумерки. Я чувствовал себя пресыщенным. Гранатовое дерево свешивало надо мной свои нераспустившиеся бутоны, твердые и ребристые, как кулачки, в которых зажата вся надежда весны. Позади меня рос розмарин, я чувствовал его хмельной запах. Сквозь деревья виднелись холмы, а еще дальше — кромка моря, на котором, как парус в безветрие, покоилось

небо, полное несказанной нежности. В сердце у меня была странная радость, та самая, какую дарует спокойная совесть. Есть чувство, которое испытывают актеры, когда они сознают, что хорошо сыграли свою роль, то есть что их поступки в самом точном смысле слова совпадали с поступками воплощаемых ими идеальных персонажей, что они в некотором роде вселились в заранее сделанный рисунок и оживили его биением своего сердца. Именно это я и чувствовал: я хорошо сыграл свою роль. Я занимался своим человеческим делом, и то, что я наслаждался в течение всего долгого дня, казалось мне не исключительной удачей, а волнующим осуществлением призвания, которое в известных обстоятельствах вменяет нам в обязанность быть счастливыми. В таких случаях мы снова обретаем одиночество, но на этот раз в полноте удовлетворения.

Теперь на деревьях появились птицы. Земля глубоко вздыхала, перед тем как вступить в темноту. Скоро, с первой звездой, на сцену мира упадет ночь. Светозарные боги вернутся под сень своей каждодневной смерти. Но на смену им придут другие боги. Более мрачные, с изможденными лицами, они родятся в недрах земли.

А пока непрерывный шум волн, набегавших на берег, доносился до меня через широкий просвет среди деревьев, где в воздухе танцевала золотистая пыльца. Море, поля, тишина, запахи этой земли... Я вбирал в себя полную аромата жизнь и надкусывал уже зрелый плод прекрасного мира, с волнением чувствуя, как его сладкий и густой сок течет по моим губам. Нет, дело было не во мне и не в мире, а лишь в гармонии и тишине, рождавших между мною и миром любовь. Любовь, на которую я не имел слабости притязать как на свою исключительную привилегию, с гордостью сознавая, что разделяю ее с целым племенем, рожденным от солнца и моря и полным жизненных сил,—племенем, которое черпает свое величие в своей простоте и, стоя на взморье, отвечает понимающей улыбкой на лучезарную улыбку неба.

ВЕТЕР В ДЖЕМИЛА

Есть места, где умирает дух и рождается истина как его прямое отрицание. Когда я приехал в Джемила, я застал там ветер и солнце, но об этом потом. Сначала нужно сказать, что там царила тишина, тяжелая и плотная тишина, неколебимая, как стрелка весов, застывших в равновесии. Крики птиц, сильный голос флейты с тремя дырочками, топот коз, отдаленное погромыхивание в небе—все эти звуки и создавали ощущение тишины и запустения этих мест. Изредка слышалось хлопанье крыльев и пронзительный крик—это взлетала птица, притаившаяся между камней. Какой бы дорогой ты ни шел, по тропинке ли между останками домов, или по вымощенной плитами широкой улице между блестящих колонн, или через огромный форум между триумфальной аркой и храмом, что высится на холме, ты

неизбежно приходишь к оврагам, которые со всех сторон окружают Джемила, этот пасьянс, разложенный под беспредельным небом. И ты оказываешься в заточении, наедине с камнями и тишиной, и кажется, что время остановилось, только горы с каждым часом растут и лиловеют. Но на плато Джемила дует ветер. И из сумятицы ветра и солнца, освещающего руины, возникает нечто такое, что дает человеку почувствовать всю меру своей общности с уединением и тишиной мертвого города.

Нужно много времени, чтобы поехать в Джемила. Это не такой город, куда заезжают по пути. Из него никуда не попадешь, и у него нет округи. Это место, откуда возвращаются назад. К мертвому городу ведет длинная, непрестанно петляющая дорога, и она кажется еще более длинной оттого, что всякий раз ждешь, что город покажется за поворотом. Когда наконец на плато, окрашенном в блеклые тона, в просвете между высокими горами возникает его желтоватый остов, похожий на лес скелетов, Джемила представляется символом того завета любви и терпения, верность которому только и может открыть нам трепещущее сердце мира. Там, на плато, среди редких деревьев и жухлой травы, она всеми своими горами и всеми своими камнями обороняется от вульгарного восхищения, пристрастия к живописному или приятной игры воображения.

Мы долго бродили среди этого пустынного великолепия. Ветер, который в полдень едва чувствовался, мало-помалу окреп и, казалось, заполонил собой весь пейзаж. Он дул в расщелину между горами далеко на востоке, налетал из-за горизонта и куролесил в царстве камней и солнца. Он безостановочно свистел в развалинах, крутился в каменистом цирке, обдавал груды исчербленных глыб, завихрялся вокруг каждой колонны и с неумолчным воем мел по форуму, распростертому под ослепительным небом. Я был исхлестан ветром, как рангоут попавшего в шторм корабля, и пронизан им до костей. Глаза у меня воспалились, губы потрескались, а пересохшая кожа была как чужая. Прежде она позволяла мне разбирать почерк мира. Он писал на ней знаки своей нежности или своего гнева, согревал ее дыханием лета или покусывал зубами изморози. Но, измотанный сопротивлением ветру, который больше часа тряс и выколачивал меня, я переставал сознавать, что запечатлевает мое тело. Ветер шлифовал меня, как приливы и отливы шлифуют гальку. Я все больше приобщался к стихии, во власти которой я был, и наконец слился с ней, смешав свой пульс с мощным и звучным биением вездесущего сердца природы. Ветер лепил меня по образу пылающей наготы, которая меня окружала. И в его мимолетных объятиях я, камень среди камней, обретал одиночество колонны или оливкового дерева на фоне летнего неба.

Это неистовое омовение в ветре и солнце истощало все мои жизненные силы. Во мне едва трепыхалась воля, жаловалась воля, жаловалась жизнь, пытался протестовать разум. Казалось, вот-вот, забыв обо всем на свете и о самом себе, я развеюсь в воздухе и претворюсь в этот ветер и в эти омытые ветром колонны, арку, плиты, излучающие тепло, и блеклые горы вокруг пустынного города. И никогда еще до этого я не испытывал

такого чувства отрешенности от себя самого и в то же время своего присутствия в мире.

Да, я присутствую. И в эту минуту меня поражает мысль, что дальше этого я пойти не могу. Как человек, приговоренный к пожизненному заключению: все, что для него существует, при нем. Но также и как человек, который знает, что завтрашний день будет похож на нынешний и все остальные дни тоже. Ибо для человека осознать свое настоящее — значит ничего больше не ждать. Разве только самые вульгарные пейзажи воспринимаются так или иначе в зависимости от душевного состояния. В этом краю я всюду ощущал нечто, не привнесенное мной, а присущее ему — как бы привкус смерти, который нас объединял. Здесь, среди колонн, которые теперь отбрасывали косые тени, тревоги таяли в воздухе, как вспугнутые птицы. И на смену им приходила беспощадная ясность. Тревога рождается в сердце живущих. Но этому живому сердцу суждено остановиться — вот и все, что говорит моя прозорливость. По мере того как день клонился к вечеру, как звуки и свет угасали под пеплом сумерек, я, покинутый самим собой, чувствовал себя все более беззащитным перед вызревшими во мне силами отрицания.

Немногие понимают, что бывает отказ от прав и привилегий, не имеющий ничего общего с отречением. Что означают здесь слова «будущее», «преуспевание», «положение»? Что означает духовное развитие? Если я упорно отказываюсь от всех на свете «когда-нибудь», то для меня речь идет как раз о том, чтобы не отречься от моего нынешнего богатства. Я не желаю верить, что смерть — это преддверие новой жизни. Для меня это запертая дверь. Нет, это не порог, который надо перешагнуть, а ужасная и гнусная история. Все, что мне предлагают, направлено к тому, чтобы избавить человека от бремени собственной жизни. Но, глядя на тяжелый полет каких-то больших птиц в небе Джемила, я домогаюсь именно некоего бремени жизни, и я получаю это бремя. Я могу лишь сохранять цельность в этой пассивной страсти, а остальное от меня не зависит. Я слишком полон молодости, чтобы говорить о смерти. Но мне кажется, что, если бы я должен был о ней говорить, я именно здесь нашел бы нужные слова, чтобы выразить постигаемую в безмолвном ужасе неизбежность смерти, не таящей надежды.

У каждого из нас есть несколько близких сердцу идей. Две-три идеи. Соприкасаясь с миром и с другими людьми, мы их отшлифовываем и преобразуем. Нужно лет десять, чтобы выработать действительно свежую идею — идею, о которой стоило бы говорить. Конечно, это слегка обескураживает. Но это позволяет человеку приглядеться к прекрасному лику мира. До сих пор он смотрел на него в упор. Теперь ему надо отступить в сторону, чтобы увидеть его в профиль. Молодой человек смотрит на мир в упор. Он не успел еще отшлифовать идею смерти или небытия, но она вселяет в него ужас. Быть может, этот жестокий тет-а-тет со смертью, этот животный страх солнцелюбивого существа и есть молодость. Вопреки тому, что обычно говорится, молодежь, по крайней мере в этом отношении, чужда иллюзий. У нее не было ни времени, ни благочестия, чтобы создать их себе. И почему-то,

взирая на этот суровый пейзаж, этот каменный крик, торжественный и скорбный, на Джемила, освещенную зловецим заревом заката, на смерть надежды и красок, я был уверен, что люди, достойные этого имени, на краю могилы снова смотрят в глаза небытию, отвергают идеи, которые они исповедовали, и обретают девственную правдивость, которая светилась во взоре древних перед лицом судьбы. Когда смерть раскрывает им объятия, к ним возвращается молодость. В этом отношении нет ничего презреннее, чем болезнь. Это лекарство от смерти. Она подготавливает к ней. Она обучает умирать, и на первой стадии этого обучения проходит умиление самим собой. Она поддерживает человека в его судорожных усилиях укрыться от той несомненной истины, что он умирает весь. Но Джемила... В Джемила я чувствую, что истинный, единственный прогресс цивилизации, к которому время от времени приобщается личность, состоит в том, что он создает людей, умирающих сознательно.

Меня всегда удивляло, что мы, столь изощренные в рассуждениях о других предметах, обнаруживаем такую бедность мысли, когда речь заходит о смерти. Смерть—это благо или зло. Я боюсь ее, или я ее призываю (как некоторые говорят). Но это лишнее доказательство, что все простое выше нашего понимания. Что такое синее и что можно думать о синем? Вот так же и смерть ставит нас в тупик. О смерти и о цветах мы не умеем рассуждать. Однако что может быть важнее для меня, чем лежащий передо мною человек, тяжелый, как земля,—ведь это прообраз моего будущего. Но могу ли я действительно думать об этом будущем? Я говорю себе: я должен умереть. Но это ничего не значит, потому что я не в состоянии в это поверить и могу быть лишь свидетелем смерти других. Я видел, как умирают люди. И не раз видел, как умирают собаки. Прикосновение к ним потрясало меня. В такие минуты я думаю о цветах, об улыбках, о женщинах, которые будят во мне желание, и понимаю, что весь мой ужас перед смертью коренится в моей ревнивой любви к жизни. Я ревную к тем, кто будет жить и для кого будут существовать цветы и женщины во всей их плотской реальности. Я завистлив, потому что слишком люблю жизнь, чтобы не быть эгоистичным. Что мне до вечности! Быть может, в один прекрасный день услышишь: «Вы сильный человек, и я должен быть с вами откровенен: я могу вам сказать, что вы скоро умрете». И будешь лежать, судорожно цепляясь за жизнь, всем нутром чувствуя страх и бессмысленным взором глядя в пустоту. Что значит по сравнению с этим все остальное! При мысли об этом у меня кровь стучит в висках и я готов все вокруг разнести.

Но люди умирают вопреки самим себе, вопреки всему тому, чем они приукрашивают свою судьбу. Им говорят: «Когда ты выздоровеешь...»—а они умирают. Я не хочу этого. Ибо, если бывают дни, когда природа лжет, бывают и дни, когда она говорит правду. В этот вечер Джемила говорит правду, и как проникновенна ее печальная красота! Что до меня, то перед лицом этого мира я не хочу лгать и не хочу, чтобы мне лгали. Я хочу до конца нести бремя ясности и смотреть на неотвратимое со всей моей одержимостью, ужасом и ревностью. Я боюсь смерти в той

мере, в какой я отделяю себя от мира, в той мере, в какой я связываю свою судьбу с судьбою живых, вместо того чтобы созерцать вечное небо. Создавать людей, умирающих сознательно,—значит уменьшать расстояние, которое нас отделяет от мира, и безрадостно вступать в свершающийся круговорот, сознавая всю пленительность бытия, которое нам суждено навсегда утратить. И, внимая печальной песне холмов Джемила, я до глубины души проникаюсь горечью этого поучения.

К вечеру мы поднимаемся по тропинкам, которые ведут в деревню, и, вернувшись, выслушиваем объяснения: «Здесь находится языческий город, а там, на отшибе,—христианское поселение. Позже...» Да, это так. Здесь сменялись люди и общества, завоеватели наложили на этот край отпечаток своей солдафонской цивилизации. У них было низменное и смешное представление о величии, и они измеряли величие своей империи пространством, которое они заселили. Но чудо в том, что руины их цивилизации являют собой прямое отрицание их идеала. Ибо этот город-скелет, созерцаемый с такой высоты поздним вечером, когда вокруг триумфальной арки летают белые голуби, не возносил в небо знаков власти и честолюбия. Мир всегда побеждает историю. Я понимаю поэзию, которой исполнен каменный крик, издаваемый Джемила среди гор, неба и тишины: это поэзия ясности и равнодушия, истинных признаков отчаяния или красоты. Сердце сжимается перед лицом этого величия, которое мы уже покидаем. Джемила остается позади со своим унылым, водянистым небом, пением птицы, доносящимся с другого края плато, козами, которые ручейками сбегают по склонам холмов, и объатым мягкими и гулками сумерками живым ликом рогатого бога на фронте алтаря.

ИЗ ЭССЕ «МИФ О СИЗИФЕ»

МИФ О СИЗИФЕ

Боги обрекли Сизифа вечно вкатывать на вершину горы огромный камень, откуда он под собственной тяжестью вновь и вновь низвергался обратно к подножию. Боги не без оснований полагали, что нет кары ужаснее, чем нескончаемая работа без всякой пользы и без надежд впереди.

Если верить Гомеру, Сизиф был мудрейшим и осторожнейшим из смертных. Согласно другому преданию, он, напротив, был склонен к разбойным делам. Лично я не вижу здесь противоречия. Просто различные взгляды на причины, из-за которых он оказался бесполезным тружеником преисподней. Его винят прежде всего в непозволительно легкомысленном обращении с богами. Он будто бы разглашал их тайны. Эгина, дочь Асопа, была похищена Зевсом. Отец, ошеломленный ее исчезновением, рассказал о своем горе Сизифу. Последний, зная о похищении, пообещал Асопу раскрыть секрет, если тот пустит воду в крепость Коринф. Грому и молниям небесным Сизиф предпочел благословение водой. За это он был наказан в преисподней. Гомер также повествует, что Сизиф заковал в цепи Смерть. Плутон не мог вынести зрелища своего опустевшего, безмолвного царства мертвых. Он послал бога войны, который освободил Смерть из-под власти ее победителя.

А еще рассказывают, что Сизиф перед смертью неосторожно захотел подвергнуть испытанию любовь своей жены. Он велел ей бросить его тело прямо на городской площади, без погребальных обрядов. Вскоре Сизиф очутился в царстве мертвых. Рассерженный послушанием, столь противным человеческой любви, он получил от Плутона разрешение вернуться на землю, чтобы покарать супругу. Но когда он снова увидел лик этого мира, снова отдал воды, насладился сиянием солнца, теплом нагретых камней и свежестью моря, он не пожелал возвратиться в подземный мрак. Напоминания, гнев, угрозы — ничто не помогало. Еще много лет прожил он у сверкающего морского залива, посреди улыбок земли. Понадобилось особое постановление богов. Гермес явился, чтобы схватить строптивца за шиворот и, оторвав его от земных радостей, насильно доставить в преисподнюю, где Сизифа ждал уготованный ему обломок скалы.

Сказанного довольно, чтобы понять: Сизиф и есть абсурдный

герой. По своим пристрастиям столь же, сколь и по своим мучениям. Презрение к богам, ненависть к смерти, жажда жизни стоили ему несказанных мук, когда человеческое существо заставляют заниматься делом, которому нет завершения. И это расплата за земные привязанности. Никаких подробных рассказов о Сизифе в преисподней нет. Но ведь мифы и складываются для того, чтобы их оживляло наше воображение. Что до мифа о Сизифе, то можно лишь представить себе предельное напряжение мышц, необходимое, чтобы сдвинуть огромный камень, покатить его вверх и карабкаться вслед за ним по склону, стократ все повторяя сызнова; можно представить себе застывшее в судороге лицо, щеку, прилипшую к камню, плечо, которым подперта глыба, обмазанная глиной, ногу, подставленную вместо клина, перехватывающие ладони, особую человеческую уверенность двух рук, испачканных землей. В самом конце долгих усилий, измеряемых пространством без неба над головой и временем без сроков, цель достигнута. И тогда Сизиф видит, как камень за несколько мгновений пролетает расстояние до самого низа, откуда надо снова поднимать его к вершине. Сизиф спускается в долину.

Как раз во время спуска, этой краткой передышки, Сизиф меня и занимает. Ведь застывшее от натуги лицо рядом с камнем само уже камень! Я вижу, как этот человек спускается шагом тяжелым, но ровным навстречу мукам, которым не будет конца. Час, когда можно вздохнуть облегченно и который возобновляется столь же неминуемо, как и само страдание, есть час просветления ума. В каждое из мгновений после того, как Сизиф покинул вершину и постепенно спускается к обиталищам богов, он возвышается духом над своей судьбой. Он крепче скалы.

Если этот миф трагичен, то все дело в отчетливом осознании героем своей участи. В самом деле, разве его тяготы были бы столь же велики, если бы его при каждом шаге поддерживала надежда когда-нибудь преуспеть? Сегодня рабочий так же трудится каждодневно на протяжении всей жизни, и его судьба ничуть не менее абсурдна. Но он трагичен только в редкие минуты, когда его посещает ясное сознание. Сизиф, пролетарий богов, бессильный и бунтующий, знает сполна все ничтожество человеческого удела: именно об этом он думает, спускаясь вниз. Ясность ума, которая должна бы стать для него мукой, одновременно обеспечивает ему победу. И нет такой судьбы, над которой нельзя было бы возвыситься с помощью презрения.

Итак, если в иные дни спуск происходит в страдании, он может происходить и в радости. Слово это отнюдь не чрезмерно. Я воображаю себе Сизифа, когда он возвращается к обломку скалы. Вначале было страдание. Когда воспоминания о земной жизни слишком сильны, когда зов счастья слишком настойчив, тогда, случается, печаль всплывает в сердце этого человека, и это — победа камня, тогда человек сам — камень. Скорбь слишком огромна и тягостна, невыносима. Каждый из нас однажды переживает свою ночь в Гефсиманском саду. Но гнетущие истины рассеиваются, когда их опознают и признают. Так, Эдип сперва повиновался судьбе, сам того не ведая. Трагедия его начинается лишь с момента прозрения. Но в тот же самый миг он, ослепший

и повергнутый в отчаяние, узнает, что единственная нить между ним и миром—это прохладная ручонка дочери. И тогда он произносит из ряда вон выходящие слова: «Моя старость и величие моего духа побуждают меня, невзирая на столькие испытания, признать, что все хорошо». Эдип Софокла, подобно Кириллову Достоевского, находит формулу абсурдной победы. Древняя мудрость смыкается с новейшим героизмом.

Открытие абсурда непременно сопутствует искус написать учебник счастья. «Позвольте, столь узкими тропами?..» Но ведь существует только один мир. Счастье и абсурд — дети одной и той же матери-земли. Они неразлучны. Ошибочно было бы утверждать, будто счастье обязательно вытекает из открытия абсурда. Тем не менее бывает, что чувство абсурда рождается от полноты счастья. «Я признаю, что все — хорошо»,—говорит Эдип, и эти слова священны. Они отдаются эхом в суровой и замкнутой тесными пределами вселенной человека. Они учат, что не все исчерпано, не все было исчерпано. Они изгоняют из здешнего мира бога, который сюда проник вместе с неудовлетворенностью и вкусом к бесполезному страданию. Они обращают судьбу в дело сугубо человеческое, которое людям и надлежит улаживать только между собой.

Здесь-то и коренится молчаливая радость Сизифа. Его судьба принадлежит ему самому. Обломок скалы—его собственная забота. Созерцая свои терзания, абсурдный человек заставляет смолкнуть всех идолов. И тогда-то во вселенной, которая внезапно обрела свое безмолвие, становятся различными тысячи тонких чудесных земных голосов. Загадочные невнятные зовы, улыбки, приветы, излучаемые каждым лицом,—все это неизбежно приносит с собой победа, это награда за нее. Нет солнечного света без мрака, и ночь надо изведать. Абсурдный человек говорит «да», и отныне его усилиям несть конца. Если существует личная судьба, то высшей судьбы не существует, или в крайнем случае существует только одна судьба, которую человек абсурда полагает неизбывной и презренной. В остальном он ощущает себя хозяином своих дней. В тот мимолетный миг, когда человек окидывает взором все им прожитое, Сизиф, возвращаясь к своему камню, созерцает череду бессвязных действий, которая и стала его судьбой, сотворенной им самим, спаянной воедино его собственной памятью и скрепленной печатью его слишком быстро наступившей смерти. И так, уверенный в человеческом происхождении всего человеческого, подобный слепцу, жаждущему прозреть и твердо знающему, что его ночь бесконечна, Сизиф шагает во веки веков. Обломок скалы катится по сей день.

Я покидаю Сизифа у подножия горы. От собственной ноши не отделаешься. Но Сизиф учит высшей верности, которая отрицает богов и поднимает обломки скал. Сизиф тоже признает, что все — хорошо. Отныне эта вселенная, где нет хозяина, не кажется ему ни бесплодной, ни никчемной. Каждая песчинка камня, каждый вспыхивающий в ночи отблеск руды, вкрапленной в гору, сами по себе образуют целые миры. Одного восхождения к вершине достаточно, дабы наполнить до краев сердце человека. Надо представлять себе Сизифа счастливым.

ПИСЬМА К НЕМЕЦКОМУ ДРУГУ

Письмо первое

Вы говорили мне: «Величие моей родины бесценно. Все хорошо, что служит ему. И в мире, где ничто другое больше не имеет смысла, те, кому, как нам, молодым немцам, выпало счастье обрести смысл жизни в причастности к судьбе своей нации, должны всем жертвовать ради нее». Я вас любил тогда, но в этом я уже расходился с вами. «Нет,—говорил я вам,—я не могу признать, что следует все подчинить поставленной цели. Есть средства, не имеющие оправдания. И я хотел бы, чтобы любовь к моей родине была совместима с любовью к справедливости. Я не желаю моей родине любого величия, не желаю величия, которое жидется на крови и лжи. Я хочу служить моей родине, служа справедливости». Вы сказали мне: «Значит, вы не любите свою родину».

С тех пор прошло пять лет, мы больше не встречались, но за эти долгие годы (столь краткие, столь быстротечные для вас!), можно сказать, не было дня, чтобы я не вспоминал вашу фразу: «Вы не любите свою родину!» Когда теперь я думаю об этих словах, у меня к горлу подкатывает ком. Да, я не люблю ее, если обличать несправедливость, пятнающую предмет вашей любви,—значит не любить, если требовать от любимого существа, чтобы оно сравнялось с вашим самым прекрасным представлением о нем,—значит не любить. Пять лет назад многие люди во Франции думали так же, как я. Однако некоторые из них уже столкнулись лицом к лицу с судьбой в немецком обличье, и она взглянула на всех двенадцатью черными зрачками винтовок. И эти люди, которые, на ваш взгляд, не любили свою родину, сделали для нее больше, чем вы когда-либо сделаете для своей, будь даже в вашей власти сто раз отдать за нее жизнь. Ибо им пришлось прежде всего перебороть самих себя, и в этом их героизм. Но я говорю здесь о двух видах величия и об одном противоречии, относительно которого я должен вас просветить.

Мы скоро снова увидимся, если это возможно. Но уже не как друзья. Вы будете полны горечи поражения, и не стыд за вашу былую победу, а тоска по ней будет поглощать все ваши сложенные силы.

Сегодня мы еще духовно близки; правда, я ваш враг, но в какой-то мере еще остаюсь вашим другом, поскольку до конца

раскрываю вам здесь свои мысли. Завтра между нами все будет кончено. То, чего не доделает ваша победа, довершит ваше поражение. Но пока мы не извели равнодушия, я хочу по крайней мере дать вам ясное представление о том, чего ни в годы мира, ни в годы войны вы не сумели постичь в судьбе моей родины.

Я хочу вам сразу сказать, какого рода величие движет нами. Но это значит также сказать, в чем состоит мужество, которому мы рукоплещем и которое не свойственно вам. Невелика доблесть броситься в бой, если ты всю жизнь готовился к этому и если драться для тебя естественнее, чем мыслить. Совсем иное — идти навстречу пытке и смерти, когда ты твердо знаешь, что ненависть и насилие сами по себе бесплодны. Совсем иное — сражаться, презирав войну, быть готовым все потерять и сохранять при этом стремление к счастью, разрушать и опустошать с мыслью о высочайшей цивилизации. В этом смысле нам труднее, чем вам, потому что мы должны обуздывать себя. Вам нечего было побеждать в своем сердце и своем сознании. У нас же было два врага, и нам недостаточно было побеждать силой оружия в отличие от вас, которым не надо было ничего подавлять.

Нам приходилось многое подавлять, и, быть может, прежде всего вечное искушение уподобиться вам. Ибо в нас всегда есть струнка, поддающаяся инстинкту, презрению к разуму, культу действительности. Мы в конце концов устаем от наших великих добродетелей. Мы стыдимся разума и подчас мечтаем о некоем счастливом варварстве, когда истина давалась бы без усилий. Но эта болезнь легко излечима: перед нами ваш пример, вы нам показываете, куда заводит такого рода фантазерство, и мы одумываемся. Если бы я верил в фатальность истории, я предположил бы, что вы, как илоты разума, сопугствуете нам ради нашего исправления. Отшатываясь от вас, мы возрождаемся к интеллектуальной жизни — здесь мы в своей стихии.

Но нам надо было еще преодолеть наше подозрительное отношение к героизму. Я знаю, вы считаете, что нам чужд героизм. Вы ошибаетесь. Просто мы одновременно исповедуем героизм и остерегаемся героизма. Исповедуем, потому что тысячелетняя история дала нам достаточно уроков благородства. Остерегаемся, потому что тысячелетний восход разума научил нас благодетельному искусству оставаться самими собой, не претендуя на сверхчеловеческое. Чтобы встретиться с вами лицом к лицу, нам пришлось вернуться далеко назад. И потому-то мы отстали от всей Европы, бросившейся, как только понадобилось, в объятия лжи, в то время как мы искали истину, до которой никому не было дела. Потому-то мы начали с поражения: мы медлили отразить ваш натиск, пока не уверились в том, что наше дело правое.

Нам потребовалось преодолеть нашу любовь к человеку, наше представление о его мирном уделе, наше глубокое убеждение в том, что никакая победа не окупается, а всякое калечение человека непоправимо. Нам пришлось отрешиться и от наших знаний, и от нашей надежды, от всего, что побуждало нас любить наших нынешних врагов, и от ненависти, которую мы питали ко

всякой войне. Короче, нам пришлось подавить нашу жажду дружбы—полагаю, вы поймете, что это значит, поскольку эти слова исходят от меня, которому вы охотно пожимали руку.

Теперь это совершилось. Нам пришлось проделать далекий обходный путь, мы потеряли много времени. Это обходный путь, на который ум толкают опасения погрешить против истины, а сердце—опасения погрешить против дружбы. Этот путь обеспечил справедливость и сделал правду союзником тех, кто проверял самих себя. Конечно, мы очень дорого заплатили за это. Мы заплатили за это унижениями и горечью молчания, тоской арестантов и жизнями расстрелянных, лишениями, разлуками, каждодневным голодом, дистрофией детей и всего более—вынужденными покаяниями. Но это в порядке вещей. Нам понадобилось все это время для того, чтобы понять, имеем ли мы право убивать людей, дозволено ли нам увеличивать ужасные бедствия этого мира. И именно это потерянное и наверстанное время, это допущенное и преодоленное поражение, эта оплаченная кровью щепетильность ныне дают нам, французам, право думать, что мы вступили в эту войну с чистыми руками—как жертвы и убежденные люди—и выйдем из нее с чистыми руками—но на этот раз как люди, одержавшие великую победу над несправедливостью и над самими собой.

Ибо мы окажемся победителями, вы это прекрасно знаете. Но мы окажемся победителями благодаря самому этому поражению, благодаря пройденному нами долгому пути, который позволил нам осознать свою правоту, благодаря страданиям, всю несправедливость которых мы почувствовали и из которых извлекли урок. В наших испытаниях мы узнали секрет всякой победы, и если не потеряем его, то изведем и окончательную победу. В наших испытаниях мы узнали, что вопреки заблуждению, в которое мы впадали подчас, дух бессилен против меча, но что дух в союзе с мечом всегда побеждает меч, поднятый ради насилия как такового. Вот почему мы ввязились за меч, лишь удостоверившись, что дух с нами. Нам потребовалось для этого увидеть, как умирают, и заглянуть в глаза смерти. Нам потребовался для этого пример французского рабочего, которого на рассвете вели на гильотину и который, проходя по коридорам тюрьмы мимо камер своих товарищей, призывал их проявить мужество. Нам потребовалось, наконец, чтобы завладеть духом, испытать терзания плоти. Только то достояние прочно, за которое сполна заплачено. Мы дорого заплатили за свое и заплатим еще. Но никто не отнимет у нас сознания своей правоты и уверенности в торжестве справедливости: ваш разгром неминуем.

Я никогда не верил в могущество правды самой по себе. Но довольно и того, что мы знаем: при равной энергии правда берет верх над ложью. Мы достигли этого шаткого равновесия с оттенком превосходства на стороне правды. Опираясь на это превосходство, мы и сражаемся сегодня. И я испытываю искушение сказать вам, что мы боремся именно из-за оттенков, но из-за оттенков, определяющих самого человека. Мы боремся из-за оттенка, который отделяет веру от мистицизма, энергию от иступления, силу от жестокости, и из-за еще более тонкого

оттенка, который отделяет ложное от истинного и человека, на которого мы уповаем, от гнусных идолов, которых вы чтите.

Вот что я хотел сказать вам, не возносясь над схваткой, а участвуя в схватке. Вот что я хотел ответить на вашу фразу «Вы не любите свою страну», которая до сих пор преследует меня. Но я хочу быть откровенным с вами. Я думаю, что Франция надолго утратила свое могущество и господство и что она долго будет нуждаться в отчаянном терпении и осмотрительной непокорности, чтобы вновь обрести долю престижа, необходимую для всякой культуры. Но я думаю, что она утратила все это, руководствуясь чистыми побуждениями. Потому-то надежда не покидает меня. Вот в чем весь смысл моего письма. Тот самый человек, который пять лет назад внушал вам жалость своей сдержанностью по отношению к родине, сегодня хочет сказать вам и всем людям нашего поколения в Европе и во всем мире: «Я принадлежу к достойной восхищения нации, конечно не свободной от заблуждений и слабостей, но упорно не дающей угаснуть идее, которая составляет все ее величие и которую ее народ всегда, а элита иногда стремятся непрестанно развивать. Я принадлежу к нации, которая четыре года назад сызнова начала всю свою историю и которая среди развалин спокойно, уверенно готовится переиначить ее и попытаться счастья в игре, куда она вступает без козырей. Эта страна стоит той трудной и взыскательной любви, которой я люблю ее. И я думаю, что сейчас за нее стоит сражаться, потому что она достойна высшей любви. И я утверждаю, что ваша нация, напротив, стяжала у своих сыновей лишь такую любовь, какую она заслуживает,—слепую любовь. Не всякая любовь включает в себе оправдание. Это-то вас и губит. И если вы уже были побеждены, когда одерживали свои величайшие победы, то что же будет теперь, когда грядет надвигающееся поражение?»

Июль 1943

Письмо второе

Я уже писал вам, и писал в тоне уверенности. После пятилетней разлуки я сказал вам, почему мы сильнее: потому что проделали обходный путь, чтобы убедиться в своей правоте, потому что замешкались, тревожась сомнениями в своем праве, потому что поддались безумию, желая примирить все, что мы любили. Но к этому нелишне вернуться. Как я уже говорил вам, мы дорого заплатили за этот обходный путь. Риску совершить несправедливость мы предпочли замешательство. Но в то же время этот проделанный нами обходный путь и составляет ныне нашу силу, и именно благодаря ему мы вплотную подошли к победе.

Да, я писал вам обо всем этом, и писал в тоне уверенности— без единой помарки, не сдерживая пера. Правда, у меня было достаточно времени это обдумать. Размышляют в ночи. Вот уже три года благодаря вам ночь царит в наших городах и в наших сердцах. Вот уже три года мы во мраке вскармливаем мысль,

которая сегодня во всеоружии выступает против вас. Теперь я могу говорить о разуме. Ибо при той уверенности, которая сегодня владеет нами, все встает на свои места и проясняется и разум дает свое согласие отваге. И я полагаю, для вас, который так легкомысленно толковал о разуме, большая неожиданность, что он возвращается из такой дали и вдруг решает вновь вступить в историю. И тут я хочу снова обратиться к вам.

Я скажу об этом ниже—уверенность сама по себе еще не радует сердце. В этом смысле и надо понимать все, что я вам пишу. Но прежде чем продолжать, я хочу выполнить свой долг перед вами, каким я вас помню, и перед нашей дружбой. Пока я еще могу, я хочу сделать ради нее то единственное, что можно сделать во имя умирающей дружбы,—внести в наши отношения ясность. Я уже ответил на фразу «Вы не любите свою родину», которую вы подчас бросали мне и которую я не могу забыть. Я хочу только ответить теперь на нетерпеливую улыбку, которой вы встречали слово «разум». «Во всех проявлениях разума,—сказали вы мне,—Франция отрекается от самой себя. Ваши интеллектуалы предпочитают своей родине, смотря по характеру, отчаяние или погоню за неисповедимой истиной. Мы же ставим Германию выше истины, по ту сторону отчаяния». На первый взгляд это было верно. Но, как я уже сказал вам, если порою казалось, будто мы предпочитаем справедливость своей родине, то только потому, что мы хотели любить свою родину как страну справедливости и как страну правды и надежды. Нашей требовательностью мы и отличались от вас. Вам довольно было служить могуществу своей нации, а мы мечтали вернуть нашей ее истинный облик. Вы удовлетворялись тем, что служили реальной политике, а мы, даже впадая в наихудшие заблуждения, сохраняли смутную идею политики чести, к которой возвращаемся сегодня. Когда я говорю «мы», я не имею в виду наших правителей. Но много ли значат правители?

Я мысленно вижу, как вы улыбаетесь на этом месте. Вы никогда не доверяли словам. Я тоже, но еще меньше я доверял себе. Вы пытались толкнуть меня на тот путь, по которому пошли сами и на котором разум стыдится разума. Уже тогда я не последовал за вами. Но теперь я ответил бы вам с большей уверенностью. Что такое истина?—говорили вы. Конечно, на это непросто ответить, но мы по крайней мере знаем, что такое ложь: это как раз то, чему вы учите нас. Что такое дух? Нам знакома его противоположность—убийство. Что такое человек? Но тут я вас останавливаю, ибо это мы знаем. Человек—это та сила, которая в конце концов всегда свергает тиранов и богов. Он не нуждается в определениях как сама очевидность. Эту самоочевидную человеческую сущность мы и должны спасти, и наша нынешняя уверенность проистекает из того, что ее судьба и судьба нашей родины неразрывно связаны. Если бы ничто не имело смысла, вы были бы правы. Но есть нечто такое, что сохраняет смысл.

Нелишне еще раз повторить: именно здесь мы и расходимся с вами. Наше понимание родины ставило ее на свое место среди других великих понятий, таких, как дружба, человек, счастье, жажда справедливости. Это заставляло нас быть строгими по

отношению к ней. Но в конечном счете мы оказались правы. Мы не дали ей рабов, мы ничего не принизили ради нее. Мы терпеливо ждали, пока уясним истину, и в награду обрели в дни горя и страданий радостную возможность сражаться одновременно за все, что мы любим. Вы же, напротив, воюете против всего того в человеке, что не принадлежит родине. Ваши жертвы не имеют значения, потому что ваша иерархия ценностей порочна. Вами предано не только сердце, но и разум, и он мстит за себя. Вы не уплатили ему то, что положено, не принесли ясности тяжелой дани. Из бездны поражения я не боюсь вам сказать, что это-то и губит вас.

Позвольте мне лучше рассказать вам вот что. Где-то во Франции под утро одиннадцать французов под конвоем вооруженных солдат едут на грузовике из одной известной мне тюрьмы на кладбище, где вы должны их расстрелять. За пятью или шестью из этих одиннадцати действительно что-то есть: листовка, конспиративные встречи, а всего более — отказ сотрудничать с оккупантами. Они неподвижно сидят в кузове грузовика, конечно, испытывая страх, но, если позволительно так выразиться, страх заурадный, который охватывает всякого человека перед лицом неведомого, страх, к которому мужество приравнивается. Остальные ни в чем не повинны. Они знают, что умрут жертвами ошибки или известного рода равнодушия, и потому для них этот час еще тяжелее. Среди них есть мальчик шестнадцати лет. Вы знаете, как выглядят наши подростки, я не буду об этом говорить. Мальчик во власти страха, он без стыда отдается ему. Не улыбайтесь своей презрительной улыбкой, он стучит зубами. Но вы поместили возле него священника, чья задача — облегчить этим людям мучительное ожидание рокового часа. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что для людей, которых собираются убить, разговор о будущей жизни ничего не меняет. Слишком трудно поверить, что братская могила не означает конец всему. Узники в грузовике безмолвствуют. Священник повернулся к мальчику, забившемуся в угол. Этот лучше поймет его. Мальчик отвечает, как бы цепляясь за этот голос, и к нему возвращается надежда. Так бывает порой в минуты немого ужаса, стоит только заговорить человеку: быть может, он все уладит. «Я ничего не сделал», — говорит мальчик. «Да», — говорит священник, — но не об этом речь. Тебе нужно подготовиться к смерти». — «Не может быть, чтобы меня не поняли». — «Я твой друг и, пожалуй, понимаю тебя. Но теперь уже поздно. Я буду возле тебя, и господь бог тоже. Увидишь, это будет легко». Священник говорит о боге. Верит ли мальчик в бога? Да, верит. Значит, он знает, что по сравнению с покоем, который его ожидает, ничто не имеет значения. Но именно этот покой и страшит мальчика. «Я твой друг», — повторяет священник.

Остальные молчат. Надо подумать и о них. Священник отворачивается от мальчика и приближается к их молчаливой группе. Грузовик тихо едет по влажной от росы дороге, с легким урчанием заглатывая пространство. Представьте себе этот суме-

речный час, теплый запах, который исходит от поднятых спозаранок людей, сельскую местность, невидимую, но угадываемую по крику птицы, по ржанию запрягаемых лошадей. Мальчик, притулившийся в уголке, замечает, что под его тяжестью брезентовый верх грузовика слегка подается. Он обнаруживает щель между брезентом и бортом. Он мог бы выпрыгнуть, если бы захотел. Священник стоит спиной к нему, а солдаты в кабине настороженно всматриваются в предраассветный полумрак. Мальчик, не раздумывая, отрывает брезент, пролезает в отверстие, спрыгивает. Едва слышен шум падения, потом стремительные шаги по дороге, и все стихает. Но хлопанье брезента и сырой воздух, ворвавшийся в кузов, заставляют обернуться священника и осужденных. Одну секунду священник смотрит на людей, а те в свою очередь молча смотрят на него. В эту секунду человек, посвятивший себя служению богу, должен решить, с палачами ли он или с мучениками—в соответствии со своим призванием. Но вот он уже застучал по перегородке, которая отделяет его от своих. «Achtung!» Поднята тревога. Двое солдат влезают в кузов и направляют оружие на узников. Двое других бросаются в поле. Священник, стоя на шоссе в нескольких шагах от грузовика, пытается сквозь туман следить за ними взглядом. В кузове люди только слушают шум погони, приглушенные выкрики, выстрел, тишину, потом опять голоса, все более близкие, и, наконец, топот сапог. Мальчика приводят назад. В него не попали, но он остановился, окутанный белесой мутью, не зная, куда бежать, и внезапно упав духом. Конвоиры скорее несут его, чем ведут. Его избили, но не очень сильно. Главное еще впереди. Он не смотрит на священника, да и ни на кого. Священник сел в кабину рядом с шофером. В кузове его заменил вооруженный солдат. Мальчик, брошенный в угол, не плачет. Устремив взгляд в просвет между брезентом и бортом, он смотрит, как вновь убегает дорога, освещенная занимающейся зарей.

Я знаю вас, вы прекрасно представите себе остальное. Но вы должны узнать, кто мне рассказал эту историю. Это был французский священник. Он мне говорил: «Мне стыдно за этого человека, и я радуюсь при мысли, что ни один французский священник не согласился бы поставить своего бога на службу убийству». Это было верно. Просто этот немецкий священник думал так же, как вы. Ему казалось естественным поставить на службу родине все, вплоть до своей веры. У вас даже боги мобилизованы. Они с вами, как вы говорите, но они рекрутированы силой. Вы уже ничего не различаете, вы способны только рваться вперед. И теперь вы воюете, черпая силы лишь в слепом гнев, больше заботясь об оружии и сокрушительных ударах, чем о строе мыслей, путая всё и вся и упорно следуя своей навязчивой идее. Что до нас, то мы исходили из требований разума и из его колебаний. Перед лицом гнева мы не были сильны. Но вот обходный путь завершен. Вам достаточно было убить ребенка, чтобы к разуму мы присоединили гнев, и отныне нас двое против одного. Поговорим о гнев.

Вспомните. Когда, оказавшись свидетелем внезапной вспышки гнева у одного из ваших начальников, я выразил свое удивление, вы сказали мне: «Это тоже хорошо. Но вам этого не понять. Французам не хватает одного достоинства — способности на гнев». Нет, это не так, но французы разборчивы насчет достоинств. И они проявляют их лишь тогда, когда нужно. Это придает их гневу безмолвную силу, которую вы только начинаете испытывать. И охваченный гневом такого свойства, единственным, какой мне ведом, я и скажу вам в заключение несколько слов.

Ибо, как я вам уже говорил, уверенность не всегда веселит сердце. Мы знаем, что мы потеряли во время этого обходного пути, знаем, какой ценой заплатили за терпкую радость сражаться в согласии с самими собой. И так как мы остро чувствуем непоправимость наших утрат, борьба, которую мы ведем, отмечена столько же верой в победу, сколько и горечью. Война в обычном смысле слова не удовлетворяла нас. Мы не были к ней морально готовы. Наш народ выбрал гражданскую войну, упорную, коллективную борьбу, безоговорочное самопожертвование. На эту войну он поднялся сам, а не по приказу глупого или подлого правительства, в ней он обрел себя и, ведя ее, отстаивает свое национальное самосознание. Но, позволив себе эту роскошь, он платит за нее страшной ценой. И тут тоже у нашего народа больше заслуги, чем у вашего. Ибо гибнут его лучшие сыновья — вот что сильнее всего терзает меня. В кровавой неразберихе обычной войны есть свое преимущество: смерть разит без разбора, наугад. В войне, которую мы ведем, мужество само ставит себя под удар — вы изо дня в день расстреливаете тех, кто являет собой самое чистое воплощение нашего духа. Ибо при всей вашей наивности вы не лишены прозорливости. Вы никогда не знали, что нужно избрать, но знаете, что нужно уничтожить. А мы, провозглашающие себя защитниками духа, знаем тем не менее, что дух может умереть, если его подавляет достаточно мощная сила. Но мы верим в иную силу. Глядя на безмолвные, уже отвернувшиеся от мира лица ваших жертв, подчас изрешеченные пулями, вы думаете, что вам удастся обезобразить лик нашей правды. Но вы не учитываете упорства борющейся Франции. В трудный час нас поддерживает отчаянная надежда: наши товарищи будут терпеливее палачей и многочисленнее пуль. Вы видите, французы способны на гнев.

Декабрь 1943

Письмо четвертое

Человек смертен. Пусть так, но погибнем, сопротивляясь, и, если нам суждено небытие, не станем делать вид, будто в этом есть справедливость.

Сенанкур. Оберман (письмо ХС)

И вот приблизился день вашего поражения. Я вам пишу из всемирно прославленного города, который готовит для себя — и

против вас — свободное завтра. Он знает: это нелегко, сначала предстоит миновать ночь еще более темную, чем та, что воцарилась с вашим приходом четыре года назад. Я вам пишу из города, лишенного всего, голодного, без огня и света, но по-прежнему не сломленного. Скоро в нем повеет свежестью, о какой у вас пока нет ни малейшего понятия. Если повезет, мы с вами окажемся лицом к лицу. И тогда мы сможем сразаться, осознавая до конца, почему и ради чего: я хорошо понимаю, что движет вами, и вы точно представляете себе мои побуждения.

Эти июльские ночи легки и одновременно налиты тяжестью. Легки — у Сены и под деревьями, налиты тяжестью — в сердцах тех, кто ждет одной-единственной зари, на которой отныне сосредоточены все их помыслы и желания. Я жду и думаю о вас: мне еще осталось кое-что высказать вам, и это будет последнее. Я хочу сказать вам, как случилось, что мы с вами были столь похожи вчера, а сегодня сделались врагами, как я мог раньше быть на вашей стороне и почему теперь между нами все кончено.

Мы долго вместе думали, что в этом мире нет высшего разума и что мы здесь жестоко обмануты. В некотором роде я и сейчас так думаю. Но я сделал отсюда другие заключения — не те, какие вы мне некогда высказали, а затем на протяжении ряда лет старались внедрить в Историю. Сегодня я себе говорю, что если бы вы действительно сохраняли верность логике собственной мысли, то я должен оправдать и ваши дела. И все это так важно, что мне необходимо на этом задержаться именно сейчас, в самом сердце летней ночи, сулящей столько надежд нам и столько угроз вам.

Вы никогда не верили в осмысленность бытия и в результате пришли к убеждению, будто все равноценно, будто определение добра и зла совершенно произвольно. Вы предположили, что при отсутствии сколько-нибудь обоснованной морали, человеческой или божественной, единственные ценности — это ценности, которые в ходу в животном царстве, то есть насилие и хитрость. Отсюда вы заключили, будто человек ничто и позволительно уничтожить его душу, будто в самой бессмысленной из историй назначение отдельного индивида сводится к авантюрам по добыче власти, а нравственная заповедь — к трезвости завоевателя. Сказать по чести, я, веривший, что думаю схоже с вами, — я почти не находил для спора против вас других доводов, кроме властной тяги к справедливости, тяги, которая, в конечном счете, казалась мне столь же мало поддающейся разумному объяснению, как и внезапно вспыхнувшая страсть.

В чем же была разница? В том, что вы легко согласились впасть в отчаяние, я же с ним никогда не мирился. В том, что несправедливость нашего удела на земле вы признали достаточным основанием, чтобы решиться его усугубить, мне же, напротив, представлялось, что человек должен утверждать справедливость, борясь с извечной несправедливостью, созидать счастье в знак протеста против разлитого во вселенной несчастья. Ибо вы опьянялись вашим отчаянием, вы избавлялись от него, возводя его в принцип, вы шли на то, чтобы разрушать творения рук человеческих и бороться против человека, доводя до предела его

изначальные беды. А я, отказавшись поддаться отчаянию и принять этот подвергнутый пыткам мир, я хотел бы только, чтобы люди обрели солидарность и вступили в схватку со своей возмутительной судьбой.

Как видите, из одного и того же принципа мы вывели совсем разные нравственные установки. Дело в том, что где-то по дороге вы отбросили ясность ума и сочли более удобным (вы бы сказали: вполне безразличным), чтобы кто-то другой думал за вас и за миллионы ваших соотечественников. Поскольку вы устали сражаться против небес, вы нашли успокоение для своего ума в той изнурительной аванюре, где ваша задача—уродовать души и вытаптывать землю. Короче, вы избрали несправедливость, вы вступили в сговор с богами. Ваша логика логична лишь по видимости.

В противовес вам я выбрал справедливость, чтобы остаться верным земле. Я продолжаю думать, что в этом мире нет высшего смысла. Но я знаю, что кое-что в нем все-таки имеет смысл, и это—человек, поскольку он один смысла ищет. В этом мире есть по крайней мере одна правда—правда человека, и наше предназначение—укрепить его осмысленную решимость жить вопреки судьбе. Человек, и только он один,—вот весь смысл и все оправдания, его-то и надо спасти, если хотят спасти определенные воззрения на жизнь. Вы усмехаетесь презрительно: дескать, что это значит—спасти человека? Но я прокричу вам изо всей мочи: это значит не калечить его, это значит делать ставку на справедливость, которая внятна ему одному.

Вот почему мы вступили в борьбу. Вот почему мы были вынуждены сперва последовать за вами по дороге, которая внушала нам неприязнь и в конце которой мы пережили разгром. Ведь ваше отчаяние составляло и вашу силу. Когда отчаяние одиноко, от всего очищено, уверено в себе, не страшится самых жутких результатов, оно обладает сокрушительной мощью. Мощь эта и раздвинула нас, пока мы колебались в нерешительности, не в силах оторвать взоров от счастливых лиц прошлого. Мы думали, что счастье—это самое драгоценное из завоеваний, вырванных у навязанной нам судьбы. И даже посреди разгрома нас не покидали эти сожаления о былом.

Но вы добились своего, мы втянулись в поток Истории. Пять лет миновало с тех пор, как исчезла возможность наслаждаться щебетом птиц и прохладой вечеров. Поневоле пришлось изведать отчаяние. Мы оказались отлучены от жизни, потому что каждое очередное ее мгновение влекло за собой сонм смертоносных лиц. Вот уже пять лет подряд, как на земле не бывает утренних зорь без предсмертных хрипов, вечеров без тюремных застенков, полдней без свирепых расправ. Да, нам пришлось за вами последовать. Но наш трудный подвиг состоял в том, чтобы, следуя за вами по дороге войны, не забыть о счастье. Посреди шума и ярости мы старались удержать в памяти залитое солнцем море, дорогой нам холм, улыбку любимого лица. Больше того, все это было нашим надежнейшим оружием, и мы его никогда не сложим. Ибо в тот день, когда мы его утратим, мы сделаемся такими же мертвецами, как и вы. Просто мы теперь знаем: чтобы

выковать оружие счастья, требуется много времени и слишком много крови.

Нам пришлось причаститься вашей философии, в чем-то даже вам уподобиться. Вы избрали геройство без цели—ведь это единственная ценность в мире, где утрачен смысл. И сделав этот выбор для самих себя, вы навязали его и нам, и всем остальным. Чтобы не погибнуть, мы были вынуждены поступать так же. Но тогда-то мы и заметили наше преимущество—оно как раз в том, что у нас есть цель. Ныне, когда близится ваш конец, мы в состоянии вам сказать, что одно только геройство—это не так уже много, счастье—труднее.

Сейчас у вас должна быть полная ясность, вы знаете, что мы—враги. Вы на стороне несправедливости, и нет ничего на свете, что бы рождало в моем сердце большее отвращение. Но я узнал теперь разумные оправдания тому, что раньше было лишь стихийным чувством. Я сражаюсь против вас, ибо ваша логика столь же преступна, как и ваши страсти. И в том ужасе, какой вы сеяли повсюду эти четыре года, ваш рассудок повинен ничуть не меньше вашего инстинкта. Вот почему приговор, вынесенный вам, обжалованию не подлежит, в моих глазах вы уже мертвы. Но в тот самый час, когда я приведу в исполнение приговор за ваши зверства, я все-таки вспомню, что мы отправлялись от одной и той же посылки—одиночества, что вы и мы, да и вся Европа, находимся внутри общей трагедии мысли. И вопреки всем вашим делам, я сохраню за вами имя человека. Дабы не поколебать нашей веры, мы обязаны уважать в вас то, что сами вы не уважаете в других. Долгие годы это давало вам сомнительное преимущество: вы убивали легче, чем мы. И во веки веков подобная способность пребудет выигрышной для всех, кто на вас похож. Но во веки веков все мы, кто на вас не похож, пребудем свидетелями в пользу человека, который, несмотря на свои тягчайшие срывы, все же заслуживает конечного оправдания и признания своей невиновности.

Вот почему, приближаясь к концу идущего вокруг сражения, находясь в самом сердце города, принявшего облик преисподней, несмотря на наших обезображенных мертвецов и деревни, полные сирот, все равно я могу сказать вам, что в тот самый день, когда нам предстоит безжалостно вас истреблять, нас не ослепит ненависть. И если даже завтра нам вместе со многими другими придется умереть, мы и тогда не будем во власти ненависти. Мы не можем поклясться, что не испытаем страха, мы только постараемся удержать его в разумных пределах. Однако мы можем поклясться не питать ни малейшей ненависти. И я хочу вас заверить: мы вполне выяснили отношения с тем единственным, что способны сегодня презирать,—с несправедливостью, и мы намерены сломить ваше могущество, не уродуя ваших душ.

Как видите, у вас остается бывшее превосходство. Но в нем же и наше явное теперешнее преимущество. Оно-то и делает легкой для меня эту ночь. Вот где наша сила: наш ум тоже смущенно склоняется в раздумье над бездной вселенной, но одновременно на самом исходе катастрофы мысли мы спасаем идею достоинства человека и черпаем здесь несокрушимое мужество добиваться

возрождения. Конечно, наше обвинение сущему отнюдь не смягчилось. Мы слишком дорого заплатили за свое новое знание, чтобы человеческий удел перестал рисоваться нам не внушающим надежд. Сотни тысяч расстрелянных на рассвете, жуткие застенки, земля Европы, удобренная миллионами трупов своих детей,— понадобилось все это, чтобы оплатить прибавленные к знанию два или три оттенка, вся польза от которых, наверное, ограничится тем, что поможет некоторым из нас умереть достойнее. Да, все это отнюдь не располагает обольщаться надеждами. Но нам предстоит доказать, что мы не заслуживаем такой несправедливой участи. Здесь-то и находится цель, нами намеченная, и мы двинемся к ней завтра. В недрах этой европейской ночи, которую слегка колышет набегающее изредка дуновение лета, миллионы вооруженных и безоружных людей готовятся к бою. Скоро займется заря вашего поражения. Я знаю, что небеса, столь равнодушные в день вашей жестокой победы, пребудут равнодушными и в день вашего разгрома. И сегодня, как прежде, я ничего не жду от небес. Но мы по крайней мере внесем свой вклад в избавление человеческих существ от одиночества, которое вы тщились сделать безысходным. Пренебрегши верностью человеку, каждый в ваших тысячных полчищах обрел себя на смерть в одиночку.

И теперь я наконец могу вам сказать: прощайте.

Июль 1944

ИЗ КНИГИ «ЛЕТО»

МИНДАЛЬНЫЕ РОЩИ

«Знаете, что меня больше всего поражает?—говорил Наполеон Фонтану¹.—Что сила бессильна что-либо создать. В мире есть только два владыки—меч и дух. И в конце концов дух всегда одерживает победу над мечом».

Как видно, и завоевателям порой случается приунуть. Надо же хоть как-то платить за столь громкую и столь тщетную славу. Но то, что было справедливо сто лет назад для меча, в наши дни уже не относится к танку. Завоеватели изрядно преуспели, и на многие годы над истерзанной Европой, в краях, где не стало духа, нависло угрюмое безмолвие. Во времена гнусных войн из-за Фландрии голландские живописцы все же могли изображать на полотне петухов из своих птичников. И хоть уже забыта Столетняя война, в иных сердцах еще живы молитвы силезских мистиков. А теперь все изменилось: и художник и монах мобилизованы, все мы равно в ответе за наш мир. Дух утратил царственную непоколебимость, которую когда-то признавал за ним завоеватель; и он растрчивает себя, проклиная силу, ибо уже не умеет ее подчинить.

Добрые души скажут, что это недуг. Мы не знаем, недуг ли это, но знаем—такова действительность. Вывод: надо с нею считаться. Стало быть, достаточно понять, чего же мы хотим. А хотим мы одного: никогда больше не покоряться мечу, никогда больше не признавать силу, которая не служит духу.

Правда, задача эта необъятная. Но наше дело—не отступать перед нею. Я не настолько верю в разум, чтобы полагаться на прогресс или на какую-либо философию Истории. Но по крайней мере я верю, что люди всегда стремились глубже постичь свою

¹ Луи де Фонтан (1757—1821)—литератор, ректор университета во времена Империи.

судьбу. Мы связаны условиями своего существования, однако все лучше в них разбираемся. Знаем, что нас раздирают противоречия, но знаем также, что не должны с ними мириться, должны все сделать, чтобы противоречия эти смягчить. Мы—люди, и наш долг попытаться как-то утолить безмерную тоску свободных душ. Нам предстоит воссоединить то, что разорвано, установить посильную меру справедливости в явно несправедливом мире, воскресить в народах, отравленных болезнью века, веру в возможность счастья. Разумеется, это нечеловеческая задача. Но ведь нечеловеческими всегда называют задачи, которые требуют долгих усилий, только и всего.

Будем же твердо знать, чего мы хотим, не отступимся от духа, даже если сила, чтобы соблазнить нас, примет обличье какой-либо идеи или жизненных благ. Главное—не отчаиваться. Не стоит слишком прислушиваться к тем, кто кричит о конце света. Цивилизации гибнут не так легко, и, даже если этот мир должен рухнуть, прежде рухнут другие. Да, конечно, мы живем в трагическую эпоху. Но слишком многие путают трагическое с безнадежным. «Трагическое,—говорил Лоуренс,—должно быть как крепкий пинок несчастью». Вот очень здравая мысль, которую можно осуществить немедленно. Очень много сейчас такого, что заслуживает пинка.

Когда я жил в Алжире, я всегда зимой набирался терпения, потому что знал: однажды ночью, за одну только холодную и ясную февральскую ночь, в Долине консулов зацветет миндаль. И потом я изумлялся—как этому хрупкому белоснежному покрову удается выстоять под дождями и ветром с моря. И, однако, каждый год он держался ровно столько, сколько требовалось, чтобы завязались плоды.

Это не символ. При помощи символов мы не достигнем счастья. Тут нужно нечто более серьезное. Я только хочу сказать, что порою, когда в Европе, которая еще слишком полна своим несчастьем, бремя жизни становится чересчур тяжким, я вновь обращаюсь к солнечным странам, где столько не тронутых донине сил. Я слишком хорошо их знаю, чтобы не понимать: это избранная земля, там возможно равновесие между созерцанием и мужеством. И, раздумывая над их примером, я постигаю ту истину, что, если хочешь спасти дух, не стоит внимать жалобным вздохам своих добродетелей, а надо вдохновляться своей силой и своим достоинством. Наш мир отравлен несчастьями и, кажется, сам упивается ими. Он всецело предан недугу, который Ницше называл унынием. Не станем его в этом поддерживать. Бесполезно оплакивать дух, достаточно ради него работать.

Но в чем же победоносные достоинства духа? Они названы у того же Ницше как заклятые враги уныния. Это—сильная воля, зыскательность, «земное», самое обычное счастье, непреклонная гордость, холодная сдержанность мудреца. Эти добродетели сейчас необходимы, как никогда, и каждый может выбрать для себя самую подходящую. И, уж во всяком случае, когда берешь на себя столь огромную ответственность, нельзя забывать о сильной воле. Не о той, которая на предвыборных трибунах сердито хмурится и не скупится на угрозы. Но о той,

чья белизна и соки способны устоять под всеми ветрами, налетающими с моря. Среди зимы, сковавшей мир, это она — порукой, что завяжутся плоды.

1940

ПРОМЕТЕЙ В АДУ

Мне казалось, божеству чего-то не хватает, пока нет такой силы, которая бы ему противостояла.

Лукиан. Прометей на Кавказе

Что значит Прометей для современного человека? Без сомнения, можно сказать, что этот мятежник, восставший на богов, — образец человека наших дней и что этот протест, возникший тысячелетия назад в пустынях Скифии, завершается ныне потрясениями, каких еще не знала история. Но в то же время что-то подсказывает нам, что он, вечно преследуемый, и поныне среди нас, а мы всё еще глухи к его одинокому голосу, призывающему восстать во имя человечности.

В самом деле, человек наших дней — тот, что в несметном множестве страдает на этой тесной земле; он лишен огня и пищи, и свобода для него — роскошь, которая может и подождать; и речь пока лишь о том, что ему придется страдать еще немного больше, а свободы и ее последних свидетелей останется еще немного меньше. Прометей был героем, который так любил людей, что подарил им сразу огонь и свободу, ремесло и искусство. Сегодня человечеству нужно только одно, только одно его заботит — ремесло. Его мятеж воплощается в машинах, а искусство и все, что стоит за искусством, оно считает лишь помехой и признаком рабства. Прометей же, напротив, никак не отделял машину от искусства. Он думал, что можно разом освободить и тело и душу. А теперешний человек верит, что надо сначала освободить тело, даже если духу придется на время умереть. Но может ли дух умереть лишь на время? В действительности, вернись на землю Прометей, люди сегодня поступили бы так же, как боги в старину: приковали бы его к скале во имя той самой человечности, которую он прежде всего олицетворяет. И побежденного осыпали бы оскорблениями те же враждебные голоса, что раздавались в преддверии Эсхиловой трагедии: голоса Насилия и Жестокости.

Может быть, я склоняюсь перед скудными временами, обнаженными деревьями, перед зимой нашего мира? Но сама эта тоска по свету меня оправдывает: она говорит мне об ином мире, о подлинной моей родине. Есть ли еще люди, кому не чужда эта тоска? В год, когда началась война, я собирался в плаванье по тому пути, которым прошел Улисс. Тогда молодой человек, даже без гроша в кармане, еще мог строить роскошные планы — пересечь море в поисках света. Но я поступил как все. Я не сел на корабль. Я занял свое место в длинной веренице, тянувшейся к

распахнутым вратам ада. Один за другим мы входили. И при первом же крике невинно убитого дверь за нами захлопнулась. Мы очутились в аду, и уже нет выхода. Шесть долгих лет мы пытаемся здесь освоиться. И жаркие видения счастливых островов являются нам лишь за далью новых долгих лет без огня и без солнца.

Промозглой и темной ночью Европы поневоле вспоминаешь с дрожью сожаления и мучительного понимания, как воскликнул в старости Шатобриан, обращаясь к уезжавшему в Грецию Амперу: «Вам уже не найти ни листка оливы, ни зернышка винограда из тех, что я видел в Аттике. Мне жаль каждой травинки тех лет. У меня неостало сил оживить хотя бы один кустик вереска». Так и мы, хоть в наших жилах течет молодая кровь, погружены в чудовищную старость нашего века и порой жалеем о травах всех времен, о листке оливы, на который уже не пойдем взглянуть ради него самого, о винограде свободы. Повсюду — люди, повсюду людские крики, и страдания, и угрозы. В этом столпотворении уже не остается места для кузнечиков. История — земля бесплодная, вереск на ней не растет. А между тем современный человек избрал историю, он не мог, не имел права от нее отвернуться. Но вместо того, чтобы ее подчинить, он день ото дня безропотней становится ее рабом. Вот тут-то он и предает Прометея, юношу «с мыслью отважной и чуткого сердцем». Тут-то он и возвращается к нищете, от которой хотел принести людям спасение Прометей. «Они смотрели и не видели, слушали и не слышали, подобные теням из сновидения...»

Да, довольно одного вечера в Провансе, красоты холма, соленого ветра, чтобы понять: вся работа еще впереди. Нам надо заново изобрести огонь, восстановить ремесла, чтобы утолить голод тела. Аттика, свобода и сбор винограда, пища для души — это все потом. Нам остается лишь сказать себе: «Их уже не будет никогда — или их узнают другие» — и сделать все, чтобы по крайней мере те, другие, не оказались обездоленными. Что же, мы, кому больно это сознавать и кто все же пытается принять это без горечи, пришли мы слишком поздно или слишком рано? И достанет ли у нас сил оживить вереск?

Можно угадать, как на этот вопрос нашего века ответил бы Прометей. Да, в сущности, он уже и ответил: «Обещаю вам иное и лучшее будущее, о смертные, если у вас достанет умения, доблести и сил сотворить его своими руками». Так вот, если правда, что спасение в наших руках, на вопрос века я отвечу: «Да», ибо есть люди, в которых я всегда чувствую ту же силу мысли и то же просветленное мужество. «О справедливость, о мать моя, — восклицает Прометей, — ты видишь мои страдания!» А Гермес насмехается над героем: «Удивляюсь я, как же ты, провидец, не предвидел, что тебя ждет пытка». «Я это знал», — отвечает мятежник. Люди, о которых я говорю, тоже дети справедливости. Они тоже мучаются общим страданием и хорошо понимают, откуда оно. Они прекрасно знают, что слепая справедливость невозможна, что история — незряча и, стало быть, надо отвергнуть ее суд и заменить его, насколько возможно, судом мысли. И вот тут-то в наш век вновь приходит Прометей.

Мифы не живут сами по себе. Они ждут, чтобы мы дали им плоть и кровь. Пусть хотя бы один человек на свете откликнется на их зов — и они напоят нас своими неиссякаемыми соками. Наше дело — сохранить их, сделать так, чтобы сон их не оказался смертным сном, чтобы стало возможным воскресение. Порой я сомневаюсь — можно ли спасти современного человека. Но еще можно спасти его детей, их тело и дух. Можно открыть им путь и к счастью, и к красоте. Если уж мы должны примириться с жизнью без красоты, а значит, и без свободы (ибо красота означает свободу), миф о Прометее — из тех, что напоминают нам: извратить образ человеческий можно лишь на время, а служить человеку можно лишь в его единстве и цельности. Если он голоден и нуждается в хлебе и вереске и если правда, что прежде нужен хлеб, научимся хотя бы хранить память о вереске. В самую мрачную пору истории люди Прометея, не отступаясь от своего тяжелого труда, сохраняют способность видеть землю и неукротимую траву. Героя в оковах осыпают громы и молнии, но он не теряет спокойной веры в человека. Вот почему он тверже скалы и терпеливей кровожадного орла. Это бесконечное упорство выше, чем бунт против богов, для нас оно полно смысла. И эта великолепная воля все сохранить единым, цельным и нераздельным всегда примиряла и вновь примирит исстрадавшиеся сердца людей с весною мира.

1946

ИЗГНАННИЧЕСТВО ЕЛЕНЬ

Средиземноморью присуща своя солнечная трагичность, непохожая на трагичность туманных стран. В иные вечера близ моря, у подножия гор, ночь нисходит на строгую дугу крохотной бухты, и тогда из глубины умолкнувших вод поднимается вывысь, повергая нас в трепет, полнота бытия. В таких краях нетрудно понять древних греков: когда им случалось проникаться отчаянием, это неизменно происходило при посредничестве красоты и всего, что в ней есть угнетающего. Трагедия получает завершенность, когда несчастье подсвечено золотыми лучами. Наше время, напротив, вскармливает свое отчаяние в уродстве и судорогах. И оттого, если страдание может быть отвратительным, наша Европа отвратительна.

Греки брались за оружие во имя красоты — мы ее изгнали. Здесь — самое первое различие, и оно уходит своими корнями далеко в прошлое. Греческая мысль всегда была сопряжена с представлением о пределе, мере. Она ничего не доводила до чрезмерности — ни священное, ни разум, — поскольку ничего и не отвергала ни в священном, ни в разуме. Она всему отдавала должное, свет уравнивался мраком. Наоборот, наша Европа, нацеленная на завоевание всеобщего, — дочь чрезмерности. Отвергая все, что не внушает ей лихорадочного восторга, она отвергает и красоту. А в экстаз ее приводит лишь одно — грядущее царство рассудка. Впав в безумие, она раздвигает все от века данные пределы, и в тот самый миг на нее набрасываются Эринии и

начинают ее терзать. Немезида—богиня меры, отнюдь не мщения—бодрствует всегда. И беспощадно карает всякого, кто преступает пределы.

Греки на протяжении веков задавались вопросом, что есть справедливость, но они не сумели бы разобраться в наших понятиях о справедливости. В их глазах справедливость предполагает чувство меры, тогда как наш континент судорожно ищет справедливости всеохватывающей, самой что ни на есть последней. На заре греческой мысли Гераклит уже думал, что справедливость задает определенные пределы даже самой материальной вселенной. «Солнце не преступит положенной ему меры, иначе блюстительницы справедливости Эринии его настигнут». Заставив вселенную и дух выбиться из привычной колеи, мы смеемся над подобной угрозой. В опьянивших нас небесах мы по собственной прихоти зажигаем какие угодно солнца. Но пределы не перестают существовать, и нам это известно. В крайностях своего умопомрачения мы мечтаем о равновесии, которое давно оставили позади, и по невежеству своему уповаем обрести его на исходе наших заблуждений. Вот уж поистине детское самомнение, и не случайно народы-дети, наследники наших безумств, направляют сегодня ход нашей истории.

Один из фрагментов, приписываемых тому же Гераклиту, гласит: «Самомнение, попятный шаг в становлении». А через столетие после эфесца Сократ, не страшась смертного приговора, возвещает высшей из всех истин следующую: я знаю, что ничего не знаю. Самые поучительные для тех далеких времен жизненные пути и поиски мысли увенчивались горделивым признанием в неведении. Забыв об этом, мы предали забвению свою мужественность. Мы предпочли могущество, прикидывающееся величием,—ведь наши составители учебников по их несравненной душевной низости внушают нам с детства восхищение сперва Александром Македонским, затем римскими завоевателями. И мы в свою очередь завоевываем, раздвигаем до бесконечности пределы, покоряем небо и землю. Наш рассудок расширяет вокруг себя пустоту. И вот под конец, оставшись в полном одиночестве, мы обретаем свое царство в пустыне. Разве в силах мы хотя бы отчасти вообразить себе то высокое равновесие, когда природа составляла противовес истории, красота—добру и когда музыка небесных сфер звучала даже в самой кровавой трагедии? Мы поворачиваемся спиной к природе, мы стыдимся красоты. Наши жалкие трагедии отдают запахом канцелярий, и кровь, обильно в них проливаемая,—грязного цвета чернил.

И потому сегодня совершенно непристойно хвастать, будто мы—дети Древней Греции. Ведь в таком случае мы—дети-отступники. Возведя историю на трон, где раньше восседал бог, мы движемся навстречу теократии, подобно тем, кого греки называли варварами и с кем они насмерть сражались у Саламина. Если есть желание четко осмыслить разницу, стоит обратиться к тому из наших философов, который сегодня выступает поистине соперником Платона. «Один только город,—решился написать Гегель,—предоставляет духу то поприще, где последний обретает самосознание». Мы и живем во времена огромных городов. Жизнь

была совершенно произвольно отрезана от того, что прежде служило залогом ее постоянства,—от природы, моря, холмов, от раздумий в вечерних сумерках. Отныне для сознания нет другого пристанища, кроме улицы, раз история не протекает нигде, кроме улицы,—так постановлено. И в результате наши самые знаменательные творения свидетельствуют о том же принудительном выборе. Тщетно искать пейзажей в большой европейской литературе, начиная с Достоевского. История не объясняет ни природного царства, которое существовало и до нее, ни красоты, которая выше ее. Всем этим история решила пренебречь. Если Платон охватывал все сущее целиком—неодушевленное, разум и миф,—то наши философы охватывают их раздельно: одно только неодушевленное либо один только разум,—потому что они закрыли глаза на остальное. Так мыслят кроты.

Христианство первым подменило созерцание бытия трагедией души. Впрочем, оно по крайней мере отсылало к некой духовной основе и благодаря этому сохраняло известную устойчивость. Когда же бог умер, остались только история и власть. Уже давно все усилия наших философов сводятся к попыткам заменить понятие человеческой природы понятием ситуации, а былой гармонии—беспорядочным случайным порывом либо неуклонным становлением разума. Если у греков разум задавал воле свои пределы, то мы в конце концов внедрили волевой порыв в самую сердцевину разума, отчего последний сделался смертоносным. Для греков нравственные ценности предшествовали всякому действию, как раз и устанавливая ему пределы. Новейшая философия отодвигает обретение ценностей к конечному исходу действия. Ценности не существуют сами по себе, они—результат становления, и мы постигнем их вполне лишь тогда, когда завершится сама история. Вместе с их исчезновением пропадает и всякий предел, а поскольку взгляды расходятся, какими этим ценностям быть завтра, и поскольку без подобного тормоза борьба усугубляется до бесконечности, то сегодня безостановочно нарастает схватка различных видов мессианства, их боевые кличи сливаются в сплошном грохоте столкновений между огромными империями. По Гераклиту, безмерность—это пожар. Пожар распространяется, Ницше давно превзойден, Европа философствует уже не ударами молота, а выстрелами пушек.

И, однако, природа по-прежнему рядом. Безумию людскому она противопоставляет невозмутимо спокойные небеса и свою мудрую непреложность. Она будет делать это и впредь, пока сам атом не вспыхнет пламенем, а история не завершится торжеством рассудка и гибелью всего живого. Впрочем, греки ведь никогда не утверждали, будто предел не может быть перейден. Они утверждали только, что он существует и что дерзнувший его преступить понесет беспощадную кару. Все, что творится в сегодняшней истории, лишь подтверждает эту истину.

Исторический разум и художник равно считают своим призванием переделку мира. Однако художник своей природой обязан сохранять чувство меры, которой не признает исторический разум. И потому тирания есть увенчание последнего, тогда как страстная приверженность первого—свобода. Всякий, кто

сегодня борется за свободу, в конечном счете сражается и за красоту. Конечно, речь не идет о защите красоты самодостаточной. Красоте не обойтись без человека, и мы не вернем подлинного величия и ясности духа нашей эпохе, не окупившись в ее бедствия. Нам больше никогда не быть одинокими. Но столь же верно и то, что человеку не обойтись без красоты, хотя эпоха как раз делает вид, будто ей это неизвестно. Она натужно силится достичь абсолюта и на всё распространить единую власть, намерена преобразить сущее, так его и не исчерпав, повелевать им, так его и не постигнув. И что бы она ни возглашала, она обращает мир в пустыню. Одиссей у Калипсо поставлен перед выбором между бессмертием и родиной. Он отдает предпочтение родной земле—и, значит, смерти. Столь простое величие души сегодня нам чуждо. Кое-кто, пожалуй, скажет, что нам недостает смирения. Но, если вдуматься как следует, слово это двусмысленно. Подобно лицедеям Достоевского, которые похваляются напропалую, нороят вскарабкаться до самых звезд и кончают тем, что на первой попавшейся площади выставляют всем напоказ свой позор, нам недостает одного—человеческой гордости, состоящей в том, чтобы хранить верность собственным пределам и ясновидящую любовь к своей земной судьбе.

«Я ненавижу мою эпоху»,—незадолго до смерти сказал Сент-Экзюпери, и причины у него были весьма близки к приведенным только что мною. И все-таки вряд ли стоит подписываться под криком души, особенно потрясающим в устах того, кто любил людей, находя в них много достойного восхищения. Как, однако, иной раз бывает соблазнительно отвернуться от тусклого и бесплотного мира! Но эта эпоха—наша, и мы не можем дальше жить, ненавидя самих себя. Она пала столь же низко, сколь чрезмерны в своих крайностях ее добродетели и ее пороки. И все же мы будем бороться за те ее добродетели, которые достались нам от далекого прошлого. За какие именно? Кони Патрокла оплакивают своего хозяина, павшего в битве. Все потеряно. Но в сражение вступает Ахилл, и оно увенчивается победой, потому что смерть покусилась на дружбу: дружба и есть наша добродетель.

Честно признанное неведение, отказ от фанатизма, уважение пределов вселенной и человека, нежно любимое лицо, красота—вот где мы сомкнемся с греками. Смысл завтрашней истории совсем не в том, в чем его усматривают ныне. Он в борьбе творчества против инквизиции. Невзирая на цену, которую художникам предстоит заплатить за то, что их руки безоружны, есть основания надеяться на победу. О полуденная мысль, как далека Троянская война от полей наших сражений! Но и на сей раз грозные крепостные стены новейшего града падут, нам будет возвращена «душа ясная, словно морская гладь»,—красота Елены.

Далеко от отчего крова уплыл ты бурной
душой, преодолев двойную гряду морских
скал, и теперь живешь ты в чужой земле.

«Медея»

Пять дней над Алжиром без передышки лил дождь, так что под конец даже море вымокло насквозь. С высоты неба, казавшегося неиссякаемым, на залив обрушивались густые, точно клей, ливни. Серое и дряблкое, словно огромная губка, море слабо колыхалось в бухте с размытыми очертаниями. Но поверхность воды казалась почти неподвижной под равномерным напором дождя. Лишь время от времени по ней пробегало едва заметное волнение, и тогда над морем широко растекался мутный туман, который тянулся к порту, опоясанному кольцом мокрых бульваров. Навстречу ему поднимались испарения, исходившие от города с его белыми, сочащимися сыростью стенами. Куда ни повернись, везде была вода, казалось, вы вдыхаете ее, пьете вместе с воздухом.

Я смотрел на затопленное море, бродил по декабрьскому Алжиру, который оставался для меня городом вечного лета, и ждал. Я сбегал от мрака Европы, от зимних лиц. Но смех покинул даже этот город лета, повернувшийся ко мне сутулой мокрой спиной. По вечерам я отсиживался в ярко освещенных кафе и угадывал свой возраст по лицам посетителей, которых я узнавал, хоть и не мог бы назвать их имен. Я знал только, что они были молодыми вместе со мной и что теперь они уже не молоды.

И однако я упрямо ждал, сам толком не зная чего — разве что возможности вернуться в Типаса. Конечно, это великое безумие, за которое почти всегда приходится расплачиваться, — возвращаться в места, где ты был молод, и пытаться в сорок лет возродить все то, что ты любил или чем с такой острой радостью наслаждался в двадцать. И ведь я знал, что это безумие. Я уже возвращался однажды в Типаса, это было вскоре после военных лет, означавших для меня конец молодости. Вероятно, я надеялся найти там свободу, о которой все не мог забыть. В самом деле, более двадцати лет назад я бродил в этих местах по утрам среди развалин, вдыхал запах полыни, грелся на камнях и собирал маленькие, быстро осыпавшиеся весенние розы. Только в полдень, когда смолкали даже цикады, сраженные зноем, я спасался от полыхающего солнца, алчно пожиравшего все вокруг. Порой по ночам, лежа под сверкающим звездным небом, я почти не смыкал глаз. Я жил тогда. Пятнадцать лет спустя я снова увидел свои развалины в нескольких метрах от линии прибоя; среди полей, заросших унылыми деревьями, я отыскивал следы улиц забытого города; я гладил колонны цвета хлеба, уцелевшие на холмах, возвышавшихся над заливом. Но теперь развалины были обнесены колючей проволокой и входить туда разрешалось лишь в нескольких местах. Было также запрещено — по-видимому, из моральных соображений — прогуливаться там по ночам, а днем вас встречал вооруженный сторож. В то утро — разумеется, по чистой случайности — над всей территорией развалин лил дождь.

Растерянный, бродил я по пустынным мокрым полям, пытаюсь хотя бы обрести в себе ту силу, до сих пор никогда мне не изменявшую, которая помогала мне принимать жизнь такой, как она есть, раз уж я понял, что не могу ничего изменить. А я не мог, в самом деле, подняться к истокам реки времени и вернуть миру его прежнее лицо, которое я любил и которое он утратил задолго до этого дня. Да, 2 сентября 1939 года я не поехал в Грецию, как собирался. Зато война добралась до нас, а затем настигла и Грецию. Это расстояние, эти годы, пролегли между горячими камнями развалин и колючей проволокой, были и во мне, и сегодня я снова почувствовал это, глядя на саркофаги, полные черной воды, и вымокшие деревья тамариска. Воспитанный с ранних лет в созерцании красоты, которая была для меня единственным богатством, я начал с полноты ощущений. Затем явилась колючая проволока, я хочу сказать, тирания, война, полиция — настало время мятежа. Нужно было подчиниться правилам ночи: красота дня оставалась лишь в воспоминании. Но в этой Типаса само воспоминание утонуло в грязи. О какой красоте, молодости, полноте ощущений могла идти речь! При свете пожаров внезапно стали видны морщины и раны мира, прежние и новые. Он сразу постарел — и мы вместе с ним. Я прекрасно знал, что тот порыв, который я надеялся здесь испытать, дается лишь тому, кто не ведает, что его охватит порыв. Нет любви без некоторой невинности. Где она, невинность! Рушились империи, люди и нации вгрызались друг другу в глотку, наши уста были осквернены. Сначала мы были невинны, сами того не сознавая, теперь — без вины виноватыми: тайна росла вместе с нашим опытом. Вот почему мы и занимались — о, какая это насмешка! — моралью. Немоощный, я мечтал о добродетели. Во времена невинности я не подозревал о существовании морали. Теперь я знал, но не был способен жить на высоте ее требований. На прибрежных холмах, некогда любимых мной, среди мокрых колонн разрушенного храма мне чудилось, будто я иду вслед за кем-то, чьи шаги еще звучат на плитах и мозаике пола, но кого я никогда уж не догоню. Я уехал в Париж, и прошло несколько лет, прежде чем я решился вернуться к себе.

А между тем все эти годы я смутно ощущал, что мне чего-то недостает. Если вам посчастливилось однажды испытать сильную любовь, всю свою жизнь вы будете снова и снова искать этот жар и свет. Чтобы отказаться от красоты и чувственного счастья, связанного с ней, и посвятить себя исключительно служению несчастным, нужно величие души, которого у меня нет. Но в конце концов не может быть истины ни в чем, что претендует на исключительность. Поставленная над всем красота искажается, а справедливость оборачивается гнетом. Тот, кто хочет служить первой, исключая вторую, не служит ни той, ни другой, ни самому себе — и в конечном счете вдвойне служит несправедливости. И вот наступает день, когда приходится расплачиваться за эту узость — ничто уже не восхищает, все известно, и все в жизни кажется повторением. Это время изгнания, исчерпанности жизненных сил, душевной смерти. Чтобы возродиться, нужны благодать, самозабвение или родина. В одно прекрасное утро

где-нибудь на углу улицы какая-то чудесная роса вдруг окропит сердце. Пусть она улечится потом, но останется ощущение свежести, которая всегда так необходима сердцу. Я должен был снова пуститься в путь.

И вот в Алжире, во второй раз блуждая под тем же ливнем, не перестававшим, казалось, с моего отъезда, который я считал тогда окончательным, всем существом ощущая великую печаль, разлитую в пропахшем дождем и морем воздухе, несмотря на это туманное небо, эти убегающие от потоков воды слины, эти кафе с замогильным светом, искажающим лица, я упрямо надеялся. Впрочем, разве я не знал, что дожди в Алжире прекращаются в одно мгновение, хоть и кажется, что они никогда не кончатся,— подобно рекам моей родины, которые вздуваются в какие-нибудь два часа, опустошают землю на несколько гектаров и разом иссякают. Однажды вечером дождь и в самом деле перестал. Я подождал еще ночь. Сверкающее влажное утро поднялось над чистым морем. С дышавшего свежестью неба, выстиранного и выполосканного бесконечными ливнями до полной прозрачности и голубизны, лился дрожащий свет, который четко обрисовывал каждый дом, каждое дерево, сообщая им чудесную новизну. Должно быть, такой же свет сиял на земле в утро сотворения мира. И вот я снова еду в Типаса.

Любой из этих шестидесяти девяти километров пути усеян моими воспоминаниями и ощущениями. Бурные детские порывы, мальчишеские мечтания под рокот автобуса, утро, молоденькие девушки, пляж, юные мускулы, всегда готовые к любому усилию, легкая тревога, сжимающая по вечерам сердце шестнадцатилетнего подростка, жажда жизни, слава—и над всеми этими годами неизменное небо, с неистощимой силой льющее свет и в течение долгих месяцев ненасытно пожирающее одну за другой жертвы, распростертые крестом на пляже в зловещие полдневные часы. И такое же неизменное море, почти неосязаемое по утрам, снова открылось мне на горизонте, как только дорога, покинув Саэль и его холмы, покрытые рыжим виноградником, пошла под уклон к побережью. Но я не остановился, чтобы взглянуть на море. Мне не терпелось снова увидеть Шенуа, массивную и тяжелую, будто вытесанную из одной каменной глыбы гору, которая ограждает залив Типаса с запада, спускаясь потом к морю. Еще издалека вы заметите ее—легкое голубое облачко, которое пока еще сливается с небом. Но постепенно, по мере приближения к нему, оно сгущается, принимая цвет воды, окружающей его, словно огромная неподвижная волна, поднявшаяся в чудесном порыве ввысь и внезапно застывшая над разом успокоившимся морем. Вы подъезжаете еще ближе к Типаса—и вот она перед вами, хмурая коричнево-зеленая громада, вот он старый замшелый бог, чье могущество ничто не сможет поколебать, прибежище и гавань для своих сынов, к которым принадлежу и я.

Глядя на него, я наконец преодолел колючую проволоку и оказался среди развалин. И под величавым солнцем декабря—так бывает всего раз или два за целую жизнь, и после этого человек может считать себя счастливым до конца дней—я испытал именно то, за чем вернулся сюда и что вопреки времени и миру

было подарено мне, поистине мне одному, в этом пустынном уголке. С высоты форума, заросшего оливковыми деревьями, открывался вид на лежащую внизу деревню. Ни единого звука не доносилось оттуда, только легкие струйки дыма поднимались в прозрачном воздухе. Море тоже молчало, словно задохнувшись под нескончаемым потоком холодного искристого света. Лишь где-то у Шенуа далекая песня петуха славил брненное величие дня. Со стороны развалин насколько хватал глаз виднелись только разбитые камни и полынь, деревья и колонны, бесконечно прекрасные в кристально прозрачном воздухе. Казалось, утро замерло и солнце застыло в небе, мгновение остановилось. В этой тишине и свете медленно таяли годы ярости и тьмы. Я прислушался к себе и уловил почти забытый звук, словно сердце мое, давным-давно остановившееся, снова принялось тихонько биться. Пробужденный, я теперь узнавал, один за другим, те неуловимые звуки, из которых состояла тишина: неумолчное басистое воркование птиц, легкие, короткие вздохи моря, плескавшегося у скал, шелест деревьев, немую песню колонн, шуршание полыни и скольжение ящериц. Я различал все это и в то же время прислушивался к счастью, волнами поднимавшемуся во мне. Мне казалось, что наконец-то я вернулся в гавань, по крайней мере на мгновение, и что отныне это мгновение никогда не кончится. Но вскоре солнце заметно поднялось в небе. Какой-то дрозд попробовал голос, как бы подавая сигнал начинать, и тотчас же со всех сторон грянул могучий и ликующий птичий хор, нестройный, веселый и буйно-восторженный. День тронулся с места. Мне предстояло добратся с ним до вечера.

В полдень с песчаного откоса, покрытого, словно пеной, гелиотропами—можно было подумать, что они заброшены сюда яростным прибоем последних дней, да так и остались, когда он схлынул,—я смотрел на обесилевшее в этот час море, лениво игравшее волнами, и утолял свою жажду, ту двойную жажду любви и восхищения, которая безнадежно иссушает душу, если подолгу не получает удовлетворения. Не быть любимым—это всего лишь неудача, не любить—вот несчастье. Сегодня все мы умираем от этого несчастья. Потому что кровавая ненависть истощает сердце; длительная борьба за справедливость поглощает любовь, породившую ее. Среди шума, в котором мы живем, невозможна любовь, а одной справедливости недостаточно. Вот почему Европа ненавидит дневной свет и не способна противостоять несправедливости. Но как уберечь справедливость, не допустить, чтобы она увяла, подобно прекрасному апельсину, внутри которого остается лишь высохшая горькая мякоть. В Типаса я заново открыл, что для этого надо сохранить в себе нетронутую свежесть чувств и источник радости, любить солнце, которое спасает от несправедливости, и, вооружившись его светом, вернуться в бой. Я снова нашел здесь древнюю красоту и юное небо и оценил, как мне повезло, когда понял наконец, что в худшие годы нашего безумия память об этом небе никогда не покидала меня. Это оно спасло меня от отчаяния. Я всегда знал, что руины Типаса моложе и нашихстроек, и наших развалин. Каждый день мир заново рождался здесь в сиянии вечно нового

света. О свет!—это к нему взывали перед лицом судьбы все персонажи античной драмы. Он был и для нас последним прибежищем, я знал это теперь. В разгар зимы я понял наконец, что во мне живет непобедимое лето.

Я опять покинул Типаса и вернулся к Европе и ее битвам. Но память об этом дне все еще поддерживает меня и помогает принимать с одинаковым самообладанием и радости и удары. Ничего не отвергать, научиться соединять белую и черную нить в одну натянутую до предела струну—о чем еще могу я мечтать в наше трудное время? Во всем, что я делал или говорил до сих пор, всегда можно, думаю, различить эти две силы, пусть даже они противоречат друг другу. Я не мог отречься от света, среди которого родился, и в то же время не хотел отказаться от обязательств, налагаемых нашей эпохой. Слишком легко противопоставить нежному имени Типаса другие, куда более звучные и жестокие имена: мир внутренних странствий современного человека хорошо мне известен, потому что я прошел его из конца в конец, от горних вершин духа до капищ преступлений. И разумеется, всегда можно отдохнуть и забыться сном на вершинах или жить на иждивении у преступления. Но, отказавшись от одной части существующего, вы сами отказываетесь существовать; нужно, следовательно, отказаться от жизни или научиться любить ее по-настоящему. Воля к жизни, принимающая действительность без оговорок и ограничений,—вот добродетель, которую я ставлю выше всего на свете. Право, я не возражал бы, если б хоть время от времени выказывал ее. Потому что наша эпоха, как, пожалуй, ни одна другая, требует, чтобы человек оставался верен себе в худшем и в лучшем, я стремлюсь ни от чего не уклоняться и всегда помнить о двух сторонах действительности. Да, есть красота и есть униженные. И как бы это ни было трудно, я хотел бы никогда не изменять ни той, ни другим.

Но и это похоже на мораль, а мы живем для чего-то такого, что выше и больше морали. Если б мы могли назвать это, но какая немота! К востоку от Типаса, на холме Сент-Сальса, вечер полон жизни. По правде сказать, еще светло, но едва заметное угасание света предвещает конец дня. Поднимается ветер, легкий, как эта ночь, слабая рябь трогает гладкую поверхность моря, и внезапно оно становится похожим на огромную пустынную реку, текущую с одного края горизонта к другому. Небо темнеет. И тогда наступает время тайны, ночных богов, беспредельного наслаждения. Но как выразить все это? На одной стороне монеты, которую я увожу отсюда, отчетливо видно прекрасное женское лицо, оно говорит мне обо всем том, что я узнал за этот день; другая сторона тронута временем, и всю обратную дорогу я ощущаю под своими пальцами полустершееся изображение. Что может мне сказать этот безгубый рот? Наверно, то же самое, что и другой таинственный голос, звучащий во мне, который день за днем твердит мне о моем неведении и счастье:

«Секрет, который я ищу, зарыт в оливковой долине под травой и холодными фиалками у старого, пропахшего виноградным

листом дома. За двадцать с лишним лет я исходил эту долину и другие, похожие на нее, я вопрошал безмолвных козьих пастухов, я стучался в двери необитаемых развалин. Порой, в час первой звезды, когда с еще бледного неба струится чистым дождем свет, мне казалось, что я знаю. И я в самом деле знал. Может быть, я и теперь знаю. Но никому не нужен этот секрет, ни мне самому, конечно, ведь я не могу расстаться со своими близкими. Я живу в своей семье, которая думает, что подчинила своей власти богатые и безобразные города, построенные из камня и тумана. День и ночь она громко разговаривает, и все склоняется перед ней, а она не склоняется ни перед кем: она глуха ко всем секретам. Хоть я держусь ее могуществом, оно нагоняет на меня тоску, и случается, что я устаю от ее криков. Но ее несчастье—мое несчастье, мы с ней одной крови. Я ее сообщник, такой же немощный и шумный: разве не кричал я среди камней? И вот я стараюсь забыть, хожу по нашим городам из железа и огня, храбро улыбаюсь ночи, кличу бурю—я останусь верным. Отныне деятельный и глухой, я и в самом деле забыл. Но может быть, в тот день, когда, созрев для гибели, мы будем умирать от истощения и неведения, я смогу отречься от наших крикливых гробниц, уйти, чтобы отдохнуть в долине, где сияет все тот же свет, и в последний раз вспомнить то, что знаю».

ИЗ КНИГИ «ИЗГНАНИЕ И ЦАРСТВО»

МОЛЧАНИЕ

Давно наступила зима, а над городом, уже пробудившимся от сна, вставал поистине лучезарный день. За молом голубизна моря сливалась с сияющей лазурью неба. Но Ивар не замечал этого. Он тащился на велосипеде вдоль бульваров, господствовавших над портом. Больную ногу он держал неподвижно на подножке, заменяющей педаль, а здоровой работал изо всех сил, одолевая мостовую, еще влажную от ночной сырости. Он ехал, не поднимая головы, скрючившись над рулем, по привычке старался держаться поодаль от трамвайных рельсов, хотя по ним уже не ходил трамвай, вильнув в сторону, уступал дорогу нагонявшим его машинам и время от времени откидывал локтем за спину съезжавшую сумку, в которую Фернанда положила ему завтрак. При этом он с горечью думал о содержимом сумки. Вместо его любимого омлета по-испански или бифштекса, жаренного на оливковом масле, между двумя ломтями хлеба был всего только кусок сыру.

Никогда еще путь до мастерской не казался ему таким долгим. Что поделаешь, он старел. В сорок лет, хоть ты еще не одряб и, как виноградная лоза, гнешься, да не ломаешься, мускулы уже не те. Иногда, читая спортивные отчеты, в которых тридцатилетнего спортсмена называли ветераном, он пожимал плечами. «Если это ветеран,—говорил он Фернанде,—то мне пора в богадельню». Однако он знал, что журналист не совсем не прав. В тридцать человек уже неприметно сдает. В сорок, конечно, еще не время уходить на покой, но к мысли об этом мало-помалу начинаешь загодя привыкать. Не потому ли он давно уже не смотрел на море, когда ехал на другой конец города, где находилась бочарня. Когда ему было двадцать лет, он не мог наглядеться на море: оно обещало ему счастливые часы на пляже в субботу и в воскресенье. Несмотря на свою хромоту, а может быть, именно из-за нее он всегда любил плавать. Но прошли годы, он женился на

Фернанде, родился мальчонка, и, чтобы сводить концы с концами, пришлось по субботам оставаться на сверхурочные в бочарне, а по воскресеньям халтурить на стороне. Мало-помалу он отвык утешать в эти дни буйство крови. Глубокая и прозрачная вода, горячее солнце, девушки, жизнь тела — другого счастья не знали в их краю. А это счастье проходило вместе с молодостью. Ивар по-прежнему любил море, но только на исходе дня, когда вода в бухте слегка темнела. В этот час приятно было сидеть на террасе дома в свежей рубашке, которую Фернанда умела так хорошо погладить, перед запотевшим стаканом анисовки. Вечерело, небо перед закатом окрашивалось в нежные тона, и соседи, разговаривавшие с Иваром, почему-то вдруг понижали голос. В такие минуты Ивар не знал, то ли он счастлив, то ли ему хочется плакать. Во всяком случае, на него находило какое-то умиротворенное настроение, и ему оставалось только тихо ждать, он и сам не знал чего.

А вот утром, когда он ехал на работу, он не любил смотреть на море, которое всегда в назначенный час являлось на свидание с ним, но с которым ему тут же приходилось расставаться до вечера. В это утро он ехал, понунив голову, и ехать ему было еще тяжелее, чем обычно, потому что и на сердце было тяжело. Когда накануне вечером он вернулся с собрания и объявил, что они возобновляют работу, Фернанда обрадовалась и сказала: «Значит, хозяин дает вам прибавку?» Хозяин не давал никакой прибавки, забастовка провалилась. Они плохо действовали, пришлось это признать. Это была забастовка, рожденная вспышкой гнева, и профсоюз имел основания отнестись к ней прохладно. К тому же полтора десятка рабочих — не бог весть что; профсоюз считался с другими бочарнями, которые их не поддерживали. А на них тоже нельзя было слишком обижаться. Бочарное дело, которому создавало угрозу строительство наливных судов и производство автоцистерн, не очень-то процветало. Делали все меньше и меньше бочонков и бочек и главным образом чинили уже имеющиеся большие чаны. Дела у хозяев шли неважно, это верно, но они хотели все же сохранить свои прибыли; проще всего им казалось заморозить заработную плату, несмотря на рост цен. Как быть бочарам, когда исчезает бочарный промысел? Профессию не меняют, если приобрести ее было не так-то просто. А это была трудная профессия, она требовала долгого обучения. Редко встречается хороший бочар, который пригоняет изогнутые клепки, крепит их на огне и стягивает железными обручами почти герметически, не пользуясь ни рафией, ни паклей. Ивар это знал и гордился этим. Переменить профессию ничего не стоит, но отказаться от того, что умеешь, от своего собственного мастерства — это нелегко. Хорошая профессия не имела применения, податься было некуда, приходилось смириться. Но и смириться было нелегко. Это значило придерживать язык, не имея возможности по-настоящему спорить, и каждое утро, отправляясь на работу, чувствовать, как накапливается усталость, а в конце недели получать то, что вам изволят дать, то есть гроши, которых не хватает на жизнь, потому что изо дня в день все дорожает.

И вот они обозлились. Поначалу двое или трое колебались, но и их взяла злость после первых переговоров с хозяином. Он сухо сказал, что торговаться не намерен, кому не нравится, может уходить. Разве это человеческий разговор? «Что он воображает!—сказал Эспосито.—Уж не думает ли он, что мы наделаем в штаны?» Вообще говоря, хозяин был неплохой малый. Мастерская перешла к нему от отца, он вырос в ней и знал с давних лет почти каждого рабочего. Иногда он приглашал их закусить в бочарне; они жарили сардины или кровяную колбасу, подбрасывая в огонь щепки и стружки, и, сидя с ними за стаканом вина, он был, что называется, душа-человек. На Новый год он всегда давал каждому рабочему по пять бутылок доброго старого вина и часто, когда кто-нибудь из них заболел или просто по случаю какого-нибудь события, например свадьбы или первого причастия, делал им денежные подарки. Когда у него родилась дочь, он всех оделил конфетами. Два или три раза приглашал Ивара поохотиться в свое поместье на побережье. Он и в самом деле любил своих рабочих и частенько напоминал, что его отец выбился в люди из подмастерьев. Но он никогда не бывал у них, ему это и в голову не приходило. Он думал только о себе, потому что знал только свое положение, и вот теперь заявлял, что не намерен торговаться. Иначе говоря, он в свою очередь заартачился. Но он-то мог себе это позволить.

Они добились согласия от профсоюза и объявили забастовку. «Не трудитесь расставлять стачечные пикеты,—сказал хозяин.—Когда мастерская не работает, я только выгадываю». Это была неправда, но это подлило масла в огонь, потому что тем самым он им в лицо говорил, что дает им работу из милости. Эспосито пришел в бешенство и сказал ему, что он не похож на человека. Тот вскипел, и их пришлось разнимать. Однако решительность хозяина произвела впечатление на рабочих. Двадцать дней продолжалась забастовка, дома печальные женщины ждали, когда она кончится, два или три товарища упали духом, а под конец профсоюз посоветовал им уступить, удовлетворившись обещанием арбитража и возмещения потерянных рабочих дней сверхурочными часами. Они решили возобновить работу. Конечно, хорохорясь, мол, это еще не конец, еще посмотрим, чья возьмет. Но в это утро Ивар физически ощущал тяжесть поражения, в сумке был сыр вместо мяса, и строить себе иллюзии было невозможно. Пусть море сверкало на солнце, оно ему уже ничего не обещало. Он нажимал на единственную педаль своего велосипеда, и ему казалось, что он стареет с каждым поворотом колеса. При мысли о мастерской, о товарищах и о хозяине, которого он снова увидит, на сердце у него становилось все тяжелее. Фернанда спросила: «Что же вы ему скажете?» «Ничего, будем работать»,—ответил Ивар, перекинув ногу через раму велосипеда, и покачал головой. Он сжал зубы, и его тонкое смуглое лицо, изрезанное морщинами, стало непроницаемым. Так он и ехал, сжав зубы, во власти бессильной, иссушающей злобы, омрачавшей в его глазах даже само небо.

Он оставил позади бульвар и море и поехал по сырým улицам старого испанского квартала. Они выходили на незастроенный

участок, занятый только сараями, свалками железного лома и гаражами, среди которых возвышалась мастерская—своего рода барак, до середины каменный и застекленный до самой крыши из гофрированного железа. Мастерская примыкала к старой бочарне—двору с навесами вдоль стен, который был заброшен, когда предприятие разрослось, и теперь превратился в склад для отслуживших свое машин и старых бочек. За двором, отделенный от него галереей, крытой потрескавшейся черепицей, начинался хозяйский сад, в глубине которого возвышался дом. Большой и уродливый, он тем не менее имел приветливый вид благодаря крыльцу, увитому диким виноградом и жимолостью.

Ивар сразу увидел, что двери мастерской закрыты. Перед ними молча толпились рабочие. Впервые с тех пор, как он работал здесь, он, приехав, нашел двери на запоре. Видно, хозяин хотел этим подчеркнуть, что он взял верх. Ивар подъехал к навесу, пристроенному к барaku с левой стороны, поставил велосипед и направился к двери. Он издали узнал Эспосито, рослого молодца, смуглого и волосатого, который работал рядом с ним, Марку, профсоюзного уполномоченного, у которого всегда было мечтательно-томное выражение лица, как у модного тенора, Саида, единственного алжирца в мастерской, а потом и других, молча поджидавших его. Но прежде чем он к ним подошел, они вдруг повернулись к дверям мастерской, которые в эту минуту приоткрылись. В проеме показался Баллестер, мастер. Он потянул на себя одну из тяжелых створок и, повернувшись спиной к рабочим, стал медленно толкать ее по вделанному в пол рельсу.

Баллестер, самый старший из них, выступал против забастовки, но умолк, когда Эспосито сказал ему, что он служит интересам хозяина. Теперь он стоял возле двери, коренастый и приземистый, в своей голубой фуфайке, уже босиком (только Саид да он работали босые), и смотрел на них своими светлыми глазами, до того светлыми, что они казались бесцветными на его старом, выдубленном лице с горько искривленным ртом под густыми обвисшими усами. Они молчали, униженные тем, что входили, как побежденные, в ярости от своего собственного молчания, которое им тем труднее было прервать, чем больше оно продолжалось. Они проходили, не глядя на Баллестера; они знали, что, пропуская их по одному, он лишь выполняет распоряжение хозяина, и по его обиженному и грустному виду догадывались, что он думает. Но Ивар посмотрел на него. Баллестер, который любил Ивара, ни слова не говоря, покачал головой.

Теперь они были все в маленькой раздевалке справа от входа, разделенной на кабины без дверец, похожие на стойла, дощатыми перегородками с привешенными к ним шкафчиками, которые запирались на ключ; в последнем от входа стойле, в углу барака был установлен душ, а под ним в земляном полу вырыта сточная канавка. Посреди барака белели собранные бочки с еще свободными обручами, которые обожмут над огнем, стояли тяжелые скамьи с длинной прорезью, из которой кое-где торчали круглые днища, ждавшие обточки фуганком, и почерневшие горны. Вдоль стены слева от входа тянулись верстаки, а перед ними были навалены груды необструганных клепок. У правой стены, непода-

леку от раздевалки, блестели, затаив свою силу, две большие, хорошо смазанные электропилы.

Барак давно уже стал слишком большим для горстки людей, которые в нем работали. В жару это было хорошо, в зимние холода — плохо. Но сегодня в этом просторном помещении было как-то особенно неприятно: остановившаяся работа, брошенные по углам бочки с единственным обручем, соединявшим нижние концы клепок, которые вверх расходились, как топорные лепестки деревянного цветка, опилки, покрывавшие станки, ящики с инструментами и машины — все придавало мастерской запущенный вид. Рабочие, переодетые в старые фуфайки и вылинявшие, заплатанные штаны, замешкавшись, озирались вокруг, а Баллестер выжидательно смотрел на них. «Ну что же, начнем?» — сказал он наконец. Они молча разошлись по своим местам. Баллестер переходил от одного к другому, в нескольких словах напоминая каждому, какую работу начинать или доканчивать. Никто ему не отвечал. Скоро первый молоток застучал по зубилу, набивая обруч на утолщенную часть бочки, скрипнул фуганок по сучку, и, вгрызаясь в дерево, завизжала электропила, которую включил Эспосито. Саид подносил клепки или разжигал костер из стружек, над которым держали бочки, пока они не разбухали в своем железном корсете. Когда его никто не звал, он клепал на верстаке большие ржавые обручи. По бараку начал распространяться запах горящих стружек. Ивар, который обстругивал и подгонял клепки, нарезанные Эспосито, узнал этот привычный запах, и у него слегка отлегло от сердца. Все работали молча, но в мастерской мало-помалу возрождалась жизнь, рассеивалась атмосфера запустения. Барак наполнял яркий свет, вливавшийся сквозь огромные стекла. В золотистом воздухе синели дымки. Ивар даже услышал возле себя жужжание какого-то насекомого.

В эту минуту в задней стене барака открылась дверь, выходившая в старую бочарню, и на пороге показался хозяин, господин Лассаль. Это был худощавый брюнет лет тридцати с небольшим, в бежевом габардиновом костюме и белой рубашке под распахнутым пиджаком. Несмотря на то что лицо у него было костистое, узкое, с острыми чертами, он обыкновенно внушал симпатию, как большинство людей, которые благодаря спорту держатся свободно и раскованно. Однако на этот раз вид у него был слегка смущенный и поздоровался он не так громко, как обычно; во всяком случае, ему никто не ответил. Молотки на мгновение застучали тише, вразлад, потом загрохотали с новой силой. Господин Лассаль сделал несколько нерешительных шагов и направился к Валери, пареньку, который работал с ними всего только год. Он неподалеку от Ивара, возле электропилы, прилаживал днище к бочке, и хозяин стал наблюдать за ним. Валери продолжал молча работать. «Ну, как дела, сынок?» — сказал господин Лассаль. Движения юноши вдруг стали неловкими. Он бросил взгляд на Эспосито, который рядом с ним собирал в огромную охапку клепки, чтобы отнести их Ивару. Эспосито, продолжая заниматься своим делом, в свою очередь посмотрел на Валери, и тот снова уткнул нос в бочку, ничего не ответив

хозяину. Лассаль, слегка озадаченный, с минуту постоял возле юноши, потом пожал плечами и повернулся к Марку, который, сидя верхом на скамье, неторопливыми, точными движениями обтачивал по окружности днище. «Добрый день, Марку»,—сказал Лассаль теперь уже сухим тоном. Марку не ответил, всем своим видом показывая, что заботится только о том, чтобы снимать как можно более тонкие стружки, и ни на что другое не обращает внимания. «Что на вас нашло?—громко сказал Лассаль, обращаясь на этот раз к остальным рабочим.—Верно, мы не поладили. Но тем не менее нам надо работать вместе. Так к чему же все это?» Марку встал, поднял днище, провел ладонью по его окружности, прищурил свои томные глаза с видом полнейшего удовлетворения и, по-прежнему сохраняя молчание, направился к другому рабочему, который собирал бочку. Во всей мастерской слышен был только стук молотков да визг электропилы. «Ну ладно, когда у вас это пройдет, дадите мне знать через Баллестера»,—сказал господин Лассаль и спокойным шагом вышел из мастерской.

Почти сразу после этого, перекрывая оглушительный шум, дважды прозвенел звонок. Баллестер, только что присевший покурить, тяжело поднялся и пошел к задней двери. После его ухода молотки застучали тише, а один из рабочих даже остановился, но тут Баллестер вернулся. Войдя, он сказал только: «Марку и Ивар, вас просит хозяин». Ивар направился было помыть руки, но Марку на ходу схватил его за локоть, и он, прихрамывая, последовал за ним.

На дворе свет был такой яркий, такой насыщенный, что Ивар ощущал его, как жидкость, на лице и на обнаженных руках. Они поднимались по ступенькам крыльца под жимолостью, на которой кое-где уже показались цветы. Когда они вошли в коридор, стены которого были увешаны дипломами, они услышали детский плач и голос господина Лассаля, который говорил: «После завтрака уложи ее в постель. Если это не пройдет, позовем доктора». Потом хозяин вышел в коридор и провел их в уже знакомый им маленький кабинет, обставленный в так называемом сельском вкусе, где на стенах красовались охотничьи трофеи. «Садитесь»,—сказал господин Лассаль и сел за свой письменный стол. Они продолжали стоять. «Я пригласил вас потому, что вы, Марку,—профсоюзный уполномоченный, а ты, Ивар,—мой старейший служащий после Баллестера. Я не хочу снова вступать в спор, на котором теперь поставлена точка. Я не могу, решительно не могу дать вам то, что вы просите. Вопрос исчерпан, мы пришли к заключению, что нужно возобновить работу. Я вижу, что вы на меня обижаетесь, и, скажу откровенно, мне это тяжело. Я хочу только добавить следующее: то, что я не могу сделать сегодня, я, быть может, смогу сделать, когда дела поправятся. И если я смогу, я это сделаю, не дожидаясь, чтобы вы меня об этом попросили. А пока попытаемся дружно работать». Он помолчал, как бы размышляя, потом поднял на них глаза и спросил: «Ну как?» Марку смотрел в окно. Ивар, который слушал хозяина, сжав зубы, хотел заговорить, но не смог. «Послушайте,—произнес Лассаль,—вы все залезли в бутылку. Это пройдет. Но

когда вы снова будете в состоянии спокойно рассуждать, не забудьте то, что я вам сейчас сказал». Он встал, подошел к Марку и протянул ему руку, бросив: «Чао!» Марку побледнел, его мечтательное лицо отвердело и в одно мгновение стало злым. Он повернулся на каблуках и вышел. Лассаль, тоже побледневший, посмотрел на Ивара, не протягивая ему руки, и крикнул: «Ну и катитесь!»

Когда они вернулись в мастерскую, рабочие завтракали. Баллестер куда-то вышел. Марку сказал только: «Пустые слова» — и направился на свое рабочее место. Эспосито, жевавший ломоть хлеба, спросил, что они ответили. Ивар сказал, что они ничего не ответили. Потом он сходил за своей сумкой и сел на скамью, где работал. Он начал было есть, как вдруг заметил, что Саид лежит неподалеку от него на куче стружек, устремив взгляд на стекла, за которыми синело небо, теперь уже не такое солнечное. Ивар спросил у него, позавтракал ли он. Саид сказал, что съел свои фиги. Ивар перестал есть. Тягостное чувство, не оставлявшее его с той минуты, как он вышел от Лассалья, внезапно пропало, уступив место теплоте участию. Он встал и, разломив свой сэндвич, протянул половину Саиду. Тот отказывался, но Ивар ободрил его, сказав, что на следующей неделе все пойдет на лад, и добавив: «Тогда ты меня угостишь». Саид улыбнулся и, взяв кусок сэндвича, принялся за него — не спеша, деликатно, как человек, который не голоден.

Эспосито разжег костерик из стружек и щепок и, достав старую кастрюлю, разогрел в ней кофе, который принес из дому в бутылке. Он сказал, что этот кофе подарил мастерской лавочник с его улицы, когда узнал, что забастовка потерпела провал. Заменявшая стакан банка из-под горчицы переходила из рук в руки. Эспосито каждому наливал кофе, в который уже был положен сахар. Саид проглотил свою порцию куда охотнее, чем ел. Эспосито выпил остаток кофе прямо из кастрюли, обжигая губы, причмокивая и ругаясь. Тут вошел Баллестер и объявил конец перерыва.

Когда они поднимались и убирали в сумки бумагу и посуду, Баллестер стал среди них и вдруг сказал, что им всем туго пришлось, и ему тоже, но это еще не причина, чтобы вести себя как дети, и ни к чему дуться, этим дела не поправишь. Эспосито с кастрюлей в руке повернулся к нему, и его толстое лицо побагровело. Ивар знал, что он скажет и что все думали вместе с ним: что они не дулись, что им заткнули рот — кому не нравится, может уходить — и что от бессильного гнева подчас бывает так тяжело, что не можешь даже кричать. Они были живые люди, вот и все, и им было не до улыбок и ужимок. Но Эспосито ничего этого не сказал, его нахмуренное лицо наконец разгладилось, и он легонько похлопал Баллестера по плечу, а остальные тем временем разошлись по своим местам. Снова застучали молотки, и просторный барак наполнился привычным грохотом, запахом стружек и пропотевшей одежды. Жужжала электропила, вгрызаясь в свежую доску, которую Эспосито медленно толкал вперед. Из-под зубцов летели влажные опилки, покрывая, как панировкой, здоровые волосатые руки, крепко державшие доску с обеих

сторон лезвия. Когда Эспосито отрезал клепку, жужжанье затихало и слышен был только шум мотора.

Ивар, склонившийся над фуганком, уже чувствовал ломоту в спине. Обычно усталость приходила позже. За те три недели, что они бастовали, он потерял навык. Но он думал также о том, что с возрастом ручной труд становится тяжелее, если он требует не только хорошего глазомера и точности. Помимо всего прочего, эта ломота предвещала старость. Там, где главное мускулы, труд в конце концов становится проклятьем. Он предшествует смерти, и недаром, когда за день как следует наломаешь спину, вечером засыпаешь мертвым сном. Его парнишка хотел быть учителем, и он был прав: те, кто разглагольствует о прелестях физического труда, не знают, о чем говорят.

Когда Ивар выпрямился, чтобы перевести дух, а заодно стряхнуть черные мысли, снова раздался звонок. Он звучал настойчиво и до того странно—с короткими перерывами и властными повторами,—что рабочие остановились. Баллестер с минуту удивленно прислушивался, потом медленно направился к двери. Только через несколько секунд после его ухода звонок наконец умолк. Они опять принялись за работу. Дверь снова распахнулась, и Баллестер побежал к раздевалке. Он вышел из нее в матерчатых туфлях, натягивая куртку, на ходу бросил Ивару: «Маленькой плохо. Я пошел за Жерменом» — и побежал к входной двери. Доктор Жермен обслуживал мастерскую; он жил в том же предместье. Ивар повторил товарищам то, что сообщил ему Баллестер, ничего не добавив от себя. Они толпились вокруг него, в замешательстве глядя друг на друга. Слышно было только, как вхолостую работает мотор электропилы. «Может, ничего страшного»,—сказал один из них. Они вернулись на свои места, и мастерская опять наполнилась шумом, но работали они мешкотно, как будто чего-то ждали.

Спустя четверть часа Баллестер вернулся, снял куртку и, ни слова не говоря, вышел через заднюю дверь. Свет в окнах тускнел. Немного погодя в промежутки относительной тишины, когда пила не вгрызалась в дерево, стал слышен гудок санитарной машины, сначала приглушенный, отдаленный, потом уже близкий. И вот он умолк: машина подъехала. Через некоторое время Баллестер вернулся, и все обступили его. Эспосито выключил мотор. Баллестер сказал, что, раздеваясь в своей комнате, девочка вдруг упала как подкошенная. «Вот так штука!» — проронил Марку. Баллестер покачал головой и сделал неопределенный жест, наверное означавший, что тем не менее работа не ждет; но вид у него был расстроенный. Снова послышался гудок санитарной машины. В притихшей мастерской рабочие в своих старых фуфайках и обсыпанных опилками штанах стояли под потоками желтого света, лившегося сквозь стекла, беспомощно опустив загрубелые руки.

Остаток дня тянулся медленно. Ивар чувствовал теперь только усталость и все ту же тяжесть на сердце. Он хотел бы поговорить. Но ему нечего было сказать, и другим тоже. На их замкнутых лицах можно было прочесть лишь печаль и какое-то упорство. Иногда на язык ему приходило слово «несчастье», но

пропадало, едва сложившись, как лопается пузырек на воде, не успев возникнуть. Ему хотелось домой, к Фернанде, к мальчику, да и к своей террасе. Но вот Баллестер объявил конец работы. Машины остановились. Рабочие начали не спеша гасить горны и прибираться на своих рабочих местах, потом один за другим направились в раздевалку. Только Саид задержался — он должен был подмести и побрызгать водой пыльный земляной пол. Когда Ивар пришел в раздевалку. Эспосито, огромный и волосатый, уже стоял под душем и шумно намыливался, повернувшись спиной к товарищам. Обычно они подшучивали над его стыдливостью: этот медведь упорно прятал свой перед. Но теперь никто не обратил на это внимания. Эспосито, пятась, вышел из кабины, и взяв полотенце, сделал себе из него нечто вроде набедренной повязки. За ним стали по очереди мыться остальные, и Марку с силой шлепал себя по голым бокам, когда, скрипя колесиком по желобу, медленно открылась главная дверь. Вошел Лассаль.

Он был одет так же, как утром, только волосы у него были слегка взъерошены. Он остановился на пороге, окинул взглядом опустевшую мастерскую, сделал несколько шагов, опять остановился и посмотрел в сторону раздевалки. Эспосито, все еще в своей набедренной повязке, повернулся к нему. С минуту он смущенно переминался с ноги на ногу. Ивар подумал, что Марку должен сказать что-нибудь. Но Марку оставался за завесой струившейся на него воды. Эспосито схватил рубашку, проворно надел ее, и в эту минуту Лассаль слегка приглушенным голосом сказал: «Всего хорошего» — и направился к задней двери. Когда Ивар подумал, что надо его окликнуть, дверь уже закрылась за ним.

Ивар оделся, не помывшись, тоже сказал «всего хорошего», но от всего сердца, и товарищи ответили ему так же тепло. Он быстро вышел, взял свой велосипед и, когда сел на него, снова почувствовал ломоту в спине. Близился вечер, и город теперь был запружен людьми и машинами. Но он ехал быстро, торопясь добраться до своего старого дома с террасой. Там он помоеется в прачечной, а потом сядет полюбоваться на море, которое уже провожало его, — он видел поверх парашета его синеву, более густую, чем утром. Но и мысль о девочке провожала его, он не мог не думать о ней.

Дома мальчик, вернувшись из школы, читал иллюстрированные журналы. Фернанда спросила Ивара, как все обошлось. Он ничего не ответил, помылся в прачечной, потом вышел на террасу и сел на скамейку лицом к морю под развешанным для просушки чиненым-перечиненым бельем. Море было по-вечернему тихое, а небо над ним становилось прозрачным. Фернанда принесла анисовку, два стакана и кувшин с холодной водой. Она села возле мужа. Он ей все рассказал, держа ее за руку, как бывало в первое время после их свадьбы. Кончив, он долго сидел неподвижно, устремив взгляд на море, где на всем горизонте, от края до края, быстро надвигались сумерки. «Он сам виноват!» — проронил Ивар. Ему хотелось бы быть молодым и чтобы Фернанда тоже была еще молодой и они бы уехали куда-нибудь далеко, за море.

ИОНА, ИЛИ ХУДОЖНИК ЗА РАБОТОЙ

«Бросьте меня в море... ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря».

Книга пророка Ионы, I, 12

Художник Жильбер Иона верил в свою счастливую звезду. Собственно, только в нее он и верил, хотя религия, которую исповедовали другие, внушала ему уважение и даже своего рода восхищение. Однако и его собственная вера была не лишена достоинств, поскольку она состояла в безотчетном допущении, что он получит многое, ничего не заслужив. Поэтому, когда с десятков критиков внезапно принялись оспаривать честь открытия его таланта—ему было в ту пору лет тридцать пять,—он не выказал ни малейшего удивления. Но это спокойствие духа, которое кое-кто приписывал его самодовольству, объяснялось, напротив, его скромностью и верой. Он воздавал должное скорее своей счастливой звезде, чем своим заслугам.

Он был несколько больше удивлен, когда один торговец картинами предложил ему ежемесячное содержание, которое избавит его от всяких материальных забот. Тщетно архитектор Рато, который со времен лица любил Иону и его счастливую звезду, растолковывал другу, что это содержание едва позволит ему сводить концы с концами и что торговец на этом ничего не теряет. «И все же это кое-что»,—говорил Иона. Рато, который во всем, что он предпринимал, добивался успеха собственными силами, журил друга: «Что значит кое-что? Надо поторговаться». Все было напрасно. Иона про себя благодарил свою счастливую звезду. «Как вам будет угодно»,—сказал он торговцу. И отказался от должности, которую занимал в отцовском издательстве, чтобы всецело посвятить себя живописи. «Мне просто повезло!»—говорил он.

На самом деле он думал: «Мне по-прежнему везет». С тех пор как он себя помнил, везенье не покидало его. Он питал нежную признательность к своим родителям, во-первых, за то, что они мало занимались его воспитанием и это позволяло ему бездельничать, предаваясь мечтаньям, во-вторых, за то, что они развелись по причине адюльтера. По крайней мере на этот предлог ссылаясь его отец, забывая уточнить, что речь шла о довольно своеобразной супружеской измене: он не мог выносить благотворительности жены, настоящей святой, которая, не видя в этом ничего дурного, принесла себя в дар страждущему человечеству. Муж считал себя вправе безраздельно владеть добродетелями своей жены. «Мне надоело»,—говорил сей Отелло,—что она изменяет мне с бедняками».

Это взаимное непонимание оказалось выгодным для Ионы. Его мать и отец, где-то вычитав или услышав, что можно привести немало случаев, когда в результате разрыва между родителями из ребенка вырастал садист и убийца, наперебой баловали его, чтобы задушить в зародыше возможность столь пагубного развития. Чем менее заметны были последствия удара, которым, как они думали, был их развод для психики ребенка, тем больше они

тревожились: незримые травмы особенно глубоки. Стоило Ионе показать, что он доволен собой или тем, как он провел день, обычное беспокойство его родителей переходило в безумное смятение. Они удваивали свое внимание к ребенку и предупреждали все его желания.

Наконец, своему предполагаемому горю Иона был обязан тем, что обрел преданного брата в лице своего друга Рато. Родители последнего часто приглашали его маленького товарища по лицу, так как сочувствовали несчастью мальчика. Их жалостливые речи внушали их сыну, здоровяку, и спортсмену, желание взять под свое покровительство одноклассника, чьи успехи, достигаемые отнюдь не ценой прилежания, уже тогда восхищали Рато. Смесь восхищения и снисходительности способствовала дружбе, которую Иона принял, как принимал и все остальное, с поощряющей простотой.

Когда Иона без особых усилий завершил образование, ему опять повезло: поступив на службу в отцовское издательство, он нашел там приличное положение, а косвенным образом и свое художническое призвание. Крупнейший издатель Франции, отец Ионы, придерживался мнения, что именно в силу кризиса культуры книге, более чем когда бы то ни было, принадлежит будущее. «История показывает,—говорил он,—что чем меньше люди читают, тем охотнее они покупают книги». Исходя из этого, он лишь изредка читал рукописи, которые ему предлагали, публиковал их, полагаясь только на имя автора и на актуальность темы (а поскольку единственная тема, всегда сохраняющая актуальность,—это секс, издатель в конце концов специализировался на ней), и заботился только об оригинальном оформлении и бесплатной рекламе. Таким образом, Иона получил вместе с отделом внутренних рецензий много свободного времени, которое нужно было на что-то употребить. Так он и пришел в живопись.

Впервые он открыл в себе неожиданный, но неослабевающий пыл, вскоре стал проводить целые дни за мольбертом и—по-прежнему без усилий—сделал блестящие успехи в этом занятии. Казалось, ничто другое его не интересует, и он едва успел жениться в подобающем возрасте: живопись всецело поглощала его. Людям и событиям обыденной жизни он уделял лишь благожелательную улыбку, избавлявшую его от необходимости думать о них. Понадобилось происшествие с мотоциклом, который Рато слишком разогнал в то время, как его друг сидел на заднем седле, чтобы Иона, вынужденный наконец оторваться от работы, так как на правую руку был наложен гипс, от скуки заинтересовался любовью. Но и за этот несчастный случай он был склонен благодарить свою счастливую звезду. Ведь без него он не собрался бы посмотреть на Луизу Пулен, как она того заслуживала.

Впрочем, по мнению Рато, на Луизу и не стоило смотреть. Хотя сам он был невысокого роста, коренастый, ему нравились только крупные женщины. «Не понимаю, что ты находишь в этой козявке»,—говорил он. Действительно маленькая, смуглая, черноглазая Луиза, однако, была хорошо сложена и мила. Иону, рослого и полного, умиляла эта козявка, тем более что она была

хлопотлива, как муравей. Призванием Луизы была деятельная жизнь. Это призвание как нельзя лучше отвечало склонности Ионы к инертности со всеми ее преимуществами. Сначала Луиза отдалась литературе. По крайней мере пока она думала, что книгоиздательство интересует Иону, она читала все подряд и в несколько недель стала способна говорить обо всем. Это привело в восхищение Иону, и он считал себя окончательно избавленным от необходимости что-либо читать, поскольку Луиза его достаточно хорошо информировала и он мог от нее узнавать о самом существенном в современных открытиях. «Теперь уже не следует говорить, что такой-то зол или безобразен,— утверждала Луиза,— а надо говорить, что он хочет быть злым или безобразным». Это был важный оттенок, и, как заметил Рато, такое новшество грозило привести по меньшей мере к осуждению человеческого рода. Но Луиза объявила, что эту истину провозглашают одновременно бульварная пресса и философские журналы, а следовательно, она общепризнанна и бесспорна. «Как вам будет угодно»,— сказал Иона и, тотчас забыв о жестоком открытии, погрузился в грезы о своей счастливой звезде.

Луиза оставила литературу, едва поняла, что Иону интересует только живопись. Она тут же увлеклась изобразительными искусствами, стала бегать по музеям и выставкам и таскать с собой Иону, который плохо понимал произведения своих современников и стеснялся своей простоты. Однако он радовался, что так хорошо осведомлен обо всем, что касается искусства, которому он себя посвятил. Правда, на следующий день он забывал даже имя художника, картины которого только что видел. Но Луиза была права, когда безапелляционным тоном напоминала ему то, что она усвоила как одну из несомненных истин еще в пору своего пристрастия к литературе, а именно что в действительности мы никогда ничего не забываем. Счастливая звезда решительно покровительствовала Ионе, который мог таким образом, не кривя душой, совмещать достоинства твердой памяти с удобствами забвения.

Но особенно ярким блеском сверкали сокровища преданности, расточаемые Луизой, в повседневной жизни Ионы. Этот добрый ангел избавлял его от покупок платья, ботинок и белья, которые всякому нормальному человеку сокращают дни и без того столь краткой жизни. Она самоотверженно принимала на себя натиск машины, созданной, чтобы отнимать время с помощью тысячи выдумок, начиная с непонятных бланков департамента социального страхования и кончая все новыми предписаниями налогового ведомства. «Так-так,— говорил Рато.— Жаль, что она не может пойти вместо тебя к зубному врачу». К зубному врачу она не ходила, но звонила по телефону и улавливалась о визитах в наиболее удобное для Ионы время; следила, чтобы его «4 CV» была заправлена бензином и маслом, заказывала номера в курортной гостинице, заботилась об угле для дома; сама покупала подарки, которые Иона желал преподнести, выбирала и посылала за него цветы, а в иные вечера еще успевала забежать к нему домой в его отсутствие и постелить постель, чтобы ему оставалось только раздеться и лечь спать.

Проявив ту же энергию, она попала в эту постель, потом занялась формальностями, привела Иону к мэру за два года до того, как его талант был признан, и организовала свадебное путешествие таким образом, что они смогли посетить все музеи, не преминув предварительно найти в разгар жилищного кризиса трехкомнатную квартиру, в которой они и обосновались по возвращении. Затем она произвела мальчика и девочку, почти погодков, в соответствии с ее планом обзавестись тремя детьми, который и был выполнен вскоре после того, как Иона ушел из издательства, чтобы посвятить себя живописи.

Впрочем, как только у Луизы родился первый ребенок, ее всецело поглотили заботы о нем, а потом и о других детях. Она еще пыталась помогать мужу, но у нее не хватало времени. Без сомнения, она сожалела о том, что не уделяет внимания Ионе, но ее решительный характер мешал ей слишком долго предаваться этим сожалениям. «Тем хуже,—говорила она.—У каждого свой верстак». Иона находил это выражение очаровательным, ибо желал, как все художники того времени, чтобы его считали ремесленником. Итак, ремесленник лишился прежней опеки, и ему приходилось теперь самому покупать себе ботинки. Это было в порядке вещей, а кроме того, Ионе и тут хотелось видеть хорошую сторону. Конечно, ему стоило усилий ходить по магазинам, но эти усилия вознаграждались часами одиночества, которые придают такую цену счастью супружества.

Однако куда более острой, чем все остальные проблемы молодой четы, была проблема жизненного пространства, ибо пространство вокруг нее сокращалось вместе со временем. Появление детей, новая профессия Ионы, тесное помещение и скромное содержание, не позволявшее купить квартиру побольше,—все это вместе оставляло мало простора для деятельности Ионы и Луизы, каждого на своем поприще. Их квартира находилась на втором этаже бывшего особняка, здания XVIII века, в старом квартале столицы. В этом районе жило много художников, верных тому принципу, что новаторство в искусстве должно иметь своим фоном старину. Иона, разделявший это убеждение, был очень рад, что живет в таком квартале.

Во всяком случае, уж на его-то квартире лежал отпечаток старины. Но некоторые самоновейшие переделки придали ей оригинальность, которая состояла главным образом в том, что там был большой объем воздуха при очень небольшой площади. Комнаты, необыкновенно высокие, с великолепными окнами, без сомнения, предназначались, судя по их внушительным размерам, для парадных приемов и балов. Но скученность населения и доходность недвижимости принудили последующих домовладельцев разделить перегородками эти слишком просторные комнаты и таким образом увеличить число стойл, за которые они драли втридорога со своего стада квартиронанимателей. При этом они особенно упирали на «большую кубатуру воздуха». Это преимущество нельзя было отрицать. Его только следовало приписать невозможности разделить комнаты перегородками также и по горизонтали. Если бы это было осуществимо, домовладельцы без колебаний пошли бы на необходимые жертвы, чтобы предложить

еще несколько пристанищ молодому поколению, в те времена особенно склонному к бракосочетанию и плодovitому. Впрочем, кубатура воздуха представляла не только преимущества. Недостаток ее состоял в том, что зимой комнаты было трудно натопить, что, к несчастью, заставляло домовладельцев повышать плату на отопление. Летом из-за огромных окон квартира была буквально залита ослепительным светом — жалюзи не было. Домовладельцы не позаботились их поставить, по-видимому обескураженные объемом и стоимостью столярных работ. В конце концов ту же роль могли играть толстые шторы, стоимость которых не составляла проблемы, поскольку они приобретались самими квартиронанимателями. К тому же домовладельцы не отказывались помочь последним и предлагали им по неслыханным ценам шторы из своих собственных магазинов. Филантропия, связанная с недвижимостью, была для них тем же, чем скрипка для Энгра. В обыденной жизни эта новая знать занималась торговлей перкалем и бархатом.

Иона пришел в восторг от преимуществ квартиры и легко смирился с ее недостатками. «Как вам будет угодно», — сказал он домовладельцу, когда тот назначил плату за отопление. Что касается штор, то он одобрял Луизу, которая находила достаточным повесить их в спальне, оставив остальные окна голыми. «Нам нечего скрывать», — говорила эта чистая душа. Иону особенно соблазняла самая большая комната, в которой был такой высокий потолок, что не могло быть и речи о том, чтобы создать в ней нормальное освещение. В эту комнату попадали прямо из прихожей, а узким коридором она сообщалась с двумя другими, гораздо меньшими и смежными. В глубине квартиры находилась кухня, а рядом с ней — уборная и каморка, громко именуемая душевой. Она в самом деле могла сойти за таковую при условии, если в ней установить душ и согласиться стоять под благотворными струями в абсолютной неподвижности.

Поистине необыкновенная высота потолков и теснота комнат делали эту квартиру каким-то странным собранием параллелепипедов, почти целиком застекленных — сплошные двери и окна, — где мебель некуда было поставить, а люди, затопленные беспощадно ярким светом, казалось, плавали, как игрушечные фигурки в вертикальном аквариуме. Вдобавок все окна выходило во двор, то есть смотрели в другие окна того же стиля, за которыми вырисовывались новые окна, выходившие во второй двор. «Настоящий павильон зеркал», — в восхищении говорил Иона. По совету Рато было решено отвести под супружескую спальню одну из маленьких комнат, предназначив вторую для ребенка, которого уже ждали. Большая комната днем служила мастерской Ионы, а вечером и в часы завтрака и обеда — гостиной и столовой. Впрочем, завтракать и обедать, на худой конец, можно было и на кухне, согласись только Луиза или Иона есть стоя. Рато, со своей стороны, устраивал для них множество хитроумных приспособлений. С помощью раздвижных дверей, убирающихся полки и складных столиков ему удалось компенсировать недостаток мебели, придав вид шкатулки сюрпризов этому оригинальному жилищу.

Но когда комнаты наполнились картинами и детьми, настало время безотлагательно подумать о новой квартире. В самом деле, до рождения третьего ребенка Иона работал в большой комнате, Луиза вязала в спальне, а двое малышей занимали третью комнату, ходили там на голове и вдобавок бегали по всему дому. Когда появился новорожденный, его решили поместить в уголке мастерской, который Иона отгородил своими холстами, устроив из них нечто вроде ширмы,—это имело то преимущество, что можно было услышать, когда ребенок начинал плакать, и тут же к нему подойти. Впрочем, Ионе никогда не приходилось беспокоиться—Луиза предупреждала его. Еще до того, как ребенок просыпался, она входила в комнату, правда со всевозможными предосторожностями и всегда на цыпочках. Иона, растроганный этой деликатностью, однажды сказал Луизе, что он прекрасно может работать при шуме ее шагов. Луиза ответила, что заботится также и о том, чтобы не разбудить ребенка. Иона, полный восхищения материнским сердцем, которое таким образом раскрывалось перед ним, от души посмеялся над своей ошибкой. И не решился признаться, что осторожные маневры Луизы были стеснительнее бесцеремонного вторжения. Во-первых, потому, что длились дольше, а во-вторых, потому что пантомима, исполняемая Луизой, которая входила, широко расставив руки, слегка откинув назад корпус и высоко подняв ногу, не могла остаться незамеченной. Маневры эти даже противоречили намерениям, на которые она ссылалась, поскольку Луиза ежеминутно рисковала задеть одно из полотен, загромождавших мастерскую. Тогда ребенок просыпался от шума и выражал свое недовольство доступными ему средствами, кстати сказать довольно мощными. Отец, в восторге от того, что у сына такие могучие легкие, подбегал потешать его. Вскоре Иону сменяла жена, и тогда он поднимал упавшие полотна, а потом с кистями в руке, зачарованный слушал настойчивый и повелительный голос сына.

Как раз в эту пору благодаря успеху Ионы у него появилось много друзей. Эти друзья заявляли о себе по телефону или неожиданными визитами. Телефон, который по зрелом размышлении установили в мастерской, часто звонил, опять-таки в ущерб сну ребенка, присоединявшему свой плач к этим властным звонкам. Если случайно Луиза в это время ухаживала за другими детьми, она бежала в мастерскую вместе с ними, но по большей части опаздывала: Иона одной рукой держал ребенка, а другой—кисти и телефонную трубку, выслушивая любезное приглашение позавтракать с кем-нибудь из новых друзей. Иону восхищало, что с ним, отнюдь не блестящим собеседником, хотят позавтракать, но он предпочитал выходить из дому вечером, чтобы не разбивать рабочий день. К несчастью, чаще всего друг был очень занят, мог урвать часок только в первую половину дня и только завтра и хотел провести его непременно с дорогим Ионой. Дорогой Иона соглашался: «Как вам будет угодно», вешал трубку, ронял: «Как это мило с его стороны»—и передавал ребенка Луизе. Потом он опять принимался за работу, которую скоро прерывал завтрак или обед. Приходилось отодвигать холсты, раскладывать усовершенствованный стол и усаживаться за него с детьми. Во время еды

Иона поглядывал на неоконченную картину и, случалось, по крайней мере в первое время, находил, что дети немножко медленно жуют и глотают и это слишком затягивает семейную трапезу. Но он прочел в газете, что есть следует медленно, чтобы хорошо усваивать пищу, и с тех пор, садясь за стол, всякий раз находил основания радоваться.

Часто новые друзья Ионы навещали его. Рато приходил только по вечерам. Днем он был на службе, и потом, он знал, что художники работают при дневном свете. Но новые друзья Ионы почти все принадлежали к сословию художников и критиков. Одни когда-то занимались живописью, другие собирались заняться живописью, третьи писали о живописи прошлого и будущего. Все они, конечно, очень высоко ставили творческий труд и жаловались на организацию современного общества, мешающую этому труду и столь необходимой для художника сосредоточенности. Они часами предавались этим жалобам, умоляя Иону продолжать работать, не обращать на них внимания, не церемониться с ними, ибо они не буржуа и знают, как дорого художнику время. Иона, радуясь, что его друзья великодушно позволяют ему работать в их присутствии, возвращался к своей картине, не переставая отвечать на вопросы, которые ему задавали, и смеяться, когда ему рассказывали анекдоты.

Иона держался так просто, что его друзья чувствовали себя все более непринужденно. Благодушествуя, они даже забывали о том, что хозяевам пора обедать. Но дети были не так забывчивы. Они прибегали, присоединялись к гостям, забирались на колени то к одному, то к другому, поднимали шум и крик. Наконец в квадрате неба над двором начинал меркнуть свет, и Иона откладывал кисти. Оставалось только пригласить друзей пообедать чем бог послал, а потом толковать до поздней ночи, разумеется, об искусстве, но в особенности о бездарных художниках, плагиаторах или халтурщиках, которых среди присутствующих, конечно, не было. Иона любил вставать рано, чтобы воспользоваться утренним освещением. Он знал, что на следующий день ему будет трудно подняться, что утренний завтрак не будет готов вовремя и что он сам будет чувствовать себя усталым. Но с другой стороны, он был рад за один вечер узнать так много нового, это не могло не принести ему, как художнику, пользу, пусть неприметную для него самого. «В искусстве, как и в природе, ничто не пропадает,—говорил он.—И тут меня ведет счастливая звезда».

Иногда к друзьям присоединялись ученики: теперь у Ионы была своя школа. Сначала он был этим удивлен, не понимая, чему можно научиться у него, для которого все было открытием. Как художник, он сам продвигался на ощупь; как же мог он наставить кого-нибудь на истинный путь? Но довольно быстро он понял, что ученик—это вовсе не обязательно человек, который хочет чему-нибудь научиться. Наоборот, гораздо чаще учениками становятся из бескорыстного желания поучать своего учителя. С той поры он мог смиренно принимать эту новую дань уважения. Ученики пространно объясняли Ионе, что он изобразил и почему. Иона таким образом обнаруживал в своем творчестве осуществление

замыслов, которые слегка удивляли его, и бездну вещей, о которых он даже не подозревал. Он считал себя бедным, а благодаря своим ученикам вдруг оказывался богатым. Иногда перед лицом стольких богатств, доселе неведомых ему, он испытывал капельку гордости. «А ведь верно,—говорил он себе.—Вот это лицо на заднем плане приковывает взгляд. Я не совсем понимаю, что они имеют в виду, когда говорят о косвенной гуманизации. Однако с этим эффектом я в самом деле изрядно продвинулся вперед». Но очень скоро он избавлялся от обязывающего сознания своего мастерства, относя удачу за счет счастливой звезды. «Это звезда продвигается,—говорил он себе,—а я остаюсь с Луизой и детьми».

Впрочем, у учеников было и другое достоинство. Они побуждали Иону строже относиться к самому себе. Они говорили о нем и особенно о его добросовестности и работоспособности с таким восхищением, что после этого он уже не мог позволить себе ни малейшей слабости. Так, он расстался со старой привычкой, окончив трудное место, грызть кусочек сахара или шоколаду, прежде чем снова приняться за работу. В одиночестве он вопреки всему тайком уступил бы этой слабости. Но его моральному совершенствованию помогало почти постоянное присутствие учеников и друзей, при которых ему было как-то неловко грызть шоколад, прерывая к тому же интересную беседу ради такой блажи.

Кроме того, его ученики требовали, чтобы он оставался верен своим эстетическим принципам. Иона, который долго трудился, прежде чем его посещало мимолетное озарение, когда действительность представляла перед его взором в первозданном свете, имел лишь смутное представление о своих эстетических принципах. Его ученики, напротив, прекрасно знали эти принципы и давали им многочисленные толкования, противоречивые и весьма категоричные,—на этот счет они не шутили. Порой Ионе хотелось призвать в советчики каприз, который всегда был покорным другом художников. Но его ученики, глядя на некоторые полотна, расходившиеся с их пониманием прекрасного, хмурили брови, и это заставляло Иону более вдумчиво относиться к искусству, которому он себя посвятил, что шло ему только на пользу.

Наконец, ученики помогали Ионе и другим способом—заставляя его высказывать свое мнение об их собственных произведениях. В самом деле, не проходило дня, чтобы ему не приносили едва набросанный этюд, который автор ставил между Ионой и начатой им картиной в расчете на самое выгодное освещение. Нужно было что-то сказать. До тех пор Иона всегда втайне стыдился своей полной неспособности дать оценку произведению искусства. За исключением немногих картин, приводивших его в восторг, и грубой мазни, о которой не стоило и говорить, все в равной мере казалось ему интересным и ко всему он оставался равнодушен. Таким образом, он был вынужден составить себе арсенал разнообразных суждений, тем более что его ученики, как и все столичные художники, были, в общем, люди небесталанные, и, когда они собирались у него, ему нужно было проводить тонкие различия между их работами, чтобы

угодить каждому. Эта отрадная обязанность заставила его выработать соответствующий лексикон и определенные взгляды на искусство. Однако его природная благожелательность не пострадала от усилий, которых это потребовало от него. Он быстро понял, что его ученики ждали от него не критики, которая была им ни к чему, а лишь поощрений и, если возможно, похвал. Нужно было только, чтобы эти похвалы различались между собой. Иона уже не довольствовался поэтому своей обычной любезностью. Он стал изобретательно любезен.

Так текло время у Ионы, который писал теперь среди друзей и учеников, располагавшихся на стульях, расставленных в несколько рядов вокруг его мольберта. А часто к его зрителям присоединялись соседи, выглядывающие из окон дома напротив. Он обменивался мнениями и спорил с друзьями, разбирал картины, которые представляли на его суд, улыбался Луизе, когда она заходила в комнату, утешал детей, с жаром отвечал на бесконечные телефонные звонки и, ни на минуту не выпуская из рук кистей, время от времени делал мазок на начатой картине. С одной стороны, жизнь его была полна, каждый час занят, и он благодарил судьбу, избавлявшую его от скуки. С другой стороны, чтобы написать картину, надо сделать много мазков, и порой он думал, что скука имеет свое преимущество, поскольку от нее можно спастись упорной работой. Иона между тем работал все меньше, по мере того как его друзьями становились все более интересные люди. Даже в те редкие часы, когда он оставался совсем один, он чувствовал себя слишком усталым, чтобы наверстывать упущенное, и в эти часы он мог лишь мечтать о новом укладе жизни, который примирил бы радости дружбы с достоинствами скуки.

Он открыл сердце Луизе, а та со своей стороны поделилась с ним своим беспокойством: старшие дети подрастают и комната становится тесной для них. Она предложила поместить их в большой комнате, отгородив их кровати ширмой, а малыша переселить в маленькую комнату, где его не станет будить телефон. Поскольку малыш почти не занимал места, Иона мог сделать эту комнату своей мастерской. Тогда в большой можно было бы днем принимать гостей. Иона выходил бы поговорить с друзьями и снова уходил бы к себе работать—гости, без сомнения, не осуждали бы его, понимая, что он нуждается в одиночестве. Кроме того, они раньше расходились бы, зная, что детей пора укладывать спать. «Великолепно»,—сказал, поразмыслив, Иона. «И потом,—добавила Луиза,—если твои друзья не будут так засиживаться, мы сможем немножко больше видаться». Иона посмотрел на нее. На лице Луизы промелькнула тень грусти. Взволнованный, он привлек жену к себе и поцеловал ее, вложив в этот поцелуй всю свою нежность. Она прикинула к нему, и на мгновение они снова почувствовали себя счастливыми, как в начале супружеской жизни. Но вот она встрепенулась: маленькая комната была, быть может, слишком тесна для Ионы. Луиза вооружилась складным метром, и они обнаружили, что из-за нагромождения полотен Ионы и гораздо более многочисленных полотен его учеников он работал обычно на пространстве немно-

гим больше, чем то, которое отныне будет ему отведено. Иона немедленно приступил к переселению.

По счастью, чем меньше он работал, тем больше росла его известность. Каждую его выставку с нетерпением ждали и заранее прославляли. Правда, несколько критиков, в том числе двое из обычных посетителей его мастерской, умеряли некоторыми оговорками восторженность своих отчетов. Но эту маленькую неприятность с лихвой компенсировало негодование учеников. Конечно, твердо заявляли последние, выше всего они ставят картины первого периода, но нынешние поиски подготавливают настоящую революцию. Иона упрекал себя за легкую досаду, которую он испытывал всякий раз, когда восхваляли его первые произведения, и горячо благодарил. Рато ворчал: «Странные типы... Они хотели бы, чтобы ты оставался неподвижным, как статуя. По их понятиям, запрещается жить!» Но Иона защищал своих учеников. «Ты этого не можешь понять,—говорил он Рато,—тебе нравится все, что я делаю». Рато смеялся: «Черт возьми, мне нравится твоя кисть, а не твои картины».

Но как бы то ни было, у публики картины по-прежнему пользовались успехом, и после одной выставки, встретившей теплый прием, торговец, с которым имел дело Иона, сам предложил увеличить месячное содержание. Иона согласился, рассыпавшись в изъявлениях благодарности. «Послушать вас,—сказал торговец,—можно подумать, что вы придаете значение деньгам». Такое простодушие покорило сердце художника. Однако, когда он попросил у торговца разрешение отдать одно полотно на благотворительный аукцион, тот забеспокоился и осведомился, не идет ли речь о «доходной» благотворительности. Иона этого не знал. Тогда торговец предложил добросовестно придерживаться условий договора, который предоставлял ему исключительное право продажи картин Ионы. «Контракт есть контракт»,—сказал он. А в их контракте благотворительность не была предусмотрена. «Как вам будет угодно»,—сказал художник.

Перемены в домашнем обиходе принесли благие результаты. Так, Иона смог довольно часто уединяться, чтобы отвечать на множество писем, которые он теперь получал и которые его вежливость не позволяла оставлять без ответа. Одни из них касались вопросов искусства, другие, гораздо более многочисленные,—личных дел отправителя: то начинающий художник искал поддержки и ободрения, то у Ионы просили совета или денежной помощи.

По мере того как его имя появлялось в газетах, к нему обращались также с настоятельными просьбами выступить против той или иной возмутительной несправедливости. Иона отвечал, писал об искусстве, благодарил, давал советы, отказывал себе в новом галстуке, чтобы послать маленькое вспомоществование, наконец, подписывал справедливые протесты, к которым ему предлагали присоединиться. «Оказывается, ты теперь занимаешься политикой? Предоставь это писателям и некрасивым девицам»,—говорил Рато. Нет, он подписывал только те протесты, в которых говорилось, что они не продиктованы какой-либо политической пристрастностью. Однако все они претендовали на эту

прекрасную независимость. Карманы Ионы вечно были набиты непрочитанными письмами, а едва он их вскрывал, приносили новые. Он отвечал на самые спешные, которые, как правило, приходили от незнакомых людей, и откладывал те, которые требовали обстоятельного ответа, то есть письма друзей. Такое множество обязанностей, во всяком случае, было несовместимо с бездельем и беззаботностью. Он вечно опаздывал и вечно чувствовал себя виноватым, даже когда работал, что с ним все же случалось время от времени.

Луизу все больше и больше поглощали заботы о детях, и она сбивалась с ног, делая по дому все то, что при других обстоятельствах мог бы сделать он сам. Иона страдал от этого. В конце концов, он работал для своего удовольствия, ей же выпала худшая доля. Он отдавал себе в этом отчет, когда она уходила по делам. «К телефону!» — кричал старший мальчик, и Иона бросал картину, чтобы со вздохом облегчения вернуться к ней, получив очередное приглашение. «Газ!» — кричал посыльный, которому открывал дверь кто-нибудь из детей. «Сейчас, сейчас!» Когда Иона вешал трубку или отходил от дверей, друг или ученик, а то и оба вместе шли за ним до маленькой комнаты, чтобы оканчить начатый разговор. Мало-помалу все привыкли проводить время в коридоре — толклись там, болтали между собой, призывали Иону в свидетели или забегали на минутку в маленькую комнату. «Здесь по крайней мере, — восклицали те, кто входил, — вас можно повидать без помехи». «Да, — отвечал тронутый Иона, — в последнее время мы совсем не видимся». Он чувствовал, что обманывает ожидания тех, с кем не видится, и огорчался. Ведь нередко это были друзья, с которыми он хотел бы встречаться. Но у него не хватало времени, он не мог принимать все приглашения. От этого страдала его репутация. «Он возгордился с тех пор, как добился успеха, — говорили знакомые. — Он уже ни с кем не видится». Или: «Он любит только самого себя». Нет, он любил живопись, любил Луизу, детей, Рато, еще нескольких близких людей и симпатизировал всем. Но жизнь коротка, время текло быстро, а его энергия имела свои пределы. Было трудно изображать мир и людей и в то же время жить с ними. С другой стороны, он не мог даже пожаловаться на свои затруднения, потому что, стоило ему заикнуться о них, его хлопали по плечу и говорили: «Счастливчик! Это расплата за славу!»

Итак, почта накапливалась, ученики не давали Ионе передышки, и к нему стекались теперь светские люди, которых он, впрочем, уважал за то, что они в отличие от других интересовались живописью, а не королевской семьей Англии или харчевнями для миллионеров; правда, это были по преимуществу дамы, державшиеся очень просто. Сами они картин не покупали, а только приводили к художнику своих друзей в надежде, часто напрасной, что те купят что-нибудь вместо них. Зато они помогали Луизе, главным образом приготавливая чай для посетителей. Чашки переходили из рук в руки по коридору, из кухни в большую комнату и назад, а потом попадали в маленькую мастерскую, где Иона посреди горстки друзей и посетителей, вмещавшихся в комнату, продолжал писать, пока ему не приходи-

лось откладывать кисти, чтобы с благодарностью взять чашку чаю, которую очаровательная особа налила специально для него.

Он пил чай, смотрел на этюд, который ученик только что поставил на его мольберт, смеялся вместе с друзьями, просил кого-нибудь из них отправить пачку писем, написанных ночью, поднимал упавшего малыша, который вертелся у него под ногами, позировал фотографу, а потом раздавалось: «Иона, к телефону!» — и он, рискуя уронить свою чашку, с извинениями пробирался через толпу, заполнявшую коридор, возвращался, делал несколько мазков, останавливался, чтобы ответить очаровательной особе, что, конечно, он напишет ее портрет, и опять поворачивался к мольберту. Он принимался работать, но минутой спустя слышалось: «Иона, подпись!» — «В чем дело? — спрашивал он. — Заказное письмо?» — «Нет, это насчет каторжников Кашимира». — «А, сейчас, сейчас». Он бежал к двери принять молодого альтруиста с его протестом, не без тревоги осведомлялся, не идет ли речь о политике, ставил свою подпись, выслушав заверение, что на этот счет он может быть совершенно спокоен, а заодно и суровое напоминание об обязанностях, возлагаемых на него привилегиями, которыми он пользуется как художник, и снова появлялся в своей мастерской, где ему представляли недавно ставшего чемпионом боксера, чье имя он не мог разобрать, и крупнейшего драматурга одной зарубежной страны. Драматург в течение пяти минут проникновенными взглядами выражал ему свои чувства, будучи не в состоянии объяснить понятнее за незнанием французского языка, а Иона с искренней симпатией кивал ему головой. Из этого безвыходного положения их выводило вторжение новомодного проповедника, который хотел представиться великому художнику. Очарованный, Иона говорил, что он очарован, щупал в кармане пачку писем, брался за кисти и готовился снова приняться за работу, но сначала должен был поблагодарить за пару сеттеров, которых в эту минуту приводили ему в подарок. Иона отводил их в спальню, возвращался, принимал приглашение дарительницы на завтрак, опять выходил, услышав крики Луизы, воочию убеждался в том, что сеттеры не привыкли жить в квартире, и уводил их в душевую, где они выли с таким упорством, что ни на минуту не давали забыть о себе. Изредка Иона поверх голов ловил взгляд Луизы. И, как ему казалось, это был грустный взгляд. Наконец наступал вечер, посетители прощались и уходили, а иные задерживались в большой комнате и с умилением смотрели, как Луиза укладывает детей и ей любезно помогает элегантная дама в шляпе, сожалея, что ей придется сейчас вернуться в свой двухэтажный особняк, где нет и в помине такой теплой, интимной обстановки, как здесь.

Однажды в субботу после полудня Рато принес Луизе хитроумную сушилку для белья, которую можно было подвешивать к потолку на кухне. Квартира была битком набита людьми; в маленькой комнате окруженный знатоками Иона писал портрет дамы, подарившей ему собак, а тем временем другой художник писал портрет с него самого. По словам Луизы, он выполнял государственный заказ. «Это будет „Художник за работой“». Рато притулился в углу комнаты, чтобы посмотреть на друга, видимо

поглощенного своим делом. Один из знатоков, первый раз в жизни видевший Рато, наклонился к нему и сказал: «Ну и вид у него!» Рато ничего не ответил. «Вы художник,—продолжал тот.—Я тоже. Так вот, поверьте мне, он выдыхается». «Уже?» — сказал Рато. «Да. Его губит успех. Этого испытания никто не выдерживает. На нем можно поставить крест». — «Он выдыхается или на нем можно поставить крест?» — «Раз художник выдыхается, значит, на нем можно поставить крест. Видите, ему уже нечего писать. Теперь пишут его самого, а потом повесят на стенку».

Спустя несколько часов, уже за полночь, в спальне молча сидели Луиза, Рато и Иона, вернее, сидели на кровати Луиза и Рато, а Иона стоял. Дети спали, собак отвезли в деревню, где их держали за небольшую плату, Луиза только что перемыла, а Иона и Рато вытерли гору посуды, все порядком устали. Когда Рато, глядя на груды тарелок, сказал: «Возьмите прислугу», Луиза меланхолично ответила: «А куда мы ее поместим?» Итак, они молчали. «Ты доволен жизнью?» — вдруг спросил Рато. Иона улыбнулся, но вид у него был невеселый. «Да. Ко мне все хорошо относятся». «Нет,—сказал Рато.— Не обманывайся. Не все эти люди добры». «О ком ты говоришь?» — «Хотя бы о твоих друзьях живописцах». — «Я знаю, что ты имеешь в виду. Но это бывает со многими художниками, даже самыми большими. Они не уверены в том, что существуют как художники. И вот они стараются себе это доказать — критикуют, осуждают. Это придает им сил, это означает для них начало существования. Они так одиноки!» Рато покачал головой. «Поверь мне,—сказал Иона,—я их знаю. Их нужно любить». — «Ну а ты,—сказал Рато,—ты существуешь? Ведь ты никогда ни о ком не говоришь плохо». Иона рассмеялся. «О, я часто думаю плохо о людях. Только я незлопамятен.—И добавил серьезно:—Нет, я не поручусь, что существую. Но я уверен, что буду существовать».

Рато спросил у Луизы, что она об этом думает. Выйдя из усталого оцепенения, она сказала, что Иона прав: мнение их посетителей не имеет значения. Важна только работа Ионы. И она чувствовала, что его стесняет ребенок. К тому же он подрастал, надо было купить для него кушетку, а она займет место. Как быть, пока они не нашли квартиры побольше? Иона оглядывал спальню. Конечно, это было не идеальное решение проблемы — кровать была слишком широка. Но комната весь день оставалась пустой. Он высказал свою мысль Луизе. Она задумалась. В спальне Иону по крайней мере не будут беспокоить: не станут же посторонние ложиться на их кровать. «Что вы об этом думаете?» — в свою очередь спросила Луиза у Рато. Тот посмотрел на Иону. Иона созерцал окна дома напротив. Потом он поднял глаза на беззвездное небо и подошел к окну задернуть шторы. Обернувшись, он улыбнулся Рато и молча сел на кровать возле него. Луиза, видимо совершенно разбитая, объявила, что идет принять душ. Когда друзья остались наедине, Иона почувствовал, как Рато пододвинулся к нему, коснувшись плечом его плеча. Он не посмотрел на него, но сказал: «Я люблю писать картины. Я хотел бы писать днем и ночью, всю жизнь. Разве это

не счастье?» С нежностью глядя на него, Рато сказал: «Да, это счастье».

Дети росли, и Иона был рад видеть их веселыми и здоровыми. Они ходили в школу и возвращались в четыре часа. Иона мог любоваться на них вечерами и, кроме того, по субботам во вторую половину дня, по четвергам и во время частых и долгих каникул. Они были еще слишком маленькие, чтобы тихо и мирно играть, и слишком живые, чтобы не оглашать квартиру шумными ссорами и смехом. Приходилось их успокаивать, бранить, грозя наказанием, а то и шлепать для виду. Нужно было и стирать белье, и пришивать оторвавшиеся пуговицы; Луизы на все это не хватало. Поскольку они не могли нанять даже приходящую прислугу — при той тесноте, в которой они жили, всякий посторонний человек был бы им в тягость, — Иона предложил позвать на помощь сестру Луизы Розу, вдову, у которой была взрослая дочь. «Да, — сказала Луиза, — с Розой не придется стесняться. Ее всегда можно будет выставить». Иона обрадовался этому решению проблемы, которое облегчало положение Луизы и в то же время его совесть, отягощенную тем, что жена одна несла бремя житейских забот. Это было существенное облегчение, тем более что Роза часто приводила с собой свою дочь. Обе они были женщины добрейшей души, преданные и бескорыстные. Они делали все возможное и невозможное, чтобы помочь супругам, и не жалели своего времени. Этому способствовала скука их одинокой жизни и приятная атмосфера простоты и непринужденности, которую они находили у Луизы. В самом деле, как она и рассчитывала, никто не церемонился с родственницами, и они с первого дня почувствовали себя как дома. Большая комната стала общей и служила теперь одновременно столовой, бельевой и детской. В маленькой комнате, где спал младший ребенок, складывали холсты и ставили раскладушку, на которой спала Роза, когда приходила без дочери и оставалась ночевать.

Иона занимал спальню и работал между кроватью и окном. Ему только приходилось по утрам ждать, пока вслед за детской уберут эту комнату. Потом его уже никто не беспокоил, разве только заходили взять что-нибудь из белья: единственный в доме шкаф находился в спальне. Посетители, правда не столь многочисленные, как прежде, свыклись с новой обстановкой и вопреки надежде Луизы позволяли себе прилечь на супружескую постель, чтобы удобнее было болтать с Ионой. Прибегали и дети поцеловать отца. «Покажи картинку». Иона показывал им картину, которую писал, и нежно целовал их. Выпроваживая детей, он чувствовал, что они полностью, безраздельно занимают его сердце. Лишись он их, у него не осталось бы ничего — только пустота и одиночество. Он любил их так же, как живопись, потому что они одни во всем мире были так же полны жизни, как она.

Однако Иона работал меньше, сам не зная почему. Он по-прежнему не искал развлечений, но писать ему теперь было трудно даже в часы одиночества. Он проводил эти часы, глядя на небо. Он всегда был рассеян и погружен в себя, теперь он стал мечтательным. Вместо того чтобы писать, он думал о живописи, о

своем призвании. Он, как прежде, говорил себе: «Я люблю писать», но рука его, державшая кисть, бессильно висела, и он прислушивался к доносившимся издалека звукам радио.

В то же время его успех шел на спад. Ему приносили весьма сдержанные или ругательные статьи о его работах, иной раз такие злые, что у него сжималось сердце. Но он говорил себе, что можно извлечь пользу и из этих нападок — они побудят его лучше работать. Те, кто продолжал приходить к нему, держались с ним теперь фамильярнее, как со старым другом, с которым нечего церемониться. Когда он собирался вернуться к работе, они говорили ему: «Брось, успеется!» Иона чувствовал, что эти неудачники в известной мере уже видят в нем товарища по несчастью. Но с другой стороны, в этих новых отношениях было что-то отрадное. Рато пожимал плечами: «Ты просто глуп. Они тебя вовсе не любят». «Теперь они меня немножко любят», — отвечал Иона. — А немного любви — это очень много. Не все ли равно, чему я обязан ею!» И он продолжал разговаривать, отвечать на письма и кое-как писать. Изредка он писал по-настоящему, главным образом по воскресеньям, когда дети уходили гулять с Луизой и Розой. Вечером он радовался, видя, что картина, над которой он работал, немного продвинулась. В то время он писал небо.

Когда торговец дал ему знать, что спрос на его картины заметно упал и что поэтому он, к сожалению, вынужден снизить месячное содержание, Иона согласился на это, но Луиза высказала беспокойство. Подходил сентябрь, надо было одеть детей к новому учебному году. Она со своим обычным мужеством сама взялась за работу, но скоро увидела, что не справляется. Роза могла починить белье и пришить пуговицы, но шить не умела. Зато двоюродная сестра ее мужа была портниха, и она пришла на помощь Луизе. Время от времени она усаживалась на стул в углу спальни, где, впрочем, эта молчаливая особа сидела тихо и спокойно. До того спокойно, что Луиза посоветовала Ионе написать с нее «Работницу». «Хорошая мысль», — сказал Иона. Он попробовал, испортил два холста и вернулся к начатому небу. На следующий день он, вместо того чтобы писать, долго прохаживался по квартире и размышлял. Пришел разгоряченный ученик показать ему длинную статью, которую он иначе не прочел бы. Из нее он узнал, что его живопись одновременно претенциозна и старомодна. Позвонил торговец, чтобы снова выразить ему беспокойство, которое вызывает у него кривая спроса. Однако Иона продолжал мечтать и размышлять. Ученику он сказал, что в статье есть доля истины, но что у него впереди еще много лет для работы. Торговцу он ответил, что понимает его, но не разделяет его беспокойства. У него большие замыслы, он готовится создать нечто действительно новое; все поправится. При этом он почувствовал, что говорит правду и что счастливая звезда будет сопутствовать ему. Надо только разумно организовать повседневную жизнь.

Назавтра он попытался работать в коридоре, послезавтра — в душевой, при электрическом свете, на следующий день — в кухне. Но впервые его стесняли люди, которых он повсюду встречал, — и

те, кого он едва знал, и его близкие. На некоторое время он перестал работать и погрузился в размышления. Если бы было подходящее время года, он стал бы писать на натуре. Но к несчастью, приближалась зима, и до весны трудно было взяться за пейзажи. Он все же попробовал, но скоро сдался: холод пробирал его до костей. Он провел несколько дней наедине со своими холстами — то сидел возле них, то стоял у окна; он больше не писал. Потом он стал с утра уходить из дому. Он рассчитывал набросать какую-нибудь деталь, дерево, покосившийся дом, профиль прохожего. К исходу дня оказывалось, что он ничего не сделал. Его обезоруживал малейший соблазн — газеты, случайная встреча, витрины, кафе, где можно посидеть в тепле. Каждый вечер он выискивал отговорки, задабривая свою нечистую совесть, непрестанно мучившую его. О, он будет писать, непременно будет, и лучше, чем прежде, после этого периода кажущейся опустошенности. В нем совершается внутренняя работа, вот и все, а потом его счастливая звезда, словно омытая, в новом блеске покажется из окутавшего ее густого тумана. А между тем он не выходил из кафе. Он обнаружил, что алкоголь вызывает у него такой же душевный подъем, какой он испытывал в те времена, когда увлеченно работал по целым дням и думал о своей картине с горячей нежностью, сравнимой только с его любовью к детям. После второй рюмки коньяку его охватывало это сладостное возбуждение, и он чувствовал себя одновременно властелином мира и его слугой. Правда, он наслаждался этим чувством сложа руки, и оно оставалось бесплодным, не претворяясь в произведение искусства. Но оно всего более приближалось к творческой радости, составлявшей смысл его жизни, и он проводил теперь долгие часы в этих шумных и продымленных заведениях.

Однако он избегал мест, где бывали художники. Когда он встречал знакомого, который заговаривал с ним о его живописи, его охватывала паника. Ему хотелось удрать, его собеседник замечал это, и тогда он удибал. Он знал, что у него за спиной говорят: «Он принимает себя за Рембрандта», это усиливало у него ощущение неловкости. Во всяком случае, он больше не улыбался, а его прежние друзья делали отсюда странный, но неизбежный вывод: «Раз он не улыбается, значит, он очень доволен собой». Зная это, он все больше сторонился людей своего круга. Стоило ему, входя в кафе, почувствовать, что кто-нибудь из присутствующих узнал его, у него падало сердце. Беспомощный и полный непонятной печали, он на секунду застывал, затаив свое смятение и внезапную жажду дружеского участия, вспоминал Рато с его добрым взглядом и, круто повернувшись, выходил. «Ну и физиономия!» — услышал он как-то у себя за спиной.

Он бывал теперь только в удаленных от центра кварталах, где его никто не знал. Тут он мог говорить, улыбаться, к нему возвращалась его доброжелательность, никто его ни о чем не спрашивал. Он завел себе нетребовательных приятелей. В особенности он любил поболтать с одним из них, гарсоном в вокзальном буфете, куда он частенько заходил. Однажды тот спросил у него: «А чем вы занимаетесь?» «Малюю», — ответил Иона. «Маллярнича-

ете или картины пишете?» — «Картины». «О, это трудное дело», — сказал гарсон. И больше они не затрагивали этой темы. Да, писать трудно, говорил себе Иона, но он с этим справится, надо только придумать, как организовать свою работу.

Мало-помалу за стаканчиком вина он приобрел новых знакомых. Ему на помощь пришли женщины. Он мог поговорить с ними до или после постели, а главное, слегка похвастаться — они его понимали, даже если не слишком ему верили. Иногда ему казалось, что к нему возвращается его прежняя творческая сила. Однажды, ободренный одной из своих приятельниц, он решился взяться за дело. Он вернулся домой и, пользуясь отсутствием портнихи, попытался снова работать в спальне. Но спустя час он отложил холст, улыбнулся Луизе, глядя на нее невидящим взглядом, и вышел. Он целый день пил и провел ночь у своей приятельницы, где, впрочем, сразу заснул. Утром его встретила воплощенная скорбь в облике Луизы. Она хотела знать, спал ли он с этой женщиной. Иона сказал, что нет, потому что был пьян, но что до того он спал с другими. И впервые он с болью в сердце увидел у нее то выражение лица, какое бывает у людей от внезапных и чрезмерных страданий, — это было лицо утраченной. Тогда он отдал себе отчет в том, что все это время не думал о ней, и ему стало стыдно. Он попросил у нее прощения, сказал, что с этим покончено, что с завтрашнего дня все будет по-старому. Луиза была не в силах говорить и отвернулась, чтобы скрыть слезы.

На следующий день Иона рано утром вышел из дому. Шел дождь. Вернулся он, вымокнув до нитки, нагруженный досками. Он застал двух старых друзей, которые пришли провести его. Они пили кофе в большой комнате. «Иона меняет технику. Он собирается писать на дереве». Иона улыбнулся. «Дело не в этом. Но я начинаю кое-что новое». Иона прошел в маленький коридор, примыкавший к душевой, уборной и кухне, и там, где он образовывал прямой угол с коридором, ведущим в прихожую, остановился и долго смотрел на высокие стены, поднимавшиеся к темному потолку. Ему понадобилась стремянка, и он спустился за ней к консержу.

Вернувшись, он застал у себя еще несколько человек, и ему пришлось отбиваться от обступивших его гостей, которые были в восторге, что снова видят его, и от домашних, пристававших к нему с вопросами. Наконец он добрался до конца коридора. В эту минуту его жена выходила из кухни. Иона поставил стремянку и крепко прижал Луизу к груди. Она умоляюще посмотрела на него. «Прошу тебя, — сказала она, — не начинай сначала». «Нет-нет, ответил Иона. — Я буду писать. Я должен писать». Но казалось, он говорит сам с собой, взгляд у него был отсутствующий. Он принялся за работу. На середине высоты стен он начал сооружать помост, чтобы получилось нечто вроде узкой, но глубокой и высокой антресоли. К концу дня все было готово. Встав на стремянку, Иона уцепился за край помоста и, чтобы испытать его прочность, повис на нем и несколько раз подтянулся. Потом он присоединился к гостям и домашним, и все были рады, что он стал опять таким приветливым. Вечером, когда в доме было

сравнительно мало народу, Иона взял керосиновую лампу, стул, табуретку и подрамник и все это поднял на антресоль, сопровождаемый любопытными взглядами трех женщин и детей. «Вот так,—сказал он, взобравшись на свой насест.—Тут я буду работать, никому не мешая». Луиза спросила, уверен ли он, что сможет там писать. «Конечно,—ответил он,—для этого много места не надо. Мне будет здесь свободнее. Некоторые великие художники писали при свечах, и потом... Доски не прогибаются?» Нет, они не прогибались. «Будь спокойна,—сказал Иона,—это прекрасное решение проблемы». И он спустился вниз.

На следующий день, с самого утра, он влез на антресоль, сел, поставил подрамник на табуретку, прислонив его к стене, и стал ждать, не зажигая лампы. Он отчетливо слышал только шумы, доносившиеся из кухни и уборной. Все остальные—телефонные звонки и звонки в дверь, шаги, разговоры—звучали приглушенно, словно долетали с улицы или с соседнего двора. И в то время, как вся квартира была затоплена беспощадно ярким светом, здесь царил отдохновенный сумрак. Время от времени приходил кто-нибудь из друзей и обращался к Ионе из-под антресоли: «Что ты там делаешь, Иона?»—«Работаю».—«Без света?»—«Пока—да». Он не писал, но размышлял. В сумраке и относительной тишине, которая по сравнению с тем, что было прежде, казалась ему могильной, он прислушивался к собственному сердцу. Звуки, доносившиеся до антресоли, как бы уже не касались его, даже если это были слова, обращенные к нему. Так одинокие люди умирают в своей постели, среди сна, а утром в доме, где нет ни одной живой души, лихорадочно и настойчиво звонит телефон, вызывая к навеки глухому телу. Но Иона жил, он прислушивался к тишине в себе самом, он ждал свою счастливую звезду, которая еще скрывалась, но готовилась снова подняться и засиять, как прежде, озарив его жизнь, полную пустой суеты. «Засияй, засияй,—говорил он.—Не лишай меня своего света». Она засияет, он был в этом уверен. Но он должен был подумать еще, пользуясь тем, что ему наконец дано оставаться в одиночестве, не разлучаясь со своими близкими. Ему нужно было осознать то, что до сих пор он еще ясно не понял, хотя всегда чувствовал и всегда писал, как будто знал. Он должен был наконец овладеть этой тайной, которая, как он угадывал, была не только тайной искусства. Потому-то он и не зажигал лампы.

Теперь каждый день Иона поднимался на антресоль. Знакомые стали приходить реже, чувствуя, что озабоченной Луизе не до разговоров. Иона спускался, когда его звали к столу, и опять взбирался на насест. Целый день он неподвижно сидел в темноте. Только ночью он присоединялся к жене, уже улегшейся спать. Спустя несколько дней он попросил Луизу принести ему завтрак, что она и сделала с заботливостью, тронувшей Иону. Чтобы не беспокоить ее в других случаях, он подал ей мысль заготовить кое-какую провизию, которую он будет держать у себя на антресоли. Мало-помалу он перестал спускаться в течение дня, но при этом едва прикасался к своим припасам.

Однажды вечером он позвал Луизу и попросил у нее одеяла. «Я проведу ночь здесь». Луиза посмотрела на него, откинув назад

голову. Она было раскрыла рот, но сдержалась и ничего не сказала. Она только пристально глядела на него с тревожным и печальным выражением лица, и он вдруг увидел, как она постарела, и понял, что их нелегкая жизнь наложила и на нее глубокий отпечаток. Тогда он подумал о том, что никогда ей по-настоящему не помогал. Но прежде чем он смог заговорить, она улыбнулась ему с нежностью, от которой у него сжалось сердце. «Как хочешь, дорогой»,— сказала она.

С той поры Иона ночевал на антресоли, откуда теперь почти не спускался. Посетители исчезли, потому что Иону нельзя было застать ни днем, ни вечером. Одним говорили, что он за городом, другим, когда надоедало лгать, объясняли, что он нашел себе мастерскую. По-прежнему приходил только верный Рато. Он взбирался на стремянку, и над помостом показывалась его крупная голова. «Как дела?»— спрашивал он. «Прекрасно».— «Ты работаешь?»— «А как же!»— «Но ведь у тебя нет холста!»— «И все же я работаю». Трудно было продолжать этот диалог стремянки с антресолью. Рато качал головой, спускался, чинил Луизе пробки или замок, потом, не влезая на стремянку, прощался с Ионой, который из темноты отвечал ему: «Привет, старина». Однажды вечером он добавил: «И спасибо».— «За что?»— «За то, что ты меня любишь».— «Вот новость!»— сказал Рато и ушел.

В другой вечер Иона позвал Рато, и тот поспешно подошел. В первый раз наверху горела лампа. Иона с озабоченным выражением лица выглянул из антресоли. «Дай мне холст»,— сказал он. «Да что с тобой? Ты исхудал, ты похож на привидение».— «Я уже несколько дней почти не ем. Но это ничего, мне нужно работать».— «Поешь сначала».— «Нет, я не хочу есть». Рато принес холст. Прежде чем скрыться в глубине антресоли, Иона спросил у него: «Как они там?»— «Кто?»— «Луиза и дети».— «У них все в порядке. Но им было бы лучше, если бы ты был с ними».— «Я с ними не расстаюсь. Главное— скажи им, что я с ними не расстаюсь». И он исчез. Рато высказал свое беспокойство Луизе. Та призналась ему, что уже несколько дней не находит себе места. «Как быть? Ах, если бы я могла работать вместо него!»— сказала она. Рато поразило, что лицо у нее снова стало юным. И тут он заметил, что она покраснела.

Лампа горела всю ночь и все утро следующего дня. Когда Рато или Луиза подходили к антресоли и обращались к Ионе, он отвечал только: «Оставь меня, я работаю». В полдень он попросил керосину. Коптившая лампа снова разгорелась и ярко светила до самого вечера. Рато остался ужинать с Луизой и детьми. В полночь он попрощался с Ионой. У антресоли, по-прежнему освещенной, он с минуту помешкал, потом ушел, ничего не сказав. Утром, когда Луиза встала, лампа все еще горела.

Выдался прекрасный день, но Иона этого не замечал. Холст был повернут лицевой стороной к стене, а он сидел в изнеможении, уронив руки на колени. Он говорил себе, что отныне никогда больше не будет работать. Он был счастлив. Слышно было, как хныкают дети, льется вода из крана, звякает посуда. Луиза что-то

говорила. По улице проезжал грузовик, и в огромных окнах дребезжали стекла. Жизнь шла, мир был юн и прекрасен, Иона прислушивался к милой суете людей. В таком отдалении она не препятствовала наполнявшей его радостной силе, его искусству, его мыслям, которые он не мог высказать, которым суждено было навсегда остаться неизреченными, но которые поднимали его в недостижимую высь, где так вольно и сладко дышится. Дети бегали по комнатам, маленькая смеялась, а вот засмеялась и Луиза—он так давно не слышал ее смеха. Он их любил! Как он любил их! Он погасил лампу, и в наступившей темноте... что это, уж не его ли звезда засияла, как прежде? Да, это была она, он узнавал ее, и сердце его переполняла благодарность. И, глядя на нее, он вдруг бесшумно упал.

«Ничего страшного,—сказал врач, которого позвали к Ионе.— Он слишком много работает. Через неделю он будет на ногах». «Он выздоровеет, доктор, вы в этом уверены?»—спросила подавленная Луиза. «Выздоровеет». В другой комнате Рато рассматривал холст. Он был совершенно чист, только посредине Иона крохотными буквами написал одно слово: не то «отъединение», не то «объединение»—трудно было разобрать.

ПРИЛОЖЕНИЕ

КАЛИГУЛА

ПЬЕСА В ЧЕТЫРЕХ ДЕЙСТВИЯХ

CALIGULA

Paris, 1945

Перевод Юлии Гинзбург

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Калигула.

Цезония.

Геликон.

Сципион.

Херея.

Сенект, старый патриций.

Метелл	} патриции.
Луций	
Лепид	
Октавий	

Управитель.

Мерейя.

Муций.

Первый стражник.

Второй стражник.

Первый служитель.

Второй служитель.

Третий служитель.

Жена Муция.

Первый поэт.

Второй поэт.

Третий поэт.

Четвертый поэт.

Пятый поэт.

Шестой поэт.

Седьмой поэт.

Первое, третье и четвертое действия происходят во дворце Калигулы; второе — в доме Херей.

Между первым и последующими действиями проходит три года.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

СЦЕНА ПЕРВАЯ

В дворцовом зале собрались патриции, один из них очень стар; они явно нервничают.

Первый патриций. Никаких известий.

Старый патриций. Ни утром, ни вечером.

Второй патриций. Уже три дня никаких известий.

Старый патриций. Посыльные уезжают и возвращаются. Они качают головой и говорят: «Никаких известий».

Второй патриций. Обшарили все окрестности, больше делать нечего.

Первый патриций. Зачем беспокоиться раньше времени? Подождем. Может быть, он как ушел, так и вернется.

Старый патриций. Я видел, как он уходил из дворца. Взгляд у него был странный.

Первый патриций. Я тоже там был и спросил его, что с ним такое.

Второй патриций. А он ответил?

Первый патриций. Он сказал одно слово: «Ничего».

Пауза. Входит Геликон, жуя луковцу.

Второй патриций *(по-прежнему нервничает)*. Очень тревожно.

Первый патриций. Ну, в молодости все такие.

Старый патриций. Конечно, с годами это проходит.

Второй патриций. Вы думаете?

Первый патриций. Будем надеяться, что он забудет.

Старый патриций. Разумеется! Одну потерял, десятерых найдет.

Геликон. С чего вы взяли, что тут дело в любви?

Первый патриций. А в чем же еще?

Геликон. Может быть, печень разболелась. Или просто опротивело каждый день вас видеть. Окружающих было бы

гораздо легче выносить, если бы они могли время от времени менять физиономии. Но увы, меню постоянное. Всегда одно и то же рагу.

Первый патриций. Мне хочется думать, что дело в любви. Так трогательнее.

Геликон. И утешительней, главное, гораздо утешительней. Это такая болезнь, что не щадит ни умных, ни дураков.

Первый патриций. Как бы то ни было, горести, к счастью, не вечны. Вы способны страдать больше года?

Второй патриций. Я — нет.

Первый патриций. Никто этого не может.

Старый патриций. Иначе было бы и жить нельзя.

Первый патриций. Вот видите! Знаете, в прошлом году я потерял жену. Я много плакал, а потом забыл. Иногда мне грустно. Но, в общем, это ничего.

Старый патриций. Природа все мудро устроила.

Геликон. Когда я смотрю на вас, мне начинает казаться, что у нее бывают и неудачи.

Входит Херия.

Первый патриций. Ну что?

Херия. По-прежнему никаких известий.

Геликон. Спокойно, спокойно, господа. Будем вести себя прилично. Римская империя — это мы. Если мы потеряем лицо, Империя потеряет голову. Сейчас не время, нет, не время! А для начала отправимся завтракать, Империи это пойдет на пользу.

Старый патриций. Правильно, не стоит из-за всяких химер забывать о насущном.

Херия. Не нравится мне это. Но все шло слишком уж хорошо. Он был идеальный император.

Второй патриций. Да, как раз то, что нужно: совестливый и неискушенный.

Первый патриций. Да что с вами такое, к чему эти стенания? Почему бы ему не продолжать в том же духе? Конечно, он любил Друзиллу. Но, в конце концов, она была его сестрой. Довольно и того, что он с ней спал. А уж будоражить весь Рим из-за того, что она умерла, — это переходит все границы.

Херия. Все равно. Мне это не нравится, и его бегство мне непонятно.

Старый патриций. Да, нет дыма без огня.

Первый патриций. Во всяком случае, в интересах государства нельзя допускать, чтобы кровосмешение принимало трагический оборот. Так уж и быть, пускай кровосмешение, но потихоньку.

Геликон. Видите ли, кровосмешение неизбежно создает какой-то шум. Кровать скрипит, если можно так выразиться. Впрочем, кто вам сказал, что тут дело в Друзилле?

Второй патриций. А в чем же тогда?

Геликон. Догадайтесь. Понимаете, несчастье — как женитьба. Ты думаешь, что выбираешь сам, а оказывается, это тебя выбрали. Тут уж ничего не поделаешь. Наш Калигула несчастен, но, может быть, он и сам не знает почему! Наверно, он

почувствовал, что его приперли к стенке, оттого и убежал. И мы с вами поступили бы так же на его месте. Вот я, к примеру,—дай мне возможность выбирать себе отца, я бы не родился.

Входит Сципион.

СЦЕНА ВТОРАЯ

Херея. Есть новости?

Сципион. Пока нет. Какие-то крестьяне говорят, что видели, как он пробегал тут неподалеку вчера ночью, в грозу.

Херея возвращается к сенаторам. Сципион идет за ним.

Херея. Уже три дня прошло, Сципион?

Сципион. Да. Я был при нем, как обычно, и все видел. Он подошел к телу Друзиллы. Дотронулся до него кончиками пальцев. Потом как будто подумал, повернулся кругом и вышел твердой походкой. С тех пор его ищут.

Херея (*качая головой*). Этот юноша слишком любил литературу.

Второй патриций. Естественно в его возрасте.

Херея. Но не в его положении. Император-художник — это не укладывается в голове. Конечно, раз-другой у нас были такие. Всюду есть паршивые овцы. Но у прочих хватало вкуса оставаться чиновниками.

Первый патриций. Так было спокойнее.

Старый патриций. Каждому свое ремесло.

Сципион. Что можно сделать, Херея?

Херея. Ничего.

Второй патриций. Обождем. Если он не вернется, придется его заменить. Между нами говоря, императоров у нас хватает.

Первый патриций. Да, не хватает у нас только настоящих людей.

Херея. А если он вернется в опасном расположении духа?

Первый патриций. Поверьте, он еще ребенок, мы его наставим на путь истинный.

Херея. А если он не пожелает слушать наши наставления?

Первый патриций (*смеется*). Что ж! Разве не я написал когда-то трактат о государственном перевороте?

Херея. Конечно, если понадобится! Но я предпочел бы, чтобы меня не отрывали от моих книг.

Сципион. Прошу меня извинить. (*Уходит.*)

Херея. Он оскорбился.

Старый патриций. Он мальчишка. Молодые люди все заодно.

Геликон. Заодно они или нет, все равно они состарятся.

Появляется стражник с сообщением: Калигулу видели в дворцовом саду.

Все уходят.

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Несколько секунд сцена пуста. Слева, крадучись, входит Калигула. Вид у него потерянный, одежда перепачкана, волосы мокрые, ноги забрызганы грязью. Он несколько раз подносит ладонь ко рту. Идет к зеркалу и останавливается, увидев собственное отражение. Неразборчиво что-то бормочет, потом идет направо, садится, свесив руки между раздвинутыми коленями. Слева входит Геликон. Заметив Калигулу, останавливается в углу сцены и молча на него смотрит. Калигула оборачивается и видит его. Пауза.

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

Геликон (*через всю сцену*). Здравствуй, Гай.

Калигула (*просто*). Здравствуй, Геликон.

Молчание.

Геликон. Ты как будто устал?

Калигула. Я много ходил.

Геликон. Да, тебя долго не было.

Молчание.

Калигула. Было трудно найти.

Геликон. Найти что?

Калигула. То, что я хотел.

Геликон. А что ты хотел?

Калигула (*так же просто*). Луну.

Геликон. Что?

Калигула. Да, я хотел луну.

Геликон. А! (*Молчание. Подходит поближе.*) Зачем?

Калигула. Так... Это одна из тех вещей, которых у меня нет.

Геликон. Понятно. А теперь все в порядке?

Калигула. Нет, я не смог ее достать.

Геликон. Досадно.

Калигула. Да, потому я и устал. (*Пауза.*) Геликон!

Геликон. Да, Гай.

Калигула. Ты думаешь, я сошел с ума.

Геликон. Ты прекрасно знаешь, что я вообще никогда не думаю. Я недостаточно глуп для этого.

Калигула. Да. И все-таки я не сошел с ума, наоборот, я рассудителен как никогда. Просто я внезапно почувствовал, что мне нужно невозможное. (*Пауза.*) На мой взгляд, существующий порядок вещей никуда не годится.

Геликон. Весьма распространенный взгляд.

Калигула. Верно. Но я до сих пор этого не знал. Теперь я знаю. (*Все так же просто.*) Этот мир, такой, как он есть, выносить нельзя. Поэтому мне нужна луна, или счастье, или бессмертие, что-нибудь пускай безумное, но только не из этого мира.

Геликон. Рассуждение последовательное. Но мало кто умеет быть абсолютно последовательным.

Калигула (*вставая, но так же просто*). Ты ничего в этом не понимаешь. Потому и нельзя ничего добиться, что люди не

бывают абсолютно последовательны. Но, может быть, только и надо, что оставаться логичным до конца. (*Смотрит на Геликона.*) Я знаю, о чем ты думаешь. Сколько шуму из-за смерти одной женщины! Нет, дело не в этом. Правда, я как будто припоминаю, что несколько дней назад умерла женщина, которую я любил. Но что такое любовь? Пустяк. Эта смерть тут ни при чем, клянусь тебе; она только обозначила истину, из-за которой луна стала мне необходима. Это очень простая и очень ясная истина, немного нелепая, но ее трудно открывать для себя и тяжело выносить.

Геликон. Что же это за истина, Гай?

Калигула (*отвернувшись, невыразительным голосом*). Люди умирают, и они несчастны.

Геликон (*помолчав*). Послушай, Гай, к этой истине можно отлично приспособиться. Взгляни вокруг себя. Аппетита она у людей не отбивает.

Калигула (*внезапно взрывается*). Значит, вокруг меня все ложь, а я хочу, чтобы они жили в истине! И у меня как раз есть средство заставить их жить в истине. Я ведь знаю, чего им не хватает, Геликон. У них нет знаний, и им не хватает учителя, который понимал бы, о чем говорит.

Геликон. Не обижаясь на то, что я тебе скажу, Гай, но сначала тебе надо бы отдохнуть.

Калигула (*садится и говорит мягко*). Не могу, Геликон, этого я никогда больше не смогу.

Геликон. Почему же?

Калигула. Если я буду спать, кто мне даст луну?

Геликон (*помолчав*). Это верно.

Калигула встает с явным усилием.

Калигула. Послушай, Геликон. Там шаги и голоса. Молчи и забудь, что ты только что меня видел.

Геликон. Понял.

Калигула направляется к выходу. Оборачивается.

Калигула. И пожалуйста, помогай мне с этих пор.

Геликон. У меня нет причин этого не делать, Гай. Но я много чего знаю, и мало что меня занимает. В чем я могу тебе помочь?

Калигула. В невозможном.

Геликон. Я постараюсь.

Калигула уходит. Торопливо входят Сципион и Цезония.

СЦЕНА ПЯТАЯ

Сципион. Никого. Ты его не видел, Геликон?

Геликон. Нет.

Цезония. Геликон, он действительно ничего не сказал перед тем, как убежал?

Геликон. Я для него не наперсник, а зритель. Это разумнее.

Цезония. Прошу тебя.

Геликон. Милая Цезония, Гай идеалист, это всем известно. Иначе говоря, он еще не понял. А я понял, вот почему я ни во что не вмешиваюсь. Но если Гай начнет понимать—он, с его добрым сердечком, наоборот, может вмешаться во все. И одному богу ведомо, во что это нам обойдется. Но прошу прощения—время завтракать! (*Уходит.*)

СЦЕНА ШЕСТАЯ

Цезония устало садится.

Цезония. Стражник видел, как он тут прошел. Но весь Рим повсюду видит Калигулу. А Калигула на самом деле видит только свою идею.

Сципион. Какую идею?

Цезония. Откуда мне знать, Сципион?

Сципион. Друзилла?

Цезония. Кто может сказать? Но он ее и вправду любил. Это и вправду горько—видеть, как сегодня умирает женщина, которую вчера сжимал в объятьях.

Сципион (*робко*). А ты?

Цезония. Я? Я—старая любовница.

Сципион. Цезония, его надо спасти.

Цезония. Значит, ты его любишь?

Сципион. Я его люблю. Он был добр ко мне. Он вливал в меня бодрость. Какие-то его слова я помню. Он говорил, что жизнь нелегка, но что нам даны в ней религия, искусство, любовь. Он часто повторял, что заблуждается только тот, кто причиняет страдание другому. Он хотел быть праведником.

Цезония (*вставая*). Он был ребенок. (*Подходит к зеркалу и смотрится в него.*) У меня никогда не было другого бога, кроме собственного тела. Вот этому богу я и помолюсь сегодня, чтобы мне вернули Гая.

Входит Калигула. Заметив Цезонию и Сципиона, он в нерешительности отступает назад. В ту же минуту с противоположной стороны входят патриции и дворцовый управитель. Они останавливаются в растерянности. Цезония оборачивается. Вместе со Сципионом она бросается к Калигуле. Он останавливает их движением руки.

СЦЕНА СЕДЬМАЯ

Управитель (*неуверенно*). Мы... мы тебя искали, цезарь.

Калигула (*отрывистым, изменившимся голосом*). Я вижу.

Управитель. Мы... То есть...

Калигула (*резко*). Что вам надо?

Управитель. Мы беспокоились, цезарь.

Калигула (*наступая на него*). С какой стати?

Управитель. Э-э-э... М-м-м... (*Внезапно его осенило; быстро выпаливает.*) Но ты ведь знаешь, что должен решить кое-какие вопросы относительно государственной казны.

Калигула (*его разбирает неудержимый смех*). Казна? Ну как же, конечно, казна—это дело серьезное.

Управитель. Разумеется, цезарь.

Калигула (*смеясь, Цезонии*). Не правда ли, дорогая, казна — это очень важно?

Цезония. Нет, Калигула, казна — дело второстепенное.

Калигула. Ты просто ничего в этом не понимаешь. Казна имеет огромное значение. Все важно: финансы, общественная мораль, внешняя политика, снабжение армии и аграрные законы. Говорю тебе, все очень серьезно. И все одинаково важно: величие Рима и приступы твоего артрита. Да! Я всем этим займусь. Послушай-ка, управитель.

Патриции подходят поближе.

Калигула. Ты мне верен, не правда ли?

Управитель (*укоризненным тоном*). Цезарь!

Калигула. Так вот, у меня есть для тебя план. Мы перевернем всю политическую экономию в два хода. Я тебе все объясню, управитель... когда патриции уйдут.

Патриции уходят.

СЦЕНА ВОСЬМАЯ

Калигула усаживается рядом с Цезонией и обнимает ее за талию.

Калигула. Слушай внимательно. Ход первый: все патриции, все лица в Империи, владеющие каким-то состоянием — большим или маленьким, это совершенно одно и то же, — принудительно обязываются лишить наследства своих детей и немедленно завещать все государству.

Управитель. Но, цезарь...

Калигула. Я тебе еще не давал слова. По мере наших надобностей мы будем убивать этих лиц в порядке списка, составленного произвольно. При случае мы сможем изменить этот порядок, опять-таки произвольно. И мы все унаследуем.

Цезония (*отстраняясь*). Что это на тебя нашло?

Калигула (*невозмутимо*). Порядок казней действительно не важен. Вернее, все казни одинаково важны, из чего следует, что они не важны вовсе. Впрочем, что те, что другие — все виновны. Заметьте, кстати, что грабить граждан напрямую не более безнравственно, чем вводить косвенные налоги через цены на предметы первой необходимости. Управлять — значит грабить, это всем известно. Только способы есть разные. Я буду грабить открыто. Это высвободит низший персонал. (*Управителю, резко.*) Ты исполнишь этот приказ без промедления. Все римляне подпишут завещания сегодня вечером, а жители провинций — самое позднее через месяц. Разошли гонцов.

Управитель. Цезарь, ты не отдаешь себе отчета...

Калигула. Слушай меня хорошенько, тупица. Если казна имеет значение, тогда человеческая жизнь его не имеет. Это ясно. Все те, кто думает как ты, должны согласиться с этим рассуждением и полагать, что их жизнь — ничто, коль скоро деньги для них — все. А пока я решил быть логичным, и, поскольку власть принадлежит мне, вы увидите, во что вам обойдется эта логика. Я

искореню противоречия и противоречащих. Если надо, начну с тебя.

Управитель. Цезарь, моя добрая воля не подлежит сомнению, клянусь тебе.

Калигула. И моя тоже, можешь мне поверить. Доказательство—что я готов стать на твою точку зрения и счесть государственную казну предметом, достойным размышления. Одним словом, будь мне благодарен, ведь я принимаю твою игру и играю твоими картами. *(Помолчав, спокойно.)* К тому же мой план гениален своей простотой, поэтому прения прекращаются. У тебя есть три секунды, чтобы исчезнуть. Считаю: раз...

Управитель исчезает.

СЦЕНА ДЕВЯТАЯ

Цезония. Я тебя не узнаю! Что это, шутка?

Калигула. Не совсем так, Цезония. Это педагогический прием.

Сципион. Но это невозможно, Гай!

Калигула. Вот именно!

Сципион. Я тебя не понимаю.

Калигула. Вот именно! Речь как раз идет о невозможном, вернее, о том, чтобы сделать возможным невозможное.

Сципион. Но в такой игре нельзя остановиться. Это развлечение безумца.

Калигула. Нет, Сципион, это призвание императора. *(Откидывается назад с выражением усталости на лице.)* Наконец-то я понял, в чем польза власти. Она дает кое-какие шансы невозможному. Отныне и на все грядущие времена моя свобода безгранична.

Цезония *(грустно)*. Надо ли этому радоваться, Гай, я не знаю.

Калигула. Я тоже. Но я думаю, что с этим надо жить.

Входит Херея.

СЦЕНА ДЕСЯТАЯ

Херея. Я узнал, что ты вернулся. Молю богов о твоём здоровье.

Калигула. Мое здоровье благодарит тебя. *(Помолчав, внезапно.)* Уходи, Херея, я не хочу тебя больше видеть.

Херея. Я удивлен, Гай.

Калигула. Не удивляйся. Я не люблю литераторов и не выношу их вранья. Они говорят, чтобы не слышать себя. Если бы они себя слышали, то поняли бы, какие они ничтожества, и замолчали. Нет, хватит, лжесвидетели мне отвратительны.

Херея. Если мы и лжем, то чаще всего непреднамеренно. Я не признаю себя виновным.

Калигула. Ложь не бывает невинной. А ваша ложь приписывает какое-то значение людям и вещам. Вот чего я не могу вам простить.

Херея. И все же следует выступать в защиту этого мира, коль скоро мы хотим в нем жить.

Калигула. Не надо защиты, слушанье дела закончено. Этот мир не имеет значения, и кто это понимает — обретает свободу. *(Встает.)* Потому-то я вас и ненавижу, что вы несвободны. Во всей Римской империи свободен я один. Радуйтесь, наконец-то у вас появился император, который вас обучит свободе. Уходи, Херея, и ты тоже, Сципион, дружба мне смешна. Возвестите Риму, что ему наконец возвращена свобода и что вместе с ней наступает великое испытание.

Они уходят. Калигула отворачивается.

СЦЕНА ОДИННАДЦАТАЯ

Цезония. Ты плачешь?

Калигула. Да, Цезония.

Цезония. Да что, в сущности, изменилось? Ты любил Друзиллу, правда, но одновременно ты любил и меня, и многих других женщин. Ее смерть для тебя — не причина метаться три дня и три ночи под открытым небом и возвращаться назад с таким чужим лицом.

Калигула *(оборачивается)*. Кто тебе говорит о Друзилле, глупая? Ты не можешь представить себе, чтобы человек плакал из-за чего-нибудь, кроме любви?

Цезония. Прости, Гай. Но я пытаюсь понять.

Калигула. Люди плачут оттого, что все идет не так, как им хочется.

Она подходит к нему.

Оставь, Цезония.

Она отступает.

Но побудь со мной.

Цезония. Я сделаю все, что ты пожелаешь. *(Садится.)* В моем возрасте знают, что жизнь не очень-то к нам ласкова. Но если уж есть зло на этой земле, зачем самому стараться его приумножать?

Калигула. Ты не понимаешь. Не важно. Может быть, я выберусь из этого. Но я чувствую, как просыпаются во мне какие-то безымянные существа. Что мне с ними делать? *(Поворачивается к ней.)* Ах, Цезония, я знал, что люди впадают в отчаянье, но не понимал, что значит это слово. Я думал, как и все, что это болезнь души. Нет, это тело страдает. У меня болит кожа, и грудь, и ноги. Меня тошнит, голова кружится. Но самое ужасное — это вкус во рту. Вкус не крови, не смерти, не лихорадки, а всего этого вместе. Стоит мне шевельнуть языком, как все вокруг чернеет. И люди делаются мне омерзительны. Как трудно, как горько становиться человеком!

Цезония. Надо заснуть, спать долго, расслабиться и ни о чем не думать. Я посижу с тобой, пока ты будешь спать. А когда проснешься, мир обретет для тебя прежний вкус. И постарайся

употребить свою власть на любовь к тому, что еще стоит любить. Ведь возможное тоже должно получить свой шанс.

Калигула. Но нужно заснуть, нужно забыться, а на это я не способен.

Цезония. Тебе так кажется потому, что ты слишком устал. Пройдет время, и у тебя снова будет твердая рука.

Калигула. Только надо знать, к чему ее приложить. И зачем мне твердая рука, для чего мне это неслыханное могущество, если я не могу изменить миропорядка, не могу сделать так, чтобы солнце садилось на востоке, чтобы страдание исчезло и люди больше не умирали? Нет, Цезония, не все ли равно, спать или бодрствовать, если у меня нет власти над миропорядком.

Цезония. Ты, значит, хочешь сравняться с богами. Я не знаю более страшного безумия.

Калигула. И ты, ты тоже считаешь меня помешанным. Да кто такой этот бог, чтобы я хотел с ним равняться? То, к чему я теперь стремлюсь изо всех сил, превыше всяких богов. Я берусь управлять державой, в которой царствует невозможное.

Цезония. Ты не можешь сделать так, чтобы небо перестало быть небом, чтобы прекрасное лицо превратилось в безобразное, чтобы человеческое сердце стало бесчувственным.

Калигула (*все больше воодушевляясь*). Я хочу перемешать небо и море, красоту сплавить с безобразием, из страдания высечь брызги смеха.

Цезония (*становится перед ним, умоляя*). Но ведь есть добро и зло, величие и низость, праведность и беззаконие. Поверь мне, это все останется неизменным.

Калигула (*все так же возбужденно*). А я желаю это все изменить. Я принесу в дар нашему веку равенство. И когда все выравняется, невозможное придет наконец на землю и луна — ко мне в руки, тогда, быть может, настанет час преображения для меня и вместе со мной для всего мира, и тогда люди наконец перестанут умирать и будут счастливы.

Цезония (*на крике*). Ты не сможешь отвергнуть любовь.

Калигула (*взрываясь бешенством*). Любовь, Цезония! (*Хватает ее за плечи и трясет.*) Я понял, что это вздор. Важно совсем другое: государственная казна! Ты ведь слышала, правда? С этого все и начинается. Теперь-то я наконец буду жить! Жить, Цезония, жить; а жизнь и любовь — вещи противоположные. Это я тебе говорю. И я приглашаю тебя на невиданный праздник, на вселенский судебный процесс, на прекраснейшее из зрелищ. Но мне нужны люди, зрители, жертвы и виновные.

Он бросается к гонгу и начинает бить в него, безостановочно и изо всех сил.

Калигула (*ударяя в гонг*). Введите виновных. Мне нужны виновные. А виновны все. (*Бьет в гонг.*) Я хочу, чтобы ввели приговоренных к смерти. Публика, где моя публика? Судьи, свидетели, обвиняемые, все осуждены заранее! О Цезония, я им покажу то, чего они никогда не видели: единственного свободного человека в этом государстве!

При громовых раскатах гонга дворец наполняется звуками, они растут и приближаются. Голоса, бряцанье оружия, шаги и топот. Калигула смеется и продолжает бить в гонг. Появляются стражники и, постояв, уходят.

Калигула (*бьет в гонг*). А ты, Цезония, будешь мне повиноваться. Ты будешь мне помогать. Это будет чудесно. Поклянись помогать мне, Цезония.

Цезония (*оглушенная, между двумя ударами гонга*). Зачем мне клясться, ведь я люблю тебя.

Калигула (*бьет в гонг*). Ты сделаешь все, что я скажу.

Цезония (*в промежутке между ударами*). Все, что захочешь, Калигула, только перестань.

Калигула (*бьет в гонг*). Ты будешь жестокая.

Цезония (*плача*). Жестокая.

Калигула (*бьет в гонг*). Холодная и неумолимая.

Цезония. Неумолимая.

Калигула (*бьет в гонг*). И ты будешь страдать.

Цезония. Хорошо, Калигула, но я схожу с ума!

Вбегают ошеломленные патриции и с ними дворцовые служители. Калигула ударяет в гонг последний раз, поднимает молоток, оборачивается и подзывает их.

Калигула (*вне себя*). Подойдите все. Ближе. Я вам приказываю подойти ближе. (*Топает ногами.*) Император вам приказывает подойти ближе.

Все в страхе приближаются.

Быстрой. А теперь подойди ты, Цезония.

Он берет ее за руку, подводит к зеркалу и иступленно пытается стереть молотком отражение с отшлифованной поверхности.

Калигула (*смеется*). Вот и все, видишь. Нет больше воспоминаний, все лица испарились! Пустота. А знаешь, кто остался? Подойди еще ближе. Смотри. И вы подойдите. Смотрите. (*Он становится перед зеркалом в безумной позе.*)

Цезония (*глядя в зеркало, со страхом*). Калигула!

Калигула (*меняет выражение лица, прижимает палец к стеклу и с внезапно остановившимся взглядом произносит торжествующе*). Калигула.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

СЦЕНА ПЕРВАЯ

В доме Хереи собрались патриции.

Первый патриций. Он оскорбляет наше достоинство.

Муций. Вот уже три года!

Старый патриций. Он меня называет женошкой! Он делает из меня посмешище! Смерть ему!

Муций. Вот уже три года!

Первый патриций. Каждый вечер, отправляясь на загородную прогулку, он заставляет нас бежать за его носилками!

Второй патриций. И говорит, что бег полезен для здоровья.

Муций. Вот уже три года!

Старый патриций. Этому нет оправданий.

Третий патриций. Да, этого простить нельзя.

Первый патриций. Корнелий, он конфисковал твоё имущество; Сципион, он убил твоего отца; Октавий, он похитил твою жену и отдал ее в лупанарий; Лепид, он убил твоего сына. Вы собираетесь это терпеть? А мой выбор сделан. У меня нет колебаний, предпочесть ли возможный риск нынешней невыносимой жизни в страхе и бессилии.

Сципион. Убив моего отца, он решил за меня.

Первый патриций. А вы еще колеблетесь?

Третий патриций. Мы с тобой. Он отдал народу наши места в цирке и вынудил нас драться с плебеями, чтобы потом потяжелее нас наказать.

Старый патриций. Он трус.

Второй патриций. Циник.

Третий патриций. Комедиант.

Старый патриций. Он импотент.

Четвертый патриций. Вот уже три года!

Беспорядочные возгласы. Лязгает оружие. Один из факелов падает, стол опрокидывается. Все спешат к выходу. Но тут входит Херея, совершенно невозмутимый. Он останавливает этот взволнованный порыв.

СЦЕНА ВТОРАЯ

Херей. Куда это вы так торопитесь?

Третий патриций. Во дворец.

Херей. Я так и понял. И вы думаете, вас впустят?

Первый патриций. Мы не собираемся просить разрешения.

Херей. Как вы вдруг осмелели! Вы хотя бы позвольте мне присесть в моем собственном доме?

Дверь закрывают. Херей подходит к опрокинутому столу и присаживается на краешек, остальные его окружают.

Херей. Это не так просто, как вам кажется, друзья мои. Страх, который вы сейчас испытываете, не заменяет мужества и хладнокровия. Все это преждевременно.

Третий патриций. Если ты не с нами, уходи, но попридержи язык.

Херей. Я все-таки думаю, что я с вами. Но по другим причинам.

Третий патриций. Хватит болтовни!

Херей (*вставая*). Да, хватит болтовни. Я хочу, чтобы все было ясно. Если я и с вами, то не за вас. Вот почему ваша тактика мне кажется неудачной. Вы не поняли вашего врага по-настоящему, вы приписываете ему мелочные замыслы. А у него нет иных замыслов, кроме грандиозных, и вы спешите навстречу собственной гибели. Научитесь сначала видеть его таким, какой он есть, тогда вы сможете лучше с ним бороться.

Третий патриций. Мы видим его таким, какой он есть: самым бесноватым из тиранов!

Херей. Не уверен. Безумные императоры у нас бывали. Но этот недостаточно безумен. Я его ненавижу за то, что он знает, чего хочет.

Первый патриций. Он хочет нас всех убить.

Херей. Нет, это для него задача побочная. Его могущество служит страсти более высокой и более губительной. Он угрожает тому, что для нас важнее всего. Конечно, не впервые у нас кто-то располагает безграничной властью, но впервые ею пользуются безгранично, до полного отрицания человека и мира. Вот что меня в нем пугает и с чем я хочу бороться. Расставаться с жизнью не страшно, на это у меня хватит мужества, когда понадобится. Но смотреть, как тает смысл нашей жизни, как мы теряем основания существовать,—невыносимо. Нельзя жить, не имея на то оснований.

Первый патриций. Мечь—чем не основание для жизни?

Херей. Согласен. И хочу присоединиться к вам в этом. Но поймите, я так поступаю не из сочувствия к вашим ничтожным обидам, а для того, чтобы сразиться с великой идеей, победа которой означала бы конец света. Я могу примириться с тем, что вас выставляют на посмешище, но не могу допустить, чтобы Калигуле удалось то, о чем он мечтает, все, о чем он мечтает. Он свою философию претворяет в трупы, и, к несчастью, эта философия неопровержима. Когда нечего возразить, надо браться за оружие.

Третий патриций. Значит, надо действовать.

Херея. Надо действовать. Но вы не сокрушите эту преступную власть в открытом бою, пока она полна сил. Сражаться можно с тиранией, с бескорыстным злом надо хитрить. Надо помогать ему созреть, дожидаться, пока его логика перерастет в абсурд. Все это я говорю просто из честности и повторяю еще раз: поймите, я с вами только на время. А потом я не стану служить вашим целям; все, что мне нужно,—это вновь обрести душевное спокойствие в мире, который вновь обретет былую цельность. Я ничего не добиваюсь для себя. Меня побуждает действовать другое—страх, страх разума перед этой нечеловеческой бурей чувств, обращающей мою жизнь в ничто.

Первый патриций (*выступая вперед*). Кажется, я тебя понял, хотя, возможно, и не до конца. Но главное—ты, как и все мы, полагаешь, что основы нашего общества потрясены. Ведь для нас дело прежде всего в морали, не так ли? Семейные устои шатаются, исчезает уважение к труду, вся страна предается богохульству. Добродетель зовет нас на помощь, неужели мы останемся глухи к ее голосу? Друзья, неужели вы допустите, чтобы патрициев каждый вечер заставляли бежать за носилками цезаря?

Старый патриций. Вы позволите, чтобы их называли «душка»?

Третий патриций. Чтобы у них отнимали жен?

Второй патриций. И детей?

Муций. И деньги?

Пятый патриций. Нет!

Первый патриций. Херея, ты хорошо говорил. И ты правильно сделал, что удержал нас. Время действовать еще не пришло: сегодня народ был бы против нас. Готов ты вместе с нами дожидаться подходящего момента?

Херея. Да, предоставим Калигуле и впредь идти своим путем. Более того, будем его подталкивать все дальше. Будем пестовать его безумие. Настанет день, когда он окажется один на один со страной, населенной мертвецами и родными мертвецов.

Возгласы всеобщего одобрения. Снаружи доносятся звуки труб. Наступает молчание. Затем из уст в уста передается имя: «Калигула».

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Входят Калигула и Цезония в сопровождении Геликона и солдат. Немая сцена. Калигула останавливается и смотрит на заговорщиков. Молча их обходит, у одного поправляет пряжку, перед другим отступает, чтобы получше разглядеть, еще раз окидывает их взглядом, закрывает глаза рукой и выходит, не сказав ни слова.

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

Цезония (*указывая на следы беспорядка, с иронией*). Вы сражались?

Херея. Мы сражались.

Цезония (*тем же тоном*). Из-за чего же вы сражались?

Херея. Мы сражались просто так.

Цезония. Значит, это неправда.

Херея. Что — неправда?

Цезония. Вы не сражались.

Херея. Значит, мы не сражались.

Цезония (*улыбаясь*). Наверно, лучше бы здесь прибрать. Калигула терпеть не может беспорядка.

Геликон (*старому патрицию*). Кончится тем, что вы его выведете из себя!

Старый патриций. Да что мы ему сделали?

Геликон. В том-то и дело, что ничего. Уму непостижимо, как можно быть такими ничтожествами. Это становится невыносимо! Поставьте себя на место Калигулы. (*Пауза.*) Вы тут, конечно, замышляли заговорчик? Не так ли?

Старый патриций. Это неправда, поверь мне. Почему он так думает?

Геликон. Он не думает, он знает. Но я предполагаю, что в глубине души он чуть-чуть этому радуется. Ну, давайте приведем все в порядок.

Все занимаются уборкой. Входит Калигула и наблюдает за ними.

СЦЕНА ПЯТАЯ

Калигула (*старому патрицию*). Здравствуй, душка! (*К остальным.*) Херея, я решил немного отдохнуть у тебя. Муций, я позволил себе пригласить твою жену.

Управитель хлопает в ладоши. Появляется раб, но Калигула его останавливает.

Калигула. Минутку! Господа, вам известно: финансы нашего государства держатся только потому, что давно приобрели такую привычку. Но со вчерашнего дня уже и привычка не помогает. Поэтому я поставлен перед прискорбной необходимостью прибегнуть к сокращению персонала. В духе самоотверженности, который вы, без сомнения, сумеете оценить, я решил урезать расходы двора, отпустить кое-кого из рабов и взять вас на их место. Потрудитесь расставить и накрыть столы.

Сенаторы переглядываются в замешательстве.

Геликон. Ну, господа, проявите же немного доброй воли. К тому же спускаться по социальной лестнице легче, чем подниматься, вы в этом убедитесь.

Сенаторы иерешительно покидают свои места.

Калигула (*Цезонии*). Как наказывают нерадивых рабов?

Цезония. Думаю, бьют кнутом.

Сенаторы бросаются торопливо и неумело расставлять столы.

Калигула. Старайтесь, старайтесь! В каждом деле главное — порядок! (*Геликону.*) По-моему, они утратили сноровку.

Геликон. Правду сказать, какая у них была сноровка? Разве что мечом махать или отдавать приказания. Надо набраться

терпения, вот и все. Сенатора можно сделать из человека за один день, а работника—лет за десять.

Калигула. А чтобы сделать работника из сенатора, боюсь, потребуются все двадцать лет.

Геликон. Но все-таки что-то у них получается. По-моему, у них есть призвание к этому делу! Они просто созданы для рабства.

Один из сенаторов обтирает себе лицо.

Смотри, их даже в пот бросило. Это уже кое-что.

Калигула. Прекрасно. Не надо требовать слишком многого. Могло быть и хуже. И потом, позволить себе минутку справедливости всегда приятно. Кстати о справедливости, нам надо торопиться: у меня на сегодня еще казнь. Да, Руфию повезло, что я вдруг проголодался. *(Доверительно.)* Руфий—это всадник, который должен умереть. *(Пауза.)* Вы не спрашиваете у меня, почему он должен умереть?

Все молчат. Тем временем рабы принесли кушанья.

Калигула *(добродушно)*. Ну, я вижу, вы поумнели. *(Жует оливку.)* Наконец-то вы поняли: чтобы умереть, вовсе не обязательно чем-то провиниться. Солдаты, я доволен вами. Верно, Геликон? *(Перестает жевать и с издевкой смотрит на сотрапезников.)*

Геликон. Конечно! Какое войско! Но если хочешь знать мое мнение, они теперь стали слишком умные и не захотят больше сражаться. Если они сделают еще большие успехи, Империя рухнет!

Калигула. Чудесно. А теперь отдохнем. Рассаживайтесь как попало, забудем о правилах этикета. А все-таки этому Руфию повезло. Ручаюсь, он не оценит этой маленькой оттяжки. Между тем несколько часов, выигранных у смерти,—что может быть дороже?

Он принимается за еду, остальные тоже. Становится очевидно, что он не умеет вести себя за столом. Он мог бы не кидать косточки от оливок в тарелки ближайших соседей, не выплевывать недожеванные кусочки мяса на блюдо, равно как и не ковырять в зубах ногтем и не скрести с такой яростью голову. Тем не менее все это он проделывает во время еды, совершенно не смущаясь. Но внезапно он перестает есть и останавливает пристальный взгляд на одном из сотрапезников, Лепиде.

Калигула *(резко)*. Ты как будто расстроен. Это потому, что я велел убить твоего сына, Лепид?

Лепид *(у него комок в горле)*. Что ты, Гай, напротив.

Калигула *(в восторге)*. Напротив! Ах, как мне нравится, когда лицо не выдает, что делается в сердце. У тебя лицо грустное. А сердце? Напротив, Лепид, не так ли?

Лепид *(решительно)*. Напротив, цезарь.

Калигула *(еще радостнее)*. Ах, Лепид, никого я так не люблю, как тебя. Давай посмеемся вместе. Расскажи мне какую-нибудь веселую историю.

Лепид *(переоценивший свои силы)*. Гай!

Калигула. Ну хорошо, тогда я расскажу. Но ты будешь смеяться, да, Лепид? *(Зловещий взгляд.)* Хотя бы ради твоего

второго сына. *(Снова весело.)* К тому же ты ведь ничем не расстроен. *(Отпивает глоток и подсказывает.)* На... Напро... Ну, Лепид!

Лепид *(устало)*. Напротив, Гай.

Калигула. Отлично. *(Пьет.)* А теперь слушай. *(Мечтательно.)* Жил на свете бедный император, которого никто не любил. А он любил Лепида и велел убить его младшего сына, чтобы вырвать эту любовь из своего сердца. *(Изменившимся тоном.)* Разумеется, это неправда. Разве не забавно? Ты не смеешься? И никто не смеется? Тогда слушайте. *(С яростным гневом.)* Я хочу, чтобы все смеялись. Ты, Лепид, и все остальные. Встаньте и смейтесь. *(Стучит кулаком по столу.)* Слышите, я хочу посмотреть, как вы смеетесь.

Все встают. Дальше эту сцену актеры, кроме Калигулы и Цезонии, могут играть как марионетки.

Калигула *(охваченный неудержимым смехом, в восторге падает на ложе)*. Нет, ты посмотри на них, Цезония. Ничего уже не осталось. Честь, достоинство, доброе имя, вековая мудрость — все это ничего больше не значит. Все исчезает перед страхом. Да, страх, Цезония, вот высокое чувство, без всяких примесей, чистое и бескорыстное, одно из немногих благородных утробных чувств. *(Он потирает себе лоб рукой и пьет. Дружелюбно.)* Теперь поговорим о другом. Херея, ты что-то молчалив.

Херея. Я буду говорить, Гай, как только ты мне это позволишь.

Калигула. Прекрасно. Тогда молчи. Я с удовольствием послушал бы нашего друга Муция.

Муций *(через силу)*. К твоим услугам, Гай.

Калигула. Ну, расскажи нам о своей жене. А для начала вели ей сесть вот сюда, слева от меня.

Жена Муция подходит к Калигуле.

Муций *(растерянно)*. Моя жена? Я ее люблю.

Все смеются.

Калигула. Разумеется, разумеется, мой друг. Но как это пошло! *(Женищина уже рядом с ним. Он рассеянно лижет ей левое плечо. Еще непринужденней.)* Кстати, когда я вошел, вы тут что-то замышляли, да? Наверно, составляли заговорчик?

Старый патриций. Калигула, как ты можешь?..

Калигула. Пустяки, моя прелесть. Старость должна перебеситься. Все это действительно пустяки. Вы неспособны на мужественный поступок. Я просто вдруг вспомнил, что должен еще уладить кое-какие государственные дела. Но сначала отдадим дань неодолимым потребностям, заложенным в нас природой. *(Встает и уводит жену Муция в соседнюю комнату.)*

СЦЕНА ШЕСТАЯ

Муций делает попытку встать.

Цезония (*любезно*). Муций, я бы выпила еще немного этого чудесного вина.

Муций, покорившись, молча наливает ей вина. Всем не по себе. Сиденья поскрипывают. Последующий разговор идет несколько натужно.

Цезония. Да, Херея! Не расскажешь ли теперь, из-за чего вы тут сражались только что?

Херея (*холодно*). Все произошло оттого, милая Цезония, что мы заспорили, следует ли поэзии быть смертоносной или нет.

Цезония. Как интересно. Конечно, это выше моего женского понимания. Но меня поражает ваша готовность драться друг с другом из-за страсти к искусству.

Херея (*тем же тоном*). Разумеется. Калигула говорил мне, что в настоящей страсти обязательно должна быть капля жестокости.

Геликон. А в любви — чуточку насилия.

Цезония (*жуя*). В этом есть доля истины. А как думают остальные?

Старый патриций. Калигула — глубокий психолог.

Первый патриций. Он очень красноречиво говорил нам о храбрости.

Второй патриций. Ему следовало бы собрать и записать все свои мысли. Это была бы бесценная книга.

Херея. Не говоря о том, что это могло бы его занять. Ведь очевидно, что он нуждается в развлечениях.

Цезония (*продолжая есть*). Вы будете рады узнать, что он об этом подумал и как раз сейчас пишет большой трактат.

СЦЕНА СЕДЬМАЯ

Входят Калигула и жена Муция.

Калигула. Муций, возвращаю тебе жену. Она снова твоя. Но прошу прощения, я должен дать кое-какие указания.

СЦЕНА ВОСЬМАЯ

Цезония (*Муцию, который остался стоять*). Мы не сомневаемся, Муций, что этот трактат превзойдет самые знаменитые сочинения.

Муций (*глядя на дверь, в которой исчез Калигула*). А о чем там речь, Цезония?

Цезония (*равнодушно*). О, этого я не понимаю.

Херея. Из чего можно заключить, что в нем говорится о смертоносной силе поэзии.

Цезония. Кажется, именно так.

Старый патриций (*радостно*). Что ж! Это может его занять, как сказал Херея.

Цезония. Да, моя прелесть. Но боюсь, что название трактата вас может смутить.

Херея. Как же он называется?

Цезония. «Меч».

СЦЕНА ДЕВЯТАЯ

Быстро входит Калигула.

Калигула. Извините меня, но государственные дела тоже не терпят отлагательств. Управитель, ты прикажешь запереть житницы. Декрет об этом я только что подписал. Ты найдешь его в спальне.

Управитель. Но...

Калигула. С завтрашнего дня начинается голод.

Управитель. Но народ будет роптать.

Калигула (*со всей резкостью и определенностью*). Я сказал, что с завтрашнего дня начинается голод. Что такое голод, всем известно: это национальное бедствие. Национальное бедствие начинается завтра... Я прекращу его, когда мне заблагорассудится. (*Объясняет присутствующим.*) В конце концов, у меня не так уж много способов доказать, что я свободен. Свободны всегда за чей-то счет. Это прискорбно, но в порядке вещей. (*Бросает взгляд на Муция.*) Возьмите, к примеру, ревность, и вы убедитесь, что я прав. (*Задумчиво.*) Хотя ревность—это так некрасиво! Страдать из-за самолюбия и слишком живого воображения! Представлять себе, как твоя жена...

Муций сжимает кулаки и хочет что-то сказать.

Калигула (*очень быстро*). За стол, господа. Известно ли вам, что мы с Геликоном работаем не покладая рук? Мы заканчиваем небольшой трактат о смертной казни, и вы скажете, что вы о нем думаете.

Геликон. В том случае, если вашего мнения спросят.

Калигула. Будем великодушны, Геликон! Откроем им наши маленькие тайны. Итак, раздел третий, параграф первый.

Геликон (*встает и декламирует механически*). «Смертная казнь приносит облегчение и освобождение. Это мера всеобъемлющая, бодрящая и справедливая как в своем применении, так и в своих целях. Люди умирают потому, что они виновны. Люди виновны потому, что они подданные Калигулы. Подданными Калигулы являются все. Следовательно, все виновны. Из чего вытекает, что все умрут. Это вопрос времени и терпения».

Калигула (*смеясь*). Что скажете? Терпение, вот драгоценная находка! Если хотите, это то, что меня больше всего в вас восхищает.

А теперь, господа, вы свободны. Херея вас больше не задерживает. Но Цезония пусть останется. И Лепид, и Октавий! А также Мерейя. Я хотел бы обсудить с вами, как идут дела в моем лупанарии. Меня это очень беспокоит.

Остальные медленно уходят. Калигула провожает глазами Муция.

СЦЕНА ДЕСЯТАЯ

Херей. К твоим услугам, Гай. Что там не ладится? Персонал плохо работает?

Калигула. Да нет, но выручка мала.

Мерейя. Надо поднять расценки.

Калигула. Мерейя, ты упустил случай помолчать. В твоём возрасте такие вещи уже неинтересны, и я твоего мнения не спрашиваю.

Мерейя. Тогда зачем ты велел мне остаться?

Калигула. Потому что мне вскоре понадобится беспристрастный совет.

Херей. Если позволишь, Гай, я дам свой пристрастный совет и скажу, что расценки менять не стоит.

Калигула. Разумеется. Но нужно же нам поправить наши финансовые дела. Я уже объяснил свой план Цезонии, она вам его изложит. А я слишком много выпил, меня клонит ко сну. *(Ложится и закрывает глаза.)*

Цезония. Все очень просто. Калигула учреждает новый орден.

Херей. Не вижу связи.

Цезония. А между тем она есть. Это будет орден «За гражданский подвиг». Его получают те граждане, которые будут чаще всех посещать лупанарий Калигулы.

Херей. Блестящая мысль.

Цезония. Мне тоже так кажется. Я забыла сказать, что эта награда будет присуждаться каждый месяц после подсчета входных билетов; гражданин, не получивший награды по истечении двенадцати месяцев, будет изгнан или казнен.

Лепид. Почему «или казнен»?

Цезония. Потому что Калигула говорит, что это не имеет значения. Важно, чтобы он мог выбирать.

Херей. Браво. Теперь казна пополнится.

Геликон. А главное — обратите внимание, каким высоконравственным способом. В конце концов, лучше взимать налог с порока, чем платить за добродетель, как делается в республиканских государствах.

Калигула приоткрывает глаза и смотрит на старика Мерейю, который, стоя в сторонке, достаёт какую-то скляночку и отпивает из нее глоток.

Калигула *(лежа)*. Что ты пьешь, Мерейя?

Мерейя. Это от астмы, Гай.

Калигула *(подходит к нему, заставляя остальных расступиться, и принимает)*. Нет, это противоядие.

Мерейя. Да нет, Гай. Ты шутишь. Я задыхаюсь по ночам и давно лечусь.

Калигула. Значит, ты боишься отравы?

Мерейя. Моя астма...

Калигула. Нет. Назовем вещи своими именами: ты боишься, что я тебя отравлю. Ты меня подозреваешь. Ты следишь за мной.

Мерейя. Да нет же, клянусь всеми богами!

Калигула. Ты мне не доверяешь. Так или иначе, ты защищаешься от меня.

Мерейя. Гай!

Калигула (*грубо*). Отвечай. (*С математической неопровержимостью.*) Если ты принимаешь противоядие, следовательно, ты приписываешь мне намерение отравить тебя.

Мерейя. Да... то есть... нет.

Калигула. И полагая, будто я принял решение отравить тебя, ты делаешь все, чтобы воспротивиться моей воле.

Наступает молчание. Цезония и Херея отошли в глубь сцены с началом этого разговора; одии Лепид с тревогой к нему прислушивается.

Калигула (*рассуждает еще более последовательно*). Итак, у нас два преступления и альтернатива, которой ты не сможешь избежать: либо я не хотел тебя убивать, и ты меня подозреваешь несправедливо, меня, твоего императора. Либо я этого хотел, и ты, козявка, противишься моим замыслам. (*Пауза. Калигула смотрит на старика с удовлетворением.*) Ну, Мерейя, как тебе такая логика?

Мерейя. Она... она безупречна, Гай. Но к моему случаю она не приложима.

Калигула. И третье преступление: ты считаешь меня идиотом. Теперь слушай. Из этих трех преступлений одно — второе — делает тебе честь. Коль скоро ты предполагаешь, что я принял какое-то решение, и противодействуешь ему, значит, ты бунтовщик. Ты предводитель восстания, революционер. Это прекрасно. (*С грустью.*) Я очень люблю тебя, Мерейя. Поэтому ты будешь осужден за свое второе преступление, а не за остальные. Ты умрешь как мужчина — за бунт.

Во время этой речи Мерейя все больше съезживается в своем кресле.

Калигула. Не благодари меня. Это вполне естественно. Возьми. (*Протягивает ему флакон и предлагает любезно.*) Выпей этот яд.

Мерейя трясется от рыданий и отчаянно мотает головой.

Калигула (*теряя терпение*). Ну же, скорей.

Мерейя пытается убежать. Калигула одним тигринным прыжком настигает его на середине сцены, бросает на низенькую скамеечку и после нескольких секунд борьбы протискивает ему флакон между зубами и разбивает флакон кулаком. Подергавшись в судорогах, Мерейя умирает; его лицо залито слезами и кровью. Калигула встает и машинально отирает руки.

Калигула (*Цезонии, подавая ей осколок склянки, которую носил с собой Мерейя*). Что это такое? Противоядие?

Цезония (*спокойно*). Нет, Калигула. Лекарство от астмы.

Калигула (*помолчав, глядя на Мерейю*). Все равно. Какая разница? Немного раньше, немного позже...

Внезапно уходит — с озабоченным видом, не переставая вытирать руки.

СЦЕНА ОДИНАДЦАТАЯ

Лепид (*совершенно подавленный*). Что теперь делать?

Цезония (*просто*). Я думаю, прежде всего убрать тело. Уж очень оно безобразно!

Херея и Лепид поднимают тело и уносят его за кулисы.

Лепид (Херее). Надо спешить.
Херее. Нас должно набраться человек двести.

Входит Сципион. Заметив Цезонию, делает шаг к выходу.

СЦЕНА ДВЕНАДЦАТАЯ

Цезония. Иди сюда.

Сципион. Что тебе нужно?

Цезония. Подойди поближе. *(Берет его за подбородок и смотрит ему в глаза. Пауза. Холодно.)* Он убил твоего отца?

Сципион. Да.

Цезония. Ты его ненавидишь?

Сципион. Да.

Цезония. Ты хочешь его убить?

Сципион. Да.

Цезония *(отпуская его)*. Тогда почему ты мне это говоришь?

Сципион. Потому что я никого не боюсь. Убить его или погнать самому — это только разные способы со всем покончить. И потом, ты меня не выдашь.

Цезония. Ты прав, я тебя не выдам. Но я хочу тебе кое-что сказать — вернее, я хотела бы поговорить с тем, что есть лучшего в тебе.

Сципион. Лучшее во мне — моя ненависть.

Цезония. И все же выслушай меня. То, что я хочу тебе сказать, одновременно и непостижимо, и очевидно. Но будь это слово услышано по-настоящему, оно совершило бы ту единственную революцию, которая способна окончательно перевернуть этот мир.

Сципион. Так скажи его.

Цезония. Не сразу. Подумай сначала о перекошенном болью лице твоего отца, когда у него вырывали язык. Подумай об этом рте, наполненном кровью, об этом крике терзаемого животного.

Сципион. Да.

Цезония. Теперь подумай о Калигуле.

Сципион *(со всей ненавистью в голосе)*. Да.

Цезония. А теперь слушай: попытайся его понять. *(Уходит, оставив Сципиона в растерянности.)*

Входит Геликон.

СЦЕНА ТРИНАДЦАТАЯ

Геликон. Калигула идет сюда. Вы не собираетесь обедать, поэт?

Сципион. Геликон! Помоги мне.

Геликон. Это небезопасно, голубка моя. К тому же я ничего не понимаю в стихах.

Сципион. Ты мог бы мне помочь. Ты так много знаешь.

Геликон. Я знаю, что дни уходят и что надо торопиться поесть. Еще я знаю, что ты мог бы убить Калигулу... и что он был бы не против.

Входит Калигула. Геликон уходит.

СЦЕНА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Калигула. А, это ты. *(Останавливается в нерешительности, не зная, как себя держать.)* Я давно тебя не видел. *(Медленно идет к нему.)* Что подельываешь? Не бросил писать? Покажешь мне свои последние сочинения?

Сципион *(ему тоже не по себе; его раздирают между собой ненависть и какое-то другое, непонятное ему самому чувство)*. Я написал несколько стихотворений, цезарь.

Калигула. О чем?

Сципион. Не знаю, цезарь. Наверное, о природе.

Калигула *(свободнее)*. Прекрасный сюжет. И обширный. Что тебе дает природа?

Сципион *(берет себя в руки, саркастично и зло)*. Она утешает меня в том, что я не цезарь.

Калигула. А! Как по-твоему, она могла бы утешить меня в том, что я цезарь?

Сципион *(тем же тоном)*. Право же, она излечивала и более глубокие раны.

Калигула *(удивительно просто)*. Раны? Ты сказал это со злобой. Это потому, что я убил твоего отца? Но если бы ты знал, какое это точное слово. Рана! *(Другим тоном.)* Только ненависть делает людей умнее.

Сципион *(ледяным голосом)*. Я ответил на твой вопрос о природе.

Калигула садится, смотрит на Сципиона, потом вдруг берет его за руки и с силой притягивает к себе, усаживая у своих ног. Сжимает его лицо в ладонях.

Калигула. Прочти мне свое стихотворение.

Сципион. Нет, цезарь, прошу тебя.

Калигула. Почему?

Сципион. У меня его нет с собой.

Калигула. Ты его не помнишь наизусть?

Сципион. Нет.

Калигула. Скажи хотя бы, о чем оно.

Сципион *(так же напряженно и словно нехотя)*. Я в нем говорил...

Калигула. Да?

Сципион. Нет, не помню...

Калигула. Попробуй...

Сципион. Я говорил о тайном согласии между землей...

Калигула *(перебивает, будто погруженный в свои мысли)*. ...между землей и ступнями...

Сципион *(он озадачен; поколебавшись, продолжает)*. Да, пожалуй, так...

Калигула. Продолжай.

Сципион. ...и об очертаниях римских холмов, и о том быстротечном и щемящем умиротворении, что приносит с собой вечер...

Калигула. ...о криках стрижей в зеленом небе.

Сципион *(понемногу оттаивая)*. Да, и об этом.

Калигула. Дальше.

Сципион. И о хрупком миге, когда небо, еще все в золоте, внезапно поворачивается и открывает нам обратную свою сторону, усеянную сверкающими звездами.

Калигула. О том запахе дыма, деревьев и реки, что земля шлет тогда навстречу ночи...

Сципион *(в экстазе)*. ...звенят цикады, дневной жар спадает, и собаки, и скрип запоздалых повозок, и голоса крестьян...

Калигула. ...и дороги покрываются тенью под самшитом и оливами...

Сципион. Да, да, все верно! Но почему ты догадался?

Калигула *(прижимает Сципиона к себе)*. Не знаю. Может быть, потому, что нам дороги одни и те же истины.

Сципион *(вздрагивает и прячет лицо на груди Калигулы)*. Ах, не все ли равно, если я повсюду вижу один только лик любви!

Калигула *(глядя его по голове)*. Это свойственно великим сердцам, Сципион! Если б мне было дано познать такую незамутненность души! Но я слишком хорошо знаю, как сильна моя жадность к жизни, природа ее не утолит. Ты не можешь этого понять. Ты из другого мира. Ты без остатка принадлежишь добру, как я — злу.

Сципион. Я могу понять.

Калигула. Нет. Во мне что-то такое — безмолвный омут, гниющие водоросли... *(Внезапно изменившимся голосом.)* Наверно, твоё стихотворение прекрасно. Но если хочешь знать мое мнение...

Сципион *(в той же позе)*. Да.

Калигула. Все это страдает малокровием.

Сципион резко откидывается назад и с ужасом смотрит на Калигулу. Он говорит глухим голосом, отстраняясь все дальше от Калигулы и напряжению в него вглядываясь.

Сципион. О чудовище, гнусное чудовище. Ты опять ломал комедию. Ты ломал комедию только что, да? И ты собой доволен?

Калигула *(с легкой грустью)*. В том, что ты говоришь, есть правда. Я ломал комедию.

Сципион *(тем же тоном)*. Какое у тебя, наверно, подлое и кровавое сердце. Столько злобы и ненависти — как они, наверно, тебя терзают!

Калигула *(мягко)*. Довольно, замолчи.

Сципион. Как мне тебя жалко и как я тебя ненавижу!

Калигула *(с гневом)*. Замолчи.

Сципион. И в каком же мерзком одиночестве ты, наверно, живешь!

Калигула *(взорвавшись, бросается на него, хватая за шиворот и трясет)*. Одиночество! Разве ты его испытал? Одиночество поэтов и художников. Одиночество? Какое? Ты не знаешь, что человек никогда не остается один! Что весь груз будущего и прошлого повсюду с нами! С нами те, кого мы убили. И это еще не самое трудное. Но с нами и те, кого мы любили, кого не любили и кто любил нас, раскаянье, желания, горечь и нежность, шлюхи и вся шайка богов. *(Отпускает его и возвраща-*

ется на свое место.) Побывать одному! О, если бы я только мог погрузиться в одиночество, но не в мое, отравленное присутствием других, а в настоящее, в тишину и трепет дерева! *(Садится, внезапно охваченный усталостью.)* Одиночество! Нет, Сципион. Оно пронизано скрежетом зубовым и все звенит умолкнувшими звуками и голосами. И подле женщин, которых я ласкаю, когда нас окутывает ночь и я, отделившись от своей наконец-то насытившейся плоти, надеюсь между жизнью и смертью побывать хоть немного самим собой, мое одиночество заполняется до краев едким запахом наслаждения под мышками у женщины, дремлющей рядом со мной.

Он как будто выдохся. Долгое молчание.

Сципион заходит Калигуле за спину и неуверенно приближается к нему. Протягивает к Калигуле руку и кладет ему на плечо. Калигула, не оборачиваясь, накрывает его руку своей.

Сципион. У каждого человека есть какая-то отрада в жизни. Она не дает все бросить. Ее зовут на помощь, когда выбиваются из сил.

Калигула. Это правда, Сципион.

Сципион. Неужели в твоей жизни нет ничего такого? Закипающих слез, тихого убежища?

Калигула. Пожалуй, есть.

Сципион. Что же это?

Калигула *(медленно)*. Презрение.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

СЦЕНА ПЕРВАЯ

За закрытым занавесом звуки барабана и тарелок. Занавес поднимается, открывая что-то вроде ярмарочного балагана. В центре задернутая занавеска; перед ней на небольшом помосте Геликон и Цезония. По обе стороны от них музыканты с инструментами. На скамьях спиной к зрителям сидят несколько сенаторов и Сципион.

Геликон (*голосом ярмарочного зазывалы*). Подходите! Подходите!

Тарелки.

Боги снова спустились на землю. Гай, цезарь и бог, известный под именем Калигулы, ссудил им свое человеческое обличье. Подходите, обыкновенные смертные, священное чудо совершается на ваших глазах. По особой милости к благословенному царствованию Калигулы божественные тайны открываются всем и каждому.

Тарелки.

Цезония. Подходите, господа! Поклоняйтесь и платите сколько можете. Небесная мистерия сегодня всем по карману.

Тарелки.

Геликон. Олимп и его закулисная жизнь, его интриги и слезы, его обитатели запросто, по-домашнему. Подходите! Подходите! Вся правда о ваших богах!

Тарелки.

Цезония. Поклоняйтесь и платите деньги. Подходите, господа! Представление начинается.

Тарелки. Рабы бегают взад и вперед, вынося на помост разные предметы.

Геликон. Потрясающее воссоздание истины, предпринятое впервые. Силы небесные показываются здесь, на земле, во всем их великолепии, захватывающее, невиданное зрелище: молния

(рабы зажигают греческий огонь), гром (катят бочонок с камнями), сама судьба в своем триумфальном шествии! Подходите и смотрите!

Отдергивает занавеску, за которой предстает Калигула на пьедестале, переодетый шутовской Венерой.

Калигула (любезно). Сегодня я — Венера.

Цезония. Обряд поклонения начинается. На колени.

Все, кроме Сципiona, опускаются на колени.

И повторяйте за мной священную молитву Калигуле-Венере: Богиня скорби и пляски...

Патриции. Богиня скорби и пляски...

Цезония. Рожденная из волн, вся липкая и горькая от соли и пены морской...

Патриции. Рожденная из волн, вся липкая и горькая от соли и пены морской...

Цезония. Ты, подобная улыбке и сожалению...

Патриции. Ты, подобная улыбке и сожалению...

Цезония. ...обиде и восторгу...

Патриции. ...обиде и восторгу...

Цезония. Научи нас равнодушию, возрождающему любовь...

Патриции. Научи нас равнодушию, возрождающему любовь...

Цезония. Наставь нас в истине этого мира, гласящей, что ее в нем нет...

Патриции. Наставь нас в истине этого мира, гласящей, что ее в нем нет...

Цезония. И ниспосли нам силы жить достойно этой несравненной истины...

Патриции. И ниспосли нам силы жить достойно этой несравненной истины...

Цезония. Пауза!

Патриции. Пауза!

Цезония (продолжает). Осыпь нас своими дарами, осени наши лица своей беспристрастной жестокостью, своей неподвзтой ненавистью, кидай нам в глаза полные пригоршни цветов и убийств.

Патриции. ...полные пригоршни цветов и убийств.

Цезония. Прими своих заблудших чад. Впусти их в суровый приют своей равнодушной и мучительной любви. Надели нас своими страстями без предмета, печалью без причины и радостями без будущего...

Патриции. ...и радостями без будущего...

Цезония (очень громко). О ты, такая опустошенная и палящая, бесчеловечная, но земная, опои нас вином своего безразличия и заключи нас навеки в свое мрачное и грязное сердце.

Патриции. Опои нас вином своего безразличия и заключи нас навеки в свое мрачное и грязное сердце.

Когда патриции заканчивают последнюю фразу, Калигула, до того неподвижный, громко фыркает и возглашает трубным голосом.

Калигула. Да будет так, дети мои, ваши молитвы исполнятся. Садится по-турецки на пьедестале. Патриции по очереди преклоняют перед ним колени и протягивают монету; потом собираются в правом углу сцены, прежде чем уйти. Последний из них в смятении забывает дать монетку и отходит. Но Калигула рывком вскакивает на ноги.

Калигула. Эй! Эй! Поди-ка сюда, мой мальчик. Поклоняться—это прекрасно, но давать деньги—еще лучше. Спасибо. Вот и хорошо. Если бы боги не имели других сокровищ, кроме любви смертных, они были бы так же бедны, как бедный Калигула. А теперь, господа, вы можете разойтись и поведать городу об удивительном чуде, при котором вам довелось присутствовать. Вы видели Венеру, в прямом смысле слова видели, своими плотскими очами, и Венера говорила с вами. Идите, господа.

Патриции собираются уходить.

Минутку! Идите через левый выход. У правого я поставил солдат, им приказано вас убить.

Патриции поспешно уходят беспорядочной толпой. Рабы и музыканты исчезают со сцены.

СЦЕНА ВТОРАЯ

Геликон грозит Сципиону пальцем.

Геликон. Так ты еще и анархист, Сципион!

Сципион. Ты совершил кощунство, Гай.

Геликон. Что бы это могло значить?

Сципион. Ты залил кровью землю, а теперь пачкаешь грязью небо.

Геликон. Этот молодой человек обожает громкие слова. *(Растягивается на кушетке.)*

Цезония *(очень спокойно)*. Какой ты горячий, мой мальчик. В эту минуту в Риме люди умирают за выражения куда менее красноречивые.

Сципион. Я решил сказать Гаю правду.

Цезония. Что ж, Калигула, моралист—как раз этого благородного персонажа твоему царствованию не хватало.

Калигула *(заинтересован)*. Значит, ты веришь в богов, Сципион?

Сципион. Нет.

Калигула. Тогда я не понимаю, почему ты так пылко обличаешь кощунство.

Сципион. Я могу не разделять каких-то убеждений, но это не значит, что я обязан их осквернять или отнимать у других право их иметь.

Калигула. Вот это называется скромность, настоящая скромность! Ах, дорогой Сципион, как я рад за тебя. И знаешь, немножко завидую. Ведь это единственное свойство, которого у меня, наверно, никогда не будет.

Сципион. Ты завидуешь не мне, а самим богам.

Калигула. Если позволишь, это останется великой тайной моего царствования. Все, в чем меня сегодня можно упрекнуть,—

это в том, что я еще немного продвинулся на пути к могуществу и свободе. Человека, который любит власть, соперничество богов раздражает. Я с ним покончил. Я доказал этим мнимым богам, что если у человека есть воля, то он может справиться с их жалким ремеслом без подготовки.

Сципион. Это и есть кощунство, Гай.

Калигула. Нет, Сципион, это прозорливость. Я просто понял, что есть только один способ сравняться с богами: достаточно быть столь же жестоким.

Сципион. Достаточно стать тираном.

Калигула. Что такое тиран?

Сципион. Слепая душа.

Калигула. Это еще надо доказать, Сципион. Тиран—это тот, кто приносит целые народы в жертву своим идеалам или своему честолюбию. Идеалов у меня нет, а что касается почестей и власти, то тут мне больше нечего домогаться. Властью я пользуюсь, чтобы вознаградить себя.

Сципион. За что?

Калигула. За тупость и злобу богов.

Сципион. Злоба не может вознаградить за злобу. Власть таких задач не решает. А я знаю только одно средство противостоять враждебности мира.

Калигула. Какое же?

Сципион. Бедность.

Калигула (*обстригая себе ногти на ногах*). Надо будет и его попробовать.

Сципион. А пока множество людей умирает вокруг тебя.

Калигула. На самом деле совсем немного, Сципион. Ты знаешь, от скольких войн я отказался?

Сципион. Нет.

Калигула. От трех. А знаешь, почему я отказался?

Сципион. Потому что тебе наплевать на величие Рима.

Калигула. Нет, потому что я уважаю человеческую жизнь.

Сципион. Ты издеваешься надо мной, Гай.

Калигула. Или по крайней мере я уважаю ее больше, чем лавры завоевателя. Правда, чужую жизнь я уважаю не больше, чем свою собственную. И если мне легко убивать, то потому, что мне и умереть нетрудно. Нет, чем больше я об этом размышляю, тем больше убеждаюсь, что я не тиран.

Сципион. Какая разница, будь ты тираном, нам это обошлось бы не дороже.

Калигула (*начинает терять терпение*). Если бы ты умел считать, то сообразил бы, что самая ничтожная война, затеянная здравомыслящим тираном, обошлась бы вам в тысячу раз дороже моих причуд.

Сципион. Но она была бы доступна здравому смыслу. А главное—это чтобы можно было понять.

Калигула. Судьбу понять нельзя, вот почему я и решил сам занять место судьбы. Я принял тупое и непостижимое обличье богов. Этому твои недавние сотоварищи и учились только что поклоняться.

Сципион. Это и есть кощунство, Гай.

Калигула. Нет, Сципион, это драматическое искусство. Ошибка всех этих людей состоит в том, что они недостаточно верят в театр. Иначе они бы знали, что разыгрывать небесные трагедии и превращаться в бога позволено каждому. Надо только вырвать всякую жалость из сердца.

Сципион. Возможно, так оно и есть, Гай. Но если это правда, тогда, я думаю, ты сделал все необходимое для того, чтобы однажды вокруг тебя поднялись легионы таких же неутомимых земных богов и утопили в крови твое собственное божество на час.

Цезония. Сципион!

Калигула (*отрывисто и резко*). Оставь, Цезония. Ты сам не знаешь, как верно ты сказал, Сципион: я сделал все необходимое. Я с трудом представляю себе тот миг, о котором ты говоришь. Но иногда я о нем мечтаю. И во всех лицах, которые выступают из глубины этой горькой ночи, в их искаженных ненавистью и тревогой чертах я и вправду с восторгом узнаю того единственного бога, которому поклонялся на этой земле: бога жалкого и подлого, как человеческое сердце. (*Раздраженно.*) А теперь уходи. Ты и так сказал слишком много. (*Другим тоном.*) А мне еще надо покрасить ногти на ногах. Это нельзя откладывать.

Все уходят, кроме Геликона, который бродит вокруг Калигулы, сосредоточенно красящего себе ногти.

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Калигула. Геликон!

Геликон. Что?

Калигула. Продвигается твоя работа?

Геликон. Какая работа?

Калигула. Как! А луна!

Геликон. Двигается понемногу. Надо только потерпеть. Но я хотел с тобой поговорить.

Калигула. Терпения у меня, может быть, и хватит, но не времени. Надо спешить, Геликон.

Геликон. Я же сказал тебе, что буду стараться. Но сначала мне надо сообщить тебе важные вещи.

Калигула (*как будто не слыша*). Заметь, что она уже была моей.

Геликон. Кто?

Калигула. Луна.

Геликон. Ну да, конечно. Ты знаешь, что готовится покушение на твою жизнь?

Калигула. Она была совсем моей. Правда, только два или три раза. Но все-таки она была моей.

Геликон. Я уже давно пытаюсь с тобой поговорить.

Калигула. Это было прошлым летом. Я смотрел на нее и ласкал ее на колоннах сада, и она наконец поняла.

Геликон. Оставим эти игры, Гай. Пускай ты не желаешь меня слушать, все равно, мое дело—сказать. Если ты не обращаешь внимания, тем хуже.

Калигула (*продолжает тщательно красить ногти на ногах*). Этот лак никуда не годится. Да, так вернемся к луне. Это случилось в чудесную августовскую ночь.

Геликон с досадой отворачивается и молчит, застыв на месте.

Сперва она немного пококетничала. Я уже лег. Сначала она была совершенно кровавая и стояла прямо над горизонтом. Потом начала подниматься все быстрее и становилась все легче. Чем выше она поднималась, тем делалась светлее. Она была как молочное-белое озеро во тьме, полной мерцающих звезд. И наконец она явилась в жарком дыхании ночи, нежная, легкая и нагая. Она миновала порог спальни, неспешно и уверенно приблизилась к моей постели и заструилась в нее, обливая меня своей улыбкой и своим сиянием. Этот лак решительно никуда не годится. Вот видишь, Геликон, я могу сказать, не хвастая, что она была моей.

Геликон. Хочешь ты меня выслушать и узнать, что тебе угрожает?

Калигула (*перестает красить ногти и пристально смотрит на него*). Я хочу только луну, Геликон. Я знаю заранее, откуда придет смерть. Но я еще не исчерпал всего, что заставляет меня жить. Поэтому я хочу луну. И не появляйся здесь, пока не достанешь мне ее.

Геликон. Что ж, я исполню свой долг и скажу то, что обязан сказать. Против тебя составлен заговор. Во главе его Херея. Мне удалось перехватить эту табличку, из которой ты можешь узнать самое главное. Я кладу ее вот сюда.

Геликон кладет восковую табличку на кресло и идет к выходу.

Калигула. Куда ты, Геликон?

Геликон (*с порога*). За луной для тебя.

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

Кто-то скребется в другую дверь. Калигула резко поворачивается и замечает старого патриция.

Старый патриций (*нерешительно*). Можно, Гай?

Калигула (*нетерпеливо*). Ну, входи. (*Глядя на него.*) Значит, мы пришли еще раз посмотреть на Венеру, моя прелесть!

Старый патриций. Нет, дело не в этом. Тсс! О, прости, Гай... Я хочу сказать... Ты знаешь, как я тебя люблю... И потом, единственное, чего я прошу,—это спокойно дожить свои дни...

Калигула. Короче! Короче!

Старый патриций. Да, хорошо. Итак... (*Скороговоркой.*) Это очень серьезно, вот и все.

Калигула. Нет, это не очень серьезно.

Старый патриций. Что несерьезно, Гай?

Калигула. А о чем мы говорим, радость моя?

Старый патриций (*озираясь*). О том... (*Мнется и наконец выпаливает.*) Против тебя заговор...

Калигула. Вот видишь, я же говорил, что это вовсе не серьезно.

Старый патриций. Гай, они хотят тебя убить.

Калигула (*подходит к нему и берет его за плечи*). Знаешь, почему я не могу тебе поверить?

Старый патриций (*с клятвенным жестом*). Призываю всех богов, Гай...

Калигула (*мягко, потихоньку подталкивая его к выходу*). Не клянись, главное, не клянись. Лучше послушай. Если то, что ты говоришь, правда, то я должен предположить, что ты предаешь своих друзей, не так ли?

Старый патриций (*немного растерян*). Но моя любовь к тебе, Гай...

Калигула (*тем же тоном*). А я не могу этого предположить. Я так презираю всякую подлость, что не смогу удержаться и непременно велю казнить предателя. Я-то хорошо знаю, что ты за человек. Конечно, ты не намерен ни предавать, ни умирать.

Старый патриций. Конечно, конечно, Гай!

Калигула. Вот видишь, я был прав, что тебе не поверил. Ты ведь не подлец, правда?

Старый патриций. О нет...

Калигула. И не предатель?

Старый патриций. Это само собой разумеется, Гай.

Калигула. И следовательно, никакого заговора нет. Это была просто шутка, скажи?

Старый патриций (*сбитый с толку*). Шутка, обыкновенная шутка...

Калигула. По всей очевидности, никто не собирается меня убивать?

Старый патриций. Никто, конечно, никто.

Калигула (*глубоко вздыхает и продолжает медленно*). Тогда исчезни, моя прелесть. Человек чести—такое редкое животное в этом мире, что слишком долго лицезреть его мне трудно. Мне нужно побыть одному, чтобы прочувствовать как следует этот чудесный миг.

СЦЕНА ПЯТАЯ

Какое-то время Калигула, не двигаясь, глядит на табличку. Потом берет ее и читает. Переводит дыхание и зовет стражника.

Калигула. Приведи Херею.

Стражник идет к выходу.

Постой.

Стражник останавливается.

Будь с ним почтителен.

Стражник уходит.

Калигула меряет зал шагами. Потом идет к зеркалу.

Калигула. Ты решил быть логичным, идиот. Остается только узнать, до какого предела. (*С иронией*.) Если бы тебе принесли луну, все бы изменилось, да? Невозможное стало бы

возможно, и все преобразилось бы разом, в один миг. Почему бы и нет, Калигула? Как знать? (*Озирается кругом.*) Все меньше людей вокруг меня, как странно. (*Глядя в зеркало, глухим голосом.*) Слишком много мертвых, слишком много мертвых. Какая от этого пустота! Даже если бы мне принесли луну, я уже не мог бы вернуться назад. Даже если мертвые снова зашевелились бы под ласками солнца, убийства оттого не ушли бы обратно под землю. (*С яростью.*) Логика, Калигула, надо твердо держаться логики. Безграничная власть, безграничная верность своей судьбе. Нет, назад не возвращаются, надо идти до конца!

Входит Херея.

СЦЕНА ШЕСТАЯ

Калигула, туго завернувшись в плащ, откidyвается на спинку кресла. Вид у него измученный.

Херея. Ты меня звал, Гай?

Калигула (*слабым голосом*). Да, Херея. Стража! Факелов!

Молчание.

Херея. Ты хотел мне что-то сказать?

Калигула. Нет, Херея.

Молчание.

Херея (*чуть раздраженно*). Ты уверен, что мое присутствие необходимо?

Калигула. Совершенно уверен, Херея. (*Снова молчание. Потом неожиданно торопливо.*) Извини меня. Я рассеян и плохо тебя принимаю. Садись вот сюда, в это кресло, и побеседуем по-дружески. Мне нужно поговорить немного с умным человеком. Херея садится. Едва ли не впервые с начала пьесы он держится непринужденно.

Как ты думаешь, Херея, могут два человека, равные духом и гордостью, хоть однажды в жизни поговорить с открытым сердцем, словно обнажившись друг перед другом, сбросив с себя всю ложь, все предрассудки, все тайные расчеты, которыми живут?

Херея. Я считаю, что это возможно, Гай. Но думаю, ты на это не способен.

Калигула. Ты прав. Я только хотел узнать, сходимся ли мы во мнениях. Что ж, наденем маски. Вооружимся каждый своей ложью. Покроемся для беседы, как для боя, щитами и латами. Херея, почему ты меня не любишь?

Херея. Потому что тебя не за что любить, Гай. Потому что в таких вещах приказывать бесполезно. И еще потому, что я слишком хорошо тебя понимаю. Нельзя любить ту часть своей души, которую стараешься утаить от себя самого.

Калигула. За что ты меня ненавидишь?

Херея. Тут ты ошибаешься, Гай. Ненависти к тебе у меня нет. Я считаю тебя опасным и жестоким, эгоистичным и тщеславным. Но я не могу тебя ненавидеть, потому что ты не

кажешься мне счастливым. И я не могу тебя презирать, потому что знаю — ты не трус.

Калигула. Тогда почему ты хочешь меня убить?

Херей. Я уже сказал: я считаю тебя опасным. Мне дорого и необходимо надежное благополучие. Большинство людей устроено так же. Они не способны жить в таком мире, где самая бредовая идея может в любую минуту стать явью и войти в их жизнь — а чаще всего и входит, как нож в сердце. Я тоже не хочу жить в таком мире. Предпочитаю твердую почву под ногами.

Калигула. Благополучие не в ладах с логикой.

Херей. Согласен. Это взгляд не логичный, зато здоровый.

Калигула. Продолжай.

Херей. Мне больше нечего сказать. Я не хочу вникать в твою логику. У меня другие понятия о своем человеческом долге. Я знаю, что большинство твоих подданных думают так же, как я. Ты всем мешаешь. Значит, ты должен исчезнуть.

Калигула. Очень ясно и вполне оправданно. Для большинства людей это просто самоочевидно. Но не для тебя. Ты многое понимаешь, а за понимание надо дорого платить — или отказаться от него. Я плачу. Почему же ты и не отказываешься, и не хочешь платить?

Херей. Потому что я хочу жить и быть счастливым. А ни того, ни другого не добиться, если доводить логику до абсурда со всеми его последствиями. Я обыкновенный человек. Порой это меня тяготит, и тогда я желаю смерти тем, кого люблю, страстно мечтаю о женщинах, которые для меня запретны по законам семьи или дружбы. Если быть логичным, я должен в таких случаях убивать и брать женщин. Но я считаю, что эти смутные порывы значения не имеют. Если бы все принялись их осуществлять, мы не могли бы ни жить, ни быть счастливыми. А для меня, повторяю, имеет значение именно это.

Калигула. Тогда ты должен верить в высокие идеалы.

Херей. Я верю в то, что одни поступки благороднее других.

Калигула. А по мне, они все равноценны.

Херей. Я знаю, Гай, поэтому и не могу тебя ненавидеть. Но ты мешаешь и должен исчезнуть.

Калигула. Справедливо. Только зачем объявлять мне об этом и рисковать своей жизнью?

Херей. Затем, что другие встанут на мое место, и затем, что я не люблю лгать.

Молчание.

Калигула. Херей!

Херей. Да, Гай.

Калигула. Как ты думаешь, могут два человека, равные духом и гордостью, хоть однажды в жизни поговорить с открытым сердцем?

Херей. Я думаю, это мы с тобой и сделали только что.

Калигула. Да, Херей. А ведь ты считал, что я на это не способен.

Херей. Я был не прав, Гай, сознаюсь и благодарю тебя. А теперь я жду твоего приговора.

Калигула (*рассеянно*). Моего приговора? А! Ты имеешь в виду... (*Достает табличку из-под плаща.*) Ты знаешь, что это такое, Херея?

Херея. Я знал, что она в твоих руках.

Калигула (*пылко*). Да, ты знал, Херея, и сама твоя прямота была притворством. Два человека так и не поговорили с открытым сердцем. Впрочем, это неважно. А теперь отбросим игру в откровенность и снова будем жить как раньше. Тебе предстоит еще попытаться понять, что я скажу, и вытерпеть мои оскорбления и капризы. Слушай, Херея. Эта табличка—единственное доказательство.

Херея. Я уйду, Гай. Все это зловещее кривлянье мне надоело. Я его слишком хорошо знаю и больше не хочу на него смотреть.

Калигула (*столь же пылко и настойчиво*). погоди. Это единственное доказательство, так?

Херея. Едва ли тебе нужны доказательства, чтобы отправить человека на казнь.

Калигула. Верно. Но на сей раз я хочу изменить себе. Это никому не помешает. А изменить себе время от времени так приятно. Это дает отдых. Я нуждаюсь в отдыхе, Херея.

Херея. Не понимаю, и вообще я не ценитель таких изгибов.

Калигула. Разумеется. Ты-то, Херея, человек здоровый. У тебя нет непомерных желаний! (*Заливаясь смехом.*) Ты хочешь жить и быть счастливым. Всего-навсего!

Херея. Думаю, нам лучше на этом кончить.

Калигула. Нет еще. Чутьочку терпения, хорошо? Смотри, вот я держу это доказательство. Я воображаю, что без него не могу вас казнить. В этом моя прихоть и мой отдых. А теперь гляди, во что обращаются доказательства в руках императора.

Подносит табличку к факелу. Херея подходит ближе. Между ними факел. Табличка тает.

Калигула. Видишь, заговорщик! Она тает, и, по мере того как исчезает это доказательство, заря невинности занимается на твоём лице. У тебя чудесные, чистые черты, Херея. Как прекрасен невинный человек, как прекрасен! Оцени мое могущество. Самим богам не дано возвращать невинность, не послав сначала кары. А твоему императору потребовался только язычок пламени, чтобы сделать тебя снова безгрешным и бесстрашным. Продолжай, Херея, доведи до конца великолепные рассуждения, которые я от тебя услышал. Твой император ждет отдыха. Это его собственный способ жить и быть счастливым.

Херея тупо смотрит на Калигулу. Делает едва заметное движение, словно понял, открывает рот, чтобы заговорить,—и внезапно уходит. Калигула все держит табличку над огнем и, улыбаясь, провожает Херею взглядом.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Сцена погружена в полумрак. Входят Херея и Сципион. Херея идет направо, потом налево и возвращается к Сципиону.

Сципион (*с замкнутым выражением*). Чего ты от меня хочешь?

Херея. Время торопит. Мы должны быть тверды в том, что задумали.

Сципион. Кто тебе сказал, что я не тверд?

Херея. Ты не пришел на нашу вчерашнюю встречу.

Сципион (*отворачиваясь*). Это правда, Херея.

Херея. Сципион, я старше тебя и не привык просить помощи. Но ты мне действительно нужен. Ответственность за такое убийство должны взять на себя люди, достойные уважения. В этой возне уязвленных самолюбий и низких страхов чистые побуждения только у нас с тобой. Я знаю, если ты нас и покинешь, то ничего не выдашь. Но не в этом дело. Я хочу, чтобы ты был с нами.

Сципион. Понимаю. Но клянусь тебе, я не могу.

Херея. Значит, ты с ним?

Сципион. Нет. Но я не могу быть против него. (*Молчит, потом глухо.*) Если бы я его убил, мое сердце все равно осталось бы с ним.

Херея. Ведь он убил твоего отца!

Сципион. Да, с этого все начинается. Но на этом все и кончается.

Херея. Он отрицает то, что ты признаешь. Он глумится над тем, чему ты поклоняешься.

Сципион. Это правда, Херея. Но во мне есть что-то похожее на него. Одно и то же пламя сжигает нам душу.

Херея. Бывают минуты, когда надо выбирать. Я заставил замолчать в себе то, что могло быть на него похоже.

Сципион. Я не могу выбирать, потому что, кроме своей боли,

я чувствую еще и его боль. Несчастье мое в том, что я все понимаю.

Херея. Значит, твой выбор — признать его правым.

Сципион *(на крике)*. О, поверь, Херея, я больше никого, никого никогда не признаю правым!

Пауза. Смотрят друг на друга.

Херея *(с волнением, подходя к Сципиону)*. Пожалуй, я ненавижу его еще сильнее за то, что он с тобой сделал.

Сципион. Он научил меня требовать бесконечного.

Херея. Нет, Сципион, он отнял у тебя надежду. А отнимать надежду у юной души — преступление тяжелее всех, что он совершил до сих пор. Клянусь тебе, этого одного мне достаточно, чтобы дать волю гневу и убить его. *(Направляется к выходу.)*

Входит Геликон.

СЦЕНА ВТОРАЯ

Геликон. Я тебя искал, Херея. Калигула устраивает здесь вечеринку для друзей. Ты должен на ней присутствовать. *(Поворачивается к Сципиону.)* А ты не нужен, голубочек. Можешь идти.

Сципион *(уходя, оборачивается к Херее)*. Херея!

Херея *(очень мягко)*. Да, Сципион.

Сципион. Попытайся понять.

Херея *(очень мягко)*. Нет, Сципион.

Сципион и Геликон уходят.

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Лязг оружия за кулисами. Справа появляются два стражника. Они ведут старого патриция и первого патриция, которые выказывают все признаки страха.

Первый патриций *(стражнику, стараясь придать своему голосу твердость)*. Но чего, в конце концов, от нас хотят в такой поздний час?

Стражник *(указывая на кресла с правой стороны)*. Садись сюда.

Первый патриций. Если нас хотят казнить, как прочих, то такие сложные приготовления ни к чему.

Стражник. Садись сюда, старый осел.

Старый патриций. Сядем. Этот человек ничего не знает, это ясно.

Стражник. Да, моя прелесть, это ясно. *(Уходит.)*

Первый патриций. Ведь я же знал, что надо спешить. А теперь нас ждет пытка.

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

Херея (*спокойно усаживаясь в кресло*). Что тут происходит?

Первый патриций и старый патриций (*хором*). Заговор раскрыт.

Херея. И что же?

Старый патриций (*дрожа*). Это значит — пытка.

Херея (*невозмутимо*). Я припоминаю, что Калигула дал восемьдесят одну тысячу сестерциев воришке-рабу, который не сознался под пыткой.

Первый патриций. До чего же мы дошли.

Херея. Нет, это просто доказывает, что он ценит мужество. Вы должны были это иметь в виду. (*Старому патрицию*.) Если нетрудно, перестань так стучать зубами. Я не выношу этот звук.

Старый патриций. Но я...

Первый патриций. Ну, довольно. Мы рискуем жизнью.

Херея (*невозмутимо*). Вы знаете любимую присказку Калигулы?

Старый патриций (*чуть не плача*). Да. Он говорит палачу: «Убивай помедленней, пусть он почувствует, что умирает».

Херея. Нет, еще лучше. Поглядев на казнь, он зевает и говорит совершенно серьезно: «Чем я больше всего восхищаюсь, так это своей бесчувственностью».

Первый патриций. Вы слышите?

Лязгает оружие.

Херея. Эти словечки выдают его слабость.

Старый патриций. Если нетрудно, перестань разводить философию. Я этого не выношу.

В глубине сцены показался раб. Он принес мечи и раскладывает их на скамейке.

Херея (*этого не видевший*). Во всяком случае, приходится признать, что этот человек оказывает несомненное воздействие на других. Он заставляет думать. Он всех заставляет думать. Неуверенность — вот что побуждает к размышлениям. И вот почему у столько людей он вызывает ненависть.

Старый патриций (*дрожа*). Посмотри.

Херея (*замечает мечи; его голос немного меняется*). Возможно, ты был прав.

Первый патриций. Надо было торопиться. Мы слишком долго ждали.

Херея. Да. Этот урок немного запоздал.

Старый патриций. Но это нелепость. Я не хочу умирать.

Встает и пытается сбежать. Тут же появляются два стражника, дают ему пару затрещин и силой водворяют на место. Первый патриций съезживается в своем кресле. Херея произносит несколько слов, но их не слышно. Внезапно в глубине сцены раздаются пронзительные, отрывистые звуки странной музыки, грохочут тарелки и погремушки. Патриции замолкают и смотрят в глубь сцены. Там на занавесе, как в театре теней, появляется силуэт Калигулы в коротенькой тунике танцовщицы, с веиком на голове. Он проделявает несколько гротескных балетных па и исчезает. И сразу же один из стражников торжественно возглашает: «Представление окончено». Тем временем неслышно вошла Цезония и стала позади зрителей. Она говорит ровным голосом, от которого, однако, они вздрагивают.

СЦЕНА ПЯТАЯ

Цезония. Калигула поручил мне вам сказать, что до сих пор он вас созывал ради государственных дел, но сегодня пригласил разделить с ним эстетическое наслаждение. (*Помолчав, продолжает тем же тоном.*) Правда, он добавил, что тому, кто не пожелает наслаждаться, отрубят голову.

Они молчат.

Прошу извинить мою назойливость. Но я должна спросить, показался ли вам этот танец прекрасным.

Первый патриций (*поколебавшись*). Он был прекрасен, Цезония.

Старый патриций (*преисполненный благодарности*). О да, Цезония.

Цезония. А тебе, Херея?

Херея (*холодно*). Это было большое искусство.

Цезония. Отлично. Итак, я могу сообщить об этом Калигуле.

СЦЕНА ШЕСТАЯ

Входит Геликон.

Геликон. Скажи, Херея, это действительно было большое искусство?

Херея. В каком-то смысле — да.

Геликон. Понимаю. Ты очень сильный, Херея. Фальшивый, как всякий порядочный человек. Но сильный, ничего не скажешь. Я не такой сильный. И все-таки я не дам вам дотронуться до Калигулы, даже если он сам того хочет.

Херея. Я ничего не понял из этого монолога. Но должен похвалить тебя за такую преданность. Я люблю верных слуг.

Геликон. Какого гордеца строишь, а? Да, я служу сумасшедшему. А ты чему служишь? Добродетели? Я тебе выложу, что думаю по этому поводу. Я родился в рабстве. Так вот, порядочный человек, сперва под эту песенку о добродетели меня заставлял плясать кнут. А Гай не говорил мне красивых слов. Он меня освободил и взял к себе во дворец. Тут-то я и смог поглядеть на вашего брата, добродетельных. И я увидел, что у вас грязные рожи и скверный запах, пресный запах людей, не познавших ни страданий, ни риска. Я видел красивые одежды, а сердца были потухшие, лица алчные, руки дрожащие. И это вы — судьи? Вы, кто торгуете добродетелью в розницу, мечтаете о благополучном существовании, как девочка мечтает о любви, но умираете в страхе, даже не поняв, что лгали всю жизнь, вы беретесь судить того, кто страдал бесконечно, кто каждый день истекает кровью от тысячи новых ран? Сначала вам придется иметь дело со мной, помни это! Презирай раба, Херея! Он выше твоей добродетели, потому что он еще умеет любить своего несчастного хозяина и будет его защищать от вашей благородной лжи, от ваших вероломных речей...

Херей. Милый Геликон, ты ударился в риторику. Честное слово, когда-то у тебя был вкус получше.

Геликон. Каюсь, увы. Вот что значит слишком долго с вами общаться. У старых супругов волосков в ушах поровну, так они становятся похожи под конец. Но я исправлюсь, не беспокойся, исправлюсь. Одно только... Смотри, видишь ты это лицо? Так. Смотри хорошенько. Прекрасно. Теперь ты видел своего врага. *(Уходит.)*

СЦЕНА СЕДЬМАЯ

Херей. А теперь надо торопиться. Оставайтесь здесь оба. Сегодня к вечеру нас будет сотня. *(Уходит.)*

Старый патриций. Оставайтесь, оставайтесь! Я-то предпочел бы уйти. *(Втягивает носом воздух.)* Здесь пахнет смертью.

Первый патриций. Или ложью. *(Грустно.)* Я сказал, что этот танец прекрасен.

Старый патриций *(утешая)*. В каком-то смысле так и есть. Так и есть.

Стремительно вбегает несколько патрициев и всадников.

СЦЕНА ВОСЬМАЯ

Второй патриций. Что тут такое? Вы знаете? Император велел нас созвать.

Старый патриций *(рассеянно)*. Это, наверно, на танец.

Второй патриций. Какой танец?

Старый патриций. Ну да, эстетическое наслаждение.

Третий патриций. Мне сказали, что Калигула очень болен.

Первый патриций. Так и есть.

Третий патриций. А что с ним? *(С восторгом.)* Боги мои, неужели он умирает?

Первый патриций. Не думаю. Его болезнь смертельна только для других.

Старый патриций. Если можно так выразиться.

Второй патриций. Я тебя понял. Но нет ли у него еще какой-нибудь болезни, менее серьезной и более благоприятной для нас?

Первый патриций. Нет, эта болезнь не терпит соперниц. Но, если позволите, мне нужно поговорить с Хереей. *(Уходит.)*

Входит Цезония. Короткая пауза.

СЦЕНА ДЕВЯТАЯ

Цезония *(равнодушно)*. У Калигулы желудочное заболевание. Его рвало кровью.

Патриции толпятся вокруг нее.

Второй патриций. О всемогущие боги, даю обет: если он выздоровеет, я пожертвую двести тысяч сестерциев в казну.

Третий патриций (*слишком пылко*). Юпитер, возьми взамен его жизни мою.

Калигула уже несколько минут как вошел и слушает.

Калигула (*подходя ко второму патрицию*). Я принимаю твой дар, Луций. Благодарю тебя. Мой казначей явится к тебе завтра. (*Подходит к третьему патрицию и обнимает его.*) Ты не можешь представить себе, как я взволнован. (*Помолчав, с нежностью.*) Так ты меня любишь?

Третий патриций (*растроганно*). Ах, цезарь, чего бы я не отдал за тебя не раздумывая!

Калигула (*держит его в объятьях*). Ах, это слишком, Кассий, я не заслужил такой любви. (*Кассий делает протестующий жест.*) Нет, нет, говорю тебе. Я недостойн. (*Подзывает двух стражников.*) Уведите его. (*Кассию, мягко.*) Иди, друг. И помни, что сердце Калигулы с тобой.

Третий патриций (*слегка встревожен*). Но куда они меня ведут?

Калигула. Как куда? На смерть. Ты отдал свою жизнь за мою. Я почувствовал себя лучше. У меня даже нет больше этого противного вкуса крови во рту. Ты меня исцелил. Кассий, ты счастлив, что мог отдать свою жизнь за другого и что этого другого зовут Калигула? Вот я и снова могу наслаждаться всеми радостями.

Стражники волокут третьего патриция. Он сопротивляется и вопит.

Третий патриций. Но я не хочу! Это была шутка!

Калигула (*между его воплями, мечтательно*). Скоро дороги над морем покроются цветущей мимозой. Женщины наденут платья из легкой ткани. Высокое небо, такое свежее и чистое, Кассий! Улыбки жизни!

Кассий уже у выхода. Цезония легонько его подталкивает.

Калигула (*поворачиваясь, неожиданно серьезно*). Жизнь, друг мой! Если бы ты любил ее как следует, то не стал бы так неосторожно ею играть.

Кассия выволакивают.

Калигула (*возвращаясь к столу*). А когда проигрываешь, непременно надо платить. (*Пауза.*) Подойди сюда, Цезония. (*Поворачивается к остальным.*) Кстати, мне пришла в голову прекрасная мысль, которой я хочу с вами поделиться. Мое царствование до сих пор было слишком счастливым. Ни повальной чумы, ни жестоких религиозных обрядов, ни даже государственного переворота, короче, ничего, что может оставить вас в памяти потомков. Так вот, отчасти поэтому я и пытаюсь возместить бережность судьбы. Я хочу сказать... Не знаю, поняли ли вы меня. (*Со смешком.*) Одним словом, я подменяю собой чуму. (*Другим тоном.*) А теперь молчите. Вот и Херея. Займись им ты, Цезония. (*Уходит.*)

Входят Херея и первый патриций.

СЦЕНА ДЕСЯТАЯ

Цезония торопливо подходит к Херее.

Цезония. Калигула умер.

Отворачивается, притворяясь, что плачет, и пристально смотрит на остальных. Те молчат. Вид у всех удрученный, но по иной причине.

Первый патриций. Ты... Ты уверена в этом несчастье? Это невозможно, он же только что танцевал.

Цезония. Вот именно. Это напряжение сил оказалось для него смертельным.

Херея быстрыми шагами обходит присутствующих, одного за другим, и возвращается к Цезонии. Все хранят молчание.

Цезония *(медленно)*. Ты ничего не сказал, Херея.

Херея *(столь же медленно)*. Это большое несчастье, Цезония.

Внезапно входит Калигула и направляется к Херее.

Калигула. Хорошо сыграно, Херея. *(Поворачивается кругом и смотрит на остальных. С юмором.)* Ну что ж! Не вышло. *(Цезонии.)* Не забудь, что я тебе сказал. *(Уходит.)*

СЦЕНА ОДИННАДЦАТАЯ

Цезония молча смотрит ему вслед.

Старый патриций *(ему придает сил неослабевающая надежда)*. Он действительно болен, Цезония?

Цезония *(глядя на него с ненавистью)*. Нет, моя прелесть, но тебе не все известно. Тебе неизвестно, что он спит по два часа каждую ночь, а остальное время бродит по галереям дворца и не может забыть. Тебе неизвестно, да ты и не задумываешься, какие мысли одолевают этого человека в томительные часы между серединой ночи и возвращением солнца. Болен? Нет, он не болен. Разве что ты найдешь название и лекарство для тех язв, которыми покрыта его душа.

Херея *(как будто тронут)*. Ты права, Цезония. Нам известно, что Гай...

Цезония *(живее)*. Да, вам это известно. Но как все, у кого нет души, вы не можете выносить тех, у кого ее слишком много. Слишком много души! Это мешает, правда? И тогда это называют болезнью, а высоколобые болваны остаются при своей чистой совести и своем самодовольстве. *(Другим тоном.)* Ты когда-нибудь умел любить, Херея?

Херея *(вновь становясь самим собой)*. Мы теперь уже слишком стары, чтобы учиться таким вещам, Цезония. К тому же Калигула едва ли даст нам на это время.

Цезония *(взяв себя в руки)*. Это верно. *(Садится.)* А я чуть не забыла о поручении Калигулы. Вы знаете, что нынешний день посвящен искусству?

Старый патриций. По календарю?

Цезония. Нет, по Калигуле. Он созвал несколько поэтов и предложит им сымпровизировать на заданную тему. Среди вас тоже есть поэты; он желает, чтобы они непременно приняли участие в состязании. Он особо назвал юного Сципиона и Метелла.

Метелл. Но мы не готовы.

Цезония (*словно не слыша, ровным голосом*). Естественно, предусмотрены награды. А также наказания.

Все отшатываются.

Между нами, могу вам сказать, что наказания не слишком тяжелые.

Входит Калигула. Он мрачен как никогда.

СЦЕНА ДВЕНАДЦАТАЯ

Калигула. Все готово?

Цезония. Все. (*Стражнику.*) Приведите поэтов.

Человек двенадцать поэтов входят парами и маршируют направо.

Калигула. А остальные?

Цезония. Сципион и Метелл!

Эти двое присоединяются к поэтам, Калигула с Цезонией и патрициями усаживаются слева, в глубине. Короткая пауза.

Калигула. Тема — смерть. Время — минута.

Поэты торопливо пишут на своих табличках.

Старый патриций. А кто будет в жюри?

Калигула. Я. Разве этого недостаточно?

Старый патриций. О да, совершенно достаточно.

Херея. А ты примешь участие в состязании, Гай?

Калигула. Мне незачем. Я уже давно написал сочинение на эту тему.

Старый патриций (*торопясь*). А где его можно достать?

Калигула. Я его по-своему декламирую каждый день.

Цезония смотрит на него с тревогой.

Калигула (*грубо*). Тебе не нравится моя физиономия?

Цезония (*мягко*). Прости меня.

Калигула. О, пожалуйста, не надо смирения. Только не смирение. Тебя и так трудно выносить, но твое смирение!..

Цезония пытается взять себя в руки.

Калигула (*Херее*). Так вот. Кроме этого сочинения, я ничего не написал. Но оно доказывает, что я единственный художник за всю историю Рима, понимаешь, Херея, единственный, кто согласует свою мысль со своими поступками.

Херея. Это только вопрос власти.

Калигула. Верно. Остальные творят за неимением власти. А у меня нет нужды в творчестве: я живу. (*Грубо.*) Ну, что вы там, готовы?

Метелл. Мне кажется, готовы.

Все. Да.

Калигула. Тогда слушайте меня хорошенько. Вы будете выходить вперед по очереди. Я свистну. Первый начнет читать. По моему свистку он остановится, а следующий начнет. И так далее. Победителем, естественно, будет тот, чье чтение мой свисток не прервет. Готовьтесь. *(Наклоняется к Херее, доверительно.)* Во всем нужен твердый порядок, даже в искусстве.

Свисток.

Первый поэт. Смерть, когда из-за черного берега...

Свисток. Поэт отходит налево. Остальные будут проделывать то же самое. Сцена играется механически.

Второй поэт. Три парки в пещере своей...

Свисток.

Третий поэт. Зову тебя, о смерть...

Сердитый свисток.

Четвертый поэт выступает вперед и становится в позу декламатора. Свисток раздается прежде, чем он успевает что-то сказать.

Пятый поэт. Когда младенцем я...

Калигула *(вопит)*. Нет! Какое отношение имеет младенчество какого-то идиота к этой теме? Можешь ты мне сказать — какое?

Пятый поэт. Но, Гай, я еще не кончил...

Пронзительный свисток.

Шестой поэт *(выступает вперед, откашливаясь)*. Безжалостная, шествует она...

Свисток.

Седьмой поэт *(таинственно)*. Неясная и смутная молитва...

Прерывистый свисток.

Сципион выступает вперед без табличек.

Калигула. Твоя очередь, Сципион. Ты без табличек?

Сципион. Мне они не нужны.

Калигула. Ну-ка. *(Покусывает свой свисток.)*

Сципион *(стоя совсем рядом с Калигулой, но не глядя на него и как-то устало)*.

Погоня за счастьем, что очищает людей,

Небо, где льется солнце,

Несравненные, дикие празднества, мой бред без надежды!..

Калигула *(мягко)*. Довольно, прошу тебя. *(Сципиону.)* Ты слишком молод, чтобы усваивать истинные уроки смерти.

Сципион *(глядя Калигуле в глаза)*. Я был слишком молод, чтобы потерять отца.

Калигула *(резко отворачиваясь)*. А вы, остальные, станьте в строй. Плохой поэт — слишком тяжкое испытание для моего

вкуса. До сих пор я в мыслях видел вас своими союзниками, иногда я воображал, что вы составите для меня последнюю линию обороны. Но напрасно, теперь я буду числить вас своими врагами. Поэты против меня—это, могу сказать, конец. Шагом марш! Вы пройдете передо мной и при этом будете лизать ваши таблички, чтобы стереть с них следы ваших мерзостей. Внимание! Вперед!

Свистки раздаются в такт шагам. Поэты маршируют к правому выходу и лижут на ходу свои бессмертные таблички.

Калигула (*очень тихо*). Уходите все.

У дверей Херея останавливает первого патриция, взяв его за плечо.

Херея. Час настал.

Сципион это слышал. Он медлит на пороге и возвращается к Калигуле.

Калигула (*злобно*). Ты не мог бы оставить меня в покое? Твой отец уже так и поступил.

СЦЕНА ТРИНАДЦАТАЯ

Сципион. Не надо, Гай, все это ни к чему. Я уже знаю, что ты сделал свой выбор.

Калигула. Оставь меня.

Сципион. Я и в самом деле тебя оставлю, потому что, мне кажется, я тебя понял. Ни для тебя, ни для меня, так на тебя похожего, выхода больше нет. Я отправляюсь очень далеко искать объяснение всему этому. (*Пауза, смотрит на Калигулу. С чувством.*) Прощай, дорогой Гай. Когда все будет кончено, не забудь, что я тебя любил. (*Уходит.*)

Калигула смотрит ему вслед и делает какое-то движение, но усилием воли справляется с волнением и возвращается к Цезонии.

Цезония. Что он сказал?

Калигула. Это выше твоего понимания.

Цезония. О чем ты думаешь?

Калигула. О нем. И о тебе. Впрочем, это одно и то же.

Цезония. Что случилось?

Калигула (*глядя на нее*). Сципион ушел. С дружбой я покончил. А ты—я спрашиваю себя, почему ты еще здесь...

Цезония. Потому что я тебе нравлюсь.

Калигула. Нет. Если бы я тебя убил, то понял бы, наверно.

Цезония. Что ж, это мысль. Осуществи ее. Но ты не можешь хоть на минуту расслабиться и пожить свободно?

Калигула. Я уже несколько лет тем и занимаюсь, что живу свободно.

Цезония. Я другое имею в виду. Пойми меня. Это может быть так хорошо—жить и любить в чистоте душевной.

Калигула. Каждый добивается чистоты как умеет. Я это делаю в поисках самого главного. Но как бы то ни было, все равно я могу тебя убить. (*Смеется.*) Это было бы достойным увенчанием моего пути.

Калигула встает и поворачивает зеркало. Кружит вдоль стен, как зверь; руки его свисают почти неподвижно.

Как странно. Когда я не убиваю, то чувствую себя одиноким. Живые не могут заселить вселенную и разогнать скуку. Когда вы все со мной, я ощущаю вокруг бескрайнюю пустоту, застилающую мне глаза. Мне хорошо только с моими мертвецами. *(Стоит лицом к зрителям, немного наклонившись вперед. О Цезонии он забыл.)* Они-то настоящие. Такие, как я. Они меня ждут и торопят. *(Качает головой.)* Я веду долгие разговоры то с тем, то с другим, кто кричал, прося у меня пощады, а я велел вырвать у него язык.

Цезония. Иди сюда. Приляг рядом со мной. Положи голову мне на колени.

Калигула так и поступает.

Тебе хорошо. Все тихо.

Калигула. Все тихо! Ты преувеличиваешь. Разве не слышишь, как звякает оружие?

Доносятся эти звуки.

Не замечаешь тысячи шорохов, выдающих, что ненависть сидит в засаде?

Смутный ропот.

Цезония. Никто не посмеет...

Калигула. Кроме глупости.

Цезония. Она не убивает. Она делает людей осторожными.

Калигула. Она несет смерть, Цезония. Она несет смерть, когда считает себя оскорбленной. О, меня убьют не те, кого я лишил сына или отца. Эти поняли. Они со мной, у них тот же вкус во рту. Но другие, те, над кем я издевался, кого выставил на посмеище,—от их уязвленного самолюбия у меня нет защиты.

Цезония *(горячо)*. Мы защитим тебя, нас еще много, тех, кто тебя любит.

Калигула. Вас остается все меньше. Что было нужно для этого, я сделал. И потом, признаем справедливости ради: против меня не только глупость, но и верность, и мужество тех, кто хочет быть счастливым.

Цезония *(тем же тоном)*. Нет, они тебя не убьют. Или какая-нибудь молния сверкнет с небес и испепелит их прежде, чем они тебя коснутся.

Калигула. С небес! Нет никаких небес, бедняжка. *(Садится.)* Но почему вдруг столько любви? Это в наш уговор не входило.

Цезония *(она встала и принялась ходить)*. Значит, мало мне видеть, как ты убиваешь других, я должна еще знать, что тебя самого убьют? Мало, что ты приходишь ко мне жестокий и истерзанный, что, когда ты ложишься со мной, от тебя пахнет убийством? Я каждый день смотрю, как умирает в тебе понемногу все человеческое. *(Оборачивается к нему.)* Я стара и скоро стану безобразна, я знаю. Но в моей душе не осталось больше ничего, кроме мыслей о тебе, и уже не важно, любишь ты меня или нет.

Я хочу только одного: увидеть, что ты исцелился. Ведь ты еще ребенок. У тебя вся жизнь впереди! Чего ты можешь желать большего, чем целая жизнь?

Калигула (*встает и смотрит на нее*). Как давно ты здесь.

Цезония. Да. Но ты меня не прогонишь, правда?

Калигула. Не знаю. Знаю только, почему ты здесь. Потому, что были все эти ночи, дарившие мне наслаждение острое и безрадостное, потому, что ты столько обо мне знаешь. (*Обнимает ее и чуть-чуть запрокидывает ей голову назад.*) Мне двадцать девять лет. Немного. Но в этот час, когда моя жизнь кажется мне такой длинной, так тяжело нагруженной останками прошлого, такой законченной, ты остаешься последним свидетелем. И я не могу противиться постыдной нежности к той старой женщине, кем ты скоро станешь.

Цезония. Скажи, что ты меня не прогонишь!

Калигула. Не знаю. Я понимаю только—вот самое ужасное,—что эта постыдная нежность и есть единственное чистое чувство, которое дала мне жизнь.

Цезония высвобождается из его объятий, Калигула идет за ней. Она прижимается к нему спиной, он обвивает ее руками.

Калигула. Не лучше ли, чтобы последний свидетель исчез?

Цезония. Мне все равно. Я счастлива тем, что ты сказал. Но почему я не могу поделиться с тобой этим счастьем?

Калигула. Кто тебе сказал, что я не счастлив?

Цезония. Счастье великодушно. Оно не истребляет других, чтобы жить.

Калигула. Значит, есть два вида счастья. Я выбрал тот, который смертоносен. И я счастлив. Было время, когда я думал, что дошел до пределов страдания. Но нет, можно идти еще дальше. За рубежами страны отчаянья лежит счастье, бесплодное и величественное. Смотри на меня.

Она оборачивается к нему.

Я смеюсь, Цезония, когда вспоминаю, что не один год весь Рим избегал произносить имя Друзиллы. Рим не один год заблуждался. Любви мне мало, я это понял тогда. Сегодня я по-прежнему так думаю, глядя на тебя. Любить кого-то—значит согласиться стареть вместе. Я не способен на такую любовь. Старая Друзилла—это гораздо хуже, чем Друзилла мертвая. Вам кажется, человек страдает потому, что любимое существо умирает неожиданно. Нет, настоящее страдание—не этот вздор. Оно наступает, когда замечаешь, что и горю приходит конец. Даже сама скорбь лишена смысла.

Вот видишь, оправданий для меня не найти ни в чем—ни в тени любви, ни в горечи грусти. У меня нет алиби. Но сегодня я еще свободней, чем был все эти годы. Я освободился от воспоминаний и от иллюзий. (*Яростно смеется.*) Я знаю, что всему приходит конец! Какое открытие! Нас было двое-трое во всей истории, кто испробовал его на деле, кто испытал это сумасшедшее счастье. Цезония, ты досмотрела прелюбопытную трагедию до самой развязки. Пора опустить перед тобой занавес.

Он снова становится позади Цезонии и обхватывает рукой ее шею.

Цезония (*со страхом*). Такая ужасная свобода—это и есть счастье?

Калигула (*все сильнее сжимая ее горло*). Это оно и есть, Цезония. Без него я был бы довольным и сытым. А благодаря ему я обрел богоравное ясновидение одиночек.

Возбуждение его растет, пока он медленно душит Цезонию. Она не пытается бороться, только робко протягивает вперед руки. Он говорит, наклоняясь к ее уху.

Я живу, я убиваю, я обладаю головокружительным могуществом разрушителя, рядом с которым могущество творца кажется жалкой пародией. Это и значит быть счастливым. Это и есть счастье—невыносимое освобождение, презрение ко всему на свете, и кровь, и ненависть вокруг, несравненное уединение человека, окидывающего взглядом всю свою жизнь, необъятная радость безнаказанного убийцы, неумолимая логика, которая перемалывает человеческие жизни (*смеется*), и твою тоже, Цезония, чтобы для меня настало наконец вожаделенное одиночество во веки веков.

Цезония (*слабо сопротивляясь*). Гай!

Калигула (*вне себя*). Нет, никакой нежности. С этим надо кончать, время не ждет. Время не ждет, дорогая Цезония!

Цезония хрипит. Калигула волочит ее и бросает на ложе.

Калигула (*смотрит на нее; взгляд у него блуждающий, голос сдавленный*). И ты, ты тоже была виновна. Но убийством ничего нельзя решить.

СЦЕНА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Калигула (*поворачивается и идет к зеркалу, как в бреду*). Калигула! И ты тоже, и ты тоже виновен. Что ж, немного больше, немного меньше, какая разница! Кто осмелится вынести мне приговор в этом мире, где нет ни судьи, ни невинных! (*С глубоким отчаяньем, прижавшись к зеркалу*.) Вот видишь, Геликон не пришел. Луны я не получу. Как это трудно—собственная правота и долг идти до конца. Я боюсь конца. Мечи звенят! Это невинность готовит свое торжество. Отчего я не на той стороне! Мне страшно. Какая мерзость—сначала презирать других, а потом ощутить такую же трусость в своей душе. Но это неважно. Страху тоже придет конец. И вокруг меня снова будет великая пустота, в которой сердце обретает покой.

Делает шаг назад, возвращается к зеркалу. Он как будто немного успокоился.

Когда он снова начинает говорить, голос его звучит тише и сдержаннее.

Все кажется таким сложным. А на самом деле все просто. Если бы я получил луну, если бы любви мне было довольно, все бы переменялось. Но чем утолить мою жажду? Какое сердце, какое божество бездонно, как озеро, чтобы напоить меня? (*Опускается на колени и плачет*.) Ни в этом мире, ни в ином нет ничего мне соразмерного. А ведь я знаю, и ты знаешь тоже (*плача, протягивает руки к зеркалу*), что мне нужно только одно: невозможное. Невозможное! Я искал его на границах мира, на

краю своей души. Я протягивал руки (*кричит*), я протягиваю руки и натыкаюсь на тебя, передо мной всегда только ты, а я полон ненависти к тебе. Я пошел не той дорогой, она никуда не ведет. Моя свобода — ложная. Геликон! Геликон! Нет, и тут — ничего. О, как тяжела эта ночь! Геликон не придет: мы навеки останемся виновны. Эта ночь тяжела, как страдание человеческое.

За кулисами слышится шепот и лязг оружия.

Геликон (*внезапно появляется в глубине сцены*). Берегись, Гай! Берегись!

Невидимая рука пронзает Геликона кинжалом.

Калигула встает, берет в руки табурет и, тяжело дыша, подходит к зеркалу. Смотрит на себя, изображает прыжок вперед и в ответ на такое же движение своего двойника в зеркале с воплем запускает в него табуретом.

Калигула. В историю, Калигула, в историю.

Зеркало разбивается, и в ту же минуту из всех дверей вбегают вооруженные заговорщики. Калигула поворачивается им навстречу с безумным смехом. Старый патриций наносит ему удар в спину, Херея — в лицо. Смех Калигулы переходит в предсмертную икоту. Удары сыплются на него со всех сторон. Смеясь и хрипя, в последнем всхлипе Калигула выкрикивает:

Я еще жив!

Занавес

СОДЕРЖАНИЕ

<i>С. Великовский. «Проклятые вопросы» Камю</i>	5
<i>Посторонний. Перевод Норы Галь</i>	39
<i>* Чума. Перевод Н. Жарковой</i>	97
<i>* Падение. Перевод Н. Немчиновой</i>	275
Рассказы и эссе	
<i>Из книги «Изнанка и лицо»</i>	
<i>Между ДА и НЕТ. Перевод Норы Галь</i>	337
<i>Из книги «Бракосочетания»</i>	
<i>* Бракосочетание в Типаса. Перевод Н. Наумова</i>	343
<i>* Ветер в Джемила. Перевод Н. Наумова</i>	347
<i>Из эссе «Миф о Сизифе»</i>	
<i>Миф о Сизифе. Перевод С. Великовского</i>	352
<i>Письма к немецкому другу</i>	
<i>* Письмо первое. Перевод Н. Наумова</i>	355
<i>* Письмо второе. Перевод Н. Наумова</i>	358
<i>Письмо четвертое. Перевод С. Великовского</i>	362
<i>Из книги «Лето»</i>	
<i>Миндальные рощи. Перевод Норы Галь</i>	367
<i>Прометей в аду. Перевод Норы Галь</i>	369
<i>Изгнанничество Елены. Перевод С. Великовского ...</i>	371
<i>* Возвращение в Типаса. Перевод М. Злобиной</i>	375
<i>Из книги «Изгнание и царство»</i>	
<i>* Молчание. Перевод Н. Наумова</i>	381
<i>* Иона, или Художник за работой. Перевод Н. Наумова</i>	390
Приложение	
<i>Калигула. Перевод Юлии Гинзбург</i>	411

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«РАДУГА»

(до 1982 г. — «Прогресс»)

СЕРИЯ «МАСТЕРА СОВРЕМЕННОЙ
ПРОЗЫ»

Вышли в свет
избранные произведения:

К. Х. СЕЛЫ (Испания)
М. ВАРГАСА ЛЬОСЫ (Перу)
Ф. МОРИАКА (Франция)
Я. КАВАБАТЫ (Япония)
С. ДЫГАТА (Польша)
М. ЛАУРИ (Канада)
В. КЁППЕНА (ФРГ)
В. ЭЛСХОТА (Бельгия)
К. ЧАНДАРА (Индия)
С. ВЕСТДЕЙКА (Голландия)
У. ФОЛКНЕРА (США)
Ч. ПАВЕЗЕ (Италия)
Э. КОША (Югославия)
В. ХАЙНЕСЕНА (Дания)
И. ВО (Англия)
К. ФУЭНТЕСА (Мексика)
А. ЗЕГЕРС (ГДР)
Р. К. НАРАЙАНА (Индия)
М. ДЕЛИБЕСА (Испания)
О. КЕМАЛЯ (Турция)
М. ФРИША (Швейцария)
ТО ХОАЯ (СРВ)
Х. КОРТАСАРА (Аргентина)
Т. УАЙЛДЕРА (США)
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения)
П. УАЙТА (Австралия)
А. МАРШАЛЛА (Австралия)
Х. ЛАКСНЕССА (Исландия)
М. А. АСТУРИАСА (Гватемала)
Р. ВАЙЯНА (Франция)
А. МОРАВИА (Италия)
Р. РАЙТА (США)
К. ОЭ (Япония)
Д. ИЙЕША (Венгрия)

Й. РАДИЧКОВА (Болгария)
Ч. АЧЕБЕ (Нигерия)
Ю. БОРГЕНА (Норвегия)
Г. ГАРСИА МАРКЕСА (Колумбия)
ДЖ. КЭРИ (Англия)
М. ЛАЛИЧА (Югославия)
П. ЛАГЕРКВИСТА (Швеция)
ЛАО ШЭ (Китай)
Э. СТАНЕВА (Болгария)
Х. ФОН ДОДЕРЕРА (Австрия)
М. ОТЕРО СИЛЬВЫ (Венесуэла)
Э. БАЗЕНА (Франция)
Л. НЕМЕТА (Венгрия)
Г. НОССАКА (ФРГ)
Т. ПАРНИЦКОГО (Польша)
К. АБЭ (Япония)
АЛВЕСА РЕДОЛА (Португалия)
О. СИГЮРДССОНА (Исландия)
Т. ВЕСОСА (Норвегия)
Х. К. ОНЕТТИ (Уругвай)
Я. КЕМАЛЯ (Турция)
И. АНДРИЧА (Югославия)
Э. ШТРИТМАТТЕРА (ГДР)
М. СПАРК (Англия)
И. КАЛЬВИНО (Италия)
М. ЮРСЕНАР (Франция)
Г. ГЕССЕ (ФРГ)
Х. Л. БОРХЕСА (Аргентина)
Г. ГРАССА (ФРГ)
Л. АРАГОНА (Франция)
Ф. АЯЛЫ (Испания)
В. ФЕРРЕЙРЫ (Португалия)
М. БЕНЕДЕТТИ (Уругвай)
М. СЕЛИМОВИЧА (Югославия)
Т. БРЕЗЫ (Польша)
Г. КАНТА (ГДР)
А. АНДЕРША (ФРГ)
В. ШОЙИНКИ (Нигерия)
Ф. БАЙКУРТА (Турция)
А. КАРПЕНТЬЕРА (Куба)
Н. ХОАКИНА (Филиппины)
Ш. О'ФАОЛЕЙНА (Ирландия)
М. МАММЕРИ (Алжир)
Г. БЁЛЛЯ (ФРГ)